

ТАЙНЫ

Век XIX



Юрий Давыдов

ГЛУХАЯ
ПОРА
ЛИСТОПАДА

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XIX

Юрий Давыдов

ГЛУХАЯ ПОРА ЛИСТОПАДА

Роман



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

ББК 84 Р7
Д13

Оформление художника
И. МАРЕВА

Давыдов Ю. В.
Д13 Глухая пора листопада: Роман.— М.: ТЕРРА, 1996. —
496 с. — (Тайны истории в романах, повестях и докумен-
тах).

ISBN 5-300-00645-9

Исторический роман Юрия Владимировича Давыдова посвящен 80-м годам XIX века в России. О последних днях «Народной воли» рассказывает писатель, о последней попытке возродить организацию и о провале этой попытки — трагическом, но исторически неизбежном.

Д $\frac{4702010000-423}{А30(03)-96}$ Без объявл.

ББК 84Р7

ISBN 5-300-00645-9

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Спальня не прибрана, в столовой киснут объедки, на полу клозета клочок дамской записки: «Милый Гошенька...» Черт знает что! У тебя каждый нервик пляшет, ты страшное пережил, а тут Георгий Порфирьевич, «милый Гошенька», кутежи закатывает.

Яблонский только что вернулся в Петербург. Ехал в первом классе, хорошо и покойно ехал, однако нет, не отдохнул. Какая-то странная потяготливость. Будто после болезни. Будто давно не мылся, не переменял белья.

Он встал у окна, вяло скрестил руки. Ну что ж, в Харькове оплачен крупный вексель. Очень крупный вексель, милостивые государи. И никакого удовлетворения. Напротив, теперь, когда все начато, уже мерещится проигрыш. Тут не капитал просадишь, а жизнью разочтешься.

В окне было нищенское небо, невнятный снег. Внизу, на дворе, дымились помои. Шум улиц доносился глухо. Яблонский прежде любил Петербург, сейчас подумал: «Проклятый город».

Он подошел к столу, безгладно оглядел остатки пиршества. Отыскал чистую чашку, плеснул в нее водки. Выпил, морщась и вздрагивая. Он еще не завтракал. Но и водка не пробудила аппетита.

Нынче свидание с главным инспектором секретной полиции. Важность встречи Яблонский сознавал. Следовало о многом поразмыслить. А мысли были сбивчивые, пустячные, и он все ходил, слонялся из угла в угол.

2

Кабинет не домашний, не служебный — так, проходная комната. Повсюду вороха бумаг, даже на подоконниках. И высокие шкафы без всякого выражения, анонимные. Несколько дверей, за которыми тишина — ни шагов, ни голов. И посередине, за письменным столом, крупный, атлетический мужчина в сюртучном костюме, брюки ново-

модные, с лампасами, узкие. Крупный, плечистый мужчина, из тех, у кого похмельно не трещит голова и поясницу не ломит после бессонной ночи.

В ребячестве, кадетом Георгий Порфирьевич страдал: с этой вот смешной фамилией далеко ль пойдешь?! Судейкин... Учитель истории трунил: «Судеек, брат, в черных волостях выбирали. Приказчиков, воевод не было, судеек-то и набирали из мужиков». Кадет не верил. Он знал: Судейкины дворянской крови, смоленские дворяне Судейкины. Но фамилия что тавро: лапотные, стало быть, дворяне. И мучился: с такой-то фамилией далеко ль пойдешь?

Однако пошел. Оттого, мол, язвили некоторые, что женился на дочери жандармского полковника. Это верно — женился на Верочке Гусевой, полковничьей дочке. Но ведь, ей-ей, совсем не тесть главная пружина. Нет, он сам, Судейкин, сумел глянуть на розыскное дело широко, не боясь риска. В Киеве ка-акие сюрпризы начальству! И взлет: в Санкт-Петербург пригласили, сперва во главе столичного сыска поставили, а после — бери выше — на место особое, штатным расписанием не указанное, — особое и единственное: инспектором секретной государственной полиции.

Правду сказать, поздновато хватились, господа. Срежь беда дня убили императора Александра Николаевича, в столице, на виду. Да-с, а лошади-то целы. Судейкин улыбнулся.

(При мысли о роковом покушении на Александра Второго ему частенько вспоминался знакомый полковник Сокол. Теперь он в Архангельской губернии, а тогда сидел в Екатеринбурге. В воскресенье, первого марта, держал Сокол, как водится, банчок в Дворянском собрании. Вдруг телеграмма: одна бомба разворотила экипаж, другая — царя. Естественно, все цепенеют, гробовое молчание. А тут-то и разносится глас жандармского начальника: «Слава Богу, лошади целы!»)

Время шло к одиннадцати. Судейкин не прикасался к бумагам. На круглом лице его, в светлых, с искорками глазах, прячущихся под широким нависшим лбом, во всей фигуре выразалось напряженное ожидание.

В одиннадцать ее покажут высшему начальству. Но вот вопрос: тебя пригласят ли, Георгий Порфирьевич? Толстой будет, Плеве будет, Оржевский. А тебя пригласят ли, Георгий Порфирьевич? Ведь прямая твоя заслуга. Разумеется, Яблонского тоже. Однако рассудить, так и Яблонский — твоя заслуга. Нет, это уж тут сразу высветится: пренебрегают иль не пренебрегают, ценят иль не ценят?

Отворилась одна из дверей, вошел Судовский. Рослый и тоже, как инспектор, крупный, племянник Судейкина, правая его рука — Николай Судовский.

Смущенно, как нехотя, взглянул на дядюшку.

— Ну, Коко? — спросил Судейкин.

Коко потупился.

— Та-а-ак, — протянул Судейкин, багровея. — Ну хорошо, хорошо же...

3

Никаких ковров, никаких украшений. Ковры — гнездилище пыли; украшения отвлекают мысль. Служебное помещение должно быть чистым, как щека из-под бритвы.

Сухопарый сановник, бледнолицый, с поджатыми губами, вышагивал мерно. Его штиблеты тонко поскрипывали на паркетных половицах, где ни единой пылинки.

Никогда не мерцал он канительным серебром жандармских эполет. Никогда победительно не брякал серебром жандармских шпор. Никто не помогал ему как «родному человечку». Уроженец Калужской губернии, «из обер-офицерских детей», он всего достиг сам. Он слушал курс юриспруденции в Московском университете. Его плечи согнулись в прокурорских камерах Тулы и Вологды, Варшавы и Санкт-Петербурга. Ныне он действительный статский советник. Он кавалер орденов святой Анны, святого Владимира, святого Станислава. Почти два года назад именным высочайшим указом ему все милостивейше повелели быть директором департамента государственной полиции. Видит Бог, его трудолюбие неиссякаемо, его служение безупречно, его принципы неколебимы. И вот благодарность: «Да, отличные убеждения, пока вы тут, а когда вас не будет, то и убеждения будут другими».

Плеве, сухопарый, бледнолицый, с поджатыми губами, мерно вышагивал. Его штиблеты тонко поскрипывали.

С четверть часа назад в кабинет скользнул секретарь министра и доверительно нашептал о вчерашнем разговоре его сиятельства с государем императором.

Толстой ездил в Гатчину — очередной доклад. Доложив, заговорил о близости лета, о настоятельно необходимом отдохновении в рязанском монрепо, просил разрешить докладывать по министерству внутренних дел директору департамента фон Плеве. Тогда-то, соглашаясь, государь и произнес: «Да, у него отличные убеждения, пока вы тут, а когда вас не будет, то и убеждения у него будут другими».

И это сказано именно теперь! Теперь, после ареста той, кого император назвал «ужаснейшей женщиной». Это сказано теперь, когда партия террористов, можно утверждать, разгромлена. Вот награда... Однако директор Плеве готов побиться об заклад, что подобные мысли внушены государю. Исполдволь, неприметно внушены. И внушены... Он на мгновение останавливается. Его указательный палец как бы плывет в воздухе. Засим решительно отсекает нечто незримое. Исключено! Он, Плеве, слава Богу, пользуется благорасположением обер-прокурора Святейшего синода. Нет, не Константин Петрович Победоносцев сему причиную.

Пальцы барабанными палочками постукивают по сукну. Плеве покачивается на носках. Ему это приятно, в этом как бы предвестие ровности мыслей. А ровность мыслей очень нужна ему.

Вячеслав Константинович по гроб не простит генералу Оржевскому «тухлую рыбу»! Генерал в обществе позволил грубый, гадкий намек: дескать, директор полиции послушен любому веянию свыше — «тухлая рыба по течению плывет». Но командир корпуса жандармов недруг открытый. А государь не лишен житейской сметки и хулу из уст Оржевского вряд ли примет в расчет.

Длинные пальцы замирают на зеленом сукне. Они словно бы не принадлежат действительному статскому советнику. Его анемичные губы сжимаются еще плотнее, бледное лицо обретает цементный оттенок.

Итак?

Он резюмирует определенно и коротко. Он убежден, он твердо знает, чья это повадка. Вячеслав Константинович чувствует что-то вроде удовлетворения. Его удовлетворяет собственная логичность.

Часы показывают без пяти одиннадцать. Пора. Слабым движением правой руки он касается висков и выходит из голубой комнаты — невозмутимый, прямой, безукоризненный.

4

В угрюмых, со старческой желтизной глазах графа Толстого Дмитрия Андреевича дрогнули изумление и восторг: Боже мой, как она похожа! И давным-давно позабытое: он целует руку прелестной женщине, и прелестная женщина улыбается ему тихо и радостно; женихом и невестой выйдут они из экипажа, летний ветер колышет страусовое перо на ее шляпке; и другое лицо ее — отрешенное, замкнутое — видел он в последний раз, перед ее отъездом за

границу; она уезжала, обвенчавшись с голландским дипломатом.

«Возьмите стул!» — сухо, как отщелкнув, приказал Плеве, и Толстой вздрогнул, будто приказание относилось к нему. Он поймал в себе какое-то мгновенное удовольствие оттого, что Фигнер не успела протянуть руки, как стул ей подал хозяин роскошного кабинета бонтонный генерал Оржевский.

Старик, сжимая подлокотники кресла, не спускал глаз с Фигнер; тронув грязно-серые бакенбарды, произнес мягко, влажно:

— Вот уж не предполагал... У вас, право, такой скромный вид.

— О да, ваше сиятельство, — желчно поежился Плеве. — А между тем среди молодежи только и слышно: Фигнер, Фигнер, Фигнер. — Он с ледяной пристальностью взглянул на арестованную: — И вам это льстило?

Он ожидал любой дерзости, но не молчаливого презрения: «Господи, какое ничтожество!» Она повела плечом и вопросительно посмотрела на генерала Оржевского, на графа Толстого.

Плеве смешался. Так никто еще не унижал его. Такого не замечал он ни в мерцающем казнящем взгляде Желябова, ни в бесконечно спокойном взоре Кибальчича, ни в задумчивых глазах Перовской. «Господи, какое ничтожество!» И этот призыв к Оржевскому, к Толстому, несомненно, понятый обоими.

Плеве прислонился к проему меж окнами, точно бы отстраняясь от всех. Он проглотил слюну, опять, но уже несколько искоса, глянул на Фигнер и тотчас подобрался, словно бы безошибочно что-то угадал в ней, что-то очень затаенное.

И Фигнер почувствовала в ту минуту, что Плеве каким-то подлым чутьем вызнал то, что она скрывала и от товарищей, и от самой себя.

— Но теперь, — медленно проговорил Плеве, — но теперь вы здесь. И представьте... — Он сделал нарочитую, для Фигнер мучительную, паузу. — И представьте — рады. Да, да, очень вы рады! Ведь это конец. А вы устали. И вы рады. В сущности, вы рады. Не так ли?

Она не ответила. Она молчала, сознавая, что своим молчанием длит торжество господина Плеве. Но тут генерал Оржевский пришел ей на помощь.

Генерал рокочет приятным свежим баритоном. Фигнер еще не совсем понимает, что он такое говорит, о чем, но

она, право, признательна, и оба они в это мгновение испытывают мимолетное ощущение сообщества.

А говорил генерал Оржевский, командир корпуса жандармов, вот о чем. Он, ежели изволите знать, никак не может понять нынешних радикалов. Ведь признать следует полное поражение так называемой «Народной воли». Он был бы благодарен получить разъяснения на сей счет.

— Понимаю, генерал, ваше любопытство, — улыбнулась Фигнер. — Но это долгий разговор. У меня, надеюсь, еще будет время. Надеюсь, мне дадут перо и бумагу, я изложу наши взгляды письменно, а потом и устно на суде. Не так ли?

— О да, да, — отозвался Оржевский, изгибая красивые темные брови. — Я прочту, непременно прочту. Эт-то очень интересно.

— Ой ли, Петр Васильевич? — ворчливо отнесся к Оржевскому министр Толстой. — Ариозо Бакунина, старая песня. — Он пожевал губу и продолжал слабым, с хрипотцой, но внятными голосом: — У вас, сударыня, что же? У вас политические убийства во главе угла. И... и из-за угла. Пора бы, сдастся, уразуметь: монарха сменяет монарх. Вот так-то! А теперь я вам конфиденциально... Цари, конечно, создали Россию, но они создали ее нашими руками, дворянскими. А вы-то полагаете, что убиение царствующей особы сокрушит государственный порядок, а того не примете в расчет, что великая Россия создана нашими руками, а эти вот руки... — Он поднял ладони кверху, и Вера Николаевна чуть усмехнулась, глядя на дряблую кожу в чернильных вздутых жилах.

Граф Дмитрий Андреевич откинулся в кресле. Плеве сделал какое-то движение, должно быть намереваясь встрять в разговор, но Толстой опять заговорил.

Голос у него переменялся. Не добродушная воркотня слышалась, звучало что-то вкрадчивое и настороженное, а вместе с тем и язвительное, и так же вкрадчиво и настороженно смотрели теперь его угрюмые, с желтизной глаза.

— А вот докладывают, и меня будто решили устранить, то есть убить, стало быть. Наслышаны? А?

Фигнер отрицательно покачала головой, Толстой точно бы обрадовался:

— Хе-хе, не слышали? Ну-с, чего уж там, если и слышали, так разве скажете! А нам-то, здесь-то, все, сударыня, известно. Из Киева едет нигилист! Из Киева! — повторил он, словно в том, откуда едет нигилист, крылось что-то важное. Толстой оглянулся на Оржевского, генерал

был непроницаем. — Да-с, — продолжал министр, — едет некий злодей, а при нем отравленные папиросы.

— Какие папиросы? Зачем? — изумилась Фигнер.

Граф Дмитрий Андреевич хитро прищурился.

— Зачем? А в том и штука — «зачем». Все известно, все известно, сударыня! А дадут вот эти самые папиросы моему кучеру. Тот, пентюх, выкурит и одуреет, а я, худого не подозревая, в экипаж, а тут-то и есть фатальный момент: нападут с бомбой. Вот-с зачем. — И Толстой укоризненно, строго, сожалеючи покивал головой.

«Да он из ума выжил», — подумала Вера Николаевна, и не смешно ей сделалось, но жутко, нехорошо. А министр вздохнул, пожевал губу и добавил без связи с предыдущим:

— Жаль, нет времени, а то я убедил бы вас. Право, убедил, и вы отказались бы от ваших пагубных воззрений.

И вот тут-то она улыбнулась, молодо улыбнулась и дерзко.

— И я жалею, граф, очень жалею, а то я обратила бы вас в народовольца.

Оржевский прыснул, Плеве просыпал сухой смешок. Толстой сокрушенно осклабился.

5

Фигнер вели коридорами, длинными, как делопроизводство. Канцеляристы тараканьей побегой выюркивали из дверей. Фигнер не задерживала взгляда на чиновниках. Шла мимо, шла быстро. Но вот что примечательно: «ужасная женщина» с бледным, отрешенным лицом оставляла на всех этих мятых, как нечистый платок, душах удивительный, ни с чем не сравнимый мягкий и вместе сильный отсвет. И хотя канцелярский люд не догадывался, понять не умел, что же это такое, но он догадывался и сознавал, что этот отсвет и эта вот минута будут ему долго памятными.

Фигнер не замечала чиновников, не слышала почтительного шепота, приглушенных возгласов. Ее поглотило то неотчетливое ощущение, какое испытывают многие политические заключенные после беседы с высшим начальством. Конечно, приятно, что она так ловко дала плюху министру. Но проницательность Плеве, проницательность сухопарого сановника раздражала ее и тревожила, и ей казалось, что она допустила оплошность, в чем-то промахнулась, позволила заглянуть в душу. И ей все еще звучал медленный, лишенный модуляций, черствый дискант: «А вы рады! Это конец, вы и рады...»

Давно уж меркло все. После казней на Семеновском плацу — разгром за разгромом. С неумолимой последовательностью. От этого можно было рехнуться. Из старых членов Исполнительного комитета остались двое: Тихомиров и Фигнер.

Тихомиров? Она любила его и теперь любит. Она не сочла его изменником, трусом. Им овладела болезнь — шпиономания. А Катя умоляла спастись за границей. Они уехали. Тихомиров не хотел оставаться в России; Фигнер не могла оставить Россию. Искала новых людей, соединяла тонкие, спутанные, оборванные нити прежних связей. И при этом сознавала близость «последнего дня Помпеи». Сознавая, твердила: «Иди и гigni...» Но вина, нравственная вина за участь других мучила непрестанно. А на людях она казалась неунывающей, бодрой, энергической «нашей Верой»

В Харькове встретила Сергея Дегаева. Это был старый товарищ. Его знали Желябов, Перовская. Бывший артиллерийский офицер, народоволец, участник подкопа на Малой Садовой, где заложили мину, чтоб взорвать царя. Фигнер ничего не скрывала от Сергея. Он принял ее планы, поехал в Одессу, в Николаев, привлек офицеров, поставил типографию. А месяц спустя провалился. Вместе с типографами. Мрак натекал, густел. «Скоро ль твой конец? Покоя...» Бог не выдал, свинья не съела: неожиданно-негаданно Дегаев опять появился в Харькове. Он был измучен, у него тряслись руки. Ах, милый ты мой, дорогой ты мой товарищ! Сергей Дегаев рассказывал: «Я назвался киевским. Везите, говорю, в Киев, там откроюсь. Они не соглашались, я упорствовал. Наконец повезли. Едем пустырем... Знаете, перед вокзалом? Едем, уже темно, никого. Я выхватил из кармана горсть табаку и — в глаза им, в глаза. Пролетка летит, я прыгаю. Стреляли, ничего — ушел. Ушел, и вот видите...» — «Табаком? — спросила она. — Да ведь вы не курите?» — «Не курю, — сказал Дегаев, — но загодя в тюрьме припас». И они рассмеялись.

Сергей Дегаев утверждал: «В Одессе кто-то выдает, предатель и очень осведомленный, из нелегальных». Нет ли, спросил, слежки за нею здесь, в Харькове. «Нет, — сказала Фигнер, — тут безопасно, никто не знает». Он повторил: «Нет? Вы уверены?» — «Уверена. — И усмехнулась: — Вот разве на Меркулова нарвусь».

Дегаев прихмурился. Иуда, будь ты проклят, Васька Меркулов! Тоже участник подкопа на Малой Садовой, надежным казался, из рабочих. А в тюрьме передался Судей-

кину, кого знал, тех и продал. Теперь шныряет в Одессе, вынюхивает прежних друзей-рабочих, а судейкинские гончие — по пятам. Меркулов... Да где ж и Судейкину догадаться послать. Ваську в Харьков, чтобы Веру-то Николаевну опознать? Полноте!

Однако именно в Харькове, именно Меркулов. И вот он — конец. Одним утешься — не было в тот день Дегаева, уцелел Сергей...

Ее вели длинными коридорами. Чиновники выюркивали глаза на нее. Впереди качался жандарм. Широченная спина, по плечу елзит оголенная шашка.

Коридоры министерств длинны чрезмерно. В департаменте государственной полиции они всегда бесконечны. Лишь очутившись в камере, вдруг жалеешь странной жалостью, что коридоры пройдены. И пройдены, чудится, мгновенно.

Но покамест — коридоры. Не двери распахиваются, не двери затворяются, не переход сменяется переходом. Нет, будто отламываются пласты изжитого. Счет годам невелик, ей тридцать первый. Да суть-то, должно быть, в топографии местности, по которой пролегла твоя дорога.

Минуты есть, неуследимые отрезки времени кристаллизации души. Были у нее такие минуты. Одна отлилась нравственным постулатом: нерасторжимость слова и дела. Другая обозначилась мыслью, что великие поворотные решения человек должен принимать для себя сам.

Дворянский дом полной чашей, подблюдные песни, милая няня, Казанский институт благородных девиц и первый бал, неудачное замужество, завершившееся разводом. Увлечение наукой, годы в Швейцарии. И новый взгляд, брошенный на Россию. «Внезапно» обнаруживается невозможность жить без сопротивления тому, что черно. Невозможность жить, не меньше. Ничего не остается, кроме общности личной судьбы с судьбою русской революции. В этом «ничего не остается» — ничего жертвенного. Есть дело, слитое со словом. И, значит, радость и полнота, полнота и честность существования, покуда оно длится. Пусть краткого, но твоего существования. Тут ни на грош показного. Все неостановимо, как дыхание. Но и оттенок аскетизма, схема: печать поколения.

Ей тридцать первый. Захлопываются двери. Не здешние, не департаментские — двери прожитого: динамитная ворожба то в Одессе, то в Петербурге; знакомства с моряками и артиллеристами, когда вслед за Желябовым создавала она военную организацию «Народной воли»; ночь на

первое марта восемьдесят первого года, когда у нее на квартире у Вознесенского моста, в ярком беспощадном круге от лампы, в круге белых лиц и белых рук было ее лицо, были ее руки, собиравшие части метательных снарядов... И уже после казни царя, но еще до казни пятерых, Перовская пришла к ней. «Верочка, можно у тебя ночевать?» — «Как ты это спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?!» — «Я спрашиваю потому, что, если придут и найдут меня, тебя повесят». — «С тобой или без тебя, если придут, я буду стрелять...»

Захлопывались двери в бесконечных коридорах департамента государственной полиции. На плече жандарма елозила оголенная шашка.

6

А внизу, глубоко, на узком мощеном дворе, зацокали лошади, внизу, на дворе, покатился к воротам экипаж.

Недалеко дом: Большая Морская, одиннадцать. Софья Дмитриевна ждет ко второму завтраку. Господи, сколько уж лет супружества с этой женщиной, невзрачной, неумной, но благодушной и преданной. Во времена оны дядюшка, царствие небесное, отговорил племянника Митеньку от брака с бесприданницей Языковой. Рожденная Бибикова стала графиней Толстой, принесла графу Дмитрию немалые земли. А бесприданницу взял голландский дипломат, и никогда уж больше не видел ее Дмитрий Андреевич. Не видел и не вспоминал, признаться. До нынешнего дня не вспоминал. И вот эта Фигнер. Та же грация, та же летящая походка, тот же поворот головы. Господи, как они похожи...

Теперь, в экипаже, он был немножко раздосадован. Эка его, однако, разобрало. А он слывет угрюмым, необщительным. Хе-хе, необщительным... У него есть всегдашние собеседники: латинские классики. Он был бы счастлив запереться дома и никого не принимать. У него есть латинские классики, обожаемый сын Глебушка, единственная любовь и привязанность. А многие — он слышал, слышал — в злобе своей почитают Глебушку форменным креатином.

Ах, запереться бы в кабинете, в тишине и никого не принимать, не видеть, не слышать. Двадцать лет тому... Нет, еще раньше: то-то было наслаждение в архивных разысканиях, в изучении, пристальном и пристрастном, отношений Рима и России, католицизма и православия, как

иезуиты гнездились на Руси. А потом писать настоящий ученый труд. Два тома, изданных поначалу в Париже.

Ничто так не ненавидел граф Дмитрий Андреевич, как папство. Ватикан виделся ему первейшим врагом истинной России. Теперь еще один враг. Новый враг страшнее прежнего: социализм, учение бедоносное и злокозненное.

О революции он не писал и не напишет. Время, оставляя желанья, отбирает силы. Силы на исходе, мало, слишком мало земных дней. Да и те могут пресечь нигилисты. Проклиная иезуитизм, поневоле вздохнешь: вот у кого была превосходная осведомительная служба. Не чета нашей... Да, иезуиты действовали в этом смысле превосходно, не нашим чета...

Граф почувствовал легкое головокружение, прикрыв глаза, перекрестился. Он был мнителен. Легкое головокружение, и тотчас мысль о близости смерти. «Увы, о Постум, Постум, мчатся быстрые годы...»

Генералу Оржевскому не терпелось первым огласить гостинные вопиющие «ужасной женщины». Какова! Она обратила бы в социалиста и этот замшелый пень. У старика отвисла челюсть... Черт догадал графа болтать об этих отравленных пахитосках. Плеве, конечно, тотчас сообразил, кто выкинул эту штуку.

Выдумка не из блестящих. Впрочем, старикан струхнул. Отказался от ежедневных прогулок по Морской, просил на лето лучших филеров для охраны рязанского имения. Нет, что ни говори, струхнул изрядно, а в этом суть. «Пусть, — говорит, — Оржевский всем заправляет, пусть они лучше в Оржевского стреляют, чем в меня!» Ах, циник, циник!.. Ну ничего, глядишь, обойдется. Десять лет ты, Петр Васильевич, Варшаву гнул — ничего, жив-здоров. Варшава! Вот уж где умеют задавать балы. Но Петербург тоже нынче весел, везде танцуют... Генералу вообразилось, как, похотывая, прищелкивая пальцами, он будет рассказывать про нынешнее randevu с Фигнер. И Оржевский заулыбался, полетел, как в мазурке, к дверям, весело мигнул дежурному унтеру: «Шинель, братец!»

Тем временем директор Плеве переговорил в телефон с Зизи, просил не ждать к обеду и, повесив трубку, послал за инспектором Судейкиным.

Плеве очень хорошо понимал, как страдает самолюбие инспектора. Не пригласить на «смотрины» того, кто устроил блестящее арестование наиважнейшей революционист-

ки! Да-с, непременно надо Судейкину знать: не он, не директор Плеве, тому виною, а его сиятельство. Для графа инспектор просто-напросто выскочка, плебей. А между прочим, ваше сиятельство, дворянские руки, о коих вы изволили сказать, как раз и есть руки Судейкиных. Так-то! Судейкиных и Плеве, происходящих из «обер-офицерских детей». Вот так-то!

Он сидел за просторным столом, ждал инспектора. Он не утаит, пусть знает, кто виновник явного небрежения. И ведь не впервой. Давно бы след представить инспектора царю. А граф Дмитрий Андреевич увиливает: нет, рано. Не было б поздно, ваше сиятельство, а? Самолюбие инспектора, оно того-с... Оно посерьезнее пахитосок вашего шаркуна Оржевского.

Грубая раздражительность при встрече с Фигнер уже оставила Вячеслава Константиновича. Он уязвил, смутил ее. И он был доволен ее ответом министру. То-то посмеется публика. Но дело прежде всего: не сегодня-завтра Фигнер переведут из департамента в крепость.

В дверь постучали.

— Прошу, Георгий Порфирьевич, — громко позвал Плеве.

7

Жена швейцара прибрала квартиру. Яблонский вымылся. Потом он допил водочку и закусил. Потом хорошо поспал.

На дворе смерклось. Яблонский, проснувшись, не стал зажигать свет. Скоро уж, подумал, припожалует... Яблонский известил его телеграммой, вот он и припожалует, инспектор Судейкин.

Последнее свидание было в Одессе. Обсуживался проект уловления Фигнер. Оба сознавали важность ее ареста. Судейкин не скупился на посулы. Фигнер для обоих была крупным козырем. Следовало условиться о правилах игры. Яблонский своего не упустил. Они столковались: не начальник и сотрудник, не инспектор секретной полиции и агент секретной полиции — ровня, соумышленники.

Из Одессы Судейкин — в Питер, Яблонский — в Харьков. Он нервничал, не находил себе места. А все произошло удивительно просто. Яблонский держался в тени. Он навел на след Фигнер Ваську Меркулова, а сам издали, хоронясь за деревьями, наблюдал, как ее брали у Екатерининского сквера.

И в тот день и на другой Яблонский много пил. Женщина с летящей походкой, женщина в шубке, с муфтой не выходила из головы. То были сантименты, результат нервного напряжения, вдруг разрядившегося. Он знал, что это не конец, лишь почин. Однако почин потрясающе удачный! Фигнер устранена, провал южных офицерских кружков обеспечен. Тут уж чистая техника, и баста. Казалось бы, «веселися, храбрый росс...» Но нет, на душе у Яблонского было скверно, ему будто б нездоровилось. Он не тотчас поскакал в Петербург, как было условлено, а пожил в Малороссии, не переставая пить и пытаясь встряхнуться.

И внезапно от пронзительных подозрений у него в груди защемило. Он понял, что промазал в самом начале игры. Еще в Одессе инспектор взял с него слово никогда не показываться в департаменте на Пантелеймоновской. Резон был основательный: страх пред новыми Клеточниковыми. Яблонский мог бы поклясться, что новых Клеточниковых нет, у революционеров нет никакого агента в департаменте. Однако нынче нет, а завтра, глядишь, есть. И вот эта возможность... О черт! Но, не зная никого в департаменте, не показываясь на Пантелеймоновской, каким, спрашивается, волшебством мог удостовериться Яблонский в честности инспектора? Яблонский метил далеко и высоко. Не банальное шпионство свело его с Георгием Порфирьевичем... Сомнениями мучился Яблонский. Теперь, при свидании с подполковником, он выставит новые требования. Решительно, не колеблясь!

В прихожей дерзко забренчал звонок. На цыпочках, сразу вспотев, Яблонский устремился в ретирадное место. Как во многих питерских домах, в клозете было маленькое оконце на лестничную клетку. Яблонский прильнул к мутному стеклу, разглядел внушительную фигуру инспектора.

Минуту спустя Георгий Порфирьевич басил в передней. Яблонский, как уже бывало, ощущал рядом с инспектором обидную телесную малость. И, пропуская Судейкина в комнаты, кольнул:

— А вы тут, «милый Гошенька», времени не теряли.

— А, вона что, — заулыбался Судейкин, — вы уж не браните.

Судейкин был весел, от него мартеlem припахивало, на Яблонского смотрел он ласково, открыто, товарищески. Очень, надо сказать, ободрила Георгия Порфирьевича недавняя беседа с директором департамента. Прекрасно они друг дружку поняли. И скоро уж коронация, а в канун коронации обещана высочайшая аудиенция. С Вячеславом

Константиновичем Плеве держи ухо востро, но на сей раз, кажется... Ну ладно, это потом. А сейчас вот с Яблонским надо. Можно и арестование Фигнер вспырыснуть, и почин здешней, питерской, деятельности. Однако, что такое? Что с ним?

Оживление, бодрость и этот запахок дорогого коньяка, исходивший от Судейкина, омрачили Яблонского. «Победу празднуешь, — думал он враждебно, — обо мне, конечно, в сферах ни гугу, а я вот тебя, брат, сейчас огорошу».

— Послушайте, вы ведь знаете, я не ради выгоды, — начал он прерывающимся голосом.

— Ну, ну, батенька, — недоуменно и мирно спросил Георгий Порфирьевич, властно подминая диван своим тяжелым телом.

— Я вам верю, — продолжал Яблонский, расхаживая по комнате и не глядя на Судейкина, — очень вам верю, право. Но... То есть и не «но», вовсе без этого «но». Я хочу напомнить: я не давал согласия на простое агентство.

— Так, так, — молвил Судейкин, шевеля бровями и точно бы сызнава всматриваясь в Яблонского, в его большую, несоразмерную торсу голову, в бледное неглупое, но какое-то уж слишком обыкновенное лицо с пегой бородкой и усами. — Так, так, слушаю.

Его пристальный взгляд, его «так, так» взорвали Яблонского. Он остановился, исполненный решимости, глядя в упор на инспектора. И выставил требование: доложить о нем министру, а потом и государю императору.

Вышла пауза.

— Однако в Одессе, — сказал инспектор, — мы, кажется...

— В Одессе, в Одессе, — перебил Яблонский и опять пустился из угла в угол. — Вы знаете: не выгода, не карьера. Тут другое, совсем другое! Согласны? А коли согласны, почему б и не объявить?

Судейкин не разваливался на диване. Судейкин был прям, как в седле. Он потер круглый, коротко остриженный затылок, ладонью снизу надавил подбородок, потом скулу, словно усомнившись в их твердости. И неожиданно улыбнулся. Серьезная, уважительная была у него улыбка.

— А молодцом, черт возьми, — сказал он. — Молодцом!

— Нет, ей-богу, Георгий Порфирьевич, — проговорил Яблонский, будто сконфуживаясь, — поймите правильно.

— Н-да-с, оплел-таки нас Бог одной веревочкой. Прощу, впрочем, сообразить: министр, государь... Эка ведь! Скоро сказка сказывается, прошу сообразить. Дайте срок.

— Понимаю, хорошо понимаю! Как не понять!

— Ну и отлично, — обрадовался Судейкин. — Мы-то с вами да не столкнемся! А? Ну теперь слушайте... Тут на нас с вами свалилось, батенька. Давайте-ка шторы, свет давайте-ка, так-то оно веселее. Ну-с, вот и хорошо. Прошу, садитесь, разговор не минутный, у меня, сознаюсь, никаких концов, все вам достанется. «Крестницу»-то нашу решено до суда держать в крепости. Я, правду сказать, спокоен за сохранность, но все ж таки не следует упускать из виду — Фигнерша особа пряткая. Согласитесь, в наших интересах прятать сударыню в бастионе. Не так ли?

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Скоро месяц, как Дегаев приехал в Петербург, а все еще не навестил Лизоньку. Лиза была одна, маменька тревожилась, Дегаев обещался повидать Лизоньку тотчас по приезде, но теперь откладывал со дня на день. Он был к сестре привязан искренне, хотя нередко злил ироническим отношением к ее музыкальной одаренности. Он должен был навестить Лизу и потому еще, что та знала об его аресте в Одессе, а вот о побеге, о том, что он на воле, не знала. Непременно и давно уж следовало повидать сестру. А он не шел на Пески, все откладывал со дня на день.

Правда, забот, дел всяческих было невпроворот. С арестом Веры Николаевны Дегаев, можно смело сказать, оставался чуть не единственным из старой гвардии. Все, с кем он нелегально встречался, молчаливо признавали его крупной силой. От него ждали руководства, и он с осторожной неуклонностью оживлял подпольную деятельность в затаившемся Петербурге. И все ж не они, не повседневные и утомительные заботы, удерживали Дегаева от свидания с Лизонькой.

Тут тайлось нечто сугубо личное, совсем интимное, путаное и неотчетливое. Он себе самому затруднился бы объяснить внятно. Может, попросту неумогу возвращаться в прошлое?

Он помнил московское детство. И папеньку помнил, старшего доктора в кадетском корпусе, и как хоронили папеньку, и как они остались в казенной квартире, и мама горько плакала, когда им предложили съехать... Они пере-

брались в Питер, на Пески, зажили там, на Песках, несладко, однако дружным семейством.

Московское детство было лишь воспоминанием. Главное, коренное, определяющее происходило в Петербурге, Кронштадт, где Дегаев служил одно время по артиллерии штабс-капитаном, был неотделим от столицы.

Желябов и Перовская, многие, кто принял смерть на эшафоте, кто изживал жизнь в казематах, посещали запросто дом на Песках — пили чай, отдыхая в уюте, в радушии этого дома, слушали, как музицирует консерваторка Лизонька, расспрашивали хозяйку, добрейшую Наталью Николаевну, про ее батюшку, известного в свое время литератора Полевого.

Дегаеву доверяли важные партийные тайны. Он радостно, гордясь доверием, своей решимостью, исполнял поручения Желябова в Кронштадте, в офицерской среде, а потом, когда подвергся удалению со службы «за неблагонадежность», — в Питере, в Институте путей сообщений.

Вслед за бомбами первого марта как-то все нехорошо переменялось. Какие-то сумерки, хандра, предчувствия, ожидание несчастий. О этот март... Убит был царь, но восстания не произошло. Воскресную ростепель сменили тяжелые влажные вьюги. Погребально рычали пушки Петропавловской крепости. Под железными шинами тюремных карет взрывался талый снег.

Талый снег разбрызгала карета подле дома на Песках: Сергея Петрова Дегаева, отставного штабс-капитана, взяли «по подозрению». Он впервые очутился за решеткой. Не было страха, была тоска. И опасения за хворую маменьку, за Лизу и Володьку, младшего брата, которого недавно вышибли из Морского училища тоже «за неблагонадежность».

Однако не раздобылись жандармы уликами, не вызнали про участие в устройстве подкопа на Малой Садовой, где должны были взорвать мину под царевым экипажем, когда б не укокошили Александра бомбы на Екатерининском канале. Да, счастливо отделался Дегаев.

Но тут вскоре опять роковой раскат кареты. И ночью входят в комнаты очень любезные люди: «Надо одеться! Пожалуйста!» Володю увезли. Тогда Дегаев понял, как это страшно: вдруг опустевший дом.

Они с Лизой носили передачи на Шпалерную, в предварилку. Было мучительно сознавать, что Володя, совсем еще юноша, Володька, у которого голос дрожит восторгом при слове «революция», при слове «социализм», вон он, там, за этими решетками.

А после?... После — от мостовых до прозелени зенита — белая ночь. Володя пришел домой в такую ночь.

Никого не будили они: Володя просил не будить, ему надо было немедленно рассказать старшему брату о своих разговорах с Судейкиным.

«Знаю, вы ничего не откроете, Владимир Петрович. И не для того я говорю с вами. Другая у меня цель. Я хочу кое-что предложить вам на условиях, право, весьма выгодных».

«Как! И вы посмели? Мне! Да кто вам дал право предлагать подобные вещи? Разве я похож на шпиона, господин жандарм?»

«Помилуйте, Владимир Петрович! Какое шпионство! Поверьте, я слишком вас уважаю! Нет, нет, никакого шпионства. Есть более важное, серьезное. Я могу сообщить вам: правительство готовит широкие реформы, оно само видит дальнейшую невозможность... Но для реформ, для успешной правительственной деятельности необходим мир с революционерами, с той крайней партией, которая... Ну да вы лучше меня понимаете. Прошу вас, Владимир Петрович, вникнуть...»

Так говорил с Дегаевым-младшим сам инспектор Судейкин. Они встречались не однажды. И Володю как осенило: вот он, случай заменить Клеточникова! Знаменитого Клеточникова, агента «Народной воли» и канцеляриста департамента полиции. Володя обещал... Нет, нет, он не согласился, он заявил: «Надо собраться с мыслями». И Судейкин коротко улыбнулся. «Полагаю, удобнее в иной обстановке».

Володя все это рассказал брату. Дегаев не ужаснулся. Напротив, тихо и скрытно обрадовался. Ему блеснули, он это и теперь, два года спустя, помнил, блеснули какие-то приманчивые дали.

Дегаев настоял перед товарищами: нельзя упускать случай; отчего не попробовать? Володину «службу» одобрили. Не без колебаний: «Этакого юнца да в пасть Судейкину?» Не без опасений: «Раскусят быстро, пропадет парень!» И все ж одобрили... Задача при всей ее сложности формулировалась просто: Судейкину ничего, от Судейкина хоть что-нибудь.

Тут вскоре получилась командировка в Архангельск. Железнодорожная контора, где Сергей Петрович подвизался инженером, заключила с ним контракт. Семья на руках, как откажешься?

В Архангельске Дегаеву понравилось чрезвычайно. Он с удовольствием принимался к запахам кудели, рыбы, око-

ренных бревен. Без всегдашней, утомительно-привычной питерской опаски шел он травянистыми улочками, слушая протяжный скрип калиток, колокольца холмогорок. Все, чем жил он в Петербурге, отодвинулось — нервическое напряжение и суета, мамины вздыхания и Лизины музыкальные пассажи, даже тревога за Володьку.

С делом Дегаев управился скоро, успешно, мог хоть завтра восвояси. Но уж очень ему хорошо и гулялось и мечталось в Архангельске, и все-то он ждал чего-то внезапного, светлого, наперед чему-то радуясь и улыбаясь.

Словом, в Архангельске он был готов к «встрече с нею». И встретил: невысокую, круглую, со свежими припухлыми губками, а под светлыми глазками тоже припухлости, те, что придают милую заспанность. Люба. Любовь. А дома, в семье — чиновничьей, бедной, без претензий — звали ее Бельшом, такая она была белокуренькая, такая беложавая.

Сергей Петрович как-то сразу утвердился в мысли, что Бельш будет ему спасением. От чего и от кого спасет его эта кругленькая блондиночка, он не знал, да и знать, кажется, не хотел, а знал только, что она его суженая. Он повторял мысленно «суженая», его трогало старинное, наивное, провинциальное слово.

Сергей Петрович посватался и получил согласие. В Петербург ему теперь решительно не хотелось. Добро бы только домашние заботы, но ведь и подпольные кружки, и прокламации, а главное — ожиданье тюремной кареты. Вот эти-то обстоятельства он скрыл от Бельша, утайка омрачала его радость, он чувствовал себя «несколько непопорядочным». И, отправляясь домой, в Петербург, глубиною души настраивался: отойду в сторону, довольно, хватит, «все, что мог, ты уже совершил», есть простые радости, и каждый вправе отведать их.

Володя поразил Дегаева — так сильно переменялся, такой у него был жалкий, беспомощный взгляд. Володя сказал, что сам себе напоминает муху, попавшую всеми лапками на клейкую бумагу. Он чуть не плакал. Его «служба» была обидной, унижительной. У Судейкина, конечно, ничего не удавалось выудить. Володя отплачивал той же монетой. Инспектор и контршпион дулись друг на друга. Их отношения близились к концу. Каково-то придется Володе?

Дегаев не без стыда и удивления поймал себя на том, что почти не сострадает Володьке. Напротив, лишь раздражается, досадует, как помехе медовому месяцу. А тут еще вечная нехватка денег у маменьки, Лизины сетования: «Я

не могу прилично одеться!» Извольте знать, чуть не последняя замарашка носит ныне поверх перчаток браслеты. Черт подери, браслеты! Вот у Любви-то Николаевны, у Бельша, никаких браслетов, однако счастлива.

В доме на Песках молодую приняли ласково. Не потому, верно, что она всех очаровала, но потому, что она была Сереженькиной женой, а Сергея в семье лелеяли и почему-то чуточку побаивались.

Впрочем, Бельшу было бы хорошо и без родственного радушия. Ах, как она любила мужа! Она была ненасытна, она желала его, мурлыча, выстанывая голубицей, и это ему льстило, он открыл в себе бездну чувственности.

Он тосковал по Архангельску, жалел, что не обосновался у Двины, в одном из рубленых, вольно стоящих домов с травянистыми двориками и сараями. Он тосковал по Архангельску, ибо подпольный Петербург, как и следовало ожидать, не давал ему отъединиться. Он все-таки не мог бросить Володьку на произвол судьбы. А судьба эта приняла облик атлетического инспектора тайной полиции с нагловатыми, веселыми, умными глазами.

Вот так это все связалось, спуталось. Немного, в общем-то, протекло времени, а что ж теперь? Нет на Песках ни Володьки, ни маменьки, нет Бельша. Одна Лизонька. Он обещался навестить ее тотчас. И не может, на хочет «посетить тот уголок». Откладывает со дня на день. Странная штука... Сантименты? Усталость от пережитого в Одессе?

Однако никто из нелегальных, никто из тех, с кем он уже виделся в Петербурге, не замечал в нем апатии. Он действовал исподволь, осторожно, неуклонно. Он теперь крупная сила, представитель центра. Центра, которого, в сущности, нет и который ему предстоит воссоздать.

2

Лиза училась в консерватории, в том большом казенном здании, что высилось строго, но не угрюмо, в празднично-гулкой Театральной улице.

Класс фортепьянного отдела она посещала скорее по привычке, нежели по страстной привязанности. Как и многих ее товарок, Лизу прельщали зал Дворянского собрания и Венская кофейня поблизости от Дворянского собрания, на Михайловской.

Господи, что за удовольствие торопиться в концерт! Михайловская полна серьезно-нарядной публикой. Летучий снег, летучие огни, говор, электрическая атмосфера пред-

вкушения. И, наконец, трепет, шепот и теснота, когда из подъезда «Европейской» гостиницы появляется человек в огромной шубе, с огромной тростью. Он движется как броненосец. Ни на кого не глядя, роняет: «Нельзя, никак не могу!» Толпа за ним смыкается, за ним, вокруг него шелест: «Антон Григорич, Бога ради: одно место...»

И Лиза в этой толпе, у нее есть билет, но она протискивается к Рубинштейну, чтоб еще и еще взглянуть на это крупное, отличной лепки лицо, на эти опущенные глаза, прикрытые нависшими наискось веками. И, взглянув, с зашедшимся сердцем — скорее в залу, где малина кресел, и золото люстр, и этот шорох, и уже стихающий рокот. И, «забыв все», слушать игру Рубинштейна. «Исключительная фразировка!» Правда, случается «некоторая нечистота», но зато ураганная сила, гениальная проникновенность.

Потом отзвучит Рубинштейн, потом гурьбою, с пылающими щеками — за столики Венской кофейни. Немец кофейню держит, его старое чувствительное сердце неравнодушно к этой пылкой молодежи. О как они спорят о «новом искусстве», как бросаются к фортепьяно, что-то доказывая друг дружке! Разор, право, но не откажешь молодым людям в даровом кофе. И немец не отказывает, качая головой, приговаривает: «So! So!»

Ну а если не Дворянское собрание, не Венская кофейня, не зала городской думы, где Римский-Корсаков, темно блестя стеклами круглых синих очков, прямой и почтенный, дирижирует оркестром учеников консерватории, — если не это, тогда на Васильевский остров, в Воронежское подворье, ко всенощной.

Боже, какой хор! Вот уж воистину слушаешь, и «горни-ми тихо летит душа небесами». В ней мало религиозного, в Лизе Дегаевой, она — страшно оказать — «матерьялистка», но всенощная, молящиеся прихожане, согласное пение, да еще вдруг пахнет из дверей колким зимним холодом, а следом особенно нежным, колеблющимся теплом свечей, да ведь это что ж такое! Сладко замрет душа, прижать бы к груди весь мир, всех людей на свете.

С Васильевского острова на Пески неблизко. Идешь набережной, Невским идешь. Где-то запоздалые сани, вдруг проблеск неясный в чьем-то окне, ударят часы на башне. Тебе легко, немножечко грустно, а впереди-то, в будущем, прямо-таки невозможное счастье.

Поутру — в классы, а потом, дома — часами за фортепьяно. Лиза была усердной ученицей, пользовалась пособием «Общества вспомоществования недостаточным учени-

кам», и груды нот от «Бесселя и К» не пылились в ее комнате. Но, говоря откровенно, была она из тех натур, нередких среди женщин, которые свою чуткость к искусству искренне принимают за способность творить искусство.

Когда-то Сережины друзья похваливали Лизу. То были знаки внимания, вежливость, и только. Желябов однажды заметил Дегаеву, что в Лизиной игре слышится неприятная экзальтация, но Дегаев про то не сказал сестре, щадя ее самолюбие.

Да, Лиза усердно занималась. Притомившись, расхаживала по комнате, рассеянная, то хмурясь, то улыбаясь, или, случалось, встанет перед зеркалом и вообразит себя Анной Есиповой.

Музыкантша, прославленная в обеих столицах и за рубежом, была высокой, статной красавицей, а в зеркале отображалась среднего роста бледненькая барышня, не дурнушка, а, как говорится, ничего себе. Лиза не спорила с зеркалом, но и не отказывалась от ребяческого удовольствия наедине вообразить себя Есиповой, когда та, в черном декольтированном платье с бриллиантовой брошью, накинув на плечо длинную, снежной белизны шаль, исполняет: «Усни, печальный друг...»

С некоторых пор она жила без мамы и братьев, предоставленная самой себе, немного прирабатывая уроками, довольная своей самостоятельностью. Большая семья, несмотря на согласие и дружество, в последнее время утомляла и раздражала Лизу, хотя каждого в отдельности она не переставала любить.

Вынужденный отъезд Володи пережила она бурно, с рыданиями, но длилось это недолго, Лиза как-то разом утихла. И не то чтобы запрятала горе, нет, словно отрезала: «Ну, будет тебе!»

Володя писал изредка, Сергей не писал вовсе. Она знала лишь, что он где-то на юге. А недавно, уже зимою, маменька, тосковавшая у старшей замужней дочери в Белгороде, сообщила Лизе об аресте Сергея, и Лиза жалела Сергея фамильным чувством — такие уж они, Дегаевы, обездоленные.

О том, что ее братья «в революции», догадывались многие Лизины знакомые. Репутация братьев придавала Лизе некий ореол, подогревала симпатии к ней. Лизе был приятен этот ореол, отблеск мученичества, но она порою думала, что было бы не худо сочетать радикализм с умением существовать безбедно.

Жалея Сергея, тревожась о нем, Лиза, как ни странно, была почему-то убеждена, что он опять отделается кратким

арестом. Бог весть отчего, но верила в это, и все тут. Однако почта не приносила успокоительных известий, и Лизу, наверное, покинуло бы убеждение в скором избавлении Сергея... Наверное, она бы помрачнела, но тут... Ах, тут-то как раз и началось!

Блинова увидела Лиза на масленой, в широкий четверг, на вечеринке у курсисток и студентов Горного института. Внешность его не была примечательной. Был он белокур, с молодой бородкой, держался сдержанно, почти замкнуто.

На вечеринке пили дрянное вино, веселились, шумели. Лиза много играла, и, право, с вдохновением, она даже отважилась спеть «Усни, печальный друг», и получилась недурно.

Блинов вдруг подошел к ней, объявив себя тенором и предложил петь на два голоса и действительно стал петь тенором, но при этом страшно фальшивя. Пирующие студенты помирали со смеху, кричали: «Браво, Коля! Браво!» Он ничуть не смущался, пел, и баста, оставив свою сдержанность и напустив комическую важность, Лиза смеялась, с притворным ужасом зажимая уши.

Он провожал Лизу. Они шли об руку, чуть нагнувшись, навстречу полуночной метели, вино гудело в крови, они болтали всякий вздор. А в парадной их будто столкнуло, они целовались долго, влажно, жарко, задыхаясь.

В те дни, когда Дегаев, уже будучи в Петербурге, откладывал свидание с сестрой, Лиза часто встречалась с Блиновым. Он бывал у нее, им было хорошо, но вдруг оба умолкали, растерянно прислушиваясь к подстрекательской тишине пустой квартиры. Блинов начинал торопиться, ссылаясь на какие-то неотложные дела, о которых он, дескать, мог бы сказать ее, Лизиним, братьям, а ей доверять не имеет права. У него и впрямь были «такие дела», но торопился он и убегал совсем по иной причине. Лиза об этом догадывалась, боялась удерживать и досадовала на него.

3

Дегаев явился не вовремя. Лиза, правда, обрадовалась, но Дегаев заметил на лице ее тень, усмехнулся, пожимая руку студента Горного института.

Блинов тотчас откланялся. Оставшись вдвоем с сестрой, Дегаев не преминул подразнить Лизу. Он это умел, с мальчишества умел как бы походя ущипнуть, задеть больнохонько. Сестры, брат Володька были ему дороги, он их любил, хоть и обижал зачастую. От других, посторонних, обид не стерпел бы, а себе позволял обижать. Чаще всего

доставалось Лизе, и она негодовала на «противного Сер-жа»... Вот и сейчас, кивнув вслед Блинову, он ехидно вопро-сил:

— Не второй ли Борис Иванович?

Лиза покраснела и фыркнула...

То была давняя история. Началась она в апрельский день, когда Лиза решила пойти на Семеновский плац. Лиза была на плацу, в толпе, неподалеку от помоста, вме-сте с толпой окостенела, услышав грубый скрип колесниц, увидев мерное черное колыхание смертников: привезли... На другом помосте, рядом с виселицей, где молчали, как на парадном обеде, произошло движение: господину Плеве доложили о готовности к исполнению приговора. Пятеро взошли на эшафот, с толпы смыло шапки, грянули военные барабаны. Приговоренные прощались. «Целуйте мя послед-ним целованием». Кибальчич, Желябов, Перовская, Тимо-фей Михайлов, Рысаков. Лишь Перовская отстранилась от Рысакова, от несчастного мальчишки, предавшего всех.

Палач повесил Кибальчича, подвел к петле Михайлова, Тимошу Михайлова, молодого губастого парня, рабочего с Невской заставы. Палач надел петлю, вышиб скамейку из-под ног Михайлова. И вдруг барабаны умолкли, как лопну-ли. А толпу словно ударило палкой под коленями, толпа ахнула: Михайлов упал на помост — петля оборвалась. «Божий знак! — закричали люди. — Божий знак! Мило-вать!» Он сам поднялся, в саване, в башлыке, со связанны-ми руками, он сам поднялся и шагнул к новой петле. Стоял. Ждал. Сквозь редкую холстину башлыка видел свое последнее солнце. Но уже не такое, не ясное и жестокое, как минуту назад, а будто в багровеющих пульсирующих волдырях. Спыхватились барабанщики, били отчаянно громко. Но секунда, другая: «А-а-а!» И Лиза, теряя созна-ние, тоже закричала: Тимофей Михайлов опять тяжело и грузно упал на помост...

Плохо различала Лиза, как солдаты взвалили на ломо-вые телеги пять черных гробов, как некий господин поднес ей нашатырю, взял об руку. Потом этот господин, бережно поддерживая барышню, ехал с нею на конке, говорил, что нельзя так нервничать, и еще что-то бессмысленное, пус-тяковое.

Он проводил ее до дому, она представила его своим спасителем. С того дня он зачастил к Дегаевым. Его звали Борисом Ивановичем Зверевым. Он был приятен, неглуп. Сергею Петровичу посулил достать чертежную работу в какой-то конторе.

Лиза не то чтобы строила на него виды, но Борис Иванович был ее первым серьезным ухажером, и это ей льстило. Она не принимала настороженности Сергея (недавно, мол, из тюрьмы, болезненная подозрительность). Дегаеву действительно не импонировал смазливый блондинчик. Сергей Петрович навел справки у товарищей, хранивших еще «черные списки» Клеточникова, и удостоверился, что Зверев обыкновеннейший мерзавец из охранного отделения. Объявив об этом сестре, Дегаев отказал Борису Ивановичу от дома: неприлично-де барышне водить знакомство с молодым человеком, который никем ей не представлен. Отказ был шит белыми нитками, но Зверев все понял, исчез с горизонта... И вот спустя столько времени «противный Серж» укусил:

— Не второй ли Борис Иванович?

— О это уж слишком! — крикнула Лиза.

Она разобиделась до слез. Надо знать меру! В ее обиде крылось еще и раздражение на брата за столь несвоевременное вторжение.

— Ну прости, прости, — ласково сказал Дегаев, обнимая сестру за плечи, — столько не виделись, а ты...

— Не я, а ты... ты, — возбужденно отозвалась Лиза. — Прекрасный он, честный... Нет, это невозможно! Какая нравственная грубость, Сергей! Приходишь и ни за что ни про что...

— Хорошо, Лизок, согласен — прекрасный, честный... Однако в моем положении... — Он развел руками.

Лиза опешила.

— То есть?

— А то, милая... — И он жестом изобразил бегущего человека.

Лиза ахнула.

— Когда ж? Как? Господи, Сережа! Что ж это будет? А мама знает? Господи, господа, ведь они тебя могут...

Дегаев снова обнял сестру, она прижалась к нему, оба испытывали родственную, кровную близость.

Она заспешила в кухню, загремела посудой. Дегаев тихо улыбнулся: до чего ж Лизонька похожа на маму. Дегаев подумал, что напрасно тянул со свиданием. Вот пришел, сидит, вот эта гостиная с замоскворецкой мебелью, а справа комната, где они с Белышом жили. Да-а, Белыш, Любинька... Ведь как обернулось: ей он обязан своим спасением. Жаль, пришлось расстаться. Как-то она там, в Белгороде, без него?

Нехотя, без тех подробностей, которые открыл в Харькове Вере Николаевне Фигнер, описал он свой побег. Лиза и не настаивала — тяжело брату вспоминать Одессу.

Они пили чай, говорили о семейных делах. Володе, конечно, грустно отбывать службу в Саратове. Но что поделаешь? Еще, слава Богу, Судейкин ограничился угрозой: «Постарайтесь, чтоб правительство забыло про вас!» А Наталья, кажется, оставила свои сценические грезы, думает заняться беллетристикой, переводить «Фауста». Он, Сергей, доволен, что познакомил ее с Маклецовым, своим приятелем по Кронштадту. Маклецов натура практическая, умеет приспособиться; Наталья счастлива в замужестве. Правда, эти вечные переезды с места на место. Такая уж у Маклецова служба: в разных обществах по строительству железных дорог. Пусть Лизонька не беспокоится, маме хорошо у них, и если Лиза летом поедет в Малороссию, Наташа и Коля будут только рады. Какое неудобство? Егото, Сергея, они привечают, лучше желать нечего. Ах и пожил он у них прошлой осенью на хуторе Максимовка! Что за жизнь, честное слово. Пусть Лиза непременно летом отдохнет. Конечно, Харьков или Белгород — это все городское, но, возможно, Маклецов заберется в деревню, близ Лозовой, он, кажется, получит какую-то работу в обществе Лозово-Севастопольской железной дороги.

Потом соскользнули к Лизиному петербургскому житью. Не смей трунить, противный Сережка! У тебя на уме только шахматы да глупые математические формулы. А вот если б ты услышал «Закливание огня» в концертной транскрипции профессора Брассена... И про студента Николая Александровича Блинова тоже заговорили, о каких-то нелегальных его заботах.

— Ах вот как... — Дегаев ухмыльнулся: — Ну, семейка-то наша, а?

— Да, — ответила Лиза, — он тоже серьезный революционер.

4

В ледовых трещинах ходила жадная вода. На задворках помирали матерые сугробы. В полдень чувствительно грело. Вечерами, однако, было свежо.

Дегаев шел по набережной. Уже темнело, приходилось напрягать зрение, чтобы следить не только за студентом, но еще и за его спутником, долговязым унтер-офицером. Решать надо — брать на себя «голубя» или не брать.

А унтер Ефимушка уже смекнул: «Пока-азывают!» Стало быть, другой, вон тот, позади который, головастый, и почту теперь примет, и деньгу теперь кинет. Пускай! Тот ли, иной ли, хрен с ними. А к «показыванию» ему, Провоторову, не привыкать стать: чуть не месяц, как на смотру, шлендал в Архиерейском переулке. Все-то они, эти революционисты, проверяли его. Осторожные, черти, на своем молоке обжигаются, на нашу воду дуют.

Десять лет, одиннадцатый служил Провоторов в Отдельном корпусе жандармов. Долго тянул лямку в казармах на Надеждинской, храбрость в перестрелке выказал, когда типографов в Саперном переулке брали. А в марте восемьдесят первого, как царя порешили, отослали его в Петропавловскую крепость — самых, значит, отчаянных злодеев стеречь. Ничего, справно стерег. Вон они, шевроны, один золотой, другой серебряный: начальством отмечен беспорочный унтер Ефим Провоторов. И такого навидался, такого наслышался, хоть век сказывай, не перескажешь. Но — молчок, язык проглотил по долгу присяги.

Крепость-то лишь прикидывалась: вот, дескать, одели меня камнем, затворили засовами, решетками, ни слуху ни духу. А послужишь, поймешь: так-то оно так, да не совсем. Трава сквозь камень проклюнется, человек и железо источит.

Это ведь случай случайный, что его, Ефима, в Алексеевский рavelин не определили. Он все время в Трубецком бастионе. А в рavelине-то окажись, состоять бы ему теперича вместе с рavelинской командой под военным судом. Там этот арестант, из секретных, который под номером пятым значился, ведь он, что же? Годы изжил, в оковах, на цепи, говорят, гнил, ан слово за слово обкатал-таки команду. Слушались его ровно господина зрителя. Отчего ж? Оттого, говорят, великая в нем сила правды заключалась. Да и глянет — аж душа замрет, и баста, попробуй не подчинись. Верняком бы сбеги, когда б не открылся заговор. Ребята теперь под караулом, осудят соколиков: кому каторга, кому дисциплинарка, валяй, брат, по всем по четырем. Сам же арестант кончился, кажись, еще до Рождества. Вот тебе и «сила правды»... Какая в ей сила? Хреновина одна. А вот деньжищ от секретного арестанта в команду прорва перепала, вот те и сила правды...

Темнело. Звонче делался шаг. И не слышалась уж капель, только где-то, не разберешь где, осторожно потрескивало. Линии Васильевского острова упирались в набережную, как темные каньоны. Оттуда несло застояв-

шимся, нечистым. Чудилось, Нева вздувается подо льдом, ширит разводья. Блики фонарей лежали на реке то недвижно, мертво, а то вдруг оживали, шевелились.

В сущности, кой черт смотреть «голубя»? Дегаев не колебался: Провоторов был бесценной находкой. Такой же, как некогда два солдата из команды Алексеевского равелина, что передавали записки «секретного арестанта номер пятый», записки Нечаева. Дегаев помнил, как Исполнительный комитет «Народной воли», как Желябов и Перовская, порицая Нечаева за давнее, за мистификации, восторгались несокрушимостью его духа. Дегаев помнил, как замышлялся побег Нечаева и как Денис Волошин пытался осуществить безумный побег. Волошин, смельчак в пальто офицерского покроя, со щегольской тросточкой и в котелке, сдвинутом на затылок. Пробрался в крепость, чуть не в равелин проник, но был застигнут, его преследовали, и он в темноте угодил в невскую прорубь... Нечаев не дождался воли, умер... Все это было, все это сплыло... А долговязый — находка бесценная. Особенно теперь! Вера Николаевна в бастионе. Кой черт смотреть «голубя», пора бы чайком да водочкой побаловать... А надо отдать должное Блинову, его друзьям: ловко завязали сношения с Трубецким бастионом. Впрочем, главная тут заслуга Златопольского.

К Златопольскому испытывал Дегаев уважение и неприязнь. Последнее, пожалуй, в большей степени, нежели первое. Познакомились они два года назад здесь, в Петербурге. Златопольский был введен в Исполнительный комитет и этим, сам того не подозревая, больно задел Сергея Петровича.

О членстве в комитете Дегаев мечтал неотступно. Ему казалось, что он заслужил, достоин «высокого партийного положения». В обществе — и среди сочувствующих, и среди враждебных «Народной воле» — Исполнительный комитет, неуловимый и карающий, грозный и вездесущий, почитался чуть ли не подпольным правительством России. Дегаев не без труда скрывал свое нетерпеливое, жаркое желание. Он не раз сетовал на невнимание к себе, но Желябов и Перовская оставались глухи к его намекам. Не пугались ли они огонька честолюбия, которое нет-нет да и вихрилось в душе отставного штабс-капитана?.. А этот Златопольский, едва появившись на питерском горизонте, заполучил членство в комитете. Не откажешь ему в сметке, в решительности не откажешь, а все же мог бы послушать и в «нижних чинах».

Дважды Дегаев имел с ним дело по семейным, так сказать, обстоятельствам. К нему обращался Сергей Петрович, выясняя, кто такой есть Лизин ухажер, увязавшийся за сестрою на Семеновском плацу. Златопольского поставил Сергей Петрович в известность о «подходах» Судейкина, и это он, Златопольский, санкционировал Володину контршпионскую деятельность, из которой, увы, вышел пшик. Теперь Дегаев как бы даже и не вспоминал, что сам настаивал на братниной связи с инспектором; теперь Дегаеву хотелось думать, что всему виною был именно этот ушастый одессит, и Сергей Петрович так и думал. Однако прошлогодний арест Златопольского искренне опечалил Дегаева. Но не душевно, а скорее из общих, практических соображений. И при этом Дегаев запоздало укорил себя в неприязни к товарищу. Впрочем, раскаяние это объяснялось, пожалуй, тем, что Златопольский сошел со сцены.

Мечтая о членстве в комитете в самую сочную пору его могущества и деятельности, Дегаев с помощью Фигнер стал членом, в общем-то, уже и не существующего комитета. Предстояло воссоздавать, предстояло возрождать. И Дегаев заявлял молодым: надо воссоздавать, надо возрождать. А молодых, рвущихся в бой, оказалось, к удивлению, не так уж и мало...

Дегаев прибавил шагу. Обгоняя Блинова, зажег папиросу, подал условный знак, и Блинов шепнул унтеру: следуй за этим господином во фроловский трактир.

5

Унтер был прав, рассуждая о траве и камне. Склепы, созданные для медленного умерщвления, для тихих и буйных помешательств, для самоубийств, неукоснительно выполняли свое предназначение. Но трава, пусть блеклая, чахлая, сиротская, осиливала железо и камень.

И человек противился безмолвию, которое сравнивал с гробовым, и одиночеству, для которого не умел найти сравнения.

Застенок, этап, каторга так прочно и кряжисто втиснулись в наше государственное бытие, что и пословица, будь она проклята, народилась: от тюрьмы не зарекайся. Быть может, никакие другие заключенные во всем свете не выказали столько изобретательности, столько изощренности, сколько выказали русские.

Тут было и старое, как сама тюрьма, перестукивание, несложная азбука. И записочки, нацарапанные обгорелой

спичкой или оловянной пуговицей от кальсон. И отчеркнутые ногтем буквочки в строках какого-нибудь «душеспасительного чтения». И узелки на нитках из основы холщовых портянок. И условные зарубки на рукоятке деревянной лопаты, которой узники перебрасывали с места на место песок в тюремном двореке. Ни карцеры, ни лишения прогулок, ни цепи не могли удержать заключенных от общения друг с другом. Как голод, как жажда — либо утолишь, либо околеешь.

Но высшим, но самым желанным было общение с волей, с теми, кто дышал и ходил, кто еще находился «там». Требовался «голубь», почтальон-посредник, некий субъект, приставленный, чтоб держать тебя взаперти, тут Ефимушка требовался.

Ох как нужен был «голубь»! Златопольский ничего бы, кажется, не пожалел. Он слушал шаги, голоса солдат, сменявшихся в карауле. Он знал нечаевскую историю, знал, что и в Трубецком бастионе можно найти «голубя». Посредник чудился в одном, в другом, в третьем. Но кто же? Кто? Он искал, приглядывался, принюхивался, взывая к своему инстинкту опытного конспиратора.

На шпиле собора парил архангел с трубою. Когда вострубит архангел? Что-то происходит на воле? Хоть бы клочок газеты, хоть бы обрывок. О если б он верил в грозного иудейского бога! Он верил в случай....

Был июль. Как некогда Нечаев, слышал Златопольский свистки пароходов на Неве, пронзительные бодрые свистки, зов плещущего мира.

Вечером вошел в камеру унтер с двумя шевронами за беспорочную службу, малый лет тридцати, долговязый, круглорожий. Этих назначали для слежки и за арестантами, и за караулом. Этих пускали в камеры важных арестантов на суточное дежурство. Эти почитались отборными из отборных. Они обязаны молчать, как стены. Они обязаны ходить, как заведенные. Они воплощают Неумолимость.

Унтер молча ходил по камере. Златопольский тоже ходил и тоже молчал. Обоим было душно. Унтер расстегнул крючочек мундирного воротника. Златопольский сбросил халат. Обоим хотелось пить.

Они ходили из угла в угол.

На Неве посвистывали вечерние пароходы.

— Садитесь, пожалуйста...

Любезный хозяин? Глупо, смешно. Унтер не сел и не ответил, но что-то намекающее в лице его почудилось Златопольскому, и арестант добавил:

— Жарко, можно и отдохнуть.

Унтер выразительно покосился на дверь. Шерохнул «глазок»: подглядывали из коридора... Они опять ходили молча. И вдруг Златопольский, как по наитию, назвал свое имя. Унтер не обязан был знать его имени, унтеру это запрещалось, он должен был знать его номер, соответствующий номеру каземата: шестьдесят второй. Но унтер кивнул, и кивок означал: «Запомню!»

— Вы давно в службе? — тихонько спросил арестант.

— Могут услышать, — суфлерски ответил стражник.

И это «могут услышать» решило все. Златопольский рывком отвернул кран, вода бурно засипела. Златопольский опорожнил ковшик и еще один, без передышки... Потом арестант и стражник обменялись несколькими торопливыми словами. Суть была не в словах. Суть была в том, что они были произнесены.

Господи, как он пережил двое суток ожидания? И вот опять в камере номер шестьдесят два дежурил унтер-офицер, награжденный шевронами за беспорочную службу.

— Мартыновский, Зунделевич, Тригони, Кобылянский, — шептал Ефимушка.

Он словно бы рекомендации показывал. Народовольцы, названные им, содержались на каторжном положении здесь же, в Трубецком бастионе Санкт-Петербургской крепости.

Всем им услуживал Ефимушка Провотворов. Однако конспиративных адресов уже не было, а Златопольский, «свежий», имел такие явки, которые, как он надеялся, пока не провалились. Следовало торопиться. И не следовало торопиться. Он не смел рисковать. Он должен был рискнуть.

Еще одно дежурство, и прямой, в упор, вопрос «Не отнесешь ли записку в город?» Унтер трудно, как мужик на торгах, молчал. Потом ухнул: «Две тыщи!»

Не сумма изумила, все равно таких деньжищ не было, изумила хватка Ефимушки. Не играет в сочувствие «несчастливым», а ребром: две тыщи — и шабаш. У Нечаева в рavelине солдаты действовали «по совести»: это уж после Нечаев просил товарищей ссужать их деньгами, да и то небогато, чтоб не запили. А этот — малый не промах: плати, и баста.

Златопольский не торговался. Была не была, лишь бы начать. Другое неотступно мучило: а не ставит ли дошлий унтер и на Бога, и на черта, не переметный ли, куда как прыток, а ведь знает, каково придется, коли накроют.

Ничего еще, в сущности, не произошло, но Златопольскому уж в камере просторнее. Слабенько, но будто дунул

ветер воли. Нет, не грезил о побеге, в голове роились планы постоянных сношений «мира мертвых с миром живых». В подпольных изданиях, в заграничных изданиях виделась рубрика: «Письма из Петропавловской крепости». Пусть узнают люди о бастионном режиме, пусть «Письма» послужат революции, пусть стучат в сердца спящих, вызывая гнев и сострадание, ибо сострадание и гнев ведут за руку Действие.

Все это хорошо, стройно уложилось в голове Златопольского, потому что он уж несколько переменялся в тюремных глухих стенах. Он верил, что сострадание непременно предполагает действие. Он не хотел принять в расчет разрыв, дистанцию, какие сохраняются между состраданием и опасным действием у людей, поглощенных хлопотами повседневности. Но разве из этого следовало: не стучите, ибо не отверзется?

Он уже не перекладывал с места на место песок бессмыслицы, как перекладывал гимнастики ради речной песок в тюремном дворе. Простеньким шифром составил краткую записку, адресовал легальному, студенту Военно-медицинской академии, — потянул первое звеньишко длинной путаной цепочки.

Полетел Ефимушка на Выборгскую, отыскал студента, такой оказался мозглячок. Передал, исполнил в точности. Правда, арестант номер шестьдесят два не сулил тотчас тыщи, но вроде бы и намекнул. Оно понятно, заломил-таки Ефимушка.

Однако надо ведь и в его положение вникнуть. Не шутки шутит — или голова в кустах, или... У него свое на мушке. Аннушка в полюбовницах, ах, малина-баба, так это они сладко сладились, пора и под венец. Да вот Аннушка медлит. Сперва уж так-то, мой ясный, расстарайся, чтоб нам, говорит, собственную торговлишку завести, надоело, говорит, мне мадамочек обшивать. А расстарается Ефимушка, тогда уж мундир долой, из крепости долой, его высокоблагородию смотрителю Леснику под козырек, прощайте, господин майор, был у вас, дескать, унтер Провоторов верный слуга, а теперича кум королю, сват министру. И заживут они с Аннушкой, совет да любовь. Вот у него какой прицел.

Преступники государственные, хоть и не злодеи вовсе, как начальство толкует, но распробестили, а только и он, Ефим Провоторов, тоже не лыком шит. Понимает: и на старуху бывает проруха, не ровен час обремизишься, во сто глаз и за унтерами присмотр. Ну, на такой-то случай...

Ха-ха! Прозапасный ход имеется, не лыком шит Ефимушка, не прост. Ему бы поскорее расстараться, как Аннушка-умница наставляет, да и концы в воду. А уж лавочку в низке они приглядели, хороша лавочка, в Архиерейском переулке, аккурат там, где Аннушка квартирует. Ну заживут, эх, заживут, совет да любовь.

Поначалу его все испытывали, в Архиерейском переулке рассматривали. Да и он, не будь плох, Аннушку подпускал: последи-ка, куда вон тот господин стопы направил. И две-три записочки Ефимушка припрятал, не отдал. Тоже, стало быть, если заминка, нате, мол, вашескородь, я это, Богом клянусь, для пользы службы. А двумя тысячами, правда, лишь по губам мазнули. Ладно... Полегоньку съехал на пятьсот, на том и уперся всеми копытами. Получал в рассрочку четвертными, получал и красненькими — прикапливал.

Обе стороны держались начеку. Но «голубиная почта» действовала, в общем-то, исправно, словно бы городская, однако в отличие от городской, минуя «черный кабинет», перлюстрацию минуя. И газетки объявились в Трубецком, и вечное перо доставил Ефимушка, и писчую бумагу.

Снега обкладывали крепость. Долгие, то выжные, то звездные ночи влеклись над крепостью. Стужа пронизывала камень бастионов. Дымили печи, отзванивали куранты. И в высокой пасмурности коченел на шпиле архангел с трубою.

Не было в «мире живых» решительной, сердитой Веры Топни Ножкой, неутомимой Веры Фигнер. Тихомиров — это авторитет, но не сравнишь его с Верой. Как допустили? Как не уберегли?.. Снег, снег... Молчит архангел. Вере грозит смертная казнь. Обмер Златопольский, когда Провотворов шепотом: «Здесь, в бастионе-с». В тот день он ни о чем не говорил с Ефимушкой.

Потом он послал ей привет, несколько ласковых слов. Она отозвалась «проверочной» запиской: два-три наводящих вопроса. Он ответил. И получил шифром: Дегаев бежал из тюрьмы, еще не все потеряно.

Дегаев, Сергей Петрович Дегаев, отставной штабс-капитан артиллерии. Он, Златопольский, ввел его в кружок кронштадтцев. «Вываренной тряпкой» ругнул Дегаева кто-то из товарищей. Гм, «вываренная тряпка...». Исполнитель, это да, только вряд ли дождешься от него инициативы, энергии. Но, может быть, ошибка? Бывает и так. Вере лучше знать... И все ж он не разделяет Вериного оптимизма. Однако, если Дегаев бежал, сумел бежать, значит, есть

в нем искра. Дегаев бежал, а Вера здесь, рядом, на Вере синий халат, желтые кожаные коты, она в том одеянии, в котором ходят «состоящие под следствием»...

Фигнер привезли в бастион на другой день после «смотрин» в кабинете генерала Оржевского. Генерал еще изящно рысил по гостиным, еще рассказывал, пощелкивая пальцами, как она срезала графа Дмитрия Андреевича, а глухая карета уже доставила «ужасную женщину» в крепость, и уже гремели шаги и железо, и уже надели на нее мерзкую, травленную потом дерюгу. Генерал-лейтенант еще скакал по гостиным, его сиятельство граф Дмитрий Андреевич, затворившись дома, услаждался Горацием, а директор департамента полиции уже фиолетово, тонко и строго, без завитушек, выставил свое имя под секретным документом. В том документе, «совершенно доверительном», предписывалось коменданту Санкт-Петербургской крепости иметь строгое наблюдение за наиважнейшей государственной преступницей.

В каземате была она с середины февраля восемьдесят третьего года. И с февральских тех дней Златопольским владела мысль о побеге: ее, Вериню, побеге из крепости. Он сознавал не трудность, нет, почти невозможность, почти безумие своих проектов. Он сознавал, что те, кому он пишет, слишком неопытны, слишком малосильны. Но писал. Писал намеками...

Нынче, апрельским стылым вечером, укрывшись в задней комнате черного трактира близ Андреевского рынка, Ефимушка передал одну из тех записок господину, которого прежде знать не знал.

Господин был недомерок, тщедушный, с большой головою, с угрюмым взглядом темных глаз. Ефимушке он не понравился. Впрочем, что ж? Не детей крестить... Не охнув, выложил господин полсотенки. Видать, тороватей того, прежнего, из студентов. Выложил, следующее свидание назначил. И вежливо так отбыл-с.

6

Дом пятьдесят шесть дробь два на углу Большого проспекта и Гагаринской был на замете у департамента полиции — «по причине проживания лиц, скомпрометированных в политическом отношении». Да сами посудите: сперва библиотека принадлежала писателю Павлу Засодимскому; потом писателю Александру Эртелю; там же одно время снимал комнату и беллетрист Николай Златовратский. Хоть

легальные, хоть при паспортах, но за версту неблагонамеренностью несет. А к ним кто? Универсанты, технологи, бестужевки, разных журналов сотрудники. С недавнего времени библиотека досталась братьям Карауловым, Николаю и Василию. Жена Николая, слушательница врачебных курсов, хозяйство вела, прислуги Карауловы не держали, скромно жили. Однако подполковник Судейкин прилепил филеров к угловому дому на Большом и Гагаринском, и вот уж, помимо прочих, замелькал в филерских суточных донесениях некий господин в английском суконном пальто с воротником-шалью, в круглой енотовой шапке с синим верхом. Господин этот — сыщики меж собою нарекли его Головастиком — приезжал на извозчике, держался спокойно, никогда не юлил проходным двором... Ага, вот он, собственной персоной. Ишь, прет, не оглядывается, ровно барин какой.

Из трактира близ Андреевского рынка Дегаев поехал на Петербургскую сторону. Был уже поздний вечер, ясный, в молодых звездах.

На Гагаринской, отпустив извозчика, Дегаев, не озираясь, не осторожничая, вошел в парадную, взбежал по лестнице, позвонил условным звонком.

В читальне он не показывался, а показывался лишь на тесных сходках в квартире хозяев библиотеки братьев Карауловых. Отворил ему нынче старший, Николай Андреевич, человек плечистый, гулкоголосый.

Ах, мирная картина! Круг от лампы, блики самовара, белое запястье женщины, опустившей стакан в полоскательницу, а в серебряной сахарнице — твердая голубизна колотого сахара. И наплыв папиросного дыма. Мирная картина... «О в самом бы деле», — с внезапным и грустным сожалением подумалось Дегаеву.

Он знал собравшихся. Филолога и поэта Якубовича: «Так без жизни проносится жизнь вся моя: поглощаемый мутною тиной, я борюсь день и ночь, сам себе — и судья, и тюрьма, и палач с гильотиною...» Ну да, да, а молодость свое берет — румянец-то ровный, юношеский, неподвластный горькой думе... И милейший Стась Куницкий тут же, огненным взором брызжет, воплощенная пылкость этот Стась Куницкий, в жилах его горячая, как пунш, смесь польской и грузинской крови. Он Дегаеву вроде бы крестником: Стасю передал Сергей Петрович нелегальный кружок в Институте путей сообщений... Кто еще? Ага, в креслах, поодаль, как будто в гоголевской шинели с поднятым воротом, не улыбчивый Флеров. Крупный, породистый

нос, выпуклая, будто вызывающе развернутая грудь. «Кто знает, господа, не перейдет ли в скором времени дело революции в руки рабочих?» Это он сказал, неулыбчивый Флеров. А вот и Блинов. Блинов демократически пьет чай — с блюдечка пьет, вытянув губы. Блинов — будущий горный инженер (ежели не арестуют) и будущий зять (ежели Лизонька не отвергнет, что, впрочем, весьма сомнительно-с).

Дегаев принял от хозяйки стакан чаю, но еще не поставил на стол, как почувствовал пристальный взгляд и поднял голову.

В стакане тонко и дробно зазвенела ложечка; Сергею Петровичу почудилось, что где-то там, на улице, проехала тяжелая фура, и вот здесь, в комнате, этот дробный, тонкий звон. Он поставил стакан.

Ювачев? Дегаев смотрел на отрочески тонкого загорелого офицера. Неужели Ювачев? Неужели один из тех офицеров-южан, с которыми он, Дегаев, познакомился в Одессе и в Николаеве? Значит, уцелел?

Ювачев, сын мелкого придворного служащего, был похож на романтических моряков из увлекательных книжек капитана Марриэта: хорош собою, четкий очерк рта, бронзовость, которой одаривают солнце и ветер морей.

Ювачев стоял у зашторенного окна, спрятав руки за спину.

— Последний из могикан? — печально улыбнулся Дегаев.

— Вам уже известно? — быстро и неприязненно спросил прапорщик.

— Следовало ожидать, — вздохнул Дегаев. Прибавил значительно: — Увы, следовало. Да-с.

— Отчего же «следовало»? — Ювачев голосом подчеркнул это утвердительное «следовало».

Дегаев пожал плечами, словно удивляясь недогадливости молодого человека. И объяснил:

— Предательство. Я уж говорил: предательство. Я первый, верно, об этом сказал. Еще когда у Софьи Григорьевны... Ну да вы об этом знаете, надеюсь.

Дегаев взял чай, негромко заговорил с публикой.

Ювачев не слушал. Достал папиросы и спички, но не закурил. Он задумался, на душе у него было смутно. Повернувшись, он лбом раздвинул шторы, приник к черному слепому окну.

Недавно в Одессе Ювачев впервые увидел Дегаева, представителя центра. Да и товарищи его, офицеры флот-

ские и армейские, тоже, кажется, впервые встретились с этим невзрачным, хмурым Сергеем Петровичем.

Тогда, в Одессе, Дегаев внушал членам Военной организации необходимость возобновить террористические действия. Террор замер вместе с эхом бомб на Екатерининском канале, бомб первого марта восемьдесят первого года. Террор словно бы иссяк вместе с казнью императора Александра Второго и казнью террористов на Семеновском плацу. Возобновить террористические акты, по мысли Дегаева (стало быть, и центра), значило возвестить, что «Народная воля» существует, действует.

Тогда, в Одессе, как казалось Ювачеву, Сергей Петрович был весьма категоричен и нецеремонен. Он беседовал с каждым офицером отдельно. Брал об руку, уводил в угол. В этом «уводе» чудилось Ювачеву что-то паучье. И он, штурман Ювачев, довольно резко возразил Дегаеву: понуждать к террору неуместно, намерение метать бомбы должно исходить, так сказать, изнутри, а не под чарами чужого красноречия.

Дегаев отвечал небрежным жестом. А на упрямство Ювачева: «Серьезное требует серьезной подготовки» — и вовсе отмахнулся: «Пустое! Если и сорвется на полдороге, и то уж дело, хорошо, ибо жандармы узнают, что опять надвигается гроза». Ювачев вспыхнул: «Я, как офицер, как член Военной организации, у которой целью подготовка войска, пропаганда, я, сударь, не могу и не хочу в какие-то четверть часа принять определенные обязательства!» Дегаев рассердился и принялся за другого — опять поволок в угол... А Ювачеву подумалось: «Ну, брат, эка ты легко распоряжаешься судьбами! Раньше-то я слышал про пушечное мясо, а нынче вроде бы слышу — про жандармское...»

Приникнув лбом к черному слепому окну, прапорщик чувствовал и смущение, и недовольство самим собою. И какого дьявола он сейчас сунулся со своими намеками: почему, мол, следовало ожидать разгрома Военной организации? Сунулся, и пожалуйста-с — щелчок по носу, как щенку: «Я говорил — предательство». И ведь верно. Он говорил. Он первый говорил о предательстве. Софье Григорьевне Рубинштейн напрямик о том объявил. Верно. У нее скрывался после побега из тюрьмы, ей и сказал про предательство. Именно Софье Григорьевне. И это тоже понятно: вот уж кто достоин безусловного доверия, так это она, Софья Григорьевна, легальная жительница Одессы и покровительница всех нелегальных, родная сестра знаменитых музыкантов и сама музыкантша. Говорят, у

нее частенько находил кров Желябов. И, право, неудивительно, что Дегаев, весь еще в огне, примчался к Софье Григорьевне — отдышаться, сменить одежду, одолжить денег. И, действительно, тогда же сказал ей, что из жандармских допросов вынес убеждение: предатель в центре партии. Он, Дегаев, сказал ей первой, и от нее услышали другие. А Дегаев, взяв у Софьи Григорьевны адреса, приехал к ним, в Николаев. И действовал энергично. И это после тюрьмы, после страшного напряжения. Но едва он уехал, к госпоже Рубинштейн вломилась полиция: обыск, все вверх тормашками. И опять-таки ничего удивительного: где ж прежде всего искать беглеца? Ничего удивительного, штурман. На месте полиции вы поступили бы точно так же. Однако позвольте: эти аресты в Николаеве по следам Дегаева? Стало быть, сами и виноваты: плохо конспирировали... Ну а этот слух? В Одессе, за ужином у какого-то интенданта жандармский полковник, захмелев, хвастливо намекал о крупном предательстве. Впрочем, нельзя не признать, что жандармы — источник мутный, отравленный. Есть некий полицейский прием: темные слухи пускать в публику. Так-то оно так, а все ж одесские товарищи осторожности ради известили харьковских. Харьковчанам виднее, там и Вера Николаевна обреталась, а Фигнер ведь давно и хорошо знала Дегаева. Ну-с, харьковские и ответили: стыдно, дескать, клеветать.

Но сейчас, увидев Дегаева, это серое, нездоровое лицо, услышав этот голос, напомнивший ему о «жандармском мясе», сейчас штурман Ювачев будто б помимо воли поддался прежним подозрениям. И получил щелчок по носу. И поделом!

Ювачеву было нехорошо, обидно. Он чувствовал себя и правым, и виноватым, он чувствовал себя скверно. Папироза смялась, табак крошился. Прапорщик взял другую, чиркнул спичкой. На черном окне обозначился и легонько вытянулся огонек. «Как якорный, когда видишь судно с берега», — рассеянно определил штурман.

А Дегаев, пригубивая стакан крепкого чая, говорил:

— Теперь, господа, надо практически. Златопольский прав: ее надо спасти. Разумеется, сил и средств у нас недостача. Но спасти надо. Далее вот что... Не знаю, осведомлены, нет ли... Хочу вам напомнить. Вы знаете эту историю с Нечаевым? Я знаю подробно. Нечаев был готов совершенно. Но мы шли к первому марта. На оба предприятия нас не могло хватить. Мы сделали Нечаеву прямой вопрос: он или центральный акт? Он или казнь царя? И

Нечаев ответил, как подобает революционеру: просил отложить свой побег до совершения центрального акта. Одну минуту, господа! Для меня, как и для вас, Вера Николаевна — это... это... Ну да вы понимаете. Тут нет двух мнений. Однако могу поклясться, что на вопрос, подобный тому, какой был задан Нечаеву, Вера Николаевна...

— Мы не готовим! — заволновался Куницкий. — Мы ведь и не помышляем о центральном акте! Не так ли, господа?

Сергей Петрович, ощутив, как толчок, вопрошающие взгляды, медленно усмехнулся:

— Согласен, Стась. Ты лишь не прибавил: «пока что». Пока не думаем, пока не готовим. А разве мы забыли, что террор... Полагаю, господа, не забыли. — Он сунул руку в карман сюртука, выхватил печатные листки, сложенные вдвое. — Этим еще в Михайловской артиллерийской академии запасаю. Вот, — он потряс листками, — вот: инструкция по изготовлению динамита. — Он внезапно заторопился, точно его подстегнули. — Но это не все, господа. Не мне убеждать вас в значении пропаганды. И вот это еще. — Он показал им книжку в ветхом переплете: «Руководство для типографчиков». И снова усмехнулся: — Издано товариществом «Общественная польза»!

Ни на одной здешней сходке не заикался Дегаев о терроре. Никогда не касался «техники» — динамитной мастерской, печатни. Должно быть, приглядывался. Должно быть, взвешивал. Должно быть, примеривался.

Умолкнув, откинувшись на спинку стула, он чувствовал необыкновенное удовлетворение. Он, член Исполнительного комитета, заменяет весь Исполнительный комитет. «Вываренная тряпка»? Они узнают эту «вываренную тряпку»... Будут бомбы. Будет печатный станок.

Сказанное Дегаевым не прозвучало неожиданностью. Ничего нового. Тут было старое. Тут была «Народная воля». Разбитая, повешенная, замурованная. Каждый думал о возрождении, каждый думал о продолжении. Была та особенная минута, когда веришь — началось. Незримый, но явственный переход.

Заговорили разом, перебивчиво. Ювачев бросился к столу, Флеров выдвинулся из мрака. Говорили о Фигнер, о провале последней динамитной мастерской, о запасах шрифта в типографии Академии наук, о студенческом кружке... Дегаев вглядывался в лица. Где-то, в тени его мыслей, опять мелькнула грусть по мирным чаепитиям.

Прощаясь, Дегаев перешепнулся с Флеровым. Николай Михалыч занимался с московскими рабочими, а Златопольский в нынешней записке советует отыскать в Москве некоего Сизова. Не знает ли Николай Михалыч этого самого Сизова?.. Нет, он, Флеров, не помнит такого.

Прощаясь, Дегаев сказал Блинову, что послезавтра навестит Лизу. Не будет ли и Блинов на Песках? Будет? Ну и отлично.

Дегаев пожал руку Ювачеву. Прапорщик пробормотал: «Извините...» Дегаев улыбнулся: «Что ж, я вас хорошо понимаю. Держитесь осторожно в Петербурге, очень осторожно».

7

Свечи горели звездчато, на мгновение будто жмурились. Тогда, тоже на мгновение, мерк огромный иконостас. Мрамор гробниц, белый, как смерть, давил усопших самодержцев.

В Петропавловском соборе служили вечерню. Служба была будничная, нелюдная, священник вершил требу спустя рукава. Блинов томился. Он поглядывал на обстриженные затылки солдат, на прямую спину капитана Домашнева, начальника крепостных жандармов, на рыжеватого блондина в армейской шинели, майора Лесника, смотрителя тюрьмы.

Собор наводил на Блинова тоску. Его преследовал запах тления. Романовско-голштинско-готторпский погост, вот что такое этот собор... Без церкви на холме, без церкви у дороги русский пейзаж — сирота. Зодчие в опорках чутьем угадывали, где срубить храм. А этот? Знатоки находят пропорции, грозную прелесть, но Блинов чует — смердят гробницы. Кто-то ему говорил, что сторож за мелкую мзду пускает гимназистов; перед экзаменом бегут гимназисты, посвященные в великую тайну, бегут, чтобы одним глазом, в какую-то щелку глянуть на императора Павла; веревка повешенного приносит счастье, вид удушенного тоже. А любопытно было бы, а? Да нет, врут, наверное. Чего там увидишь, даже если щелочка есть? Император Павел Первый — табакеркой в висок да шарф на шею. Трагедия или фарс? Что ты знаешь об этом курносом? Только то, что он курнос. Матушку ненавидел, ать-два, прусский шаг, сидел в Гатчине. Нынешний тоже сидит в Гатчине. Здесь их закапывают. А у сторожа губа не дура: служащий во храме от храма и кормится... Служащий в тюрьме от тюрьмы и

кормится, у Ефимушки губа не дура. Рядом тюрьма, совсем рядом, «караулы его величества стоят спокойно». Ефимушка не любит встречаться во храме. «Неспособно, — говорит, — боязно». И точно: вот эти солдаты, вот эти жандармы и присяжные, отставные гвардейцы и старик с крепкой шеей, и майор. Неспособно. Ничего не попишешь — срочная «депеша». Дегаев спешит успокоить Веру Николаевну, успокоить Златопольского. Дегаев преображается, когда говорит: «Наша Вера...» Вот оно, старое товарищество... Ну, поп, будет кадить.

Отошла вечерня. Шаркая, подавался народ к выходу. Солдаты, прихожане из ближних с крепостью улиц. И Ефимушка-унтер выплыл, не глядя на Блинова, но близенько. Неприметно рукой об руку задел, принял депешу и поплыл далее в медленной толпе.

Гаснут свечи, сперва ослопные, большие, меркнет иконостас, жухнут камни окладов, только вот тот, в рубинах, кровавым мраком дотлевет, и скоро уж, инвалидно постукивая, сойдутся поболтать погребенные самодержцы. А нынешний-то сидит в Гатчине.

Иоанновские ворота обдавали гулкой стынью. У Блинова холодела спина. На выходе из крепости, в Иоанновских воротах, он проникался колдовским гнетом русской Бастилии и убыстрял шаг, топорща лопатки, убирая руки в карманы.

Стражники втихомолку материли прихожан-богомольцев. Чего тянутся, черти собачьи? По четыре бы, в колонну — марш-марш, без задержки. Не-ет, вольные, вишь... Вот ужо крикнут тебе команду, тогда навались плечом, брюхом навались, скри-и-ип, затворяй Иоанновские до утречка. И в будку. «Караулы его величества стоят спокойно».

Блинов хватил воздух всей грудью. Как вынырнул. А вокруг тьма, дальние огни, и справа, неподалеку ход Невы, широкий, темный. Блинову подумалось о Времени. Неотчетливо, смутно подумалось, вот так, как слышалась Нева, и сразу же мысль скользнула к иному, «маленькому» времени. Он шел во тьму, к огням, быстро шел не только оттого, что торопился на Пески, но и потому, что крепость, как с костылем, гналась за ним длинными тенями, кислой вонью.

А на песках, у Лизы, была Яхненко.

Лиза ей обрадовалась. Ничего петербургского — мало-российская вишня эта Наталья Яхненко. Флегматична немного, но так и пышет здоровьем. Наташа не говорила: «Я страстно отдаюсь искусству», — и не засиживалась в Вен-

ской кофейне; хору Воронежского подворья, что на Васильевском острове, предпочитала «Гей, не дивуйте, добріі люди...»

С Дегаевой держалась она дружелюбно, но сердечных отношений у них не складывалось, а Лизе хотелось нравиться Яхненко, и эта Наталья сдержанность беспокоила, даже злила ее. У Лизы были товарки, а она ведь так нуждалась в интимной подруге после того как познакомилась с Блиновым.

Наконец-то Наташа на Песках! Впрочем, Лиза подозревала, что причиною тому последняя книжка «Отечественных записок». В читальне уже составила очередь. Наташа не поспела, замешкалась, ждать ей не дожидаться. А Лиза возьми да скажи: есть, мол, только приходи. А книжки-то и нет у нее. Сболтнула, с языка сорвалось. Лизе и весело, и неловко — попалась.

Нет, Наташе вовсе не по душе ни Цезарь, ни Дьяконова. И пусть Лиза их не защищает! Разве так можно? Антон Григорьевич остался недоволен. Да и как же? Соло трудные, спору нет, но разве одной, пусть отличной выучкой возьмешь? Если б Лиза послушала, как певали у Софьи Григорьевны... А Цезарь и Дьяконова, конечно, успешливые консерваторки, однако у Софьи Григорьевны...

Имя это Лиза уже слышала. Слышала здесь, в этой комнате, где у них гостиная. (Над фортепьяно пыльная гипсовая маска Бетховена, напротив, на другой стене, дагерротипный портрет покойного статского советника Дегаева; в сем *vis à vis* домашние не обнаруживали ничего комического.) Имя Софьи Григорьевны произнес здесь однажды Андрей Иванович. Да, да, Андрей Иванович Желябов. Он сидел в потертом дедовом кресле. Он был одет элегантно. Ему, верно, все было бы впору — и гвардейский мундир, и купеческий кафтан, и мужицкая рубаха распояскою. В тот вечер он был трогательно задумчив. С ним пришла неизменная его спутница. В этой женщине, похожей на девочку-подростка, Лиза не находила ничего примечательного — одутловатые бледные щеки, высокий, не женский лоб. Лиза недоумевала: какая неподходящая пара. Они приходили, в сущности, к Сергею. Сергей держался с ними почтительно: скрывая почтительность, делался шумен, развязен. Лиза догадывалась: гости — крупные революционеры, может, члены Исполнительного комитета. (Их подлинные фамилии узнала она, когда в здании окружного суда на Шпалерной шел процесс первомайцев. В последний раз она видела Желябова и Перовскую на Семенов-

ском плацу.) Андрей Иванович, вот кто восторгался госпожою Рубинштейн. Лиза тогда играла Шопена. Желябов вежливо похваливал, потом, оживившись, заговорил о Софье Григорьевне...

— Да, они дружили, — молвила Яхненко. — Андрей Иванович часто бывал у вас?

Знакомство с Желябовым давало Лизе превосходство, чувство причастности к чему-то значительному и необыкновенному.

— Ты... ты тоже его знала? — ревниво спросила Лиза.

У Яхненко не было желания открываться Дегаевой, с отстраняющим лицом Наташа ответила:

— Хорошо знала.

(И тут же подсадовала: зачем рассказывать Дегаевой, выйдет что-то банальное, ничего эта Дегаева по-настоящему не поймет. А с Желябовым виделась Наташа и после разрыва. Ни полусловом не корила за то, что оставил семью, сыночка оставил. Но сестру жалела. Ольге сострадала. Андрей Иванович отыскал Наташу в Петербурге, в консерватории. Он любил приходить к ней, но всегда один, без Перовской. И Наташа сознавала, что именно ей, Наташе, хочет Андрей Иванович объяснить причины разрыва с Ольгой, но Наташа не могла и не хотела слышать его оправданий. Теперь уж это давняя история. Нет на свете Андрея, и нет той женщины, что была ему и женой, и соратницей. Жили вместе, умерли вместе. После казни Желябова Ольга сменила фамилию, вернула себе прежнюю, девичью. И племянник теперь не Желябов, а Яхненко. Жаль сестру, не задалась жизнь.)

— О, — сказала Лиза, фальшиво улыбаясь и грозя пальцем. — Ты его знала? До-га-ды-ва-юсь.

Наташа вспыхнула.

— Ничего ты не понимаешь!

Лиза не обиделась, рассмеялась, глядя на Яхненко. В сравнении с такой вишенкой Перовская была дурнушкой, и Лизе это было не по-хорошему приятно.

— Душно у вас, — сердито сказала Яхненко. — Пора мне. Ты журнал обещала.

— Ах, как же, как же, — всполошилась Лиза, — да вот беда... Господи, вот память! Прости, милая, выклячил один знакомый, божился отдать скоро. Прости, пожалуйста.

У Яхненко очи рассверкались грозою, но тут — звонок в прихожей, и Лиза, прикусив губу, заторопилась выпроводить гостью.

Лиза нынче Блинова не ждала, а по звонку-то судя, Блинов пришел, Лизе же совсем не хотелось, чтоб Николай увидел Наталью Яхненко.

Блинов поклонился. Наталья хмуро, едва кивнув, прошла к дверям, а Блинов посмотрел ей вслед так, что у бедной Лизы екнуло под ложечкой.

Она хлопнула дверь, а этот противный Блинов как ни в чем не бывало спросил, нет ли Сергея Петровича.

— А! — вспыхнула Лиза. — Так вы не ко мне, сударь?

Он, смеясь, взял ее за руки.

— Оставьте! Оставьте! — сердилась Лиза, не удерживая счастливой улыбки.

Брат Сергей и Блинов, должно быть, виделись нередко. Лизе это нравилось. Пусть сблизятся, так возникает родственность. Сближение брата и Николеньки казалось ей какой-то гарантией... Да вот нынче хорошо бы обойтись без Сергея.

Они прошли в комнату, сели рядом на диване. И тотчас услышали взманивающую, предательскую тишину пустой квартиры, и Лиза быстролетно, точно воруя, глянула на Блинова.

От тишины, от самих себя их спас Сергей Петрович. Блинов поразился: тусклый, линялый, словно бы подменили Дегаева, совсем иной, нежели третьего дня у Карауловых.

— На скорую руку, Лизонька, с ног валюсь. Там и бутылочка. — Он отдал Лизе сверток, сказал Блинову: — Не откажетесь? Иногда почему же... — И спохватился: — Видели?

— Видел.

— А молодец, молодец этот унтер, — ухмыльнулся Дегаев.

— Дошлый, — согласился Блинов. — Уж такой дошлый, что как бы и не того...

— Мне тоже, знаете ли, разэдакое взбредает. Да только осторожность осторожностью, но и крайность, знаете ли... Ко всему, ко всем недоверие. Горький опыт, н-да-с.

Лиза вышла в кухню, Дегаев поманил Блинова.

— Есть некоторые тревожные сведения, — проговорил он негромко и потянул Блинова за край пиджака, приглашая сесть рядом. — Вам надобно уехать из Петербурга. Тсс! Слушайте! На месяц самое большое.

И пока Лиза возилась в кухне, Сергей Петрович объяснил Блинову цель будущего путешествия, назвал явки. Он определил Блинова эмиссаром Исполнительного комитета.

Сели ужинать. Дегаев налил водки. Блинов водку не терпел, от повторной рюмки он отказался. Дегаев пил страдальчески, Блинов с мимовольной брезгливостью подумал о запое, а Лиза затревожилась:

— Ты плохо выглядишь, Сереженька.

Он криво усмехнулся.

— Здоровью моему полезен... Я, знаешь ли, не ангел...
Вышла пауза.

— А, слушай, — произнес наконец Дегаев, словно что-то вспомнив. — Слушай, Лизок. Покорнейшая просьба: в Москву не прокатишься ли?

Она взглянула на него с недоумением.

— Понимаешь ли, — продолжал Дегаев, задумчиво почесывая щеку, — человек нам один нужен, очень нужен, вот какое дело. А нелегального как в Москву пошлешь? Коронация на носу, там землю роют, нюхают на каждом углу.

Никогда прежде брат не впутывал ее в конспиративные хлопоты. Никогда, а тут вдруг без предисловий, непременно. Нет уж, увольте... Но Лиза перехватила взгляд Блинова, устыдилась, даже как будто бы испугалась, ответила поспешно:

— Конечно, поеду, Сережа, как же не поехать...

— Вот и спасибо, милая, спасибо. Я тебе после объясню, что и как. — Он улыбнулся. — А кстати и коронацией полюбуешься.

— Балет и опера вместе, — заулыбался Блинов.

— А может, салют и фейерверк, — сдержанно и веско заметил Дегаев.

Блинов притаил дыхание.

— Неужели?

Но Дегаев как не расслышал. Он еще выпил и нахмурился. Молчание его было угрюмым, почти злобным. Блинову сделалось неловко. Ни на кого не глядя, Дегаев сказал, что хотел бы немного отдохнуть в своей комнате.

Собрался и Блинов. В прихожей Лиза, нервически всхлипнув, припала к нему, быстро и коротко оглаживая его щеку, требовательно зашептала:

— Не уходи! Не смей... Жди... Он скоро... Не смей...

Блинов кивнул, но ему было стыдно, за нее стыдно, и страшно, что она заметит этот его стыд за нее.

У себя, в своей комнате, Дегаев казнил. Негодяй, предатель, мразь, животное. Вот здесь, в этой комнате, ты жил с Любинькой, с Бельшом. Еще и башмаков не изнасил. Млел, глядя, как она стелит постель, как взбивает.

подушки. Она сама чистота, твоя суженая, твоя спасительница. А ты мразь и подлец. Такой женщины нет в мире, она была с тобою в аду и спасла тебя. А ты негодяй, животное... Нагнув голову, он ходил по комнате.

Блинову было нехорошо. Лиза его ужаснула: жадный всхлип, жадный, требовательный шепот. Сейчас он уже не чувствовал к ней никакого влечения. «Прочь, — говорил он себе, — немедленно прочь». И не двигался. Стоя на другой стороне улицы, смотрел, как блуждает тень Дегаева. Прочь отсюда, это непорядочно, она и себя и тебя проклянет. Прочь, говорят. Но ведь обещал. Обещал, не так ли? Бежать, пожалуй, тоже непорядочно. Ах ты размазня, фалалей чертов!

Тень в окне исчезла. Блинов схоронился в подворотне. Неподдалеку тяжело застучал экипаж. Потом стихло.

Дегаев ушел. Он как бы исповедался в своей комнате, грех отпущен. Он больше не думал об этой толстой потаскухе. Он переспал с нею в заплесневелом мезонине, изменил Бельшу, в первый раз изменил. Но грех отпущен, баста. Он шел успокоенный. Он прошел почти рядом с Блиновым.

Тот выглянул из подворотни, ругая себя соглядатаем. Прислушался к шагам Дегаева.

За углом дождалась Дегаева большая карета. Дегаев отворил дверцу, кто-то сказал: «Трогай!» — экипаж покатился.

Блинов постоял с минуту, вернулся в дом, но не успел позвонить — парадная распахнулась. Он увидел Лизины глаза. Почему-то мелькнуло: «Воровка».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

— Почивать изволят, — ухмыльнулся Судейкин. — Вон его окна, во втором этаже. А в швейцарской — замечаете? — свет горит: наши дежурят. Береженого мы бережем...

Дом, что напротив трактира «Малоярославец», солидно спал, с достоинством: в его стенах жил министр внутренних дел и президент императорской Академии наук граф Дмитрий Андреевич Толстой.

А Яблонскому, право, на все наплевать было. Они с Георгием Порфирьевичем ужинали в «Малоярославце», у

Киселева отменная «патриотическая» кухня. Ужинали в кабинете. Вошли (а теперь вышли) не общим, темным ходом.

Большая Морская лежала пустынная, как брошенная. Майская ночь казалась Яблонскому бесцветной, лишенной запахов, как дистиллированная вода. Он чувствовал усталость, равнодушие. А вот «милому Гошеньке» хоть бы что.

Н-да-с, «почивать изволят»... Должно быть, утром их сиятельство будет в Гатчине. Государь выслушает очередной доклад министра. Государь останется доволен: неусыпным радением секретной полиции пресечены сношения Трубецкого бастиона с волей. Государь, конечно, велит судить унтера Провоторова военным судом... Инспектор вновь выказал блистательную расторопность. А ты, брат Яблонский, вновь остался за бортом. Но если завтра не исполнится... О тогда уж, тогда... По правде, Яблонский не знал, что «тогда».

— В три пополудни, — сказал Судейкин, протягивая Яблонскому руку. — И не беспокойтесь.

Он был в летнем пальто, в темных очках, скрывающих взгляд, с толстой тростью, скрывающей длинный узкий стилет.

— Прощайте, — повторил инспектор. — На углу Гореховой ночные извозчики.

В этих расставаниях Яблонскому всегда чудилось нечто унижительное. «Как содержанка», — думал он о себе с вялым, покорным раздражением...

Судейкина не мутило, хотя он воспринял в «Малоярославце» дай бог молодому. Не грех бы и... Ну нет, ныне он — в супружескую постель. Так у него заведено: перед длительной отлучкой он исправный семьянин. А вообще-то не грех на часок в Гончарную. Никакая она не б... И совсем не растратилась в кратком замужестве. Однако ни-ни! Домой. Это уж у него за правило: перед отлучкой, командировкой — никаких «отхожих промыслов». Домой, под супружеское одеяло, перед отлучкой он исправнейший супруг. И так это отраднo — тихонько, на цыпочках — в детскую. Ах, как они посапывают, маленькие, озаренные лампадкой! Волосики, ладошки...

Все отлично, черт подери. Вот уж повезло с этим Яблонским! Недоверчив, капризен, с надрывом, но, ей-богу, незаменим. Плеве согласился принять. Толстой, как все большие баре, полагает, что дело делается шучьим велением. А вот Вячеслав Константинович Плеве ценить умеет-с! Не свысока глядит, понимает.

Теперь коронация близко. «Сюрпризов ждут, сюрпризы будут». А государыня императрица: «Надеюсь на Судейкина». Стало быть, наслышаны, стало быть, знают: есть, мол, на свете инспектор Судейкин. Но коли и после коронации не дадут давно обещанной высочайшей аудиенции, то, уж увольте, не фунтик вам подполковник Судейкин, не играйте с ним, господа!

Вот он теперь выспится хорошо, по-домашнему в супружеской постели, пусть эти олухи в крепости сами расхлебывают кашу. Он им бросит унтера Провоторова — нате, грызите. И больше никого. Разве вот этого... Как его бишь? Приблудного Ювачева. И за каким чертом занесло тебя, прапорщик, в столицу? Николаевским, одесским нечего тут делать! Сидел бы, сударь, в тишке, ничего бы и не приключилось. Ан нет, в Питер, так уж не обессудь — попалась птичка, стой! Взять Ювачева просто — летят, глупенькие, на Петербургскую сторону, к братьям Карауловым летят, как бабочки на огонек. А Карауловых этих — ни пальцем, Карауловых на развод...

Ему было хорошо. Ему даже собственная сейчасняя грузность нравилась. Он сознавал свою исключительность. Ему хорошо было.

А в десять утра Коко Судовский уже отворял дядюшке кабинет, похожий на проходную комнату.

— И пошла писать губерния, — весело сказал дядюшка. — Так, что ли, Коко?

Судовский улыбался. Он дядюшку любил.

— Вот, — сказал Коко, настраиваясь служебно, — это вы давеча наказывали в первую голову, чтобы к приезду господина директора.

Судейкин прочел:

«Директор департамента
Государственной полиции.
Совершенно доверительно

Милостивый государь
Иван Степанович!

В последнее время обнаружилось преступные сношения государственных преступников, содержащихся во вверенной вашему высокопревосходительству крепости, с членами преступного сообщества, находящимися в г. Санкт-Петербурге. Сии сношения осуществлялись при содействии унтер-офицера Ефима Провоторова, каковой...»

Роскошное древо цивилизации плодоносит «исходящими» и «входящими». В бумажных закромах кормятся тьмы. Плавное коловращение бумаг — свидетельство исправности государственного механизма. В бумаге — и причина, и

следствие. Отсутствие бумаг равносильно хаосу. Министерство внутренних дел объемлет своим попечением бытие, посему число здешних «исходящих» и «входящих» математически не определимо.

Судейкин бумаг не терпел. Судейкин к бумагам притерпелся. Впрочем, чаще полагался на память. Памятью он обладал чудовищной. И гордился ею.

Тэк-с, телеграмма из Парижа. Поверх цифр карандашом дешифровщика выставлено: «Лопатин, улица Гей-Люссака, девять, квартира двадцать два». Лопатин? Инспектор ответил бы без запинки: в феврале скрылся из Вологды состоявший под гласным надзором Герман Лопатин. Тогда же генерал Оржевский известил о происшествии все пограничные пункты империи, разослал фотографические карточки лобастого русоволосого человека в окладистой бороде. Впрочем, и без карточки беглеца опознал бы Судейкин. Хоть по походке да опознал бы: «При походке замечается особенное движение плеч и выпячивание живота». Судейкин опознал бы, на то он и Судейкин. Но на пограничных пунктах проморгали. И этот Лопатин, предхладокровная бестия, отныне в Париже, как явствует из телеграммы заведующего русской агентурой в Европе г-на Рачковского. И там же имеет быть бывший полковник социалист Петр Лавров — Париж, улица Сен-Жак. Черт знает, близко ли, далеко ли от улицы Гей-Люссак до улицы Сен-Жак, но Лопатин-то наверняка частым гостем у Лаврова. А ведь молодец, право, хваткий малый, что и говорить. Вот так-то, судари мои, инспектору нет надобности рыться в бумажных курганах. Он лишь подскажет Вячеславу Константиновичу Плеве: пусть-ка Рачковский не упускает из виду Лопатина, крайне важно именно теперь, в канун коронации.

Вскрыть часик, отдаться сочинительству. Инспектор не думал о конце карьеры, не писал мемуаров. Говоря прозаически, подводил некоторые важные итоги; говоря поэтически, пел гимн агентурной службе. То было естественное желание запечатлеть свой труд, оставить след.

Нынче он чувствовал вдохновение. Однако проклятуших бумаг пропасть! Георгий Порфирьевич просматривал бумаги, помечая их размашистыми, в два-три слова резолюциями.

Он не был крохобором, как Кириллов, прежний, еще в Третьем отделении, начальник агентуры. Тот перекорялся с филерской шушерой за каждый истраченный на «проследках» полтинник. Чудак! А Клеточников меж тем кругом его

дурачил... Нет, Георгий Порфирьевич умел-таки ворочать немалой деньгой. В прошлый год полмиллиона извел на внешнее наблюдение. Эх, жирные тыщи летят, а все недостает. Однако на филерах экономить, каждое лыко им в строку, это уж помилуйте, господа! Разумная щедрость — вот она суть.

Не хуже скупердяя Кириллова замечал инспектор, как передергивают, жулят филеры. Но у Судейкина своя метода, он ловит с поличным и... Нуте-с, нуте-с, какой такой расходец вклеил сюда этот прохиндей? Бухгалтерски, вприщур целил инспектор в многочисленные шпаргалы: «Счета деньгам, израсходованным по квартире и для лошади и выданным авансом по наблюдению за личностями», «Счета деньгам по розыскам и поездкам в нижепоименованные города...» Пачка гостиничных счетов — в завитушках, в пышных гербах, с изображением какой-нибудь тифлисской «Ливадии» или елизаветградского «Бристоля», — пачка счетов, где указана не только плата за номер, но и «за печь» и «за самовар».

Судейкин замечал, как его агенты, его гончие, его «приват-доценты» — так он порою иронически звал филеров — передергивают, дописывают, подчищают. Замечал, но распеканции не устраивал. Нет, эдак отечески брал за шиворот, мордой тыкал в дерьмо: меня, дуралей, не объегишь, да уж ладно, Бог простит, смотри мне впредь... И «приват-доценты» проникались к Судейкину нелицемерной благодарностью. Не укроешься, на сажень под землю видит начальник, но сам живет и другим жить дает, за таким хозяином не пропадешь.

Заграничные и внутренние телеграммы; секретные циркуляры; финансовые ведомости, крапленные мелким подлогом; выписки, собранные перлюстраторами и вложенные в конверты с типографским курсивом: «Его Высокоблагородию Георгию Порфирьевичу Судейкину в собственные руки», — изо всего этого следовало ухватить как магнитом те ценные крупницы, из которых и возникает переменчивая мозаика розыска.

Судейкин был создан для розыска. Судейкин создавал розыск для себя. Не злодеями, но соперниками были ему крамольники. Он не питал к ним личной ненависти, но и не уподоблялся тому английскому офицеру-джентльмену, что кричал французам: «Стреляйте первыми!» Тут была борьба, и Судейкин уважал противника. А мелкая опека над агентурой претила ему, раздражала его, как раздражают и претят мастеру дилетанты.

В начале петербургской службы ему таки попортила крови «Священная дружина», подпольная угодная царю лига, созданная аристократами. У, как он ненавидел этих лигистов, эту банду белоручек. «Лигисты», — выговаривал Георгий Порфирьевич, как площадную брань. Дворцовые лизоблюды надумали подменить департамент полиции. Царь им потворствовал: «Следите, други, охраняйте, не очень-то я верю своей полиции...» И эти лигисты шныряли, требовали арестов тех, кого он, Судейкин, давно выследил, но в интересах дела оставлял покамест «на травке».

Некоторые видные сановники тоже были недругами лигистов, самым сильным — обер-прокурор Синода Победоносцев. Наконец и государь убедился в никчемности добровольных сыщиков, впустую бросающих миллионы, и поручил графу Шувалову «озаботиться полным расформированием «Священной дружины». Расформировали... Но сколько крови попортили Судейкину эти идиоты.

Дружина испустила дух. Однако существовала прокуратура, а далеко не каждый прокурор походил на Вячеслава Константиновича Плеве с его тончайшим, с его деликатнейшим отношением к розыску. Находились такие, как Добржинский. Этот карьерный шаромыжник частенько мешал Судейкину. Не выяснив загодя мнение инспектора, производил обыски и арестования, на следствиях домогался имен секретных осведомителей. И какая амбиция! Я-де принудил Гольденберга к полному раскаянию, я-де и Рысакова загнал в угол. Амбиция, гонор шляхетский! Нечего спорить, террориста Гольденберга обвел вокруг пальца, Рысаков выдал ему все и вся. Верно, так было. Теперь сыск поставлен на иную высоту, но этот колобок, потряхивающий манжетами, никак не желает сообразоваться с методой инспектора... А нынче г-н Добржинский получит дело о сношениях Трубецкого бастиона, унтера Провоторова допросит. Ну нет-с, господин прокурор, тут-то уж мы вам палку в колеса: тпру, тормози-ка! Ни Дегаева, ни студента Горного института Блинова вам не заполучить, простите великодушно, сударь.

Инспектор надавил кнопку электрического звонка. Явился Судовский.

— В крепость поехали, Коко?

Судовский отвечал утвердительно.

— Ну, как привезут, тою же минутою веди ко мне, — приказал Георгий Порфирьевич.

— Точно так, — ответил Коко.

Инспектор кивнул: ступай, дескать.

Широко повел руками, расчистил стол. Брякнув ключом, достал заветную тетрадь. В комнате вдруг смело высветилось: солнце прорвало тучи. Судейкин подумал: «Май на дворе, хорошо», — раскрыл тетрадь и стал писать:

«Рискуя жизнью в интересах службы Его Величества, будучи готов ею жертвовать каждую минуту, особый инспектор секретной полиции, естественно, вправе рассчитывать: 1) на полное и непоколебимое доверие высшей власти; 2) на условия полной свободы развития агентуры.

Только при исполнении означенных условий я считаю возможным надеяться на предупреждение злоумышлений против Особы Его Величества.

Высшей властью раз и навсегда должен быть решен принципиальный вопрос, что должно быть важнее в деле борьбы с крамолой: формальное ли дознание, имеющее своей задачей уличение преступников, уже совершивших злодеяние, или агентура, имеющая, по моему мнению, задачу недопущения этого преступления...»

Тугой сноп лучей наискось бил. Инспектор вдохновенно излагал свое кредо. Он сочинял гимн Агентуре.

2

Перед дежурством сласть покурить на солнышке.

В Питере редкая весна дружно берет, нынешняя тоже вроде бы хвоя. Сегодня, правда, сильно прорежило тучи. Сизые, свежие, спеша и поталкиваясь, двинулись они к морю. А солнце било сквозь них тугими толстыми снопами. И уже весело яснили соборный шпиль, стекла комендантского дома, медные кольца в дверях казармы, лужи на крепостном дворе.

Сласть покурить перед дежурством. В бастионах сыростью до хрящиков проймет, заклацаешь зубами, ровно конь подковой. А пока вот грейся, жмурься, как кот на сметану.

Курили солдаты, курили жандармы. Были они сейчас мирными, благодушными людьми, дымили и шурились, чуя далекий, непитерский запах очнувшейся, затосковавшей земли.

Разомлев на солнцепеке, не сразу заметили служивые странную суету у крыльца комендантского дома, других, не из крепости, жандармских офицеров, а когда заметили, те уже, придерживая шашки и обходя лужи, направлялись к казарме наблюдательной команды.

Унтер-офицер Провоторов тоже курил на солнышке привалившись боком к стене. Шинель была у него распах-

нута, он чувствовал, как пригрело ему грудь, и, опустив веки, бездумно созерцал радужные пятна. Кто-то сигнально толкнул его, он поперхнулся дымом и выпрямился.

С машинальной беглостью Ефимушка застегнул шинель, бросил окурки. Он смотрел на быстро приближающихся господ офицеров. Его удивило, что смотритель, грузный майор Лесник, и начальник крепостных жандармов, красный седой капитан Домашнев, идут бочком, не по-хозяйски, и тут-то у Провоторова под ложечкой отяжелело.

Чужие офицеры вошли в казарму и тотчас приступили к обыску. Ефимушка дрогнул, залился потом, минута была страшная: последние записки Златопольскому не успел он упрятать за пазухой, так они и лежали там, под тюфяком. «Господи, царица небесная, пропадаю!»

Унтер рванулся к майору Леснику.

— Ваше высокобродь, осмелюсь доложить: содействовал. Ей-богу, содействовал, господин майор, как на духу...

— Что ты мелешь, скотина? — рывкнул Лесник.

Ах, только бы он не кричал так громко, чтобы чужие-то, чужие не слышали! Почему-то казалось, что теперь господин майор «свои», а весь ужас и вся погибель — в этих вот, в чужих.

— Единственно с целию, ваше высокобродь, — залепетал Ефимушка, — единственно подробнее вызнать и донести, ваше высокобродь, Богом клянусь. Да я... — Он глотнул воздух и с отчаянной внятностью проговорил: — Да я в секунд представлю. — И Ефимушка выпростал из-за пазухи несколько бумажных комочков. — Вот! Вот! Единственно с целию по начальству, ваше высокобродь! И еще там, в тюфяке, сам давно думал...

— Извольте полюбоваться, господа! — яростно вскрикнул Лесник.

Он рванул унтера за погон, погон затрещал. Смотритель выругался матерно, приказал взять «мерзавца».

Ефимушку увели. Он мелко, монашески перебирал ногами, мотая головой, сокрушался: «Единственно с целию... Богом клянусь...»

В тюрьме Трубецкого бастиона стражники мыкались в ожидании смены. Эти минуты перед сдачей караула — самые постылые. На дворе распогодилось, а ты знай ходи, как маятник, в «глазок» засматривай. А чего там, в каземате, интересного? Ну, арестант мухой ползает. Или на койке лежит, мечтает, стало быть, про вольную волю. Известно. Эх, кому служба — мать, а кому — мачеха. Еже-

ли, скажем, в губернском управлении, то в городе обретаешься, господ разных, дамочек наблюдаешь, оно и весело. Или, допустим, на арестование отрядят. В ночь-заполночь нагрнешь, а он, голубчик, как подстреленный. Бывает, правда, и пальбу откроет. Тут уж не моргай, может, и намертво порешат, а может — медаль. Боязно, конечно, но опять не то, что здесь, в бастионе... И чего мешкают? Курант брякнул, а смены нет как нет.

Арестант номер шестьдесят два тоже мыкался в ожидании смены: «голубь» нынче прилетит. Очень гордился Златопольский выучкой «почтового голубя». Ожила тюрьма, словно рацион увеличили и прогулки. Дерзкий план вызволения Фигнер принял, судя по всему, практические очертания. Дегаев ввязался. Вера Николаевна радуется его побегу из одесского застенка. Вот тебе и «вываренная тряпка»... Не только письмом, еще и газеткой нет-нет да и побалуует тюрьму добрый малый Провоторов. Невелика, правда, радость от нынешних газет. Редакторы, как Шедрин язвит, приговорены к пожизненному трепету... Однако, что же это? Куранты отзвонили, пора. Гм... А денек-то выдался, солнце так и ломит. Спешить надо — белые ночи близко, и как бы, глядишь, Веру-то Николаевну в Алексеевский рavelин не определили... Однако, что за причина, отчего смены нет? Всегда минута в минуту, без задержки...

Послышался шум множества шагов. Идут! Дверь каземата распахнулась. Не Провоторов вошел, не унтер Ефимушка, не «голубь» — рыжий смотритель Лесник, стремительный, гневный, без шинели, в сюртуке с майорскими погонями. А за Лесником еще офицеры. Лесник к окну, другой чин — к ватерклозету.

И вот уж на ладони смотрителя — мелко исписанные листки папиросной бумаги. И вот уж у другого чина в брезгливо-мокрых пальцах огрызок карандаша.

Тугой сноп солнца бил в камеру. Но в камере темно — будто ослеп арестант номер шестьдесят два.

3

Инспектор Судейкин допросил унтера Провоторова. Сперва наорал, топая ногами и употребляя излюбленное — «мать твою рябиновую». Потом папироской угостил, поспрошал укоризненно. Провоторов тотчас признал в подполковнике «настоящего хозяина».

Георгий Порфирьевич убедился, что малый действовал «единственно» из корыстолюбия, и это было очень понятно

инспектору, это его успокоило, снисходительно расположило к Ефимушке. Убедился Судейкин и в том, что малый в одиночку действовал, стало быть, никакого заговора и в помине не существовало.

Об этом инспектор теперь толково доложил директору департамента, сидя в его голом холодноватом кабинете. Кабинет казался совсем неприятным оттого, что в высокие окна смотрело майское солнце. И по той же причине замкнутое лицо Плева казалось еще бледнее и еще строже.

— Наконец, Вячеслав Константинович (наедине они обходились без чинов), наконец, просьба деликатного свойства. Делом, очевидно, займется Антон Францевич. В интересах розыска необходимо настоятельно внушить Добржинскому, что у нас нет надобности до поры трогать Блинова. Да, да, из Горного института. Вы же знаете Добржинского: я-ста, мы-ста... — Судейкин, усмехаясь, развел руками.

— Я переговорю с ним, — сказал Плева. — Антон Францевич страдает порой излишним рвением. Следствию будет предъявлен лишь Провотворов. С этим решено. Ну-с, а что же наш Яблонский?

— Непременно будет. Жаждет.

— Ну что ж... А он и впрямь заслуживает внимания.

— Согласен, но дозволейте заметить, внимания заслуживает...

Они обменялись понимающими взглядами.

— Я не забываю, Георгий Порфирьевич. Мне дали знать: после коронации. Согласитесь, сейчас не до того, чтобы государь вас принял.

— Не спорю, — Судейкин помрачнел. — И все ж... Может, именно до коронации?

Плева взглянул на него пристально. Они молчали. Потом директор сказал мягко:

— Вы знаете мою искренность к вам, но я лишь директор, и мои возможности... А он — увы!

Имя министра не было произнесено. Судейкин вздохнул с видом человека, несущего свой крест. Плева, опустив веки, поискал в бумагах, хирургическим движением извлек глянцевиновую тетрадошку, сшитую витым шнурком.

— Прочтите на досуге, Георгий Порфирьевич. Немало любопытного.

Судейкин, думая о своем, скользнул без интереса по рукописному заглавию: «Обозрение полицейских учреждений городов Парижа, Берлина и Вены». Рассеянно полистал, сказал негромко:

— В Европе умеют замечать и награждать преданность.

Плеве снова опустил серые веки, потер, будто затачивая, длинный палец о сукно письменного стола. Высочайший указ о его, Плеве, производстве в тайные советники уже заготовлен. И не по выслуге, а за отличие. Да, заготовлен, но не подписан. Это после коронации.

— Я убежден, — значительно сказал директор, честно глядя на Судейкина, — я совершенно убежден, что и наше правительство умеем замечать и награждать преданность.

— Дорого яичко ко Христову дню.

Настойчивость Судейкина слегка утомила директора.

— Москва, — сказал Плеве. — Как много в этом звуке... Не так ли?

Судейкин помедлил. И опять вздохнул с видом человека, несущего свой крест.

Они заговорили о Москве.

И верно, многое, слишком, пожалуй, многое слилось теперь в «этом звуке». Предстояла коронация. Великое всенародное торжество утратило страх. Неизбежность появления гатчинского затворника при стечении огромных толп; сотни тысяч — и государь на виду. Это неизбежно. Он проедет по улицам, запруженным людьми. Мимо домов с бесчисленными окнами, откуда можно стрелять. Мимо чердаков и крыш, откуда могут швырнуть бомбы.

В недавнем докладе министерства внутренних дел государю императору сказано: «По агентурным сведениям, партия террористов произведенными за последнее время арестами деморализована».

Но вот анонимка, черные чернила, печатные буквы: «Царя и всю его семью взорвут на воздух в Москве, на коронации, на Тверской улице, три большие мины, погибнет и войско, и народ».

В недавнем докладе государю сказано: «Под влиянием арестов, произведенных среди офицеров на юге, в партии террористов существует предположение, что в ее организации находится важный правительственный агент, который не допустит достижения преступной цели».

А перехваченное письмо? Письмо, адресованное неизвестным в Женеву? Чеканно и непреложно: «Сюрпризов ждут, сюрпризы будут». Предгрозовым шелестом пошло в Санкт-Петербурге: «Сюрпризов ждут, сюрпризы будут». Эхом вторили генерал-адъютанты и сенаторы, действительные статские и действительные тайные. Никто из них не хотел, не желал царевубийства. Но с каким-то судорожным

придыханием: «Сюрпризов ждут, сюрпризы будут». Тут жажда необычайного, ужасного, холопье злорадство.

Из Швейцарии сообщали шифром: Плеханов едет, с американским паспортом едет Плеханов, возглавит шайку для убийства императора. И Гартман едет, известный «Сухоруков», взорвавший в семьдесят девятом поезде с царской свитой.

Плеханов? Судейкин улыбался. Нет, «Капитала» Георгий Порфирьевич не одолел, хоть и брал приступом не однажды, но различия русских революционных фракций постиг. Плеханов? «Они» зовут его Жоржем, а клички зарегистрированы: «Оратор», «Федька», «Волк». Этот не из бомбистов, противник террора. Этот во главе «Черного передела». Сказать по совести, инспектор отнюдь не стремился к арестам «чернопередельцев». Они против бомб, против террора — вот главное, вот суть. А злоязычить русскому культурному человеку сам Бог велел. Нет, инспектор не гонялся за «чернопередельцами». Гм, Плеханов в роли царевубийцы? Галиматъя! А в департаменте верят. И пускай, Судейкин разубеждать не станет. Что ж до Гартмана, то без Яблонского не обойтись; умен, хитер террорист Гартман, а никак Яблонского ему не миновать...

Но вслух иное:

— Да-а-а, птицы немалого полета.

И Плеве быстро, с надеждой:

— Однако Яблонский...

— И на старуху бывает проруха, — вскользь замечает Судейкин.

Блеклые губы директора сжимаются еще плотнее. После коронации подпишет государь высочайший указ: тайный советник фон Плеве. После коронации. И Плеве сухо и четко, как оттискивая:

— Никаких прорух. И вы — в полковниках.

Они хорошо понимают друг друга. Все еще недоверчивый, все еще настороженный, но уже обнадеженный повышением, Судейкин, капитулируя, наклоняет кругло остриженную голову в жестких иглах ранней седины. Плеве белыми пальцами оглаживает ворс зеленого сукна.

— Полагаю, он ждет, ваше превосходительство.

Этим «превосходительством» инспектор замыкает беседу, обильную недомолвками, почти интимную.

Плеве взглянул на телефонный аппарат.

— Не любит Константин Петрович, когда телефонируют.

У Судейкина вопросительно, белесо шевельнулись пушистые брови: «Вот как! Неужели?» Он, инспектор Судей-

кин, не удостаивался такой чести, а его шпион, его Яблонский...

— Да-с, выразил желание, очень заинтересован, — продолжал Плевэ. — Однако Константин Петрович будет за портьерами. Так что, надо думать, прямого знакомства не произойдет.

Ага, вот как! Ну, это еще куда ни шло. Судейкин отклонялся. Ему не очень-то был по душе нынешний визит Победоносцева. «Заинтересован»! Яблонским заинтересовался сам Победоносцев. А вот им, инспектором, Победоносцев не интересуется...

Победоносцев запаздывал. Но обер-прокурор Синода не терпел телефонных аппаратов, и Плевэ не решался досадить ему звонком. Да и какая надобность? Директор департамента подождет, *agent-provocateur*¹ — тем паче.

Плевэ знал Константина Петровича смолоду. В ту пору Победоносцев еще не был известен всей России, занимал кафедру гражданского права в Московском университете. Плевэ был усердным студентом. Поныне хранил он четырехтомный курс, составленный профессором Победоносцевым.

Недавно как-то директор департамента улучил минуту сказать обер-прокурору, что по-прежнему, мол, считает его своим учителем. Победоносцев ответил не без остроумия: «Вы в очень хорошей компании». Константин Петрович некогда преподавал законоведение великим князьям, детям покойного императора Александра Второго, одному из них, ныне царствующему, поднесь оставался наставником и наперсником. Что и говорить — хорошая компания.

Вячеслава Константиновича злило расположение Победоносцева к графу Толстому. «Настоящий человек на настоящем месте», — определял обер-прокурор. И Плевэ знал, что это именно он, Победоносцев, надоумил государя уволить Игнатьева и вручить министерство Толстому. Ну что ж тут? Приходилось терпеть похвалы графу Дмитрию Андреевичу.

Обер-прокурор находил, что генерал Оржевский не совсем не прав, говоря о тухлой рыбе, плывущей по течению. Обер-прокурор полагал, что император прав, несколько сомневаясь в твердости убеждений Плевэ: при диктаторстве Лорис-Меликова держался либеральных идей; при Игнатьеве, сменившем Лориса, исповедовал, как и новый начальник, особый (глупый) род славянофильства; теперь, при

¹ Агент-провокатор (франц.)

Толстом, — ревностный поборник антилиберальных взглядов. А за душой? Честолюбие, карьерность. Но с рельсов, нет, никогда не сойдет. По правде сказать, Победоносцев — не едко, а снисходительно — презирал Плева. Однако не отказывал в покровительстве, в частных свиданиях. Обер-прокурор даже любил изредка потолковать с дельным, преуспевающим воспитанником юридического факультета.

И странная штука, застегнутый, не повадливый на откровенности Плева не только как бы раскрывался перед стариком (Победоносцеву не было и шестидесяти, но выглядел он на все семьдесят), не только как бы раскрывался, а и позволял себе рискованные замечания.

На прошлой неделе Вячеслав Константинович приезжал к Победоносцеву домой, на Литейный. (Курьез, право: живет стена об стену с сатириком Салтыковым, то бишь Щедриным.) Константин Петрович прихварывал, хандрил, кутался в халат и, кажется, искренне обрадовался гостю. Разговор у них зашел о Каткове, редакторе «Московских ведомостей». Победоносцев признавал достоинства Михайлы Никифоровича, однако не оправдывал «известные» недостатки характера, несносный тон «некоторых» статей, касающихся внешней политики.

Плева слушал, соглашался, сказал, что не читает «Московские ведомости» — штудирует. «А знаете ли, что самое ценное? — продолжал Победоносцев. — Постоянное, настойчивое стремление к политическому единomyслию. И Михайла Никифорович прав: ничего России так не надобно, как именно единomyслие».

(Вот тут-то Плева и позволил себе одно из тех рискованных замечаний, что вырывались у него в присутствии сурового старика. Старика, который во многом определял высшие государственные дела, часто и подолгу виделся с императором.)

— Политическое единomyслие? — повторил Плева. — Помнится, Калигула желал, чтоб римский народ имел одну голову: ее можно снести махом.

Победоносцев нахмурился, в глазах было недоумение.

— Нет, нет, оборони Бог, — Плева так и подмывало, он испытывал что-то такое, что было ему вовсе не свойственно. — Оборони Бог, Константин Петрович, я душой, сердцем за политическое единomyслие, за одну голову. За такую, Константин Петрович, которая только б и знала, что кричать: «Ур-р-ра!»

Старик покашливал, старик не сердился. И Вячеслав Константинович совсем уж расстегнулся, сознавая, что по-

пал в хорошую минуту и ею следует пользоваться, потому что такие минуты упрочивают положение лучше, сильнее годов верной службы. Ах, не только это он сознавал, не только. Ему было весело и жутко дерзить «старому льву». И Вячеслав Константинович бухнул:

— А при политическом единомыслии, Константин Петрович, нашей матушке-России и парламент не страшен, можно и парламент завести.

«Парламент и Россия» — слуху Победоносцева нестерпимое созвучие, Плеве хорошо это знал, да вот она, минута, — старик рассмеялся, закашлялся, замахал руками. Ему, должно быть, вообразилось нечто в высшей степени комическое: российский парламент при всеобщем единомыслии, эдакая одна башка с разверстым хайлом: «Ур-р-ра!» И Константин Петрович Победоносцев рассмеялся, закашлялся, замахал руками...

Обер-прокурор опаздывал, мысли Вячеслава Константиновича вернулись к Судейкину, к разговору о Москве. Было бы справедливым еще до коронации произвести инспектора в полковники. Он, Плеве, говорил Оржевскому. Да ведь генералу вечный недосуг: «Петербург танцует...» Да, танцует и... «ждет сюрпризов». Что же до Плеве, то он уверен — все обойдется тихо. Почти уверен. Но в этом «почти» — тревога.

Там, в Москве, решительно все меры приняты. Целый год хлопочет особая комиссия. Князь Долгорукий шлет обстоятельные отчеты. Лишь свод охранительных распоряжений, беглый их перечень занял двадцать листов. А недавно командированы в первопрестольную трое опытнейших водолазов. Что еще? Решительно все меры! А государь, говорят, не спит ночей. И начальник охраны, этот бурбон, этот пропойца Черевин пристаёт: обеспечена ли безопасность? Ох, если б коронацию в Гатчине... Так нет, Москва, сердце России, святые кремлевские соборы и т. д. и т. п. Всенародное торжество требует всеполицейского напряжения.

Плеве окликнул дежурного чиновника: здесь ли нужный человек? Услышав ответ, велел проводить в «ту комнату».

Соглашаясь на встречу с Яблонским, директор департамента не преследовал никаких целей, а лишь уступал просьбе Судейкина. Да и то сказать, Яблонский в силу оказанных услуг, веса, необычайного положения вправе на встречу с самим министром. Плеве это понимал и принимал. Он не испытывал брезгливости к шпиону-провокактору. Каждому свое. В замшевых перчатках не берутся за поли-

тический розыск. А граф не пожелал видеть Яблонского: «Фи!» Граф корчит из себя большого барина. Впрочем, он действительно большой барин. А вот Константин Петрович Победоносцев очень даже и пожелал: «Этот ваш Яблонский, очевидно, незауряден». Зауряден, нет ли, а на альянсе Судейкин — Яблонский ныне многое держится.

Особенное движение послышалось в приемной. Плеве коснулся кончиками пальцев холодных висков и слегка надавил на виски, словно переключаясь от одних мыслей на другие.

4

Ему было неловко в костюме с иголочки, неловко в этой несветлой комнате с двумя креслами. Ему чудилось, что за портьерами другая комната и там притаился кто-то. Он был бы рад Судейкину, он бы ободрился в присутствии Георгия Порфирьевича, но Судейкин предупредил, что свидание состоится с глазу на глаз.

Добившись аудиенции, Яблонский боялся аудиенции. Он вытвердил речь-программу. Но сейчас нервничал, дожидаясь директора департамента. Хотелось курить, а он не знал, можно ли. И эта нерешительность — курить, не курить — унижала его. Тщедушный, большеголовый, он, как случалось с ним в критические минуты, ощущал свою физическую непривлекательность, и это тоже его унижало.

Он бы убрался из этой загадочной комнаты с двумя креслами и портьерами. Его страшно тянуло в солнечный день, в город, к людям, в сутолоку, где можно затеряться, исчезнуть.

Вошел Некто: бледное лицо, холодные глаза, сюртук без орденов, с одним прокурорским значком. Некто мог не представляться: Яблонский узнал его, хотя раньше и не встречал. Плеве не назвал и руки не подал. Однако предложил сесть и не сел прежде Яблонского.

У Яблонского вспотели ладони. Плеве смотрел на него. В этом взгляде не было ни начальственной строгости, ни даже любопытства. Неумолимость? Мертвенность? Взгляд Медузы? Яблонскому показалось, что он уже выдерживал такой, именно такой взгляд. Но где? Когда? И внезапно вспомнил: полковник Катанский, Одесса, жандармский полковник Катанский. И оттого, что холодные пристальные глаза директора департамента показались ему глазами провинциального полковника, Яблонскому стало легче. Он перестал дышать.

— Милостивый государь, я прежде всего... — Плеве искал слова. — Я считаю своим приятным долгом, милостивый государь, благодарить вас, официально благодарить за содействие арестованию Фигнер, а также за то, что она, слава Богу, пребывает в крепости. Во-вторых, позволю себе выразить надежду, что вы и впредь окажете важные услуги, каковые, несомненно, будут отмечены.

Яблонский наклонил голову. Ему надо было принять благодарность как должное. И он принял ее как должное, без ответной благодарности. Он ждал таких слов, он их дождался, и ему сделалось еще легче, еще вольнее.

— Ваше превосходительство, — сказал Яблонский, отирая ладони и ощущая, что они уже не потеют, — я, ваше превосходительство, думаю, мне следует воспользоваться вашей любезностью в интересах... Да, в интересах высоких и значительных. Мое душевное желание убедить вас вот в чем. В моем сотрудничестве нет ни карьерных, ни меркантильных соображений. Я долго размышлял и, поверьте, не с легким сердцем принял... не побоюсь сказать... принял миссию, которая, может быть, рисуется в невыгодном, неблагоприятном свете. Я долго размышлял, да. И какой же капитальный вывод, ваше превосходительство? Вы знаете мое прошлое, я не отрекаюсь. Но вывод почти математический: действия террористической фракции заслуживают не только осуждения, но и пресечения. Философ Соловьев говорит: правду нельзя обрести неправдой. А ведь пролитие крови — неправда.

— Похвально, — бесстрастно вымолвил Плеве, по-прежнему пристально и холодно вглядываясь в Яблонского.

Вячеслав Константинович предпочел бы деловой разговор. «Философ Соловьев!» Но Плеве подумал, что еще рано обрывать Яблонского. А тот продолжал, ощущая уже не только освобождение от неловкости и страха, но и нефальшивую искренность.

— Я могу вам открыть, что даже такие революционеры, как Желябов... А Желябов, ваше превосходительство, был могучим деятелем... Да, такие, как Желябов, в иные мгновения ужасались того, к чему стремились со всей энергией и самозабвением. Желябов из крестьян вышел, народ знал. И он утверждал: в народе накопились горы дикости, горы зверства, восстание будет морем крови, хаосом. И он прав. Прав, ваше превосходительство. Я много думал. Россия нуждается в мирной, вседневной, созидательной деятельности. Вы помните? «Идите узкими вратами, ибо широкий путь и широкие врата ведут к погибели». Вот

вкратце мотивы. Ничего карьерного, никаких видов. В этом и хочу убедить...

— Верю, — медленно проговорил Плева. — Верю и понимаю.

Ни черта он не верил, ни единому слову. Но и не понимал. А считал себя докой по части психологии. И теперь чувствовал, что сбит с толку. А Победоносцев-то там, за портьерой, все слышит. Плева это раздражало, ему было неприятно, что шпион-provokator держит нить беседы, «воспаряет в сферы».

— Верю и понимаю, — повторил Плева. — Однако, милостивый государь, я хотел бы, так сказать, практически... Вы знаете, Россия накануне великого события, великого торжества. Вы знаете также... э-э-э... существуют некоторые сомнения. И, естественно, мне, на которого возложено... Н-да-с, вот о чем, сударь.

Яблонский был схвачен под уздцы. Его швырнули на место: цыц, платный агент! А он никогда не допускал мысли о «простом» шпионстве. Все в нем возмутилось. Кризис революционной идеи, ужас перед грядущим хаосом, великая проповедь философа Соловьева и — «...я хотел бы, так сказать, практически». И это директор департамента? Нравственный чекан, умственный калибр провинциального полковника.

Яблонский упал с высоты, на которую, как ему казалось, он сам себя поднял. Но он знал, как дать почувствовать этому сухопарому сановнику свою — практическую, пожалуйста! — значимость.

Господин директор департамента в канун коронации жаждут успокоения? Однако Яблонский вовсе не намерен вносить мир в сию бездушную душу. Это не в расчетах господина Яблонского. Вот так-то, ваше превосходительство.

Да, вслух сказал он, партия террористов хотя и обесценилена, но живуча. Вряд ли, сказал он, кто-либо возьмет на себя смелость начисто отрицать возможность покушений. Он, Яблонский, во всяком случае, не может дать гарантий. И его превосходительство не станет, наверное, требовать подобных обязательств даже от него, Яблонского.

Плева выдержал. Плева подумал: вот они, тонкие особенности политического розыска. Он вдруг и совершенно отчетливо, даже будто и физически, ощутил свое бессилие перед агентом-provokatorом. И, ощущая это странное бессилие, Плева как бы ощущал упорный и насмешливый взгляд — оттуда, из-за тяжелых портьер. Черт догадал пригласить обер-прокурора! Но директор департамента не

обнаружил ни досады, ни раздражения. Громко, полуофициально, полулюбезно сказал, что с такими людьми, как г-н Яблонский, отечество ступит наконец на путь мирного процветания, разумного обновления.

И действительный статский советник, кавалер орденов святой Анны, святого Станислава и святого Владимира обменялся с Яблонским напряженным рукопожатием.

Сейчас, после Яблонского, после этого бессилия и этого рукопожатия, в котором было что-то заискивающее, сейчас Вячеславу Константиновичу до смерти не хотелось видеть Победоносцева. Однако как можно?

Старик покоился в глубоком кресле — большая полуночная птица. Он смотрел на Плеве незряче, словно сквозь белесую пленку. У него бывают видения, вспомнилось Плеве, тогда он ругается извозчичьими словами и прогоняет беса... Директор выдавил улыбку: понравился ль Константину Петровичу поклонник философа Соловьева?

— Да-а, нынче суббота, — молвил непонятное Победоносцев не всегдашним, далеким голосом.

Он ушел, подагрически шаркая, он думал о том, что по субботам беседовал некогда с покойным Федором Михайловичем. С Достоевским беседовал он по субботам.

5

Встречали чиновники из секретно-розыскного отделения. Чемоданами завладели не артельщики, а молодцы филерского обличья. Встречающие, как и приезжие, были в партикулярном платье.

— Теплынь-то у вас, ах, теплынь, — улыбался Георгий Порфирьевич, — сразу оно и видно: матушка белокаменная.

У него, как водится, осведомились, какая погода в Петербурге.

— Эх, — весело отмахнулся Судейкин, — там и погоды в наличии не имеется.

Все, понятно, рассмеялись.

Судейкин не жил в Москве и не служил, но по душе ему были и московская размахистость, и московское радушие, и короткость в отношениях, в Москву Георгий Порфирьевич с удовольствием вояжировал.

Он шел по дебаркадеру с господами из розыскного отделения, с неизменным своим Коко Судовским, упруго шел, подняв голову, бодро осматриваясь.

Наметанным глазом различал он в толпе, валившей с курьерского, множество петербуржцев. То была публика состоятельная и патриотическая — в первопрестольную на коронацию. И вот так же наметанным своим взором скользнул Георгий Порфирьевич по личику молоденькой барышни, одетой скромно, но не без кокетства, с баульчиком в руках. Барышня не была в духе Георгия Порфирьевича, однако он задержался взглядом на ее личике. Черт побери, на кого ж она так похожа?..

Лиза давно не бывала в Москве. Когда маменька овдовела, перебрались Дегаевы в Петербург. Лизе в ту пору еще косички заплетали. А потом, когда ездили на юг, к сестрам, в Москве не задерживались — денег-то всегда в обрез, — с одного вокзала на другой, и только. Сергей тоже иногда ездил с ними... Да, если б не Сергей, она и теперь не попала бы в Москву.

Правду сказать, не очень-то она обрадовалась Серезиной просьбе. Конспирация, тайное поручение, какая-то записка, из тюрьмы, кажется, и какой-то Нил Сизов. Смешное имя: Нил... Она не обрадовалась поручению. Не велика охота рисковать, отыскивая какого-то Нила. Но Коленька так смотрел на нее, точно бы испытывал. Она согласилась — и вот в Москве. В лифе зашита записка некоего Савелия Савельевича. А Коленьку видела накануне отъезда. После той ночи — «Ночи безумные...» — он не избегал Лизы, но выглядел несчастным, виноватым. Сказал, что он, революционер, не имел права... Милый ты мой, ты еще не знаешь свою Лизу. Никаких претензий, никаких домогательств, будь что будет. Он сказал, прощаясь, что уедет надолго. Пусть Коленька простит, она не поверила. Но Сереза подтвердил: уедет надолго. Ах, разве нельзя было послать их вдвоем в Москву? Они были бы счастливы. Тут их никто не знает, они были бы счастливы. Они насладились бы сопрано Светловской. Коленьке даже не вообразить, какая это Татьяна Ларина. И хохловского баритона Коленька тоже не услышит.

Лиза миновала опрятный высокий сумеречный Николаевский вокзал. Вокзал украшали в ожидании царского семейства. За работой наблюдал полицейский наряд.

Лиза вышла на Каланчевскую площадь, в московскую толчею, в дребезгливый перезвон медлительных конок, в гам извозчичьей биржи, в запах еще свежей майской пыли, холщовых торб, овса, лошадей. Лиза чувствовала себя светской дамой, потому что Сереза ссудил ее солидной суммой (откуда у него столько?), и решила взять лихача.

Садясь в карету, Судейкии опять увидел маленькую барышню и опять вопросительно подумал, на кого же она так похожа. Но его память и теперь промолчала. А девица, ишь ты, на лихаче упорхнула.

Судейкину и Коко приготовили номера в «Дрездене» на Тверской площади, рядом с дворцом генерал-губернатора и гауптвахтой. Встречавшие простились с приезжими. Предварительно у господина инспектора взяли слово компанейски отужинать в «Эрмитаже».

Дядюшка и племянник остались в номерах. Номера были дорогие. Ванне, прихожие, ампирная, как в Английском клубе, мягкая мебель и ковры, которые, кажется, не слишком-то часто выколачивали коридорные.

Настроившись на московский лад и чувствуя себя «человеком с дороги», Георгий Порфирьевич, не спрашивая завтрака, заманил Коко в баню: «Здесь, брат, не питерские брызгалки, где одной немчуре здорово».

Они ухали, они кричали на верхнем полке, а два жилистых мужика в набедренных, как у полинезийцев, повязках надавали пару. Потом другие банщики, старики, иссушенные, как пергамент, мотая нательными крестиками, с деланным остервенением корежили, давили, терли, пришлепывали Георгия Порфирьевича и Коко, а те — оба могучие, белотелые, мускулистые — мычали, стенали, даже поскуливали от истинно московского банного наслаждения. И мозолики им посрезывали, и цирюльник легкой стопою прибежал, десять лет подвизался в наилучшем куаферном заведении Невиля на Тверской, в доме Парамонова, и чудо-квас им подносили, убродивший, в больших стеклянных кувшинах.

В «Дрезден» прибыли они, лоснясь, испытывая тот радостный голод и потребность в запотевшей рюмке, какие возникают лишь после бани. Ублажившись, соснули на перинах, а час пробил поспешать в «Эрмитаж», поднялись, что называется, как встрепанные.

Москвичи расстарались, эрмитажный повар-кудесник не ударил лицом в грязь, и музыка оффенбаховская нежила, штилеты в такт двигала, и Коко волооко провожал дам, что в бедрах, пожалуй, шире питерских.

А на другой день Георгий Порфирьевич был уже при исполнении «особых служебных обязанностей». Не в банях баниться, не в эрмитажах кутить пожаловал за шестьсот с лишком верст.

Кто ж еще, как не Георгий Порфирьевич, мог ревизовать готовность первопрестольной к приему царской фами-

лии? Три месяца назад высочайше утверждено «Положение об устройстве секретной полиции в империи». Согласно пункту пятому Судейкину вверили «ближайшее руководство» всеми учреждениями тайной полиции. Ему, чину малому, не прекословят начальники губернских жандармских управлений вкупе с начальниками отделений по охранению общественного порядка и безопасности. Вот то-то и оно, генерал не генерал, а извольте-с. А ежели в «Эрмитаже» чокались, то это еще не значит, что спуск будет. Ни малейших послаблений, господа, сами понимаете — коронация.

Он-то ой как все понимал. Недаром выспрашивал Яблонского, недаром опытейших филеров гонял. Яблонский после свидания с Вячеславом Константиновичем заартачился было: «я-де не убежден», «мало ли что», «есть группы, мне неизвестные...» Цену набивал, все-то недоволен. А Георгий Порфирьевич напрямик: «У нас с вами, Яблонский, иные цели, так? У нас никакой надобности в шуме-громе, так?» Умный, умный, а дурак: согласился, признал, что не будет в Москве злодеяния. Спасибо, брат.

Однако инспектор не бросился со всех ног успокаивать директора департамента. Зачем? Лыком шит, что ли? Нет, пусть: «Сюрпризов ждут, сюрпризы будут». Пусть на него, Георгия Порфирьевича Судейкина, Богу молятся: спаси, вызволи. Этот старый дурак (в Академии бы наук тебе, ваше сиятельство, злого бы духа пускать по преклонности годов, и довольно), старый дурак снизошел. Губу жевал, глаза желтые: «Как вы полагаете? Государь на вас надеется». Да и ты, ваше сиятельство, крепко на меня надеешься. Однако ни полковника не дал, ни высочайшей аудиенции. Потом, дескать, после. Ну хорошо, хорошо, благодарствуйте. Поживем — увидим. А орденского крестика мне не надо, шубу не сошьешь.

Он многое понимал, инспектор Судейкин. Яблонскому верил, намертво верил. И все ж сомнения (не в Яблонском, а в его осведомленности о делах московских нигилистов), сомнения-то червем посасывали. И Георгий Порфирьевич день-деньской на ногах. Повсюду поспекает Георгий Порфирьевич, а за ним тенью Коко Судовский. Без форсу, без свиты, без рассыльных. Скромно, тихо, посторонними эдакими господами.

Народные торжества чего требуют? Городовых, чтоб пьяных до потери образа по мордасам, а карманников за шиворот — и вся недолга. Иная статья, совсем иная, коли торжества народные в присутствии высочайших особ. Это

ведь уже что? Это ведь не просто, а единение с верховной властью. Оно в газетках куда как хорошо выполнено. Но в нашей грешной, быстротекущей жизни за этим вот самым единением глаз нужен. И какой глаз! Всевидящий!

Большую часть времени, оставшуюся до коронации, Георгий Порфирьевич убил в Кремле. Судейкин не ворошил журналы «Комиссии для принятия мер к предупреждению злоумышленных взрывов». Инспектируя, он хотел быть са-мовидцем.

Судейкин меньше всего умилялся великорусским святы-ням, хотя, конечно, обнажал голову в воротах Спасской башни, как делали все православные со времен Алексея Михайловича, и крестился на соборы, как делали все пра-вославные со времен еще более стародавних. Он не преда-вался размышлениям о Кремле как вместилище бестрепет-ного насилия и наглого самозванства, печальных отречений от престола и перемены веры ради престола, кровавых мук и принудительных постригов, осквернения храмов и оск-вернения девственности. Он не бродил меланхоликом меж гробниц, столь многочисленных, что Кремль, можно ска-зать, на царственных костях зиждился, как Россия на ко-стях верноподданных. И трепетно не всматривался Георгий Порфирьевич ни в архитектурные пропорции, ни в живо-писные эффекты.

Инспектору секретной полиции подполковнику Судей-кину все эти строения на Боровицком холме, обнесенные зубчатой стеною с башнями, были огромным, сложным, чертовски путаным хозяйством с бессчетными лазейками и щелями, потайными ходами и закоулками, полутемными сенями, коридорами, подклетьями, подвалами.

Георгий Порфирьевич по совести признал: «Комиссия для принятия мер...» во главе со свитским генералом Коз-ловым потрудилась ревностно. Засовы и тяжелые, как ядра царь-пушки, замки нерушимо замыкали переходы и подва-лы, где пахло тленом. Железные решетки перегородили подземные сообщения с Москвой-рекой.

В Спасских воротах саперы копошились, звякал шанце-вый инструмент, светили фонари. Вот уж десятилетия и десятилетия российские самодержцы во всех наиторжест-венных случаях проезжали в Кремль Спасскими воротами. Теперь Спасские ворота ждали императора Александра. И саперы копошились: нет ли минного подкопа, вроде того, какой соорудили изверги революционисты два года назад в Питере, на Малой Садовой. Подкопы отыскивали саперы, мины отыскивали.

А в вышине, над солдатами и офицерами, над Красной площадью и торговыми рядами, отзванивали в тридцать три колокола башенные часы: дважды в день «Коль славен» и дважды в день «Преображенский марш». Отзванивали с нервной мрачностью, и москвичам было бы тягостно слушать эти башенные «пиесы», если б только они слушали. Но горожане, занятые будничными хлопотами, лишь машинально отмечали время, потому что «Коль славен» играли в девять утра и в три пополудни, а «Преображенский марш» — в полдень и в шесть вечера. Марш этот звучал и Георгию Порфирьевичу, когда инспектор завершил наконец главный и самый ответственный раздел своей ревизии.

Однако Боровицкий холм был лишь одним из семи, на которых уселся своим широким дебелым задом «Третий Рим».

Из Петровского дворца, что по Петербургскому шоссе, государь проследует в Кремль. Оно сподручнее бы с Николаевского вокзала. Да на рысях, скоренько. Но нет, существуют «исторические воспоминания». Петровский дворец при Екатерине воздвигли в память одоления басурман-турок; все императоры в преддверии коронации останавливались в том дворце. И потому, стало быть, ехать его величеству Тверской бойкой улицей, засыпающей позже всех прочих.

Судейкин опять не мог по совести не признать ревностной распорядительности комиссии свитского генерала Козлова. Во-первых, Тверскую наново мостили, дабы царские кони, хоть и о четырех ногах, не спотыкались, и мостили лишь засветло, под призором городских. Никаких тебе, значит, подкопов. Во-вторых, домовладельцев «на время проезда» строжайше обязали затворить все окна, все балконы, чердаки и ворота, парадные и черные двери. Как при моровом поветрии. И, в-третьих, сняли с Тверской телеграфные и телефонные провода. Зачем, для чего? Этого уж и сам Георгий Порфирьевич объяснить не умел.

Князь Гедройц, лейтенант, явился в «Дрезден» поутру. Отказавшись от чая, повез Георгия Порфирьевича на Неглинку. Князь, молодой человек с какой-то прокуренной физиономией, был дельным сапером. Неглинки он ужасно опасался: тоннель пересекает главные улицы, прямо-таки готовенькая минная галерея! Да, да, уже сделаны глухие люки, но все же... Князь ходатайствовал о специальном охранении. Генерал-губернатор Долгорукий пожал плечами: не затолкаешь, дескать, городских в эту клоаку. И

верно, с ног шибает. Князь даже головой покрутил. Но почему бы, собственно, и не «затолкать»?

Инспектор от поверочного спуска в «готовенькую минную галерею» увернулся, любезно заверив лейтенанта, что вполне надеется на его опытность. Инспектор только потопал каблуком в наглухо заклепанные люки и попытился — так оттуда разило. Ничего удивительного: Неглинка принимала сточные воды; если Язу москвичи иронически величали семицветной, то уж Неглинка, сдается, была семидесятицветной.

Н-да-с, Москва, черт возьми, изрядно пованивала. Георгий Порфирьевич осуждал здешнее «санитарное состояние». Оно, конечно, не входило в круг обязанностей инспектора, но ведь Судейкин-то непрестанно оказывался под его сокрушительным воздействием. Особенно, в Охотном ряду, в этом московском чреве.

Охотный дымился густой, бьющей, как обухом, вонью. Воняло кровью, парным и лежалым мясом, прогорклым жиром и заплесневелыми костями, паленой шерстью, пухом, испражнениями, прелой рогожей. Багровые мужичины, вооруженные ножами и топорами, в кожаных фартуках, закатанными по локоть рукавами, ворочали товаром, ворочали и тыщами.

Он бы упразднил этот чудовищный вертеп. Что ж до самих охотнорядцев... О, они всегда готовы резать студентов, жидов, умников-разумников, они плюют на все западное и чтут все исконное, они воняют, как сам Охотный ряд. Георгий Порфирьевич не одобрял «варфоломеевского дня», когда мясники крушили универсантов. Не одобрял. Противодействие крамоле — задача полиции, воинских команд. Но инспектор, съевший собаку на политическом розыске, инспектор, внедрявший провокацию, догадывался: существуют охотнорядцы и пребудут, ибо в них надобность, как во псах при овчарне. А может, это и хорошо? Однако ж непорядок. Поди-ка сообрази... Впрочем, Георгию Порфирьевичу недосуг соображать. Какое ему, в сущности, дело? Вот коронация — это его дело.

Тихо, скромно, не привлекая внимания, Судейкин и Коко показались в Манеже, в Большом театре, во храме Христа Спасителя, в Дворянском собрании, то есть именно там, где будет государь с августейшим семейством.

К Дворянскому собранию, где готовился грандиозный бал, примыкала гостиница «Лондон». Г-н инспектор распорядился временно поселить во флигеле полицейских чинов, а бильярдную в первом этаже временно закрыть.

Бронная и Козики, где селились студенты (московский Латинский квартал), находились слишком близко от Тверской. Г-н инспектор распорядился увеличить там число городских. Разумеется, тоже временно.

Две ночи Судейкин допрашивал филеров. Его интересовали настроения в университете и в Петровской земледельческой академии, на Прохоровской мануфактуре, в заводах братьев Бромлей, Гоппера, Листа. Он призвал трех водолазов, посланных Плеве, и услышал, что мины под мостами на Москве-реке «никак нет, не заложены». Он заглянул и в Императорский российский Исторический музей, только что законченный постройкой. Прапорщик лейб-гвардии показал ему наблюдательные посты, с коих просматривалась вся булыжная ширь Красной площади.

Потом, закругляясь, г-н инспектор секретной полиции явился в «Комиссию для принятия мер...» Встретил Судейкина сам генерал Козлов, свиты его величества генерал, молодящийся, крепко надушенный, с кавалергардской осанкой.

«Итак, ваше превосходительство?» И генерал со штабной четкостью докладывал подполковнику: «На вокзале — шестьсот солдат; по пути высочайшего следования — шестьдесят городских, жандармский дивизион; в Кремле — пехотный батальон, в Манеже — кавалерийский эскадрон; при высочайшем выходе в Кремле — сорок пять полицейских офицеров, семьдесят восемь околоточных, четыреста десять городских, жандармский дивизион; на улицах, в толпах — четыре тысячи агентов охраны».

Все было готово к единению верховной власти с народом.

6

Лиза обидела извозчика. Тоже, понимаешь, гораздо на лихачах раскатывать, а остановилась-то где? В мебелирашках Литвинова, на Варсанюфьевском. Тьфу, пропасть! Извозчик был не простой — вокзальный. Эти получали от хозяев гостиниц особую плату за доставку гостей. В размере поденной стоимости номера. С мебелирашек велика ли мзда? Полтинник, не больше. А Лиза, взяв лихача, вдруг и оробела: какое мотовство! И в гостиницы не поехала, поехала в дешевые мебелированные комнаты.

Ей там очень приглянулось. Опрятная комната, окнами на просторный двор с деревьями и кустами. И такая миленькая горничная — тугой платочек по самые бровки,

протяжный ласковый «акающий» говорок: «Харашо ли даехали, барышня? Атдыхайте на здаровице, милости просим...»

Сережино поручение она обязалась выполнить в первый же день. Так-то и лучше: долой записку — вольная птица. Нила Сизова надо было спросить в мастерской Смоленской железной дороги. Если неудача, отправиться к Тверской заставе — позади трактира «Триумфальный» живет его мать.

Путь был неблизкий, другой конец города. Лиза рассчитывала на конку, но, дохнув безветренной майской теплыню, услышав шум Москвы, решила хоть часть дороги, пока не устанет, пройти пешком.

Ей было хорошо: почти позабытый город, деньги есть, крыша над головой есть, время есть. И эта уверенность, что в последний месяц она похорошела, расцвела. Она замечала, что близость с Коленькой избавила ее от частой хандры и раздражительности. Теперь, когда она шла переулками, держа направление к Тверской, она ощущала в себе что-то давнее, гимназическое, будто шалунья, улизнувшая на прогулку.

Все ей сейчас было по сердцу. И эти улочки, и эти мужики с лотками, и бородач, распевавший: «Ножи, но-ожницы точить», и дряхлевшие особняки, и даже то, что их классические фасады облеплены вывесками портных, сапожников, торговцев, вот вроде этой аршинными буквами: «Продажа бумаги писчей, почтовой, рисовальной Ивана Васильевича Жукова». У нее радостно екало сердце, когда рядом, из-за забора, вдруг взлетали белые, серые, сизые комочки и, шарахнувшись, бойко треснув крыльями, устремлялись вверх. Ей нравилось, что дома стоят с патриархальной вольготностью, и она подумала, что вот так же, наверное, и в Архангельске, о котором брат Сережа вспоминает нередко. А большие доходные дома Лиза замечать не хотела.

Потом Лиза очутилась на Петровке, в Столешниковом, в средоточии московской, торовато распродающейся роскоши. Ее обступили перчаточные и шляпные, кондитерские и ювелирные, готового платья и готового белья. О бедный Фамусов! Эти улицы никак не утрачивали своей притягательно-разорительной силы. И, поддавшись ей, Лиза забыла Сережино поручение.

Витрины Невского были блистательнее, солиднее. Но Лиза дорожила каждым рублем. А теперь, а здесь она была проездом, она была при деньгах и не думала о завтрашнем

дне. И почему-то казалось, что тут все дешевле, доступнее и торгуют тут с какой-то ласковостью, словно одаривают, а если берут деньги, так это уж так, между прочим, не в деньгах счастье. А вокруг шум, смех, «pardon», «merci», радушие, предупредительность.

И верно, «вся Москва» пребывала в том нетерпеливом возбуждении поскорее и побольше закупить, какое охватывало «всю Москву» в предвкушении балов, празднеств, парадных обедов, военных смотров. «Эти петербуржцы» уже съезжаются, ну так Москва себя покажет, Москва утрет им нос. И, взбурлив, Москва осаждала Кузнецкий, Столешников, Петровку, брала пирожные от Трамбле, причесывалась у Жозефа, заказывала бордо и сотерн, галстуки и штиблеты, цветы и сигары.

Лизе до смерти захотелось транжирить, ведь она не хуже других, почему бы и не поддаться искушению, вовсе не ради коронации, а просто потому, что «все», и тепло, май, и еще потому, что одна-одинешенька в этом городе. И она купила себе лайковые перчатки, купила шляпку, новомодную, парижскую, серой тафты, а вокруг тульи розовая муаровая лента, а поля подбиты черным бархатом.

Уже в сумерках Лиза добралась до Триумфальных ворот. День отходил, как жил, — в мирной теплыни. У Тверской заставы начиналось Петербургское шоссе. Пахло незастроенной, сохнувшей после недавней ростепели землею, рощами пахло, открытыми пространствами, которые хоть и не были видны из-за домов, но угадывались. Ни особняков тут с фронтонами, старых гнезд московских, ни доходных, в пять этажей, а приземистые дома, бедные, бревенчатые. Ворота у них сплошные, дощатые, высокие, не перелезешь, а калитки с фасонными щеколдами. Как в Можайске, как в Верее.

Слева, в глубине площади, за теперь уже стихающим громом ломовиков и конки, сумерки размывали фасад Смоленского вокзала, слабо синели керосиновые фонари. Лиза подумала, что пришла поздно, что в мастерских, должно быть, кончили. И вдруг удивилась: зачем это Сергей направил ее в мастерские? Интеллигентная барышня в мастерских? Как это так, а? И для чего, спрашивается, мастерские, когда вон, по правую руку, трактир, где-то там, во дворе, живет этот Нил Сизов.

Отворила пожилая женщина. В комнате огонь горел, слышался запах стирки и постирушки.

— Вам кого? — голос был неласковый, настороженный. Лиза сказала.

— Ни-и-ла? — протянула хозяйка. — Входите.

Она зажгла свет. Лиза увидела ее лицо: властное, умное, раскольничье.

— А вы кто же будете?

— У меня к нему дело.

— Вы кто же будете?

— Простите... Он скоро?

— Право, не знаю. — Хозяйка переставила лампу, чтоб свет падал на гостью. — Садитесь.

— Благодарю.

— Чего ж, садитесь, — пригласила хозяйка властным тоном.

— А Нил скоро?

— Нил-то? — Она усмехнулась и спрятала усмешку. — Не сказывается матери. Вы-то откуда будете?

Лиза начинала сердиться.

— Скажите, пожалуйста, ждать мне, нет? Вы понимаете...

— Понима-аю, — насмешливо и сурово перебила хозяйка.

— Да вы меня не за ту принимаете! — вспыхнула Лиза.

— Сиди, сиди, ишь, подхватила.

Лиза увидела в ее глазах как бы теплый отблеск.

— Нет, я пойду, — сказала Лиза. — У меня просьба...

— Обиделась. Я вас за ту, именно что за ту принимаю, а вы и обиделись на старуху.

— Отчего же за «ту»? — облегченно улыбнулась Лиза.

— А потому сестра наша вроде бы еще не опаскудилась.

— Вы все загадками.

— Ка-акие загадки, милая? Я к тому, что этих-то... предателей промеж баб нету.

— А-а, — рассмеялась Лиза и продолжала послушным голосом: — Я ждать никак, ну никак не могу, а вы уж передайте, пожалуйста, чтоб навестил Елизавету Петровну в номерах Литвинова. Варсанофьевский переулок знаете?

— Как не знать? В Москве полвека, да не знать! Елизавету Петровну, значит? Так, так... — Она снова нехорошо усмехнулась. — В номера чтоб?

— Послушайте, — сказала Лиза с сердцем, я к нему послана, а вы...

— А я что? Я ничего. А только нынче уж его не ждите.

Лиза ушла. Она чувствовала, что Сизова стоит на пороге, смотрит вслед. «У-у, боярыня Морозова», — поежилась Лиза и прибавила шагу.

Уже стемнело. В трактире были открыты окна, мелькали половые в белых полотняных одеждах. Музыкальная машина громко вытренькивала «Ах, где же ты, моя услада?» Лиза вышла на площадь, взяла извозчика и тут только почувствовала усталость. Но усталость была приятная, она подумала, что спать будет хорошо, крепко, и это предвкушение сна тоже было приятно Лизе...

Утро встало высокое и светлое. На дворе деревья покачивались; наверное, можно было бы услышать их лепет, когда бы дядьки в картузах не голосили сипло:

— Калоши старые бере-е-ем...

— Ведра, корыта, кровати починя-я-ем...

Нил Сизов не являлся. Ехать к нему Лизе не хотелось. «Поеду, — думала, — как домой соберусь». Ни Светловской в «Онегине», ни хохловским баритоном насладиться ей не удалось. Певцы были заняты репетициями, Лизе сказали, что они будут с хором на Красной площади в день коронации.

Она бродила по Москве, видела, как город охорашивается гирляндами, флагами, иллюминациями, царскими вензелями. На Страстной и Смоленской видела, как по старинке торгуют с возов. Видела, как медленно, одышливо влекутся конки, на империалы которых (в отличие от Петербурга) слабый пол не пускали.

Москва уже томила Лизу. Чувство новизны, избавления от будней затупилось. Она бы удрала домой, но в Петербурге не было Коленки. Ужасно затоскуешь в опустелом городе. Легче думать, что они оба в краткой отлучке. И надо же увидеть коронационные торжества, зрелище редкостное.

Торжества начались 10 мая 1883 года. В первую половину дня натянуло тучки. По крышам и мостовым играючи пробежался молоденький дождик. Потом распогодилось.

Лиза поднялась к Сретенке. Публика с серьезным радостным оживлением, похожим на пасхальное, текла в сторону Тверской, Манежа. Квасной площади — смотреть, как царь поедет в Кремль.

В этот самый час к главному подъезду Петровского замка подвели снежной белизны коня в черных, глянцевито зализанных чулках. Конь был поистине царской крови, рослый, крупный, спокойный.

Император вышел из дворцовых сеней. Так выходили некогда: первый Павел, первый Александр, первый Николай, второй Александр. А теперь вышел человек чрезмерно плотного сложения, с лицом, которое одним напоминало

мопса, другим — быка. Он был в генеральской форме, в круглой барашковой шапке.

Вокруг он видел знакомых, хорошо ему известных людей: великих князей и великих княгинь, иностранных принцев и принцесс, послов и посланников, статс-дам, сенаторов, генерал-адъютантов. И единственный, кому он верил последней кровинкой, тоже был тут — его денщик, его собутыльник, его верный приятель, начальник охраны генерал Черевин. Этот рубил весь мир надвое: ни для кого не досягаемый государь, при государе он — Петр Черевин; ну еще — так уж и быть — государыня Мария Федоровна с детьми. Остальные — сволочь. Все, кто сейчас в своих придворных и военных мундирах, со своими плюмажами, аксельбантами, вензельными эполетами, орденами, все, кто сейчас суетился, расхаживал, выбегал, убегал и возвращался, перешептывался, взмахивал руками, кивал, — все они сволочь. Включая и великих князей, этих лоботрясов, веч-но досаждающих царю.

Император и начальник охраны переглянулись, оба думали об одном: ах, кабы да в Гатчину! Государь затворился бы в кабинетике, читал бумаги и аккуратно, крошки не обронив, набивал табаком папиросные гильзы. Черевин сидел бы при дверях. Безопасность, покой, уют.

Но Александр бессилен что-либо переменить, как может быть бессилен лишь владыка и самодержец. У него будто пухнут ноги, тяжелый, он словно еще на пуды тяжелеет. Он скашивает глаза на темноволосую женщину с прелестными зубами, полуоткрытыми в напряженной улыбке. Александр любит ее покойно, но сейчас, при ее прикосновении, грудь полнится нежностью, благодарностью, страхом. Сейчас, стоя на крыльце, готовый в путь, он уже не за себя страшится, не за наследника, не за детей. И с мольбой мысленно произносит ее имя, не русское, не Мари и не Мария Федоровна, но девичье, невестино имя — Дагмара, моля всевышнего пощадить, уберечь.

Она платит ему прочной привязанностью, хотя предмет ее тайных вожелений некий флигель-адъютант. Но сейчас, в минуты ожидания ужаснейшего происшествия, она отчетливо и больно сознает, как дорог, как близок ей этот толстый мужчина в генеральском мундире. Будто и не было династических расчетов, а было то, что бывает у всех людей, — супружество и дети, добросовместно, в согласии зачатые.

Некогда, совсем еще юной, определили Софию-Фредерику-Дагмару, дочь датского короля Христиана IX, не-

стой наследника российского престола. Но цесаревич угас в Ницце, и юная датчанка легла в постель его брата Александра.

Если Париж стоил мессы (а Париж ее стоил), то Россия стоила перехода из протестантской веры в православную, и Дагмару нарекли Марией Федоровной. Она не смирялась со своей судьбой, потому что никогда не бунтовала против нее. В сущности, она была счастлива. Саша любил ее, она это знала, любил простодушно и доверчиво, он ведь кроток и мил, как большое дитя... Она погладила его руку. Она готова была разделить его участь.

Три пушечных выстрела возвестили Москве: государь сел на коня, чтобы следовать в Кремль, в Успенский собор. Три пушечных выстрела, один за другим, и процессия тронулась.

Великолепное шествие тронулось — живописное, пышное, глупое, театральное, азиатское. Алели бешметы конвоя его величества, переливались цветные перья на шляпах скороходов. Сахарными головами сверкали чалмы черноликих «арапов». Обер-гофмаршал в открытом экипаже держал жезл так, словно боялся пролить чашу с благовониями. Государевы охотники красовались парадной формой. Взвод жандармов ехал верхами на вороных, эскадрон кавалергардов — на пегих, эскадрон лейб-гвардии конного полка — на серых в яблоках, эскадрон лейб-драгун — на каурых. И еще кавалькады, и еще. И четырехместные кареты с принцессами, с великими княгинями, придворными дамами. И огромная золоченая карета, запряженная восьмеркой кобылиц, в карете датчанка Мария Федоровна в белом платье русского покроя. А в центре процессии — тот, кто готов венчаться на царствование, тот, кто искренне верит в святость происходящего и в то, что царь царствующих взирает сейчас на него, третьего Александра.

Белый конь в черных чулках, выступая тяжело и мерно, нес тяжелого, костистого, бородатого человека, наряженного генералом. «Боже, царя храни», — гремели полковые оркестры, расставленные по всему пути следования, а когда государь приближался, оркестры смолкали и военные барабанщики с грозной отрешенностью выбивали дробь.

Тень триумфальных ворот лежала в начале булыжной Тверской. Люди теснились и жались по сторонам улицы. Людей было множество, они кричали «ура» и махали шапками. Александр улыбался, наклонял голову. Ему было душно, у него прело в паху, толстые щеки подергивались.

Странное, тягостное, мучительное ощущение липло к ладоням. Александр пошевелил пальцами, и это движение, он чувствовал, как бы приблизило его к какой-то разгадке. Но, только выпростав платок, только медленно отирая пальцы, отирая ладони, он все понял.

(Два с лишним года назад, зловещим мартовским вечером, карета, окруженная павловцами, летела из Зимнего в Аничков. Там, в Зимнем, в батюшкином кабинете, пахло кровью, йодоформом, оплывающими свечами. В минуты агонии он поддерживал голову отца, и обильный смертный пот увлажнял ладони. Руки сохранили память о зыбкой скользкой тяжести. И тогда, в карете, возвращаясь к себе, в Аничков, он отирал ладони платком. Карета летела мимо Екатерининского канала. На том месте, где грянул взрыв, стояли часовые-преображенцы. В Аничков мчалась карета. Он был один на один с этим проклятым городом. Он был один на один с притаившимися стомиллионными подданными. И ему было жутко. Сказано же было так: «Но посреди великой нашей скорби глас Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного».)

Процессия двигалась посреди толп, флагов, жандармов, мимо взлетающих шляп, сквозь «ура», мимо запертых ворот и подъездов. Император улыбался, наклонял голову, а на ладонях была зыбкая студенистая тяжесть...

Ударило громадно, звучно, и литой вал гулко и плавно пошел в горних высотах. Не в этом небе, как всегда меченом галками, крестами, двуглавыми мертвыми птицами, не в этом небе с его редкими обыденными тучками, а там где-то, в вечной синеве.

У Лизы пресекалось дыхание. Она не успела перевести дух, как опять, но еще громаднее и звучнее, во всю ожившую государственную мощь четырех тысяч медноголосых пудов сотряс воздух Успенский колокол. Общий вздох проселестел над Красной площадью, и толпа сняла шапки.

А на Иване Великом, следом за Успенским колоколом, уже вступали, как младшие витязи, и двухтысячный Реутревун, и семисотенный Воскресный, и Медведь... Не марсовый рев, но ратный мужской хор, торжественный, как ополчение.

Но вот заблаговестили кремлевские соборы, и позади торговых рядов и за рекой сотни колоколов заблаговестили. И странно: что-то переменялось, покинуло людей, редкостная минута была утрачена. Лиза уже не чувствовала слез,

у нее уже не замирало дыхание, хотя она и прониклась чудной красотой московского благовеста.

Потом закричали: «Едет! Едет! Едет!» Толпы расколыхались, напирая на солдатские цепи, теснясь к Спасским воротам. Началась давка. Лизу затолкали, стиснули, она испугалась за свою новую шляпку, хотела придержать, но не могла поднять руку. Ее сжимали все сильнее, наваливаясь на спину, она пыталась стряхнуть с себя чьи-то лапищи, ей стало жарко, она задыхалась от запаха чужих тел, пота, ваксы, от этого воспаленного животного запаха шевелящейся, колышущейся толпы, орущей «ура, ура-а-а!»

У Лобного места симфонический оркестр заиграл из «Жизни за царя», хор запел «Славься». Там пели и «несравненная Татьяна Ларина», и несравненный Хохлов, там пели хористы Большого, певчие придворной капеллы, инструментовка для хора и оркестра была Чайковского, и вот они играли из «Жизни за царя», пели «Славься, славься...», играли и пели у Лобного места, и «Славься, славься, русский царь» в первый, но не в последний раз звучало над Красной площадью.

Лиза едва не потеряла сознания. Она не видела, как император проехал в Кремль. Все перемешалось — чьи-то руки, чьи-то выпученные глаза, опасение за новую шляпку, «Славься», всадники, мундирный блеск, топот коней, колокольный звон.

Чуть живая она добралась до Варсанофьевского. Ей было скверно, она не могла избавиться от чувства физической нечистоты. С досадою она вспомнила, что этот Нил Сизов так и не показался.

На дворе была тишина, недвижные деревья, бледное вечернее небо. Вдали палили пушки, салютуя императору. Она подумала о другой толпе, на Семеновском плацу. Император Александр начал царствование виселицами. В Кремль он ехал при звуках «Славься».

«Славься, славься, русский царь...»

К Сизовым она пришла утром. Нила опять не было. Сизова и при дневном свете показалась Лизе властной раскольницей. Но, пожалуй, старше, чем тогда, в сумерках. Нет, сказала, Нил не появлялся, она и сама не знает, куда кинуться.

— Может, случилось что?

— Бог не без милости, — с каким-то, как послышалось Лизе, высокомерным спокойствием ответила Сизова. — А у вас, барышня, что к нему?

Лиза на минуту задумалась. Сережа просил отдать из рук в руки. Однако не везти ж обратно в Петербург?

— Я мать ему, — строго сказала Сизова.

— Ну конечно, да-да, — поспешно согласилась Лиза, опять робея перед властным «боярским» взглядом и думая, как бы поскорее избавиться от опасной записки, которую она таскает при себе. — Да, да, от чего же... Ножницы у вас есть?

— И стираем, и шьем, как не быть, — усмехнулась Сизова.

Лиза вспорола материю, извлекла записку.

— Вот, пожалуйста, только прошу вас никому не показывать.

— Одному попу на исповеди, — недобро отшутилась Сизова. И прибавила: — Дай-ка, барышня, я поправлю.

Она быстрой стежкой, мелькая иглой, зашила лифчик, разгладила ладонью, подала Лизе.

— А спросит, как сказать? Лизавета Петровна, в номерах Литвинова?

Лиза заколебалась, нерешительно указала на записку: дескать, там все объяснено, поймет.

— Да вы не опасайтесь.

Сизова так открыто, так неожиданно улыбнулась, что Лиза тотчас назвала свой петербургский адрес.

— Ага, не здешние, стало быть, — отметила Сизова. — Ну хорошо, ладно.

На улице Лиза струхнула: оставила адрес, дура! Всегда эдак: скажешь, сделаешь, а потом — батюшки! Вот дура... Сережка хорош: отдашь Сизову, и больше ни гугу! Но ведь мало ли что, успокаивала себя Лиза, а может, правильно?

Успокаивала, но нехорошие предчувствия владели ею. Торопливо расплатилась в номерах, помчалась на Николаевский вокзал. До поезда было долго, на вокзале мерещились преследователи, она ходила в окрестных улицах, повитых паровозной гарью, холодными руками сжимала ручку баульчика, картонку с обновлениями. Нехорошие предчувствия не оставили и в поезде, и Лиза то и дело украдкой озиралась.

А в Москве продолжались торжества по случаю возложения короны на толстого мужчину в генеральской форменной одежде. И на супругу его — темноволосую женщину с бархатными глазами, в длинном платье из серебряной парчи с орденом святой Екатерины на пурпурной ленте.

В Успенском соборе придворная капелла исполняла «Милость и суд воспою тебе, Господи». Управляющий капеллой Балакирев, облаченный в мундир придворного ведомства, стоял на правом клиросе; его помощник, тоже в придворном мундире, Римский-Корсаков, высился на левом клиросе. «Милость и суд воспою тебе, Господи», — пели певчие. Рядом с Корсаковым поместился человек во фраке, единственный в соборе человек во фраке — художник Крамской. Он был назначен увековечить картину коронации. Крамской рисовал, певчие пели. Император, начавший царствование виселицами, входил в Успенский собор. «Милость и суд воспою тебе, Господи».

Он прочел символ веры, у него был мягкий голос простодушного, примитивного тембра. Митрополит возгласил: «Благодать святого духа да будет с тобой, аминь».

Этим вот «аминем» и началось, в сущности, главное действие. В нем было множество ритуальных телодвижений и телоположений, бесчисленное повторение Господнего имени, надевание неудобных для головы шапок, изукрашенных драгоценностями, поднесение порфиры, державы, скипетра. В этом действе были протодьяконовский бас, коленопреклонения и лобызания, пальба и трезвон, народ, кричавший на всю Ивановскую и на всю Кремлевскую площади. И тяжелый взгляд генерала Черевина, и просветленное лицо Победоносцева, и вытянутый, будто аршин проглотивший Плеве, уже произведенный в тайные советники, и развернувший плечи Судейкин, еще не удостоенный полковничьего чина.

А после — иллюминация, гульбище на Ходынском поле, пьяное и людное, и торжественный марш в Сокольниках, тот самый коронационный марш, который сочинил композитор Чайковский с «величайшим отращиванием», а Танеев дирижировал в Сокольниках, очень хорошо дирижировал.

Руки уже не напоминали о зыбкой тяжести. Бог не выдал, сюрпризов не было. И все ж хорошо бы в Гатчину. Нет, надо ездить на Ходынское поле, где чернь опорожнила тысячи бочек пива, и в Дворянское собрание надо ездить, где танцует «эта сволочь».

А на обширном дворе Петровского замка в трех громадных шатрах истово кушают шестьсот тридцать волостных старшин — подстриженные окладистые бороды, медали, крепкие шеи.

Потом, стоя, они истово слушают мягкий, простодушный, вразумляющий голос:

— Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным и нелепым слухам и толкам о пределах земли, даровых прирезках и тому подобном...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Настоящее торжество не в Кремле вершилось, а там, где Нил Сизов приютился. Май как из духовки шел. В озерцах яснела вода. Вечерами майский жук гуще жужжал. Паровозы на Смоленской дороге кричали будто октавой ниже: березняки да осинники, одевшись листвою, глушили их окрики.

Местность была в увалистых холмах. Если взойти на взгорок, хорошо видно, весело глядеть. Конечно, и за Тверской заставой рощи, там-сям огороды, но со здешним привольем не сравнить. Живи, радуйся. И дядя Федя по-родственному принял, точно Нил с Сашей уже повенчаны.

Все в природе спокойным чередом. Хотя — нет, Дарвином доказано: сильный остается, слабый гибнет. Борьба за существование. Так-то оно так, да ведь в людском мире хуже: волк волка не ест, человек человека азартно жрет.

Сизов книжки привез. Казалось бы, самое время приняться, а его из дому тянет, не усидит в сторожке дяди Федора. А на вольном воздухе, в ходьбе этой какие там серьезности, так, чепуховые мысли какие-то, будто в мальчишестве. Да вот иной раз залюбуется Москвой-речкой (здесь верх ее, талые воды сойдут, богородицыной слезой будет), речкой залюбуется иль лесом, что на крутом левобережье, и вдруг Митя перед глазами встанет. Глядит с укором: благодать тебе, Нил, а мне, брат, темно и сыро, нет меня и уж не будет во веки веков.

На свет они погодками явились. Митя первенцем. Росли о бок. Нил в росте не отставал, в плечах тоже. Отец досадовал: «Чтоб тебе, мать, промежуток оставить — одежда бы с одного на другого перелазила». А мать ему: «Твоя вина — дорвался!» Отец плешь почешет, бросит молоток, обнимет жену.

Отец-то у Нила неказист был, мать — красавица. К ней когда-то удалые ухажеры Ямского поля лепились, она нет да нет, вот Бог, вот порог. Отец статью не удался, зато

рукоеслом взял. Ему обувь носили фасонную, сапоги заказывали. Митька и Нил с пеленок нюхали тяжелый запах товара, видели дугу отцовской спины, и как торчат в его сжатых губах гвоздочки, один к одному, рядком.

«У Якова-то, — не сомневались соседи, — ребята поднимутся, не иначе тоже тачать будут». Вышло иначе. Едва поднялись, Сизов определил обоих в образцовую ремесленную школу в Грузинах. «Пушай по металлу обучатся». Мать опешила. В дому она голова, а как мальцов определять, Яков не спросился броду: «По металлу!» Она вспыхнула, у нее это не в редкость. И что же? Оказалось, Яков-то сиднем сидит, но далеко целит. Яков своей Нюре как одну копейку: теперь, говорит, нужные, вот что. Да и почище моего пусть поживут, вот что.

В ремесленном стали учить и простой, и технической грамоте, стали учить Митю на токаря, Нила — на слесаря. Мастер-наставник, махонький, седенький, пошучивал: «Глядишь, братики, дело свое взбодрите, а? «Металлические изделия. Братья Сизовы». А? Хе-хе! — Взденет очки, задумчиво, будто что припоминая, добавит: — Очень это возможно, ежели пофартит». Ему-то, верно, не пофартило.

Ребят похваливали. Отец, лучась глазами, благодарил царицу небесную. Что ж до начальства в образцовом ремесленном, то уж тут Сизов отработывал, как барщину: обувку чинил даром.

Но вот беда — недоглядел Яков Илларионович, как сыны к чтению приникли. Сам-то он книжек опасался, ровно дурной болезни. Духовные, конечно, исключение. Но для тех попа содержат в церкви Василия Кесарийского. И вот книжная зараза змеей приползла, шурх в двери — вот она я!

Ногами Яков Илларионович не топал, ни к чему это. И драть не стал. Сопливые были — пальцем не коснулся, а теперь поздно — вымахали с Ивана Великого.

Яков Илларионович подсел к книгоциям, чего-то незримое смахнул со стола, накрыл страницу ладонью.

— Та-ак, — вздохнул, — значит, пропадать надумали?

— Отчего, папаня? — удивился Митя.

— То есть как «отчего»?

Яков Илларионович, наморщив лоб, осуждающе пошлепал ладонью по книге.

— Дак это ж Некрасов, — встрял младший. — Мить, зачти.

— Цыц! — вскипел Яков Илларионович. — Я те зачту! Чтoб больше... — И швырком книгу. — Поняли?

— Нет, не поняли, — заупрямился Митя, хотя Нил и пихал его под столом ногою. — Мудрено понять, папаня.

Яков Илларионович уже поостыл, кротко высказался:

— Я вам добра желаю.

— Знаем, папаня, — согласился Митя, — да ведь и в книжках добро.

— Эх, не ведаете, что творите, — покачал головою отец. — Ну-ка, нам вот с матерью... — Он оглянулся на жену; та стирала, стоя к ним спиной, но по тому, как белье и вода все тише ходили в корыте, понятно было, что она прислушивается. — Да-а, — продолжал Яков Илларионович, — вот, сталоть, скажите нам с матерью: кто вы такие есть?

Сыновья скупно улыбнулись.

— Э, стой! — прихмурился отец. — Говори: кто вы такие есть?

— Мы есть дети своих родителей, — почтительно отвечал Нил.

— Хорошо, верно, — почти удовлетворился Яков Илларионович. — А еще кто? По сословию-то кто?

— Мастеровые, — догадался Митя.

— Во, во, — возликовал Яков Илларионович, — загвоздил в точку. Мастеровые. Отсюда, что? Отсюда, вот что: дело ваше мастеровое, а книжки эти, пропади они пропадом, дело студентское. Что и заключается, — победительно резюмировал Яков Илларионович.

Нилу не хотелось огорчать старика. «Ладно, пусть его, — думал Нил. — Мы с Митькой схоронимся». Но старший заершился. Дескать, не затем грамоту выучили, чтоб кабак от булочной отличать. Дескать, в книгах добро и разум черпаешь. Дескать... Тут мать распрямилась и таким это голосом, точно кочергу узлом вяжет: «Отец дело говорит, а вы поперек!» И у обоих братьев — головы в плечи.

От чтения, однако, не отпали. Тут у них, в доме, во втором этажке, Санька жила, девица еще, на суконной мануфактуре Бома работала; матери у нее давно не было, вдовый отец, дядя Федя, путевым сторожем на Смоленской служил, редко наезжал. У Саньки они и приловчились.

Скоро, впрочем, мать обнаружила, где сыновья сумерничают, и неожиданный укор выставила: «Что ж, олухи, девку-то хорошую позорите? Застрамят ее соседи».

А Мите с Нилом, ей-Богу, ничего «такого» в голову не забредало. Явятся к Саньке (Сашей звать стали), она, усталая, прикорнет за своей занавесочкой в цветочках, посапывает, слушать приятно, а Нил с Митей листками шуршат.

Не торопясь, читают, со смыслом и памятливо. Студент (началом механики в ремесленном учил) занятными книжками ссужал Сизовых. «Надо, — говорил, — больше читать и больше думать». Сперва давал такие: «Пауки и мухи», «История одного крестьянина». Потом сказал: «Можно, господа, за Беляева приниматься». Какой такой Беляев? Оказывается — «Крестьяне на Руси». Для чего, зачем? «А для того, — отвечает, — что следует досконально штудировать крестьянский вопрос, ибо в России это вопрос вопросов».

После маминой укоризны оба вдруг и заметили, что Саша вправду «хорошая», да только не в одном, мамином, смысле, а и в другом, о котором вслух неловко говорить. Нил было надумал отстать, но Митька, ерш, на дыбы: «Э, предрассудки! Наши отец-мать понятия при крепостном праве получили».

Яков Илларионович, конечно, тоже знал, где ребята сумерничают. А разве свяжешь? Очень он за них тревожился. Ужинать сядут, Яков Илларионович ввернет, что от книжек этих, пропади они пропадом, все на свете беды, бунты, смута, прежде мирно жили — и ничего, кормились, да еще как, жирнее нонешнего, а теперь какие-то злодеи-социалисты обнаружались, бомбы в живых людей кидают, из револьвера палят, ни царя небесного для них, ни земного, все тьфу. И чего только полиция ушами хлопает? Он бы, Яков Илларионович, словил, загнал бы черт те куда, хоть на остров Сахалин.

Митя с Нилом не спорили. Молчок. Пусть отец, что хошь, а они ложками стук-стук. Но опять-таки Митька сорвался.

— Ругаешь социалистов всяко, а сам и в глаза ни одного...

— Не-е, я бы их, супостатов, порешил, — угрозился Яков Илларионович, который, что называется, и куренка в жизни не обидел.

— А вдруг, батя... Вдруг на поверку сын твой Митька как раз и есть социалист?

— Прикуси язык, дурень! — крикнула мать.

Социалистами сыновей своих Яков Илларионович не увидел. В ту осень, когда ребята в мастерские Смоленской железной дороги устроились (рукой подать, за вокзалом), занемог он жестокой горячкой. Загорелся, как сушинка, в два дня и убрался. Мать не голосила. Инструмент, покинутый навсегда, в руки брала. Возьмет и смотрит, смотрит. Митя от нее ни на шаг: «Мам, а мам», — не слышит. Нил плакал.

Стали жить втроем. Митя и Нил до последнего пятака все матери отдавали. Хорошие полочки у них были, потому что большие ремонты начались. Мать раньше, бывало, посмеется: «Вот уж, Яша, ребята на ноги встанут — покатаемся, как сыр в масле». Теперь она не то чтобы постирушки сократила, а еще дольше в господских домах пропадала. Они чуть не на коленках: «Не надо, мам! Чего нам не хватает? Христом-богом просим!» Она ладонью тронет их колкие уже щеки: «Мне так лучше».

2

Обоих Сизовых быстро аттестовали в мастерских: из тех, мол, которые «Божьей милостью». Мастер, сам токарь и слесарь первой статьи, откровенно, не боясь, что молодые задерут нос, признавал: «Брательники эти паровоз из проволоки сладят».

В огромных мастерских Нилу с Митей все по душе пришлось. И сама их огромность, не то что закутки у «рашпилей», как прозывали мелких хозяйчиков; и машины «на чистом электрическом ходу»; и германской выделки инструмент. А работы не муторные, всякий раз, как загадку отгадываешь.

Составилась у Сизовых «умственная» компания. Даже Лоскутов примкнул, человек серьезный, самостоятельный, повидавший белый свет. Он не только в Питере иль в Кронштадте токарничал, но и за кордоном, на Льежском оружьем... Этот вот Лоскутов и предложил однажды: «Хорошо бы, братцы, в обед не турысы на колесах, а газетку сухомятникам!» Кто жил далеко от мастерских, прозывался «сухомятником», потому что харчи брал в узелке. Сизовы хотя и не брали, домой в обед бегали, но поддакнули Лоскутову.

Газеткой не обошлось. Мало-помалу то Успенского Глеба, то про Гарибальди, но все цензурой дозволенное. А не дозволенное цензурой — вечером, для немногих. Теперь и дома можно было, Сашу не беспокоили.

Она сама обеспокоилась, пришла как-то.

— Можно? — спрашивает. — А то скучно.

Косынка на ней была новенькая, такой Сизовы раньше не видели, и ботинки новенькие, на каблучке и со шнуровочкой. Улыбается скромненько. Хозяева еще и рта не открыли, как Гришка-красавчик, из медницкой, Гришка-кавалер выискался:

— Отчего же, коли скучно. Пожалте, пожалте.

И так это особенно на Сашу глянул, Нила с Митей на кривой объехал.

— Заходите, Саша, — промямлил Митя, вдруг обращаясь к ней на «вы».

Гришка, разлетевшись, табуреточку подал и даже будто пыль с нее смахнул, как половой. «Ишь, шельма», — неприязненно подумал Нил, а у Саши глаза смеются. Митя просительно скосился на Лоскутова, тот и завел:

— Сталоть, так, господа, приезжаю я в Кронштадт, от Питера это неподалеку, городок на острове, кругом, значит, вода. Само собой, пароходы разные.

Пощуриваясь, ковыряя в ухе, Лоскутов нес околесицу. Саша вежливо слушала. Сидела она прямо, руки вытянула на коленях. Гришка постреливал в нее зенками, бровями поигрывал. Нил и Митя, изображая равнодушие, злились. Мастеровые покуривали, усмехались: «Горазд Лоскутов лапти плести».

Саше чудно было. И чего собрались? Водку не пьют, даже книжку не читают. Эка невидаль, приехал дядька в какой-то там... (Она позабыла, какой город.) Ну, в завод нанялся, куда ж еще?.. Гришкино внимание льстило Саше. Но вот если б вместо этого парня да Нил... Она догадывалась, что Нил сердится. «Позлись, позлись, — тешилась, — а то ходишь мимо».

Право, Гришка нахал: ишь, бровками дергает, Скобелев-победитель. А Санька-дуреха млеет. Своя-то она своя, но попробуй-ка читать при ней «Устав боевой дружины».

У Саши наконец скулы задрожали от подавленной зевоты. Гришка вызвался было проводить, да она ему: «Благодарствуйте, мне рядышком», — и, округлым плечом дверь нажимая, перехватив взгляд Нила, вдруг и зарделась.

— Посиделки, — проворчал Лоскутов. — Время даром... В другой раз умнее будете.

Кому он выговаривал, Митрию ли с Нилом, Гришке ли, разлетевшемуся со своим «пожалте», не ясно было.

В следующую субботу прочли «Устав». Митя отрубил: «То, что нам нужно! Действовать!» Нил отмалчивался. У него свои соображения, да на людях неохота с братом перекоряться. «Устав» этот что? «Устав» требует полного признания программы партии «Народная воля». А Нил, по правде сказать, и про «Черный передел» подумывал, отрицающий террор. Эти ж вот дружины названы боевыми, и каждый, кто в них, обязан участвовать в терроре: кому заводского доносчика убрать, кому предателя-шпиона, чтоб в охранку не шастал, а кому и покрупнее дичь срезать,

коли призовут. Но ведь и то в расчет взять — кто важнее императора? Ну одного убили, другой сел, и теперь уж порохом вовсе не пахнет.

Нил отмалчивался. Да, в общем-то, все смешались. Словно бы тяжестью их придавило. Не газетки «сухоятникам» пощелкивать, не книжки разбирать. Тут кровь, смерть, виселица, тут отчаянность во какая нужна. Работу забастовать — почему и нет, если прижмут? Но чтобы это с бомбой выскочить... Да-а-а, смешались мастеровые. Лоскутов тоже вроде смутился. Эх, не ко времени он, не подошло тесто, хоть и дрожжи есть.

— А я, братцы, — молвил Лоскутов, глядя в сторону, — я так, для ознакомления. — Он помолчал. — Чтоб знали вы: есть такие дружины. А лучше сказать — бывали, потому жандармерия, известно, гадов своих во все дыры запускает... Ну для ознакомления, значит, спешить-то нам ни к чему.

Митя Сизов загорячился, вспылал, совсем как мать. Лоскутов внушительно и намекаяще пресек:

— Ты за всех не ответчик. Желябов, покойник, советовал: лучше меньше да лучше.

Мастеровые разошлись. Митя напустился на брата. Нил отвечал, что хотел бы прежде определить суть несогласий «Народной воли» и «Черного передела». Дмитрий растопырил пальцы.

— Разные, видишь? Пальцы-то, говорю, разные, а на одной руке и одному человеку служат.

Нил показал сжатый кулак:

— Так-то способнее. Верно?

Но Дмитрий свое не отдавал.

— Возьми, Нилка, семью. Муж с женой не во всем сходятся, а живут вместе и вместе детей растят. А ты — «несогласия»! Чему удивляться! Вот если бы их не было, тогда бы да, тогда удивляйся. — Он потрянул черными, с блеском, такими же, как у брата, волосами. — Я тебе скажу: противно будет жить, если все на одну резьбу. Если такое случится, род людской вымрет. Ей-Богу, вымрет!

— Эва, хватил, — рассмеялся Нил. — Быть такого не может.

После неудачной попытки устроить боевую дружину Лоскутов, похоже, охладел к сизовской компании. А вскоре, ни с кем не простясь, исчез. Однако перед тем познакомил братьев Сизовых с человеком в рыжих вихрах и

обильных конопушках. Сказал: Савелий Савельевич, нелегальный, беречь надо Савелия Савельевича. То был Златопольский, член Исполнительного комитета «Народной воли», о чем, разумеется, Сизовым знать не полагалось.

Савелий Савельевич нечасто навещал Тверскую заставу. Наверное, не один сизовский кружок занимал его время. Но уж когда приходил, очень горячо, толково беседовал и о французской революции, и о борьбе за политические права, без которых не видать народу свободного существования, и об идеалах социализма. Беседовал однажды и о Парижской коммуне, всех увлек, а больше других, кажется, Нила. О делах же практических Златопольский, несмотря на тоскующие намеки Дмитрия, не заговаривал.

Практические дела, впрочем, сами набегали. И как-то так оборачивалось, что в застрельщиках ходили Сизовы.

Ученик был у них в мастерской, тихий, старательный, да на беду не потрафил чем-то мастеру, тот ему и скостил помесячную плату. Ни много ни мало — на пять целковых скостил! Мальчонка плакал, мастер пихнул его взашей, а тот к Сизову-старшему: «Дядя Мить, заступись!»

Мастер осерчал: «Не лезь, Сизов, твое дело сторона». — «Это, может, ваше дело сторона, господин мастер, — возражает Дмитрий, — а наше — артельное: вы ж знаете, парень и сестренку, и больную мать содержит...» Токари, слесари вокруг сгрудились. Мастер самолюбивый, ежели б один на один, а тут все смотрят, нельзя отступить, он и Митьку послал «вдоль по Питерской». Выдвинулся младший Сизов: «Нехорошо, господин мастер. Ведь сами понимаете, разве справедливо...» Мастер и этого обложил выше макушки. Нил крикнул: «А что, ребята, так и утремся?» Народ молчал, мастер ободрился: «Утрешься!»

В конторе брякали счеты. Конторщики уставились на Сизовых. «По какой надобности?» — «К начальству», — хмуро ответил Дмитрий.

Начальником мастерских Смоленской дороги был пожилой холеный инженер, пенсне у него сверкало, манжеты, запонки-камушки тоже сверкали.

Дмитрий, вольно заложив руки за спину, рассказал, что произошло. Инженер произнес наставление — кто есть такой господин мастер. Выходило, мастер прав.

— Да ведь какая ж это бережливость? — рассудительно отвечал Нил. — Железной дороге, господин начальник, выгоднее хороших работников выучивать, как этот

мальчик. А голодом морить и невыгодно, и позорно, не по-человечески.

— Гм! Экономия, выгода... Вот как? — Инженер снял пенсне, по лицу его мелькнула улыбчивая тень. — Гм! А вы, однако... Хорошо, я подумаю. Можете идти, улажу.

— Вот так-то оно разумнее, — похвалил Дмитрий.

— Н-да? — иронически отозвался начальник. — А кстати, ваши фамилии? Сизовы? А-а, как же, как же, — протянул инженер. — Наслышан. Ну-с, можете идти, желаю здравствовать.

Вечером, уже на улице, окликнул братьев конторский сторож.

— Эй, ребята, погоди-кась... Только это вы отсюда вышли, а к начальнику один из ваших, из слесарей... Как его, мать его... Куликов, что ли? Да из ваших, из слесарей.

— Куликов, — сказал Нил.

— Во, во, тараканом забег к нему: эти, грит, Сизовы первые у нас заводилы, не иначе, грит, сицилисты, господин начальник.

— Ну? — рванулся Дмитрий.

— Вот те и ну! А наш-то, Орест Палыч: мне, вскричал, наушников не надоть, ты, грит, беги еще и на меня доведи.

— Ох ты, — обрадовался Нил, — молодцом наш инженер.

— Ладно, — нахмурился Дмитрий, — тут другое: этого Куликова гнать, суку, вот что. Нынче — к начальнику, завтра — к жандарму.

— Известно... — утвердил сторож.

После Рождества выдалось «практическое дело» крупнее. Расценки снизили, мастеровщина взбурлила: «Последнюю шкуру дерут!» И гурьбою к Сизовым: «Что же это такое, а?»

Инженер принял сухо:

— Правление в силу разных причин не может платить по-прежнему, вы, господа, как я заметил, понимаете... Ну-с, не может.

— А рабочие, Орест Павлович, — попытался объяснить Нил, — не могут в силу одной-единственной причины: нам, как и вам, есть надо,

— Не моя власть, — пожал плечами инженер.

— Да ведь и от нас кое-чего в зависимости, не так ли? — пригрозил Дмитрий.

— Это уж как угодно-с, — опять пожал плечами Орест Павлович. — Одного не забывайте: Россия не Англия.

— Не Англия, — бойко согласился младший Сизов. — Но может обернуться Ирландией.

Вроде бы комитет собрался у Сизовых. На другой день предъявили в контору письменное требование, Орест Павлович раскричался, потом утих. Помолчав, нервно пощипал бородку, сказал, что передаст требование в правление железной дороги. Но пока просит работать, потому что каждый пустой час приносит такие-то и такие-то убытки.

Единодушия в мастерских не было. Одни нехотя соглашались встать к работе, но большая часть уперлась на своем. Гришка-кавалер орал, что нечего ждать, хватит, надо-де контору крушить. Сизовы кричали, что нет смысла, этим, мол, не пособишь. Какое там!

Еще с ночи ударил крещенский мороз. Теперь, утром, все бледно курилось. На путях хрупко повизгивали колеса, пар из локомотивов бил, как хлыст. Конторское красного кирпича здание обметало сединой.

Сторож воински, храбро раскинул руки: «Стой! Не пу-щу!» Его оттолкнули. Минуту спустя брызнули, как от взрыва, стекла. Послышались крики, стук, грохот, дребезг.

Контору громили недолго. И как-то тотчас иссякла ярость. Ребячески озираясь, утирая пот, ощущая бессмыслицу погрома, мастеровые торопливо вернулись к станкам, к верстакам и с какой-то виноватой жадностью, одержимо принялись за дело.

Сизовы из мастерской не выходили, они не громили контору, но тоже, как все, чувствовали что-то унижительное, беспомощное и тоже, как все, работали одержимо, точно наверстывая упущенное.

Вскоре явились жандармы. Кони, прядая ушами, пугливо косили на черные локомотивы, на вагоны, на весь этот чуждый им мир железа, пара, угля.

Велено было шабашить. Вошел офицер, капитан, кажется. Высокий, гибкий, смотрел весело, все в нем будто играло, в руке листок — список зачинщиков и смутьянов.

Глядя на офицера, Нил вдруг испытал оскорбительное чувство бессилия перед таким же, как и он, двуногим существом, разве лишь одетым в платье особого фасона. И еще сознание своей малости, своего ничтожества перед тем мертвенным и холодным, что слышалось в скрипучем слове «государство». Нил испугался. Его испуг был похож на детский: как в темноте или у кладбищенской ограды. Но притом Сизов сознавал, что трусит, собственно, не этого

капитана, не этих жандармов, а вот того, безликого и скрипучего, которое стояло, как морок, за ними.

Капитан не торопясь, гурмански приступил к арестованию. Он будто еще повеселел, выкликая фамилии, означенные в «черном списке». И те, кого офицер называл, покорно, бледнея, с потерянной, кривой улыбочкой отходили в сторону.

— Сизовы, — все так же весело произнес капитан.

— Вот те раз: во чужом пиру похмелье... — высоко, чуть не сорвавшись, прозвенел Дмитрий.

Капитан взглядом полоснул его, как клинком.

— Ладно, уже похмелишься!

Арестованных набралось десятка три. «Бежим, как поведут», — шепнул Нил. Дмитрий засопел: «Не башиловские яблоки». (Мальчишками лазали по башиловским садам, что за Ямским полем, всякий раз счастливо уходили от сторожей с дробовиками.) «Сбегу, пра, сбегу», — шептал Нил, уже не страх чувствуя, но азарт. И громко обратился к капитану:

— Ваше благородь, дозволю оправиться.

Офицер поискал глазами просителя, осведомился:

— Обмарался?

— Около того, ваше благородь, — скорбно отвечал Нил, прижимая руки к животу.

Капитан усмехнулся.

— Сведи его, Ильин. — И уже вслед крикнул: — Да побыстрее там.

Сортир был просторный, как в казармах.

— Ты, парень, мигом, — буркнул жандарм, не переступая порога и крутя носом.

— Мигом, дядя, только вот запором маюсь.

— Меньше жрать надоть, — выставил диагноз жандарм, недовольный дурацким своим постом у заводского ретирядного места.

Сизов уединился. В разбитом окне розовел и клубился полуденный мороз. Нил примерился к оконному проему. Нахлобучил шапку. «И-эх, спаси и помилуй!»

Зайцем стреканул он за груды ржавого железа, на цыпочках, как пританцовывая, скользнул меж дымивших холмов шлака, выскочил позади пакгаузов на запасные порыжелые пути и припустил во все лопатки.

Он несся в сторону Ваганькова, хватая грудью студеной воздух, перепрыгивая стрелки, мотки проволоки, шпалы, поленицы.

За старшего Сизова взялся плотный господинчик, брюхастенький, русский, с выпуклыми глазами бутылочного стекла.

Дмитрием Сизовым занялась не мелкая охранная сошка, а сам Скандраков, Александр Спиридонович Скандраков, начальник московского секретно-розыскного отделения. Приятель и сослуживец Судейкина, он не без основания считался alter ego¹ главного инспектора государственной полиции.

Дмитрия Сизова отделили от прочих. Не потому, что он не участвовал в погроме конторы. Нет, г-н Скандраков отделял овец от козлиц. В этом Сизове он угадывал запевалу.

Как и Георгий Порфирьевич, Скандраков принадлежал к розыскным деятелям новой формации. Ему претило показное жандармское рвение, ничего не значило число уловленных. Во сто крат была для него важнее паутинная осведомительская сеть, а не дуроломное изъятие недозревших преступников.

— Прошу садиться.

Скандраков помещался далеко от Дмитрия, на другом конце узкой длинной комнаты. «Бойтся, сволочь», — подумал Сизов, вглядываясь в брюхастенького.

И тот, казалось, тоже не без интереса всматривался в Сизова. Потом заговорил. Неторопливо и очень уверенно, будто наперед все зная. Тонем строгим говорил, но не угрожающим. Глаза грозили, голос нет.

Противоречивость эта раздражала Дмитрия, он, однако, вспомнил, что Златопольский рассказывал о поведении революционеров в застенках, и решил блюсти вежливость, собственное достоинство, а главное — «не давать фарисею ни зацепочки». Но это-то последнее и оказалось самым трудным.

На утверждение Скандракова, что он, Сизов, давно уже «в революции», Дмитрий возразил:

— Какая там «революция»? Я в мастерской с шести до шести, а то и на весь вечер останусь. Книжку почитать и то времени нет.

— Тэк-с, на книжку времени нету? Да они небось трудные, а? — Скандраков пронизательно улыбнулся. — Политическая экономия, да? Миртова «Исторические пись-

¹ Alter ego — второе «я» (латин.).

ма»? — И наклонился доверительно: — А кто советует такое читать? Ведь есть благодетель — советует! И номерок «Народной воли» принесет, не так ли? Ну-с, какие ж мы книжки читаем?

— А какие подвернутся.

— А где ж берем?

— Покупаю.

— И «Народную волю» покупаем? Вы же народоволец, а?

— Я про таких не слышал.

— Да? Простачком будем прикидываться? Я не я? А ведь как бы не пожалеть: мышеловочка хлоп — и пожалете. Вы, Дмитрий, в расцвете, руки золотые. Ну зачем это вам, к чему? Все впереди, ан вдруг и мышеловочка. К чему этакое?

«Сволочь, — накалился Сизов, — пожалел волк кобылу».

— В толк не возьму, чего держите? — спросил он, глядя на Скандракова с плохо скрытой ненавистью. — Контору не громил, всякий подтвердит, а меня вторую неделю ни за что ни про что. Работать надо, матери помогать, я, может, уж сороковку потерял.

— Очень понимаю, — живо откликнулся чиновник. — У меня, Дмитрий, тоже мать-старушка, как не понять. Примерный сын, похвально. А мы вам, Дмитрий Яковлевич, за все и заплатим. Что? Ой, господи, как же вы так превратно поняли? Деньгами заплатим. Что-с? Привыкли работать и за работу получать? Опять же похвально. А как иначе? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Конечно, за работу. Мы работу дадим. Мы здесь тоже в социализме малость смыслим, да, да, не думайте, пожалуйста. Вот хоть меня взять. Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Я, ежели хотите знать, социалист. Но государственный! Да-с, государственный социалист. Коли изволите, социал-монархист. В социализме есть зерно истины. Капиталисты, согласен, обирали, наживалы, захребетники. Но только твердая власть может защитить бедных, заставить богатых поделиться с бедными. А нам мешают, не дают, к жестокости понуждают. А куда, к чему зовут вас народовольцы? «Воля», хе-хе-хе... Да они к власти рвутся, сами для себя, вот что, Дмитрий Яковлевич. Вы хоть и народоволец, да они и вас вокруг пальца обводят, а мы вам, ей-богу, поможем.

Сизова поташнивало. Встать бы да и хрясть эту сволочь по соплям, встать да и припечатать, чтоб дух вон. Но Сизов не взорвался. Повторял:

— Другой работы не возьму, я свою люблю. И денег не возьму. Отпустите вы меня, не наигрались, что ли?

— Какая игра? Какая игра, господин Сизов? — приобиделся Скандраков и короткими ножками посучил. — Кто же это играет? Я с вами играю? — И выдохнул с чувством: — Эх, Дмитрий, Дмитрий!

— Знаю, как вы играете, — бухнул Сизов.

— Знаете? Откуда же? Кто рассказывал? Ведь не с неба ж, а? Ну кто? Кто?

— Насильничаете, — озлобился Дмитрий, сознавая, что не следует так отвечать, но уже почти не владея собою.

Теперь Скандраков и вправду обиделся. Новатор в секретной полиции, он не считал себя инквизитором, понимая насилие в прямом, физическом смысле. Замечание Сизова задело его.

— У вас к нам нехорошее отношение, — молвил Скандраков со строгой укоризною. — Мы отечество от хулы и хаоса бережем, а вы... «насильничаете!» Ну кто это вам внушил? Откуда вы это взяли? Я вам открою: раньше, в прежние-то времена, бывало, хотя и тут много напраслины возводят. Но теперь! Э нет, Сизов, вы это запомните: никаких насиллий. Вы вот лучше скажите-ка, кто вам внушил такое?

— Ничего не скажу, оставьте меня.

Скандраков молча рылся в бумагах. Потом устало вздохнул.

— Н-да-с, характерец у тебя, Сизов, не леденец. А братец единокровный, тот, знаешь ли, покладистее.

Дмитрий не понял. Только будто гром отдаленно прогремел.

— Помоложе годами, — продолжал Скандраков, твердо уставляя в Дмитрия бутылочные глаза, — помоложе, но, знаешь ли... — Он приложил палец ко лбу. — Себе на уме молодой человек-с.

Сизова как на ухабе подбросило.

— Врешь, сволочь!

Бдительный палец Скандракова мог бы и не нажимать пуговку электрического звонка: верзила-гайдук был уж в кабинете.

— Ничего, ничего, — повторял Скандраков, адресуясь не то к верзиле, не то к себе самому, а может, и к Сизову. — Ничего, бывает. — Он щелкнул серебряным портсигаром. Удивительно, как портсигары вовремя приходят на помощь чиновникам политической полиции. — Садись, садись, Сизов. Куришь?

Дмитрий кивнул. Ему было так скверно, что он и не подумал, следует ли тому, кто «в революции», одолжаться табаком у врага. Гайдук подал папиросу, поднес спичку. Дмитрий затянулся, голова у него пошла кругом, точь-в-точь как в мальчишестве, когда он впервые прилепил самокрутку на мокрую губу. Скандраков поплыл, по столу заходили враскачку медные высокие подсвечники, Дмитрию казались они циркулями, какие были в чертежной при мастерских.

Скандраков опять заговорил. Он не называл имени Никола, он как бы в пространство рассуждал о тех, что «хоть и помоложе, но...» И Дмитрий уже не вскакивал, не кричал, а сидел пригнувшись, зажимая в кулаке папиросу, и, коротко, быстро затягиваясь, слушал Скандракова:

— ...выпустим, конечно, зачем держать, но я не вправе скрыть некоторые обстоятельства: станут часто сюда приглашать, вам, батенька, от этого не уйти, ну и, натурально, заподозрят товарищи ваши, то-се, шепотком, а потом, смотришь, и нож найдется, как уже случалось не раз. А скрыться... — Он ладошками в стороны махнул, как ангелочек крылышками. — Скрыться, не обессудьте, не придется. Вы вот не цените моей доверенности, а я вам прямо говорю: филеров приставлю-с. И, ей-богу, зря упрямитесь.

Освободили на Масленицу. Сизов, щетинистый, вшивый, вышел из арестантского дома в гукающую теплую метелицу. Он чуть было не угодил под бубенчатого троечника, бабы румяные лица вспыхнули, из трактира пахнуло блинным духом, и Дмитрию вдруг захотелось плакать, напиться и плакать, обминая пальцами чьи-то обнаженные круглые плечи.

Сани летели плавно, как сама государыня-метелица, Дмитрий слышал женский смех. Наверное, и мужчины смеялись, он слышал только женщин. А сани мчали к Новодевичьему монастырю, туда, где гуляет широкая Масленица, где балаганы, горки и снежный дым над Москвой-рекой, до самых Воробьевых гор. И по Тверской бежали санки, легко оставляя позади унылую конку, к Петровскому замку летели, на большой круг в роще, где тоже гуляли.

Уже болезненной синевой подрагивали керосиновые фонари, уже освещались окна, в них шатались тени, а метелица все гукала, ходила плавно, как и положено на Москве в масленую неделю.

Мама поднялась, у Саши ладони метнулись к щекам. Мама не кинулась, не обняла, брови у нее затрепетали,

еще черные красивые брови, такие же, как у сыновей, мама не кинулась, не обняла, а перекрестила дрожью пальцем и молча поклонилась низко.

— Здравствуй, мам.

Она заплакала.

— Нил дома?

Он же видел, что брата нет. Он спросил машинально, про Нила подумав мельком. Молчаливый мамин поклон сразил его, ему нужно было услышать ее голос, вот он и спросил про Нила. Но она не отвечала, она плакала. Дмитрий взглянул на Сашу. Саша медленно отняла ладони от щек и опустила глаза, и Дмитрий опять подумал про брата, но уже не машинально, не мельком, а с отчетливой, пронзительной тревогой.

4

У Никитишны, в «гранд-отеле», чуть не исподнее пропивали: потому как Масленица, и без «монаха» обойтись нет возможности.

«Гранд-отелем» именовал эти смрадные подвалы сосед Нила, бывший акцизный чиновник, насмерть отравленный зеленым змием. А «монахом» прозывался штоф оглушительной водки, и разминуться с ней, да еще на масленую, действительно никаких способов не обнаруживалось.

По случаю праздников хозяйка оделила братию полуджиной сальных свечей, и теперь в гостиной или в зале, то есть в одном из самых обширных подвалов, относительно сухом и теплом, стабунилась вся золотая рота. Благодушно присутствовал и городской, тоже здешний обитатель, с очень звучной фамилией — Сенатский.

И сама Никитишна, ворчунья и скупердяйка, но приглядеться, не такая уж и ведьма, завернула к постояльцам, и рюмочку восприняла, и угощением не побрезговала.

Угощение было копеечное — рыба вареная. Зато бутылки — початые и еще не початые — составляли главную часть пиршества, как пожарный обоз во время смотров у Китайской стены.

— Не откажи, — ласково подносил хозяйке рябой мужичонка в красной палаческой косоворотке. — Выпей, родная.

— Пусть Манька спляшет тогда уж, — кобенилась Никитишна. — Коза, а Коза? Слышь, что ли? Будет тебе... — она вышамкала непристойность.

Из тонувшего в темноте угла отозвался плаксивый, с придыханиями голос:

— Только Сенечку приворожу, Никитишна требует...

Публика расхохоталась. У Никитишны мелкие слезочки брызнули, так и залилась. А рябого в красной рубахе облапил, покачиваясь, чубатый Вася-драгун и тоже пристал:

— Выпей, ваше благородь, мы ж к тебе всей душой!

— Гм... ду-шой! — потешалась Никитишна, отпихивая его руку со стопкой. — Иде она у тебя, душа-то? Черту заложил душу-то.

Всякого, не в ладах кто с полицией, Петербург выручал проходными дворами, а Москва — подвалами. В отличие от петербургских, обособленных, наглухо замкнутых, московские подвалы дружественно сообщались то дверью, невесть для чего сделанной, то каким-то пещерным лазом, то почти крысиным ходом, как бы прогрызенным в кирпичной кладке. Можно было, как в здешних, приютивших Нила Сизова, нырнуть в преисподнюю у Красных ворот, а вынырнуть на свет Божий чуть не на Каланчевской площади. Ничего не стоило заблудиться в подземельях, где утробно урчали сточные воды, где тьма пахла поганками, рухлядью, где ненароком и на труп наскочишь да и заорешь благим матом.

Народ тут подбирался лихой судьбины: уголовные и бродяги, не помнящие родства, всяческой масти разнесчастные, изъеденные алкоголем, как ржой; банкротные, по миру пущенные удачливым конкурентом; проститутки, почти вышедшие в тираж; да и фабричные случались. Живали (вот как у Никитишны Сенатский) и «духи», то есть городовые в веригах многодетности.

Хозяйке за ночлег постояльцы платили рупь-полтора помесячно, «духу» накидывали кто гривенник, кто пятиалтынный; тот в благодарность упреждал о налетах полиции.

Сенатский, бывало, и оплошает, но уж Никитишна «духов» угадывала, как ненастье, — поясницу у нее будто свербило. Тогда она командовала, как ротмистр: «Рысью марш!» — и постояльцы, подхватив портки, кидались врассыпную. И точно, полиция, стараясь не замарать шинели, заглядывала в подвалы. А там, понятно, ни единой рожи. Долг службы исполнив, полиция верталась, зажимая в пудовых кулаках чаевые, сунутые Никитишной «за беспокойство».

Теперь, на масленой, незваных гостей не опасались, Сенатский с благодушным упорством наливался спиртным, крестец у хозяйки не свербил, она «музыки» требовала, и Вася-драгун раздувал «венку».

Заиграй, гармонь моя,
Последний день гуляю я.
Гармонь нова, в три баса,
Играет разны голоса...

Нил Сизов тоже выпил, лежал в стороне, у стены. Стена была ласковая, для ночлежника самая выгодная, потому что за ней помещалась котельная, полнившая этажи бархатным калориферным теплом. Нил спиною к стене привалился, подперев рукой голову, смотрел на чубатого Васю, на усердного Сенатского, на мужика в палаческой рубашке, на хозяйку, уже захмелевшую и поскуливавшую в такт гармонике: «Их, их, их...», на всю эту вострапанную полупьяную публику, озаренную сальными свечами.

После побега и всяческих мытарств по Москве, вдруг оказавшейся для него чужой, враждебной, Нил приткнулся к Никитишне. Паспорта она не требовала, в участке жильцов не отмечала, жить было можно.

Дома, у Тверской заставы, Нил боялся показываться. Он подкараулил Сашеньку, когда она возвращалась с фабрики, рассказал все без утайки. Сашенька ахала, костила жандармов, голосок у нее дрожал, и Нилу было сладко ее сочувствие. От Сашеньки он знал, что Митьку не выпускают и передач не берут, а мать околоточный пытается, где, мол, твой меньшой.

Потом они встречались с Сашей в сугробистых улочках Ямского поля или близ Грузин, в слепых проулках. Хорошо было им, да в мороз не разгуляешься, а в трактиры и чайные Сашу не затянешь — стесняется. Она забирала грязное белье, приносила чистое, уверяя, что Анна Осиповна выстирала; Нил знал, что не мама, и ему было приятно. Саша и пироги носила, и тут уж Нил наверняка знал, что мамыны, потому Саньке, не в обиду будь сказано, таких ни за что не напечь.

Опасливо, страшась розыска, но работать Нил все ж нанялся. Мастер спросил было паспорт, Нил обещал принести, когда хозяйка вернет, взяла-де для приписки. Но дниплы, а слесарь Сизов обещания не выполнял. Мастер то ли позабыл, то ли не хотел расставаться из-за пустяков с дельным парнем. Попробуй-ка найти такого слесаря для этих проклятых камер, где налаживались сушильные машины.

Работа и впрямь досталась не малиновая. Смоленские мастерские добром не однажды помянешь. Был бы градусник в сушильных камерах фабрики Гюбнера, никак не меньше шестидесяти показал бы. Нескончаемой цветастой

лентою натекал ситец из-под вальцов набивных машин, струился, подрагивал, парил на горячих металлических валиках. Ситец просыхал в несколько минут, Нил в своей ситцевой рубаше мок тринадцать с половиною часов. Дышать было нечем. Вдруг сожмет, стиснет в груди, как перед смертью. Выскочишь, черпанешь из бочки, вода ледяная в ковшике позвякивает, и опять в сушильные камеры, как в первый день творенья, когда ничего не видать было, одна мгла да Дух Святой. Тринадцать-то с половиной часиков отдашь хозяину, господину Гюбнеру, изойдешь влагой, как гриб, тогда и в подвале у Никитишны под шум, гам, писк уснешь мгновенно, будто свечку задуют...

— Манька, стервь, долго будешь... — уже не шутя, расходилась Никитишна, опять загибая соленое. — Сенька, пусти, хватит. И чего нашел, а? — недоумевала хозяйка, обращаясь к постояльцам.

— А вот мы их чичас, — петухом кричит рябой, ляпает себя по бокам. — Окропим, — кричит он, крючковато захватывая бутылочное горло. — Эй, тама, многая лета-а-а!

Публика, кто еще на ногах, устремляется с хохотом в дальний темный угол, к рваным грязным занавескам, но Коза уже выскакивает, спешит к столу, и Сизову видно, как Манька, испитая, простоволосая, слабо машет рукой Васе-драгуну: начинай, мол, я вот только горло промочу. Она опрокидывает почти полный граненый стакан, а рябой, шутовски приседая, похаживает вокруг нее, верещит:

Тебя Сенька усладил,
А ты нас услади,
Тебя Сенька усладил,
А ты нас услади...

Костистое лицо Маньки мучительно морщится. Но вот уж Коза головой мотнула, оправила кофточку на плоской груди, вот уж выступила-переступила одной ногой, другой ногой, будто определяя, послушны ль они и ладно, хорошо ль ведет «Барыню» Вася-драгун, и тут уж Нил замечает, как Манька будто вся меняется, все в ней пружинно и точно на местах устанавливается. И гордичкой, недотрогой выходит, неприметным почти движеньем плеча убирает с дороги рябого, всех убирает. Бывали дни алмазные, танцевала Мария так, что господа к ней с цветами и шампанским ломились. А теперь у нее Сенька в полюбовниках, карманный сухаревский мазурик, да и тот нос дерет, молодуха, говорит, у меня на Сретенке, пальчики оближешь. Вот он, Сеня, выполз из угла, руки, худенькие, верткие, в

карманы посунул, в зубах папироску прикусил, на затылке мягкий плюшевый цилиндр. Фартовый малый Сеня, только на правый бок косенький, били его как-то у Сухаревской башни, ломали ребра. Ну-ка, Сеня, посмотри, полюбуйся, как Манька твоя, танцорка, выказачивает.

Всех она взметнула своей «Барыней». И акцизного, который всхлипывал, и рябого, что стоял раззявив рот, и женщин, таких же, как она, проституток, сестрински обнявшихся на лавке, и городского Сенатского, забывшего закусить, и Сеньку, который оглядывался, как бы делясь своим восторгом, и Никитишну, прижавшую к губам кулачок, точно в радостном испуге. Нил Сизов уже не лежал, не поддерживал голову рукою, он вскочил на ноги. Вот же, пронеслось у него в голове, по-скотски живут, а живут, ни хрена им ни книжек не надо, ни царя, ни Бога, и ничего про черный день, потому все дни черные, но уж выдастся минута — отойди, не мешай.

Глядя на этот вихрь, на смерч этот, что рванулся, треща каблуками, рубахами, юбками, Сизов начисто позабыл и свое омерзение вонючей сивушной жизнью подвальных обитателей, и свою снисходительность к «несчастливым», «пропащим», и свое высокомерное убеждение, что уж он-то, Нил Сизов, никогда не уподобится им. Он все начисто забыл. Вольницу он видел, освобожденность ото всего, что большинству на свете мило-дорого, и ему уже не только хотелось быть таким же бесшабашным, но он уж вроде был таким. Жизнь копейка, голова — ничего! И хмельной вином, хмельной этим смерчем, Сизов тоже сорвался в пляс, два пальца ткнул в рот и засвистал, засвистал.

Все выпили, ни косушки на похмелку, пролито было и наблевано, кто-то, рыдая, стучал по столу, Сенька-мазурик тряс акцизного, потому что плешивый лез целовать Маньку Козу. Наконец все утихло, угомонилось, улеглось.

Свечи чадно гасли, ночлежка выдыхала перегар. В котельной печи остывали. Нил, казалось, различал шорох умирающих головешек. Сквозь шорох вилась мелодия «Барыни», туго закручивалась в затылке, теперь надоедливая, однообразная, никчемная, мучительная: «Сударыня, барыня, сударыня, барыня». И снова, и сызнова... Он стал думать о Мите, об арестном доме, о матери и Саше. «Саша, — думал он, — Сашенька-то меня любит, очень она меня любит...» Но и в сладость мыслей о разделенной любви вплетался, путая их, мешая, все тот же чертов мотив «Барыни».

Сизов забылся. Снилось ему что-то темное, неотчетливое, душное.

Происшествие в Смоленских мастерских огорчило Златопольского как нелепость, как несурезица. Огорчил и арест Дмитрия Сизова. Они оба, эти Сизовы, были ему симпатичны. Он усматривал в них родство с Тимофеем Михайловым, повешенным на Семеновском плацу, с Тимошей, которого прокурор назвал «апостолом петербургских рабочих». Разумеется, Сизовы еще не были «апостолами», но они, несомненно, были из того же крутого теста, и Златопольский говорил товарищам, что на них можно положиться.

Прослышал Златопольский и о том, что младший Сизов улизнул от жандармов. Однако попытки отыскать Нила кончились ничем. Анна Осиповна с суровой отчужденностью приняла Златопольского. То ли ненавидела «совратителей», то ли опасалась подвоха. В глазах ее было столько враждебности, что Савельич не досаждал расспросами.

Время шло. Златопольский думал, что Сизов-младший совсем убрался из Москвы, да уже и забывал симпатичного малого, любителя серьезных рассуждений о социализме и Парижской коммуне. Но вот однажды в разговоре с Александровым был упомянут некий «новый слесарь».

Александров, кузнец с завода Бромлея, устанавливал подпольные связи с губнеровскими ткачами. Ткачи, хоть и бунтовали недавно и опять собирались бунтовать, в кружок тянулись со скрипом. Александров ругательски их ругал, превознося до небес сознательность металлистов. «Нового слесаря» помянул он вскользь: парень-де лет двадцати пяти, работник хоть куда, но держится волком и в трактир «Плевна», где губнеровские получку отмечают, никогда не заглядывает. Златопольский выслушал все это вполуха.

Потом, неделю, верно, спустя, Савельич в каком-то разрыве своих повседневных обременительных забот смекнул, что странное поведение губнеровского слесаря должно чем-то объясняться. Может, в охранном запугали, мучается парень? Ведь стараниями Судейкина такие вот затравленные объявились на питерских заводах, ну и Москву, кажется, не минула чаша сия. Предположение это казалось Златопольскому верным, и он пожалел неведомого слесаря.

Поздним вечером — светло было от полной луны, — когда на фабрике пошабашили, и ткачи устало и словно бы нехотя вываливались из ворот, Александров исполнил просьбу Савельича — показал ему издали «этого самого волка».

Златопольский сразу признал Сизова, однако не окликнул, виду не подал, привычно подчиняясь законам конспи-

рации. Александров смотрел на Савельича вопросительно. Златопольский равнодушно пожал плечами, и они разошлись.

Нил шел изнуренной походкой, не останавливаясь, чтобы закурить и осмотреться, не прибегал ни к одному из тех приемов, каким нелегальные обнаруживают слежку, и Савельич мысленно укорил Сизова за неконспиративность. Яловые сапоги, в которых шагал Сизов, тоже не остались без внимания Златопольского. Он улыбнулся: «Цеховые традиции». В отличие от ткачей, от ремесленников настоящие заводские валенками пренебрегали, валенки для «серых», а они, токари и слесари, знают толк в городском обличье.

Улучив минуту, Златопольский окликнул Сизова. Тот, вздрогнув, косолапо загреб ногой, резко оборотился. Мгновение всматривался — и блеснул улыбкой.

Чайная Клочкова славилась «немецкой» опрятностью, несвойственной московским чайным, но завернули-то они сюда лишь потому, что чайная эта тотчас и приветливо попала на глаза.

«Пить!» — силился крикнуть Нил.

Душистый чай, тяни-посасывай... Чер-рт, горло, как в песке, язык, как тряпичный. И чего мешкает половой? Вот рохля попался... Савельич мигает: езжай, говорит, в Питер, я тебе, говорит, чистый паспорт достану. И вздыхает, душа-человек: рано, говорит, рано тебе, парень, в нелегалы, жизнь, говорит, в нелегалах трудная. А паспорт — не сомневайся, добуду, ищи тебя после, свищи... Горит в горле, пить хочется смерть! Отчего ж половой не идет? Чайники-пузанчики так и плывут, так и плывут, покачиваются; чайная чайком балуется, слышно, как бараночки хрупают. Ну нет сил терпеть...

— Пить, — крикнул Сизов. — Пить дай!

— Ай, може, выпить? — вкрадчиво произнес чей-то голос.

Сизов открыл глаза. Рябой мужичонка в красной рубахе, оперев руки в полусогнутые коленки, вытянул бороденку.

— Слышь, мастер, ты давай-ка вот что... У тебя жа есть, ты бы дал, а мы эт-та в секунд. А? Гибнем мы, мастер, право слово, гибнем. Выручи ты нас, а?

Ночлежники чаевничали. Городовой громко всасывал с блюдечка, громко вздыхал и сморкался. Акцизный, обре-

ченно уронив голову, грыз баранку. Лица у всех были, как из оберточной бумаги.

Нил нашарил в кармане деньги. Рябой алчно ослабил-ся, припрыгнул, закивал:

— Отдыхай, родной, отдыхай, а я тебе сейчас пивка, пивка!

Вернулся он «в секунд», не одевшись бегал, в разбитых валенках на босу ногу. Крикнул с порога:

— Эй, мастер! Баварецкое получай да выскакивай: кра-ля ищет.

Сизов про пиво забыл, опрометью вылетел. Что такое? Сама-то сюда, к Красным воротам, никогда не ходила. Не дай Бог, с матерью что...

Он схватил ее руки.

— Ну?

— Митя пришел, — сказала Саша радостно, но сразу будто испугалась: водкой разило, такого не бывало.

— Мать ничего? — спросил Нил.

— Здоровы, кланяются, — ответила она с укоризнен-ным вздохом.

— Митя пришел, да? — повторил он, словно сейчас только понял.

— Шапку надень, за воротами подождем, — сказала Саша.

Рассверкался денек — вот оно, Прощеное воскресенье, масляной венец. Снег — белее Красных ворот. Топчут снег рысаки, пешеходы, коночные клячи, топчут, кому не лень, а он сверкает взпуски. По Земляному, что ли? А-а, не все ль равно! Пошли!

Митька отощал, пожух, не блины едал арестантом.

— Гляди-ка, — улыбается Митя, да улыбка-то как с отвычки. — Ничего, где наша...

— Так, так, стало быть, клонил к измене? Прохвост, чтоб его кондратий тюкнул. И деньги сулил? Подавился он своими деньгами. И охранным стращал? Так, так...

Ну что про себя сказать? Живу, брат, в «гранд-отеле». Публика, сам понимаешь. А слесарничаю в пекле, Смоленские — рай небесный, честно говорю. Да ладно, это после. Тут вот что: Савельича встретил. Не вру, провалиться мне, не вру. Душевный человек, за таким в огонь и в воду. Ну, встретились, выпало такое. Достану, говорит, паспорт, чистый совсем паспорт. Жалея: нелегальный, объяснял, вечно бездомовный, настороже вечно, глаза сомкнешь — под головой револьвер держи. А как, говорил, паспорт дам, мах-ни-ка в Питер, вот какой совет. Свидание назначил в той

же чайной. Жди, сказал, через три дня. И что же думаешь? О сю пору жду. Нету.

«А и хорошо, что нету, — думала Саша, — благодетель какой: «Паспорт достану»! Это что ж такое? Это уж, значит, тайком живи, ни дома, ни семьи». Не-ет, Саше не нравился какой-то там доброхот Савельич. Выдумал тоже: в Питер езжай. Где родился, там и живи. А то — в Питер! И пойдет Нил шататься, перекасти-поле. Он, стало быть, в Питер, а она куда?

— Нечего ехать, — с сердцем сказала Саша. — Ты не один... С матерью-то как же?

— Ну как? — беспечно, понимая, о чем речь, ухмыльнулся Нил. — Уж как-нибудь. Как сейчас. Да вот и Митя дома будет.

— Нет, какое, — сумрачно сказал Дмитрий. — У меня впереди темно.

— Те-емно? Отчего ж темно? Ты вольный казак.

— Подневольный, — еще сумрачнее поправил Дмитрий.

— Да брось ты, — не унимался Нил. — Не удрал, сами отпустили. Теперь это ты ступай к Оресту Палычу, так и так, принимайте, мол, под вашу руку.

— Сами отпустили, — потупился Дмитрий.

В ушах у него звучал голос Скандракова: «Приглашать будем. Товарищи, натурально, и заподозрят...»

— Слушай, Нил, — Дмитрий вдруг приметно ободрился, — а как бы это все ж Савельича-то повидать?

Нил об этом думал не однажды, да ничего не надумал. Заглядывал он в клочковскую чайную — толку никакого. Взяли Савельича, не иначе как взяли. Но Митя-то ободрился, у него надежда большая на Савелия Савельича. Как брата огорчить?

— Такая, Митя, штука, — осторожно молвил Нил, — уехал он, вот что я тебе скажу. Знаешь, подхватило в одночасье, давай Бог ноги. — Быстро прибавил: — Да только приедет, вернется, это уж непременно. Я как понимаю? Натура у Савельича поперечная: власть к нему так, а он к власти эдак. — И Нил старательно рассмеялся.

«А хоть бы и не приехал, — мысленно твердила Саша, — без него образуется. Уже околоточный бросил досаждать, еще малость, и вовсе позабудут про Нила. И чего такого сделал? Ну, сбежал от караула, вина какая, прости господи. За одно с братом брали, а брата, вишь, сами отпустили, не за что, стало быть, держать. И тех-то, которые контору разносили, тоже на все четыре стороны. Кого, ска-

зывают, на родину выслали, а других выгнали, и вся недолга. Нет уж, Нил Яковлевич, потерпи-ка в берлоге своей, только к водке не обвыкни, а там и домой. Обойдется, перемелется. А не домой, так еще где комнату найдем. Анна Осиповна по-хорошему, а все свекровь, можно и в стороне поселиться». Все у Саши аккуратно сметывалось, по-людски.

Расставались в сумерках, в редких, робких огнях. Метель, себя закачав, устала и легла. Зазвонили к вечерне, Прощеным воскресеньем Масленица кончалась.

После вечерни в домах заговляться блинами станут и рыбою, а потом прощенья просить друг у друга и отвечать с улыбкой: «Бог простит», отдавая друг дружке низкий поклон.

— Прости, Нил, — грустно сказала Саша.

— Бог простит, — невесело улыбнулся Нил.

Есть у них дом, и нет у них дома. Есть у Мити воля, и нет у него воли.

— Прости...

— Бог простит...

И поклонились они в сумерках, близ Красных ворот.

5

В понедельник, направляясь в контору, старший Сизов с изначальным интересом всматривался в полную машинных звуков и запахов, движения и деятельности панораму. После тюрьмы Дмитрий примечал многое, на чем прежде не задерживал глаз.

Он беспокоился, как-то его примет инженер Орест Павлович, но при этом жадно разглядывал темные, как копченые окорока, стены, грязно-белые кирпичные кружавчики по верху водокачки, плотные столбы пара, струение рельсов, приподнятые или опущенные стрелки, похожие на молотки игрушечных медведей-кузнецов, вырезанных из липового бруска. Он вслушивался в гудки локомотивов, тоскующих по дальним пробегам, в озабоченный посвист торопливых маневровых паровозиков, в осторожное, как на пробу, полязгивание буферов, в слитый железный шум мастерских. Он думал о былой причастности к тому, что вершилось здесь, и вдруг ему стало обидно, обидно и жаль, что без него, верно, произошло в мастерских нечто важное, определяющее, к чему он, Дмитрий Сизов, не имел отношения.

В конторе все было как и до разгрома: шелканье костяшек, запах клейстера, запах папирос «Аграфити». Люст-

риновые пиджаки писали, сводили дебет с кредитом, открывали и закрывали счета.

И Орест Павлович остался таким же, как тогда, когда они с Нилом вручали ему письменное требование мастеровых. Впрочем, нет, не таким же, потому что сейчас лицо его в пенсне и с бородкой не было сухим и отчужденным.

— Те-те-те, — произнес он бодро, — санкюлот пожаловал. По какому поводу, извольте узнать?

Дмитрий объяснил. Инженер откинулся на спинку высокого, черной кожи кресла.

— У мастера был? Нет? Почему же? — И не дал ответить. — Хорошо, распорядись. Но помни... — Он беззлбно погрозил пальцем. — Помни, Сизов!

— Спасибо, господин начальник.

— Да! Погоди! — остановил инженер. — А братец где же? — Дмитрий, насторожившись, пожал плечами. Орест Павлович снял пенсне, дыхнул на стеклышки. — Эх, Ирландия, Ирландия, — протянул он намекающе и насмешливо, вспоминая дерзкое замечание Нила, что Россия, конечно, не Англия, но может восстать, как восстала Ирландия. — Вот тебе и Ирландия, — добавил начальник, протер и надел пенсне, но взглянул мимо Сизова. — Кстати, запрашивали о тебе... Слышал? Знаешь?..

Дмитрий слышал, знал. Сука эта, Скандраков, в охранном сетовал: вот, дескать, начальство отзывается положительно, а ты, Дмитрий Яковлевич, и так далее.

— Благодарствую, Орест Павлович, — искренне отвечал Сизов, впервые называя инженера именем-отчеством.

— Полноте, — прихмурился тот и как-то внезапно оборвал разговор; — Ступай.

Теперь, когда его приняли, когда он шел к станку, Сизов уже думал, что все получилось, как оно и должно было получиться. Орест Павлович добр, но принял-то оттого, что нехватка в таких вот первой статьи токарях.

Мастер, конечно, не возрадуется, размышлял Дмитрий, обходя вагоны и локомотивы, бочки, груды угля, поленицы. После истории с оштрафованным учеником Корней Иванович дулся на Сизова, хотя, правду сказать, по-прежнему поручал сложные работы и платил на совесть.

И точно, Корней Иванович, рослый, с медвежьими глазами, бородатый, не заплясал при виде Сизова.

Сизов снял шапку, поклонился. Корней Иванович сдержанно ответил:

— Здравствуй.

Сизов сказал, что начальник велел поставить его к работе.

— Та-ак. К начальству сунулся? А Корней Иванович тебе, получается, не указ?

— Да я думал...

— Ты думал! — Мастер фыркнул. — Он думал! — И передразнил: — «Начальник велел!» — Помолчав, вздохнул притворно: — Начальство велит, наше дело исполнить. Идем.

Дмитрием снова овладело острое чувство новизны, интереса и любопытства, но сейчас интерес его был обращен не на строение со стеклянными продушинами в крыше, откуда падал скупой зимний свет, не на маслянившиеся машины, не на трепетный и напряженно тугой бег трансмиссий, а на тех, кто был в этой мастерской. Дмитрий не видел многих старых товарищей, хотя вот дружески кивают ему, по плечу хлопают, а кто-то и под бок на радостях толкнул. Но многих он не находил, самых закадычных, «умственных».

— Ну, — сказал Корней Иванович, останавливаясь, — конь твой. Седлай.

Станок был тот самый, на котором Сизов прежде токаричал. Сизов тронул ладонью патрон, бабку и нагнулся, как в нутро заглядывая, и опять все потрогал, но уже обеими ладонями. А у Корнея Ивановича медвежьи глазки любовно мерцали.

— Теперь али уж с завтрава? — слукавил он, зная, что ответит Сизов, но желая вкусить этот его ответ.

— Чего там завтрава?

Корней Иванович крутнул головой, просиял.

— Эх, Митюха, руки золотые, да горло говенное.

То было дедовских времен, истинно заводское при-слолье, похвала и укоризна вместе: похвала за мастерство, укоризна за нрав неулomный.

Недели не работал Сизов, как в контору потребовали. Сторож-старик, приглашая его, глядел жалостливо. Дмитрий понял причину неурочного вызова. Он сразу взъярился, у него дыхание перехватило.

В конторе дожидались двое немолодых, устоявшейся вы-правки жандармов.

— Сизов?

— Да, да, — раздраженно ответил Дмитрий, чувствуя испуганно-любопытные взгляды конторщиков.

— Пожалуйте с нами.

— Пойдемте, пойдемте, — вызывающе согласился Дмитрий, сознавая никчемность своего раздражения и то-ропясь убраться из конторы.

Поехали на конке. Жандармы сели по бокам. Пассажиры смотрели на Сизова с тем же выражением на лицах, что и заводские конторщики. «Наверное, за червонного валета принимают, — думал Дмитрий, — за жулика». Ему было неловко, стыдно. Но какой-то студент, пухлый, с родинкой, совсем еще мальчик, выходя из вагона, бросил Сизову: «Вы как Христос между разбойниками», — и, прыгнув, приветливо помахал рукой.

Сумрак лестниц, переходы, коридоры — все это Дмитрий уже видел. И этих господ в партикулярном или форменном платье, озабоченных, серьезных, спешащих со своими бумагами, взглядывавших на него скользяще, но цепко и как бы без всякого выражения, тоже видывал.

Кабинет Скандракова был убран с той неказенной роскошью, в которой угадывалась гостиница второго разряда. На стене висел портрет императора Александра Второго: вечное и грозное напоминание тайной полиции о кровавых социалистах.

Скандраков усадил Дмитрия, прошелся на своих коротеньких ножках от дверей до стола, повернулся и устал в Сизова выпуклые пристальные глаза. Потом, видимо, удовлетворившись, вернулся к столу, под портрет убиенного императора.

Голос Скандракова казался таким же русым, каким он сам был, но в этом уже знакомом Сизову голосе звучала нынче новая интонация, не сразу уловленная Дмитрием. Вскоре он уловил и понял ее: она окрашивала разговор в теплый цвет доверительного сотрудничества. Мы, мол, с вами, Дмитрий Яковлевич, обо всем уже условились, остаются частности, а частности нам, батенька, проще пареной репы. Уловив эту особенность, Дмитрий медленно побледнел, но его, однако, сильно занимало то, что говорил Скандраков. А тот говорил, что многие закоперщики-революционисты, переметнувшиеся из Петербурга в Москву, с Божьей помощью изловлены. Да, да, изловлены!

— Между прочим, и некий Савелий Савельевич, — сообщил он, тонко улыбаясь. — Эти-то «Савельичи» и сбивают с толку народ наш, к коему не имеют никакого отношения как элемент чуждый и пришлый. Да-с, так вот. Закоперщики изъяты, забота теперь другая. Я ведь, Дмитрий, очень хорошо понимаю твою любовь к работникам, к своему сословию, и прямо нахожу это достойным уважением...

Сизов, опустив глаза, смотрел на короткие ножки в блестящих востроносых штиблетах. Скандраковские ножки

находились в егозливом движении — то вспрыгивали одна на другую, то выставлялись поочередно, то каблучком пол придавливали, как в мазурке, то штиблетный носок морщили улыбчивыми морщинками. И наконец твердо, плотно, всей подошвою припечатались к паркету.

— Надо оберегать сословие! Вышнее правительство печется о благоденствии всех сословий! Однако промышленные работники не всегда это понимают. Нужна правильная, согласная, сердечная деятельность. Надобно заблаговременно знать положение мастеровых и доводить до сведения. — Он поднял палец. — И тогда воспоследуют милости. Не знаю, слышал ли: граф Ростовцев и граф Дмитриев ходатайствуют об учреждении акционерского общества. И какого, думаешь? «Благо рабочих». Да, да, именно-с благо рабочих!

— Кто пайщиками? — поинтересовался Сизов.

— Ага, — улыбнулся Скандраков. — Ты вот сейчас и вообразил: за счет рабочих! Не так ли? А вот и не так, не так. Частное страхование за счет хозяев, да-с! — Он помедлил, потом сказал сожалеючи: — Пока еще не осуществлено. Но, полагаю, осуществится, непременно осуществится! Однако нам помощь, осведомленность нужна. Понимаешь, братец, это ведь совершенно несправедливое мнение, будто вы, мастеровые, сами по себе, а мы, то есть и не мы, а вышнее правительство само по себе. — Он сокрушенно развел ладошками. И продолжил: — Так вот, никаких выдач! Такой-то сказал то-то, эдакий грозил, третий подозрительно мыслит: не надо! Решительно говорю: ничего эдакого не надо. Вы нам, Дмитрий Яковлевич, общие настроения, общие сведения. Так сказать, крупным вкладчиком в наше... — он улыбнулся, — в наше общество «Благо рабочих».

Дмитрий поднял глаза. «Благо рабочих»? Гм, интересно! Да только не здесь, не в охранном. Он знал твердо: никакое благо — рабочее, нерабочее, — никакое благо, ничье благо не совместимо с тайной полицией. Он покачал головой.

— Не по мне, не пойдет.

Скандраков притопнул ножкой, как копытцем, рассмеялся коротко. Он был оскорблен в лучших намерениях. Острее, пристальнее инспектора Судейкина вглядывался он в этот «рабочий вопрос». Нет, Скандраков не желал исключительных законов наподобие германских. Любой проходец может править страной, пользуясь всеподавляющей жестокостью. Тут не нужен Вольтер, а нужен фельдфебель, усатый или безусый, в штатском или военном, но фельдфе-

бель. Не осадное положение, не исключительные законы, а нечто гибкое, гуттаперчевое. Таково, думал Скандраков, веление времени.

Но вот, черт возьми, сидит мастеровой, отвечает тупым «нет», а он, Скандраков, бьется, как рыба об лед. И потому г-н Скандраков мгновенно отбрасывает «государственные соображения», высокие материи отбрасывает он к дьяволу. Разумеется, нетрудно измотать упрянца регулярными вызовами в розыскное отделение, загнать в угол, распустив слух о сотрудничестве его с тайной полицией. Способ испытанный, такие, как этот Сизов, задыхаются насмерть. Можно, все можно, но у г-на Скандракова есть еще козырь. И, вперив в Дмитрия Сизова стеклянные глаза, он козырь этот выкладывает.

Хорошо, говорит он своим «русским» голосом, но уже без доверительности, хорошо, пусть так. Однако, может быть, Сизову Дмитрию не след забывать Сизова Нила? Может быть, поразмыслить о своем братце?

Дмитрий оскалился:

— Не пугайте, уже пугали.

— А-а, да, да, как же. Упоминал об его податливости? Ну что ж, не скрою — преждевременно. Временя у нас не в обрез.

— Врали про него, все врали!

— Стало быть, виделись?

— Чего виделся? — опешил Дмитрий, догадываясь и ужасаясь своей догадке.

— Ах, опять, какой мы простачок, — устало сказал Скандраков. — Виделись вы с ним, вот чего. Скрывается у Красных ворот, вот чего.

Дмитрий молчал. Следили за ним — выследили Нила.

— Так вот, друг мой, мы его арестуем.

— А за что? — вскинулся Дмитрий. — За что?

— А хоть и ни за что, — ухмыльнулся Скандраков. — И виною старший братец. Вот как оно, от двух бортов в угол.

Дмитрия будто в машину затягивало, окидывая крупным потом.

— На досуге прошу поразмыслить, — сказал Скандраков. — Но, увы, не больше двух дней. И не упреждайте вашего Нила — бесполезно.

Город был пуст, мертв. Были люди веселые, невеселые, равнодушные. Но город был пуст, мертв. Стояли дома, разные, каждый своим обычаем, но пусты они были, мертвы. Снег бил в лицо. Сумрак, жуть светлого полуденного часа,

одиночество среди толпы, сумрак, жуть, одиночество, когда на тебе — узкий, щелью, желтый зрачок тайной полиции.

Дмитрий оглянулся. Блеклый видом прасол шел следом. Дмитрий свернул в проулок, опять оглянулся. «Тот» шел по следу. Дмитрий замедлил шаг, и «тот» замедлил шаг. Дмитрий боком, упруго, злобно прыгнул в подворотню, и шпик в барашковом пирожке вильнул в подворотню. Дмитрий сжал кулаки. Филер покорно смотрел на его снизу вверх.

— Прилип, гад?

— Велено, — вздохнул филер.

— Башку проломлю!

Филер грустно моргал.

— Ступай, — мотнул подбородком Сизов.

Филер переступил с ноги на ногу.

— Держи целковый, — сказал Сизов.

— Благодарствую. Сменят — выпью-с...

Дома по-старому пахло кожевенным товаром, но запах уже утих. Дмитрий разделся, сел у окна на низенькую скамеечку. На ней отец сиживал, согнувшись, сжимая губами рядок гвоздочков-тексов. Приколачивая кожу у носка, стучал легонько, это ведь не подошва, подошву-то батька лупил машисто. Отцовы инструменты мать прибрала в ящик. Дмитрий вспомнил, как она трогала, оглаживала их, а покойник лежал на столе.

Дмитрий, сутулясь, рылся в ящике; задумчиво выпятив губы, разглядывал заточенное лопаточкой тачальное шило и рантовую срезку, похожую на укороченный серпик, и фумель, брат стамески, прямое шило-форштик, все эти колodки и гладилки, вар, дратву, связки щетинок, кленовые гвоздочки (когда их вбивают худо, наперекос, то зовут «адамовыми зубами»), и неизменный башмачный молоток-барец, казалось, все еще с теплой рукояткой, и этот плоский, бритвенно заточенный рейнской стали нож. Осторожно поворачивая широкое лезвие, Дмитрий видел тусклые безличные отсветы. «Как на рельсах», — определил Дмитрий, поднялся, постоял в нерешительности и вышел во двор.

Шпик прилепился к стене.

— Эй, — негромко окликнул Дмитрий, — на-ко, вали в трактир, погрейся. Никуда не денусь.

— Не врешь? — робко понадеялся продрогший филер. — А то дадут под ж..., а у меня пятеро. — Он показал, какие они у него, мал мала меньше: — Во, во, во...

Сизов побожился, шпик радостно пискнул, трусцой взял в «Триумфальный». Дмитрий, не мешкая, взбежал этажом выше, толкнулся в Сашину дверь.

Саша в суконной фабрике работала, у купца Бома, на Суцевской, домой попевала она до фонарей, тотчас заводила живой переплеск над ушатом, капли не обронив, скоренько и плавно носила полные пригоршни — мылась, чистюля, долго и сладостно.

Дмитрий вломился, заставил Сашу метнуться за ситцевую занавеску. Ее голая крепкая спина блеснула, Дмитрий смущенно затоптался... Шурша одеждой, мелькая сгибами локтей над занавеской, Саша испуганно спрашивала, не приключилось ли чего с Нилом.

Высоко поднимая руки, оправляя волосы, в туго натянувшейся блузке, она показалась из-за своего укрытия и, перехватив взгляд Дмитрия, сердито покраснелась. Тот постарался изобразить независимую улыбку, а улыбка-то не получилась, и Дмитрий, кашлянув, заговорил нарочито резко.

Он еще объяснял Саше, что надобно делать, а она уже накидывала шубенку, уже повязывалась шалью, и в ее торпливом «сичас, сичас» звучало что-то совершенно бабье, негородское и горестное.

Маму угомон не брал, вечно в заботах, хоть семья и убyla вполовину. Она сидела боком к керосиновой лампе, починая, зашивая, посовывала иголку на нитку, и опять, опять был мелкий, мерный промельк иглы, которому словно вторили стенные часы-екалки.

Дмитрий наскоро, не в аппетит поужинал и молча лег. Матери не было ему видно, видел он ее тень на скосе потолка; ему хотелось тихо поговорить с мамой, сейчас он испытывал к ней прощальную любовь.

Она неслышно приблизилась, склонилась, лицо у нее было не властным, а скорбным, как у Параскевы Пятницы.

— Ты что это, Митенька?

Он еще помолчал, не справился и глухо выдохнул: «Ох, мама...»

Ни о чем она не спрашивала, только руку ему на лоб положила.

— Ты, Митенька, нравом горячий, сожжешь себя, как свечка, боюсь за тебя. Ты, Митенька, лучше не так, мало ль чего бывает, зло какое, хула, а ты не гори, ты лучше тихо...

Рука ее, крупная, весома, пахла поташным мылом. Митя трогал губами жесткие рубчики, что бывают на подушечках пальцев у прачек.

Наверное, в полночь, может, позднее Саша стукнула в окошко. «Быстро управилась, — обрадовался Дмитрий. —

Эка Санька-то перепугалась, «сичас, сичас» лепечет... А тебя, — подумал он, — никто и не вспомянет». Дмитрий создавал, что это неправда, убиваться будут по нем, но ему хотелось думать о забвении, завидовать Нилу, которого любит Санька, и хотелось жалеть себя, никем не любимого.

— Кто там стукнул? — спросила мать.

Дмитрий замычал, будто спросонок.

— Да ладно тебе, — сказала мать, — я ведь слышала.

Он пробормотал.

— А черт их, шлятся тут.

Мать вздохнула. Она лежала без сна, Дмитрий тоже не спал. Он разобрал ее шепот: мать молилась Иисусу сладчайшему, царице небесной, и Дмитрия опять засадило прощальной любовью, но теперь уже не к одной маме, но и к Нилу, и к этому дому, где пахло надежным, стародавним ремеслом.

Поутру увязался за Дмитрием другой филер — усатая орясина, смахивающая на балаганного борца. Сизов не ощутил к шпику ни злобы, ни усмешливой снисходительности. И не о том страшном, что ему, Сизову, предстояло, думал он, выходя на утреннюю, едва очнувшуюся улицу, а думал о том, как переждать этот час до начала занятий в секретно-розыскном отделении.

Дмитрий увидел ломовиков, конку, мглистое небо с позабытым месяцем, похожим на клок обтирочной ветоши, и этот слабый, нечаянный месяц, которому суждено было скоро угаснуть, вернул Сизова в его одиночество, в его отрешенность, и он опять поверил, что сделает свое роковое дело.

Снег отдохнул за ночь и голубел, на снегу красиво и легко дымилась редкие еще яблоки конского навоза. Из отворявшихся дверей нежно пованивало заспанным домашним уютom, слышался сухой, как на горельнике, запах древесных углей. Розвальни тянулись к торговой Страстной площади, скрипя полозом, как на проселке.

Утренняя обыденщина должна бы, кажется, мучить Сизова, но нет, он осматривался почти умиленно, с той прощальной и приметливой ко всему любовью, какую испытал недавно в своем каменном полуэтажке.

Филеру, похожему на ярмарочного борца, никогда еще не доставался столь беззаботный крамольник. «Ерой, — недоумевал филер, — одно слово, ерой: ни оглядки, ни страха, чистый дьявол». И вовсе уж не ждал, не гадал скандраковский «наружный наблюдатель», что крамольник, вверенный его попечению, направится в канцелярию обер-полицейстера, крыло которой занимало секретно-розыск-

ное отделение. Этакая неожиданность исторгла из филера зычное «гы!», он даже шапку сбил на затылок.

Сизова после недолгих расспросов провели к Скандракову. Александр Спиридонович только приехал, был еще свеж с морозца, ладошки потирал и похаживал.

— А-а, — затынул он приветливо, — вот и хорошо, вот и хорошо, молодцом, Митенька, совсем ты молодцом...

— Молодцом, — сипло согласился Дмитрий, — совсем молодцом, еще бы не молодцом...

Отцовский нож, согревшись в рукаве пиджака, скользнул, как играючи, в ладонь Дмитрия, и Скандраков прянул назад от этого острого разящего промелька.

Дежурный чиновник, двое охранников-гайдуков вбежали в кабинет. Скандраков валялся на полу. Его ножки подергивались. Он был похож на самурая.

Из разбитого вдребезги окна резко и прямо садил холод.

6

«Ни широка, ни глубока, шумит, бежит Москва-река». Сядешь, где посуше, и уж не слышать мимолетных поездов за увалистыми холмами, за березками и соснами, где путевая сторожка дяди Федора.

Никогда еще не забирался в такую даль от города — шестьдесят с лишком верст! Воля, покой. Радуйся. И вдруг Митя, брат Дмитрий глянет с немой, пристальной укоризною: «Хорошо тебе, Нил, а мне темно и сыро, был я, и нет меня, и веки не будет».

По Долгоруковской в тот вечер мела заметь. Звонили у Пимена, дымом тянуло, и огни означались, как бельма. Толстой округлой тьмой стояла башня. А дальше, за Бутырским тюремным замком, чудилось — нет ничего: ни огней, ни людей, ни дымов, только ночь, только нежить.

Саня впервые не одна пришла — вместе с его, Нила, матерью, под руку ее держала, и обе они, будто ослепнув, выступили из потемок, свет фонаря пал на лица, колокол у Пимена захлебнулся, накренилась бутырская башня.

Кончился Митя в тюремном лазарете. Умер в пролежнях, на вонючих дерюгах. Выбросился из окна, переломил позвоночник, умер в муках. Мать не пустили проститься, она на коленях стояла в приемной полицмейстера, ее выволокли.

Заметь была, огни, как бельма. Кажется, годы брели они по Лесной улице к Тверской своей заставе, и Нил брел не защитником, не единственной надеждой — жалким парнишкой.

Убежище, смрадный «гранд-отель» пришлось оставить. Кочевье началось цыганское, в ночных чайных ночевал, где общие номера держали для залетных постояльцев, и фабрику Губнера бросил, перебивался шаткими заработками.

Падали дни как снегопады, потом отзвенели капелью. Было чуждо и странно примечать неостановимость времени, но он тоже был в этом времени и ловил в себе радость от близости весны, от Сашиной близости, редкой, всегда нечаянной.

Может, и правда Сашина, что жандармы давно позабыли какого-то Нила Сизова, не велика птица, может, и так. Да только теперь одна у него и главная на всю жизнь забота: он им, иродам, сам о себе напомним, он с ними разочтется сполна, ему бы лишь коронацию в затишке переждать, потому что от облав и обысков спасу нет, а какой резон так, задаром угодить за решетку.

Не было Сизова ни в толпе на Тверской, когда государь с государыней ехали в Кремль, не было и на Красной площади, когда ударили колокола Ивана Великого, и на кремлевских площадях его не было. Не в Москве, не в Кремле весеннее торжество вершилось, а тут, в лесах, на полях, у реки.

Дядя Федор, Санькин родитель, хорошо, по-родственному принял, будто б Нил с Сашей уже повенчаны. Нет, «нас не в церкви венчали», не обвел поп вокруг аналая, не спрашивал, берет ли он в жены Александру. Без попа обошлось.

Река мыла известковую осыпь. Над высоким левобережьем гомонило воронье. Покой и воля. И вдруг, в неуследимую минуту — немой Митин укор: «Хорошо тебе, Нил, а?»

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Арестант перемахнул через ограду, надзиратель заорал: «Держи-и!»; Поливанов стремительно бросил руку с револьвером... И громом загремела пролетка. Вослед пролетке вывихрились всадники. Как шишиги, только пыль взялась столбом.

Опомнившись, прапорщик побежал. На бегу он придерживал саблю. Вчера упрашивал Поливанова: «Я приду. Ес-

ли что случится, брошусь на помощь. Вы знаете, мундир производит впечатление!» Поливанов улыбался: «Пустое, Володенька, только себя погубите».

Гремела бешеная пролетка, унося Новицкого, унося спасителей его Поливанова и Райко. Но все ближе были всадники, припавшие к взмокшим холкам военных коней. На повороте пролетка шваркнула о каменную тумбу, мгновенно опрокинулась, взрывая землю, осколки булыжников — два колеса обреченно крутились в воздухе.

Всадников будто сбросило с седел на распростертых, оглушенных беглецов. И сапогами, куда ни попало, и палашами, куда ни попало. А кони хрипели, брызгали горячей пеной. А все эти лавочные сидельцы, эти дворники и ломовики в красных жилетках, вся саратовская улица уже вскипала истерическим восторгом безнаказанного убийства.

Прапорщик увидел глаза Поливанова — будто подняли Поливанова вздетые копья; увидел словно бы надвое рассеченный лоб Новицкого, голую грудь Райко. И всех троих поглотил оружий, вздыбленный, безумный водоворот. Рука Володи Дегаева бессильно соскользнула с влажного эфеса.

Кручи курчавились садами. Прапорщик срывался с круч. Он изодрал мундир, потерял фуражку. Под кручами, у берега, он упал на скамью.

Волга лениво несла песок. Отмели нежились на солнце. Над Волгой стояло порожнее небо. Городской шум увяз где-то там, далеко в садах.

Прапорщик подумал, что он уже мог умереть. Его растоптали бы, как Райко. Если б Поливанов не отказал, прапорщик занял бы место Райко на козлах. И теперь валялся бы на мостовой. Он упрашивал неотступно, а Поливанов повторял: «Полно, Володенька, тут много риску, вы еще очень молоды...»

Володя Дегаев подумал, что сейчас он не сидел бы на скамье, не смотрел бы на Волгу, не слышал бы гудка парохода. Да, он, Дегаев Володя, сейчас, вот в эти минуты, уже бы не существовал. И, думая об этом, прапорщик испытывал болезненное, почти мучительное удовольствие.

Судейкин страшал: «Постарайтесь, чтобы правительство вас забыло». О, в стране существуют писанные законы! Но в стране не существует правосознания, даже правоощущения. А кому тогда властвовать, если не тайной политической полицией?

«В деревню, в глушь, в Саратов, к тетке». Тетки у Володи в Саратове не числилось. Его тетками стали пушки: он служил в полевой артиллерии. Артиллерия — «бывшая епархия» брата Сергея, брат Сергей дослужился до штабс-капитана.

А Саратов-то вовсе не глушь. Володя знал это еще в Петербурге. (Будь проклят этот Петербург, где нелепо, глупо кончился Володин «роман» с инспектором полиции.) Саратов отнюдь не глушь. Какие люди перебивали в Саратове! Их имена были громки. Но Володя опоздал. Черт возьми, он еще хаживал в кадетской куртке, когда на конспиративной квартире где-нибудь на Камышинской улице, Армянской или в роще на Алтынной горе появлялись гениальный конспиратор Александр Михайлов, удивительный пропагатор Плеханов, Гартман, тот самый Гартман-«Сухоруков», что взрывал под Москвой царский поезд, и Юрий Богданович, знаменитый «лавочник Кобозев», из сырного заведения которого в Питере, на Малой Садовой, сооружали подкоп, чтоб взорвать цареву карету. И сама Вера Николаевна Фигнер тоже посетила Саратов. А он, Володя Дегаев, в то бурливое время зубрил в Морском училище английские вокабулы, звучные термины: «фордевинд», «бейдевинд», «шкоты», «планширь»... Ах, как он опоздал! Уж он бы не остался в стороне от покушений на императора, как не остался брат Сергей. Великая душа, выдающийся ум у Сергея. А сотоварищи, однако, недостаточно оценили Сергея, и брат втайне страдал, и он, Володя, тоже втайне страдал за брата.

Офицера беднее прапорщика Дегаева в бригаде, пожалуй, не было. Деньги у него не водились, он жил в казарме, харчился из солдатского котла. Лишь недавно сестры стали присылать ему рублей семь-восемь в месяц. Но прапорщик почти все отдавал центральному кружку саратовских революционеров.

Среди местных радикалов никто не мог сравниться с Поливановым, и Володя тотчас избрал Поливанова кумиром, образцом для подражания. Застенчиво, исподтишка любовался его смуглым, «испанским лицом, глазами серны», ладной фигуркой, порывистой и горделивой, как у старинных романических пажей.

Впрочем, не одного лишь молоденького, наклонного к восторгам прапорщика покорял Поливанов. Немало горожан, далеких от революционности, втихомолку гордились земляком. Еще гимназистом он поразил всех мгновенной

сменой школьного ранца на партизанскую котомку. В те годы часто и горячо толковали о балканских братьях славянах, изнывавших под игом полумесяца. Поливанов ринулся в Сербию, к повстанцам, выказал храбрость, нанюхался пороха. Рассказывали — и то была сущая правда, — как он, будучи в столице в дни процесса Веры Засулич, участвовал в жестокой уличной схватке с жандармерией. Очувтившись в Москве именно в тот день, когда охотнорядцы избивали студентов, Поливанов примчался на помощь коллегам. Шквал арестов, налетевший с чисто русским размахом, не обошел и Саратова. Лучшие друзья Поливанова оказались в остроге. Саратов для него обезлюдел, как погост. И Поливанов решил вызволить заключенных...

Прапорщик рассеянно следил, как пароход хлопотливо борол стрежень, как с трубы нехотя сползал набекрень маляхай темного дыма. Волга дремала, на дальнем берегу млела хлебная слобода, пароход, одолевая течение, держал к слободе, к Покровской пристани.

Володе захотелось перенестись туда, где нет острогов и надзирателей, конных стражников в пудовых сапогах, нет конспиративных сборищ, нелегальных кличек. Совсем иная жизнь вообразилась бедному прапорщику. Струящаяся, как этот нагретый воздух, и чтобы было фортепьяно, как у них дома, на Песках. И чтоб рядом была Томилова. Володя «давно и безнадежно» (ему нравилось меланхолическое: «давно и безнадежно») любил Томилову, очаровательную, как ему казалось, вдовую полковницу.

Но при мысли о Томиловой прапорщик, краснея, признавал, что отпраздновал труса. Не только не обнажил сабли, как обещал Поливанову, но даже и голоса, офицерского командного голоса не подал, чтобы прекратить избиение. Он стал уверять себя, что ничем бы не помог, что Поливанов был прав, отговаривая от какого-либо вмешательства, и что ему, прапорщику Дегаеву, еще предстоит многое. У него ж на руках связи с военными, как, бывало, у брата Сергея. И не с одними сослуживцами-артиллеристами, но и с пехотинцами. Нет, нет, то была вовсе не трусость, а скорее благоразумие, присутствие духа, столь необходимые революционеру.

Володя почти успокоился, но все же ощущал стыд, как оскомину, как привкус. И ему не хотелось видеть Томилову. Он вспомнил о дежурстве и не посетовал на тяготы военной службы. Правду сказать — обрадовался дежурству как избавлению.

Ужасное происшествие долго занимало горожан. Мнения и симпатии разделились. Многие совершенно не одобряли Поливанова: убил надзирателя, отца шестерых деток. В пользу сирот собирали пожертвования, толкуя при этом о бессердечии нигилистов. В то же время немалое число хулителей признавало необыкновенное мужество неизвестного, исполнившего роль кучера. Находили, что он повторил питерского студента Гриневицкого, метальщика бомбы на Екатерининском канале: Райко, изувеченный стражниками, отказался отвечать на вопросы жандармов и умер, не открыв своего имени. Поливанов и Новицкий лежали в тюремной больнице. Несмотря на строгий запрет, доктор и санитары передавали горожанам, что заключенные оправляются от побоев. Говорили, что отец Поливанова, помещик, обезумел от горя, а губернатор Зубов впал в жестокую хандру. Над губернатором посмеивались: этого родственника Поливанова ждут крупные неприятности.

Приспело бабье лето. Бурая Волга работала как бурлак. Низовые баржи пахли арбузами. Из самарских и донских земель, отстрадав страду, возвращались мужики.

На праздник Воздвиженья Креста Господня выносили из церковных алтарей крест. «Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни Его!»»

В зале военного суда вынесли приговор: смертная казнь Поливанову, смертная казнь Новицкому. Распни, распни его... Тот день укоротился дождем. Вдалеке мычали пароходы. Сторожа мели залу, как после покойника.

Елизавета Христиановна куталась в шаль. За окном, в сумерках, на опрятную Немецкую улицу падал дождь. В квартире было тихо, внизу, в первом этаже, репетировал театральный скрипач.

«Подсудимые! Вы свободны от суда и содержания под стражей, отныне вам место не на позорной скамье, а среди публики, среди нас». Не теперь, а больше десяти лет назад. Не в Саратове, а в Санкт-Петербурге. Не всем нечаевцам, а лишь четверым. В их числе Томиловой, вдове полковника, тридцати лет от роду. Ее обвиняли «в материальном пособничестве тем лицам, которые делали приготовления к государственным преступлениям». Ее защищал известный Спасович. Ее нашли невиновной. И председатель объявил: «Вам место среди публики, среди нас...» Он сильно ошибался, этот председатель судебной палаты. Она знала Веру

Засулич, знала Сергея Нечаева, ее место было среди них, а не среди «публики». А делом ее было «материальное пособничество». И так — год за годом.

К ней придут неприметно, садом. Но, словно позабыв об этом, не в сад она всматривается, кутаясь шалью, а в опрятную Немецкую улицу, по которой так плавно, с таким мерным шумом, сквозь пряди осеннего дождя прокатил сейчас кабриолет губернатора. Этот подлец навещает обреченного Поливанова только затем, чтобы осыпать попреками.

Елизавете Христиановне было холодно. Театральный скрипач там, внизу, все еще репетировал. Хорошо бы истопить печи. Ее не пустят к Поливанову. Она ему ни невеста, ни свойственница. Кто она ему?.. «Есть много звуков в сердца глубине, неясных дум, непетых песней много».

Прапорщик был бледен. Он схватил ее руку и поцеловал. Он повторял: «Елизавета Христиановна... Елизавета Христиановна...»

— Садитесь, Владимир Петрович, — грустно сказала Томилова. И опять, как не однажды, подумала: «Какое чистое дитя!»

— Нет, — возразил Дегаев изменившимся голосом, — нет, вы меня выслушайте, я жить не могу. Помните, я же просил, чтоб мне дали возможность... Вы помните?

Да, да, она, разумеется, помнила, как прапорщик Дегаев жаждал участвовать в похищении Новицкого, как он умолял Поливанова... Помнит, конечно.

— Меня мучит, я должен сказать... Непременно. И только вам, вам одной, Елизавета Христиановна. — Губы его подергивались, в глазах стояли слезы.

Томилова подумала о предательстве. Она подняла руки. Лицо прапорщика застыло.

— Ну-у нет, — сказал он, внезапно озлобляясь. — Этого не было. Нет, не было. Тут совсем другое.

— Садитесь, Владимир Петрович, садитесь, пожалуйста, — торопливо сказала Томилова, чувствуя облегчение и раскаяние. — Садитесь, успокойтесь, пожалуйста. — И, как бы оправдываясь, прибавила: — Ужасный день, Владимир Петрович.

Дегаев сел. Он был уж другим, его порыв иссяк. Он видел то, чего прежде не замечал: морщинки, усталость. И не растрогался, не потеплел, ощутил что-то похожее на мстительную снисходительность. «Ей за сорок», — подумал Дегаев. Но этим не удовольствовался и подумал: «Ей пятый десяток».

— Вы, кажется, хотели объяснить мне, — сказала Томилова просительно, — но если...

— Нет, отчего же, — ответил прапорщик, — скрывать тут нечего... Видите ли, Елизавета Христиановна, в день побега я пришел к острогу, чтобы в случае надобности... Понимаете? — Она кивнула. — Все произошло в мгновение ока. Я бросился следом. Их уже настигли, толпа была огромна. Ну и... — Он пожал плечами.

— Так что же вас мучает? — мягко напомнила Томилова.

Прапорщик отвел глаза.

— Услышав приговор... теперь, после чудовищного приговора, мое тогдашнее бездействие... Все-таки можно было, а? Наверное, я обязан был что-то предпринять?

Он опять взволновался, его голос дрогнул, и Томилова вновь раскаялась в своем хоть и мимолетном, но оскорбительном предположении. Ах, какое участие возбуждал в ней этот молоденький прапорщик! Ярая толпа насильников и одинокий офицерик со своей никчемной сабелькой, несчастный, мятущийся. Она понимала его теперешнее состояние. Приговор произнесен, и Володе мерещится, что он тоже повинен в их гибели. Все это отчетливо представилось Томиловой, она склонилась над Володей, положила руку на его плечо.

Нынче Томиловой вспомнился петербургский суд, нечавцы ей вспомнились — Успенский и Кузнецов, Прыжов, Николаев... Она припомнила, как Нечаев учил латыни ее братьев. Она и теперь признавала его поразительную энергию, одержимость освободительной борьбой. Но она не была его безусловной поклонницей. Это убийство студента, заподозренного в измене, эти мистификации, обманы, «цель оправдывает средства»... Она не была его поклонницей. Но теперь, за четверть часа до прихода Дегаева, вспомнив все это, Елизавета Христиановна нашлась, как утешить Владимира Петровича.

Милосердно склонившись, сострадав ему, она сказала, что еще в правилах нечаевского тайного сообщества предусматривались действия революционера по отношению к товарищу, попавшему в беду.

В сущности, такие же доводы Володя выставил наедине с собою еще летом, в несчастный день, на волжском берегу: надо взвесить пользу, расчесть силы, определить выгоды для общего дела... Да, так, почти так он убеждал себя. И все ж теперь жадно ловил тихий голос, ощущал сестринское прикосновение. И ему уж было жаль себя за те укоры

совести, которые нынче, после смертного приговора Поливанову и Новицкому, так сильно вонзились в душу.

— Вы поступили разумно: вы сохранили себя не для себя. Вы ведь знаете?..

Она выпрямилась. Дегаев поднял голову. Крупная женщина с лицом царевны Софьи скрестила руки на тяжелой груди.

— Вы знаете?

— Да, — ответил Володя. — И я готов.

Она поцеловала его в лоб.

Как приходили к Томиловой, так и уходили: по одному, дуплистым садом, где пахло погребом, в проулок со щелястыми заборами. Длинный осенний дождь падал на Саратов.

Каждый из пятерых сказал: «Я готов». Но Поливанов отверг помощь устроителей побега. Он им низко кланялся и благодарил. Он ответил, что вовсе не заслуживает, чтобы из-за него рисковали головой. И прапорщик Володя Дегаев испытал скорбный восторг: жил Поливанов рыцарем, рыцарем и умрет.

Милость — подпора правосудию. Когда нет правосудия, иногда остаются подпоры. Месяц спустя смерть заменили бессрочной каторгой. И увезли.

Закончилось что-то, завершилось навсегда в саратовском кружке. Все поникло, как в том старом дуплистом саду, где затворницей жила Томилова.

Прапорщик навещал Елизавету Христиановну. В молоденьком Дегаеве еще теплилась энергия. Он восхищался солдатами: отлично разобрались в лассалевском учении о налогах. Жаль, нет ни литературы, ни воззваний Исполнительного комитета... Томилова печально улыбалась.

3

Володя по-прежнему квартировал в казарме и харчился с солдатами. На бригадное житье-бытье он не жаловался. Многие нижние чины и офицеры казались прапорщику достойными дружбы.

В Морском корпусе Володя успел послушаться небрежных насмешек в адрес «сухопутных сусликов». То был давний антагонизм флота и армии. Причин для него вроде бы и не находилось. Однако поддерживать словесную неприязнь ко всему армейскому считалось у флотских хорошим тоном. Когда Судейкин выгнал из Петербурга сотрудника, вздумавшего водить его за нос, и Володя, уязвленный, испуганный, жалкий, отправлялся отбывать воинскую повин-

ность, он очень страшился матерых скалозубов. Их угрюмый облик был навеян литературой, они глядели на Володю из сумерек николаевского царствования. И хотя брат Сергей водил знакомство с офицерами, совсем не похожими на муштровщиков и дисциплинистов, Володя полагал, что такие офицеры обитают лишь в столице и в Кронштадте.

Служба началась примечательно: генерал пригласил вольноопределяющегося не в канцелярию, а домой на чашку чаю. Володя Дегаев потерялся в предположениях, спросить совета было не у кого.

Бригадный встретил его с той серьезной любезностью, какая нередко свойственна старшим офицерам специальных родов войск. Он не принадлежал ни к разряду багровых пузанов, ни к подагрическим брюзгунам.

Денщик подал чай в кабинет и удалился неслышной поступью солдата, перенявшего в кавказских гарнизонах черкесскую походку.

Бригадный, усадив Володю, заговорил без предисловий, но и без угрюмой лапидарности, которая почему-то считается генеральской привилегией. Генерала, оказывается, известили о политической неблагонадежности нового подчиненного. Генерал предпочел бы не знать этого. Но коли уж знает, то и полагает своим долгом объявить молодому человеку следующее. Он, бригадный, не чужд веяниям времени, многое не приемлет в действиях и намерениях высшей власти, однако когда на руках семья, а за плечами годы и годы службы... Но все это в сторону. А теперь — в корень. Если г-н Дегаев намерен и в войске продолжать... э-э-э... продолжать свое, то ему, г-ну Дегаеву, следует озаботиться сдачей офицерского экзамена. На положении нижнего чина существенного не добьешься, погибнешь скоро, посему и следует надеть эполеты, а до тех пор вести себя благоразумно, сдержанно.

Двойной игры тут не было. Росчерком пера генерал мог сплавить неугодного юнца в гиблые пески Средней Азии. Нет, генерал не хитрил, и Володя Дегаев ответил искренней признательностью. Он исполнил все в точности: сдал экзамен, его произвели в прапорщики по артиллерии, он вошел в среду, которая именовалась «офицерской семьей».

Володю Дегаева приняли радушно. Репутация неблагонадежного тому способствовала. Молодые офицеры в особенности сочувствовали ему. Но теснее всего Володя сблизился со штабс-капитаном Ивановым.

То был плотный человек с бурно краснеющей шеей и красивыми, навывкате, медленными глазами. Рано овдовев-

ший, бездетный, он, как это бывает с гарнизонными бобылями, привязался к молоденькому прапорщику.

Вечера они часто коротали вдвоем. Штабс-капитан курил дешевые, дурно пахнущие сигары и, медленно уставляя свои тяжелые красивые глаза то на Володю, то на свечи, предавался воспоминаниям.

Кадетский корпус поминал он лихом: этих ротных с их неизменным «Высеку!» и великовозрастных балбесов, онанистов и ерников, этих тупорылых дядек-наставников с их излюбленным наказанием — «Без пирога!» Лишь учителя законовещения исключал штабс-капитан из общего правила. Тот открыл ему Белинского и Герцена. Не только ему. Учитель появлялся в классе, кадеты отряжали в коридор «махального», и начиналось чтение статей Белинского, «Колокола», «Полярной звезды».

Однако не кадетский корпус и не первые годы войсковой службы занимали штабс-капитана, а туркестанские экспедиции, в которых ему довелось-таки поучаствовать.

— Взяли мы боем Ура-Тюм, — рассказывал он, дымя сигарой. — И Джузак тоже взяли. Плевые совсем крепости, а стояли долго: туркменцы, доложу, отчаянная публика. К зиме воткнули наш авангард в землянки, в самом, знаете ли, слепом конце ущелья. Начальство, штаб — в Джузаке, связь держим оказиями. Зима мерзкая, подлее не выдумаешь: день-деньской дождь, к вечеру непременно мокрый снег, ночью мороз хлопнет. Лекаря нет, лекарств нет, тут тебе и простуды, и чирьи, и гнилая горячка. Картина известная... Ну вот, как-то пошла от нас очередная оказия. На полдороге, чуть это Тамерлановы ворота минули, глядь-поглядь — орда. А уже темнеет, а до крепости слава те господи. Что делать? Сбили повозки в каре и — «пачками пли». Но туркменцы, черти, насаждают. Какю! Непременно какю, ежели крепость не известить. Что делать? Офицер у нас был один, так, думал, пустельга, а на поверку-то оказался храбрее храбрых. Берет это он троих охотников — и помогай господи! Туркменцы не дураки, смекнули, куда и зачем, рухнули на них, как обвал, порубали бедняг в лапшу. Беда! Вот тут-то, при общем унынии, солдатик один, тихий такой, неприметный, молчком, слова не говоря, выбирает себе скакуна. Потник на него, уздечку, плетку берет — и конец, ничего больше. Казаки ему: «Ты чего удумал?! Зарубают, возьми оружие». — «Ладно, — говорит, — так-то спокойнее». И пошел, махом пошел. Наши замерли, не дышат. Туркменцы россыпью за солдатиком, норовят пикой достать. А солдатик-то скакуна по бокам

пятками наяривает, плеточкой своей туркменские пики отшибает. Летит, орел! И что ж думаете? Ушел! Завидели его наши пикеты, сейчас это в крепости тревогу пробили — выручили нашу оказию.

— А солдатика-то наградили? — живо спросил Володя. Штабс-капитан снисходительно усмехнулся.

— Э-э-э, суть в другом. Награды эти... Ладно, я вам после выскажу. — И, заметив Володино огорчение, успокоил: — Наградили, наградили. — Помолчав, продолжил: — Или вот, скажем, пример. Это уж когда штурм Ходжента. Слыхали? Да вам-то тогда, поди, еще гогель-могель в ротик совали. — Он пошевелился, будто в удивлении: — Гм, и то сказать, семнадцать лет минуло... Ходжент, доложу, место стратегическое, вход в Фергану затворяет. Не чета какому-нибудь Ура-Тюму: башни, стены, ров, цитадель. У! Штабные, понятно, диспозицию чин чином: правая колонна, средняя колонна, резерв... Граф Лев Николаевич Толстой очень прав: диспозиции эти всегда к черту. И у нас под Ходжентом тоже, к черту, перемешалось, спуталось. Я в средней был, в средней колонне. Назначили нам ждать, покамест правая управится. А после, стало быть, нам — по особому сигналу трех ракет. Мы ждем. Солдаты шанцевый инструмент сложили. Вдруг: ракета! Не нам была ракета, левому флангу, должно быть, а не поспели сообразить, что да как, уж солдаты подхватились. А шанцевый-то бросили, позабыли как есть начисто. Бежим, «ура!»... Лестницы были, они мешают на бегу, ребята в азарте их побросали. Бежим, «ура!»... Эспланаду махом, переднюю стенку — как лошади барьер, в ров скатились чуть не на задницах — и к башням, и к стенам, чьи там батальоны — черт его знает, «кони, люди»... А туркменец сверху лупит камнями, бревнами, из бойниц садит почти в упор. Кажется, нет выхода? А? Ретируйся, и баста? Вижу тут поразительное: стена глинобитная, солдаты в нее штыки вбивают и лезут, ползут, лепятся ласточками! Вы можете это вообразить? А? Сверху-то, со стены не дремлют. И опять, заметьте, солдат безвестный подхватывает бревно, другие пособляют, еще бревно и еще — таранят ворота. Ворвались. В улицах бой, на какой-то там улочке пальнули в нас из фальконетов, не сидел бы я тут с вами, когда б не солдат моей роты Семенов: прикрыл собой, убит был. — Штабс-капитан вдруг ляпнул ладонью по столу. — А вы — «награда»!

Остывая, говорил еще, но уже задумчиво, и уже не краткой, как на ветру, затяжкой курил, а долгой, длинной.

— Решительно не могу вспомнить, кто, но умная, видать, бестия, англичанин какой-то: вы, мол, русские, умеете умирать, но не умеете жить. Горько? А поневоле ведь соглашаешься. В бою-то, середь смертей и огня, солдат наш не гуртом, не стадом валит. Э нет, сударь, личность в нем в рост встает. И какая, черт дери! Он тут не червь земляной — сизый сокол. А на поле? А в мастерской? От люльки до погоста — раб смиренный, скотинка, вот оно что. Герою умрет под каким-то там Ходжендом, который ему ни на кой ляд и не нужен, а у себя-то, где-нибудь в Калужской... После Туркестана я много раздумывал, постичь хочу, в книжках рыщу, как лазутчик в лесу, в нелегальную заглядывал, Маркса по сборнику Зиберы грыз. Бездна правильного, бездна верного, разделяю и приемлю. А признаться, многого, очень многого не постиг. Одно мне яснее ясного: нет у меня нравственного права на жизнь, ежели вот нижний чин Семенов прикрыл меня от фальконета, а я Семеновых от мук и бедствий не прикрываю. Он мне на секунду, на выручку явился, а я ему, выходит, кукиш? Вот был у нас в туркестанском войске начальником кавалерии Пистолькорс. Кавказский, знаете ли, герой, хват и семи пядей во лбу, с высшим начальством всегда на ножах, с подчиненными всегда в кунаках. Жил по старинке, нараспашку, открытым домом, офицеры у него и пили вволю, и Сен-Симона с Фурье читывали. Не дичились его, высказывали, что думали. А он слушает, слушает да и подрежет: мыслите вы, господа, не аналитически, а по настроению, женским умом мыслите, слова у вас — сотрясение воздуха... Кажется, вот она, черта: сейчас это он настоящее дело нам укажет! А нет, смолчит. Только и добавит, что разрушать-де легче, чем создавать. Положим, Пистолькорс и тогда был немолод, в годах был, а старого пса, извините, новым штукам не выучишь, однако и правда была за ним, не вся правда, но доля. Хорошо. Теперь, скажем, я, штабс-капитан Иванов, я вот не могу, не хочу турысы разводить, как оно там, за горами-долами, устроится, но дело, наше дело, вижу. Здесь, тут — в войске. Не офицер нужен, пусть и с академическим значком, офицер-гражданин нужен, вот что. И в тот день, когда «последняя труба», повел бы он батарею, эскадрон... Ну да вы и без меня знаете! Только вот что: для вас-то, может, сие прописи. Не так ли? Да много ль таких, дорогой мой?..

Повседневность текла, как и у всех в бригаде, неукоснительным уставным порядком. Скучновато текла. Но, правду сказать, Володя находил в этой размеренности и

некоторую прелесть. Одно лишь поначалу смущало и волновало прапорщика. Ему казалось, что подчиненные наблюдают за ним исподтишка, и не просто наблюдают, но со снисходительным, хоть и скрытым, презрением. Он обижался, уныло горевал, испытывая при этом и что-то похожее на вину перед теми, кто звался нижним чином.

Постепенно прапорщик увидел не однообразную массу, а людей разного калибра и разного достоинства. Он выспрашивал о прошлом. Они дивились его любопытству, но отвечали. Его дружба с Ивановым, его бедность располагали, день ото дня он все больше прилаживался к солдатам своей батареи, увлеченнее вел тайное революционное дело.

Между тем пошли вполголоса толки об усилении секретного надзора за состоянием умов в армии. Передавали, что в столице на высочайшие смотры велено господам офицерам надевать пустые кобуры. Рассказывали, что даже в гвардии не все гладко, что некий гусар, отнюдь не молокосос, уже в чинах, входящий в высший свет, уличен недавно в преступных связях.

Слух об усилении секретного надзора не был пустым. И как раз в это самое время саратовские жандармы среди множества конфиденциальных бумаг, адресованных в Петербург, в департамент полиции, сообщали и некоторые весьма неодобрительные сведения о прапорщике Владимире Дегаеве.

Сообщали они вот что: «Поименованный выше прапорщик Дегаев занимается распространением революционных учений среди местных военнослужащих и ведет обширные сношения с деятелями социально-революционного сообщества».

4

Эмиссар Исполнительного комитета... Месяц назад, в Петербурге, на Лизиной квартире сидели они за чаем. Это «эмиссар» прозвучало таинственно и значительно. Словно Сергей Петрович Дегаев возлагал на Блинова секретную миссию Конвента. И вот она, магия слова, магия термина: студент Горного института почувствовал признательность к щедедушному большеголовому человеку.

Блинов исчез из Петербурга. Быть может, быстрота его исчезновения диктовалась не одними конспиративными соображениями. Он не мог простить себе тогдашнюю ночь с Лизой. Ночь эта ко многому его обязывала, а ему претила фальшь, но и порвать с Лизой он тоже совестился. В суц-

ности, Блинов не уехал, но спасся бегством. Однако был вправе утешиться: нет, не сбежал — уехал с нелегальными поручениями.

У него были письма, адреса, фамилии, новый шифровый ключ для переписки местных групп с центром. А нужно ему было определить силы бойцов — кто есть жив.

Блинов создавал опасность. Инспектор Судейкин работал не на одну столицу, погромы случались не только в Петербурге. Ничего не стоило попасть в западню, но Блинов с легкостью почти беспечной пустился в путь.

Ему нравилось сквозь стук вагонных колес высматривать, нет ли филеров. Нравилось соскакивать с поездов в сонную прохладу ночного полустанка и добираться до города, меняя телегу на пролетку или пешей ногой отмеряя версты. Самое ощущение опасности будто бы переменялось. В Петербурге оно томило, как однозвучность. Теперь он чувствовал себя одиноким волком. Он не расставался с заряженным револьвером. Вооруженное сопротивление при аресте каралось смертью. Блинов верил, что сумеет и отбиться, и встать на эшафот. В душе его было безотчетное молодое убеждение в своей неуловимости. Петербург словно бы лежал на ладонях департамента полиции. Россия, как он думал, в них не умещалась. Огромность России обнадеживала.

А тут еще тополиное лето зрело, и Блинов, завзятый горожанин, отрицатель всего «пейзанского», обнаружил в себе созерцателя. Ах, эти горизонты, эти дали, не исковерканные, не сдавленные кирпичом, трубами, громадами неживого! И вольный гром мостов, не похожий на зловеший темный гул петербургских. Ах, этот мир перелесков и пажитей, такой цветной, сквозящий, всем ветрам и ливням открытый!

Но как же все разительно менялось, едва попадал он на городские явки. Пусть невестились тополя киевских высот, пусть в Орле, над Окою, стоял яблоневый цвет, пусть тишайшей Пензе кланялся гибкий заречный лозняк — усталая хмурь на лицах, скепсис речей, опущенные глаза, сухой смешок. Блинову казалось, что он ошибся адресом, он испытывал отчужденность собеседников, подозрительность их и боязнь, которые примешивались ко всему как горечь.

В Орле, в бедной комнатке, слушал Блинов прежде неслыханное. Был вечер, отворенные окна, гармоника по соседству, цыганский запах конного рынка. Учитель недавно вернулся из ссылки. Тени и бледность лежали на чахоточ-

ном лице. О нем говаривали некогда: «Подает блестящие надежды, восходящая звезда...» Много лет назад он писал диссертацию, а теперь долбил сопливым пострелятам: «Аз... Буки... Веди...» У него только и остался, что плед, старый, выношенный студенческий плед на острых плечах. У него был какой-то бережный голос, голос человека с сожженными легкими.

— Я не статистик, не политический эконом, не мне судить, «как государство богатеет...» Когда-то я штудировал эпоху бироновщины. Хотел высветить причины общей розни, страха. Как возникают, как твердеют. И еще пытался постичь эпоху французского террора. Вы не видите сходства?

— В чем? — не понял Блинов.

— Хорошо, — сказал он. — Оставим. Я вот о чем. Вы сами говорили: люди не сходятся для общего дела. Видите ли, сейчас, когда тяготеет ужас... — Он подышал в молчании. — Из темных углов, с самого дна, как пузыри на болоте, поднимается соглядатай, он вездесущ, повсюду, это ведь очень выгодная профессия. И вот осведомители эти, шпионы, складываются в корпорацию. Понимаете? Во все-сильную корпорацию. И тогда... Тогда все врозь, всяк на свою кочку. Тогда, в безмолвии, топор иль гильотина, Бирон иль Робеспьер это все равно.

Глаза его в глубоких провалах печально мерцали.

— Да нет, что вы, — сказал Блинов, — совершенно не все равно.

— Теперь взглядитесь в явления, в окружающее, — продолжал учитель своим бережным голосом, не отвечая на возражение. — Какое изобилие признаков общего ужаса, трепета, раболепия. — Он вдруг, словно из последних сил, возвысил голос: — Неужели не видите? — И уронил до шепота, как роняют руки: — Бирон грядет иль Робеспьер — не все ли равно?

Блинов рассмеялся, Блинов спорил, ему не сделалось жутко, ему еще не понять было, как никнут паруса, и все же, уходя от этого умирающего человека, Блинов вдруг пугающе явственно ощутил слезку. Ее не было, но она чудилась, и в этом ощущении таился отзвук услышанных пророчеств.

Саратов был крайним восточным пунктом «эмиссарского хождения». Блинов ждал встречи с Волгой. Москву определяли сердцем России, о Петербурге спорили, голова или не голова всей державе, Волге определений не искали, как самой России, о Волге не спорили. Можно было никогда в жизни не видеть ее, но не любить нельзя было.

Северный ветер-горыч лохматил белые хохлы. Плыл парход общества «Самолет» и еще один — компании «Кавказ» и «Меркурий». Пахло керосином, чадом, слышались безобразные удары. Блинов огорченно усмехнулся: реальное, как обычно, не совпадало с идеальным.

На саратовский кружок надежды были слабые. Аресты Новицкого и Поливанова, гибель Райко доконали саратовцев, и об этом еще в Питере предварил Блинова Сергей Петрович Дегаев.

Томиловская явка, однако, сохранилась. Но Елизавета Христиановна не советовала Блинову останавливаться в ее доме. Блинов почувал в отказе боязнь риска. Он ошибался: несмотря на прочное положение состоятельной и независимой полковницы, Томилова примечала упорное филерское наблюдение.

Блинов взял номер в гостинице на Театральной площади. Томилова устроила ему загородные свидания с несколькими уцелевшими товарищами.

Один из них, Троицкий, походил на тех грубо скроенных и крепко сшитых сельских попов из захоластных бедных приходов, что не робеют крестьянской работы. Учился он когда-то в Петровской земледельческой и, как все петровцы-академики, не только по книжкам знал пахоту и молотьбу. А родом Троицкий точно был из деревенского священства и в дело, пожизненно избранное, в революционное пропагаторство вносил что-то миссионерское. Лет с десятка назад обретался он у мутных прутских вод, на границе с Румынией: переправлял в Россию нелегальную литературу швейцарского производства. Потом едва унес ноги от имперских и княжеских пограничных стражников, затерялся в пензенских краях и наконец вынырнул в Саратове. Там он круто, без оговорок, пристал к террористам-мстителям, ибо тиранам, поднявшим меч, должно от меча и гибнуть.

С Блиновым сошлись они на дальней тропке в роще, где летом затевали пикники белошвейки и приказчики. Роща была тенистая, но и тут припекало сильно. Лицо Троицкого, простонародное, бородатое, с носом картофелиной, покрывалось потом, он небрежно тылом ладони отирал лоб и щеки, а Блинов думал, что этому Троицкому нипочем и зной, и стужа. Блинову пить хотелось, он галстук снял и воротничок, он бы сейчас растянулся под березами, однако не решался выказать «слабость». А Троицкий, ходок, видать, неутомимый, крепко, как посохом, постукивал палкой и говорил, что политический террор отнюдь не исчерпан, требует продолжения.

Блинов отвечал, что для боевой деятельности крайняя нехватка сил, что они, питерские, помышляют о постановке типографии, об агитации в рабочих кружках и что надо воссоздать организацию.

— Э, батенька, вздор! Не в силах нехватка, — хмурился Троицкий. — Желябов тоже, знаете ли, не полки водил. В вере шатание, вот что. Шатнулась публика в вере. Не признается, а шатнулась. А коли так, откуда быть самопожертвованию? Откуда, спрашиваю? Он сам и ответил, ударяя палкой: — Мученичество в цене падает. Только вера, цельная вера творит святую готовность жертвовать.

— Так мы ж, Михайла Петрович, — сказал Блинов, восхищаясь Троицким, — мы же затем и воссоздаем организацию, чтоб когда срок...

— Срок! — оборвал Троицкий. — Не с того конца, батенька! Пример нужен, факел нужен... Вера без дел мертва, а где они, дела-то? Где? Мало, говорю, нынче-то на муку способных. А все ж есть! — И, наискось махнув бородищей, он в упор глянул на Блинова.

— Есть! — серьезно и почтительно подтвердил Блинов.

Троицкий вывел его к волжской круче, к старой скамье, прибежищу влюбленных, сказал, что прапорщик извещен, непременно придет, и не за руку распрошались, не поклоном, а, пихнув палку под мышку, тиснул своими лапами плечи Блинова, легко отодвинул, всмотрелся и ласково кивнул.

Меркло мглисто. Волга багровела, почти недвижная. Над рекой облака сходились, как армады, и уплывали, оставляя батальный дым. Битва была грандиозная, архаическая, Блинов наблюдал ее пристально.

Володя мог бы не представляться, фамильное сходство было явственным, Блинов тотчас признал в нем Лезинового брата, брата Сергея Петровича.

Блинов молвил: «Брат ваш...» — Володя порывисто ухватился за рукав Блинова. Доверчивый, испуганный мальчишеский жест растрогал Блинова, он быстро добавил: «Все хорошо, на свободе, все хорошо». И Володя просиял, а Блинов, мельком, но остро пожалев, что у него-то ни братьев, ни сестер, стал рассказывать про одесский побег. Помнится, Дегаев вовсе не просил посвящать младшего брата в обстоятельства этого происшествия, но Блинову хотелось длить Володину радость, да и сам он, рассказывая, испытывал как бы горделивую причастность к дерзновенному подвигу.

Володя слушал, переспрашивал, торжествуя мысленно: «Ага, вот так настоящие дела делаются. Сереже никто не

помогал, сумел, ушел, а никто ему не помогал». Прапорщик был бы сильно удивлен, если б кто-нибудь намекнул ему, что он, Володя Дегаев, в эту вот минуту окончательно освобождается от своей вины перед Новицким, Поливановым и Райко, от той вины за свое бессилие и бездействие, которая все-таки еще на умерла в нем.

Стемнело, ветер ворошил верх кустарников. В тучах весело, жуликом прятался месяц. Волга плескала всей своей темной, будто бы полегчавшей, как всегда после заката, массою. Пора было в гостиницу, пора было в казарму, а Володя не отпускал Блинова. Володя признал в нем студента, петербургского студента той породы, что всегда ему была по сердцу. И, глядя на этого человека с вольной, невершенной копною светлых волос, слушая его, прапорщик перенесся в Петербург. Не то чтобы вообразил каналы, проспекты, что-то в Петербурге пережитое, что-то тамошнее, нет, но существом перенесся и затосковал, так затосковал, что хоть сейчас беги без оглядки.

Володя сказал, что хотел бы бросить все здешнее к чертовой матери, а пусть и нелегалом, лишь бы там быть, где он, Блинов, где брат Сергей. Блинов, улыбаясь, возражал, что в нелегалы Володе, пожалуй, рановато, что и тут, в Саратове, приносит Володя существенную пользу революционному делу, что хорошо бы объединить кружок артиллеристов с кружком пехотного полка...

Володя грустно кивал, и Блинов, чтоб его утешить, кончил тем, что, может быть, Володя и в Петербурге потребуются, но сперва следует узнать мнение Сергея Петровича.

Они уже расходились разными тропками, как вдруг Володя вернулся, спросил намекающе:

- А вы не в Горном учились?
- В Горном. А что?
- Да так, ничего. Прощайте.

«Лиза, наверное, писала», — смутился Блинов. Он вдруг подумал, что жизнь его как бы исподволь соединилась с семьей Дегаевых и что ежели серьезно, то он, Блинов, этому, пожалуй, рад, особенно теперь, познакомившись с Лизиним младшим братом.

5

Как и всюду, первыми встречали приезжего стационарные извозчики. Однако лифляндские фурманы не зазывали седоков, не хватали за полы. В шляпах, щекастые, бритые, хранили важную невозмутимость. Ездили они пароконно и

в отличие от саратовских ванек не задушевной махорочкой дымили, а сокрушительным табачищем, что зовется чухонским.

На холмах Дерпта лежали строения, разбитые молотом столетий. Среди длинных деревьев качался туман. Туман был сер, остзейский туман, для которого лучше немецкого «ггау» не сыщешь.

В тумане сутулился будничный день. День ремесла и домашнего хозяйства, лавочного небойкого торга и школярской зубрежки. словно бы никогда не пели здесь чудские стрелы, не звенел меч ливонского рыцаря и не галопировали пыльные всадники Батория, не басили шведские пушки и не гремело хриплое «Vivat» шереметевских полков.

Адрес этот Блинов вытвердил наравне со многими прочими еще в Петербурге: Ботаническая, 30, дом Крейдена. Отпустив извозчика, эмиссар убедился, глядя на отражение в витрине кондитерской, как щекастый, безмолвный фурман медленно поворотил и медленно уехал, салютуя клубами табачного дыма.

Дом Крейдена был рядом с кондитерской, в доме Крейдена жил Переляев, но тут Блинову блеснула золотистая фольга конфет «Риплок», он заметил смуглые чашечки какао, что-то креольское, что-то вест-индское, и эмиссар Исполнительного комитета гимназистом вильнул в кондитерскую...

...Переляева знобило, будто сквозняк тянул от щиколоток к затылку. Переляев сидел на железной кровати с высокими спинками. Он ждал: вестником припадка был этот озноб. Дерево и кирпичную стену видел Переляев в окне. Черное монашеское дерево на красной, в мшистых пятнах брандмауэрной стене.

Полтора года Переляеву грозил арест. Тенью несчастья маячил помощник начальника Лифляндского жандармского управления. Но, по совести сказать, ссылка была не из худших. Других загнали в Колу, в Мезень. А ему-то повезло: Дерпт, «ливонские Афины». В Дерпте — университет, известный всей России. Профессора, правда, сплошь из немцев. Можно, пожалуй, не любить их, но немецкой науке не откажешь в основательности. Особенно, на физико-математическом факультете, где Переляев студентом.

Дерево будто размыло, оно слилось с кирпичной стеною. Переляев напрягся всеми мышцами, и озноб пропал. Но там, за окном, и тут, в убогой комнате, шатнулись, двинулись алые пятна. Все это длилось не дольше минуты. И кончилось, словно и не бывало. Переляев вздохнул.

Нет, ему, право, повезло: не питерская жизнь, это верно, но все ж университетский городок. Невелика, конечно, услада эти баронские сынки, нашпигованные спесью, как и рейнские бурши с их корпорациями и «пивными дуэлями». А эта варварская речь остзейского захоластья? Не язык Гёте, а стародавняя, как доспехи времен гроссмейстера фон Рорбаха... А здешний проректор? Подлец, ноздри трепещут — принохивается к политически неблагонадежному Переляеву... Э-э, плевать! Есть в Дерпте отличные коллеги, есть тайное общество. И есть в Дерпте отличные типографии, где не так уж и трудно раздобыть шрифт. Не только латинский или готический, не только! Вот он, столик, в нем ящик с ячейками, полными маленькими, приятно весомыми литерами. И в углу еще стол: сними клеенку, увидишь ящик-крышку, под нею — печатный станок. А под кроватью Переляева — валяжный сундучок с замком-бочонком уральской выделки. Сундучок пермского гимназиста Переляева. В сундучке — вал, обтянутый гуттаперчей, гипс для клише, мешочки с химикалиями, желатин, инструмент. Потихонечку набирал все это Владимир Переляев, нынешний дерптский студент. Богатство! О таком многие лишь мечтают. Велик ли, однако, прок? Свинцовые литеры на ладони, как золотые дублоны скупого рыцаря: не в ходу печатня, покрывается пылью.

Общество студентов, где он один из главных, дискутирует, волнуется: ходят слухи о новом университетском уставе, по букве его и духу быть здесь казарме с дипломированными капралами на кафедрах и попом в роли профессора философии... Студенты взволнованы. Типография готова... А дело, настоящее дело, ради которого стоит жить, не движется. И Петербург молчит. Существует ли недавно еще грозный Исполнительный комитет? Будто бы и существует, а может, и нет. Как орден розенкрейцеров. Газета «Народная воля» замерла на девятом номере. Десятый бы номер отпечатать в тихом уездном Дерпте с его будничными заботами ремесла, домашнего хозяйства, школярской зубрежки.

Звонок не удивил: кто-то явился проведать. Может, факкультетские. Или из ветеринарного.

— Ты-ы-ы?

(Больше года не виделись. Блинов знал Переляева, Володя Переляев тянул к «Черному переделу», к Жоржу Плеханову, а Блинов — к «Народной воле». Несогласия не мешали дружбе. Потом потерялись: дознание «О преступ-

ной пропаганде в среде с.-петербургских рабочих» кончилось для Переляева ссылкой, Блинова чудом не задело.)

Вечером Дерптом правил Гамбринус, бессмертный брабантский герцог, патрон пивоваров. Народ возвел его на пивную бочку, как на трон. Он царствовал из века в век. Культ его личности был задушевым. Портрет Гамбринуса — веселый малый с пивным стаканом — украшал пивные Дерпта.

Пивных было тьма. Янтарные волны, отороченные пеной, шипели дерптским вечерним прибором. В тяжелых кружках таился хмель богемский, хмель баварский. Ремесленники пили устало, вдумчиво, прижмуриваясь; студенты — переменчивыми компаниями, бродя от столика к столику. Пили за шахматами, газетой, с трубками и без трубок, с закусками и без закусок, с песнями и без песен. И лишь в ресторане «Отель Лондон» не подавалось пиво: «Отель Лондон» был для заезжих богачей, он пустовал, и прусские кельнеры лениво помахивали крахмальными салфетками.

Переляев, как некогда здешний бурш поэт Языков, давно «желудок приучил за книгами говеть», а нынче вот и разговелся: Колька-то Блинов был при деньгах.

Блинов услышал о тайном обществе студентов. Он услышал о мечте Переляева возобновить в Дерпте издание «Народной воли». Мечталось об этом и петербуржцам. Их «летучие» типографии проваливал вездесущий Судейкин. Листовку о коронации едва успели оттиснуть, да и то мизерным тиражом. Эх, минуло времечко, когда неподалеку от Литейного, в Саперном переулке, выдавали в свет «Народную волю» в сотнях и сотнях экземпляров, на всю Россию, и даже отдельный номер на отменной бумаге городской почтой слали в Зимний, государю императору — знай наших... На недавней сходке у Карауловых Сергей Петрович тоже говорил о крайней нужде в газете, которая сразу бы объявила: жива партия...

Переляев потупился. Он не хотел, не мог и не хотел говорить о готовой в дело типографии. То была его, Переляева, сокровенная тайна. Но разве он не доверял Блинову? Переляев молчал. Что-то унижительное было в этом молчании, но Переляев молчал.

Потом он поднял на Блинова глаза, ответил: «Тут есть над чем подумать...» Блинов мечтательно повторил, что, может быть, в тиши Дерпта хорошо было бы... О, понятно, Переляеву чертовски трудно, Переляев под гласным надзором, но когда он прочтет вот это... И Блинов отдал Пере-

ляеву тоненькую тетрадочку, исписанную убористо и четко, как отдавал такие же в Киеве и Орле, в Пензе и Саратове.

В Дерпте ложились рано, но теперь близились каникулы, скоро многим в отъезд, как было не проститься с коллегами. Прочь корпорации... Мы все студенты! По скатам крыш стекали звезды. Весла шлепали, как ладошили, на сонной реке. Смеялась в аллее женщина. И так молодо звучали шаги по каменным ровным панелям.

Переляев, не раздеваясь, бросился на кровать. Блинову он устроил ночлег на Маркетштрассе. Завтра Колька уедет в Питер. Переляев настоятельно просил помалкивать про общество студентов. Он обещался готовить типографию. И об этом тоже просил помалкивать. Пусть-ка сперва в Петербурге образуется нечто крепкое, определенное да поутихнут какие-то внезапные, непонятные, пугающие провалы.

Да, да, все это так, все это верно, справедливо, расчётливо. Но тут вопрос — если уж до конца, совершенно искренне: почему скрыл от Блинова свою типографию? Осторожность или подозрительность? Переляев допрашивал себя. Ему было очень важно дознаться, что́ его нынче тормозило: осторожность или подозрительность? Ему это было очень важно и нужно определить. Он склонялся к последнему, ему было худо, ведь он давно знал Кольку Блинова.

Он зажег свечу. Свеча горела в подсвечнике, стареньком, оглаженном многими ладонями, и Переляев подумал, что с этим подсвечником выходили встречать позднего посетителя, может быть, доктора, вызванного к умирающему, и сидели у постели роженицы, и спускались в подвал за съестным, и этот вот старенький подсвечник был свидетелем маленьких домашних событий, из которых ткалась жизнь поколений. Переляев, не открывая глаз, тронул гладкое, теплое, ощутил мягкость стеарина и вроде бы коснулся чьих-то судеб, давно отошедших, неведомых, таинственных.

Тетрадочка, переданная Блиновым, была во внутреннем кармане. Реферат он, разумеется, прочтет, отдаст для переписки или сам перепишет, и другие прочтут, пойдет из рук в руки. Прочтут реферат коллеги... Но все останется по-прежнему в этой стоячей, как топь, повседневности.

Он медлил чтением. Потом нехотя подбил подушку и достал тетрадочку с убористыми, прямыми, четкими строчками.

«Друзья и братья! Пользуемся случаем, столь редким у нас, чтобы сообщить вам сведения об истинном положении нашем в Трубецком равелине Петропавловской крепости. Простите, если письмо это окажется написанным кровью сердца, а не простым карандашом. В публичке всегда ходили неблагоприятные о здешних местах слухи, но они так же мало походят на действительность, как юношеские грезы. Никому на воле не приходит в голову, что здесь формально открыто отделение каторги, и положение каторжан столь фантастически ужасно, что его нельзя иначе назвать, как ежеминутной непрерывной пыткой. Вот почему мы имеем полное основание воскликнуть: каторга и пытка в столице! Каторга и пытка в пяти минутах расстояния от Невского! Каторга и пытка под окнами дворца или настолько близка, что из них можно любоваться зданием тюрьмы.

К числу лиц, находящихся здесь на каторжном положении, принадлежат все приговоренные судом к различным срокам каторги или же приговоренные к смерти и помилованные; есть бежавшие из Сибири и разных тюрем и вторично взятые; есть и такие, которых не судил и не будет судить никакой суд, и выход которых отсюда тем более проблематичен.

Положение до и после приговора столь резко различно, что ошеломляет вас неизбежно. Притом же приговор исполняется внезапно, как и все, что здесь происходит, большей частью спросонков.

Процедура следующая: рано утром вас схватывают с постели, куда-то ведут, приведши, раздевают донага, облачают в арестантское белье, онучи, привязанные веревками, коты, подбитые железными гвоздями, бредят голову, надевают арестантский халат с тузами, арестантскую шапку и снова куда-то ведут.

На этот раз вы очутитесь в одном из самых мрачных казематов тюрьмы. При входе вас обдаёт затхлым запахом сырости и гнили, темнота так велика, что вы не сразу отличите окружающие предметы. Небольшое окно тускло от никогда не смываемой грязи и заслонено стеною в нескольких шагах расстояния. Скоро, однако, глаз откроет, что каземат ваш совершенно пуст. В нем помещается лишь кровать с соломенным матрацем, прикрытым грязным тонким, как лист бумаги, одеялом; в головах небольшая подушка: чугунный столик вделан в стену; в углу — грязное ведро, в дру-

гом — кран умывальника — вот и все. Да, у стенки небольшая иконка. Зачем она здесь?

Вы не успели войти, как вас тут же пробирает холод. Вот ваше жилище. На сколько времени? На год? На два? Навеки? Эти вопросы вихрем проносятся в голове, они стучат об ваш череп, и вам кажется, что вы слышите, как заколачивается крышка собственного гроба. Сердце сжалось... Оно более не оправится. Никогда, никогда более оно не будет стучать ровно и спокойно!

Но вы спохватываетесь... Вы задаете себе вопрос, как жить без всяких вещей? В прежней камере, до приговора, житье было незавидное, но там ваш столик был всегда заставлен самыми необходимыми предметами. Вы зовете служителя, вы спрашиваете, почему у вас отняли чай, сахар, табак, мыло, гребенку, собственную кружку, а главное — книги, книги, даже Евангелие?

«Не полагается», — отвечает он. «Как? Ничего не полагается?» — «Ничего». — «Нет, нет, этого не может быть! Зовите смотрителя!»

Вы ходите, или, вернее, кидаетесь, из угла в угол каземата. Звук шаркающих по каменному полу котлов гулко отдается под сводами. Смотритель входит в сопровождении нескольких жандармов и храбро наступает на вас. «Вы требуете вещей? Вещей вы не получите, я покажу вам правила, которым вы теперь подчиняетесь». Поворачивается и уходит. Засовы запираются, шаги умолкают, заглушаемые ковровой дорожкой, и вы один.

Вместе с вашими вещами у вас не отняли многочисленные потребности, неразрывно связанные с вашей человеческой природой, и сотни раз вы спрашиваете, как жить, не имея на малейшей возможности их удовлетворить. У вас вырывается крик, зачем вас не убили, потому что только труп лишен всяких потребностей и только труп может существовать в условиях, в которые вас поставили. Для чего привели вас сюда: чтобы жить или умереть? Спросите у этих стен, насыщенных убийством, и они ответят вам; спросите, что сделали они с жертвами, томившимися здесь до вас, и они скажут вам, оскалившись, что пожрали их.

Вам приносят «правила», и вы берете их с ледяным равнодушием: странно писать правила для человека, заключенного в гробу; но вскоре они поглощают все ваше внимание.

«Правила» без подписи. Напрасно вы поворачиваете лист на все стороны, подписи не найти, лишь писец

какой-то засвидетельствовал верность копии с подлинником, число и год составления тоже не обозначены, и вы лишены возможности определить, каким ветром они навеваны. Заглавие следующее: «Правила для лиц, находящихся на каторжном положении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости». Далее содержание: «Лица, находящиеся на каторжном положении в Трубец. бастионе Петр. крепости, остаются $1/4$ всего срока каторги, определенного им судом; лица, осужденные на бессрочные каторжные работы, остаются здесь неопределенное время, и срок нахождения для них зависит от особого распоряжения. Вышеупомянутые лица содержатся в Трубецком бастионе на общем каторжном положении. Собственные вещи у них отбираются. Пища отпускается обыкновенная, арестантская. Покупка съестных припасов на собственные деньги строго воспрещается. Также строго воспрещается курение табака. Лица, находящиеся на каторжном положении, лишаются права пользоваться книгами из библиотеки, состоящей при бастионе. Заключение вполне подчиняются администрации крепости. В случае совершения преступления они предаются суду, который присуждает их к наказаниям, определенным законом для ссыльнокаторжных. За менее важные преступления суд приговаривает к шпицрутенам до восьми тысяч ударов, к плетям до ста ударов, к розгам до четырехсот ударов...»

Познакомившись с «правилами», вы согласитесь со зрителем, что никаких вещей требовать не будете. Если на ваше заявление о самых насущных нуждах отвечают угрозами подвергнуть вас ударам плетей и шпицрутенов, давно отмененных законом, вы, естественно, станете молчать. Вам остается страшный, безмолвный протест голодовок, и к нему, на собственную гибель, вы будете отныне прибегать.

Однако надо же выяснить, кто автор этих «правил», чья воля будет вас держать над медленным огнем, не давая ни жить, ни умереть? Вы звоните, и к вам с шумом врывается служитель в сопровождении жандарма. «Понапрасну не звони! — кричит служитель. — Мы сами знаем, когда прийти! Прочитал правила?» — «Прочитал. Но в них много неясного. Я желаю поговорить со зрителем, позовите его ко мне!» — «Зрителя нет». — «Когда же он придет?» — «Придет, когда будет время. Сегодня или завтра, а может быть, через три дня или через три недели».

Благорасположенные посетители удаляются. Вы кидаетесь на грязную постель и снова вскакиваете, вы мерите каземат шагами, вы переживаете агонию, самую адскую агонию живого существа. Вы чувствуете, что глаза ваши принимают выражение раненного на-смерть. Уже вы находитесь в новом положении, где вы на себе чувствуете его стопудовую тяжесть, и все же ум отказывается в него верить; как! Из часа в час, изо дня в день, из года в год сидеть в четырех отвратительных стенах, без книг, без занятий, без возможности остановить на чем-нибудь измученную мысль! Ведь это неминуемо должно повести к умопомешательству.

Вскоре вы откроете новые опасности. Вам станет ясно, что темнота и отсутствие воздуха быстро обескровливают вас, сырость и холод предают ваше тело цинге, десятки других болезней явятся ей на помощь. Но вот он, самый злейший из ваших врагов: как бы вы не были сильны душой, вы не решитесь оглянуться на него, страшным призраком стоит оно за вашей спиной, и самое дыхание его содержит тысячу смертей. Это время!

Так проходит для вас первый день. Вечером зайдет смотритель и скажет, что «правила» введены шесть лет тому назад и одобрены новейшим департаментом государственной полиции, что ни он, ни комендант не имеют права что-либо изменить в вашей судьбе.

Итак, вот кто изобретатель наших мук: бывшие заправилы Третьего отделения, Оржевские, Плеве и прочие. Известная доля авторского права принадлежит коменданту генералу Ганецкому, так как действительность превзошла «правила», и этот плюс целиком должен быть отнесен на его счет. Если он не имеет права облегчить нашу участь, то он имеет полнейшее право ее ухудшить, и он не преминул подложить полено в общий костер.

Но Оржевский, Плеве, Ганецкий — все это только исполнители высшей воли. В личной а яростной мести царствующего дома кроется источник наших мук. Это ясно из того, что мы попадаем сюда по высочайшему повелению, и никто не может быть переведен отсюда иначе как по высочайшей малости.

Конечно, заслуживает серьезнейшего внимания, что ненависть высочайших особ нашла себе услужливых и быстрых на руку исполнителей во всех слоях русских людей. Начиная с сановников и министров и кончая

тюремным служителем — все это кинулось истязать нас, истязать со сладострастием, с горящими глазами, оскаленными челюстями, раздутыми ноздрями. В действиях этих споспешников обнаружился характер всякой сбродной толпы, всегда готовой на акты иступленной жестокости.

Вооружитесь мужеством, чтобы продолжать чтение письма. Дорого бы дали мы, чтобы вам не приходилось читать эти строки, но вы, братья, должны знать, что здесь происходит.

Здесь не делают различия между здоровым и больным человеком. Дизентерия и цинга — обыкновенное явление. Силы больного при таких условиях быстро падают, он лишается употребления ног, он не может встать для отправления естественных надобностей. Но здесь не полагается лазаретной прислуги. Что же далее? Больной остается лежать и гнить в собственных извержениях, пока служителя не заблагорассудится переложить его на чистую солому. Если бы вы видели наших больных! Год назад цветущие юноши, теперь это сгорбленные, дряхлые старики: спинной хребет отказывается поддерживать их, ноги не служат более. Многие уже не встают с постели, преданы гниению до того, что издают трупный запах.

Не находят снисхождения даже умалишенные, а вы можете себе представить, сколько их на нашей голгофе. По целым дням вы слышите иступленные крики, это ударами истязуется умалишенный, привязанный горячечной рубашкой к кровати. Число смертей, самоубийств, умопомешательств ужасающее! Пройдет еще некоторое время, и места всех нас очистятся для новых страдальцев.

В начале письма мы описали одну из камер нижнего этажа бастиона, но это лучшие помещения для каторжников. Есть еще казематы в подвальном этаже здания — это мрачные подземелья. В них заключенные, наиболее возбудившие вражду начальства и правительства. Немногих слов этих достаточно, чтобы вы догадались, кто из нас пользуется этими помещениями. Окно такого помещения находится на уровне земли и заслонено толстыми решетками, облепившею его грязью. И если в лучшие камеры никогда не заглядывают лучи солнца, то легко вообразить, какая здесь царствует тьма. Стены покрыты плесенью, по которой струятся грязные потоки воды. Что в них поистине

ужасно, так это крысы! В каменном полу оставлены большие отверстия для прохода крыс. Мы выражаемся так потому, что если бы повреждения в полу были бы случайны, их легко было бы исправить, тогда как все наши просьбы и заявления остаются без последствий. Крысы постоянно врываются в камеры, поднимают отвратительную возню, стараясь взобраться на вашу кровать.

В этих труппах проводят последние дни осужденные на казнь. Здесь прожили последние часы Квятковский, Пресняков, Суханов. Теперь между прочими сидит здесь женщина. Это Якимова! День и ночь стережет она ребенка, чтобы его не съели крысы. Мужественная, великая мать. Окруженная со всех сторон призраками смерти, она не перестает вдыхать жизнь в своего ребенка. Кормясь пищей, от которой груди должны наполняться водою, она заставляет свой организм вырабатывать молоко, чтобы спасти свое дитя от голодной смерти. Находясь в условиях, ежеминутно разрывающих ее сердце, она не приходит в отчаяние, не разбивает ему голову о ненавистные стены, чтобы сразу положить конец его и своим страданиям.

Условия, нас окружающие, рассчитаны на то, чтобы отнять у нас человеческий облик. Тогда как тело истощается, хиреет, лицо, напротив того, получает отеки, увеличивается до необыкновенных и уродливых размеров. Почти у всех трясение рук, потому что нервные центры должны были ослабеть. Глаза в темноте воспаляются, в них чувствуется сильная резь. Тело чернеет. Наших сестер едят вши, у мужчин вши заводятся в бороде.

Из всех человеческих потребностей за нами признаются две: мы можем принимать некоторое количество пищи и извергать ее. Мы низведены на степень червей.

Но есть сила, которая дает нам если не жить (это физически невозможно), то, по крайней мере, страдать и умирать: это мысль, что мы служим точкою опоры для рычага революции. Как добрый гений, она при нас неотступно. Утром, когда нас будит лязг отпирающихся замков и засовов, торжествующее бряцание шпор и мы готовы проклясть народившийся день, — она, мысль эта, застилает неприглядную действительность и на своих всемогущих крыльях уносит за пределы тюрьмы, за пределы одичалого, бесстыжего варварства, и раскрывает перед нами книгу судеб чело-

вещества. Чем больше страданий и унижений, которым нас подвергают, чем выше полет наших мыслей.

Поразительный факт: люди, унижающие нас, не смеют нас презирать. Мы видам это ясно в замешательстве какого-нибудь административного лица, случайно столкнувшись с ним, когда мы, слабые, плетемся на прогулку. Или когда это лицо после полугодового отсутствия случайно заходит к нам в камеру. Этот трепет, этот стан, невольно сгибающийся в почтительном поклоне, этот взор, полный ужаса и вместе с тем уважения... Во избежание столь тягостных для них впечатлений начальство предпочитает скрываться от нас.

Мы всецело во власти солдат и служителей. На отвратительную экзекуцию они идут, как на пир. Фролов (палач) по сравнению с ними невинное дитя. Они нахальны и злы.

Случается, что наша гробовая жизнь нарушается таинственными посещениями. По ночам бесшумно открываются садовые двери, ведущие в общий коридор, окружающий весь бастион с внутренней его части. Кто-то торопливыми шагами в сопровождении служителей и жандармов направляется в одну из камер и остается там по часу, по два. Не утешитель ли явился? Нет, здесь нет места добру, здесь рыщут шакалы и гиены — сюда является представитель известного учреждения, г-н Судейкин, и горе человеку, к которому направляются его шаги. Человек этот уже не принадлежит себе, он уже совершил запродажу своей совести, своего доброго имени, жизни друзей и знакомых. Покупщик явился за своей добычей. Страшные муки превзошли человеческие силы, и человек пал. И все же, надо правду сказать, падших между нами немного.

Голодные бунты у нас не прекращаются. Они производятся в одиночку или группами или же сразу охватывают всю каторжную тюрьму, за исключением тяжелобольных. Большой частью голодовки имеют целью добиться чтения книг, выписки чаю на свой счет и пр. Можно сказать, ни в одной тюрьме голодающие не доводятся до такой ужасающей крайности. И тогда ярче всего обнаруживается, как сильно ищут нашей смерти. Буквально у нас перестают голодать на краю могилы, в редких случаях добившись хоть небольшой уступки. Но варварский запрет книг до сих пор не отменен. Голодовки страшно подрывают наши силы, но

выбора нет, и мы предпочитаем умереть с голоду, нежели сходить с ума и быть истязуемыми.

Друзья и братья! Из глубины нашей темницы говоря с вами, вероятно, последний раз в жизни, мы шлем вам наш завет: в день победы революции, которая есть торжество прогресса, пусть она не запятнает этого святого имени актами насилия и жестокости над побежденным врагом. О, если бы мы могли послужить жертвами искупления не только для создания свободы в России, но и для увеличения гуманности во всем остальном мире! Человечество должно отказаться от одиночного заключения, от насилия и истязания заключенных в каком бы то ни было виде, как оно отказалось от колеса, дыбы, костра и пр.

Привет вам, привет родине, привет всему живому!»

Маленькая эстонка жила рядом, в каморке, прибирала, прислуживала жильцам. Быстро, скользяще вошла Юлия, как входила, слышав вскрик Переляева.

Он был в поту, с прокушенных губ текла кровь. Юлия отерла его полотенцем, раздела, уложила под одеяло. Переляев не стонал, не отзывался.

Тетрадка валялась на полу... Когда-то тонкие папиросные листки, исписанные каторжанами Петропавловки, выносил из бастиона, из крепости унтер Провоторов... Тетрадка валялась на полу. Юлия спрятала ее под матрацем, припала к больному, стала гладить плечи, щеки, голову.

Переляев был в беззвучном, свинцовом забытии, в каком бывают после припадка падучей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Полная виктория, кажется? Божьим соизволением, инспектора доглядением свершилась коронация плавно и легко. И теперь-то остаться «при своих» ничего, так-таки ничего и не выиграть? Судейкин не гадал, кто виноват: старый скряга, министр-дурандас. Давеча зашелестел си нюшными губами: «Я надеюсь на вас и впредь», — длинные, грязно-серые бакенбарды, как волчьи хвосты. Нет уж, довольно!..

Судейкин хмуρο слушал Плева.

— Вы знаете, Георгий Порфирьевич, я ценю вашу деятельность. Смею думать, меня-то вы не упрекаете?

Плеве дважды отчеркнул интонацией свою непричастность: «я ценю», «меня-то вы не упрекаете». Судейкин наклонил круглую массивную голову. В знак ли согласия, в знак ли несогласия — Плеве не понял и обеспокоился.

Директор департамента давно ждал объяснений с инспектором. Судейкин был прав неоспоримо. Он заслужил полковника. Министр же граф Дмитрий Андреевич хвалит в глаза, но хвалит как уличного филера, а заглазно пренебрегает.

Однако не обиды инспектора секретной полиции всерьез занимали директора департамента. О-о, многое он передумал. Не здесь, не в служебном кабинете. (Теперь, черт побери, не убережешься от пыли: лето, окна открыты.) В служебном кабинете Вячеслав Константинович исполнял многотрудный долг свой. Исполнял без укоризны, без усталости.

Заветным размышлениям предавался он дома. Его домашний кабинет копировал служебный — чистотою, отсутствием безделок. Только дома, в ненарушимом уединении, Вячеслав Константинович услаждался тайными помыслами, которых, право, не открыл бы и под пыткой. И даже Зизи в постельные минуты, располагающие к откровенности, даже Зизи не слыхала от своего Вечи ни обмолвки, ни намека.

В душе сухопарого бледнолицего человека горел холодный, ненасытимый пламень. Плеве понимал, что такое его департамент. Плеве сознавал всевластность русской политической полиции. Однако он не походил на тех, кто задубел еще в Третьем отделении. Вячеслав Константинович не афишировал могущества. Напротив, тайный советник не тяготился упоминать в обществе о том, что его ведомство призвано не столько искоренять крамолу, сколько упреждать ее, не разнуздывать репрессалии, а упрочивать любовь к отечественным устоям нравственным воздействием на молодое поколение. Он произносил эти благоглупости ровным голосом, с легким сердцем.

Судейкин был единственным, перед кем он решился бы чуть приоткрыть занавес. Плеве угадывал в нем родственную натуру. Не ровню, этого Вячеслав Константинович не допускал, но родственность угадывал безошибочно. И даже признавал некоторое превосходство инспектора. Тот, должно быть, никогда не испытывал беспомощности, пусть мгновенной, но неприятной и острой, которую испытал он,

директор департамента, беседуя накануне коронации с главным агентом-провокатором. Плеве не забыл свое бессилие перед этим Яблонским. А Георгий Порфирьевич такого, верно, никогда не испытывал, тут-то уж явное превосходство инспектора.

Если бы Судейкина нежил фавор, если б министр не был просто трусом, а был бы умным трусом, вот тогда бы Плеве опасался инспектора. Однако граф со стариковским упрямством держит Георгия Порфирьевича в черном теле... Впрочем, директор департамента не торопился. Он умел выжидать...

Итак, министр продолжал третировать г-на Судейкина. Вячеслав бы Константинович посочувствовал, когда б сочувствие было ему свойственно. Плеве не сочувствовал, но понимал Судейкина, и этого было достаточно.

Они сидели вдвоем. За окнами стрижи мелькали. Далеко на мостовой погромыхивали телеги. Цепной мост глушил стук экипажей. Пахло летним Петербургом: нечистой водой, известкой, пылью.

Судейкин наклонил круглую голову. В этом наклоне была решимость. Плеве еще раз заверил инспектора в своем неизменном расположении. Сухой голос звучал почти проникновенно.

Инспектор не переменял позы, только исподлобья повел глазами. Травленого зверя не проймешь. Долго, слишком долго терпел. А теперь решился пригрозить отставкой. Бросить и уйти. Есть арендные деньги, есть капитал. Уйдет и как бы в сторонке дождетсЯ двойного покушения. А тогда... О, тогда!

— Вам известны мои правила, — продолжал Плеве, сплетая и расплетая длинные белые пальцы. — Для меня формальные признаки не существуют, все эти патенты об окончании курса высшего учебного заведения нуль. Образование подчас не зависит от учебных программ. Да и навидались мы с вами «лучших учеников», к делу непригодных. Вы знаете, как я на своих сослуживцев смотрю... Теперь второе: патронатство считаю пагубным. Я не мешаю вам избирать сотрудников. Не так ли? Да-с... И далее. Не в пустую похвалу будь сказано, а дал вам Бог, Георгий Порфирьевич, редкий талант — способность организаторскую. Способность драгоценная, не моя мысль — Константин Петровича Победоносцева. Наконец, мне бы еще хотелось... Согласитесь, я, как директор, совершенно вас не стесняю. И знаете ли, отчего? Не из одного доверия. Хотя доверия у меня к вам — выше Исаакия. Однако нет, не

просто из доверия, а потому еще, что самовластие в решениях признаю язвой бюрократии, от язвы этой — равнодушные в сотрудниках. Таковы мои правила службы. — По губам Плеве скользнула стальная улыбка. — С вами я этих правил держусь неукоснительно.

«Эка его прорвало», — думал Судейкин, рассматривая кончики штиблет и укрепляясь в решимости припугнуть отставкой. Он уже знал, что ему предложит тайный советник. Еще потерпеть? Еще подождать? Дудки!

Георгий Порфирьевич глянул на Плеве, как смотрит на генерала оскорбленный офицер, подающий в отставку. Но Плеве не принимал отставки, Плеве пристально наблюдал, как реют за окном стрижи. И будто невпопад осведомился, добыты ли от Ювачева откровенные показания.

Какого черта? Ну при чем тут прапорщик корпуса флотских штурманов? Ну приехал на свою голову из Николаева, ну Яблонский просил изъять, ну изъяли, и вся недолга... Судейкин не мог взять в толк, куда клонит директор департамента. Гм, Ювачев. Инспектор «поднес» флотского как возможного покусителя на священную особу его императорского величества, ибо Ювачев поселился у отца, дворцового служащего, в Аничковом поселился прапорщик. Ничего, в сущности, не стоило исполнить просьбу Яблонского.

— Ювачев, кажется, намеревался стрелять в государя? — молвил Плеве.

Судейкин, не скрывая раздражения, дернул плечом. На губах у директора департамента опять обозначилась улыбочка. Белые длинные, тщательно вымытые пальцы завертелись «мельницей».

— Но зачем же непременно в государя? В Аничковом и другие бывают...

И тут Судейкин учуял что-то необычайное, что-то очень, очень важное, он напрягся, подобрался весь, поиграл желваками, ответил как бы ощупью:

— Понятно, бывают... Многие, известно, ездят в Аничков...

Плеве смотрел в окно. Стрижи чертили темные, таинственные письмена.

— Ну вот, ну вот, — повторял Плеве.

Судейкин тихонько взял след:

— На Ювачеве свет клином не сошелся.

— М-да-а-а, — протянул Плеве, смежил блеклые веки, вздохнул, как пастор. — Конечно, человека всегда жаль. Но для России... — Не поднимая век, он медлительно воз-

дел длинный палец. — Для России несчастье обернется самыми благоприятными последствиями.

Глаза у Судейкина посоловели. И по этой нарочитой тупости его глаз Плеве определил, что инспектор понял. Все понял.

— Вы правы, — невнятно отозвался Судейкин.

Он ощущал что-то похожее на голодную дурноту. Об отставке они не говорили. Им надо было тотчас расстаться. И Судейкин поспешил уйти.

Он с силой захлопнул дверь в свою комнату, напоми-
навшую проходную в старой, захламленной квартире. Сел
в кресло. Вскочил, прошелся, опять сел. Он подумал о
Яблонском.

Совсем недавно, в Одессе, горели новогодние свечи, ви-
но было на столе, пироги. Яблонский ластился к жене: «Не
хочешь ли сладенького, милая?» Втроем они славно встре-
тили Новый год. Сошлись накрепко. Георгий Порфирьевич
говорил: «Мы уберем фанатиков. С обеих сторон уберем:
«ваших» и «наших». До сей поры убирали, так сказать,
односторонне. И немало. Счет десятками. Почти исчерпана
объемистая тетрадь, куда Яблонский вписал фамилии, ад-
реса. Здесь она, в шкапу, тетрадь эта. Понятно, Яблонский
кое-кого уберет. И верно сделал, на пользу общую, он,
инспектор Судейкин, хорошо это сознает.

Да-с, фанатиков-то убирали с одной стороны, тех, что
в подполье. Другая сторона не тронута. Не приспел ли
срок? Не пришел ли час пугнуть высшие сферы? Страх —
твой союзник, Георгий Порфирьевич. Тебе нужна топкая
почва правительственного страха. Твоим плечам узковаты
офицерские погоны, им впору генеральские, со свитским
вензелем.

Аресты, выполненные по указке Яблонского, корона-
ция, обошедшаяся без сюрпризов, лишь присказка. Боль-
шая игра еще не начиналась, хотя Судейкин уже готов был
сорвать бандероль с непочатой колоды. Ни он, ни Яблон-
ский не нуждались в третьем партнере. И вот извольте:
третий объявился. Властно, по-хозяйски. Третий был лиш-
ним.

Георгий Порфирьевич резко забросил ногу на ногу,
стиснул колено руками. Он раскачивал ногу, все крепче
сжимая колено. За дверями осторожно, как принюхиваясь,
похаживал Коко.

Но почему отступить? Разве с появлением третьего
столь уж капитально менялись обстоятельства? Полноте! Ис-
прашивая отставку, Георгий Порфирьевич мыслил скорое

возвращение в министерство. Триумфальное возвращение. Испрашивая отставку, Георгий Порфирьевич мыслил двойное покушение. Как рычаг, как средство триумфального возвращения. Да, да, господа, вы получили бы двойное покушение! Одно фиктивное, другое всамделишное; одно, револьверное, на... инспектора секретной полиции, другое — бомбой, метательным снарядом... О, Плеве попал в точку: на этого старого мерзавца с грязно-серыми, как волчьи хвосты, бакенбардами, с голым, как бабья пятка, подбородком. Плеве попал в точку и перебежал дорогу. Он вторгся в твои планы, Георгий Порфирьевич, властно, по-хозяйски.

Нет, нет, Георгий Порфирьевич не уподоблялся германскому канцлеру Бисмарку. Тот, говорят, подумывает о том, что его династия встанет бок о бок с Гогенцоллернами. Он сам, Судейкин, вот кто мог бы уместиться подле романовского трона.

Несбыточная фантазия? Сбыточная. Кто был Лорис-Меликов, этот диктатор сердца покойного государя-мученика? Генерал-губернатор, и только. Ты, понятно, лишь инспектор. А Лорис был — у-у-у! Дистанция есть. Но ежели глянуть пристально, не столь уж огромная... Бестии-нигилисты правы: всякая тирания пуглива. И вот пассаж: нет подполковника Судейкина — рушится столп отечества, меркнет, гаснет сияние его сиятельства министра Толстого. Естественно, толки: при господине Судейкине стояли у нас тишь да гладь, да Божья благодать. А вот ушел господин Судейкин — и... И воцаряется общий испуг, тени метальщиков бомб поднимаются в рост, воют, как домовые, стучатся в двери. Общий испуг, страх, недоумение, растерянность, трясина... И ты возвращаешься, ты приходишь, потому что тебя приглашают с поясным поклоном, как варяга. Ты являешься. Эдакий озабоченный, эдакий деловитый, нос не задран. Да-да, ты являешься, Георгий Порфирьевич Судейкин. Вот так-то, с-сукины вы все дети. Нишкни! И чтоб ни-ни мне, полное послушание. И тебе главное — поспеть определить лично преданных, чтоб вокруг, впереди, по бокам, с тыла, везде — лично тебе преданные. В одной упряжке. Побегут в одной упряжке. И пусть норовят куснуть друг дружку. Чтоб это один на другого доносил. А ты уж хошь казнишь, хошь милуешь. В одной упряжке, но не спешившие друг с дружкой, не-ет, пусть и середь них трясина общего страха... М-да-с, вот бы как, а? Однако и размечтались вы, Георгий Порфирьевич. Размечтались. А у вас-то в сейчасную минуту козырь из рук выхватили. Козырь ваш отняли, вот что, милый друг.

Он сбросил ногу, уставил глаза в простенок между шкафами. Коко скрипнул дверью, но войти не решился.

Плеве негаданно втесался в игру. Отставка летела к черту. Двойное покушение летело к черту. Еще час назад Георгий Порфирьевич мог подумать: «Заговор это я!» Плеве перебежал дорогу: «Заговор — это мы!» Выпрыгнуть из тележки, отказаться?

Судейкин был, как в западне. Он не знал, на что решиться. Крикнул племяннику:

— Еду! Экипаж!

Инспектор не пользовался казенными выездами: террористы могли выследить. Теперь-то, обзаведясь Яблонским, Георгий Порфирьевич не страшился внезапного нападения, но все ж не пользовался казенными выездами, Коко нанимал для него частные двухместные кареты.

«Еду!» — означало, что помощник остается; «Едем!» — означало, что племянник сопровождает дядюшку. Без Коко дядюшка отправлялся, будучи в дурном расположении духа, а иногда чтобы посадить в карету особо доверенного агента и на ходу, в экипаже, поговорить. Чаще всего Георгий Порфирьевич устраивал такие рандеву с Яблонским, к которому Коко Судовский питал ревнивое чувство.

Георгий Порфирьевич велел ехать в Озерки. Дачные Озерки назвал он бесцельно. Ему было все равно, лишь бы подальше от Пантелеймоновской, Фонтанки, Цепного моста. То была физическая потребность «отстранения».

Полдень огруз духотою. В окно кареты дунуло пылью. Судейкин поморщился, опять подумал о министре. Не о том, как граф, прощаясь с сослуживцами в царских комнатах Николаевского вокзала, вельможно подал руку: «Я и впредь надеюсь на вас». И не о том, что Плеве усматривает в смерти графа благодетельные последствия. Нет, сейчас, в нагретой карете, в этом грузном душном полдне, Георгий Порфирьевич попросту завидовал Дмитрию Андреевичу.

«А хорошо живется тебе, ваше сиятельство, — думал Судейкин, раздвинув колени, отдуваясь и протирая глаза. — Сидишь в любезном Макове, поля да леса. Благодарить! Казна тыщу триста рубликов на охрану швыряет, губернатор из Рязани за семьдесят верст на поклон летит. Ах, черт подери, разлюли-малина...»

Не вонь, духота и пыль, не липкие миазмы распаренного города, не они телесно разбили Судейкина, а разговор с директором департамента. И Георгий Порфирьевич сознавал это, сидя в карете, катившейся уже по Выборгской набережной.

Казалось бы, он замышлял то же, что и г-н Плева. И ничуть не терзался: нравственным, отвлеченным соображениям был он чужд. В Киеве Георгий Порфирьевич, не обинуясь, говаривал осужденным в каторгу: «Я, господа, не идеалист. Будь вы у власти, я б и вам служил преданно». Он не ходил фертом — говорил, что думал. Он считал себя циником. Ну так в чем же дело? Почему нынче после разговора с Плева он подавлен, разбит? Только ли оттого, что «третий партнер» властно вторгся в его планы?

В Озерках он оставил карету, пошел пешком. Буколические картины претили ему: этот жадный шелк зонтов, эти точеные девки в прогулочных, светлой шерсти платьях с нагло отпаченными задами, эти барчуки в коротких штанишках, играющие на лужайке в серсо... Но хотя Озерки раздражили Георгия Порфирьевича, он почему-то вдруг пожалел, что отправил своих в смоленскую деревню, а не нанял дачу в этих самых Озерках.

Парило. Листва была будто литая. И внезапно вся она, всей массой коротко дрогнула. Со стороны Парголова слышался гром. Поднимался ветер, лодочки на пруду затанцевали, как пони. Дачницы с веселым испугом окликнули мальчиков и девочек, все заспешили, но без страха, обрадованно.

Грозы уже случались в то лето, да только грозкие: пострашают и минут. А нынешняя собиралась, как на войну. Лужайки, купальни, дорожки вмиг опустели. Небо снизилось, страшно потемнело, расцветилось вдруг сухим огненным древом, и тогда над Озерками громнуло, как эскадрой.

Георгий Порфирьевич укрылся на застекленной веранде какого-то ресторанчика. Поддернув брюки, сел в плетеное жесткое кресло. Верхние стекла веранды были синими, зелеными, темно-алыми ромбами. Молнии возникали часто, с волосняным кошачьим треском; они казались сквозь эти ромбы расчлененными, странными. Гром катался, как в тоннеле.

Седой официант всмотрелся в широкую, по-кавалерийски крепкую спину. Гость снял цилиндр с низкой тульей, официант увидел массивный, кругло остриженный затылок, ахнул и, прихрамывая, поспешил к столику.

— Ваше благородь, никак вы?

Судейкин обернулся.

— Здравия желаем, ваше благородь! — осклабился официант. — Гляжу, будто б да, а может, думаю, и не оне.

— А-а, пуля-дура, штык-молодец, — ухмыльнулся Георгий Порфирьевич, признавая бывшего жандарма Петруху Суворова. — Какими судьбами?

Этот вот «генералиссимус» служил раньше в киевском жандармском дивизионе. Судейкин с Петрухой попал однажды в переделку, о которой забыть не мог. Брали они революционистов, те отстреливались. Суворову тогда повредили ногу; забыть же не мог Георгий Порфирьевич не выстрелы, а клекочущий крик одного раненого нигилиста: «Ножами их, братцы, ножами!» Не выстрелы бросили Судейкина, тогда капитана, вон из квартиры, полной порохового дыма, а этот клекот: «Ножами их, ножами...»

Бывший жандарм толковал, как его «вывели на вольную», почему очутился он в Питере, из каких таких соображений в официанты определился. Судейкин рассеянно кивал, глядя сквозь цветные стеклышки на ветвистые белые молнии, похожие на рисунки нервов в анатомическом атласе. И ему вспомнилась другая гроза, вечерняя и медленная, над днепровскими кручами, черноокая женщина вспомнилась, единственная, внушившая ему безнадежную любовь.

Георгий Порфирьевич рассеянно о чем-то спросил Суворова и опять покивал, думая совсем не о жандармах, арестованных и стычках. С какой-то усталой определенностью ему сделалось жаль себя; будь с ним та грустная красивая женщина, он бы все иначе устроил.

Ливень пал крупно и звучно, как свинцовая дробь просыпалась. Помедлив, снова крупно и веско ударил по листьям, по стеклам, по дорожке. Потом принялся лить отвесно.

Молнии ширились, гром отдалялся. Был ткацкий шум дождя, плеск, пузыри. Запахло водой, мягкой свежестью, вымытыми листьями. Георгий Порфирьевич, как высвободаясь, повел плечами. Он бы съел сейчас чего-нибудь легонького, рыбного, на молочном пару, выпил бы чего-нибудь французского, со льда. Но бывший жандарм лишь сокрушался; «Не располагаем-с. Извините-с...»

— Э, черт с тобою, — великодушно поступился Георгий Порфирьевич. — Подай-ка мороженого да рюмку коньяку.

Ливень пресекался, точно кран завернули. Солнце брызнуло смело, по-новому. Официант распахнул окна, послышалась флейта коноплянки. Была она не с тенью меланхолической грусти, как всегда в июльские жары, а мажорной, как всегда после грозы.

Эх, не хотелось в Петербург! Сухопарый бледный человек плетет на Пантелеймоновской крепкую паутину. Другой — тщедушный, большеголовый, с беспокойным темным

взглядом — выдает друзей. А он, Судейкин, крадется ночью в смрадные темницы совращать, покупать души.

Карета блестела матово, как паюсная икра; каурые лоснились. То-то бы рысью, «ай, жги, говори...». Георгий Порфирьевич усмехнулся, сам не зная чему.

— Домой, — сказал он кучеру. — Можешь не гнать.

Город пованивал грязным, как в корыте, бельем. Город влажно объял Судейкина, сомкнулся над ним. И, очутившись среди каменных громад, среди движения и людности, он машинально отдался привычным практическим мыслям, которым теперь не мешал недавний разговор с Плеве.

Вечером Георгий Порфирьевич был на Невском, в квартире, хорошо ему знакомой не только потому, что там жил Яблонский, но и по тем альковным утехам, какие Судейкин разрешал себе нередко.

Четверть часа спустя пришел Яблонский. Нездоровое, вялое лицо его отобразило неудовольствие: у Судейкина свой ключ, Судейкин располагаетя запросто, нецеремонность инспектора злила Яблонского.

Они поздоровались. Помолчали. Яблонский ждал, что скажет Судейкин. Тот курил сосредоточенно, не разваливаясь по обыкновению в кресле, что-то в нем чудилось иное, невчерашнее.

Яблонский при встречах с Судейкиным нервно взвинчивался, держался так, словно инспектор глубоко, непоправимо виноват перед ним. Однако сейчас, настороженно взглядывая на этого массивного и вместе ладного подполковника корпуса жандармов, Яблонский вдруг испытал постыдный страх. Ему померещилось, что Судейкин, которого он вовсе не считал психологом, а лишь ловким соглядатаем, этот Судейкин внезапно проник в его, Яблонского, сокровенные помыслы.

Подполье не однажды решало ликвидировать обер-сыщика. Яблонский неизменно и горячо ратовал «за». Его заботила собственная репутация — старый боевой революционер. Но с недавнего времени...

Одесское происшествие, разгром Военной организации, странное исчезновение прапорщика Ювачева, едва появившегося в столице, обрыв связи с каторжанами Петропавловки — все это хоть смутно и робко, но опять и опять наводило на мысль о предательстве в центре.

Сумеречная тень пала на Яблонского. Ночами являлся Горинович. Яблонский наяву не видел Гориновича. Яблонский видел фотографию: не лицо, а сплошная язва, рубцы, незрячие, вытекшие глаза. (Гориновича подозревали в пре-

дательстве подпольного кружка. Мстители настигли его где-то в тупике, на каких-то запасных путях, у пустых товарных вагонов. Когда он упал, на него плеснули соляной кислотой, чтобы полиция не опознала труп. Но то был не труп. Горинович выжил. Выжил и остался слепым уродом.) Фотографию Гориновича инспектор Судейкин любил как бы нечаянно сунуть арестованным революционерам. Страшал: ну хорошо-с, мы тебя, батенька, выпустим, а вослед шпионом ославим, со шпионом-то ваш брат, гляди, чего производит.

Бессонными ночами к Яблонскому словно бы приходил на свидание этот Горинович. Склонялся к подушке, шевелил лоскутьями губ. Яблонский вскакивал, пил водку. Но водка не глушила мерный стук адской машины.

В то время и предложил Судейкин фиктивное покушение на... Судейкина. Разумеется, карьерный расчет: легкое ранение в предплечье — и ах, какой взлет в глазах государя императора! Но Яблонскому в тогдашнем его смятении блеснуло совсем другое: ну-ка террорист возьмет чуть выше предплечья?

Однако тотчас, следом поразили Яблонского два обстоятельства: чудовищная отвага подполковника и такая доверенность к нему, Яблонскому, который наведет террориста, наведет руку с револьвером.

Он не был демоном, этот Яблонский. И то, что блеснуло ему как избавление от морока, от капкана, от Гориновича, отдалилось, померкло, съежилось. Благодарность за доверие? Растроганная благодарность за доверие? Быть может, быть может... Но лишь самую малость, очень слабо, дуновением. Не в убийстве Судейкина таилось спасение. Нет! В сохранении этого чело века, который умеет так рисковать, который наделен такой железной отважностью.

Яблонский принялся готовить фиктивное покушение. Им вновь владела сладострастная двойственность.

Он уже присмотрел местечко — в боковой аллее Румянцевского садика, — но вышла заминка. На террористический акт Яблонский призвал Блинова. Студент, недавно вернувшийся из поездки, ответил отказом. Не убить, а ранить? Яблонский намекнул на какие-то особые планы Исполнительного комитета. Блинов покачал головой: он-де вообще негод для террора. Яблонский похвалил за откровенность, но похвалил так, словно вскользь думал о трусости. Студент вспыхнул, но промолчал. Яблонский, отступая, посоветовал ему покинуть Россию: грозит арест, унтер Провоторов, петропавловский «го-

лугу», не ровен час, выдаст. «Да, но и вас он тоже может выдать, отчего же вы остаетесь?» — сказал Блинов. Эмиграцию не принял, упрек в трусости не состоялся. И вот тогда-то подвернулся москвич, молодой парень, рабочий, налитый гневом, жаждущий мстить за старшего брата, погибшего в тюремной больнице. Этот согласился. Посетовал, правда, что не убьет гниду, а лишь ранит, но что ж, коли так надо...

Парень готов в дело, Яблонский может отыскать его в два счета.

Но Судейкин почему-то медлил. Не просто медлил, а как бы уклонялся. И Яблонский опять подпал под власть своих кошмаров. Слышался стук адской машины, близящей минуту изобличения, ухмылялся урод Горинович... Слишком многих знал и слишком многих предал. А парень-то ждет, парень готов в дело. И если парень поднимет револьвер чуть выше, на несколько дюймов выше...

Судейкин сосредоточенно курил, не разваливаясь в кресле; в нем чудилось новое, не вчерашнее. Яблонский опасно взглядывал на инспектора. Нет, мастодонт не психолог. И все же черт его знает...

— Я был у врача, — сказал Судейкин.

— Что-о? — вскрикнул Яблонский. И понизил голос до шепота: — У какого врача?

— Которые лечат, — серьезно ответил Судейкин.

— М-м, — бессмысленно, но с облегчением промычал Яблонский.

Третьего дня Георгий Порфирьевич наведаясь к доктору медицины; тот служил в Мариинской больнице, практиковал и дома, близ Пантелеймоновской, на Моховой. Судейкин разочаровал доктора ненарушимым, без задоринки здоровьем. Когда же осведомился, что с ним может быть при ранении, доктор глаза вытаращил. Однако скоро оправился и прочел краткую лекцию. Смысл ее был в том, что у людей с подобным телосложением зачастую случается асфиксия, удушье. «Итак, милостивый государь, — строго резюмировал медик, — *exitus letalis*¹ Вполне возможно-с, милостивый государь, вполне». Георгий Порфирьевич не был могоуч в латыни, но доктор сопроводил свое заключение энергическим жестом, не оставлявшим никаких сомнений.

С той минуты инспектор секретной полиции не помышлял о покушении на инспектора секретной полиции. Оставалось пугать начальство отставкой, и это он сделал нынче,

¹ Смертельный исход (латин.).

и это бы он сделал еще и еще, когда бы не внезапное предложение директора департамента.

Но Георгий Порфирьевич не успел рассказать о беседе с Плеве, лишь помянул про доктора, как Яблонский разразился смехом. Так и затрясся, так и завсхлипывал и каблуком об пол поколачивал.

— Чего вас корежит? — хмуро окрысился Судейкин.

Яблонский умолк. Потом медленно, мстительно выговорил:

— Славны бубны за горами. Фиктивного покушения и то боитесь, батенька.

— Боюсь? — светлые брови Судейкина иронически задрожали.

Судейкин не вспыхнул, не обиделся, не рассердился. Он внимательно, будто впервые, всмотрелся в Яблонского. И Яблонский притих. «Дурак, — небрежно подумал инспектор, — какой ты, братец, дурак». Вслух же произнес:

— Слушайте. Есть кусок пожирнее.

2

Сестра Наталья и муж ее Маклецов зазывали в Малороссию, на вишневый хутор. И мама тоже очень звала. Лиза, однако, отговаривалась музыкальными уроками: учеников много, хочется прикопить денег, а уж после... Отговорка, шитая белыми нитками, — летней порою петербуржцев метлой выметает, какие уж там ученики. В городе оставалась Лиза Дегаева ради Коленки Блинова.

Лиза, умница, не досаждала пылкостью. И Блинов, кажется, умел это ценить. Николай Александрович вернулся, они виделись часто. Лиза и похорошела, и пополнила, и расцвела тем цветом удовлетворенной любви, какой ни с чем не спутаешь.

Карауловы, хозяйева общественной читальни, «отъехали» на Псковщину, в летнюю сень родового Успенского, и как-то так, само собою заладились сходки в доме Дегаевой.

Лизино музицирование служило отличным предлогом казовых вечеринок. Брату ее, Сергею Петровичу, удавалось совмещать полезное с приятным — конспиративные обязанности с родственными. На Песках, рядышком, жила Роза Франк, и жениху ее, Якубовичу, не надо было провожать «Сороку» через весь город.

Приходил на Пески и пасмурный Флеров, твердил мрачно: «Вы одобряете убийство шпионов, предателей. А разве фабрикант, который доносит полиции на рабочих, не

предатель? Фабричный террор — в программу, вот что, господа. Или взять, скажем, какого-нибудь губернатора... Ну хоть Гессе. Убить бы тотчас после усмирения крестьянского бунта — разве это не важнее убийства Судейкина? Судейкина мужики знать не знают, а Гессе до седьмого колена запомнят: кровью расписался. Аграрный террор — в программу, вот что, господа».

А Дегаев решительно стоял за убийство инспектора секретной полиции. И многие его поддерживали. Даже те, кто в принципе соглашался с Флеровым. Нет, начинать следовало с этого всепроникающего обер-сыщика. Он первый враг, он важнее прочих, устранив его, партия воспрянет.

Мнение это утвердилось после внезапного провала тайной печати в Рижском переулке. Все было на мази, и десятый номер «Народной воли» явился б манифестом — жива партия, мы живы! Но Судейкин захватил типографию, станок, шрифт — все.

Горше других потерю изживал, казалось, Сергей Петрович. Еще недавно он бодрил товарищей: «Есть порох в пороховницах!» Теперь Дегаева видели угрюмо похужшим. Он сживал в уголках, нахохлившийся, с беспокойным блеском в темно-карих глазах. А то вдруг, как падал, в надрывное веселье, от которого у всех тосковала душа. «Рано, — кричал, — рано петь отходную, гвардия умирает, но не сдастся! Играй полонез, сестра!»

И никому он не выдавал, что на сердце. Не верил Дегаев в этих молодых людей. Думал: не то тесто, из коего Россия выпекает Желябовых. Он слушал их споры, а слышал голоса эпигонов. Ему надоел поэт Якубович — вечные вопросы морали, этики; его раздражала Роза Франк — непоседливая, верткая, и вправду «Сорока», и жених для нее, как украденная сорокой серебряная ложка; не нравился ему Флеров — сумрачный, подозрительный... Кто ж ему тут симпатичен? Разве что Блинов? Усмехнулся: Лизонька замарьяжила кавалера.

Сергей Петрович устал. Он чувствовал: нервный капитал на исходе, разменяна последняя кредитка. И внезапно встряхнулся, когда покушение стало на практическую ногу. Террористический акт был предложен Блинову. Из всей центральной группы Блинов, сдастся, был особенно подвержен влиянию Сергея Петровича. Казалось, послушается с полуслова. Но Блинов не послушался. Это огорчительно удивило Дегаева. Однако вот странность: Сергей Петрович к нему не переменялся.

Случай выручил. (При слове «случай» Дегаев светлел глазами: в Архангельске «случай» означал любовь, дружбу, склонность, Бельш шептала: «Наш случай».) Случай выручил? Пора привыкнуть к неожиданностям, в революционной практике столь они часты, что, право, закономерны. Разрозненные звенья соединяются в цепочку: записка из Трубецкого бастиона, записка от Златопольского; Лиза едет в Москву, опрометчиво сама признала — оставляет записку и свой адрес какой-то суровой старухе; минуло время, Дегаев не вспоминал ни записку Златопольского, ни сестрину оплошность, как вдруг рослый чернявый малый позвонил в дом на Песках.

Сергей Петрович очень скоро обнаружил в Ниле сходство с покойным Тимошей Михайловым. Не внешнее — нравственное. И, наблюдая это сходство с «апостолом питерских рабочих», террористом и пропагатором, казненным на одном эшафоте с Желябовым, Перовской и Кибальчичем, Сергей Петрович испытывал к Сизову почти нежность. Нил будто возвращал Дегаева в невозвратное: к подкопу на Малой Садовой, к опасным и радостным динамитным хлопотам, в те лихорадочные дни, когда мускулы дрожали избытком сил, когда погибель казалась ослепительной вспышкой, исчерпывающей жизнь мгновенно и прекрасно. Дегаев давно понял то, чего не умели и не хотели понять окружавшие его молодёжь люди: невозможность воскрешения былого. И все же Нил Сизов вызывал в нем почти нежность, снисходительную и по-своему благодарную.

Этого-то человека и думал он послать на Судейкина. А парень упрашивал: «Дайте Скандракова». Все зло мира гнездилось для Нила Сизова в начальнике московской охраны. Тут вроде флеровской правоты: «Мужики знать не знают вашего инспектора». Но вот она, нутряная привычка мастеровых к дисциплинарности: «Если нужно, я готов». Одного не брал в толк: «Почему ж только ранить эту главную сволочь?» Как объяснишь? Как, чем?.. Однако теперь не Сизову объяснять надо, а вот кому, здешней публике. И вовсе не о покушении на инспектора секретной полиции...

О господи, русская интеллигентская вечеринка. Точно бы нет на свете ничего, кроме «реакции», «морального долга», «общественных проблем», «страдания народа». «Одна, но пламенная страсть», — усмехнулся Сергей Петрович. Все сместилось, скривилось, сползло. Следовало заговорить об отказе от покушения на Судейкина, следовало заговорить о другом покушении. И не было сил.

Он смотрел из своего уголка, из старого, потертого кресла. Сергей Петрович прежде и не замечал этого кресла, как не замечаешь примелькавшееся с детства. И только потом, уже после одесской тюрьмы, что-то в нем тихонько и грустно дрогнуло при виде ампирной лампы, дагерротипного портрета в овальной раме красного бука и этого кресла, в котором сиживал некогда дедушка, Николай Алексеевич Полевой.

Дед умер в сорок шестом, за восемь лет до рождения Сергея. Умер в пыльной забытости, как умирают литературные парии. Его сочинения тлели в шкафу. Мама, помнится, в годовщины смерти обдувала переплеты многотомных «Истории народа русского» и «Драматических сочинений», до романов руки у нее, кажется, не доходили. А внуки и вовсе не трогали тех книг, как не трогают бумажных цветов на дедовых могилах. Впрочем, Наталья кое-что почитывала. Гм, у сестры всегда свои прихоти. То воображала себя Сарой Бернар и декламировала, декламировала, то увлекалась беллетристикой, переводами из Гёте, признаваясь с улыбкой, что «это у нее в крови». Кто знает, может, оно и так? Когда Сергей Петрович гостил у сестры в Харькове, Наталья пламенела романом о революционере. И, надо признать, в ее замысле есть что-то верно схваченное: француз, якобинец, ярый поборник террора, Жан постепенно замечает себя не деятелем революции, но рабом ее, замечает болезненную двойственность, расщепление души... «Тут что-то есть, — думал Дегаев, сидя в кресле, — есть что-то верное». Ему следовало заговорить об отмене покушения на Судейкина, о покушении на министра, вдохновителя современной реакции. Сергей Петрович уже ловил вопросительные взгляды, но все еще не раскрывал рта — недвижимый, нахохлившийся, с тяжелой головой, с беспокойно поблескивающими глазами. Руки его оглаживали подлокотники кресла, кожа теплая, кожа рук и кожа кресла. Дед, как вспоминала мама, однажды обмолвился: «Мне надо было замолчать в тридцать четвертом». До тридцатых годов к деду сумрачно приглядывался Бенкендорф. И не только шеф жандармов — сам император Николай Павлович... В восемьсот тридцать четвертом правительство прихлопнуло «Московский телеграф». То была катастрофа, и дед, наверное, пережил крушение журнала, как внук крушение былой «Народной воли». Дед отрекся от всего, сотрудничал с Булгариным. Ему стало страшно, деду? Или хотелось мирить непримиримое, реальность с идеалом? Дед умер всеми проклятый.

— Что с тобою, Сережа?

Он услышал запах духов и поморщился. Грязное, пошлое, оскорбительное сестре замечание едва не сорвалось с его губ.

— Что случилось, Сергей Петрович?

— Обстоятельства... — негромко, как бы собираясь с духом, произнес Дегаев. Все притихли, он подождал, пока они приблизятся. — Обстоятельства, господа, переменялись. Я получил известие из Женевы, там находят... это... — он будто позабыл нужное слово. — Не считают важным. Нам предложено... Перед нами, господа, важный выбор: граф Толстой или великий князь Владимир.

После продолжительного молчания раздалось «н-да-с-с», растерянное, но и насмешливое. Глаза Дегаева тревожно метнулись к Флерову.

— Я первый плевал на Судейкина, вы знаете, — проговорил Флеров сухо. — Однако, что ж такое, господа? Мы приняли решение, а где-то за тридевять земель, в каком-нибудь, простите, кафе нам диктуют...

— Позвольте, — холодно оборвал Сергей Петрович, — не кто-то диктует, а Исполнительный комитет.

Лицо Флерова приняло надменное, строптивное выражение.

— Прежний, желябовский комитет сам был в пекле и, стало быть, имел полнейшее право распоряжаться судьбами. — У Флерова вырвался мгновенный, как электрический, жест. — Говорю не к тому, что против акта на Толстого или великого князя.

Якубович вспомнил поэта Языкова:

— «В стране невеликих царей и великих князей...»

Дегаев натянуто усмехнулся.

— В таком случае, господа, сядем и спокойно все обдумаем. Приспело время действий. Не так ли, Петр Филиппович?

Якубович подчеркнуто плавно поворотился на каблуках. Он понял Дегаева: у вас-де очень уж много рассуждений, а что скажете, коли дело? Якубович понял намек, побледнел, но ничего не ответил, лишь наклонил голову. Спокойно обдумать? Флеров замечанием о заграничных указчиках тронул сокрытую струну, а Дегаев раздражился: «Школьничаєте, мол, дорогие» — и подлил масла в огонь.

Да, может, и впрямь ребячество? Ведь чрезвычайных резонов предпочесть Судейкина двум другим «претендентам» не находилось. Его императорское высочество великий князь Владимир, командующий войсками гвардии и Петер-

бургского округа, считался ближайшим наперсником государя, слыл черным гением старшего брата, хотя Гатчина, правду сказать, в гениях такого колера нехватки не испытывала. Что ж до министра Толстого, то репутация их сиятельства и вовсе обсуждению не подлежала.

Спор, однако, варился не о великом князе, не о министре. Впервые ощутилась, как подземный толчок, шаткость власти Исполнительного комитета. Вслух не было сказано: «А не фикция ли он?» Но это подразумевалось. Тихомиров? О да, слышали, знают, уверены — крупная сила. Еще кто? Ошанина? Та, что давно за кордоном? Может быть... В наличии один Сергей Петрович. Исполнительный комитет не мираж ли?

Дегаев почувствовал «подземный толчок». Ему было вот что важно: «Спор во всем, кроме власти Божьей». Он понял свой промах: не стоило задевать самолюбия молодых людей этим раздраженным «школьничаєте».

— Прошу, господа, выслушать, — начал он с оттенком печали. — Я здесь возрастом старший, — он скупно улыбнулся. — Разумеется, не преимущество. Конечно же, но... но и не только арифметика. Да, старше. И потому, между прочим, мне довелось явственнее вашего слышать отголоски нечаевского дела.

Сергей Петрович рассчитал тонко. Лет десять назад подвизался на Москве Нечаев, самозванный представитель несуществующего заграничного центра. При имени Начаева, провозгласившего: «Для революции все средства хороши», — нельзя уж было сдерживать протестующего порыва, а тут-то и крылся расчет Сергея Петровича. И даже Флеров, потирая крупный породистый нос, пробурчал, что никто, дескать, не выводит аналогий.

Но Дегаева уже охлестывало темное чувство самоистязания, которое поселилось в нем после одесского побега и которое доставляло удовольствие, непонятное ему самому. Он продолжал, голос его вздрагивал:

— С той нечаевской поры, господа, отравы недоверия бродит в кровеносных жилах революции. Я, как на духу: ей-ей, хоть и не без труда, хоть и не без глубочайшей обиды, а принял бы сомнения в собственной персоне... Погодите, Блинов. Нынче уж минута такая: до самого дна заглянуть. Отчего бы я это принял? Несчастья последнего времени неминуемо должны связаться со мною. Нет, нет, мы в своей среде, и надобно начистоту. — Он стукнул кулаком. — Честью клянусь, понял бы и принял. А сейчас-то ведь не я, не во мне, тут уж пусть будет как будет. Но я решительно от-

казываюсь понять и принять недоверие к Исполнительному комитету. Да, иных уж нет, а те далече, да, они мало вам известны, все так, так, так! И однако, там... — Сергей Петрович бросил руку в сторону окон, — там наши кормчие, а мы в открытом море, господа, и, как говаривал мой друг моряк Суханов, в открытом море не выбирают кормчих, а подчиняются. Либо в твердых скрепах, либо тонем. Иного быть не может. А теперь... Не могу не вернуться, господа. Несчастья, этот рок, преследующий нас...

Его речь сделалась прерывистой, глаза не бегали, мрачно горели, он весь был возбуждение. Лиза испуганно, как гимназистка при попечителе, входила и выходила, стараясь не греметь посудой.

Сергей Петрович снова, с еще большей силой и определенностью высказался: он готов принять любые обвинения. И умолк. Все были взволнованы, смущены.

Он победил. Ему пожимали руку. И Флеров пожал руку Сергею Петровичу. Помешкав, оглядев товарищей, прибавил неуверенно и словно извиняясь:

— Мне кажется... Письменные сношения — не того... Надо освежить, упрочить связи, ну, сами понимаете. Было б на пользу, если б вы съездили к ним. Ну, туда, в Женеву.

Дегаев пристально взглянул на Флерова. Потом отрешенно задумался. Он слышал, как Якубович, Франк, Блинов вторили: «...Надо... Необходимо...»

3

Мама не пускала в Питер, как маленьким не пускала дальше Тверской-Ямской. Саня плакала, как солдатка. Он сказал: «Не поеду — Митину память предам».

У него был один адрес: Лизаветы Петровны Дегаевой. Нил с вокзала прямиком взял на Пески. Ему удивились, он напомнил о записке. Лизавета Петровна огорошила: «Но, собственно, каковы ваши намерения?» Черт подери, намерения! Не чаи гонять... Вот тот, на девицу Дегаеву похожий, видать, родственник, тот сразу смекнул, дал понять: не промахнулись, Сизов, в самую точку угодили. И деньгами ссудил («Берите! Не христарадные — партийные»), и паспорт добыл, и на квартиру определил. Одно слово: на линию поставил.

Дегаев показал Сизову инспектора. Издали, в каком-то саду, от Невы в двух шагах. Инспектор, не фабричный, не из тех, кто в любви с хозяевами, нет, инспектор секретной полиции. Такого медведя на рогатину поднять бы...

Раньше, еще как Митя жив был, Нилу не терпелось уяснить разнобайку революционеров. Одни за террор, другие от террора, как черти от ладана. Митя этим не огорчался. В самом разноречии, говорил, сила живая, если выделать людей, как болты, околеет род человеческий. Вот тебе и весь сказ. И хотел покойный брат устроить боевую дружину... Потом выдался денек, выскочил Митя из охранного, втроем гуляли за Красными воротами. Ни хрена ты, Нил-дурак, тогда не понял! Отмахивался: ну, грозит жандармская стерва, грозит какой-то пес Скандраков — дескать, слушок пустим, и тебя, Сизов Димитрий, товарищи-то и заподозрят... У Мити душа кровью текла, ему душу крючьями рвали, а ты знай отмахивался: вались-ка, жандарм, к такой-то матери. А Мите позора дожидаться хуже было, чем живьем гореть, кинулся с батькиным ножом... И погиб страшной смертью. А тебе, Нил, отплатить иродам надо. С процентами. Ну а уж после-то, потом, как говорится, видно будет.

Чужой город томил Нила. Проспекты удручали бесконечностью, пустые площади будто плющили его своей огромностью. Сизов мог податься куда угодно. Ему некуда было податься. Дегаев велел терпеть. Сизов терпел.

Зеркальные витрины и каменные львы, чугунные решетки и колонны, все эти бронзовые кивера и венки, конные и «пешие» статуи возмущали его плебейскую натуру. Он чуял в них видимый антураж невидимого. Того, что гнуло хребет. Того, что слышал в скрипучем слове — «государство». Сизов бежал парадного Санкт-Петербурга.

Предместья поразили Нила мерной и гулкой заводской машинной мощью. В знакомой московской фабричности Сизов угадывал теперь нечто стародавнее, раскидистое, почти деревенское. А здесь все было гигантски массивным, и воплощением читанного в книгах — «промышленная Европа» — вставали Путиловский, Берда, Семянниковский.

Он знал из газет: застой, упадок, нет казенных заказов, бедственное положение, рабочих сокращают. И все же чад и запахи предместий бодрили Сизова: «Не пропаду!»

Он спозаранку наблюдал, как мастеровые спешливо, гуськом втягиваются в заводские дворы. Но вот гудок протяжно сипел в третий раз, ворота и калитки захлопывались, и Сизов, нахлобучив картуз, уходил прочь, стуча каблуками.

Дегаев велел терпеть. А терпя, и камень треснет. В трещинку проклевывались мыслишки о Москве. Опять

«гранд-отель» какой-нибудь Никитишны? Э нет, Саня надумает, извернется. Саня вострая, на хитрости бабы повадливый, надумает, не промажет. Ну и в чем уж таком особенном он повинен? Только и делов московским живоглотам, что его ловить.

Сергей Петрович не забыл Сизова.

— Что, брат, тошно?

— Куда-а-а, — вздохнул Нил. — Хоть топись.

— В воде мокрый будешь, — весело ухмыльнулся Дегаев.

Под дощатой пристанью булькало, точно из бутылки. Прогулочные ялики вразной тыкались в привальное бревно.

— Легко, что перышко, довольные останетесь, отвязывая ялик, — посулил сторож.

Длинным багром сильно и плавно послал он шлюпку Неве, как в подарок. Нева приняла, округло развернула, налегла на корму.

Дегаев не уступил весел Сизову. Сергею Петровичу хотелось движения, физических усилий, хорошо ему было с этим чернявым парнем. И Сизову вольготно было с простым, нараспашку человеком. «Свела-таки судьба, — светло подумалось Нилу, — вот она, удача какая». Он догадывался, нет, уверен был: конец маете, баста!

Дегаев работал веслами. Вода и небо раздавались вширь, властно и празднично отодвигая ненужное, муторное. Дул ветер, волна гуляла, шли кучевые облака. У Дегаева то одна, то другая лопасть срывала верхушки волн, веерные брызги летели на Сизова, он встряхивал волосами, Дегаев смеялся.

Они плыли вниз. Нева была мягкой, ласково-матовой, какой бывает летними облачными днями. Отсюда, с середины — и Нил это заметил, — город не казался высокомерным, город будто признавал превосходство реки.

Сергею Петровичу вдруг вообразилось, что города нет, ничего нет в этом летнем дне, приглушенном облаками, есть только лодка да они с Сизовым. И нет ни Лоцманского острова, где, наверное, уже похаживает Блинов, ни динамитной мастерской. Они будут плыть все дальше, в какое-то неведомое море, какими-то майнридовскими героями, и на полуночных биваках согреют их трескучие костры. Не мечтатель, он вдруг размечтался о неведомых землях, о забвении, о тихой усладе математических трудов. Белыйш, его спасительница, тоже плыла в ялике, а Сизов был Пятницей, верным, покладистым Пятницей.

Близился Невский бар — десяток отмелей, острова, та дробная, в протоках, низменная часть суши, минуя которую Нева ложилась мелководьем.

В этом мелководье задремывала речка Екатерингофка, тихо облизывая Лоцманский остров. Годов уж тридцать как поселились на клочке хлипкой земли лоцманы. Домики светлые, изукрашенные морским орнаментом, с беспокойными флюгерками на кровлях. А вокруг слободки все такое же, как и на других островках, — порыжелые рыбацьи сети, белье на пеньковых тросах, как корабельные флаги расцветивания, картофельные гряды, выгоны с худым травостоем.

По берегу Лоцманского острова, укрепленному рядами ослизлых свай, расхаживал Блинов, в сердцах укоряя Дегаева за столь дальнее место свидания. Сдается, Сергей Петрович играет в таинственность. Петербург велик, какая нужда забираться в такую дыру? Какая нужда?.. Надо сказать, после вчерашнего Блинов испытывал к Сергею Петровичу смутное, шаткое, нехорошее чувство.

Накануне Блинов был у Якубовичей. Жили они (матушка, сестры и два брата) в казенной квартире при клинике баронета Виллие: один из братьев служил в клинике ординатором.

Есть редкие дома, где испытываешь чувство признательности за то, что люди умеют так покойно, так хорошо жить под одной крышей, жить в буднях, но не в обыденщине. Тут всегда многое зависит от «женского начала», от равновесия и округленности, какие неприметно, без усилий, могут привнести в дом лишь женщины.

Братья исповедовали то, что вот уж лет двадцать сияло символом веры русским «новым людям»: необходимость общепольного труда, немыслимость существования без любимого дела, тождество работы и наслаждения.

Василий, окончивший медицинскую академию, трудился в клинике с пристальной одержимостью; Петр, окончивший университет, работал над диссертацией о Лермонтове с порывистой разбросанностью. В сущности, медик и филолог шли к одному, но с разных сторон. И это несовпадение отправных пунктов вызывало споры о значимости точного знания и гуманизаризма.

Блинов любил бывать и нередко бывал у Якубовичей. К Петру испытывал он безотчетную привязанность; Блинову нравилось слушать Якубовича, говорить с ним, смотреть на него.

Вчера они говорили много и о многом, долго и откровенно. А теперь, дожидаясь Дегаева на уединенном остро-

вке, Блинов вдруг определил, что вчера они с Якубовичем томительно, с затаенным постоянством кружили, потаптывались около одного страшного вопроса. Да так и не выставили вслух. Но, может, лишь он, Блинов, кружил да потаптывался? А Якубович просто-напросто делился субъективными соображениями, вовсе не задавая страшным вопросом?

Со студенческой скамьи Якубович помогал конспираторам, посещал подпольные сходки. Дегаев, едва познакомившись с ним, предложил редактировать будущую газету. Петр Филиппович попятился: «Помилуйте, я ж к этому не готов!» А вчера сызнава высказал Блинову сокровенное.

«Вы понимаете, Коля, — говорил он, сняв очки и прижмурившись, словно умеряя свет своих прекрасных, искренних глаз, — вы должны понять, Коля. Мне недостает отваги, нравственной выдержки отрешиться ото всего. А настоящий, подлинный революционер должен отрешиться, обязан. Для него одно: революция. А я не умею, не готов, не считаю себя достойным креста. Вы понимаете, верите?»

Якубовичу нельзя было не верить. И все же Блинов знал, что Якубович ошибается, как ошибаются люди бесконечной искренности. Но кто ж посмеет противоречить, когда так ошибаются? Кто посмеет доказывать «недостойному», что он-то как раз и достойный?

Вчера Якубович грустил: расстался с Розой. Она по обыкновению отправилась на лето в Каменец-Подольск. «Не умеет писать письма», — сокрушался Якубович. Но не только грустил — тревожился, он был как бы виноват перед нею.

Лето разлучало. А в другие времена года они были почти не разлучны. Роза уставала за день от лекций, от хождения по больницам, от зубрежки пухлых томов Эйхгорна и Бильрота. Вечерами ей хотелось быть домоседкой. А он водил дружбу с революционерами и литераторами, и ему хотелось, чтоб она была с ним.

Одного не желал — представить невесту Дегаеву. Никаких опасений в соперничестве, упаси Бог. Смешно! Эдакое вовсе на ум не вскакивало. Ну тогда отчего же? Почему?

При первой встрече у общих приятелей Дегаев сильно не понравился Якубовичу. Зыбким наитием он усмотрел в нем что-то ненадежное, что-то... (не сразу отыскалось определение) лакейское. Эта заполошная болтливость, развязность, это скоропалительное приглашение на randevu в каком-то трактире... Нет, Дегаев тогда решительно не понравился Петру Филипповичу.

Но все ж встретились, наедине встретились, и удивительно: антипатия исчезла. Дегаев обращался к нему с неподдельной доверительностью. Лакейской развязности как не было. Сергей Петрович открылся напрямик: член партии «Народная воля», нелегальный. Сказал: «Ваши стихи нужны революции». Не газету предложил — арестную хронику: «Это очень и очень важно, Петр Филиппович. Вы будете составлять, мы постараемся опубликовать. Россия должна знать своих мучеников». Якубович не счел возможным уклониться. Знакомство укоренилось. Они виделись все чаще. В читальне Карауловых, у Лизы Дегаевой. Дружбы не возникало. Однако и неприязни не осталось. Одно осталось — необъяснимое, интуитивное: оберегать Розу, уберечь от этого человека. И вот не уберег, познакомил...

Якубович вчера был грустен: Петербург пуст без Розы, без «Сороки». Он сказал об этом Блинову. И еще он сказал, что квартиру, казенную, братнину, в последние недели осаждали филеры. Старик швейцар шепнул матушке: «Истинный Бог, барыня, Петра Филиппыча высматривают». И точно, Якубович обнаружил слезку. Родные обеспокоились, ему советовали поскорее убраться из Петербурга.

Да он и сам так думал. Его звали Карауловы. Может быть, вдали от столичной беготни, от журфиксов, редакций, литературских сборищ, может, там он приготовится к «приятию креста»?

Много и о многом говорили вчера. Вспомнился Блинову странный провал сношений с Петропавловской крепостью, последнее свидание с прапорщиком Ювачевым. Тот говорил об одесских опасениях, об аресте офицеров в Николаеве и Херсоне, о том, что недавно столкнулся с Дегаевым у Летнего сада и Дегаев страшал петербургским сыском... Ювачев исчез, Ювачев был занесен в «арестную хронику». А хронику так и не довелось напечатать, потому что рухнула типография в Рижском переулке...

Они оба словно топтались около страшного вопроса. И не произнесли вслух. Не потому ли, что перед взором стоял давешний вечер у Лизы, когда Дегаев «понимал и принимал» подозрения на Дегаева?

Суда скользили мимо Лоцманского острова, словно кто-то невидимый тащил их бечевкой. Одни возникали из-за мглистого горизонта, оттуда, где качались, упреждая опасность, вежи с красными и черными голиками; другие медлительно и осторожно высывались из-за Невского бара. Буксиры, клубя дым, влекли барки и полубарки, тихвинки и соймы — разномастные плавучие посудины, на которых

задубелые в непогодах судовщики возили керосин и уголь, дрова и бревна, рожь и овес.

Блинов стоял у кромки тусклых вод. Огромная панорама, полная белесого света, движения, дымов, открывалась ему. И Блинову представилось, что он охватывает взором Россию, родину, не ту, о которой певалось в песнях, «подобных стону», но занятую вседневной заботой, бодрую, нестраждущую, спокойно-деятельную, как эти буксиры и эти барки, и эти пароходы. Блинов не без горечи, с недоумением и обидой на что-то или кого-то сознал вдруг свою непричастность к этим простым и насущным заботам. «Есть горстка беспокойных и мятущихся, — думал Блинов, — поглощенных беготней, динамитом, убийством мундирного ничтожества. Есть горстка, жаждущая все переиначить, переверотить и не ведающая, в сущности, нуждается ль в этом тот, на кого она молится и кому служит, — народ. Вот рядом, вокруг, везде, кипящая и мерная, напряженная и спокойная жизнь, ничего не желающая знать, кроме нынешнего, кроме сегодняшнего. Есть горстка, готовая на эшафот и каторжное кайло, а вокруг, повсюду, везде — бытие. Будничное и все же загадочное».

Ялик ткнулся в ослизлые сваи. Блинов вздрогнул от негромкого оклика. Дегаев, как рекомендуя, указал на Сизова, и Блинов запоминающе поглядел на чернявого парня.

— Прошу жаловать, — весело сказал Дегаев, — надеюсь, поладите. Он слесарь, а у вас, в Горном, учат закладывать шпурь и капсюли с гремучей ртутью. Значит, управитесь. А теперь слушайте...

«Заполошная болтливость, — сварливо подумал Блинов словами Якубовича. — Ну зачем это, что я из Горного?»

4

Как и условились на Лоцманском острове, Нил Сизов обосновался близ Ботанического сада.

Квартирку сняли дешевую, две комнатенки с кухонькой. Очень способно все: окнами и на улицу и во двор — с обеих сторон, значит, ставь, пожалуйста, знаки безопасности; и черный ход имелся, тоже немалое подспорье в случае чего; в третьем, последнем этаже квартиру наняли — стало быть, с чердака можно на крышу соседнего домовладения. Словом, Сергей Петрович выказал завидную конспиративную понаторелость.

Мебель с бору по сосенке хозяин, отставной запьянцовский драгун, уступил, не барышничая. Паспорт в участке

прописали без проволоочки, потому как Нил щедро поднес старшему дворнику.

Нешуточный свой риск Сизов понимал, хоть и не заглядывал в «Свод законов», и опасность кустарной выделки взрывчатых веществ тоже понимал, и страшливость снаряжения метательных снарядов — все понимал, однако попервости владело им отрадное чувство держателя домашнего порядка. Свой угол, сам голова. Хоть тут располагайся, хоть там. И на кухне кухарничай: самоварчик, посуда. Славно!

Недолго смотрел гоголем — вздохнул: эх, Саню б сюда... «Дурак, — обругался вслух, — тоже надумал». А воображение нежило: взошла бы Саня, ахнула, засмеялась, а после, юбку подоткнув, тряпку в руки — мигом чистота да блеск. У, зажили б, наконец, по-доброму. А то ведь что же? То шепчет: «Отец проснется!» То в лесочке прохожий пугнет. А в Москве сунулся было однажды — соседка, стерва, к дверям прилепилась: «Саш, а Саш, выдь на минутку...» Ах, как бы они здесь с Санечкой-то зажили! И сладостно стало Нилу, будто соты зубами примял.

Блинову — если уж по всем правилам — следовало поселиться у Сизова, от мира уйти, как послушник уходит. И Флерову — если по правилам — следовало оставить пропаганду в рабочих кружках. Дегаев, однако, почел возможным («в видах малочисленности группы») замкнуть одного Нила.

Исподволь оборудовал он мастерскую, пол в одной из комнат войлоком устлал, досками прикрыл, чтоб от кислоты, нечаянно пролитой, и следа не оставалось. Склянок, химических снадобий мало-помалу Блинов с Флеровым припасли. Появились и книжицы — научные, цензурой дозволенные; одна называлась: «Динамит. Руководство для работающих динамитом», другая — «Порох, пироксилин и динамит».

Дегаев ради сугубой скрытности навещал мастерскую редко. Приходил как ревизор. К сентябрю, к возвращению Толстого из рязанских палестин, требовалось не меньше трех метательных снарядов.

Однажды Дегаев, не шутя, испугал Сизова: вдруг вошел с военным, с прапорщиком, тот в полной форме, при сабле. Нил глаза вытаращил.

— Принимай, хозяин, работничка! — сказал Дегаев.

Работником оказался Владимир Дегаев: выбрался из Саратова, прикомандировали его к пятой батарее первой гвардейской артиллерийской бригады. А для метательных снарядов лучше пушкаря, кого найдешь?

Нил поначалу дичился прапорщика: офицер, благородие. Но и радовался, дело, стало быть, солидное, крепкое, если уж и господа офицеры в компании.

Что ж до Володи, то было ему и жутковато, и весело. Это уж, извините, не книжки солдатам почитать, не разговоры у вдовы разговаривать. Не все, правда, отчетливым представлялось. Да, написал рапорт. Да, бригадный, тот, саратовский, умница, поддержал. Но генерал тоже немало подивился удовлетворению ходатайства: из саратовского захолустья прыгнуть в столичный гарнизон! А брат Сергей загадочно улыбался: «Рука есть, Вольдемарус, большие связи!»

Прапорщик особенно и не допытывался. Он вновь был в Петербурге! И хорошо, отлично, нечего делать в Саратове, совсем притих Саратов. Даже письмо «От мертвых к живым», привезенное Блиновым, и то не напечатали, а лишь переписали от руки в нескольких экземплярах. А тут, в Питере, тут всерьез заворачивают, тут динамитная мастерская, как, бывало, у покойного Кибальчича.

Прапорщик взялся рьяно, ничего не гнушаясь, и у него, как у всех, голову ломило от желтых ядовитых паров. Динамит на дому производить жутко и весело.

Лизу он почти не видел. Служба брала много времени, а свободный час — лети к Ботаническому. Ну не беда, Блинов зато ее видит, Блинов ей важнее. С Блиновым Володя встретился как со старым знакомым. И был ему благодарен: наверное, именно Блинов расстарался перед Сергеем, чтобы тот вызволил брата из саратовской заводи.

С Лизой встречался Володя редко, с Сергеем — чаще. Но потом брат исчез. То есть и не исчез, но уехал, и прапорщик издали провожал брата взглядом, когда тот, в атласном шапокляке, выбрасывая щегольскую трость с крючком в виде дамской ножки, шел людным, говорливым перроном Варшавского вокзала. Поезд двинулся, в окне мелькнул Сергей. Лицо его казалось растерянным, словно в последнюю минуту каялся он в своем отъезде из Петербурга, и Володю как бы коснулось холодное, скользкое, неприятное.

Взрывчатые вещества — в сундуке. Как годы назад в сундуке придворного краснодеревца Степана Халтурина. И уже части метательного снаряда в медленных угрюмых отсветах. Как годы назад у главного техника «Народной воли» Кибальчича. А его сиятельство граф Толстой, министр, словно пришпоривая события, изволил раньше обычного воротиться из рязанского имения.

Конечно, в отсутствие Сергея, как думал Володя Дегаев, террористический акт огромного, всероссийского значения свершиться не может. Но чего ж мешкать снаряжением снарядов? Ведь Сергея не будет недели две-три, не долее. Отчего заминка? Володя решительно не понимал, что такое происходит в динамитной мастерской. Он видел — работа увяла. А Сизов отмалчивался или валял дурака. Флеров как в воду канул. Но Блинова он знал, где найти. И Володя бросился на Пески, к Лизе.

Он увидел Лизу за фортепьяно. Лиза исполняла что-то бурное, как морской прибой, сложное, восклицающее, мятущееся. Блинов слушал и качал головой: «Твой Вагнер, может, и великий артист, но, ей-богу, страшен».

Володя увлек Блинова в угол, зашептал на ухо. Блинов, отстраняясь, стал курить. Он нарочито курил, хмыкал. Потом отвечал, что на днях будет у Сизова и все узнает...

И точно, Блинов поехал к Сизову. Однако не затем, чтобы торопить, как просил Дегаев-младший, с изготовлением бомб, а затем, чтобы еще и еще отговаривать Нила и Флерова от «безумного предприятия, носящего партизанский характер».

Но Сизов с Флеровым стояли на своем: метательные снаряды — долгая песня. Довольно проволочек! Он, Флеров, против убийства сановников. Он за фабричный и аграрный террор, за пропаганду среди рабочих. Но это потом, после, а теперь они с Нилом сделают то, что сделают. Сизов горел: довольно проволочек. Есть линия, сказал Блинов, надо выдерживать линию. Флеров сардонически усмехался: линии нет, есть зигзаги. Он не желает считаться не только с Дегаевым, но и с теми, кто «делает революцию в швейцарских шале». И фыркнул: «Уважение к знамени не всегда уважение к знаменосцу».

Блинов, помолчав, спросил: «Когда же?» Флеров ответил: «Прием у него по четвергам».

5

Сергей Петрович ехал за границу через Вержболово и, как все русские, даже чиновные, волновался и егозил, покамест пограничные жандармы вершили обыкновенные, им, жандармам, принадлежавшие формальности. Потом, уже за кордоном, Дегаев, опять-таки как все русские, внезапно почувствовал удивительную легкость, словно бы перемену воздуха.

В Европу Сергей Петрович ехал впервые. Ему хотелось восхищаться пейзажиками, городками, станциями. Он и восхищался. Но, пожалуй, несколько насильственно. Вагоны и вокзалы оказались заплеванными, грязными, неудобными; ночью нецеремонно будили, в купе напихивались шумливые попутчики; к тому же еще и жарко было, душно.

Приближаясь к Швейцарии, он мрачнел. Предвестье беды касалось щек. Дегаев хотел вспомнить Тихомирова. Странно: они были давно знакомы, но теперь Сергей Петрович никак не мог вообразить лицо Тихомирова. Потом подумал: Тихомиров похож на Достоевского. Похож... Однако увидел Дегаев не живого Тихомирова, а синеву запавшего, как в ожидании пули, виска. В тесной сумрачной комнате пришаркивали подошвы, шелестело: «Тише... тише...» Во гробе на столе лежал Достоевский. Кажется, там же, на Кузнечной, Сергей Петрович поразился внешним сходством Тихомирова с Достоевским... В Харькове, незадолго до ее ареста, Верочка Фигнер много грустила о Тихомирове: устал, изнервничался, всюду шпионы мерещатся — вот и уехал, эмигрировал. Дегаев так и подумал: «Верочка». Ласково подумал и растерянно усмехнулся.

Вагончик потряхивало. Ночь уж была. Невидимый паровозик по-детски гукал, будто играл «в поезд». Дегаев задремал.

Достоевский, подняв воротник, переминался на уличном холоде. Выплыла гробовая крышка. Запели «Святый Боже...», хорошо, стройно запели. Тихомирова вынесли в гробу, сеялся снег, и сквозь этот февральский снег летящей походкой, в шубке, прижимая муфту к груди, скользила Верочка. Туда, все ближе к Екатерининскому скверу. «Постой, — подумал Дегаев, вздрагивая и просыпаясь, — Екатерининский сквер — это ж потом было, это два года спустя».

Поезд остановился. За темной теплыню Боденского озера лежала гористая страна — старинная поставщица храбрых наемников и надежное прибежище тех, кто в ссоре с «родным» правительством. Поезд остановился. Ночью поезда в Швейцарии спят, как люди. И пароходы тоже спят. Швейцария живет мерно, как ее невшательские часы.

Тихомирову нравился здешний уклад. Он уже отвык от «нигилистячей» привычки бдеть до петухов. Он хотел жить, как швейцарец. Он считал себя «уволненным от революции», на покое, как ветеран. Катя вела дом, небогатый, скудный, но все ж надежный дом, растила первенца Са-

шеньку, Тихомиров писал для журналов. Шелгунов и Михайловский — несменяемые стражи, журнальные воины-богатыри — нет, не позабыли они Льва Тихомирова.

Печатать будут. Конечно, псевдоним, но будут. Да и невелик риск, если псевдоним откроют: ведь еще не существует прямого запрета печатать в России эмигрантов из России. Помнится, Шелгунов смеялся, пересказывая резюме шефа жандармов по поводу публикаций эмигранта, беглеца Лаврова: «Эх-хе-хе, господь с ним совсем! Пусть уж лучше пишет в наших подцензурных изданиях, нежели будет писать свои глупости для зарубежных». Вдуматься, не столь уж и умно решил шеф жандармов.

Н-да, Шелгунов, Михайловский... Они оба были в Университетской церкви, когда нелегал Тихомиров венчался с Катериной Сергеевой. Катя — подлинное счастье, в ней воплощена скромность, лучшая краса женщины. А какое инстинктивное понимание душевных тонкостей! Разве сравнишь с беззаботной Розалией Боград, кичащейся своим Жоржем Плехановым? Или с этой неряхой Засулич, хоть душа-то у нее и алмазная...

Да, поначалу удавалось хорониться в затишье, зализывать раны, размышлять, чураясь проклятой политики. Он мало, неохотно якшался с эмигрантской публикой. Все они, «тутошние», смахивали на потерпевших кораблекрушение. И этот наивный добряк Йохельсон, и обнищавший Добровольский, и Эльпидин, помешанный на шпионах, и спившийся с круга бывший штаб-офицер Соколов, автор книжки «Отщепенцы»... Ну а Плеханов? Ищет новые пути к революции. Думает пролезть в нее сквозь игольное ушко социальной демократии. Кажется, склоняется к марксистам. Этим можно позавидовать: уверены, что нашли золотой ключик к законам общественной жизни. Производственные отношения — во главу угла, и баста, ларчик открылся. Положим, экономическая теория многое, очень многое дала науке. И Маркс, несомненно, великий ученый. Но потом-то приходят ученики, а ученики лишь славят учителя и водворяют косность мысли. Разумеется, производство, распределение благ — важный фактор. Однако он, Тихомиров, не может согласиться, что это единственный фактор общественной жизни. Общество состоит из личностей. И стало быть, законы социологии основаны на тех законах, которыми управляется личность. А тут-то и беда: эти последние не ясны, не разработаны. Пока неведомы глубины духа, не можно отыскать и основной камень социологии. И потом: не одними лишь экономическими побуждениями обусловле-

ны поступки людей, примеры найти просто, а посему извини-ка, Жорж, не с того конца принимаешься...

У Плеханова хватало такта не спорить о «партийных дрязгах». Отношения держались, что называется, на личной почве, на давнем приятельстве. Тихомиров бывал у Плехановых. Посмеивался: Жорж со своей Розалией живет, как и в Питере, на «русский авось», разом густо, разом пусто. И ругает Швейцарию: мещанский, филистерский рай.

На первых порах обходился без политики. Увы, прошлое цеплялось письмами Фигнер, письмами из России, приезжими из России. Там, в отечестве, никак не принимали Тихомирова за человека, вышедшего на покой. Сознать это было лестно. Но он предпочел бы забвение. Незадолго до эмиграции ему полюбились кладбища, он уединялся среди крестов и могильных плит, хорошо было под сенью кладбищенских берез, его умиляли медленные процессии, погребальное пение.

Да, он предпочел бы покой. Пусть бы о нем забыли там, в отечестве, дома. Но прошлое, увы, не отпускало. Вот оно опять, это прошлое. Нынче в облике барышни: приехала из Одессы, разумеется, «в революции», конечно, «масса вопросов».

Было уже поздно. В кафе официанты играли в домино, пожилая фрау в коленкоровом переднике мела полы. Тихомиров, подперев щеку, слушал барышню. Его серые сметливые, беспокойные глаза выражали грустную рассеянность. Постепенно, однако, он настораживался, все плотнее прижимая ладонь к щеке.

— Такой восторг, Лев Александрыч, такой восторг! Мы смеялись, плакали, пели. Снова и опять перебирали: как он всыпал табак в глаза жандармам, как ночевал у Софьи Григорьевны. Вы ведь знаете, слышали? Да, да, у нашей чудной Софьи Григорьевны Рубинштейн. Нам было весело, а на другой день у меня с обыском, арестовали, но обошлось пустяком — вскоре выпустили. Мы свое продолжали. У меня явка была на Ришельевской. И вот теперь... Теперь, Лев Александрыч, я вас прошу... Вы соберите внимание, потому что... Ну, не буду, вы сами. Понимаете ль, в мае... Нет, в июне, в самом начале июня отец моей подруги, она наша, в нашем кружке, вот отец ее был, оказывается, на каком-то ужине, и там, в том доме, жандармский полковник тоже. Полковник этот выпил да и открылся: побег Дегаева подстроен. Лев Александрыч, вы... Нет, нет, слушайте! Мы так уважали Дегаева, что тотчас и подумали:

заведомая провокация, полицейский фортель. А в июле приезжает из Киева товарищ... Бычкова не знали? Киевские его хорошо знают, да и у нас, в Одессе, тоже. Бычков вот и объявил: арест Веры Николаевны...

Тихомиров чувствовал ледяную немоту ладони. Не положил, а словно бы отложил ладонь на стол, как чужую, с минуту смотрел на нее, и барышня смотрела.

— Вы... вы сознаете, что говорите? — Голос Тихомирова будто истончился.

— Лучше ужасная правда, чем...

— Сознаете?! — повторил он мученически.

— Вполне, Лев Александрыч. Где Дегаев, там провалы.

Факты, о которых...

Тихомиров притопнул ногой, сцепил руки замком, затряс руками.

— Я годами знал этого человека! Годами! Верный товарищ! Как вы смеете?! Как смеете?!

Она молчала. Но он слышал в ее молчании не растерянность, а непреклонность.

И Тихомиров уронил руки.

Домой, в Морнэ, что в пятнадцати верстах от Женевы, привез Тихомирова последний дилижанс. С окружающих гор плыла прохлада. Рдел запах галльских роз. В курортном зале духовой оркестр играл вальс из «Фрейшютца». Полицейский в кепи, с тростью, символом нестрашной власти, кивнул Тихомирову.

Катя хорошо знала мужа. Быстро взглянув на Левушку, она матерински притянула его к своей полной груди, спросила ласково, что приключилось. Но он отстранился, хрипло рассмеялся.

— Дурацкая мания! Вечная русская мания шпионства. Потом, Катенька, после, я разбит.

Она принесла стакан козьего молока. Вечерами Левушка пил козье молоко.

— Завтра опять гость, — вздохнула Катя.

— Ну кто еще? — подсадовал Тихомиров, старательно опоражнивая стакан.

6

Дегаев с завистью приглядывался к пансионам, дачам, верандам, черепичным кровлям. Дегаеву вспомнились почему-то деревянные резные игрушки, деревянный, пестро раскрашенный домик, купленный отцом на Сухаревке. И как они с Володей устраивали котенка на житье в том

домике, и как с котенком стряслась какая-то напасть, ослеп котенок, что ли, а может, еще что. Дегаев думал, что вот бы и ему со своим Бельшом, Любинькой своей, прикорнуть в каком-нибудь здешнем шале, и все, что осталось в России, сама Россия представилась Дегаеву косматым, сумрачным, тоскливым.

Он уже нашел дачу Тихомировых, уже видел балкон, черепичную крышу, сад, уже стоял у высокой, выше его роста, калитки, над медной ручкой которой изящным полукружьем значилось по-французски: «Прошу повернуть», и, уже поворачивая эту ручку, вдруг, как вчера в купе, ощутил близость опасности, страх пред чем-то сокрушительным. Он помешкал, хмурясь и раздумывая, потом отворил калитку и пошел через сад к крыльцу.

Тихомиров обнял Дегаева, они трижды громко чмокнулись. Катерина Дмитриевна, улыбаясь, вывела малыша, Дегаев присел на корточки, посюсюкал и пощелкал пальцами. Сергея Петровича потащили к столу. Сергей Петрович заверял, что плотно завтракал в Женеве, его не слушали. Словом, все с первой минуты определилось хорошей домашностью. Да и как иначе, если Лев Александрович остался таким, каким был в России: милым, без тени генеральства.

И покурили они с Тихомировым, неспешно, мирно покурили, словно бы отодвигая серьезный разговор, но не из какой-то опаски иль скованности, а потому, что все еще радовались нежданному, вовсе и не предполагавшемуся за годя дружелюбию своей встречи.

В двух шагах от шале начинался лес. Тоже очень аккуратный, как все вокруг, без валежин, с дорожками, похожими на парковые аллеи. Прогулочный, «гигиенический» лес, каковой и должен соседствовать с «климатическими лечебными станциями» вроде Морнэ.

Дегаев оставил щегольскую трость, пиджак сменил на тихомировскую полотняную куртку, и они посмеялись, что куртка пришлось совершенно впору.

В лесу, на дорожке, среди рваных солнечных бликов опять холодно скользнуло по душе Сергея Петровича хмурое видение отечественного хаоса, и опять с завистью подумалось ему о приветных уголках, защищенных от северных ветров.

Тихомиров шел рядом, брал Дегаева под руку, выпрашивал о России, о партийных делах, о том, «кто чем дышит», и надо было отвечать, рассказывать, и отвечать подробно, ибо то, что ему, Дегаеву, казалось мелочью, видимо, очень интересовало Льва Александровича.

Дегаев удивлялся памятьливости своего спутника, однако в беседе их все время что-то беспокоило Сергея Петровича, тревожило и беспокоило, и он думал, что Тихомиров нарочито не задевает чего-то очень важного, но что, что же именно, Дегаев никак уловить не мог.

Они поднялись на какую-то вершину, и впереди внизу синим огнем зажглось озеро. И в ту же минуту, при виде этой горящей синевы, Дегаев понял, что Тихомиров ни звука не обронил о его, дегаевском, побеге из тюрьмы.

— «А море Черное шумит, не умолкая», — протяжно и любовно сказал Тихомиров, глядя на озерную синь в белых пятнах парусов. — А виноградники-то, виноградники. — Он вздохнул. — Вы Черное выдывали?

Дегаев склонился на него быстро, не смигивая, но ответил спокойно, может, лишь напряженной, чем следовало:

— Я бывал в Одессе. И в Николаеве бывал, в Херсоне.

Теперь уже не миновать вопроса об одесском побеге. И Дегаев ждал, старательно отрывая косящий глаз от этого профиля с бледнозапавшим, как у Достоевского, виском.

— Ну, Одесса, Николаев, — отмахнулся Тихомиров со снисходительностью местного патриота. — То ли дело нашенские края.

— А вы откуда родом, Лев Александрович? — освобожденно осведомился Дегаев.

— Тульские мы. Русской крови, совершенно чистой. — Он забросил руки за спину, обернулся к Дегаеву. — А вырос я у Черного моря: Новороссийск, Керчь. В Керчи в гимназии учился, в Новороссийск на каникулы езживал. Я и теперь сердцем люблю физиономию Новороссийска: очертания берегов, обрывы, оттенки бухты... — Он оживился, но не так, как выпрашивая о России, по-иному, легко и радостно, глаза его увлажнились. — Из Керчи приезжал пароходом, пароход встанет на рейде, пассажиров заберут лодки. А гребцы на шлюпках почти все знакомые: греки, турки, наши. Едешь. На берегу уж ухмыляется хромоногий Трофим, денщик, отец у меня военным доктором служил.

— О-о, мой тоже, — заметил Дегаев, словно бы отмечая родственность.

Виноградники наливались солнцем. Бесшумные паруса вторили бесшумному движенью облаков. Тихомиров следил за ними. Паруса таяли, следом таяли черноморские видения, оставляя Тихомирова один на один с ощутимой, как запах, настороженностью Дегаева. И, будто прячась от чего-то, словно бы защищаясь, Тихомиров не отводил глаз от озера, воскрешая давнее, новороссийское: как рыбалят гре-

ки, без наживки рыбалют; как в долинах фазаны квоччут, сыто, глухо квоччут, а напоследок нахально и громко; как за полночь плывет шлюпка с двумя гимназистиками, а вокруг открытое море, угрюмое море.

— Мой отец умер, — вдруг, как бы безо всякой связи сказал Дегаев.

— Мой тоже, — отозвался Тихомиров.

Они помолчали. Потом пошли к дому. Озеро мелькнуло раз и другой, как синими взмахами, и скрылось. В лесу, где тени и солнце, Тихомиров опять был деловито-любопытен, его опять и в подробностях занимали «партионные дела».

Дегаев отвечал охотно, многословно, отдаваясь блаженному ощущению: там, на горе, пронеслось, не задев, нечто зловещее. Прошелестело мрачно, да и мимо, мимо, мимо.

Отвечая Тихомирову, Сергей Петрович вдруг испуганно уловил в расспросах Льва Александровича точно бы повторы, спирали, круженье и, уловив, сам же и поймал в своих объяснениях что-то путаное, какое-то смещение, какую-то расплывчатость граней. Ему стало не по себе, надо было уйти от расспросов, увернуться. Желание уйти, увернуться было властным, как инстинкт самосохранения, и, повинуясь ему, Дегаев перебил собеседника.

— Мне, Лев Александрович, — сказал Дегаев, — наказ в Питере дали... Вес ваш велик, просили, чтоб до конца, откровенно вы нам все, извините, выложили. Армии у нас нет. Есть плохонькие новобранцы. Хотелось бы мне не так, хотелось бы ошибаться. Но, кажется... — Он пожал плечами. — И все ж, я что? Я в суете подполья, вы ж знаете какво... А вы с вашим умением мыслить широко, с вашим опытом, вы, думаю, всю панораму, как на ладони...

Дегаев возгорался, жестикулировал, торопился. Но в самой его торопливой сбивчивости крылось что-то двойственное, неверное, сбивчивое. И Тихомиров как бы ощупью, словно бы в комнате перед рассветом, без свечей, все это ощущал.

Дегаев возбуждался все больше. И тут Тихомирова осенило: да ведь он уже слыхивал этот стр-р-растный полушепот: «Я дам тебе все, все земное», — и на коленях, с надрывом: «Люби меня...» Господи, он уже слышал такое. Маклецова, Наталья Маклецова, сестрица Дегаева. Ох, как она докучала гостям фальшью своих декламаций... Лицедеи. Фамильная черта, что ли? Впрочем, нет, здесь разное, хоть и родственное, но разное... Тихомиров искоса глянул на Дегаева. Тот был объят вдохновением. Опять и опять повторял о высоких достоинствах Льва Александровича, ко-

того в России, в подполье, слушаются, к которому там прислушиваются, с которым там считаются, потому что из старой гвардии...

Тихомиров уже и не отвечал. Он шел оглушенный, растерянный. Ему одного хотелось: пусть этот Сергей Петрович говорит, говорит без умолку. Пусть сыплет словами, сыплет и сыплет.

А Дегаев, точно заподозрив неладное, умолк. Но умолк он как раз в ту минуту, когда Тихомиров уже овладел собою, нашелся, уже знал, как ему поступить.

— Согласен, — медленно произнес Тихомиров. — Совершенно с вами согласен. Армии нет, плохонькие новобранцы. — Он вздохнул. — Желаете откровенности? Извольте. Я слишком ценю вас, чтоб отделаться фразой. Извольте: твердо считаю — положение безнадежно. Но вот в чем штука: правительство об этом не ведает, тень Исполнительного комитета под окнами гатчинского дворца. И последняя наша обязанность — использовать последний капитал. Капитал, на ми нажитый. Нами, не дядюшкой.

— То есть?

Тихомиров круто повернулся к Дегаеву. Глаза их встретились.

— А вот что, дорогой мой Сергей Петрович: не выгоднее ли столкнуться с правительством на каком-либо компромиссе?

— Вы... вы так... полагаете? — запинаясь и бледнея, проговорил Дегаев.

Он опешил. Но тут же, на миг, узким пламенем провалось ликование. То было ликование соумышленника.

Ее пригласили утренней телеграммой, и она поспешила в Морнэ, — черноволосая барышня, та самая, что накануне была с Тихомировым в опустевшем кафе.

Тихомиров стоял у стола. На диване сидел незнакомец. Тихомиров, здороваясь, задержал ее руку, повел подбородком в сторону знакомого:

— Дегаев.

Дегаев встал и поклонился. Тихомиров подал гостю стул. Дегаев не знал эту женщину, удивился, что Тихомиров не назвал ее фамилии.

Тихомиров не мешкал:

— Прошу вас, расскажите, в чем обвиняют и подозревают Дегаева.

У нее застучало в висках, она бурно покраснела. Дегаев смотрел на нее. У нее мелькнуло нелепо: «Он плешивый...» Дегаев смотрел на нее. Она почувствовала, что колеблется. Но он улыбнулся странной улыбкой, молвил:

— Нуте-с, нуте-с...

Улыбка и это «нуте-с» решили все.

— Мы знаем: вы бежали с помощью полиции. Ваш побег фикция. Вера Николаевна выдана вами. Меркулова выдана для прикрытия. Мы знаем, типография выдана вами. Офицеры арестом обязаны вам. И не только на юге.

Дегаев вскочил.

— Ложь! Ложь от начала до конца!

— От начала и до конца? — оглушительно тихо спросил Тихомиров.

— Болтовня. Предатель — среди офицеров.

— Не смейте! — крикнула обвинительница.

Наступило молчание. Никто не шевелился, не переменил позы. Наконец женщина, не простившись, вышла.

Дегаев опустился на диван, а Тихомиров вдруг двинулся к Дегаеву странным шагом — мелким, вкрадчивым и вместе грозным. И так же вкрадчиво, негромко, грозно произнес:

— Значит, компромисс? Компромисс с правительством?

— О чем это вы? — словно бы в подушку произнес Дегаев. — Право, не понимаю...

Тихомиров не склонился, а навис над ним, обмякшим на диване. Навис и раздельно, по складам, ударяя, как ударяют железный костыль, вогнал одно лишь слово, расколотившее душу Дегаева:

— По-ни-ма-ете!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Европеец в отличие от россиянина не стоит у гроба три дня и три ночи, не прикладывается к хладному челу последним целованием и не обряжает ужасные черты смерти благолепным покровом. Европеец, шельма, стремится поскорее очистить жилище от покойника.

Департамент полиции хоронил «своих» мертвецов по-европейски. Труп выносили к тюремным воротам, кулем заваливали на телегу, прикрыв рогожами, мчали в глухой конец города. Ни директор департамента фон Плеве, ни

инспектор подполковник Судейкин, никто из весомых чинов не «входил в рассмотрение подобных вопросов».

Однако вот уже несколько дней как министр внутренних дел и министр юстиции, директор полиции и градоначальник, а за ними, понятно, длинная вереница прочих санкт-петербургских деятелей были крайне озабочены похоронами человека, скончавшегося во Франции.

Пожалуй, лишь Судейкин оставался равнодушен к предстоящей церемонии.

— Ну и пусть их, — говаривал Георгий Порфирьевич, — пусть несут венки, произносят речи и все такое прочее. От нас не убудет. Да и случай хорош: посмотрим, кто, что.

Плеве качал головой: любезному Георгию Порфирьевичу один ракурс — польза розыска. Тут он дока, виртуоз. Но где ж инспектору понять: есть нечто более тонкое и деликатное, есть то, что он, Плеве, именует «неуловимо вредным направлением». Оное присуще изящной словесности. Писатель, если только он писатель, непременно враждебен (иногда неосознанно враждебен) власти. Так во всяком случае полагает фон Плеве, глава политической полиции. О, на Пегасе ковыляют и приверженцы существующего порядка. Однако приходится согласиться, что в правительственном стане нет подлинно художественных натур. Так во всяком случае полагает г-н Плеве, глава политической полиции.

Вячеслав Константинович не был родней гоголевскому городничему: «Щелкоперы проклятые!» Отнюдь. Подобно многим сановникам, Вячеслав Константинович читал беллетристику из разряда не одобренной цензурой: все запрещенное, как и официально охаянное, считалось необходимым для прочтения.

Можно было в гостиных возмущаться «отравителем» Щедриным, но в таком возмущении слышался затаенный восторг: «Секи нас! Секи!» Можно было поддакивать графу Дмитрию Андреевичу: «Отечественные записки» положительно невыносимы, их следует воспретить» — и нетерпеливо дожидаться очередного номера «Отечественных записок».

Что ж до старого графа Дмитрия Андреевича, то он оставался тверд во вседневной борьбе с «неуловимо вредным направлением российской словесности».

Находились люди, чуждые «бессодержательного» либерализма, умные люди, чтимые графом Толстым, но они рассуждали так:

— Прежде чем карать за мысль, надо дать ее договорить. Государь получит возможность выслушать то, что нынче слышат все, кроме него. Надобно, наконец, обсуживать дела открыто, а не шептаньем с уха на ухо. Болезнь у нас ложная. Не лечить же ее ветеринарно, не спрашивая больного, что и где у него болит? Нет, мысль надо дать договаривать, а не карать за нее. У нас же над мыслью — департамент. Коли так, все зависит от взгляда начальствующего лица. А взгляд сей обусловлен привычкой. Что привычно считать дозволенным, то и дозволено.

Граф Дмитрий Андреевич не принимал подобных рассуждений. Не причудам, не вкусам публики призвана удовлетворять пресса, а намерениям правительства. Он смеялся: «Эх, господа, пусть крайние Бога молят, что живут под цензурой. А то ведь что ж и сказать-то было бы, кроме общих мест, вычитанных из заграничных тиснений?»

Обнаруживая «необщее», обнаруживая, что и русскому литератору есть о чем сказать, граф Дмитрий Андреевич недоумевал и гневался. Как нередко случается с людьми власти, он упрямо твердил: не нашей действительностью рождены и вскормлены все эти нигилисты и отрицатели, но пущены в оборот злокозненными борзописцами. А с каким же намерением, позвольте узнать? На соблазн и погибель молодого поколения... Да ведь не новость: проявись радикализм в обществе и в литературе одновременно, сейчас же существование его в обществе объясняют ядовитой проповедью литературы. Намедни вот передали министру, как его старый однокашник Салтыков сетует: «У нас это всегда — первым делом на литературу велят!» — граф ухмылки не удержал, однако остался на прежней позиции.

Забота о спасении молодого поколения обременяет людей немолодых. Граф Дмитрий Андреевич искренно причислял себя к «спасателям». Он старательно преследовал «книжников». Одни литераторы бежали в бесплодность чужих краев, другие угрюмо никли в ссылке, третьи, затравленные цензурой, помипали от белой горячки. Последних граф Дмитрий Андреевич будто б даже и жалел: «Никудышные. Вот она, их нравственность!»

Повременная печать тоже занимала графа Дмитрия Андреевича. У него вызрел проект устройства газет и журналов. Прекрасный проект: обратить прессу в подобие правительственного департамента, а журналистов — в департаментских чиновников, разве что без форменного сюртука. Но то был, к сожалению, дальний идеал. И скрепя сердце министр пробавлялся некоторыми «совершенствова-

ниями». Он сократил число вопросов, дозволенных газетной страницей; делил редакторов на любимчиков и постылых; наставлял главное управление по делам печати, чтоб чаще крушило указаниями, напоминаниями, упреждениями.

В середине сентября министр потребовал очередного запретительного циркуляра. Циркуляр этот, меченный порядковым номером, настрого заказывал распространяться о полицейских мерах, которые последуют по случаю погребения писателя, умершего близ Парижа.

Между тем в кабинете директора полиции, голым и чистом, как операционная, в кабинете Вячеслава Константиновича Плеве, происходили совещания, имеющие целью выработку помянутых распоряжений.

И сам фон Плеве и его сослуживцы смолоду восхищались творениями писателя, тело которого везли теперь в Россию, чтобы предать глинистой земле Литераторских мостков. Вячеслав Константинович, помощники его и советники — все, кто серьезно и вдумчиво, как штабные в канун сражения, составляли полицейскую диспозицию и указания распорядителям похорон, — все эти министерские чиновники были бы удивлены и обижены, назови их кто-нибудь варварами. Нет, они лишь озабочивались соблюдением порядка. Они не могут допустить, чтобы похороны дали повод для возмутительных речей. Да ведь ежели вникнуть, то при жизни Ивана Сергеевича крайняя публика неоднократно его ругала, а нынче, видите ли, там, в Париже, печатно заявляют, что он помогал революции и нравственно и деньгами.

Указания Комитету литературного фонда, распоряжавшегося похоронами (Плеве зачеркнул: «похоронами», написал: «печальной церемонией»), отлились в десяток четких, почти воинских пунктов; распоряжения по полиции — в девять параграфов.

Это было в тот самый день, когда поезд с телом покойного отошел от перрона Северного вокзала в Париже.

Два дня спустя, ночью, поезд миновал Берлин, и немецкие писатели во главе со Шпильгагеном не сумели возложить венок, о чем русский департамент полиции был извещен телеграфно.

— Наши готовы? — осведомился граф Дмитрий Андреевич, удовлетворенно поглаживая телеграфный бланк.

— Совершенно готовы, ваше сиятельство, — заверил Плеве.

И точно, на всех российских железнодорожных станциях, начиная от пограничной Вержболово, в городах Вильне

и Пскове уже «приняли безо всякой огласки, с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы не делано было торжественных встреч».

Сколь ни был равнодушен к похоронам подполковник Судейкин, служебное положение обязывало, и он аккуратно снабжал директора департамента выжимками из агентурных донесений.

В литературной среде, в редакциях инспектор тоже располагал секретными осведомителями. Но Георгий Порфирьевич привык иметь дело с революционерами террористической закваски, а потому и не придавал серьезного значения клубным витийствам в Новом переулке или в Приказчиьем, на Владимирской.

Нынче, однако, именно из этих источников директор фон Плеве получал информацию о настроениях и суждениях. Ему доносили, что литераторы возмущены отзывом государя на смерть Ивана Сергеевича. «Одним нигилистом меньше!»; что Гаевский, деятельный член Литературного фонда, едва отбивается от желающих получить билеты (без билетов не велено было пускать на кладбище); что почтенный академик Грот убоился произнести речь на могиле, зато профессор Бекетов взялся говорить от имени Петербургского университета и что известный присяжный поверенный Спасович намерен явиться к министру юстиции с протестом против изъятия из депутатий представителей адвокатуры... Потом дознались о собрании универсантов. Студенты сошлись у Шапиро, фотографа, издателя портретной галереи. («Без этих Шапиро, — поморщился Плеве, — русского писателя как похоронишь!») Сошлось не менее полусотни, ото всех факультетов. Судили и рядили: произвести ли на похоронах политическую демонстрацию?

Инспектор Судейкин заметил, впрочем, что, по его мнению, обойдется без демонстрации: «Публика осторожничает, не желает острых происшествий». Однако, объявил Георгий Порфирьевич, листовок не миновать.

— Что-о? — вскинулся Плеве.

— Да как вам выразить... Ну-с, что-то бы вроде биографии в красном освещении.

— Нельзя допустить, — резко, словно ножницами щелкнув, приказал директор департамента.

Судейкин вздохнул:

— А надо бы, ваше превосходительство. Уступочка требуется.

Плеве с холодной вопросительностью озирал инспектора. Инспектор усмехнулся.

— Яблонский настоятельно просил, чтобы не трогали. Позарез ему это нужно, Вячеслав Константинович. А то, говорит, не ровен час главное рухнет. — И Судейкин эдак вдумчиво шевельнул светлыми бровями. — Главное, ваше превосходительство. А эти-то листовки... Да шут с ними совсем, пусть тешатся.

Быстро, мелко дрогнула щека у Плева, он тотчас подпер ее ладонью. С того душного летнего полдня стрижи за окном чертили темный штрих, потом гроза громила город — ни разу не заходила у них речь о покушении на министра Толстого. И хотя Плева был уверен, что Судейкин не отступил, не ступешался, он все же ни о чем не спрашивал инспектора: умение выжидать есть признак государственной мудрости. Плева не спрашивал, не торопил. Он знал, тут такие пружины пущены — искуснейшей механики требуют. И он ждал. И вот дождался. Его прокурорский ум верно схватил связь между листовками и устранением графа Толстого: не в листовках был корень, а в том, чтоб ненароком не зацепить Яблонского.

— И все ж эти листовки...

— Неприятно, — согласился Судейкин, — однако черт с ними, пусть-ка поиграют.

2

Кунья — так эта речка называлась. Погост, где имение Карауловых, назывался Успенским. Псковская тут была сторона, глушняк, и хорошо тут было Якубовичу. Стыдливым бегством спасаясь от Петербурга, он врачевался монотонной красотою севера. Он оживал, все в нем уравновешивалось.

Уезжая из Петербурга, он говорил Коле Блинову: «Поверьте, я еще не знаю, готов ли к приятию креста...» Нет, не страх налагал ярмо бессилья. Революция — это *sanctum sanctorum*, святая святых. Заветное место в храме даже первосвященник посещает однажды в год. В революцию тоже приходят однажды. Однажды в жизни. Как в самую жизнь. Революция — *sanctum sanctorum*... Готов ли ты нравственно? Об этом он думал и теперь, вдалеке от Питера, этим псковским летом, горько-мгlistым от верховых пожаров в окрестных лесах...

День был прост, как детская картинка. Накануне отошли, а может, совсем угасли пожары, ветер унес шершавую мглу, и в тот ясный день у ясной речки Куньи пришло освобождение:

Сильных плеч ярмо бессилья
Малодушно не гнетет...

Он вернулся домой. В комнате, отведенной Якубовичу, было как в горнице, как в светелке. Пахло сосной и ромашкой, он любил полевые цветы. И прохладу вымытых, но еще сырых некрашенных полов. И простор за окном. Век бы тут вековать. Всегда, верно, на душе, как в светлое воскресенье. Какая прелесть в размеренности бытия. Спешка — разрушительница гармонии. Никуда не спеши. Не спеши... Да, но если ты уже свободен от ярма бессилья? Тогда что же?

Спеши в тот город роковой,
Где, как безумный бред,
Проходят дни, бегут года:
Без боли счастья нет!

Он, однако, помедлил. Хотелось издали, как живописцу, взглядеться «в тот город роковой». Якубович испытывал к нему болезненное, смешанное чувство нежности и ненависти. На берегу Куньи захотелось воспеть берега Невы.

Он сочинил стихотворение длинное, бледное. И назвал блекло: «Сказочный город». Но странно: остался доволен и «белым саваном ночей», и «яркими звездными глазами», и даже «лабиринтом стройных улиц»...

А на другой день, снова тонко и терпко подернутый дымкой, Якубович уехал в Санкт-Петербург.

К брату, в казенную квартиру при клинике баронета Виллие, Якубович не вернулся. Зачем приваживать к семейному дому филерскую мошкарку? Мама и сестра сильно противились его отдельному, на холостую ногу житью; брат тоже возражал, но сдержанно: Якубович не обиделся — у каждого своя дорога.

Устроившись на квартире в Спасской улице, Якубович оглядел Петербург, уже отягощенный спелостью августа, громадный и ясный, остывший после зноя июля, но еще не холодный по-осеннему, оглядел Петербург, пожалел, что Роза задерживается в своем Каменец-Подольске, и поймал себя на том, на чем ловил не однажды, возвращаясь в столицу: его тянуло в литературские углы, где дымили папиросами и тянули «медведя» — адскую смесь пива с шампанским; где загадочная красавица Вентури в сквозящем пепло-цветном хитоне выпевала греческие гекзаметры, беллетрист, пролаза и весельчак Бибииков декламировал наизусть главу за главой «Евгения Онегина»; худущий Фофанов, напившись вмертвую, объявлял, что он есть бог-

вседержитель, и вдруг, безумно-трезвый и вместе как лунатик, произносил певучие и сжатые строфы...

Якубович корил себя за «неисполнение долга», но ему, право, требовалось потеряться среди сочинителей, и он знал, что это ненадолго, минет, как хмель. И точно, недели не прошло, ему надоело «пустое кипение», он сам отыскал Дегаева, только что приехавшего из-за границы.

Дегаев, оказывается, не покинул мысли поручить ему редактирование подпольного листка; благо типография наконец сладилась и действовала. Впрочем, теперь Сергей Петрович заговаривал и о другом: о создании революционной «Студенческой лиги».

Якубович уже подступал к созданию лиги, вел в этом смысле длинные беседы с товарищами по университету, но тут были получены известия о тяжелой болезни, а потом и смерти Тургенева, о том, что тело его везут в Петербург, а хоронить будут нарочито в будни при надзоре явной и тайной полиции.

Не городовым, не казакам бросились народовольцы объяснять, кто он такой был для России, этот умерший писатель. И Якубович, забыв свою лигу, тоже отправился на сходку одного из рабочих кружков.

Никогда еще не держал он речей мастеровым, и нынче за Невской заставой, на Шлиссельбургском тракте, уже миновав трактир «Китай», опознав по приметам рубленый домик слесаря-бобыля Матвея Ивановича, Якубович оробел «меньшого брата». Черт догадал направиться к мастеровщине Семянниковского завода... Твое оружие — перо, вот и воюй, а не лезь в Цицероны. Ну что ты скажешь? Что изречешь? «Великий художник слова... Поразительный стиль, музыкальный язык»? А им, верно, плевать. Их умственная и мускульная энергия иссушена пламенем горнов.

Покрикивал служебный паровозик заводской узкоколейки. Визжала блоком трактирная дверь. В обнимку шлепали четверо, выдыхая спиртное... Якубович опять подумал о никчемности «музыкального языка, поразительного стиля»...

Мастеровые ждали. Он увидел напряженные скулы. Хозяин, в пиджачке на плечах, немолодой, с легким хохолком над крутым чистым лбом, принял гостя с подчеркнутой, даже церемонною уважительностью.

Якубович конфузился. Кто-то осторожно кашлянул:

— Курить позволите, господин?

— Да, да, пожалуйста! — заспешил Якубович, презирав свой искательский тон.

Матвей Иванович осторожно, как барышню, тронул его за рукав:

— А вы не беспокойтесь. — И прибавил, как показалось Якубовичу, не без иронии: — Мы все пойдем.

Потом уж, близ полуночи, возвращаясь из-за Невской на паровом трамвайчике, Якубович радостно недоумевал: откуда и как снизошло на него что-то похожее на истинное вдохновение? Серьезная ль жадность слушателей, собственная ли любовь к русскому гению — все ли это вместе зажгло его, и он сказал именно то, что надо было сказать?

Паровой трамвайчик шумел и звякал в большой сентябрьской черноте, справа, совсем рядом, невидимо, но ощутимо неслась холодная Нева, и Якубович, нахлобучив шляпу, поджимая зябнувшие ноги, старался удержать в памяти свою речь. Вот сейчас, дома, на Спасской, он сядет к столу и запишет ее, потому что ждут от него текста для листовки, для тех листовок, что отпечатают в крохотной «летучей» типографии и принесут на похороны Ивана Сергеевича Тургенева... Да, да, нынче же ночью Якубович напишет эту листовку. Наверное, кое-что добавит и переменит, но суть останется, та суть, те слова, которые он произнес в окраинном домике... Не за красоту слога, не за поэтическую живость картин природы, не за талантливость характеров страстно и горячо относятся к Тургеневу лучшие люди России, лучшая часть молодежи. Барин по рождению, аристократ по воспитанию, «постепеновец» по убеждению, он сочувствовал... нет, он служил русской революции, был честным и чутким провозвестником ее идеалов. А вы, господа либералы, вы распространяете письменные и устные мнения самого Тургенева, смысл которых — неверие в близость и успех революции. Пусть так! Для нас важно другое: он служил русской революции сердечным смыслом своих произведений, пел русскую молодежь, называя ее святой, самоотверженной.

Якубович не заметил длинной дороги, переменял паровичок на извозчика. Якубовичу было радостно, он был доволен собою. И только уже на Спасской, у дома со слепыми окнами, отпустив ночного ваньку, среди внезапной и темной тишины, вдруг подумал, что вот сейчас, сквозь эту ночь, где-то там, на железных путях гремит поезд, поезд с мертвым Тургеневым... Якубовичу сделалось нехорошо, стыдно своей радости и своего вдохновения, и все сочиненное представилось ему мелким, дробным, хилым.

Он словно бежал самого себя, быстро зажег свет, сел к столу, схватил перо, начал писать. Он знал, что получается из рук вон. Ничего не получалось, он это знал.

«Образы Рудина, Инсарова, Елены, Базарова, Нежданова и Маркелова не только живые и выхваченные из жизни образы, но, как ни странно покажется это с первого взгляда, это типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь. Борцов за освобождение родного народа еще не было на Руси, когда Тургенев нарисовал своего Инсарова; по базаровскому типу воспитывалось целое поколение так называемых нигилистов, бывших в свое время необходимой стадией в развитии русской революции. Без преувеличения можно сказать, что многие герои Тургенева имеют историческое значение».

Он бросил перо. Он был унижен. Впервые с такой позорной определенностью сознавал он свою немочь, свое бессилие. «Имеют историческое значение», — прошептал он с отвращением.

А утром явится г-н Дегаев, Сергей Петрович Дегаев. «Нуте-с, — скажет любезно, — надеюсь, готово?» И ты, пряча глаза, вручишь ему текст листовки. Обязан вручить, милостивый государь! Он взял перо. Теперь он писал медленно, не перемарывая, он сдался.

Не Дегаев истерзал спозаранку дверной звонок, не Дегаев спозаранку увидел тяжело пробудившегося Якубовича.

Якубович, обнимая и целуя Розу, был счастлив ее приезде в это несчастное утро, сменившее несчастную ночь, но где-то позади радости вдруг ошутилась негромкая, но отчетливая досада — с приездом Розы он утрачивал долю независимости.

Она совсем засмуглела в сухих ветрах своего Каменец-Подольска, на желтых отмелях Смолрича.

— Цыганка ты, а не Сорока!

Они рассмеялись. И смутились: Якубович был полуодет. Комически причитая, он шмыгнул за ширмы. Роза, оправляя волосы, увидела странички, исписанные знакомым почерком.

На шорох бумаги Якубович вышел из-за ширм, волоча по полу шнуры штиблет.

— Ну? — сказал он покорно.

— Прелесть! Просто прелесть.

— Правда?

Роза улыбнулась.

— Правда.

Но он уже потускнел, он уже злился.

— Ни к черту! Худо, мертво, пусто!

— Да что ты? Что ты говоришь? — напустилась на него Роза. — Говорят тебе: отлично!

Якубович натянуто усмехнулся:

— Доволен ли ты сам, взыскательный художник... Давай-ка чай пить, а потом стихами тебя угощу, летними, у Карауловых стряпал.

3

К плотной воде латунными кругляшками липли листья. Дегаеву надо было в угловой дом. Вон туда, в тот старый, может, еще павловских лихих годин дом, что на углу Столярного переулка и набережной канала.

Дегаева и Шебалина свел когда-то Караулов. Шебалин хозяйничал в лилипутской типографии: с такой нетрудно кочевать. Покамест нужды в кочевье не было. Судейкинские гончие не околачивались ни в сумрачном Столярном переулке, ни поблизости от него, у Кукушкина моста над темным медленным каналом.

Заводя печатню, пришлось хлопотать не из одних типографских принадлежностей, но еще ради... таинства святого крещения. Хозяйка, супруга требовалась Шебалину, фиктивный брак: холостяк-то приметнее, одинокий да молодой — тут уж что-нибудь неспроста. Прасковья Богораз, студентка-бестужевка, вызвалась домовничать в конспиративной квартире. Однако незадача: Шебалин — православный, Богораз — иудейка. До крещения под венец не пойдешь. Подумали — вспомнили: жив в Питере протоиерей Брянцев, известный «снискходительностью». Толкнулись к протоиерею. Квартира роскошная, монастырщиной и не пахнет; вышел сам — гладкий, взором лукавец. Так, мол, и так, ваше высокопреподобие, докука вот какая. «Окрещу, — гудит свежим баском, — окрещу, но прежде обязан внушить невесте начатки святой нашей веры». И назначает «сеансы». Шебалин смекнул: церковное стяжанье — божье. Спросил прямодушно: «Сколько, ваше высокопреподобие, прикажете?» — «Нет, — въздыхает, — за крещение, сын мой, ничегошеньки не беру». — «Ах, батюшка, — не отстаёт Шебалин, — да ведь вам и венчать нас, а за венчанье известно...» — «Ну смотря какая свадьба, — гудит уж бодрее, — с паникадиллом ежели, с певчими ежели...» — «Какие певчие, ваше высокопреподобие, не до певчих, мы люди небогатые». Прикинул протоиерей, отвечает: «Меньше четвертного никак нельзя, и чтоб документики, сударь, и свидетели, и оглашение». Шебалина — в пот: фу ты, оглашение еще! Взмолился: «Да вы сами и огласите, батюшка, а двадцать пять вот они, с полным нашим удоволь-

ствием». (Мановение ныряющей длани, и четвертной, как истаял.) Увы, опять препон: он-де не вправе, в приходскую церковь обратитесь. Шебалин ушел, денег у него при себе больше не обнаружилось. Дегаев выручил, и на другую неделю «жених» добавил. Протоиерей смеялся: «Ха-ха-ха! Эка загорелось-то, ладно уж, и окрещу, и обвенчаю...»

Справив формальности — со всех сторон они попечительно ограждают российского обывателя, — «чета» Шебалиных обосновалась в Столярном переулке, в том стареньком, без водопровода доме, куда сейчас направлялся Сергей Петрович.

По условиям конспирации Шебалин и Богораз не присутствовали на сходках в читальне Карауловых, не сумерничали у музыкантши Лизы Дегаевой, а жили в нелегком уединении и всегда радовались Сергею Петровичу. Да и он не обегал типографов не потому лишь, что был ответственным за «Листок «Народной воли»». Нравилась Сергею Петровичу квартирка с фикусами, столетниками, пальмочками, нравились и хозяева вдумчивый, доброжелательный Миша Шебалин, усердная Прасковья Богораз, за внешней суровостью которой угадывалась душевная мягкость.

Работали они днем, вечерами Дегаев подчас засиживался у Шебалиных, и те замечали, что Сергею Петровичу очень с ними хорошо. А ведь поначалу-то Шебалин, как и Якубович, «не принял» Дегаева: в глазах Сергея Петровича было что-то уклончивое. Однако репутация старого революционера, лестные отзывы Фигнер сделали свое дело, и Шебалин переменялся к Дегаеву, открыв в нем здравый прагматизм, товарищескую обходительность.

Впрочем, два происшествия, в сущности комических, неприятно поразили типографов.

Как-то около полудня, во время набора очередного «Листка», грянул в прихожей громкий звонок. Дегаев посерел, судорожно пихнул руку в карман пиджака, ничего оттуда не извлек и боком бросился к дверям, но тотчас остановился, схватил со стола шило и сжал в кулаке, словно готовясь дорого продать жизнь. Телоположение его было до того смешным, что Шебалин, несмотря на страшность минуты, невольно улыбнулся. Дегаев, заметив эту улыбку, метнул в Шебалина ненавидящий взгляд и обронил «оружие»... В квартире слышались голоса. Потом утихли. Вошла Прасковья Федоровна. Тревога оказалась ложной: дом намеревались перестраивать, архитектор с подрядчиком осматривали этажи.

В другой раз Шебалина навестил бывший ученик, юнкер Константиновского училища. Посидел, поболтал и уже прощался в передней, у полуотворенной двери, когда на пороге вырос Сергей Петрович. И опять лицо его посерело, он затоптался, сдернул шляпу, надел шляпу. «Милости просим!» — крикнул Шебалин. Юнкер откланялся. «Я думал, вас арестовывают», — сказал Дегаев, убирая за спину трясущиеся руки.

Шебалин и Богораз не обсуждали и не осуждали дегаевскую трусость, молчаливо сойдясь на кратком определении: «Нервы не канаты».

На мосту, пересекая канал, Сергей Петрович не припомнил, а словно сызнова поймал и улыбку Шебалина, и всепрощающее, но все же горькое удивление Богораз. Теперь, впрочем, Дегаев не испытал, как тогда, злобного раздражения на свидетелей его предательского ужаса. Напротив, ему подумалось, что во всем Петербурге нет для него уголка заветнее тихой обители типографов. «Славно, славно, — улыбнулся Сергей Петрович, — не бывают они там, где толки, суды-пересуды...»

Он обнял Шебалина, обнял Прасковью, все трое были тронуты этой порывистой искренностью встречи.

— Вот, — сказал Дегаев, улыбаясь, — вот видите! — И потряс страничками, исписанными Якубовичем. — Начнем, что ли? Времени мало.

Работали в задней, наглухо зашторенной комнате. Для прокламаций была припасена гладкая, чуть желтоватая бумага; текст оттиснулся чисто, изящно. И на тот же лист печатный станок-самоделок впервые положил тургеневское стихотворение в прозе, доселе известное лишь в списках. За стеной, в столовой глухо били часы. Работали молча, косясь на убывающую стопку бумаги. И уже не брали за душу примелькавшиеся строки «Порога», тургеневского стихотворения: «Я вижу громадное здание... Морозом дышит та непроглядная мгла... Ты готова на жертву?..»

Мелко и часто, как нищенка, застучал в окно дождь. Зажег свои огни Столярный переулок, узкая тихая набережная зажгла неяркий газ, пометила темный канал бледными пятнами, похожими на лики утопленников.

И наконец, когда уж руки совсем отяжелели, наконец — последний гладкий желтоватый лист, последняя прокламация. Прасковья Федоровна призналась, что ошиблась счетом где-то на четвертой сотне.

— Полтыщи будет, — определил Дегаев, шурясь.

— Не меньше. — Шебалин потянулся с хрустом. — А голоден я чертовски.

За ужином мужчины выпили. Дегаев устало обрюзг, глаза его увлажнились, но он еще и опять прикладывался к рюмке. Пил он страдальчески, нехорошо, ел нехотя, будто силком. Лицо его состарилось складками, ребром ладони он тер другую, напряженно раскрытую ладонь, точно скатывая грязь, словно брезгуя своими ладонями.

Он сам, не дожидаясь вопросов, принялся рассказывать, как ездил в Швейцарию, как гостил у Тихомирова, как барышня, одесситка какая-то, обвинила его в предательстве... И вдруг рассмеялся, морщась и потряхивая тяжелой головой. Потом резко сшиб ладони: «Пусть! Пусть!»

— Вы кушайте, кушайте, — сказала Прасковья Федоровна, как говорят капризным, хворым детям.

Он опять, но уже будто благодарно рассмеялся, однако лицо его не изменилось, складки и вмятины не разгладились.

Шебалин вздохнул.

— Сдастся, больны вы, Сергей Петрович. Вам бы полегчить. Понимаю, не время, однако ж...

— Болен? — переспросил Дегаев. — Вы полагаете, болен? — Он опустил веки, веки были почти синими. — Если и болен, так одними мигренями. От этого не умирают.

Прасковья Федоровна осторожно убрала графин, принесла чаю.

— Помните? — сказал Дегаев, быстро и трезво взглядывая на Шебалина. — Помните, Миша? Мы как-то о терроре с вами... Я тогда промолчал, а теперь скажу. Верю в террор, признаю. Да вот какая штука... Вот скажите мне: иди и убей! — Он пожегся. — Не могу! — И ударил кулаком по столу. Ударив, сник, сказал чуть слышно: — Кровь, страдания... Не могу.

Это «не могу» вдруг всколыхнуло и подняло в Шебалине что-то недоброе к Дегаеву, Шебалин почувствовал останавливающий взгляд Прасковьи Федоровны, но упрямо мотнул головой.

— Страх виселицы?

Он ждал колебаний, раздумий, а Дегаев ответил быстро, как вытолкнул:

— Да!

Потом добавил:

— Расстрел — это другое, Миша. Совсем другое.

— Напрасно, — возразил Шебалин все с тем же недобрым чувством к Дегаеву. — Я читал: при повешении смерть мгновенная, а когда расстрел — не всегда.

Дегаев заспорил. Руки его двигались, как потерянные, но глаза уж не бегали — стекленея, вперились во что-то такое, чего не различали ни Шебалин, ни Богораз. Он не закончил фразы, осекся, тяжело дыша. Потом вымученно усмехнулся.

— Ну что ж... Мне пора, прощайте. — И уже в прихожей спокойно напомнил: — Они придут в первом часу.

Они пришли в первом часу — Блинов, Сизов, Флеров... Еще приходили, называя пароль, и ускользали в ночь, расстав прокламации по карманам пальто, по карманам пиджаков.

Дождь убрался. Небо прояснело, город встал, черный и четкий, в мерцании куполов и шпилей.

4

Далеко от Столярного переулка, от канала и Кукушкина моста отцокивали донские жеребцы — казаки окружали Волково кладбище... Полицейский резерв в мокрых, потяжелевших шинелях располагался в помещении Ямской пожарной части, где пахло сытыми битюгами и брезентом и воинственно блестела яркая медь.

Особый наряд жандармерии раздирал зевотою рот в зале ожидания Варшавского вокзала...

От Столярного переулка в стороне, в стороне от Кукушкина моста, на Невском проспекте, в третьем этаже доходного дома, Георгий Порфирьевич Судейкин читал свежую прокламацию.

Он сидел, небрежно распутившись, без сюртука, притомившийся за день. Яблонский, сняв пиджак, прохаживался по комнате, иногда останавливаясь позади Судейкина и взглядывая на его массивный, круглый затылок, на мощную, столбом, шею.

Обернись в ту минуту инспектор секретной полиции, он бы дрогнул под сверлящим взглядом своего главного агента и союзника, но Георгий Порфирьевич не оборачивался, а читал прокламацию, читал тургеневский «Порог». Дочитав, задумчиво удивился:

— Ох, как верно!

— Что «верно»? — спросил Яблонский.

— Да вот тут, про эту вот девушку. Видел я таких, не одну видел. Все грозит: и тюрьма, и забвение, и голод, сама смерть грозит, и она это знает. Однако вот же: «Я готова...» Странные люди, право, — продолжал он с уважительным недоумением, — никак не пойму их. А верите, батенька, у

меня к ним ненависти нет, вот чтоб душой ненавидел, нет этого. Да коли по чистой совести, куда-а они выше наших-то. Ку-уда-а! Нет, что ни говори, достойные люди.

— С такими мнениями, — съязвил Яблонский, — вас бы в Исполнительный комитет...

— Э, у меня ставки всегда верные, батюшка, — серьезно возразил Судейкин. — А ихнее дело — табак. Пропавшее. А только не хотят они того в расчет принять, что кончилось.

— Так-таки и кончилось?

— А как же? Старики — тю-тю, молодые, сами изволили говорить, плохонькие новобранцы. — Он подумал. — А еще вот что. Тут, может, и не в них корень. Тут, может, время минулось?

— Время, Георгий Порфирьевич, такие курбеты выкидывает — диву даешься.

— Так-то оно так, а все ж... Впрочем, теории эти не мой конек... Вы что ж? Отужинать не желаете ль?

— Нет, — вяло отказался Яблонский, — я ужинал. А вас и угостить нечем: без хозяйки дом сирота.

— Ничего, хозяйку свою скоро выпишете. Жива-здорова? Не на сносях ли, случаем, а?

— Подите к черту! — внезапно вскипел Яблонский.

— Полно, полно, — урезонил подполковник. — С чего это взвились? Я, можно сказать, душевно... А знаете ль что? Мы вам, батенька, денщика определим. Малый на примете, отличный малый! Сейчас это он в Озерках, в ресторации, половым. Намедни явился: просит определить в услужение. Отличный малый. И фамилия — гром: Суворов! — Судейкин рассмеялся. — Ну как?

— Угу... — Яблонский покачивался на носках штиблет. — Понимаю. Очень вас понимаю, милейший Георгий Порфирьевич. — Он пихнул кулаки в карманы брюк. — Шпиона приставить хотите? А? Шпиона?

— Ну вот, опя-я-ять, — благодушно протянул инспектор. — И что это, прости господи, на вас наехало? Как подменили, право. Надо ж: «шпиона»! А зачем? Мы ж в сердечном соглашении, а? Вы вот не открываете, где типография, я и не лезу. Понимаю — надо вам, и не лезу. А ведь давно мог бы проследить. Так, что ли? Ну вот, а вы: «шпиона». Нехорошо-с! А денщик вам нужен. Вы как белка в колесе, а Суворов-то, смотришь, все бы в аккурате.

— «В аккурате», — проворчал Яблонский, выпрастывая руки из карманов, прохаживаясь по комнате и уже думая,

кажется, не о денщике-соглядатае с громкой фамилией. — У кого и впрямь в аккурате, так у мсье Судейкина Георгия Порфирьевича.

Судейкин смекнул, откуда ветер дует.

Недавно, после удачных маневров в Красном Селе, император Александр Александрович, пребывая в отменном расположении духа, согласился с Плеве, что давно уж пора обласкать инспектора полиции высочайшей аудиенцией.

Георгий Порфирьевич возлагал чрезвычайные надежды на личное свидание с государем. Судейкину оно даже во снах являлось. Бессчетно примерял он и взвешивал все, что скажет, все, что должен успеть сказать в краткой аудиенции. Но, в сущности, Георгий Порфирьевич не на словеса уповал, а на общее и непременно выгодное впечатление, которое он сумеет сделать на царя. И тогда-то уж карьере его даны будут такие шпоры, что, смотришь, и без убийства министра Толстого, дела хлопотного и рискованного, обойдется.

Но вышло не совсем так, как он предполагал. И даже вовсе не так. Георгий Порфирьевич посейчас не прощал себе эту дурацкую робость. В назначенную минуту инспектор в мундире и при всех крестах, твердопружинным, в корпусе еще заученным шагом прибыл на высочайшую аудиенцию. «На него можно иметь влияние, — повторял мысленно, — и все будет в порядке». И вот император был перед ним, эдакая мясистая громадина. Блекло-голубые глаза уперлись в подполковника. «Ого, братец, ты, однако, как коломенская, — проговорил Александр своим ровным простецким голосом и подал Судейкину руку. — Здравствуй. Много наслышан о тебе. Ты молодец. Старайся!» Тут бы и ухватить счастье за подол, а он, дурак, оробел, точно институтка, и петуха пустил: «Рад стараться, ваше императорское величество!» Государь колыхнул толстыми щеками — и был таков. Ничего Судейкину не оставалось, как повторять сослуживцам: «Руку мне подал, наслышан, говорит, о тебе много...»

Нынче, однако, не повторил. Он знал, почему Яблонский намекает на аудиенцию: Яблонскому тоже ведь сулили личное свидание с императором. «Не слишком ли, сударь, нос дерешь?» — сердито подумал Георгий Порфирьевич, раздраженный воспоминаниями о собственной дворцовой неудаче.

— А вы меня одному Плеве представили, — колюче продолжал Яблонский. — Не велика птица.

— Хотели было и его сиятельству, да министр, извините, не пожелал, — мстительно парировал Судейкин. — Да-с, не пожелал, уж вы, батенька, не обессудьте.

Лицо Яблонского пошло пятнами.

— Ну, будет... — хохотнул Судейкин. — Обменялись любезностями, и будет. Чего нам делить-то? Вы ж видите, я для вас отца родного не пожалею. Может, убрать кого? Да я не про арест, нет, — небрежно отмахнулся Судейкин. — Убрать, говорю, чтоб престиж укрепить. Ваш престиж, батенька. И это, пожалуйста! Изобличите любого из моих людей — бейте насмерть. Хотите? Сам и назову. Хотите питерского, хотите московского. Ну-с?

Яблонский процедил:

— Экая мерзость...

Судейкин нахмурился, вытянул ногу, достал портсигар и закурил. Курил он дорогие душистые папиросы. Аромат их вызывал в памяти Яблонского рисунки из переводных английских романов. А Георгий Порфирьевич полагал, что именно так пахли сигары, которыми дымил, задумавшись, знаменитый сыщик Лекок.

— Слушайте, — произнес наконец Судейкин тем значительным тоном, каким говорил с Яблонским о самом важном, — а граф-то наш, Дмитрий Андреевич, привычек не меняет.

— То есть?

— По-прежнему ровно в два пополудни — на Морскую: графинюшка с обедом ждет.

— Это известно, — нехотя ответил Яблонский.

Судейкин, подняв брови, изобрел сизое колечко дыма.

— И как же? Скоро ль, позвольте полюбопытствовать? Яблонский, помолчав, ответил кратко:

— Аудиенция прежде всего.

— Условие? — невозмутимо осведомился инспектор.

— Еще весной условились.

Судейкиным завладело раздражение. Этот Яблонский и вправду слишком того-с. Но и Вячеслав Константинович, черт дери, мог бы похлопотать... Сдерживаясь, инспектор погасил папиросу. Плебейским жестом погасил — вдавливая в пепельницу, покручивая из стороны в сторону.

— Употреблю все усилия, — сказал он и переменял разговор.

Иронически хекая, стал рассказывать, что в департаменте озабочены завтрашними (поправился: «Нет, уж сегодняшними...») похоронами, что ползают зловещие предположения вроде возможности бунта, что перепуганы

не только «сферы», но и биржевые маклеры, а заграничные телеграммы сообщают о падении русских бумаг на европейских биржах. Последнее обстоятельство отчего-то сильно забавляло Георгия Порфирьевича, и он даже как бы обиделся на равнодушные Яблонского.

Они распрощались глубокой ночью.

— Вы пойдете? — спросил Судейкин, надевая пальто и кожаные калоши, изнутри подбитые синим сафьяном с замысловатыми серебряными вензелями. — К Варшавскому-то, говорю, пойдете?

Яблонский кивнул и в свою очередь спросил:

— А вы?

Судейкин потопал калошами.

— А зачем? Моих там сотня набезит, хватит. Смотрите не опоздайте: из Вержболова депеша — прибытие в десять двадцать.

5

Полицейская депеша оказалась точной, как и железнодорожное расписание: в десять двадцать у дебаркадера Варшавского вокзала протянулись, стадно поталкиваясь, пассажирские вагоны, покрытые пылью континента.

Перед вокзалом разливалась несметная толпа, дожидавшаяся Тургенева. И день выдался тургеневский, оптической ясности день, на холодеющем небе которого стояло четкое солнце. Ветра не было.

Ветра не было, и страусовые перья не вздрагивали на тяжелой золотой парче балдахина, как недвижны были и белые плюмажи на шестерке слепых лошадей.

Шестерке слепых лошадей везти колесницу шесть верст. Шесть долгих булыжных верст, где ждут Тургенева такие же несметные молчаливые толпы, как здесь, у Варшавского вокзала.

Варшавский вокзал декорирован крепом. Вопреки запрету вокзальный подъезд в трауре, и люди, пригретые солнцем, неотрывно глядят на подъезд, из которого сейчас вынесут гроб с прахом Тургенева.

Гроб с прахом Тургенева, ясеневый, французский, без ножек, заклепанный, высоко выплыл, и толпа придвинулась к нему, снимая шапки. За гробом теснились те, кто был допущен (по списку, по списку!) на перрон: архимандрит Герасим с духовенством Казанского собора, только что отслужившим литию; высокий, в очках градоначальник генерал Грессер; несколько литераторов и актеров. Толпа,

приливая все ближе к катафалку, смотрела, как устанав-
ляют, посовывают, двигают нерусский, без ножек, закле-
анный гроб, как на верх балдахина возлагают первые
венки.

Венки, покрывая балдахин, роняли лавровые листья.
Генерал Грессер что-то говорил полицейскому офицеру.
Потом генерал сел на коня и махнул перчаткой, давая
знак, чтоб процессия выстраивалась согласно утвержденной
диспозиции: хор русской оперы по четыре в ряд, депутации
по пяти в ряд, все сто восемь депутатий, перечень коих
был тоже утвержден теми, кому ведать надлежит похоро-
нами писателей. Удостоверившись в правильности происхо-
дящего, градоначальник сделал ручкой, и процессия
двинулась.

Процессия двинулась, колыхая венками, шаркая и рас-
тягиваясь, неустроенным покамест маршем, а колесница с
гробом долго еще стояла у вокзального подъезда. Но вот
уже пошла и последняя депутация — от Академии худо-
жеств. Факельщики в черных цилиндрах воздели черные
факелы, Григорович и Успенский, Станюкович и Гайдебур-
ров подняли тяжелые, как гири, золотые кисти, свисавшие
с гроба на длинных витых шнурах, и шестерка слепых
лошадей, медленно склонив плюмажи, повлекла катафалк
с прахом Тургенева. Хористы русской оперы запели «Свя-
тый Боже».

«Святой Боже» пели и далеко от катафалка, во главе
шествия. Пели студенты Института гражданских инжене-
ров, студенты Горного. Пели и в середине шествия, там, где
универсанты несли громадный, во всю ширину процессии
венки с портретом Тургенева.

На Санкт-Петербург печально смотрел Иван Сергеевич.
В сизой январской мгле никла голова Пушкина... Мартов-
ская капель ударяла о подоконник в квартире Белинского...
Здесь, в Петербурге, мгновенно и на всю жизнь блеснули
глаза Виардо; дочь ее, смуглая и легкая, шла за гробом...
А недавно, ранней весной семьдесят девятого, город чество-
вал писателя-гражданина; он принимал оваации, принимал
адреса и лукаво усмеялся: «Ведь я понимаю, не меня че-
ствуют, а бьют мною, как бревном, в правительство». Сту-
денческая молодежь приглашала наперебой. Приглашал
университет, тот самый, где он семнадцатилетним слушал
курс истории, темно и плохо читанный Гоголем; приглашал
Горный институт. Но ему уж деликатно — о бархатные
душителы с обольстительной улыбкой! — ему уж дали по-
нять неудовольствие высшей власти тем, что печатно и

устно называли «тургеневскими торжествами». Он не поехал ни в Горный, ни в университет. Из Горного сами пришли к нему в «Европейскую» гостиницу. Стоя, с опущенной головою выслушал он приветственный адрес. И пожал всем руки. И тогдашнему первокурснику Коле Блинову пожал Тургенев руку, Николаю Блинову, который шел теперь в длинной медленной процессии, лившейся уже Звенигородской улицей.

Звенигородской улицей лилась процессия, у церкви синодального подворья опять служили литию, и чины полиции, конные и пешие, неукоснительно наблюдали, чтоб публика не сходилась к колеснице.

Колесницы не было видно, и Блинов не толкался, не подымался на цыпочки, да и службу он не слушал, как слушала Лиза Дегаева, крепко держась за его руку. Подобно многим, кто был в этом траурном шествии, Блинов уже не думал о покойном, о судьбе и значении Тургенева, а думал невнятно о смерти вообще, об этом прекрасном полдне, о бесконечности жизни, о конечности жизни, думал без горечи, как думают в долгом погребальном шествии при очень хорошей погоде.

О хорошей погоде, о великолепии этих похорон умиленно думал Сергей Петрович Дегаев, затерявшийся в тысячных толпах, и эта затерянность, неприметность тоже его умиляла. Он почти не спал минувшей ночью, худо ему было и вчера, и третьего дня, все эти недели после Швейцарии, после Тихомирова, но теперь он как бы отрешился от всех роковых обстоятельств, душа его просветлела и утишилась.

Просветленность и тишина владели многими в этом шествии, уже обретшем мерный ритм в повторах ощущений, которые хотя и определялись скорбью о Тургеневе, но скорбь эта не была ни порывистой, ни железно-цепкой, а словно бы плавно сливалась с просторным солнечным осенним днем.

Солнечный осенний день давно перевалил за половину. Сворачивая с Лиговки, шествие показалось в улице, что вела к воротам Волкова кладбища и грустно звалась — улица Расстанная.

В Расстанной живые работали на мертвых: из окон мастерских глядели надгробия и монументы, на них уж были высечены те лживые восхваления, которыми оставшиеся на этом свете откупаются от покойников. Венки и веночки в любую цену из мха и иммортелей были навалены в лавках и висели на серых заборах, как спасательные круги. Ближе

к Волкову стояли каменные дома причта и богадельни. С крыльца богадельни сыпались черноголовые, как дятлы-желны, старухи; сирые их лица тускло цвели той жадной завистью, какая появляется на лицах кладбищенских обирая при виде богатых похорон. Крестьясь, что-то вышамкивая, богадельки поспешали к погребальному шествию.

Погребальное шествие начало двоиться, разваливаться по обеим сторонам улицы. Казаки тронули жеребцов, отделились от кладбищенской стены, поехали шагом, расчищая путь. Люди, теснясь и толкаясь, глухо шумя, вставали плотными стенами, пропуская вперед тех, кто с венками. И когда колесница, запряженная шестеркой, двинулась по Расстанной, венки склонились перед гробом Тургенева.

Клонились венки у гроба Тургенева, у катафалка, запряженного шестеркой слепых лошадей. Нил Сизов, вытягивая шею, смотрел на эти венки: от учащихся и актеров, от присяжных поверенных и живописцев, от журналов, русских и французских, немецких и австрийских, от медиков и землячеств... Ото всех, кажется, были венки Тургеневу. Не было лишь от таких, как он, Сизов, — от мастеровых не было ни депутации, ни венка, ни ленты... Нил знал, почему так получилось: Флеров объяснил, но Сизов тех объяснений не принял. (Флеров где-то здесь, в толпе, Нил его приметил с тремя мастеровыми, наверное, ребята из флеровской Рабочей группы.) Флеров — человек стоящий, Нил сошелся с Флеровым в динамитной, на Ботанической. Они с ним крепко, душевно сошлись. И Флеров с глазу на глаз предложил покончить с министром в два счета, простым способом, не мудрствуя над бомбами. Эдакими канцеляристами средней руки вдвоем перешагнули они порог министерской приемной. В ожидании министра спокоен был Нил Сизов, право, спокоен. Только поверх скул холодок проступал. Вот чудно: бывает такое, когда яблоко грызешь, крепкую антоновку грызешь, а поверх скул холодок. Страх-то был, но потом, после. А в приемной — ничего. Однако не министр вышел, нет — какая-то важная загогулина в шитом мундире. «С чем пожаловали, господа?» — «Пожаловали-де по секретному, наиважнейшему». — «Я готов выслушать, господа». А Флеров, не смутившись, как льдинку за шиворот: одному, мол, их сиятельству доверимся. «Это, господа, невозможно. Я наделен достаточными полномочиями. Но ежели сомневаетесь... что ж, извольте письменно изложить, в запечатанном конверте с пометкой: «В собственные руки». В ту минуту и ослепило Сизова: сука плешивая, и на твой лоб пуля сгодится! А Флеров, как догадался, плечом запрети-

тельно дернул и тотчас ответил сурово, словно самой этой суровостью останавливая товарища: «Слушаюсь! Мы — письменно», И они убрались. На Чернышевой площади Сизов обмяк от страха. Флеров сердито шепнул. «Ну, брат, счастья наш бог, что ты удержался. А то болтаешь б нам в петле из-за какого-то шута горохового». Неделью крядя Сизов не мог приняться за «динамитное колдовство» на дому у себя, в Ботанической. Совсем духом пал, сколь ни сердился прапорщик Володя Дегаев. Выговаривал: «Сергей Петрович скоро возвращается, а мы улитой едем...» Теперь-то, наконец, и бомбы есть, и Сергей Петрович, слышно, в Петербурге, а толку не видать... Флеров будто поостыл. Не туда, толкует, силы кладем, ты бы, Нил Яковлевич Сизов, ты бы, друг любезный, в завод определялся и в нашу Рабочую группу... Пожалуй, верно. Уж он бы, Сизов, настоял, чтоб нынче и от рабочих венков возложили, терновый венок. Так нет же: студенты, которые занятия с мастеровыми ведут, студенты возразили — ненужные, мол, жертвы, аресты пойдут. Аресты арестами, а все ж неправильно: надо б и мастеровщине о себе заявить, возложив венок на колесницу.

Колесница удалялась. Нил провожал ее взглядом. Он уже не ощущал прежней общности с толпой, с этими депутациями, как бы отрывался от них, а депутации с венками, по шести при каждом венке, следовали нестройно, ритм потеряв, к воротам Волкова кладбища.

У ворот Волкова кладбища поплясывали на конях полицейские офицеры. Градоначальник и его подчиненные были довольны благочинием шествия. Однако на кладбище могут произойти беспорядки. «Безбилетники» попытаются проскочить. Надлежит иметь предельную бдительность. У раскрытой могилы зазвучат прощальные речи. Ораторы известны. Неизвестно, впрочем, на что решатся крамольники. Черт их разберет, этих отчаянных молодых людей... Генерал Грессер, блестя очками, проводил колесницу, въехавшую в ворота кладбища, теперь смотрел напряженно, как, сбившись с шагу, тянутся депутации с венками.

Сбивая шаг и оттого словно бы сердясь, депутации долго следовали одна за другою, облегая полукругом кладбищенскую церковь.

В церкви служили панихиду. Певчие пели, пламень свечей был почти невидим в полосах солнечного света, широких, как полотенца, длинных, как корабельные ванты. Все вроде бы к удовольствию генерала Грессера и его помощников. Но тут от ворот крики слышались, возня и шум. И поодиночке, и группами, точно застрельщики рас-

сыпной наступающей колонны, скользнули меж казаков и городских всяческие личности, «не имеющие билетов установленного образца». Быстро, как низина в паводок, Волково кладбище заполнялось людьми.

Заполнялось «непредусмотренными» личностями Волково кладбище. Казаки то осаживали толпу, то изнемогали под ее напором; городовые хватали охальников за плечи, за руки, рвали, отшвыривали, но народу навалило, пушкой не прошибешь. Нил Сизов опять увидел Флерова, у того зубы хищно скалились. Флеров мгновенно исчез в водовороте. Сизов, нырнув под мордой жеребца, ринулся к воротам, больно столкнулся с кем-то, тоже бегущим, и побежал дальше, туда, где голубела разверстая могила.

Разверстая могила голубела, высланная шелком. Из церкви вынесли желтый полированный гроб, и тотчас все смолкло, как прилегло, стало слышно тяжелое дыхание, поступь стала слышна тех, кто нес гроб Тургенева.

У тех, кто нес гроб Тургенева, была тяжелая поступь. Сизов не смел шевельнуться, позабыл прокламации, на него надвинулось что-то огромное, торжественное, страшное... Тут, у могилы, решено было раздавать прокламацию, написанную Якубовичем. Но и сам Якубович, и Нил Сизов, и Роза Франк, и Блинов с Лизой Дегаевой, и Флеров, и студенты, взявшиеся распространить на кладбище прокламацию «Народной воли», не смели шевельнуться в этой огромной солнечной тишине, где лишь раздавались трудное дыхание и тяжелая поступь тех, кто нес гроб с прахом Тургенева.

Над прахом Тургенева возгласил протодьякон вечную память, и снова, с еще большей проникающей и покоряющей силой ощутилось торжественное, страшное, но вместе и как бы примиряющее. Потом раздалось негромкое, внятное: «Я приблизился к этой дорогой могиле для того, чтобы сказать последнее прощанье от лица своих товарищей и всего нашего университетского юношества... У гроба Тургенева в уме, постоянно занятом изучением природы, невольно и с особою яркостью возникают представления о вечности сил, о преемственности жизни... Если бы даже имя нашего поэта перестало когда-либо повторяться, то поэтические аккорды, внесенные им в психическую жизнь человечества, никогда не замолкнут...» Негромко, внятно, умно, красиво говорил Бекетов, профессор Петербургского университета, и люди смиренно и благодарно слушали речь его, да только уж не было всеобщего ощущения решительного и неповторимого, как само рождение, как сама смерть... Еще звучал мягкий

голос Бекетова, когда Сизов пустил из рук в руки сложенные пополам глянцевиные листки. И Флеров тоже. И Якубович. И Блинов. Должно быть, и судейкинским гончим достались те прокламации, да ведь что ж было делать беднягам, сидевшим в этой проклятой толпе, как сучки в дереве, и филеры только пучили глаза. А у могилы сменил Бекетова профессор Муромцев. Москвич тоже говорил хорошо и взволнованно, с какой-то особенной плавностью, однако слушателей отвлекали и будоражили прокламации, расходившиеся все шире и дальше, и уже не поймешь, откуда, из чьих рук.

Последним прощался с Тургеневым высокий, донкихотской худобы старик. Голос звучал слабо, пресекаясь: «Чем же был Тургенев, чтобы кончиной своей вызвать в сотнях тысяч людей столько сожалений, столько слез, столько истинного горя?.. Почему мы здесь? Приказа никакого не было! Но произнесено было имя Тургенева... Тургенев был литератор, другого звания у него нет и никогда не было...» Подбородок Григоровича дрожал. Слово «литератор», «звание литератора» произнес он жречески, как умели произносить в России. Комкая платок, старик притопывал ногою, но это не казалось комическим — он удерживал рыдания. Блинов смотрел на дрожащий подбородок, на слезы, сверкавшие в глазах старика, смотрел и слушал, не понимая еще, почему этот старый, вдохновенно-скорбный человек вызывает в нем глухой ужас... Слабый голос Григоровича прерывался все чаще, слезы текли, осыхая в седых бакенбардах... Блинов сжал Лизину руку, и тотчас почувствовала Лиза, как ослабела его рука... Он вспомнил, он отчетливо вспомнил: с опущенной головою, стоя, принял Тургенев приветственный адрес студентов Горного института. Потирая пальцами лоб, заговорил о своем желании оставить Париж, поселиться в Петербурге, примкнуть к освободительному движению. Так они его поняли, студенты, так они его поняли, окружив в номере «Европейской» гостиницы. Но тут служитель доложил: пожаловал Григорович. И Тургенев сник, улыбнулся просительно: «Вот что, господа, не говорите лучше при нем, это большой болтун. — И прибавил значительно: — Он бывает там». Вот что внезапно вспомнилось Блинову, когда Григорович, уже не сдерживая рыданий, произносил: «Нам, старикам, сверстникам Тургенева, его друзьям и товарищам, остается сказать: прощай, дорогой, незабвенный друг, прощай, до скорого свидания...»

День мерк, багровел, поднимался ветер. Кладбище медленно пустело. На серых заборах Расстанной шуршали венки.

В экипажах, обгоняя пешеходов, проехали писатели — надо отдохнуть перед поминальным ужином в «Метрополе». Был с ними и некий беллетрист, ходовой, не чуждый «острых углов», у цензуры на примете. Он тоже торопился — составить департаменту полиции (семьдесят пять рубликов помесечно) очередной отчетец да без опоздания явиться в ресторанный залу, ни словечка не пропустить в застольных речах.

Будничность поразила Лизу Дегаеву, ее оскорбила повседневность города, она сказала об этом Блинову. Тот отрешенно глянул на дома, на воспаленное небо.

— Страшно, — сказал Блинов. — Мерзко и страшно жить.

У него вырвался негодующий жест, он быстро наклонился к Лизе, зашептал ей на ухо.

Лиза отчаянно всплеснула руками.

— Нет, нет! Опомнись! Что ты? Не может быть! Покойный ошибался. Не может быть, не верю...

Лиза была права: Тургенев ошибался. Старик Григорович не шастал «туда». Тургенев ошибался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Паскудное дело — «держать проследку» на кладбище. Какой шалавый, прости господи, сюда залетит?

Среди деревьев мгла плутала, как души усопших. Кресты, казалось, плавно плавали, а церковь стояла, как барка на мели, темная кладбищенская церковь.

На перемеси глины и снега почмокивали калоши. Филеров было двое. Один старый, другой зеленый, первогодок.

В душе старого давно и прочно прижилось то пассивное терпение, без которого не в подъем филерская доля. Упрятав нос в воротник, предавался он медленным, сонным и пустячным мыслишкам, и он мог бы выпевать те мыслишки, как стеной кочевник.

А молодой извелся. Сучья служба! Да и жутко, покойников вокруг — полки. Ну-ка встанут, а? И эти ангелы сидят серыми ночными птицами. Господи, какой прок доглядывать за могилой, похожей на темный, пятнистый от

снега курган — столько на ней сопревших, взявшихся гнилью венков. Ходи, кукуй без толку, а за все про все целковый на день.

— Сопля ты, братец, хошь обижайся, хошь не обижайся, а сопля, — отозвался наконец старый филер на унывость молодого.

Молодой не обиделся. Он лопатками зашевелил, предвкушая «историю». У старого-то, поди, короб разных историй про запас. И точно, старый медленно, как от репейника, отодрался от медленных своих раздумий и повел речь о том, какой бывает резон даже и в кладбищенских дежурствах.

Два с лишним года назад он, видишь ли, тоже отряжен был на кладбище. Здесь-то, на Волковом, что здесь от города — шаги, а ты бы вот на Преображенское потаскался... Да, на Преображенском дежурили, вот где. Там, в углу, в ямине — без креста и холмика — пятерых закопали. Пятерых привезли с эшафота, с виселицы, закопали секретно, велели следить. Не день следили — три месяца кряду: может, явятся сицилисты поклон своим отдать, а тут-то их, голубчиков, в секунд и накроют.

— Ну? Явились? А? — зажадничал молодой филер.

Старый покряхтел и обругался ласково, как в бане.

— Да ты слушай, не скачи. Ну, сидим это мы в смотрительской. Душистый, помню, день был, лето, птички... Вдруг смотритель шибко так входит и говорит; «Старушка какая-то ищет». Мы подхватились. Глядим, такая вся... как бы это тебе?.. ну, вся она такая тихая, в скорби, барыней одета, ридикюлий при ней. Мы, понятно, виду не кажем, так, в сторонке. Смотрителя подослали, он и спрашивает: как, дескать, ваша дочь прозывалась? «Перовская, — говорит, — София Львовна Перовская». А смотрителю наказ был, чтоб ни-ни. Он и руками развел: а нету, говорит, таковой не хоронили. Поглядела старуха, заплакала и восвояси. А мы-то за ней. Что ж думаешь? Точь-в-точь: Перовская, мать той самой, что метальщиками бомб верховодила, а потом и на Семеновском плацу в петле висела... Вот те и на кладбище проследку держали, понял теперь?

Он выпростал нос из воротника, подмигнул молодому. Но тот возьми и брякни.

— А ведь не по совести, дядя!

— Эх и дурак же ты! — огорчился рассказчик, не дождавшийся эффекта. — Опять скажу: ни хрена в службе не меркуешь, хошь обижайся, хошь не обижайся.

— Чего обижаться? — не уступил молодой. — Старушка дочку искала, а вы ей чего? Не-е, не по-божески так-то. А вот бы тебе такой кукиш, ты б чего тогда, а?

Старого, на что тетерев, потом окунуло: вообразилось мгновенно и сильно, как бредет он средь могилок, отыскивая, где схоронили Маняшу, дочку его, вот он бредет, а кругом мгла, ветер, и ни огонька тебе, ни доброго звука...

— А ты, брат, не того, ты это брось, — сердито заговорил он. — Ты вот на цыпки встань да шею вытяни, а тогда и увидишь: тут, брат, го-су-дар-ствен-ное! Начальство не турок, крещеное, ежели б можно, то отчего матери не указать, а раз нельзя, стало быть, нельзя, и все тут. — Он досадливо помолчал, что-то будто соображая, подыскивая. — Ежели пустое, ежели гиль, то и начальство... Вот ты послушай! Намедни прихожу к самому. Иду. Вдруг кто-то на крик кричит: «Ай-ай-ай! Не буду! Не буду!» Я к унтеру дежурному, тот смеется: гимназистик, говорит, прибеж, самолично, мол, видел, как две дамы цветики на могилку злодеев клали. Ну, их высокоблагородие велит поверку учинить. Учинили. Врет, оказывается, гимназия. Тогда Георгий Порфирьевич и велит всыпать по голой ж... Это, говорит, тебе заместо трешницы, чтоб впредь не врал. Хе-хе! У нас, видишь, у нас зазря не бывает, потому...

Неярко, мирно фонарь мелькнул, а филеров будто ослепило на миг. Потом донеслось:

— Сюда пожалуйста, господин.

Нерусского обличья был господин. Пальто на нем коротенькое, поля у шляпы широченные, хоть возами заезжай, а борода веером подстрижена, на манер заграничных корабельщиков.

Сторож, как нарочно, не туда фонарем брызжет, то опустит фонарь, то поднимет, то наотмашку — не дает, болван, разглядеть. Молодой филер горячо дышал; старый филер нос из воротника выставил и не смигивает, не смигивает. Господин-то иностранный у поднадзорной могилы замер. Прибежал зверь, ан ловцы тут как тут.

Он шляпу снял у могилы Тургенева. Поклонился. И вдруг, нечистая сила, истаял во мгле. А сторож с фонарем запрыгал, как шустрик жук.

Филеры кинулись вдогонку. Только бы не потерять, только бы в Расстанную не упустить. Они поспели бы, непременно поспели, да сторож, на беду, проводив иностранного господина, калитку щеколдой заклинил. Ну скорей, скорей же, олух царя небесного! Отворяй, чер-рт!

В Расстанной ударили копыта.

Старый филер охнул.

— На рысаке, — мрачно определил он, прислушиваясь к быстро стихающему цокоту.

— Должно, из немецких, — сказал сторож. — Ничего не поймешь: хэл, мэл, пэл.

Расстанная лежала без огней. На кладбищенской стене шевелились уродливые тени.

Шум экипажа иссяк.

Сторож ощупал в кармане чаевую бумажку, похмыкал, оправдываясь, и убрался. Старый филер без азарта поматерился ему вслед. Молодой осуждающе поплеывал.

— Ну и что теперь делать-то?

Старый крепко тиснул ему локоть.

— Ты вот что, брат, ты мне запомни: видеть не видели, знать не знаем, а то нас с тобою за такое упущение...

— Молчок, значит? А говорил «государственное».

— Заткнись, яйца курицу не учат, я те дело говорю. — И старый филер опять доверительно, отечески потискал локоть молодого. — Озяб? То-то бы стаканчик, а? Как полагаешь, а?

— У-у-у, — помечтал молодой.

— Стало, брат, и заруби: знать не знаем, видеть не видели. — Он помолчал, вздохнул: — А этот-то Лиговкой небось уж лупит...

Рысак вынесся на Лиговку. Г-н Норрис не любил Лиговку. Всегда она пованивала, всегда густела гнетущей угрюмостью. Петербургская угрюмость, как рок, как безнадежность, лондонская иная, в лондонской гордая независимость.

А в Лондон не успел, опоздал в Лондон: в тот день, когда беглецом из вологодской ссылки тайно пересекал границу (скрипела фура еврея-контрабандиста, синели мартовские лужи, вдали фрегатом маячила кирка), в тот самый день в доме на Мейтленд-парк-роуд уснул Мавр.

Чудовищный год: весною умирает Маркс, осенью умирает Тургенев, И к Тургеневу в Буживаль ты тоже опоздал. Иван Сергеевич звал: «Вы мне очень нужны, надо переговорить об очень важном».

Увы, не пришлось ехать в Буживаль: в тяжелой болезни Ивана Сергеевича не обнаруживалось светлых промежутков; страдал ужасно, рушась в буйный бред, когда с ним едва управлялись два дюжих санитаров... Теперь уж конечно. Закатилось светило? Да, конечно, светило! Но Герману Лопатину суть в ином: щемит сердце, потому что утрата личная. Ушел не знаменитый человек, но человек душев-

ный и милый, всегда готовый пригреть всякое живое, порядочное существо...

А Мавр умер, отошел тихо. Как уснул. И это тоже ему, Лопатину, потеря личная, своя, кровная. Зять Маркса, Лафарг, совсем расстроил Лопатина. Оказывается, добрый старик до последних дней поминал его ласково, сердечно. И говорил, что Герман Лопатин был единственным, от кого ему, Марксу, приходилось слышать новые, оригинальные идеи в экономической области. И Герман Александрович печально улыбался: «Гм, так уж и единственным...» Умер Мавр. Страшная штука: думаешь — впереди годы, годы. И вдруг громовой удар: навсегда! И не вернешь ничего. Ни домашнего, кабинетного, у камина. Ни воскресных прогулок. Весело молили пустяки, подолгу обсуживали серьезное. А теперь чудится: главное-то и упущено... Дорогие мертвецы вечные наши спутники. Но, увь, вечно и чувство невозвратного, упущенного...

На Невском (это г-н Норрис еще студентом заметил), на главном проспекте угрюмость будто отодвигается, иставивая в огнях, толпах, движении.

Невским глухо выцокивал рысак. Не было британца Норриса, был русский Лопатин. Он будто спешил в «Европейскую», к Тургеневу. Волнуясь, радуясь, ласково негодуя, Иван Сергеевич потряхивал Германа за плечи: «Безумный вы, отчаянный человек! Уезжайте, бегите отсюда! Я знаю, слышал, не сегодня-завтра вас арестуют!» Лопатин смеялся: «Пустое, сто раз брали, сто раз упускали». И, беспечно откланявшись, из подъезда гостиницы — в подъезд Дворянского собрания, в концерт, на хоры, и ему уже улыбался, встряхивая кудрями, молодой художник, с которым когда-то знакомил его Тургенев, — художник Репин... Но вот уж ни залы, ни люстр, ни хоров, ни слушателей; Тартаков запел каторжанскую песню, любимую песню Германа Лопатина:

Спускается солнце за степи...

Но сейчас, затемно возвращаясь с Волкова кладбища, Лопатин не свернул в Михайловскую улицу, к «Европейской» гостинице, к Дворянскому собранию.

2

В старом кресле больным звоном звенела какая-то пружина. На фортепьяно криво громоздились ноты. С загнутых страниц ползли, как муравьи, нотные знаки. Портрет покойного отца смотрел на гипсовую маску Бетховена.

Дегаев будто скрывался на Песках. От кого? От чего? Лиза не знала. И вот еще странность: брат Сергей, кажется, с трудом переносил ее и Володино присутствие, ему не терпелось остаться в одиночестве.

Была непостижимой загадкой та минута, когда, ослабев, он сорвался, как с кручи. О, плевать на обличения одесской девицы. Но что ж сделалось с ним в Морнэ, у Тихомирова? Колдовская неуследимость поворотных минут. Они в шуршащей цепочке других, предшествующих, но тут не математика, тут не разочтешь, и вот, как удар саблей, и нет тебе возврата. Какой дурак придумал: слова улетают, написанное остается? Ничего не было написано в Морнэ, а слова молвились, которые не улетают, слишком уж большого веса. (Впрочем, есть за тобою, Сергей Петрович, и написанное, черным по белому, в толстой тетради. Ведь в Одессе тоже грянула рубежная минута. Нет, там-то и не грянула, а больно прозвенела, как пружина в дедовском кресле. Рождественские свечи горели, вино было и сладости, втроем встречали рождество.) Слова не улетают. Тебе напомнили об этом из Парижа. В Париже теперь Тихомиров. И Ошанина в Париже — прагматическая натура, якобинка с серыми глазами, не знающими пощады. Оттуда, из-за границы, явился Лопатин.

Какая честь, доверие какое! Кто он, Лопатин? Да, громкое имя, блистательные побеги, увоз из ссылки Лаврова, геройская попытка освободить Чернышевского, перевод «Капитала»... Да! Да! Да! Но ведь никогда не состоял в партии, вечно партизанил, эдакий Денис Давыдов от революции, И вдруг прикатывает с широчайшими полномочиями.

Прикатывает «мистер Норрис», держится диктаторски, будто вскользь бросает, что всему виною предательство, обещает собрать под знамена рассеянную армию. Короче: «Веселитесь, подружки, к нам весна скоро придет».

Сладостен плод, добытый неправдою, но быстро рот набивается дресвою; Дегаев охотно уступил бы первенство Лопатину, лишь бы не мешали исполнить клятвенно обещанное. И тогда — новые берега, новая жизнь.

Дегаев уже не однажды встречался с Лопатиным, но все еще не определил, знает ли тот о намеченной ликвидации. Лопатин молчит. Не торопит, как торопят заграничники. Создается впечатление непосвященности Лопатина. Однако верится с трудом. Тихомиров и Ошанина приняли рыцарские услуги Лопатина, а козырную карту не открыли?

У Дегаева закладывало уши, как при нырянии в глубину. И вместе он чувствовал себя уязвленным. Что ни говори, флаг еще не спущен. И никто не давал Лопатину права совещаться с молодыми, обходя его, Дегаева. Он теперь получает все из вторых рук — от Блинова. А Лопатин действует как следчик. На днях с живостью поддержал этого Флерова: «Объяснять хотя бы арест Фигнер лихим набегом мелкого беса Васьки Меркулова? Уж очень наивно-с, господа».

А тут еще известия об арестах в провинции. Именно там, где летом побывал Блинов, его, Дегаева, эмиссар. Лизин друг глядит смертником. Как и после провала унтера Ефимушки, Сергей Петрович сызнава попытался спроводить Блинова за кордон. Блинов ужасался: «А теперь и вовсе не время. Ведь это расценят как...» Он боялся договорить. Дегаев понимал: Блинова уже подозревают в измене, отъезд за границу подтвердит подозрения. «Да, да, подозрения, — думал Дегаев, — ах, эти подозрения, подозрения, подозрения...»

Все было по-старому в маленькой квартирке на Песках. Дегаев перелистывал, не вглядываясь, папку нот с надписью: «Рихард Вагнер». Вагнер, Нибелунги, дети тумана — какие пустяки. Вот этот Рихард Вагнер под конец жизни начертал на фасаде своего дома, что в сем жилище мечты его нашли покой. Где ж твой покой, бывший штабс-капитан?

С недавнего времени, беря газеты, Сергей Петрович утыкался в отдел «Заграничные известия». Не мимолетно и мечтательно, как в ялике, когда плыл с Нилом Сизовым к Лоцманскому острову, а с пристальной настойчивостью Дегаев думал об иных берегах, переносясь в те огромные города, где стеклянно-стальные сооружения в двадцать этажей, где в гаванях сумеречно от пароходных дымов, где двери Кабель-гарден распахиваются перед иммигрантами.

В Америке он обретет свободу. Но прежде надо обрести право на Америку. Он боится пролития крови, он обязался пролить кровь. На пути в Швейцарию предчувствие беды кошачьей лапой царапнуло душу. Гипнотизеры глядят на жертву пристально, а у Тихомирова — нистагм. Так, что ли, называется эта болезнь? У Тихомирова толчками движутся глазные яблоки. И все ж в Морнэ ты сник, как под жутким гипнозом.

Нынче один на один ты встретишь Лопатина. Один на один, без свидетелей! Ах, Кабель-гарден, ах, город Нью-Йорк, сойдет ли на спасительный твой берег бывший штабс-капитан?

Отшуршали цыганки юбками, и цыгане ушли, полыхнув азиатской радугой шаровар, тише стало в ресторанном зале и будто потускнело. Не без усилий снялась с мест хмельная компания. Наверное, москвичи, ухмыльнулся Лопатин, ишь лобызаются, московская манера.

Дегаев запаздывал, и Лопатин уже готов был усматривать в том пусть крохотное, но еще одно подтверждение своих догадок. Вот так и Нечаев медлил со свиданием в «Бо-Сит».

(Мысль о Нечаеве не была Лопатину внезапностью. Тут что-то хоть боком, хоть косвенно, однако сопоставлялось с Дегаевым... Тринадцать лет назад Лопатин дожидался Нечаева в кафе при женеvском отеле «Бо-Сит». Лопатин хотел вытряхнуть правду из этого «героя без фраз», как звал Нечаева старик Бакунин. Эмигрантская лавочка упивалась историей Нечаева — удивительным побегом из крепостного каземата. А Лопатин, сам уж беглый, ни на йоту не верил. В кафе «Бо-Сит» он прижал к стенке «героя без фраз», и тот признался во лжи, оправдываясь лишь тем, что находит в подобных «балладах» политическую пользу для русского освободительного движения.)

В истории дегаевского побега брезжила некая трещинка. Сквозь нее Лопатин видел то, чего, как ни странно, не видели другие. Самого ж «виновника торжества» он не расспрашивал. Нужно было еще многое сопоставить, о многом поразмыслить.

На прошлой неделе Блинов показал ему динамитную мастерскую, Квартира была выбрана толково, по всем параграфам конспиративного кодекса. Этот кодекс Лопатин считал несколько консервативным, подчас тормозом, но тут все было, как надо, умно и толково, ничего не скажешь.

Впрочем, не мастерская, а главный в ней работник захватил внимание Лопатина, обрадовал и растрогал, и он беседовал с Нилом Сизовым долго. Поначалу, признаться, сомневался: не мистификация ли, какой, мол, это слесарь? Поверил не потому, что Сизов сказал, где учился и где слесарил, а потому, что изъяснялся Сизов старательно, книжно, напряженно, будто боясь оплошать.

Вот ведь, подумалось тогда Лопатину, бесеvуешь, например, с немцем, с рабочим-немцем, социалистом, тот и вертится в германских проблемах, в австрийских проблемах, у того на уме один фатерланд, а этому, нашему, русскому, этому мир подавай — все интересно и важно. О

Марксе, конечно, наслышан. Но тут вот какое у молодого человека соображение: люди труда не станут ждать, когда рабочие численно верх возьмут, нет, не станут ждать, чтоб капитал и все там прочее сконцентрировалось, а дойдут до точки — поднимутся и опрокинут хоромину; всякие, говорит, революции бывали, но, не в обиду сказать, не по книжкам, не по руководствам.

«Эх, сырые еще дрова, сырые», — думал Лопатин, слушая напряженные, серьезные и очень для Сизова важные рассуждения. «А мы-то, — думал Лопатин, — знай одно, бомбу суем». Подумал он так и отогнал печаль свою, ибо все для него решилось минувшим летом: русские условия есть русские условия, борись с ними оружием, какого они требуют...

А русские-то условия тут как тут: чуть не за полночь в номерок дрянной гостиницы, вовсе не подходящей респектабельному «британскому подданному», ворвался Блинов.

Лопатин едва узнал своего утрешнего чичероне. Блинов как в тифу горел, лицо пылало, светлые волосы рассыпались прядями, он с порога ошеломил Лопатина требованием какого-то немедленного разбирательства, суда, трибунала.

Ничего не понимая, Лопатин сжал молодца в своих железных объятиях, и тот мгновенно и как бы удивленно затих. Лопатин бережно попрिдержал его, потом выпустил, скомандовал: «Выпейте крепкого чая!»

Четверть часа спустя Лопатин уже знал все. Почти все... Аресты в провинции. Там, где побывал Блинов. Тех, с кем вел переговоры в Киеве и Пензе, в Орле и Саратове... Тех, кого он, Блинов, никому не называл. И теперь товарищи вправе... «Стоп! — оборвал Лопатин. — Никому?! Кой же черт тогда колесили по городам и весям?» — «Ну, Сергею Петровичу», — ответил Блинов с безнадежным жестом, означавшим, должно быть, что это ведь все равно что никому.

Лопатин помолчал, потом спросил: «А в Саратове с офицерами встречались?» — «Нет, — быстро отозвался Блинов. — Впрочем, встречался. С братом Сергея Петровича, с прапорщиком. Да он-то, слава Богу, жив-здоров, в Питере служит». — «А мне говорили, — настаивал Лопатин, — что в Саратове нескольких офицеров взяли. Артиллеристов, кажется». — «Может быть, — отрывисто согласился Блинов, — не знаю. Я этого не знаю». И обреченно умолк. «Удивительная слепота, — с сожалением и участием подумал тогда Лопатин, — не хочет или не может оперировать логикой». «Послушайте...» — начал было

Лопатин, но тут заметил в Блинове какое-то колебание. «Если я и виноват, то в одном лишь, Герман Александрович. Но я слово дал, другу слово дал, а он поднадзорный, больной, падучая у него, мы старые приятели, и я слово дал...» — «Да какое же?» — «А не говорить о нем питерским, до поры до времени не говорить, и сдержал. И вам, извините, тоже не скажу». Блинов исподлобья смотрел на Лопатина. А Лопатин, блеснув очками, тылом ладони подбил «американскую» бороду, распушил веером: «И не надо! Не надо! Вы вот что... Слушайте, Блинов. Вы можете написать этому приятелю? Можете навести справки, уцелел ли? А? Можете? Ну-с и отлично. И ежели он, приятель-то ваш, о котором вы даже Дегаеву не сказали, ежели, говорю, цел он, ну уж тогда... Понимаете, Блинов?» Он, кажется, все понял. Но вот что странно: не ободрился, нет, поник, голову обхватил руками.

Нынче, сидя в ресторанном зале, из которого под ласковым конвоем фрачных лакеев спотыкливо выбирались москвичи, нынче «мистер Норрис» уже знал: дерптский приятель Блинова жив-здоров, Блинов ничего не сказал о дерптском приятеле Дегаеву, и вот, извольте-ка знать, приятель жив-здоров..

Дегаев извинился за опоздание. Усаживаясь, прибавил независимо:

— Хлопочу-с. Figaro ci, Figaro là¹.

Лопатин наклонился через стол.

— И là тоже?

Намек был лобовой. И даже не намек, а вопрос. Вопрос, на дне которого — ответ. И Дегаев понял Лопатина. Это самое «там» не нуждалось в комментариях.

— Вам сказали в Париже... — не то вопросительно, не то утвердительно молвил Сергей Петрович.

Лопатин резко откинулся от стола, громко позвал лакея. Нужно выиграть время: мысли рванулись скачками. Сомнений не было: первый удар в солнечное сплетение. Лопатина другое ошеломило: парижаном, стало быть, не секрет? Но что ж это такое? Черт, что же это такое?

Он отдавал приказания лакею, прищелкивая пальцами, точно бы в нерешительности, заказывать то иль это.

— Вы какие предпочитаете, — любезно отнесся он к Дегаеву, — эдамские или эмментальские?

¹ Фигаро здесь, Фигаро там (франц.).

Сергей Петрович опять заподозрил намек. В голове у него сцепилось: «Тихомиров — Швейцария», и на вопрос, какой сыр — голландский ли, швейцарский, он назвал последний.

— Все, — с акцентом произнес «мистер Норрис» и отпустил официанта. — Все! — значительно повторил Лопатин, но уже без акцента.

У него были прекрасные сигары. Он протянул сигару Дегаеву.

— Спасибо, не курю.

— И давно?

— Я и не курил.

— То есть как же? Говорят, при побеге вы жандармам в глаза табаком?

Лопатин сидел карающе прямой, золотая нить охватывала очки, золотистая борода, расчесанная, подстриженная, прикрывала крахмальную манишку.

— Опять эта Одесса, опять, — желчно процедил Дегаев.

— Да, опять, — отчеканил Лопатин.

— У меня был табак. Был! Был! Был!

— Чутьочку тише, — попросил Лопатин, — чутьочку тише. Значит, имелся табачок, а? И хороший, надеюсь?

— О, турецкий! Великий визирь курил, — вдруг наглей, ответил Дегаев.

— Ага, курительный табачок, — продолжал Лопатин, будто не замечая издевки мозгляка, которого он мог расплющить тоньше фольги.

Дегаев скривил губы. И тогда Лопатин, не торопясь, нанес последний удар.

— Курительный, — сказал он очень внятно, — курительный, сударь, в жандармские очи не швыряют, больно крупен. Для этого, уважаемый, нюхательным пользуются. Вот так-то.

Лопатин ждал пароксизма страха, а Дегаев не испугался, лишь обмяк, потер красноватую сыпь на лбу и усмехнулся. Лопатин тотчас подыскал объяснение его усмешке: ну конечно, это уж вторичное, после Тихомирова, изобличение, а вторичное не валит с ног.

Но Дегаев-то усмехнулся совсем другому. Он вспомнил, как в Харькове, в канун весны, рассказывал Фигнер о своем избавлении от одесского застенка, как его повезли в Киев, как он бросил табак в глаза конвойным. Верочка, радуясь, торжествуя, почему-то спросила про курительный табак, а он с разгона бухнул, что загодя припас. И сейчас, в эту минуту, вспомнив Харьков, всевластную Фигнер Топ-

ни Ножкой, он почувствовал к ней снисходительное презрение. Однако к человеку, очки которого поблескивали гильотиной, он испытывал совсем иное.

— Вы ж знали, Герман Александрович, — робко укорил он. — Для чего ж комедия? — И, устыдившись своей робости, повысил голос: — Хорошо, пусть так, я все понимаю. Но для чего комедия, зачем этот допрос, уловки эти, приманки? Помилуйте, экая пронизательность, когда вам обо всем в Париже сказали!

Лопатин не возразил. Лопатин, как фехтовальщик, сделал фланконаду, боковое нападение:

— А вы чего же дурака со мной валяли?

Дегаев уже взял себя в руки, отразил фланконаду: сказал, что дело задумано ультрасекретное, и он имел некоторые основания полагать, что парижане не доверились даже человеку со столь широкими полномочиями, как Герман Александрович.

Выпад был меткий. Дегаев и не догадывался, какой это был меткий выпад. Но Лопатин заставил себя пригубить бокал и, пригубив, сдвинул на лбу поперечную жесткую складку.

— Будет, Дегаев! К делу!

Они уходили из ресторана, когда в зал, отдохнув, возвращались цыгане. Швейцар распахнул высокие парадные двери. С улицы молодо прятнул сильно засвежевший ночной воздух, И докатился, как на прощанье, медленный гитарный раскат: «Ах, да погасите свечи, они плохо горят...»

4

Клеопатра играла в бильярд с Мардьяном. Были, не были в те времена бильярды, но царица и евнух гоняли костяные шары — Шекспир велел.

Рядом с дрянной гостиницей некий Савостьянов держал хорошую бильярдную. Сукно, не зеленое, как в любом присутственном месте, а синее, генеральско-жандармское, обливало широкие столы с тугими бортами. Красного дерева стойки для киев напоминали старинные барские стойки для курительных трубок. Трубки в бильярдной не курили, курили папирсы и сигары. Дым слоился плотно и желто.

Лопатин не глядел на партнера. Руки у Лопатина были в мелу, как у школьного учителя. Дуплетом шары летели в лузы.

Короткими кивками обменялись они с Дегаевым у ресторанный подъезда. Лопатин повторил: «Я здесь не один, случись что со мною... Честь имею».

Он не кликнул извозчика, долго шел пешком. Надо было упорядочить мысли, надо было успокоиться после исповеди этого мерзавца. Город гасил огни, город будто тонул. Ночь не была ненастной, ночь тяжелела в ожидании снегопада. Лопатин внезапно подумал: «Ночь после битвы принадлежит мародерам». Его пробрала жуть. Но он шагал и шагал всегдашней своей походкой, давно подмеченной филерами, чуть покачивая плечами.

Сидеть в номере было невмоготу, Лопатин спустился в бильярдную. «Нужен глазомер», — подумал Лопатин, принимая от маркера кий. Глазомер, как в крокете. Он не жаловал крокет, медлительная расчетливость ему претила. Бильярд был сродни крокету. «Глазомер нужен», — опять подумал Лопатин, начиная пятишаровую русскую партию с каким-то субъектом, и при первом коротком и тупом звуке «крокетная» связь вызвала в его памяти жесткие травянистые лужайки, и как Мавр или кто-то из дочерей его (лучше других, конечно, Тусси) читали вслух Шекспира и однажды, кажется, вот этот отрывок из «Антония и Клеопатры», где упоминается игра на бильярде.

«Быть на билии», — говорят те, кто вялен воблой в дыму бильярдных. «Быть на билии» — значит иметь выгодное расположение шаров. Черт дери, он, кажется, на билии? Однако азарт не блеснул за стеклами очков. Он играл, а не отыгрывался, и думал свое. И это «свое» никак не обретало логического рисунка, как шары на бесстрастной синеве обретали рисунок геометрический.

Он не мог отделаться от Дегаева, не «определив» его, как натуралист определяет рептилию по системе Линнея.

Ужас смерти — причина предательства? Но прекращение физического бытия реально не грозило Дегаеву. Участие в подкопе на Малой Садовой, заведование одесской типографией, даже членство в Исполнительном комитете сулило лишь каторгу. Пусть многолетнюю, но каторгу. Тогда что же? Эгоцентризм чудовищной степени? Несомненно. Ураганная жажда существования, которая крушит все этические нормы? Та жажда жизни, жизни любой ценой, во что бы то ни стало, жажда жизни, что зовется животной? Несомненно! Но оставалось еще нечто. Уродливая мания величия? (Как будто, черт подери, она бывает неуродливой!) Дегаев, живописуя свои подлости, увлекся, гарцевал — вот, дескать, как надобно носить маску, и, сдастся,

ожидал восхищения. Ну да, так. Несомненно, так, именно так. И однако, получалось слишком коротко, ordinarily. Лопатин это сознавал. Сознвая, противился углублению в дегаевскую сущность. Почему? Потому, верно, что сам-то Дегаев хотел, очень уж хотел этого углубления. И Лопатин противился. Но ощущение какой-то мелкой осадки его определений, какая-то их частность, что ли, не оставляла Лопатина. А-а, подумалось ему, как думалось некогда о Нечаеве, а-а, как же, как же: чего вы хотите? В такой уродливой обстановке, каковы русские общественные условия, всегда будет вырабатываться известное число уродливых личностей.

Впрочем, нет, не исчерпывается Дегаев предательством. В предательстве — доля преступления. Весомая, крупная, кровавая доля. А другая — еще крупнее, еще весомее — в провокации. Тут новое слово, тут масштаб и размах, сладострастная изощренная деловитость. И тут Судейкин, господин главный инспектор секретной полиции. Две гиены рыщут в ночи после битвы. Прежде тоже была ночь, ночь Желябовых, но то было до битвы и при самой битве. Гиены выходят потом, ибо ночь после битвы принадлежит мародерам.

«Глазомер, — подумал Лопатин, — глазомер спасет. Глазомер, как у старика Фридриха». Совсем ведь недавно: лондонская хриплая осень, дождь, туман, камин горел. Они разбирали бумаги покойного Мавра. Старик Энгельс широко глядит: в нынешней России усматривает Францию минувшего столетия, кануна революции; русским начинать, Россией новая эра откроется. Глазомер! Старый Энгельс провидец. Но разве он знал, что наступает ночь после битвы, и эта ночь принадлежит мародерам? Да, да... Что он еще говорил тогда? Хвалил, и Маркс тоже хвалил, то письмо, которое отправил Исполнительный комитет третьему Александру после смерти его папеньки. Очень они хвалили это письмо за политичность и спокойный тон, замечая, что среди русских революционеров есть люди с государственным складом ума. Вот так-то. А письмо составил Тихомиров. Тихомиров — человек государственного ума? Гм... Но сейчас, но теперь для него, Лопатина, суть совсем в ином, в другом теперь суть, и найти, разрешить ее куда труднее, нежели определить рептилию по имени Дегаев...

Играл, а не отыгрывался. Ему везло. Слоился дым, мел сушил пальцы, шаркал маркер; кто-то бледный игорной бледностью захлебывался шампанским. Шары на синем ло-

жились белыми созвездиями. Геометрический рисунок возникал и менялся, логический рисунок не возникал.

Тихомиров и Ошанина знали. Он, Лопатин, не знал, ничего не знал. Правда, Ошанина вроде бы удерживала его: «Не спешите, Герман Александрович, сейчас очень опасно». Он смеялся: «Ах, мать игуменья, в революции всегда опасно!» Теперь, зная, почему она говорила про опасность, он не мог объяснить себе эту тихомировско-ошанинскую утайку. Не мог, как не мог и Дегаев. Все понять — все простить? Да, но прежде надо понять, не так ли? Ты уезжал в Россию, где Дегаев все продал и предал, тебе давали адреса, явки и все такое прочее — и ничего, ни словечка о проданном и преданном...

Улица Флаттерс, Париж. Она живет, как в келье. Ты шутил серьезно: «Мать игуменья». Якобинка и вместе как умная крутая настоятельница. Одной России дано лепить такое из помешанных барышень. «Люблю и в то же время ненавижу русских крестьян за их покорность и терпение...» Любя ненавидеть — чаадаевская закваска. Где уразуметь ее «истинным сынам отечества»? Тихомиров и Ошанина — последние паладины, последние из учредителей старого Исполнительного комитета... На rue Flatters живет Ошанина. Тихомиров приехал из Швейцарии позже, ты уж тогда перебрался в Лондон. Тихомиров приехал в конце сентября: в газетах было — на Северном вокзале, провожая тело Тургенева, венок от русских социалистов возлагал г-н Тихомиров... А летом в Париже была Ошанина. Она знала все. И ничего не открыла. Может, и ты был для нее «пушечным мясом»? Она же без обиняков: «Когда затевают захват власти, народ не больше чем пушечное мясо!» Она, конечно, видела, как ты колеблешься, ты, партизан, колебался формально принять хоругвь «Народной воли». И даже укрылся ненадолго в Бретани, в суровой земле суровых кельтов, в туманах и ветрах. И на берегу океана, среди грубых, как погребальные дольмены, скал молил, подобно юноше из стихов Гейне: «О, разрешите мне, волны, загадки жизни...»

И опять на rue Flatters серый строгий блеск спокойных глаз, короткие фразы, срывающиеся с усмешливых губ Ошаниной: прежде всего практические дела, все прочее — от лукавого... Ты не дал решительного ответа, уехал в Лондон. Была хриплая осень, огонь в камине, старый Энгельс, скосив бороду, разбирал бумаги покойного друга, потом, откинувшись в кресле, говорил, что русская революция грянет, а Тусси, младшая дочь Мавра, смотрела

на тебя печально и вопрошающе. И в сентябрьский четверг, полный мрака, ты написал в Париж, на улицу Флаттерс: «Ваше благословение, мать честная игуменья...»

Шаркает осовелый маркер. Лица то будто вспухают, то жухнут в табачном дыму. Фигуры без пиджаков, без жилеток то словно вытягиваются, то укорачиваются.

Не играет уже Лопатин — отыгрывается. Законы упругости против него. Белые шары мечутся по жандармской синеве.

5

Разговор оборвался, как курок взвели: шелк — и враждебная тишина. Блинов пришел на Спасскую, к Якубовичу. У Якубовича был Флеров. Блинов поискал глазами Розу Франк, не нашел, ему почему-то стало легче.

— Садитесь, Коля.

Блинов улыбался напряженно и просительно, как слепой на перекрестке.

— Понимаю, не вправе задавать вопросы, но все ж позвольте.

— Что за китайщина, Николай? — с грубоватым нетерпением осведомился Флеров.

— Нет, нет, господа, конечно, не вправе, очень понимаю.

— Да мы-то, представьте, ничего не понимаем! — досадливо воскликнул Якубович. — Что это с вами в последнее время?

Как они увертываются, как увиливают! Недурно, коллеги! А едва вошел, разговор оборвался. Думаете, не заметил? Очень хорошо заметил, господа!

Блинов положил руки на спинку стула, раскачивал стул, улыбаясь улыбкой слепца. Ему казалось... Нет, он был уверен: от него отшатнулись, в нем сомневаются, он отщепенец. А «мистер Норрис» как в воду канул. Единственный, кому он, Блинов, дал некоторое доказательство своей непричастности к недавним арестам в провинции. Пропади все пропадом: он должен доказывать, что он не подлец. И докажет, докажет, коллеги, да только не на словах.

— Так вот, прошу вас: мне необходим Лопатин.

Якубович переглянулся с Флеровым. Блинов поймал их взгляд, понял по-своему, повернул и оседлал стул.

— Вы можете... Вы можете не давать явки, но не можете отказать в последней просьбе.

— Ничего не разберу, — рассердился Флеров. — Что за «последняя» просьба? Почему «последняя»? Да говорите наконец, Николай! И без того душу воротит!

«Душу воротит, — подумал Блинов, — у него душу воротит, они тут уже все решили». Он не протестовал, он уже принял их недоверие. Они были правы. Только вот что, коллеги: я бы, сдаётся, не стал так быстро менять отношение к товарищу, пусть бы тот еще ближе стоял к Дегаеву. Убеждать, бия себя в грудь? Помилуйте! Нет, коллеги, вы получите такое доказательство, такое сокрушительное доказательство... Но перед этим необходимо повидать Лопатина. Одному Лопатину, лишь Лопатину хочет он поклясться в своей непричастности к арестам в провинции. Впрочем, невольная причастность есть, существует, никуда не денешься. Невольная, это так. Но он, Блинов, не того замеса, чтоб схорониться в тени: я, мол, обманут, обманут, как и вы, милостивые государи. Нет, в революции все сообща, и сегодня нечего оправдываться изменой того, кому вчера поклонялся... Только бы услышать от Лопатина: «Верю: вы, лично вы тут ни при чем». И тогда уж окончательный расчет.

— Можете устроить мне встречу с Лопатиным? Где угодно, несколько минут. Не отвечайте тотчас, справьтесь у Германа Александровича. Мне необходимо.

Опершись на стол, Якубович прикрыл глаза ладонью. Он догадался: Лопатина ищет Блинов для самооправдания. «У Николая вид, как у рехнувшегося», — думал Якубович, вслушиваясь в маниакальные повторы Блинова и шевеля кончиками пальцев, будто умеряя ломоту виска. Прежде небывалое ощущение беды и мрака нарастало в Якубовиче. «Ты не винишь Николая, — думал он, — а между тем не вступаешься за него, когда другие позволяют в его адрес грязные намеки. Почему ж не вступаешься? Ведь это безнравственно, не так ли? Есть высшая нравственность, отмечающая интересы личности? Не репутация Блинова должна заботить тебя, а практическая партионная повседневность? Ты не можешь защищать Блинова, страшись ошибки? Но что же такое организация, если не каждый из нас, ее составляющий?»

— Послушайте, Николай, — обратился к Блинову Флеров. — Погодите! Не стану допытываться, что уж такое чрезвычайное... Однако, поверьте, пребывание Германа Александровича нам неизвестно. Пока неизвестно. И мой вам дружеский совет: потерпите неделю, другую.

На лице Блинова снова появилась слепая улыбка. Ах, как он все понимает... Эта удрученность и рассеянность Якубовича, этот внезапный отъезд типографов Шебалина и Богораз, очистка динамитной, исчезновение Нила Сизова, отъезд из Питера многих товарищей... Да, да, коллеги, Блинов не новичок, он чувствует безошибочно: что-то произойдет, что-то непременно должно произойти, но ему-то не говорят, нет ему доверия, отщепенцу.

А Якубович, не отрывая ладони, кончиками пальцев массируя висок, ощутил некое избавление. И впрямь: ни он, ни Флеров не смеют открыть убежище Лопатина, не вправе занимать Германа Александровича второстепенным, «мистер Норрис» коршуном повис над Дегаевым, какие теперь свидания... Вчера лишь в квартире литератора Венгерова, в большом кабинете с мягкими мебелью и книжными гималаями, вчера лишь, когда ушел Дегаев, Лопатин потребовал не открывать его убежища. «Ничего нельзя сказать, — думал Якубович, словно освобождаясь, — ничего нельзя сказать Коле, пусть подождет».

Блинов встал и молча направился к двери, будто завершая что-то, не разговор, а что-то гораздо большее. Они оба поднялись, Якубович и Флеров, на них дуло холодом. Блинов не обернулся.

На дворе было тускло. Тусклые окна и лица, тусклое небо, наезженный снег, морось ингерманландских болот.

Мысль, внезапная и самому Николаю, и, кажется, всей этой нынешней глухо-немой тусклости, вдруг вольтовой дугой блеснула Блинову. Он вскинул голову, словно его снизу ударили в подбородок, и огляделся, приметливо, зорко, напряженно. И тотчас сообразил, что Дегаева нет, быть не может поблизости, что теперь Сергея Петровича почти наверняка застанешь у Лизы.

Не прячась за ватной спиной кучера, Блинов, изогнувшись, подставил лицо ветру. Ветер длинно полосовал его щеки и лоб. Блинов точно бы утратил чувствительность, а если и не утратил, то не ледяные ожоги испытывал, но боль почти сладостную, как при самоистязании. Вместе с тем размышлял он стройно и точно. Он переложил револьвер во внутренний карман пальто. Бельгийская, лютихская штучка грелась у него за пазухой, сунув туда руку, он оглаживал вороненую сталь. Блинов не разлучался с револьвером с той — совсем недавней — поры, когда исполнял роль эмиссара Исполнительного комитета. Роль, на поверку предательскую. Нынче будет поставлена точка. Патронов на двоих достанет. Хватит патронов. Лишь бы не разминуться.

Он думал о предстоящем спокойно и точно, почему-то, однако, не принимая в расчет Лизу. Ее не должно быть на Песках, нечего ей делать на Песках.

А на Песках, в Лизиной квартире, в маленькой гостиной был не только Сергей Петрович, была не только Лиза, но и младший Дегаев, прапорщик гвардейской артиллерии.

Сергей Петрович лежал на продавленном, давно ждущем починки диване, лежал, закрыв глаза, вытянув «солдатиком» руки. В ногах у него, на красшке дивана, неудобно и не замечая неудобства, примостилась Лиза, а младший брат сидел рядом, в дедовском кресле. Шторы были приспущены, словно ждали батюшку со святыми дарами. А пахло-то не фармацевтами — питейным: вот уж сутки, то забываясь, то вскакивая, Сергей Петрович пил вмертвую.

Серая дрянь в пузырьках, в соринках плавала за веками, но говорил он с той твердой, каменной отчетливостью, с какой иногда говорят тяжело нетрезвые люди.

Говорил он про одесский арест, про тот арест, что был ровнехонько год назад, когда провалилась типография, когда взяли типографов, его взяли и Бельша, и всех посадили в отдельные камеры, и полковник Катанский, фанфарон и глупец, приступил к следствию. Впрочем, коли вникнуть по-настоящему, суть была не в этом полковнике, дело-то было в другом. В том, что он, Сергей Петрович, после первого марта, после провалов и несчастий, увидел в партии одни лишь дрязги и взаимные «подкапывания», каких не было при Перовской и Желябове. Энергия растратилась, все покорилося течению, одна Фигнер непогасшим вулканом, но и в ней он замечал усталость и разочарование.

— А тюрьма не шоколад. Дураки пыжаты: плевать, мол. Я не пыжился, от тюрьмы не зарекался. Но Любинька-то за что? Я вовлек, я в ответе, а все ж за что и ее? — Веки у Сергея Петровича мелко-мелко дрогнули; Лизе почудилось: как лягушачья лапка. Володя сидел неживой, бледный.

Дегаев помолчал. Серая пелена накренилась, соринки и пузырьки мельтешили. Потом забрезжило оранжевое, и Сергей Петрович понял, что Лиза зажгла лампу.

— Может, один я, один во всей подпольной России вывел математически: на прежнем, на старом пути конец, тупик, никчемная бравада, не больше... Тысячи лет — Эвклид. И вдруг явление — Лобачевский. С собою не сравниваю, параллели всегда бессмысленны. Но параллели! Если математически, если по Эвклиду, то не пересекаются. А выходит, и нет! Нет! Из одной точки — одна? А выходит — не одна. Слышишь, Володя? Да, вот оно как, в тюрьмах-то

иные миры, иные измерения открываются. Я смерти, честью клянусь, не боюсь. Но какой? Осмысленной, продуктивной. С бомбой выйти и погибнуть — герой? А я, может, завтра умру и не от бомбы... — Веки у него опять дернулись, но теперь крупно, хоть считай. — Молчите, молчите, — с силой проговорил он. — Новое мне в тюрьме, в Одессе, открылось. Пшют Катанский, что было с ним! Я вспомнил твоего, Володя, как он с тобою здесь, на Шпалерной... Не с тобой одним он такие речи вел. Вот мы и твердили: подходы это, не больше, подходы и уловление. А в одесском застенке, анализируя, время было... Я ни в Бога, ни в черта, а тут — как осенило: да ведь он-то, Судейкин, сам ищет, сам примеривается, а никак не найдет фигуру по мерке, чтоб главный калибр был, чтоб мортирой звучал. И тогда я Катанского побоку: нет, объявляю, полковник, нам с вами делать нечего, вы мне господина Судейкина подавайте. И что же? Сам он, сам потом Судейкин признавался: «Я, Сергей Петрович, к пустышке, к фунтику-то не потащился бы, но докладывают: Сергей, мол, Петрович Дегаев. Я сразу на ус: не какой-нибудь там мальчишка»... Вот он и прибыл. Канун Рождества был. А в тюрьме... Вы слышите? Слышите, а? В тюрьме канун Рождества самое тяжелое, никакой другой праздник, а этот вот самое и есть тяжелое... Ну хорошо, хорошо, Рождество тут вовсе и ни при чем... Встретились мы с ним, оба осторожничаем. Но вижу: недолета нет, перелета нет, вот она — цель. Такой же недруг существующей власти, а только с иного конца приняться жаждет. Определяет умно, тонко: «Народная воля» — банкрот-с, всякому овощу свое время». И не ловит, ясно вижу, не ловит. Без лести говорит: «Вы, Сергей Петрович, самая крупная сила в революции. Вера-то Николаевна Фигнер святая, я перед нею на коленях, да ведь какая ж, ежели всерьез, из нее деятельница?» Я пронзительнее многих любил Верочку, при одном ее имени у меня сейчас мальчишки кровавые. Но есть молох революции... Когда бы до первого марта, когда бы прежние силы, тогда совсем иное... Ну, сошлись мы с ним накрепко, на кон — все! Не о себе, не о своей пользе... — Кулаки у Дегаева сжались. — Знаю, скажут: личный интерес... Пусть! «Есть высший судия...» — Дегаев руки скрестил на груди, веки по-прежнему смежены. — У Георгия Порфирьевича была программа. Сразу чувствовалось, давно выношенная. Я вам коротко: запугать правительство, в угол загнать удачными покушениями, все в едином узле, и тех, что во дворце, и тех, кто в подполье. И вот тут, на почве общего страха — диктуй, властвуй. Обещал он меня госуда-

рю представить. А государя в силу его природы можно направлять, и я бы, конечно, добился. Великая цель была близка: диктатура ко благу народному. Вы скажете: слишком просто? Нет, не просто и не то чтобы сложно, а невиданно от века. Тут заговор двух, тут архимедова точка, и вот уже требовалось привести в действие рычаг. Будь жив Желябов. Один из всех он обладал подлинной политической интуицией... Будь он жив, согласился бы, честью клянусь! Но свершилась трагедия... Вот вы назовите, попробуйте назвать, кто меня трагичнее как личность, как общественный деятель? На эшафоте это ведь несколько минут не дрогнуть. А мне каждый день, каждая ночь голгофой. Аванс нужен был Георгию Порфирьевичу, я и выдал аванс. И мне после того мальчики кровавые, но молох всеожжания требует, через огонь требует...

Сергей Петрович медленно открыл глаза, вперился в потолок. На потолке пошатывались нечеткие тени. Лиза, всхлипывая, припала к его ногам. Вся она была в ужасе, в трепете, в сестринском сострадании.

Володя не сводил глаз с тяжелой большой головы на подушке, с этого землистого лица. Мрачный восторг возгорался в душе прапорщика. О, как он понимал, как понимал ужасный, демонический подвиг старшего брата! Как грозно и страшно обречь себя на позор, губить и брать на себя вину во имя будущего России! Не о себе помышлял Сергей. Большие у него были деньги, у Судейкина брал, а сам-то перебивался кое-как, все на партийные нужды тратил.

Дегаев дышал трудно и как-то по-детски, будто в дифтерите.

— Когда-нибудь, и очень, думаю, скоро, — снова заговорил он, — скоро, думаю, услышите про меня: кровь наша на нем. И не отвергайте, не перечьте, теперь уж ничего не докажешь. Помните: «Есть высший судия...» История не спрашивает, как сделано, она спрашивает, что сделано... Я был у цели! Да, да, у цели! И еще б немного... Но мне помешали. Я никому не мог открыть высшей цели. Никому. А когда открылся Тихомирову, мне помешали, обесценили все жертвы. Теперь пусть пеняют на себя.

Он долго молчал. Потом перевел взгляд на Лизу. В глазах его плеснула вдруг такая нежность, печаль, что Лиза оцепенела, как ребенок за миг до рыданий. Сергей Петрович сбросил ноги на пол, сел и, обняв Лизу, поцеловал ее в голову. Она зарыдала и выбежала из комнаты.

Что ею владело? Страх, жалость, стыд, восторг? Все спуталось. Она не могла, как Володя, видеть лишь траги-

ческий неудачный замысел. Она догадывалась, что старший брат многое искажил. Но не хотела признать его промотавшимся мерзавцем, а хотела верить, что он как-то, по-своему, прав, у него чистая, возвышенная душа, обстоятельства обманули его... И все-таки Лиза знала (как бы тайком от самой себя): промотавшийся мерзавец... Да ведь брат же, родной, кровный брат, который сейчас только смотрел на нее с такой нежностью, с такой печалью... Она ничего уже не понимала, она плакала.

Подурневшая, с пятнами на лице, Лиза вернулась в гостиную. Братья говорили о чем-то тихо и сосредоточенно. Лиза расслышала: «Стокгольм... Лондон...» Они поглядели на нее виновато и растерянно. И Лиза тотчас подумала о каком-то сговоре, о каком-то бегстве, и неприязнь к обоим вспыхнула в ее смятенной душе...

Когда она отворила дверь, Блинов отшатнулся, едва не вскрикнул. Лицо его страшно багровело, он шептал потерянно: «Ты? Ты?.. Здесь?» — и, переминаясь, судорожно ворошил за пазухой.

Все рухнуло. Пристрелить Дегаева на глазах у сестры? Как же он раньше-то не подумал... Блинов машинально переступил порог, вошел в прихожую, повторяя: «Ты здесь?..», но уже не ошеломленно, а с гневным, злобным, сумасшедшим напором. Он ненавидел ее, с головы до пят ненавидел. Потом круто повернулся, половицы скрипнули, он опрометью бросился вниз по лестнице.

Лиза, обмерев, прислушивалась к его сбивчивым шагам, как он там, на лестнице, громко произносил какую-то бессмыслицу. Из гостиной не доносилось ни звука. «А-а-а, вы так, вы так», — отчаянно подумала Лиза и, не надев пальто, простоволосая, кинулась вслед за Блиновым.

Ее будто ледяной водою окатило, но она, не замечая мороза, побежала по улице, свернула за угол и остановилась: Николенька был далеко.

Далеко уж был Блинов, один в этом марсианском скопище мерзлого железа и камня. Шел Блинов скоро, нагнув голову, как идет человек, решительно знающий, что ему делать, куда он идет и зачем.

Но куда он идет, Блинов не знал. Он знал лишь, что ему делать. Однако странность: Блинов как бы напрочь позабыл про револьвер. Будто потерял. Потерял и не думал о потере. А думал он совсем об иных утратах. О крепком бородаче с палкой-посохом, о бородатом Троицком, уже

арестованном в Саратове, о штабс-капитане Иванове и его товарищах, тоже уже арестованных, и о бывшем ссыльном, о чахоточном учителе из Пензы, равнявшем Робеспьера и Бирона, думал о тех, кто дал ему, Блинову, кров в Киеве и в Орле, обо всех, кого обрек каземату и каторге, и даже мздоимец унтер Ефимушка вспомнился Блинову, правда, мельком, потому что он сразу же подумал о Златопольском, о заточенных в Петропавловской крепости.

Литейный мост широко, прочно и высоко простерся над Невою, над неровным торосистым льдом. Дул, присвистывая, ладожский ветер, громыхали ломовики. Свист и грохот подхватили Блинова. «Вот оно, вот оно», — подумалось ему с необыкновенной пронзительной радостью.

Ломовой возчик осадил битюга, заорал, что было силы:
— Куда! Стой, дурак!

Подскочил к чугунной ограде, перегнулся:
— Сто-о-о-ой!

6

Тайный советник по табели о рангах соответствовал генерал-лейтенанту. Но тайный советник, как и генерал-лейтенант, — это «превосходительство», а не «высокопревосходительство».

Недавно Вячеславу Константиновичу всемилостивейше разрешено принять и носить черногорский орден Даниила. Но даже в маленьком балканском княжестве это не высший орден.

Невидимый огонь жег сухопарого бледнолицего сановника. Директор департамента полиции знал свою власть. Ее границы эластичны, но ему мало этой эластичности.

Близится Рождество. К Рождеству, как обычно, последуют награды. Ему, Плеве, сулят еще один иностранный орден. Быть может, датский; датский орден исхлопочет датчанка Дагмара, государыня императрица Мария Федоровна... Белый эмалированный слоник осыпан драгоценными камушками. Говорят, первым в России его получил светлейшей Меншиков. «Награда за великодушие» — девиз ордена. О да, Меншиков был великодушен, весьма великодушен: у него было куда как много душ... Что ж до Вячеслава Константиновича Плеве, он и вправду великодушен, по точному смыслу слова: умеет прощать обиды, кротко сносить превратности жизни. Господи, ведь сносит же он такие «превратности», как граф Дмитрий Андреевич.

Ах, мешает директору департамента этот старик с лицом канцелярского сутяги. Малейшие улучшения в области управления внутренней политикой граф путает с ненавистными ему «преобразованиями». Увы, нередкий дальтонизм. Государь этим тоже страдает. Натурально, сила инерции необходима, как балласт кораблю. Но если сила инерции становится единственной? Тогда именно то, что теперь: всеобщее недовольство всеобщим. Отсюда печальная быстрота возникновения дутых ценностей. Отсюда вера в великую ложь времени — в фетиш парламента, в фетиш народовластия... Император ошибался, сомневаясь в неподвижности основных убеждений директора департамента полиции. Но видит Бог, такой министр, как граф Дмитрий Андреевич, слишком... не надо бояться слов... слишком реакционен. Смерть его была бы благодеянием для России. И для тебя, Вячеслав Константинович. Зачем же чураться честолюбия, коли оно совпадает с интересами родины? А в любви к родине он готов поклясться на распятии.

Впрочем, то были общие, теоретические построения бывшего прокурора. Повседневность тайного советника слагалась из бесконечных и многотрудных департаментских, розыскных дел, которым он отдавался денно и ночно, не считаясь со временем.

В этом мерзком подполье происходило какое-то загадочное движение. Оно связывалось с именем небезызвестного Лопатина. По сведениям заграничной агентуры, по сведениям ее штаб-квартиры в Париже, Лопатин будто бы отправился в Россию... Вячеслав Константинович потребовал архивные документы, дабы освежить в памяти, как он выразился, «лопатинщину». Синяя казенная папка начиналась шифрованной телеграммой от февраля 1883 года: «Скрылся из Вологды состоявший под гласным надзором Герман Александрович Лопатин». В тот же день полетели шифрованные депеши на все пограничные пункты империи. На другой день из Вологды был командирован полицейский служитель, знавший беглеца в лицо. И вот оно, это «лицо», — на большой, кабинетной фотографической карточке: высокий лоб, из тех, что зовут «благородными», очки, борода. Общее впечатление — достоинство, энергия, душевная сила. В приметах указывается: «При походе заметно особенное движение плеч и выпячивание живота». Это «выпячивание» вызвало на анемичных губах Плеве усмешку, относившуюся не к обладателю живота, а к филерской словесности... Тут же, в синей папке, подшито распоряжение о розыске офицерской вдовы Зинаиды Апсеп-

товой. Выяснилось, что брак ее с покойным офицером был фиктивным, а с Лопатиным нефиктивным, выяснилось, что в Париже слушала она курс медицины, потом вышла у нее с Лопатиным какая-то серьезная размолвка. Зинаида, по слухам, отправилась в Швейцарию, а Лопатин, опять-таки по слухам, отправился в Россию. Ну-с, пожалуй, и все... Однако суетня в подполье определяется не только путешествием Лопатина, но и наездами поляков, причастных к крамольной организации «Пролетариат».

Яблонский не отрицает ни Лопатина, ни поляков, но до сей поры не навел на след. Инспектор же Судейкин настаивает: не трогайте Яблонского, не дергайте его, он главным занят... Черт возьми, злодеи первого марта с государем императором управились, а хваленый Яблонский, коего не трогают, коему споспешествуют, все еще возится в динамитной мастерской.

Впрочем, как докладывает Георгий Порфирьевич, не только динамитом увлечен: составляет особую «ведомость» — новый перечень господ социалистов... Вчера в их полку убыло. Не потребуются бывшему студенту Горного ни апартаменты в Трубецком бастионе, ни даровые харчи, ни тюремная прислуга. Безобразный труп опознал Яблонский в морге Медико-хирургической академии. Яблонский объясняет самоубийство буйным помешательством. Вполне возможно, ибо зачем же Литейный мост, когда в кармане бельгийский револьвер с затертым номером? Все они фанатики, юродивые... Но сдается, изменяет Георгию Порфирьевичу удивительная его пронизательность: самоубийство любовника Дегаевой непременно в некой таинственной связи с исчезновением Дегаева-младшего. Внезапно, без видимых причин, прапорщик увольняется в запас, внезапно исчезает из Петербурга. Что бы ни предполагал инспектор, как бы ни заступался, он, директор департамента, нынче распорядится при обнаружении немедленно арестовать Владимира Дегаева... А таинственную связь Судейкину надлежит распутать. Чем скорее, тем лучше.

Пока не отпели старого графа, ему, Плеве, и Георгию Порфирьевичу бегивать в одной упряжке. Самолюбие и честолюбие суть главные двигатели души инспектора. Однако он достаточно сметлив, чтоб не допустить стороннего к шкивам и блокам этих двигателей. Его отношения с Яблонским нет-нет да и наводят на мысль об очень дальнем прицеле. Тут чувствуется такая бездна, что даже страшно. Может быть, имело бы важный практический смысл устроить сверхсекретное наблюдение за самим инспектором? Плеве об этом

подумывал, не шутя. Перебирая деятелей политического сыска, он задерживался на двух фигурах. Его привлекали капитан Вельдницкий, заведовавший агентурой в Одессе, и Скандраков, москвич, недавно оправившийся от тяжелого ножевого ранения. Впрочем, до тех пор пока не высвободилось министерское кресло, у Георгия Порфирьевича руки должны быть совершенно развязаны. Более того! Надобно заботиться об его безопасности и здравии. Даже... даже при свиданиях с Яблонским. И недавно Вячеслав Константинович настоял на следующем: во-первых, в дом Яблонского введен слуга, денщик, сам же Судейкин и подыскал — бывший жандармский унтер Суворов; во-вторых, помощник и адъютант инспектора Судовский обязан неотлучно сопровождать дядюшку... И когда Плеве напоминает и повторяет: «Будьте осторожны, будьте очень осторожны!», его холодный голос теплеет. А нынче директор департамента намерен остановить внимание инспектора на происшествиях, пусть незначительных, но стянувшихся вокруг Дегаевых, а посему и нельзя смотреть сквозь пальцы...

Георгий Порфирьевич давно уж не испытывал такой душевной бодрости, как теперь, в предвкушении Рождества. Он уже знал и о солидной денежной награде, и о том, что производство в полковники решено. Кроме того, еще и недели не минуло, как он унес ноги из Харькова.

В Харьков Георгий Порфирьевич нагрязнул ради самоличной ликвидации местных революционеров. Однако тамошние оказались редкостными пройдохами: выследили обе квартиры, которые попеременно занимал инспектор, и чуть было его самого не ликвидировали. Да спасибо, Яблонский вовремя упредил, и Георгий Порфирьевич ретировался. Случай этот еще более упрочил бы его доверие к Яблонскому, когда бы только не было оно гранитной прочности. Повысившуюся в последнее время взвинченность Яблонского инспектор, конечно, замечал, но относил за счет страшного напряжения, неизбежного и понятного при двойной игре. Внезапное исчезновение Дегаева-младшего, переведенного из Саратова в Петербург по просьбе старшего брата, не наводило Судейкина на мысль о возможности какого-либо подвоха со стороны Яблонского. Следовало, правда, потребовать объяснений, и он, инспектор, потребует, да наверняка все обернется каким-нибудь пустяком.

В голый, опрятный, без соринки и пылинки директорский кабинет Судейкин явился своей молодцеватой пруж-

жинно-твердой походкой, в своем партикулярном, отлично сшитом костюме, выбритый, свежий, румяный, хоть сейчас на картинку.

Георгий Порфирьевич невозмутимо слушал Плеве. Предположения директора департамента казались ему досужими. После Харькова какие могли быть сомнения в Яблонском? Харьковским злодеям оставался вершок до того, чтобы порешить инспектора. Но тут-то — спасительная телеграмма Яблонского. Нет, Вячеслав Константинович дует на воду.

Он невозмутимо выслушал тайного советника. Пообещал нынче же, в пятницу вечером, увидеть Яблонского. И откланялся, пребывая все в той же душевной бодрости. Но потом, занимаясь в своей захлавленной комнате, Георгий Порфирьевич как-то неприметно обеспокоился. Темное чувство овладевало им все сильнее. Он бросил бумаги, стал курить и ходить по комнате.

Исчезновение Дегаева-младшего... Самоубийство Блинова... Что бы все это могло значить? Вокруг отставного штабс-капитана образуется пустота. Это то, что в революционной среде называют очисткой. Но очистку производят при возникновении серьезной опасности. Стало быть, серьезная опасность угрожает Дегаеву? Какая же? В чем она, эта опасность?.. И, наконец, нынешнее срочное приглашение в квартиру номер тринадцать. Может быть, Яблонский хочет объясниться?

День мерк. Судейкина передернуло: «Квартира номер тринадцать. Надо же!» Он усмехнулся над самим собой. Потом достал из шкапика бутылку коньяку и позвал Судовского.

— Ну, Коко, — сказал Георгий Порфирьевич, — Бог не выдаст, свинья не съест.

— Это уж точно, — бездумно отвечал Коко, принимая рюмку.

Они чокнулись и выпили.

К дому, что фасом и на Невский и на Гончарную, к дому, где в третьем этаже квартира номер тринадцать с окнами в сумеречный двор, Георгий Порфирьевич испытывал особенную, интимную привязанность.

Не постельные утехи привязывали Судейкина к этому дому, а долгие, часами, беседы с Яблонским. Давно желанная, давно взлелеянная золотая пора розыскной секретной службы началась лишь при Яблонском. Не здесь, не в Питере, началась, а в Одессе, ровнехонько год назад. Хорошо, семейно справили они тогда Рождество с Яблонским и его женою. Хорошо! При свечах, вино было, сладости, хоть и

происходило все за тюремной оградой... Яблонскому цены нет. Никогда ни одна полиция не располагала таким сотрудником. Но, черт побери, не располагала и таким инспектором! Слышать, господа министры и господа сенаторы зело побаиваются тебя, Георгий Порфирьевич. То-то ли еще будет!..

К дому, что фасом и на Невский и на Гончарную, к дому, где в третьем этаже квартира номер тринадцать, Судейкин и Коко приехали в серый, неотчетливый час.

Судейкин нашарил в кармане ключи, но Яблонский сам уже отворил дверь.

— Ах, Георгий Порфирьевич, — сказал он взволнованно, — жду не дождусь.

— Что так? — ласково осведомился инспектор. — А где ж наш «генералиссимус»?

Яблонский торопливо, но с какой-то как наперед затверженной обстоятельностью отвечал, что лакей его, Суворов, вчера еще, в четверг, отпросился к куме, в Озерки, обещал «обернуться обыденкой», да вот, изволите видеть, и посейчас нету.

Все это Яблонский разобъяснял, проводя Георгия Порфирьевича в комнаты, а Коко Судовский вешал в прихожей шубу и громко сморкался. Коко, правду сказать, не терпел Яблонского. Тот, как думал Судовский, ухватил слишком весомое место при дядюшке. Племянник намекал на это, но дядюшка только похохатывал: «Ревнуешь!»

«Ишь лебезит», — сварливо думал Коко, не вслушиваясь в то, что говорил Яблонский, увлекая Судейкина в глубину квартиры.

Голоса были плохо слышны. Да, в общем-то, Коко мало интересовало, о чем они там толкуют, дядюшка и этот плюгавый. Коко сидел на стуле в столовой, спиной к дверям, ведущим в кухню. Коко курил, думал о недавнем карточном проигрыше. Вот ведь, будь ты неладно, с родственниками играешь, со свойственниками играешь, а денюжкам счет. Теперь вали-ка, одалживайся у дядюшки. А Георгий Порфирьевич карты презирает и за карточный ремиз не погладит.

Меланхолию Коко, как срезало, негромким револьверным выстрелом, воплем Судейкина:

— Коко! Бей! Бей!

Но Коко и моргнуть не успел: сзади что-то рухнуло на него, как глыба. И, уже валясь со стула, набок валясь с проломленным черепом, будто б издалека, но звонко слышал он лающий захлеб Судейкина:

— Дегай! Дегай!

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

С час назад в дворницкую влетела горничная из девятой квартиры. Простоволосая, глаза круглые, рот круглый. «Там, — говорит — наверху-то, в тринадцатой, шум. Там, — говорит, — упало, потолок ходуном!» Ладно, лениво отмахнулся дворник, что упало, то пропало. Однако обул валенки, зевая, потопал в третий этаж.

На звонок никто не отозвался. Почудились шаги, осторожные, медленные, будто кто шел ощупью. Дворник еще позвонил. Ответа не было. Дворник от страха озяб и припустил в участок...

Теперь в прихожей теснились пристав, городовые, чины сыскальной полиции. И дворник, углядев в углу что-то грузное, большое, попятился: «Убивец!»

— Дур-рак! — в сердцах буркнул пристав. Шубы.

И верно, то были шубы, одна с енотовым воротником, другая — с бобровым. Пристав, глядя на них, думал: «Протокол. Протокол».

В его служебном желании поскорее составить протокол крылось другое, неслужебное желание: чернила, перо, бумага словно бы перемещают внимание, убитый уже не убитый, а «предмет осмотра»... Да-да, протокол. Ну-с, примерно так: «Труп лежит на животе и притом с незначительным поворотом на левое плечо. Лицо обращено книзу и немного в левую сторону. Левая рука вытянута, правая согнута в локте. На полу лужа крови. Около головы покойного лежит лом...»

«Однако буйвол», — подумал пристав, глядя на убитого. И вздрогнул: из другой комнаты донесся стон. Нестрашный, жалостливый, почти детский, а потому пугающий. Пристав нервным кивком пригласил за собою чинов сыскальной полиции, городовых.

Рослый, плечистый человек, согнувшись, как плача, припал к мраморной доске высокого комода. Мрамор был окровавлен.

— Поддержите его, — тихо сказал пристав городовым.

Ну конечно, конечно, вот этот, решил пристав, этот вот самый и укукошил «буйвола», да и сам, видать, получил на орехи.

— Осторожней, — по-прежнему шепотом, точно боясь растревожить раненого, скомандовал пристав, — осторожней, не пьяный. На диван его. Так. Ноги, ноги...

— М-мм, — простонал раненый и внезапным, странно-прозрачным голосом попросил: — Пить дайте.

— Дайте, дайте, — быстро велел пристав. И как прицелился: — Кто вы такой? Имя?

— Ко... Ко-ко, — с усилием, сквозь зубы отвечал раненый.

Пристав опешил.

— Имя, имя, говорю, назовите.

Человек на диване смотрел как в темноту.

— Спать... Спать хочется, — произнес он тонким, неестественным голосом. — Ничего не помню... Яблонский...

Он опять попросил воды. Отхлебнул, громко, по-лошадиному пришлепнул губами. Потом досадливо, будто синяк или шишку, тронул проломленное темя, зашевелил липкими пальцами.

— Об шкатулку ударился. Проиграл деньги... В шкатулке деньги...

И как в омут ушел.

«Ага, — подумал пристав, — вон оно что: Яблонский — его фамилия, а дело денежное, карточное. Ну и публика! Славный городок наш Санкт-Петербург, какие штуки выкидывают».

— Осмелюсь, ваше благородие... Они не жилец. — Дворник не переступал порога комнаты, оттуда, с порога, указывал пальцем на диван.

— Жилец, не жилец — доктор решит, — рассеянно отозвался пристав.

— Да не они жилец, ваше благородие, — повторил дворник, — я наших-то приписанных, как свои, — он поднял руку, растопырил пятерню. — Этот не Яблонский, этот к господину Яблонскому приходил, а жить у нас не жил.

— То есть как это «не этот»? А где же этот?

— Кто ё знает, ваше благородие.

— Яблонский один проживал?

— Как есть один. Даже чудно.

— И прислугу не держал?

— Лакея держал. Приходящего.

— Где лакей?

— Кто ё знает. Должно, вышедши.

— «Вышедши»... — раздражился пристав, мельком подумав, что следователю, черт его дери, давно пора быть на месте происшествия.

Наконец пожаловали полицейский врач и следователь. Пристав с озабоченной и укоризненной миной поднялся им навстречу.

— Прошу, господа. Заждался.

Следователь обиженно взглянул на часы.

— Тридцать пять минут назад, будучи дома, я получил от прокурора предложение о производстве предварительного следствия.

Доктор занялся раненым. В мозгу, поди, не меньше дюжины черепных осколков, потеря крови чудовищная. Гм, феноменально: жизнь теплится, экий могучий организм.

В прихожей позвонили.

— Лакей ихний, — определил дворник. — Пущать али...

— Живо! — сказал пристав. — Давай-ка сюда!

Суворов вернулся из Озерков, куда посылал его Сергей Петрович с запиской к какому-то приятелю. Приятеля этого Петруха не нашел и даже расстроился: бывший унтер исполнительным был. Но барин не велел приходить раньше позднего вечера, и Петруха усладился в буфете.

Едва он вошел, хмель с него слетел, как картуз на ветру. И жаром обдало. Он рухнул на колени, лицо стало нехорошее. Потом он поднялся, перекрестился.

— Кто это? — спросил пристав, указывая на труп.

— Ответьте, пожалуйста, — пригласил следователь.

— И отвечу, господа, — медленно, как бы даже угрожающе произнес бывший жандарм. — Отвечу... Это есть убиенный их высокоблагородие Георгий Порфирьевич Судейкин.

— Судейкин?!

— Судейкин?!

Лакей не удостоил господ повторением. Пристав и следователь переглянулись.

— Скажите, любезнейший, — мягче прежнего отнесся к Суворову следователь, — вы совершенно уверены?

Лакей кивнул и обратился к приставу:

— Мне спех, ваше благородь, доложить надобно. Порядок знаем-с.

— Угу, это ты правильно, — сказал пристав. — Однако повремени. Вот идем, взгляни-ка.

Теперь уж Суворов не пал на колени и не закрестился — вздохнул длинно и горестно.

— Они всегда вместе: дядюшка и племянник. Судовский это, Николай Димитрич. — И решительно прибавил: — Боле мне никак нельзя. Побегу к начальству.

Около полуночи Судовского отвезли в ближайшую больницу, в Рождественский лазарет Красного Креста, а пристав и следователь, изучив «место преступления», занялись протоколом.

2

Около полуночи курьерский громыхал далеко от столицы.

В купе сидели двое. Один словно конвоир, другой как арестант. Конвоиры стреляют при попытке к бегству; этот выстрелит при попытке ареста. Арестанты едут из тюрьмы в тюрьму, с этапа на этап; этот ехал из неволи на волю.

Двое в купе молчали. Оба могли бы сказать многое, слишком многое они могли бы сказать друг другу. И потому молчали. Куницкий оглаживал револьвер. Брякнут шпоры, мелькнет голубое — Дегаев получит свою пулю.

Куницкий качался вместе с вагоном. Рядом качался Дегаев. Маленькая ушная раковина. Большая голова. Профиль смазан. Ничего отчетливого, определенного. «Что за наваждение владело нами? Чего мы все стоим, коли нами дирижировал этот?» — думал Куницкий.

Некогда он принял от Дегаева нелегальный кружок в Институте путей сообщения. Восхищался Дегаевым всегда. Теперь презирал, ненавидел. Однако не так, как Лопатин, — свысока и гадливо. И не так, как Якубович, — пылая, едва удерживая рыдания. И не так, как Флеров, — с холодной яростью.

Стась Куницкий простил бы Дегаева. Простил бы, потому что понял бы, окажись Дегаев русским Конрадом Валленродом. Да, простил бы и гибель товарищей, и свою собственную гибель.

Мицкевич написал «Конрада Валленрода», издал в России. В России Мицкевич дружил с Полевым. Полевой был дедом Дегаева... Ах, все это к черту, все это в сторону... О, если б Дегаев оказался Валленродом... Тайный литовец в личине германца, Конрад добился плаща и знаков великого магистра. Тайному литовцу в личине германца претили измены, двоедушие. Но он сжал свое сердце, чтоб известить тевтонскую свору ради счастья родного народа. И погиб под бременем зла. Как Самсон под развалинами им же сотрясенного храма... Конрад не повторился в Дегаеве. И не погиб Дегаев под бременем зла. Промотавшийся игрок. Он

обманул товарищей однажды. Куницкого он обманул дважды. Стась простил бы ему измены, повторись в Дегаеве Конрад Валленрод. Простил бы, пусть его судят моралисты вроде Петра Якубовича... Эх, брякнули бы шпоры, мелькнуло б голубое — не дрогнет рука.

В Петербурге Куницкий поклялся пристрелить Дегаева, если нагрянут жандармы. Так пусть нагрянут! Почему держать слово, данное иуде? Иуда свое сделал, почему не помочь иуде уйти из жизни? Лопатин не огорчился бы.

(Да, Герман Александрович, кажется, не был склонен исполнять все условия заграничников. Когда Дегаев дал ему план своей квартиры, Лопатин наставлял помощников Дегаева, этих молчаливых сумрачных парней, похожих на бурсаков. Объяснив, прибавил: «А потом и хозяина квартиры...» Тут подошел Дегаев. Спросил «бурсаков», понятно ль, что делать завтра? Услышал: «Сперва Судейкина с адъютантом, после — хозяина квартиры». Дегаев обмер: «Как? И меня?!» Бурсаки изумились: они не знали, что убийство должно совершиться в дегаевской квартире, не знали, что Дегаев — это Яблонский, а Яблонский — это Дегаев и что Яблонский-Дегаев проданся Судейкину... Лопатин фальшиво рассмеялся, отвел их в сторону.)

А теперь вот спрашивай мерзавца за границу. Ему, видите ли, обещано сохранить жизнь... Стась Куницкий оглаживал револьвер. Револьвер был тяжелый, «бульдог», четвертной заплачен Лежану за этот «бульдог».

Курьерский рассекал ночь, не догнать петербургской поземке. Но за черным окном, невидимые в ночи, сливались и расходились телеграфные проволоки. Едва обнаружат исчезновение инспектора, едва обнаружат исчезновение Дегаева — и всем начальникам губернских жандармских управлений, всем начальникам портовых и железнодорожных жандармов, во все пограничные пункты империи. Телеграфные проволоки бегут за черным окном, то отставая, то обгоняя курьерский. А рядом, бок о бок, не попутчиком, но конвоиром, старый товарищ, неистовый Стась, в его жилах кровь грузинки и поляка, неистовый Куницкий, народовец и член польского «Пролетариата». Он рядом, бок о бок, у него тяжелый «бульдог», револьвер от Лежана.

Никогда не было так мало шансов избежать возмездия. С той стороны или с другой — велика ли разница?.. Но странная спокойная усталость владеет Дегаевым. Впервые за долгие месяцы его не гложет страх. Последним приступом страха, последней вспышкой ужаса были последние часы в Петербурге.

Выстрел и ужас рванули, как электричеством, мышцы, нервы. И не потому, что Судейкин навзрыд закричал, поволчьи оскалился, а потому, что закричало другое, давешнее, лопатинское: «А после — хозяина...»

Ни на Гончарной и ни на Знаменской извозчиков не оказалось. Спасительный ужас держал Дегаева за глотку. Он действовал не суетливо, а стремительно. И чудом, словно на рысаке, перенесся на Забалканский проспект.

Квартиру присмотрели накануне. Росси был один, Росси ждал Дегаева.

Степана Росси — по паспорту итальянского подданного, по делам русского крамольника — Дегаев знал еще на юге, в тамошних подпольных кружках.

Росси дал Дегаеву бритвенный прибор. Дегаев брился тщательно, как в театр собирался. Не сознавал, однако, не замечал, что говорит без умолку, горячечно.

Говорил о том, что Росси было знать не положено: убийством Судейкина искуплена его, Дегаева, вина перед партией, Лопатину никто не поручал вмешиваться, Герман Александрович по обыкновению много берет на себя; «хохлы» — Дегаев назвал имена, те самые, с которыми он, Росси, встречался на Большой Садовой, помогли ему, Дегаеву, а теперь он поедет в Париж, а в России о нем, Сергее Петровиче, еще не раз пожалеют. Пожалеют! Он бы многое сделал, если бы...

Дегаев не умолк и тогда, когда вместо своего долгополого пальто надевал новехонькое, короткое, с накладными плечами, и когда примерял перед зеркалом атласный шапокляк, такой модный в сравнении с его потертой барашковой шапкой.

Переодетый, гладко бритый, он показался себе неузнаваемым и почти весело пригласил Росси: «Проводите меня!»

На Варшавском вокзале, всегда оживленном, в огнях, они заметили одного из «хохлов», поняли, что все сошло удачно. Не доходя до вагона, Росси отстал и замешался в публике.

В купе сидел Куницкий. Стась ни о чем не спросил. Лицо его казалось голубоватым. Сергей Петрович ощутил непримиримую враждебность Куницкого. Но Дегаев загодя знал, зачем и почему поедут они в одном купе. Огорчился другому, пустячному: Дегаев не терпел табака, а Куницкий курил отчаянно.

Вот и сейчас он опять зажигал папиросу, и Дегаев недовольно пошевелился, хотя понимал всю ничтожность своего недовольства.

«Дыми, дыми, — мстительно думал Сергей Петрович, — дыми. Вы все предусмотрели, голубчики, а? Где вам догадаться, что я не ветром подбит, при больших тысячах! Откуда? Чьи? То-то и оно, смешались, не разберешь — откуда и чьи: пахнут и Судейкиным, и партийной кассой».

Правду сказать, стыдился он этих тридцати тысяч. Утешался: «Обстоятельства сильнее нас». И все-таки мог бы, нашел бы силы признать все, во всем признаться, а в этих вот деньгах — как добыл, как утаил — никогда бы и на медленном огне не признался.

Теперь, в поезде, вспоминая про деньги, он не то чтобы радовался им, торжествовал, что всех обвел, нет, он испытывал мстительное злорадство. Оно уводило и от Куницкого с его «бульдогом», и от этих невидимых телеграфных проволоч, и от того рокового, что могло стрястись еще до паровой каюты.

Но едва поезд тормозил, едва показывались сперва беглые, потом недвижные огни, а на дебаркадерах возникали тени, слышались голоса, как Сергей Петрович ощущал весомые, редкие толчки сердца.

Куницкий вставал, прислонялся спиной к дверям. Настороженный, с голубеющим, как бы светящимся лицом, с закушенной в зубах папиросой. А рука в кармане, где револьвер.

Ударял колокол. Свистел обер-кондуктор. И вот уж опять все сильнее, все четче стучали колеса, стучали заветное: «Ли-ба-ва, Ли-ба-ва, Ли-ба-ва...»

Был первый час ночи.

3

В первом часу ночи тайный советник фон Плевел подравнивал бумаги стопкой. Вячеслав Константинович любил это финальное движение: «Исполнен долг». Кончен длинный служебный день. Один из тех, которые зачастую продолжались и вне департамента, в домашнем кабинетном уединении.

Отношение к письменным занятиям (а равно и к письменным принадлежностям) было у г-на Плевел не мелкочиновничье, не канцелярское, а почти жреческое. Он обладал уверенным почерком, бумагу и перья всегда выбирал сам, карандашом пользовался редко, чернила предпочитал фиолетовые, ибо в фиолетовом усматривал безукоризненность, чуждую эмоциям.

Запирая ящики, Вячеслав Константинович мельком, но с удовольствием слышал мелодическое позвякивание связки бронзовых ключиков, ритуальные звуки завершающегося длинного служебного дня. «Исполнен долг...»

Теперь тайный советник и кавалер, директор департамента полиции его превосходительство В. К. фон Плеве был уже человеком вполне домашним. Отец своих детей, супруг своей Зизи.

Он поднялся, удостоверился, все ли в порядке, и по обыкновению тихо порадовался, что сумел отстоять свой кабинет от агрессии супруги. Она вольна командовать, где угодно. И командует. Гостиная недавно украсилась французскими пасторальями, столовая — недурными маринами, а спальня — чем-то весьма и весьма пикантным, кажется, кисти Греза. Но в кабинете все неизменно. Мебель прежняя, привычная, еще варшавская. Лишь к настольному портрету покойного государя Александра Николаевича прибавился портрет государя императора Александра Александровича, царствующего благополучно. Г-ну Плеве очень нравятся эти портреты: такие превосходные, в мягких отблесках рамки шагреновой кожи.

Тайный советник уже замыкал дверь, когда заспанный слуга подал пакет. Плеве увидел: «Немедленно! В собственные руки!» Вячеслав Константинович устало, но без досады снова уселся к столу, звучно щелкнул ножницами и двумя длинными белыми пальцами извлек записку.

Хладнокровие тайного советника вошло в министерскую поговорку. Но сейчас никто не узнал бы директора департамента. Он был в смятении, его бледные, вялые щеки дрожали. Внезапно он стал цедить площадную брань. Потом онемел. Его обложило, как ватой. И словно сквозь вату г-н Плеве услышал гул катастрофы.

Его спасла привычка к письменным занятиям. Он отчетливо потянулся к бумаге, к перу. Вячеслав Константинович не думал ни про убитого, ни про убийц. Он думал о себе. Но мысли о себе переплетались сейчас с Судейкиным и Яблонским-Дегаевым.

- «1. Осведомил ли инспектор своего агента о том, что директор департамента санкционировал покушение на министра внутренних дел?»*
- 2. Если осведомил, то поверил ли агент инспектору?»*
- 3. Если поверил, то намерен ли агент огласить этот проект?»*

Г-н Плеве задавал вопросы, на которые следовало ответить г-ну Плеве. Фиолетовые чернила, подсыхая, оставляли след мертвенно-радужный, как керосин.

Вячеслав Константинович положил перо. Он словно отстранился, высвободился. Круг очерчен. Хаос отступил. Он еще не принял никакого решения. Но он уже может оглядеться, перевести дух.

Тайный советник медленно, будто нехотя, сжигал листок в пламени свечи.

Близился рассвет.

4

Светало весело, чисто.

Рая вздохнула:

— «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась...»

Савицкий молчал. Спать хотелось, поташнивало. Вчера вьюги не было и мгла не носилась. А может, вьюжило? Савицкий не помнил, какая давеча стояла погода. Он поздно вернулся на Большую Садовую. Пришлось будить и умамливать чаевыми дворника Петра Степановича.

Спать хотелось, поташнивало. До рассвета они с Раисой Кранцфельд печатали листовки о казни обер-шпиона Судейкина. И откуда взялись силы? После всего, что было, откуда силы взялись? Говорят, тяжело раненный в атаке, случается, бежит, бежит, бежит.

Савицкий слышал, как Рая пакует, увязывает листовки, что-то там делает, ходит. А он, Савицкий, бежал, бежал... Не один — с Волянским. Утро было, летнее утро, не нынешнее. Волянского везли в тюрьму, а он взял и подкараулил в придорожных кустах. И выскочил наперерез. На дорогу выскочил с револьвером... С револьвером, а не с ломом-пешней... Отбил Волянского, и они бежали лесом... До Каменец-Подольска недалеко, им бы до города добраться, а там уж... В Каменец-Подольске, там ведь жила Роза Франк, невеста Якубовича... У Розы Франк... Подожди, это ведь после... У Розы, на Песках встретил Дегаева, и Дегаев сказал: «Поселитесь на Большой Садовой, там живет Татьяна Голубева». Не Татьяна и не Голубева, а Рая Кранцфельд. Но это потом, а сейчас надо бежать, бежать через лес, а в лесу утро, но почему-то все темнее, темнее... Совсем стемнело, до глухой черноты.

Он спал и не слышал, как пришел Лопатин, как Рая шепнула Лопатину, указывая на спящего:

— Удивительный! Явился — полотно, смерть. И ничего, ночь напролет печатал.

Лопатин вздохнул, опустился на стул. Он тоже был измучен. Ему следовало тотчас же уехать из Петербурга. Вообще из России, а он медлил. Он знал, что не уедет. Во всяком случае до тех пор, пока не получит условной телеграммы от Стася.

Лопатин числил за собою некий долг. Нравственные долги были у него всю жизнь. Он сам принимал их на себя. И платил щедро, с процентами.

Однако делом Судейкина — Дегаева погашен ли нравственный долг? Еще не отчетливо, но уже тревожно различались последствия дегаевщины. Не столько внешние, искорежившие организацию, сколько внутренние. Более глубокие и менее излечимые.

Участь Блинова не выходила из головы. Блинов не вынес своего невольного пособничества Дегаеву. Есть души высокие, их сокрушает сознание вины, пусть и невольной; они не умеют кивать на обстоятельства, не хотят пожимать плечами: откуда, мол, мы знали. И тогда — Литейный мост.

Не все Блиновы, это так. Но почти многих из них ждет свой Литейный мост. Он еще впереди. Непременно возникнет, едва из мглы выступит мерзкая двуликость, кровь и грязь дегаевщины. Можно говорить о зигзагах движения, об ошибках, о доверии или о том, что легко, дескать, кулаками махать после драки. Да, говорить-то можно, а впереди — Литейный мост. И как они перейдут его?

Лопатину претило быть пасомым: он слишком был вольнолюбив. Но и пастырем не ощущал он себя; он слишком уважал пасомых. Однако Лопатин сознавал силу собственного влияния. Она не тешила — налагала ответственность.

Благоразумие диктовало отъезд из Петербурга. Но что значил здравый смысл, когда в доме на Большой Садовой спал истерзанный Савицкий? Дорого ль стоил здравый смысл, когда эта чернявенькая Раечка печатала ночью листовки? Как уехать, когда от Куницкого еще нет условной телеграммы и возможны любые неожиданности?

Лопатин смотрел на спящего. Не картинный герой, из тех, что гибнут молча. Начинал, конечно, как многие: вышибли из гимназии «за устройство нахальной сходки». Как многие... Но одно происшествие в жизни Савицкого особенно трогало Германа Александровича: Савицкий на свой страх и риск, без всяких указаний от партии отбил у

стражников ссыльного. Фамилии ссыльного Лопатин не помнил, она ничего не говорила ему, да суть-то не в фамилии спасенного, а в поступке спасавшего. Почти нежность ощутил Лопатин, глядя на спящего. И думал о том, что допустил что-то жесткое, чрезмерно жесткое: нельзя было парню всю ночь еще и с листовками возиться.

— Хотите чаю? — шепотом спросила Кранцфельд.

Он шепотом поблагодарил. Не до чаю, он заберет часть листовок и уйдет. С минуты на минуту явится Росси: унесет шрифт. Все, шабаш. И нынче Голубева с Савицким исчезнут из Петербурга. Понятно? Вот так-то!

В дверях он столкнулся с Росси. Они улыбнулись друг другу. «Славный малый этот итальянский подданный», — с удовольствием подумал Лопатин, как думал всегда, встречая Росси. Недавно он узнал его и знал еще мало. А нравился он Лопатину просто потому, что был, как говорится, «вылитым итальянцем». (Мягко, южным ветром на Лопатина веяло воспоминанием: путь к великому Джузеппе. Увы, гарибальдийские знамена не осенили Германа, великий Джузеппе был уже разбит под Ментаной.)

— Ну, красная рубашка, — сказал Лопатин, пожимая руку Степана, — принимайте шрифт. Честь имею!..

Весть о смерти Судейкина текла по городу. Передавали, что царь поражен и огорчен, а царица велела приготовить серебряный венок с надписью «Человеку, честно исполнившему свой долг».

При дворе, в светских гостиных вдруг обнаружилась уважительность к покойному. Говорили, что в его руках были все нити, что на нем держался весь политический сыск, что он один срывал все злодеяния нигилистов и что теперь тайная полиция бессильна, жди самых ужасных происшествий, равных, пожалуй, первоапрельскому. Словом, Георгий Порфирьевич посмертно достиг того, о чем при жизни мечтал неотступно: высокого признания и благодатной почвы диктаторства.

На Пантелеймоновской, в департаменте гибель главного инспектора тоже многих печалила, однако не в столь искренней степени, как Гатчину, где почти безвыездно укрывалась августейшая семья. Убитый убит, живым — живое: вакансия. Департаментские гадали, кто займет место Георгия Порфирьевича. Но его превосходительство фон Плеве хранил молчание, которое принято называть непроницаемым.

Те же, кого принято называть широкой публикой, интересовались подробностями и неразысканными виновниками преступления. В мотивах не сомневались: листовку народовольцев читали и перечитывали. Недоумевать могли лишь такие задубелые провинциалы, как некий земец, навестивший в те дни Салтыкова-Щедрина.

«А за что ж, Михаил Евграфович, этого-то Судейкина убили?» — любопытствовал земец. Щедрин ему коротко: «Сыщиком был». — «Да за что ж убили-то?» Щедрин насутился: «Говорят вам по-русски: сыщиком он был!» — «Слышу, слышу, Михаил Евграфович. А за что ж все-таки его так-то?» — не унимался земец. «Ну, ежели вы этого не понимаете, — буркнул Щедрин, — так я вам лучше растолковать не умею.»

Лопатин расхохотался, когда ему передали этот диалог. Он все это изобразит в лицах Энгельсу. О-о, Генерал умеет ценить шутку, да еще такого сорта...

Лопатин надеялся на скорую встречу с Энгельсом, с дочерью Маркса Элеонорой, с Тусси, как звали ее друзья дома. Он придет к ним и оставит у дверей не трость, а словно бы посох странника. Старый Энгельс (друзья зовут его Генералом), как и Тусси, давно знает, что Лопатин всегда в пути. И они любовно и грустно покачают головой: «Наш безумно смелый Лопатин...»

Лопатин, однако, медлил с отъездом. Пусть все завершится, тогда он уедет. Пусть ненадолго, но уедет за границу, потому что многое надо обсудить, многое узнать и решить. А пока он медлил.

Лопатина сильно беспокоило молчание Куницкого, дегаевского «конвоира». К беспокойству прибавились досада и печаль: черт дернул Степана Росси взглянуть на похороны Судейкина, а на похоронах-то и схватили «гарибальдийца». Слава аллаху, Голубева и Савицкий подобру-поздорову убрались из Питера.

Лопатин ждал известий от Стася. Наконец Куницкий телеграфировал, что выпроводил Дегаева за границу. Можно было перевести дух.

В вагоне господин Норрис, британский подданный, достал записную книжечку и, поблескивая очками, вывел карандашиком итог своих расходов. В рублях и копейках. После Вержболова, подумал он, в Эйдкунене, пойдет иной счет — на марки и пфенниги. А потом на франки и су, а потом на фунты и шиллинги.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Майор смаковал эриванское. В прошлом году, оправляясь от тяжелого ножевого ранения, Скандраков уяснил, что этот «чистый янтарь» целительнее аптечных снадобий. Он, пожалуй, не ошибался.

Майор лежал на диване. Размышления Александра Спиридоновича были приятными. Что ни говори, судьба ему благоволила.

Скандраков давно мечтал о Петербурге. Нет, он не примерял полковничьих эполет. Никаких карьерных соображений. Возглавляя московский секретный политический розыск, Скандраков мыслил, как он полагал, категориями государственными, а не ведомственными. Скандракова интересовали европейские методы управления. Он вынашивал проекты. В первую голову его занимал рабочий вопрос.

Майор «брал не по чину», понимал это и таился. Надеялся, что таится до срока. К тому же он сознавал нищету своих познаний. Но знание — дело наживное. В круг его домашнего серьезного чтения попадала литература крамольная, социалистическая. Короче, он был белой вороной в Отдельном корпусе жандармов. Однако белизну скрывал, прикидывался вороной серой, как все прочие.

Обязанности свои Скандраков исправлял превосходно. Надо щипать траву на той полянке, на которой ты привязан. Честолюбия в душе Скандракова было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы не примерзнуть надолго к ступеням служебной лестницы. Но по-настоящему его занимали идеи. Прямые обязанности были Александру Спиридоновичу, как ребусы. Подчас очень нелегкие.

Едва Скандраков приехал в Санкт-Петербург, его принял директор департамента.

Впервые майор представлялся Вячеславу Константиновичу во время московских коронационных торжеств. Плеве, тогда новоиспеченный тайный советник, окостенил москвича холодом петербургских сфер.

Время от времени Скандраков склонялся над очередными циркулярами, подписанными мертвенно-фиолетовым «Вячеслав Плеве». Это «Вячеслав» казалось майору нарочитым и высокомерным.

Вызов в Петербург означал повышение. Скандраков отнесся к повышению как к должному. Господин директор департамента остановил свой выбор на нем, Скандракове?

Господин директор умеет замечать достоинства подчиненных. И только. Однако, входя в кабинет, похожий на операционную, отвешивая поклон сухопарому сановнику, Александр Спиридонович все же ощутил свою малость, это и смутило его, и больно кольнуло.

Отличая Скандракова, Плеве действовал, как действуют многие высшие сановники, отличая провинциала. Такой надежнее, такой не связан с департаментской кухней, не ведает подводных течений. Внезапность повышения гарантирует личную преданность тому, кто тебя повысил. В этом Плеве очень нуждался теперь, когда могли всплыть «тонкости» отношений с покойным инспектором. К тому же Скандраков рисовался Вячеславу Константиновичу воплощенной исполнительностью, наделенной сверх того недюжинной опытностью. Оставалось не позволить московскому майору возомнить себя вторым Судейкиным. А это, как думал Плеве, не столь уж и трудно.

Вячеслав Константинович с порога дал понять майору, что именно он, директор департамента, настоял на служебном продвижении г-на Скандракова, хотя пришлось одолеть противодействие министра. Впрочем, продолжал Плеве, справедливости ради следует оговориться, его сиятельство возражал лишь в том смысле, что г-н Скандраков совершенно необходим в Москве. (Все это было правдой.) Далее Вячеслав Константинович распространился о многообразии забот, возлагаемых на Александра Спиридоновича, об опасностях, стерегущих на каждом шагу, чему печальным примером незабвенный Георгий Порфирьевич. (И это тоже было правдой.) Тень фальши скользнула, когда Плеве намекнул, что майору, очевидно, встретятся некоторые щекотливые подробности сотрудничества Дегаева-Яблонского с инспектором Судейкиным. Директор департамента, конечно, был надлежаще осведомлен. Не все одобрял полностью. Да-с, не все. Однако в интересах политического розыска на кое-что смотрел сквозь пальцы. Впрочем, ровно говорил Вячеслав Константинович, г-н Скандраков не новичок, разберется собственным разумением. А он, директор департамента, не оставит его всedневым руководством.

Итак, продолжал Плеве своим «линейным», без модуляций, голосом, г-н майор немедля приступит к дознанию обстоятельств убийства инспектора Судейкина. «Преступления столь же зверского, сколь и загадочного», — прибавил Вячеслав Константинович. Разумеется, говорил он, этим уже озабочены и петербургская прокуратура, и губер-

нское жандармское управление. Очевидно, первую придется устранить. «Ну-с, вы понимаете, — значительно объяснил Плева, — негоже, чтобы люди засматривали в наши шкапы». Что ж до полковника Оноприенки и его коллег по жандармскому управлению, то г-н Скандраков возьмет на себя роль куратора.

Александр Спиридонович умел слушать. Намекающие нотки не ускользнули от него. Но майор как бы припрятал их на будущее. Его привлекло иное: голос и физиономия тайного советника были теми же, что и тогда, в Москве. И все же теперь Вячеслав Константинович не ознобил Скандракова прежним холодом. Больше того, Скандраков уловил затаенную тревогу невозмутимого узкогубого человека.

Скандраков не доверял наитиям. Не доверился и сейчас, но давешняя постыдная малость собственного «я» сменилась чувством собственной значимости. Не таким, как при вызове в Петербург, — другим, рожденным слабым, но все же явственным ощущением зависимости: от него, Скандракова, в чем-то и почему-то зависел этот тайный советник.

Сущность зависимости еще ускользала. Но Александр Спиридонович ощутил именно то, чего Вячеслав Константинович не желал, не хотел, опасался. Плева же думал, что вполне достиг цели, и отпустил майора с той мерой приветливости, на какую вообще был способен к подчиненным.

Александр Спиридоновичу предоставили помещение Судейкина. Схожесть с захламленной частной квартирой удивила и как бы оскорбила Скандракова. Однако у него достало ума не играть роль новой метлы. Немедленные перемены в кабинете предшественника всегда встречают насмешливую неприязнь сослуживцев. «Успеется», — решил Скандраков. Он принялся за бумаги, за дело Судейкина. И прочел:

«Я страшно поражен и огорчен этим известием. Конечно, мы всегда боялись за Судейкина, но здесь предательская смерть. Потеря положительно незаменимая. Кто пойдет теперь на подобную должность? Пожалуйста, все, что будет дознано нового по этому убийству, присылайте ко мне. А.»

Своеручную резолюцию государя Скандраков увидел впервые. Растрогался: какая печаль, какое сердце! Умилился: на высотах недосягаемых не утратить чувства благодарности, сознания незаменимости одного из бесчисленных подданных!

Скандраков, конечно, не верил ни в божественное происхождение самодержавной власти, ни в то, что император земной заместитель царя небесного. Но сейчас, увидев го-

рестные карандашные строки на полях рапорта о гибели Судейкина (пропустив прозаическую озабоченность — «Кто пойдет теперь на подобную должность?»), Александр Спиридонович умиленно покачал головою, укорил себя за то, что никогда не думал о государе просто как о человеке и просто по-человечески.

На него пахло детством, церковным, праздничным, теплым. Он с горечью подумал, что как бы иссяк в исконно русской сыновней привязанности к монарху, и что такие утраты свойственны не ему одному, и это очень нехорошо, ибо рушит что-то важное, дорогое, совершенно необходимое русским людям...

В последующих документах уже не попадалось ничего умилительного, ничего трогательного. Майор читал холодно и цепко. Многословие документов его не раздражало. Он знал, что так нужно.

Протокол судебно-медицинского вскрытия удостоверял, что Г. П. Судейкин получил сперва безусловно смертельное ранение в полость живота и что последующие повреждения тупым орудием тоже были безусловно смертельными. Показания лакея Судейкина содержали сведения о том, что их высокоблагородие, уходя из дому, надел темно-синее пальто с бобровым воротником, в карман «положил револьвер маленький, который постоянно носил», и взял «желтую палку с кинжалом внутри». Все это лакей «готов был подтвердить под присягой», но все это не стоило и гроша ломаного. Разве лишь то, что преступление совершено не одиночкой. Да и эта гипотеза не требовала проницательности: ведь в квартире обнаружили два лома.

Далее зашелестела череда опросов торговцев Гостиного двора, Никольского и Андреевского рынков: кто, когда покупал вот эти ломы? Конечно, лавочников расспросить следовало, подумал Скандраков, хотя в подобных случаях наперед ждешь «непомнящих ответов»: в Петербурге торгуют бойко, разве заметишь розничного покупателя? Так оно и получилось...

Тут же глянцевито поблескивала и справка полицейского пристава: «Дворянин Сергей Петров Яблонский проживал по паспорту, выданному Путивльским уездным исправником за № 1933, оказавшемуся подложным».

Справку дополнял контракт домохозяина и Яблонского. Обыкновенный договор с жильцом, который, помимо прочего, обязывался «собак и кошек на лестницы не выпускать и соблюдать от них полную чистоту...» Не это вызвало мимолетную ухмылку Скандракова, а «важность» поли-

цейской улики — паспорт подложный. Эка невидаль! Александр Спиридонович, как и Судейкин, не раз снабжал «нужных людей» фальшивыми документами.

Выеденным яйцом оказалась и экспертиза г-на Шафе. Оружейник изучил «смит-вессон», найденный на месте происшествия. Выстрел, оказывается, произвели именно из револьвера образца 1874 года. Экое открытие!.. К сожалению, главное артиллерийское управление не смогло указать, кому и когда выдали «смит-вессон» за номером 17891.

Черт возьми, бумаги, просмотренные Скандраковым, не позволяли хоть что-то отчеркнуть на приготовленных листах с типографским грифом: «Д л я п а м я т и».

Досадно было и то, что медики Рождественского лазарета не допускали к племяннику Судейкина, ссылаясь на прискорбное физическое и психическое состояние Николая Судовского.

Скандраков не забыл орясину адъютанта: его вместе с дядюшкой москвичи потчевали ужином в «Эрмитаже». Этот Коко, очевидно, сделал бы некоторые указания на обстоятельства покушения. Ну-с, даст Бог, выкарабкается, врачи все-таки не теряют надежды.

В конверте, голубоватом и плотном, хранились фотографии. Три — без шапки, без бородки и усов были сняты в департаменте, когда Дегаева задержали «по подозрению». Три — в зимней шапке, с бородкой и усами — изображали отставного штабс-капитана времен одесского ареста.

Скандраков не мнил себя физиономистом. Но любой на его месте легко определил бы, что природа чеканит такие лица, как пятаки. «Ничего примечательного, — думал Скандраков, — ничего характерного. Ни гений, ни злодей. Выражение несколько угрюмое, взгляд исподлобья. Да и то сказать, кто улыбается тюремному фотографу?»

Александр Спиридонович не впервые рассматривал карточки преступников, а потом имел возможность сравнивать с оригиналом. Несхожесть всегда оказывалась разительной. Механизм убивал живое, не схватывал сущности. И еще одно давно заметил майор: по тюремным фотографиям трудно отличить уголовного от политического.

«Карточки лгут, — думал Скандраков. — Дегаев не мог быть ничтожеством, ибо ничтожества не верховодят партиями. Старые львы повыбиты, это правда, но нельзя ж признать, что в подполье наступило «безрыбье».

Как и покойный Судейкин, Александр Спиридонович не презирал противника. Он с ним сражался. Унижать противника не значит ли унижать самого себя? Нет, Дегаев не

был, не мог быть посредственностью. Так полагал майор Скандраков.

Он убрал фотографии в голубоватый плотный конверт и взглянул на знакомую типографскую афишку, приложенную к делу: то было объявление о розыске штабс-капитана Дегаева, обвиняемого в убийстве подполковника Судейкина; перечислялись приметы Дегаева; говорилось о том, что пять тысяч получит каждый указавший полиции местонахождение убийцы, а десять тысяч сулили тому, кто и местопребывание укажет и содействует задержанию преступника.

Афишку распубликовали. Плеве не возражал, хотя и был убежден, что преступник уже вне России. Объявление розысков явилось последней акцией прокуратуры; следствие о насильственной смерти подполковника Судейкина изъяли из ее ведения как неуголовное.

Афишки висели повсеместно. В губерниях хватали всякого мало-мальски похожего на Дегаева. Увы, все оказывались тишайшими обывателями. Откликнулась и заграничная агентура русского департамента полиции. Дегаева «обнаруживали» даже в Африке: бывший артиллерист якобы затесался во французский колониальный полк.

А вятские исполнительные служаки сочли необходимым переслать его превосходительству фон Плеве и такие каракули: «Зачем ты, тайна полиция, назначила 10 000 тому, кто укажет на моего любимого товарища Сергея Петровича Дегаева? Вас бы всех, сукиных детей, нужно бы застрелить или зарезать».

Гм, «застрелить или зарезать»... Длинным пронзительным блеском блеснул Скандракову сапожный нож... Бешеный Митька Сизов ринулся на Скандракова... И громадный, как взрыв, оконный грохот... Майор выжил чудом. С той поры уже не умом, а как бы телесно Александр Спиридонович воспринимал близость кипящего, кровавого хаоса. Хаос, хам, чернь — вся эта ужасная стихия была рядом, от нее отделяла тонкая, зыбкая, ненадежная пленка. И сейчас, с омерзением глядя на бранные каракули, Скандраков видел бездну: «Вас бы всех, сукиных детей...» Он снова подумал о необходимости перемен. И о слепоте тех, кому перемены эти жизненно необходимы.

Листки с грифом «Для памяти» остались чистыми. С места в карьер Скандраков не ухватился за «звенья», указанные директором департамента. Медлительность майора объяснялась опытностью: надо вершок за вершком ощупать путь, уже пройденный следствием.

Лишь после того Александр Спиридонович счел возможным обратиться к указаниям г-на Плеве.

Первое: на похоронах Судейкина арестован «подозрительный человек южного типа».

Второе: вслед за убийством Судейкина из города исчезли некая Голубева и некий Савицкий, проживавшие на Большой Садовой.

Итак?

Первое: арестованного «южанина» предъявить дворнику дома 114, что по Большой Садовой. Может быть, «южанин» наведывался к Голубевой и Савицкому?

Второе: вид на жительство Голубевой помечен харьковской полицией. Значит, там, в Харькове, и наводить справки.

Майор составил телеграмму в Харьков; randevу «южанина» с дворником приказал устроить нынче ж вечером. И, приказав, отбыл обедать.

Александр Спиридонович поселился в очень благонадежном месте — на Гороховой, 2. Часть этого большого дома занимало градоначальство, часть была отведена под квартиры служащих секретного отделения и департамента полиции. То был дом, населенный людьми, которые знали друг друга и не опасались друг друга.

Майор Скандраков обосновался в двух комнатах. Большого ему не требовалось. Скромный холостяк, он и в Москве жил уединенно, и здесь, в Петербурге, не желал общества, компаний. Прислуживать ему стал лакей Судейкина, молчаливый чухонец. Как многие чины секретной полиции, майор держал в услужении бывших рядовых или унтеров корпуса жандармов.

Александр Спиридонович тянул эриванское. Финляндец за стеной тихонько позвякивал посудой.

2

Прапорщик начал почтительно:

«Вы, может быть, будете удивлены, что я пишу Вам, но прошу на этот раз выслушать меня. Письмо это вызвано многими причинами, но главным образом тем душевным состоянием, в котором я нахожусь теперь. Вы, верно, догадываетесь, о чем я хочу говорить с Вами...»

Дегаев слушал, как он вздыхает и скрипит пером, рвет написанное и опять пишет. Дегаев знал, что Володе вряд ли ответят. Тихомиров вправе не отвечать, как вправе и не поверить ни единому слову. Все это Сергей Петрович знал,

но не останавливал младшего брата, не мешал ему. Больше того, Дегаеву нужно было, чтобы Володя писал то, что он сейчас писал, и Сергей Петрович молча сидел у огня, вытянув ноги к каминной решетке.

«Да, я хочу с Вами говорить о том бедном человеке, которого теперь смешали с кучкой тех людей, которых принято называть предателями. Чрезвычайно горькая вещь и к тому еще хуже — несправедливая. Разберем-тесь в этой истории. Факт выдачи, никто спорить не станет, некрасивый. Таких средств никто оправдывать не может, но тем не менее в данном случае находятся все смягчающие обстоятельства. Человек с таким гениальным умом, с таким характером, с такой энергией, с революционным опытом — мог решиться на такую вещь. Ведь что бы Вы сказали, если бы дело обернулось иначе? А оно могло, как казалось...»

Удивительно: избалованный и заклеянный, признавший все и вся, Дегаев почти маниакально отстаивал чистоту своих помыслов перед юнцом, перед младшим братом, которого если и любил, то вовсе не почитал.

Сергей Петрович как бы «подтаскивал» Володю на свое место, уподобляя себе. В самом деле! Ведь когда-то Володя пошел на сговор с Судейкиным. Товарищи одобрили этот сговор в надежде выведывать намерения сыска. Правда, Володин «роман» окончился ничем, если не считать угрозы Георгия Порфирьевича: «Постарайтесь, чтобы о вас забыли». Итак, сговор был. Одобренный товарищами. Не без колебаний, но одобренный. Итак, якобы, передавшись Судейкину, он, Володя, надеялся извлечь благие выгоды. Как же ему теперь сомневаться, что старший брат, идеал и наставник, не преследовал ту же цель? Усомниться в Сергее — все равно что усомниться в себе. А в себе Володя Дегаев не сомневался. И трагизм брата был ему понятен.

Все страшное, уникальное величие брата Володя понял еще в сумеречный, зыбкий час, у Лизы, в квартире на Песках. Но Дегаев-старший как бы ходил все теми же кругами, все той же спиралью. Он словно бы и не оправдывался, а при Володе размышлял вслух над самым мучительным и самым капитальным событием своей жизни. Над тем, за что он уже расплатился сполна. Нет, не убийством Судейкина — изгнанием из партии.

Размышляя так, Сергей Петрович слышал собственную фальшь и в тайной тревоге искал Володиной поддержки. Ему необходимы были Володина вера и Володина верность. Но, едва убедившись в них, Сергей Петрович с каким-то

темным злорадством думал, что, право, обошелся бы без младшего брата с его состраданиями и сочувствиями.

«Да, дело, казалось, могло принять очень хороший оборот. Конечно, подобные вещи оправдывают только результаты. И относиться к этому, значит, надо по-другому. Смешивать с обыкновенными предателями человека с такими нравственными качествами более чем низко. Человек этот делал это не из личных выгод. Если хотите, я припомню Вам только некоторые факты. Все революционное дело велось на деньги, которые он получал. Родным он не давал ничего. Я в Саратове жил в казарме и питался вместе с солдатами, пока наконец сестры не начали высылать по 8 рублей в месяц. На себя он тратил очень мало. Все деньги шли на революцию...»

Бедный прапорщик не догадывался о деньжищах старшего брата. Ему и в голову не приходило, на какие «гроши» он, Володя, ехал в Швецию, жил в Стокгольме, дожидаясь Сергея, а потом в Париже жил и теперь жил в этом лондонском угрюмом отеле.

Незадолго до убийства Судейкина Сергей Петрович спровадил Володю за границу. В Питере его, конечно, арестовали бы после шестнадцатого декабря. Причастный к подполью, давний поднадзорный, саратовский пропагатор, Володя, того не ведая, держался покровительством инспектора секретной полиции: в угоду Дегаеву-старшему Георгий Порфирьевич не трогал Дегаева-младшего.

Выпроваживая Володю из Петербурга, Сергей Петрович сильно рисковал: исчезновение прапорщика могло встревожить Судейкина, и тот не явился бы на роковое свидание. А не явись инспектор, Дегаев не исполнил бы своей клятвы и наверняка получил бы пулю. Конечно, получил бы. Стоило только припомнить гильотинный блеск очков Лопатина. И все-таки Дегаев рискнул, решился — уберег Володю.

Этот его поступок был Володе еще одним (хоть и лишним) примером самоотверженности Сергея. Кроме того, в глазах Дегаева-младшего поступок Сергея обретал еще больший моральный вес оттого, что тот уберег его, Володю, а вот Любу, жену, оставил в России.

Между тем Сергей Петрович, не колеблясь, пожертвовал бы Володей, если б только предполагал, что Бельша могут арестовать. Но Дегаев этого решительно не предполагал. Любина участь казнила Сергея Петровича, он отчаялся, и в этом отчаянии не было никакой фальши.

Любинька спасла его, а он бросил Любиньку на произвол судьбы. Спасла она его потому, что он спасал ее.

«Кольцевая» эта мысль владела Дегаевым давно, с одесских времен.

И тогда, и теперь Дегаев сознавал шаткость, полуправду этого: «Любинька спасла меня, потому что я только о ней думал и ради нее пошел на все». Но и тогда, в Одессе, и теперь, в Лондоне, Дегаеву требовались усилия, дабы придать остойчивость своей утлой «кольцевой» мысли.

Впервые — смутно и неопределенно — подумалось ему о Любиньке как о некоей избавительнице в дивные архангельские дни. (Поныне помнились запахи рыбы и окоренных бревен, теплое мычание холмогорок, неспешливость будней.) Белокуренькая, беложавенькая барышня вообразилась Дегаеву избавительницей ото всех будущих напастей, неизбежных для революционера. Она такой вообразилась потому, что женитьбой Дегаев надеялся поставить крест на прошлом. Отойти. Вкусить простые радости жизни.

Но в Петербурге не достало сил отбиться. А Любинька не знала о подпольных заботах своего Сержа, своего Сереженьки, своего Сергунчика.

Когда в Одессе Дегаев налаживал типографию, Любинька уже кое о чем догадывалась, но догадки не тревожили ее. Она помогала своему Сержу, своему Сереженьке, своему Сергунчику. Помогала в мелочах, как бы по-домашнему, не вникая ни в цель, ни в смысл того, что делал Серж, Сереженька, Сергунчик.

А он знал: провал грозит не только ему, но и Бельшу. Однако недели минули, и Дегаев не то чтобы позабыл опасность, но почему-то склонился к тому, что Бельшу, собственно, ничто не угрожает.

Арестовали обоих. Оба оказались в одесской тюрьме. Дегаев мучился: погубитель... Ему, конечно, была уготована каторга; ей, очевидно, всего лишь ссылка. Может быть, на родину, под надзор. И обоим — разлука. Может быть, навсегда.

Чему больше ужаснулся Дегаев: своей ли каторге или своей разлуке с Бельшом? В сущности, каторга и разлука сливались, их нельзя было отграничить. Но где-то в потаенном закоулке души (и тогда, в одесской тюрьме, и теперь, в угрюмом лондонском отеле) Дегаев все же сознавал, что мысль о собственной гибели в каменном мешке была ему непереносимей разлуки с Любинькой. Сознание это не унизило, не согнуло Сергея Петровича — он, однако, предпочел думать не о себе, не о своей участи, а о ней, о Бельше. Воображение — особенное, тюремное — пришло ему на помощь. Скабрезные картины рисовались

Дегаеву: как его беложавенькая постанывает в чужой постели. На воле у него не было и тени сомнения в ее телесной преданности, и он не ошибался. В тюрьме возникало другое. Дегаев жалел себя. Он не воображал, а словно бы в самом деле уже угасал, уже умирал в петропавловском подземелье, изъязвленный, цинготный, пищали крысы, он умирал... А кто-то целовал припухлые свежие губки Бельша, целовал и тискал ее плечи... Дегаев жалел себя и ненавидел ее.

Но уже внутренне готовый на измену, уже заявив этой дубине полковнику Катанскому, что будет откровенен лишь с инспектором Судейкиным, уже созрев для измены, Дегаев опять и опять пытался определить, что им движет: ужас ли каторги или ужас разлуки с Бельшом? И он почти убедил себя, что вся суть в Любиньке, он обязан спасти Любиньку, а будь он холост, будь один, тогда, о, тогда другое, совсем другое... Спасая ее, он спас и себя. И он почти придал остойчивость этой утлой уверенности... А потом приехал Георгий Порфирьевич, втроем они встретили Новый год. Были свечи, вино, сладости...

Теперь он опять терзался из-за Любиньки. Невинную, ни к чему не причастную, ее схватили как жену убийцы. К теперешним мыслям о Бельше не примешивалось ничего стороннего, и Дегаев был чист в своих терзаниях.

Положение сестер (Лизу выслали из Петербурга, от Натальи отвернулись «радикалы»), состояние маменьки, сраженной афишками, ценившими голову ее сына в пять и десять тысяч рублей, — все это не трогало Дегаева, как трогало и мучило Володю. Но Бельш... Ах, если б он мог предположить, что с нею так поступят! Не этот юнец вздыхал бы сейчас в лондонском отеле... Они бы с Любинькой не засиделись в Лондоне: туда, за океан, в Канаду, в американские штаты...

Не убийством Судейкина (как кричал! как кричал; «Дегай! Дегай!»), не на Гончарной и не на Варшавском вокзале брызнул Сергею Петровичу живительный, отрадный свет избавления. И даже не в Либаве, когда он молча, без слов и рукопожатий, расстался с «конвоиром», Стасем Куницким. Нет, лишь в Париже. Там он не каялся, это было ни к чему. Там он делал дело: составил «черную книгу», как Тихомиров окрестил перечень тайных агентов, подвизавшихся в подполье; потом — список лиц, коих выдал Судейкину, но которые «по соображениям розыска» оставались на свободе; открыл, что план ликвидации министра Толстого был одобрен самим Плеве. И еще одно, но это уже довери-

тельно, только Льву Александровичу: покойный Судейкин поручал заманить Тихомирова куда-нибудь на немецкую границу, а там бы Тихомирова взяли дружественные России германские власти.

Он открыл это Тихомирову доверительно. Он рассчитывал на благодарность. Ему нужна была помощь Тихомирова. И он заручился обещанием Льва Александровича.

Дегаев получил известие: «меру пресечения» для Бельша смягчат, если найдутся полторы тысячи рублей. Полторы тысячи залога, и супруга государственного преступника — вне тюремных стен. И тогда отъезд (нелегальный, конечно) за границу — проект вполне осуществимый.

Сергей Петрович готов был переслать деньги почтой. Но вывезти Любиньку из России не мог без содействия бывших товарищей. А связаться с ними он не смел, его просьбу с презрением отвергли бы, да и вообще ему под страхом смерти были воспрещены всякие отношения с партией.

Тихомиров согласился помочь побегу Любиньки. Его любезность, его сострадательная готовность были Дегаеву все же неожиданностью, хотя он на них и рассчитывал.

Сергей Петрович испытывал к Тихомирову признательность за участие в судьбе Бельша. Но при этом Дегаев полагал, что тихомировская участливость объясняется доверительным сообщением о замыслах департамента выманить его, Тихомирова, в Германию.

Хорошо, думал Дегаев, пусть так, пусть этим объясняется, все равно он признателен Тихомирову. А вот Володя... Гм, у Володи, оказывается, есть претензии к Льву Александровичу. Ребячество! Однако зачем мешать Володе?

Чем дальше писал, чем дольше переписывал Дегаев-младший письмо свое, тем сильнее завладевали им раздражение, обида и даже гнев. Он уже не брата оправдывал, он обвинял, нападал.

«Никто, опять повторяю, не станет возражать, что жертвы были ужасны. Но Молох революции требует и не таких! У меня у самого сердца разрывается, когда я начинаю думать об узниках, томящихся в тюрьмах. Каждое газетное известие из России заставляет меня глубоко страдать, я положительно с ума схожу, когда вдумываюсь в свое положение. А оно действительно очень печальное. С одной стороны — порванная связь со всеми мне дорогими; с другой — мой любимый человек сильно мучается тем, что он сделал. Все это заставляет меня горько плакать по временам. Я еще нахожусь в таком возрасте (мне еще 20 лет),

когда все сильно отпечатлевается на душе. Я лично на очень многое могу решиться по отношению к Вам.

Относительно меня тоже. Ваше нежелание иметь какие-либо отношения ко мне я еще заметил в Стокгольме. Сергей Вас оправдывает, но, извините, я могу сказать, что вы бессердечные люди. Пока вам человек нужен, вы имеете дело с ним, как не нужен, вы бросаете его, как тряпку.

Но я чувствую, что не могу изложить в письме всего того, что я думаю, мысли бегут скорее пера. Еще раз я хочу спросить Вас: порвали ли Вы совершенно связь со мной? Мне вопрос этот очень важен. Мое душевное состояние ужасно, семья наша оттолкнута всеми, брат мучается очень сильно судьбою лиц, ставших жертвами этой печальной истории, меня все это повергает в страшное отчаяние, доводящее до мысли о самоубийстве.

Но за что я страдаю всего больше? Я не могу превратиться в иностранца. Я постоянно страдаю. С утра до ночи одни мысли бродят в голове, мысли о том, что я волей-неволей должен остаться отставным революционером. Будьте добры ответить мне, надеюсь, Вы не откажете в этом. Согласны ли Вы были бы повидаться со мною, я дня на три приеду в Париж?..»

Из камина понесло вдруг угольной вонью. Дегаев поднялся. За окном меркло. Мрак был груб. Лондон, февраль... Дегаеву все представилось фантастическим, нереальным.

Володя уронил перо. Дегаев сзади обнял брата, дыша в Володин затылок, скользнул глазами по исписанным листкам. «Бедный мальчик, — подумал Дегаев, — как ты страдаешь».

— Попытайся все же понять их, — пробормотал Сергей Петрович.

— Я одно понимаю, — встрепенулся Володя, — я одно теперь понимаю, Сергей. У н и х одна мораль. Понимаешь? Я теперь все вижу, Сергей. Нужен — все соки отдай, до капли, не нужен — на мостовую. Так Судейкин, так и Тихомиров. Одна мораль, Сергей!

— Ничего не поделаешь.

Сергей Петрович прошелся по комнате. Увидел справочник пароходных компаний. Сто раз уж листал он этот справочник. Вздыхнул:

— Скорей бы приехала...

Володя, скрипнув стулом, обернулся.

— Тебе не страшно?

Дегаев понял брата. Ответил вдумчиво:

— Нет, не страшно. Грустно, но не страшно.

— Да ведь навсегда же, — словно бы в горестном недоумении произнес Володя. И повторил, прислушиваясь к этому пугающему: — Навсегда...

Дегаев молчал. Еще в России мерещилась чужая даль, спасительная и надежная: то какие-то заросли, сквозь которые проглядывал выпуклый океан; то старинный, в острых шпилях городок на каком-то острове; то простой рыбацкий поселок на берегу реки... Но все эти картинки Дегаев перелистывал в памяти рассеянно и снисходительно. Не эмиграция ждала его, а иммиграция. В России Дегаеву не было места, какой бы ни была Россия — монархической или республиканской. Он был против всех, все были против него. Сознывая это, Дегаев, случалось, чувал в себе нечто демоническое.

Однако главным в нем была практическая складка. Заграничное существование следовало обеспечить. В забулдыгу он не превратится и не помрет от ностальгии. Он даровитый математик. (Наверное, он был не даровитым, а способным математиком.) Математика не затрагивает ничьих интересов. И математикой можно прожить безбедно, не затрагивая ничьих интересов: математика нужна всем.

Нет, он не останется в Нью-Йорке. Ему бы только добраться до Нью-Йорка. А потом... Потом какая-нибудь Южная Дакота. В слове «Дакота» слышалось что-то глухое и твердое. Он переменит имя. В Америке каждый занят собою, никому нет дела до другого. А в Европе он не останется. Ни за что!

«Длинные ножи», как думал Дегаев, торчали изо всех европейских углов. Парижские лидеры гарантировали жизнь? Дегаев им верил. Не верил другим. Согласятся ль те, что еще действуют в России, с мирным решением заграничников? А департамент? Георгий Порфирьевич всерьез помышлял о похищении Тихомирова. Почему бы преемникам покойного инспектора не помыслить о похищении Дегаева? Или о повторении нечаевской истории? Нечаев был политическим эмигрантом, Нечаева объявили уголовным и добились выдачи.

Нет, Европа — это вечный страх, вечное ожидание возмездия. Лучше уж вовсе не жить. А Сергей Петрович Дегаев очень хотел жить. Теперь, быть может, сильнее, чем когда-либо.

Покидая Россию, Дегаев не испытывал никаких сожалений. Проклятая страна уродов и уродств. Все его душевные

силы конвульсивно напрягались — согнуться, исчезнуть. И никаких сожалений.

Но теперь, в Лондоне, задерживаясь из-за Любиньки, почти уж свободный ото всего и всех, теперь Дегаев обессилевал, робел и спотыкался перед Володиным: «Навсегда?..»

Мрак клубился за окном, угольной вонью несло из камина. Несчастный мальчик сидел у стола. Белели листки бумаги... Навсегда? «Родина», «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», «дрожашие огни печальных деревень» — все это было хрестоматийным. И все же — странная робость, слабость, жуть. Нечем дышать, дышать нечем.

Он не пил ни капли. Даже запах спиртного был отвратителен. Когда наступало то, что наступило сейчас, он уходил из отеля. Один, жестом отвергая Володю.

Долгое отсутствие Сергея Петровича всегда пугало Володю: брат может решиться на самоубийство. Дегаев-младший был склонен так думать, потому что его самого в иные минуты подмывало кончить счеты с жизнью, чтобы отомстить Тихомирову с компанией. Но, правду сказать, Володя знал, что не сделает этого. А вот за Сергея он не поручился бы.

Известий от Любиньки все еще не было. Без жены Дегаев не хотел трогаться с места. Он бы и не тронулся, если бы однажды, в часы своих одиноких блужданий по Лондону, не увидел Лопатина.

Лопатин, расплачиваясь, что-то сказал кебмену. Тот расхохотался и покатил дальше. В ту же минуту Лопатин встретился глазами с Дегаевым.

Петербургским ужасом дохнуло на Сергея Петровича: «А потом и хозяина квартиры...» Дегаев втянул голову в плечи. «Ба!» — только произнес Лопатин, перекладывая саквояж из руки в руку. Это «ба!» огрело Дегаева, как плетью, он бросился бежать.

После встречи на Regents Park Road Дегаев твердил: «Вот он, «длинный нож». Володя не спорил.

Презрительное молчание Тихомирова возмущало, бесило Володю. Отныне отставной революционер не сомневался в безнравственности и жестокости революционеров. Конечно, поддакивал Володя, «эти господа» с легким сердцем нарушат свое же честное слово и «уберут» Сергея.

Сергей Петрович, однако, медлил. «Любинька, бедная Любинька», — повторял Дегаев. Его промедление — из-за Любиньки! — восхищало Володю. Но Дегаев-то позволял себе мешкать потому, что все же не до дна поверил в злые

намерения Лопатина. Черт побери, разве Лопатин не имел возможности расправиться с ним в Петербурге, тотчас вслед за убийством Судейкина? Хотя бы там, на Забалканском, где он, Дегаев, брился и переменил платье?

Младшего брата он не спешил успокоить: Дегаеву с юности нравилось, когда о нем беспокоились. То, что обычно докучает молодым людям, его тешило. К тому же теперешнее беспокойство младшего брата сливалось с восхищением. Оно бодрило Сергея Петровича, хотя он сознавал всю Володину наивность. И Дегаев опять и опять говорил, что не простит себе отъезда без Бельша.

Так они прожили до черной субботы, которая сокрушила Дегаева. Рассуждая спокойно, он должен был бы сообщить, что субботний номер «Таймс» не тотчас попадет в Петербург. Да и после того, как этот номер «Таймс» попадет в Россию, ответ не последует мгновенно. Рассуждая спокойно... Но Сергей Петрович уже вовсе не рассуждал.

Ближайший рейс в Нью-Йорк приходился на вторник. До вторника была вечность. Если б Дегаеву предсказали, что судно, уходящее в Галифакс, разобьется, затонет, сгорит, он все равно взял бы билеты на «Принца Эдуарда»: старая калоша снималась с якоря воскресным утром.

«ЗАГОВОР НА ЖИЗНЬ ГРАФА ТОЛСТОГО» — от этого заголовка в «Таймс» Дегаев рухнул. Один из участников заговора покоился на кладбище, ему ничего не грозило, кроме тления. Двое других были разделены пограничными столбами, верстами и милями. Но им угрожало многое. На г-на фон Плеве, очевидно, надвигался громовой скандал: директор департамента полиции, оказывается, замахивался бомбой на своего министра! Но Сергея Петровича Дегаева пришибли не скандальные разоблачения, пущенные, как из пращи, в голову г-на Плеве.

Не жалким и потерявшимся виделся Дегаеву тайный советник, многоопытный прокурор, бесстрашный сановник. Они теперь встали друг против друга: Плеве и Дегаев. Могущественный Плеве и беглый убийца. Плеве прощать не умеет. Можно стакнуться с революционерами; с тайным советником стакнуться нельзя.

Сперва это был заговор двух: Судейкина и Дегаева-Яблонского. Плеве встрял в игру, поощрил и одобрил. Дегаев в Париже рассказал о заговоре Тихомирову и Ошаниной. Рассказывая, надеялся убедить обвинителей и судей в том, что честолюбие Судейкина позволяло исполнить террористический акт, который возродил бы престиж партии. А следующим, мол, был бы Плеве. И тогда с «воцарением»

Судейкина, циника, человека, в сущности, недалекого, открывались, дескать, возможности широких действий на благо революции.

Дегаеву, конечно, не поверили. В заговор-то поверили, а во все прочее — нет. Но это сейчас совершенно не занимало Сергея Петровича, как не занимало и то, что Тихомиров с Ошаниной вопреки обещанию предали гласности его рассказ.

Не об Ошаниной, не о Тихомирове думал Сергей Петрович, сжимая в потном кулаке пароходные билеты. Он думал о «длинных ножах», которыми располагает фон Плеве и которые тот — несомненно, несомненно! — пустит в ход.

«Таймс» еще читали лишь в Лондоне. До отправления в Канаду оставалось несколько часов. Но Дегаев ничего не хотел слушать: ни минуты в отеле, где за ним, конечно, давно следят. Володя предложил скоротать ночь на пароходе.

Дегаевы вышли из отеля. Их поглотили мгла и морось. Вскоре послышалось, как тяжело ворочается Темза. Мигали якорные огни. Сумрак сближал дома и пароходы, пакгаузы и угольные баржи. Но за этой слепой теснотой угадывалась огромная соленая вода враждебная, могучая, беспредельная.

То ли близость хаоса, то ли, напротив, мысль о каюте как о западне, то ли все вперемешку подействовало на Дегаева, но он отказался ночевать на борту парохода.

Братья кружили близ Темзы, жались к домам, к каким-то темным безликим строениям. Сутулясь, поднимая воротники, брели рядом. И у обоих екало сердце, когда раздавались пароходные гудки — то низкие и требовательные, то высокие и просительные.

Володя озяб, молча потянул брата в портовый кабак. «С ума сошел, ты с ума сошел», — испуганно бормотал Дегаев, подчиняясь Володе.

В низком зале, опрятном и освещенном, пахло сырой одеждой, дешевым виргинским табаком, портерным пивом. Дегаев настороженно огляделся: матросы, грузчики, какие-то субъекты с бакенбардами, старик, дымящий трубкой... Подобие улыбки тронуло губы Сергея Петровича — ни одна душа не читала газет. Он опять огляделся. Никто, ни одна душа. Он почувствовал радостный голод. Ел много, с жадным удовольствием.

Из кабака, не сговариваясь, пошли они к Темзе, наняли яличника и перебрались на борт «Принца Эдуарда». Вахтенный угрюмо показал им каюту. И теперь уже не западней почувдалась Дегаеву пароходная каюта, но убежи-

щем, надежным, скрытным, уютным. Он запер дверь на ключ, подергал ее, убеждаясь в прочности замка.

На рассвете Володе приснилось, что он — в железном ящике. Ящик заколачивали, заклепывали. Володя силился закричать, но и горло его будто тоже заклепали. Наконец он очнулся.

В каюте было темно, Сергей дышал ровно. Володя различил мерные удары машины, топот матросских башмаков. Потом донесся гром якорной цепи. «Отплытие, отплытие!» — пугаясь и радуясь, догадался Володя и торопливо оделся.

Щелкнув замком, он приотворил дверь, слабый свет из коридора скользнул в каюту. Володя увидел брата. Небрятый, осунувшийся, Дегаев спал. «Не буду, — решил Володя, — так лучше, пусть спит».

На палубе, знобко вздрогнув, он упрятал руки в карманы пальто и встал у влажного фальшборта. Светало трудно. Было туманно и свежо. «Принц Эдуард» тянулся вниз по течению. Возникали и пропадали корабли.

Навсегда... Ничего не припомнилось в отдельности, никто не обозначился ярко. Ни Питер, ни Саратов, ни маменька, ни Лиза, ни Блинов, ни саратовский штабс-капитан. Но и Петербург, и волжские кручи, и маменька, сестры, печальная Томилова, и покойный Блинов, и штабс-капитан, с которым он дружил, и еще, и еще многое, все вместе, разом поднялось в душе.

Володя заплакал.

3

— Детки родятся такусенькими, — вдумчиво утверждал мальчуган. — А я сразу: во-о-о-от! — Бруно широко развел руками. — Правда, папа?

— Хвастунчики родятся такусенькими, — смеялся Лопатин, дергая сына за мизинец. — А вырастают — хвастунишки! — И он тоже широко развел руками.

— В тебя, Герман, — улыбалась Зина, кивая на Бруно. — Вы оба Тартарены.

О блаженство возвращения! Зина и Бруно здесь — значит, здесь дом. Ты, оказывается, еще не избавился от этого чувства. Да-с, не избавился. И тебя, оказывается, это радует.

Но письмо? Письмо в сорок с лишним страниц? Письмо, вымученное прошлой осенью. В Лондоне. Из Лондона посланное Лаврову в Париж, с просьбой передать Зине. А перед тем, если Лавров захочет, пусть прочтет это письмо.

От Лаврова он не скрывал последний акт своей семейной драмы. И Лавров передал письмо Зине...

Как и обычно, в первый парижский свой день Лопатин навестил Петра Лавровича, которого некогда спас, вытащил и увез из глухомани, из полицейского плена. Вчерашний день Лопатин провел у Лаврова. И Петр Лаврович играл мягкими морщинами: Лопатин, этот «святой безумец», вновь взметнул тонкую книжную пыль профессорской берлоги на улице Сен-Жак, 326.

Лавров, как и просил Герман, еще в прошлом году, осенью, вручил письмо Зинаиде Степановне. Нет, не стал читать, хотя и польщен доверием, хотя и получил разрешение, но письмо, однако, слишком интимное, чтобы он... Лопатин добродушно усмехнулся: «Мой колонель, вы заметно исправляетесь!» Бывший полковник, колонель, удивился: «То есть как это «исправляюсь»?» Лопатин опять улыбнулся: «Да вот, читать не стали. А Маркс, помню, заметил: «Лавров слишком много читает, чтобы что-нибудь знать».

Петр Лаврович был весьма щекотлив. Сказани ему такое сам автор «Капитала», Лавров бы, ей-богу, надулся. Но Герману все прощается.

Вчера Лопатин был спокоен. Письмо, страшно для него важное и мучительное, такое, какое дважды не напишешь, попало к Зине. Объяснение произошло. Пусть заочное, но произошло. И теперь, наверное, все будет и проще, и легче.

Однако, собираясь в Латинский квартал, к Зине, Лопатин волновался, чувствуя и беспомощность и даже как бы нелепость своего положения, хотя вроде бы никакой нелепости и не было. Он пытался трунить: если браки совершаются на небесах, то, очевидно, там же и расторгаются священные узы. Ирония не выручала. Он попытался заслониться сыном: я пойду не к Зине, а к Бруно. Это было так, и это, черт побери, было не совсем так.

В прошлом году Зина вовсе не пожелала тебя видеть, и ты стремительно убрался из Парижа в Лондон. Она тебя как бы выслала из Франции в административном порядке. И ты ничего не мог делать. Курил, слонялся, как отравленная муха, по улицам и тосковал, тосковал. Потом там же, в Лондоне, писал это длинное письмо о разрыве. Долго и мучительно писал. А потом... потом, уже в Питере, понял, что такие раны рубцуются медленно. Если вообще рубцуются.

Как все было бы нетрудно, окажись Зина барынькой, которой наскучила эмигрантская неустроенность. Эх, окажись она неженкой, белоручкой, банальностью... Гм, вот

штука жизнь: и ты был бы этому рад — связался, мол, по глупости с заурядной девицей, а теперь спохватился и в сторону... Но Зина не тривиальность. И ты не «связался», а полюбил красавицу и умницу, по любил храбрую и благородную женщину, которая укрывала людей подполья и желала сама добывать свой хлеб... Что ж теперь? Даже близким друзьям не объяснишь причины разрыва. Тайны двух — неуловимые тайны... Полноте, Герман, соберись с духом. Вот он, смотри, сумрачный дом. Там Зина, там Бруно. Ты идешь к Бруно. Только к Бруно?

Ей стоило лишь улыбнуться, одной ее улыбки было достаточно, чтоб все осветилось, и он ощутил блаженство возвращения. Бородой, губами касался он щек сына, его тоненьких, паутинкой, золотистых волос, вдыхал запах его кожи, чуя в этом слабом и чистом запахе Зинин запах.

Как хорошо! Боже мой, как хорошо! Пловец отдыхал на берегу. Странник грелся у огня. Огонь не бивачный, не походный — очаг, у которого растет твое дитя.

Лопатин затеял возню с Бруно, забавлял мальчишку и забавлялся, как мальчишка, но при этом исподволь и словно чего-то страшась приглядывался к Зине.

Она накрывала на стол. В ней всегда чуялась затаенная гроза. Ее усталое, красивое, смелое лицо могло быть вдруг удивительно милым или столь же удивительно жестким.

Лопатин, оседланный Бруно, по-лошадиному топоча и фыркая, приблизился к столу. В руке у Лопатина была тяжелая бутылка шампанского. Не здешнего, не французского.

— Наша «Катька»! — с нежной признательностью воскликнула Зина. — О Герман, как это хорошо...

— Не наша, а твоя, — весело, но и смущенно ответил Лопатин. — Я всегда предпочитал «Петруху».

Смущение Лопатина не ускользнуло от Зины, она уже не улыбалась. Лопатин, подпрыгивая и трясая головой, словно гривой, «на рысях» убрался в спальную комнатку.

Зина слышала, как отец с сыном завязали перестрелку подушками, как взвизгивал и смеялся Бруно, как Лопатин кричал: «Огонь! Пли!» — но все это уже не радовало ее.

Она провела кончиками пальцев по золотой фольге... Шампанское «Екатерина Вторая» — сладкое; шампанское «Петр Первый» — полусладкое... «Петруху» Герман вовсе не предпочитал «Катке», но «Катку» они распили много лет назад. «Катька» была неким символом. И вот эта бутылка показалась Зине признаком примирения, желанного и жданного. Замешательство Германа не ускользнуло от

Зины, и первым ее душевным движением была не печаль, а досада на свое: «Наша «Катка»!»

Уезжая из Петербурга, Лопатин и впрямь вспомнил про «маленький символ». Потому, наверное, что в нем очнулись те ощущения, которые составляли его и Зинину сокровенную тайну. Он был уверен: и Зинину тоже. Уверен, хотя они ни разу не говорили об этом, лишь скрытно удивляясь загадочной слитности телесного и духовного.

А сейчас Лопатин оторопело догадывался, что эта «Катка» принята Зиной как поворот в прежнее, в минувшее. Она придала «маленькому символу» слишком большое значение. Во всяком случае не такое, какое Лопатин. Он смутился; его смущение оскорбило Зину.

Он все еще возился с Бруно, был в этой возне, но уже слабел огонь, у которого грелся странник, и уже уходил под воду берег, на котором отдыхал пловец. Правда, пока не обрывисто, а полого, но уходил.

Зина со старательной веселостью пригласила к столу воюющие стороны. В спальне не расслышали. Она пошла смирить расшалившегося Бруно. Унимая, нечаянно задела ладонью бороду и щеку Германа. Они оба вздрогнули. Их выручил Бруно: по случаю торжества он требовал свободы от мытья рук.

— Следуйте за мной, сударь! — притворно строго приказал Лопатин. — Марш! Победителю повинуются!

— Нет, я победитель! — закричал Бруно. — Я! Я! Я! — глазенки его блеснули слезами.

В другое время папа с мамой не обратили б внимания на эти слезы. Да, в другое время... Переглянувшись, они обменялись мыслями, быстрыми и неодинаковыми: Зина корила Германа, Герман признавал себя виновным. Слезы Бруно, быстро осыхающие ребячьи слезы минутного каприза, для них не были минутными. И Лопатин молча принял укор и молча повинился.

Русского шампанского на столе не оказалось. Сладкое вино было заменено кислым французским. Лопатин это заметил, но каламбурить поостерегся. Ужинали мирно, и оба чувствовали, как другой хочет сохранить эту мирность. Говорили о Петербурге, о петербургских знакомых.

Круг Зининых русских знакомств был профессорский, литераторский: издатели и приват-доценты, публицисты и адвокаты. Она бывала в домах, где редко пьянствовали и часто дискутировали, не признавали роскоши и боялись нужды, где еще ругали правительство и уже не поклонялись «мужику». Она бывала в этих семьях, где в торже-

ство кормили «от Елисеева», а в будни — от соседнего «Тита Поликарповича», где не держали ни кенаров, ни борзых, а держали иногда тропических рыбок, где дети не учились ни в Александровском лицее, ни в Пажеском корпусе, а учились в гимназиях. Ей нравилась эта публика — воспитанная, но не благовоспитанная, мыслящая, но не благомыслящая, подданная, но не верноподданная.

Зине были по душе эти интеллигенты, работающие, а не служащие, зависящие не от столоначальников, а от «светочей разума». Ей были по сердцу их домашний уклад, поездки в концерты и на дачи близ Финляндской дороги, к Валаамским скитам и озерам Суоми.

Зине хотелось устроиться с Германом в такой вот разумной, трудовой, чистой жизни. Иную — здешнюю, эмигрантскую, или русскую, подпольную, — она отнюдь не считала нечистой. Но Зина полагала, что в жизни «петербургско-профессорской» Герман с его блестящими способностями пошел бы далеко. И суть для Зины была не во внешнем относительном благополучии и даже не в милом сердцу укладе такой жизни. Нет, суть была в том, что на попроще науки и культуры Герман, как она думала, был бы, так сказать, уместнее и полезнее для общего дела. Там бы он полнее, весомее, ощутимее выразил свое духовное содержание, нежели в роли вечного перекаати-поля.

Однако то, что сейчас рассказывал Лопатин, вызывало у Зины двойной и как бы сталкивающийся отзвук. Петербургские впечатления Лопатина огорчали ее и радовали.

— Верить ли, вот уж больше года я не могу переварить их. — Он сидел напротив Зины, освещенный вечерней лампой, под глазами у него были тени, лоб казался еще выше и еще чище. Он словно бы погружался в печальную сосредоточенность, незнакомую Зине, хотя ей казалось, что уж она-то изучила милого Германа. — Не могу, — медленно повторил он, — не могу избавиться. Мое личное, то, что со мною было, — все это явилось безошибочным определителем... Я бежал, ты знаешь, каково беглецу... Нет, я тебе издалека начну, с той весны, когда из Вологды... Ну-с, бежал, добрался до Питера. Жаждал тепла, ласки, привета, встреч. — Он прищелкнул пальцами. — Короче, сантиментов и телячьих нежностей. (Зина улыбнулась: «Просто не может, чтоб не присолить иронией».) И что же? — продолжал Лопатин. — Честно тебе скажу: не дай Бог никому очутиться в моем тогдашнем положении. Вообрази: старые друзья прячутся, как от прокаженного. Один в прихожей, как прислугу, продержал с час да так и не принял. Никто

не хочет руки протянуть, просто улыбнуться... Знаешь ли, я всегда понимал и понимаю законный страх, осторожность; семья, дети, то-се, да и каждому за самого-то себя тоже страшновато. Понимал и понимаю страх, основанный на реальных опасностях. Но тут... Господи ты Боже мой... — Лопатин сжал руки в кулаки, стал говорить, поднимая кулаки и прикладывая их к столу. — Конечно, власти произвели много «счастливых открытий». Конечно, строгости. Конечно, преследования. И, конечно, такое уж случилось. — Он перестал поднимать и опускать кулаки. — Да, случилось в шестьдесят шестом, после выстрела Каракозова. Но я-то в ту пору был зеленехонек. Я тогда на все поплеывал и подобный позор общества встречал с веселым смехом здорового добряка. А теперь... — Он помолчал, глядя на Бруно, занятого лакомством, но, должно быть, не замечая Бруно. — А теперь, Зина, другое. Тут не страх, в общем-то, всегда понятный и даже, если хочешь, порой извинительный, нет, тут другое. Знаешь что? Унизительная паника! Паника премерзостная! И среди кого же? Да среди наших общих знакомых, среди тех, кого мы считали солью земли. Ужас перед фантомом, пред собственной тенью. И тут уж... Я серьезно! Тут область социальной психиатрии. Кажется, такой еще не было? А? Ну так вот: у нас, в России, открывается обширное поле деятельности — социальная психиатрия. Иной раз чудилось: полно, это не они, не порядочные и даже не струсившие люди, а душевнобольные. И у них какие-то мучительные галлюцинации. Я их не понимал, они, верно, меня не понимали. Не знаю, как ты, но я...

Зина, навестив родину минувшим летом, тоже уловила перемену общественной атмосферы. Однако не столь пронзительно, как Герман. Не сказывается ли нервная «обнаженность», особенная впечатлительность натуры? И все ж он прав, прав.

Зина приняла его боль. Но вместе с этой искренней болью, вопреки ей Зина... радовалась. Радовалась надежде: теперь, именно теперь Герман наконец прозреет — в океане отлив, все обнажилось, до прилива далеко-далеко; плетью обуха не перешибешь. Нужна медленная, по-своему героическая, но кротовая работа, нужна не ей, Зине, а Герману в первую голову. И пора, пора бросить вечное кочевье.

Откуда ей было знать о Блинове и Литейном мосте, о всем, перед чем Герман был должником? Откуда ей было знать о деморализации и кризисе веры, о всем том, что не давало Герману покоя?

И, сострадая Лопатину, разделяя его боль, она радовалась и надеялась. Тут не было эгоистической расчетливости. Она не думала о себе, когда осторожно, как за ниточку, потянула Германа в сторону: к издателям, к литературным замыслам.

Он слушал, сдвинув брови, наклонялся к Бруно и осторожно, двумя пальцами то касался мочек его ушей, то почесывал у него за ухом. Лопатин медленно, с трудом отпадал от того, что все еще стояло перед мысленным взором. Потом стал отвечать, но отвечал вяло, без той живости и блеска глаз, которые всегда обвораживали Зину.

Ну что ж, он подумывал о поставке статей в толстые журналы. Подумывал, да куда-а-а там: толкую о психопатах, а у самого нервы не в порядке. И хандра, идиотская хандра. К тому ж, и Зине это не новость, у него не было и нет веры в свое перо. Переводить — это другое: привычное, почти машинальное, почти не зависящее даже от хандры. Но Билибин, сдастся, закрывает лавочку. (У Билибина печатал Лопатин переводы Спенсера, Тиндаля и Карпенстера. Билибин был ему якорем спасения.) А он как будто бы закрывает свою лавочку, и это дьявольски жаль. Кстати, не попадались ли Зине «Виньетки с натуры»? Эти аленновские изящные этюды в духе Дарвина? Он, Лопатин, перевел, Билибин издал. А в «Деле» тиснули лестный отзыв... Что? Заходил ли на Итальянскую? Нет, он не стал пугать своим посещением еще и почтенного Флорентия Федоровича... Ах вот как! Ну и прекрасно, прекрасно... (Оказывается, издатель Павленков недавно просил Зину не порывать деловых отношений: приискывать в Париже хороших иллюстраторов и по-прежнему, «если Зинаида Степановна соблаговолит», прирабатывать у него, Флорентия Федоровича, правкой корректур.)

Зина говорила о деловых отношениях с издателем. Лопатин слушал и будто без всякой связи с этими «деловыми отношениями» перелистывал свою записную книжку. Он отыскал пометку: «Бруно». Спросил Зину, получена ли такая-то сумма. Едва спросил, как понял, что вышла опять промашка. «Ах ты, господи, да ведь, право, без всякой задней мысли. Ей-богу, как и с бутылкой шампанского. Ты чертовски обидчива, мнительна...» И верно, Зина вспыхнула: деловые отношения и тут же деньги, присланные для мальчика? Значит, и это деловые отношения? «Да, деньги получены, — холодно и, как слышалось Лопатину, насмешливо ответила Зина. — Мерси. Впрочем, деньги уже на исходе, а впереди лето и не так уж трудно догадаться...» Она сострадательно погладила Бруно.

«Подожди, подожди, — раздраженно думал Лопатин, которому в Зининой сострадательности чудилась некоторая натяжка, — подожди, матушка, у тебя ведь пай в банке, проценты, правда, не ротшильдовские, но все ж процентки, и кое-какой заработок перепадает, и не надо, матушка, жалеть бедненького мальчика, якобы обреченного глотать летнюю парижскую пыль».

За раздражением крылась досада. Досада на самого себя. Она возникала всякий раз при мысли о материальном достатке. Зина была права: при его репутации и умении работать он мог бы прочно обеспечить Бруно. Мог бы, если бы... если бы не был тем, кто он есть.

Он не умещался в кабинетной жизни, хотя действительно мог и умел работать. Ему даже порой чудилось, что вот он вошел в гавань и встал на месте. Но нет, истекал кем-то положенный срок, надвигался кем-то указанный предел, Лопатиным овладевало беспокойство, почти телесное недомогание. И странствующий рыцарь опоясывался мечом. Его «гробом Господним» была Россия, «святые места» были для него в России.

Подавив раздражение и досаду, он хмуро осведомился, что же все-таки Зинаида Степановна намерена предпринять летом. Глаза у нее потемнели, губы сомкнулись жестко, вся она как-то сразу подурнела. Спрашивая о лете, Герман словно бы подчеркнул их разобщенность, Прошлогоднее письмо оставалось письмом об окончательном разрыве. Он не пришел мириться, нет... На мгновение она задохнулась от гнева. Но сдержалась — рядом был Бруно.

Бруно уже клевал носом. Пора было спать. Малыш сопротивлялся: самое интересное на свете как раз и начинается, когда тебя укладывают в постель. И вот он сонно таранился, и сонно улыбался, и сонно повторял, что желает еще немного побыть с мамой и папой.

Лопатин отнес Бруно в спальню. Зина, сгибаясь и выпрямляясь, стелила постель и взбивала подушку. Все трое были в этой маленькой спальней комнате с незанавешенным еще высоким и узким окном, за которым стоял — тоже высокий и узкий — черный чужой город Париж. В ту минуту смешалось в Лопатине многое: и отцовская нежность, и странная подчиненность матери этого ребенка, и тройная их общность перед зимним вечерним холодом, который караулил на дворе, и ощущение утраты чего-то прочного, чего утрачивать нельзя.

Потом они с Зиной вернулись к столу.

Четверть часа назад Бруно не дал высказать того, что кипело в сердце. Присутствие сына не позволило ей бросить Герману беспощадные обвинения. О, пригоршнями: в преступном легкомыслии и эгоизме, в том, что малыш нужен на день, что Герман готов бежать на край света... И еще одно обвинение, непереносимое, разящее, и Зина это знала: обвинение в том, что Герман жертвует семьей, сыном из-за химеры заговора, в близость и успех которого не верит, а делает вид, что верит, что над ним втайне посмеивается хоть тот же Старик, Лев Тихомиров. Этот Лев отсиживается в Париже и посылает в Россию таких авантюристов, как милый Герман... Все это она хотела высказать лишь четверть часа назад. Но теперь, когда уж не мешал Бруно, ее нервная энергия иссякла. Ей хотелось, чтобы он ушел. И она... она не хотела, чтобы он уходил. Лопатин тоже молчал.

Долгую паузу прервала Зина:

— Мне тебя очень жаль.

Она произнесла это просто и скорбно. И Лопатин, уверенный, даже самоуверенный человек, почувствовал свою беспомощность, свою неприкаянность и свою обреченность. Все это было ему внове, незнакомо, чуждо. Но он почувствовал еще и то, что Зина проницательна: в ней говорила древняя мудрость хранительниц очагов. И потому он не ответил, а переспросил:

— Жаль?

— Ты сам все сознаешь, просто не хочешь или не можешь сознаться.

— Ты не права.

— Права, Герман. К сожалению, я права. Была бы рада оказаться не правой.

Он отшутился:

— Ты прорицаешь, это зловещий дар.

Зина отозвалась взглядом, долгим, жалеющим, чистым. Она не прощала, она его отпускала. Как вольного охотника. Как вольного стрелка. Лопатину опять стало легко. Но уже не так, как раньше. То была уж не легкость отдохновения и покоя, а легкость готовности ко всему. Он был ей благодарен, он снова любил ее. И он ушел...

Что ж еще держало в Париже?

Суд над Дегаевым уже состоялся. Какой, к дьяволу, суд! У «матери игуменьи» Ошаниной, в квартирке на улице Флаттерс, сунули негодяю перо, бумагу — пиши. Писал Дегаев быстро, свободно. И словесные показания давал так же.

«Нравственный урод, — ежился Тихомиров. — Патологическая личность». Тихомиров не находил внятных при-

чин, понудивших Дегаева изобличить самого себя. Не в Париже, а прежде, еще в Швейцарии. Известия из Одессы? Дегаев мог их отвергнуть. А иными Тихомиров не располагал.

Тихомиров помнил, как Дегаев в Морнэ, что называется, клюнул на идею какого-то компромисса с царским правительством. Однако мало ли какой бред завладевает «во дни сомнений»? Тихомирову приходилось признать, что Дегаевым руководила нравственная извращенность. Факт сговора с Судейкиным был понятен, примитивен, прост. Но факт измены Судейкину? Ведь нельзя же всерьез принять версию этого мерзавца: когда «употребить» Судейкина в видах революции не удалось, оставалось одно: убрать Судейкина. Это и совершилось. Вот и все. Не было преступлений провокатора, а были ошибки революционера. Вот и все. Ошибки зловещие, чудовищные, роковые, и он, Дегаев, готов платить сполна: изгнанием из партии, которой столько отдал... Нет, иезуитскую версию этого мерзавца Тихомиров не принимал. Стало быть: «Патологическая личность. Нравственный урод».

Ошанина, выслушав Дегаева, сурово, бесстрастно, как бы с незримой высокой высоты, уточняла: «Безобразная мания величия, упоение актерством. Ждет, чтоб восхитились его умением носить маску».

Лицедейство, любование собою заметил в Дегаеве и Лопатин. Но Лопатину представлялись узкими эти «медико-психологические диагнозы». Не здесь надо было ломать копыя. Над другим стоило поразмыслить: как ничтожество, гомункулус вырастает в Личность, собственно, и не в Личность, а в какое-то гипнотическое подобие Личности? При Михайлове и Желябове, размышлял Лопатин, была действенная революционная борьба. Когда Желябовы сошли со сцены, возник Дегаев, человек второстепенный. Неофитам он показался «богатырем». (Тех, кому он таковым не казался — ну хотя бы этот флотский, этот Ювачев, — Дегаев поспешил выдать департаменту.) Мерзавец вождь пользовался капиталом предшественников, клялся их именем и молился на них. От прежнего геройского, цельного, без мелодрамы Исполнительного комитета ничего и никого не осталось. Организация продолжала существовать, но то уж был мираж, фата-моргана: правил маленький, хитрый, коварный «дегайчик».

Лопатин не скрывал этих своих размышлений. Тихомиров прибавлял, что и сам по себе человеческий материал, составляющий теперь организацию, не сравним с прежним.

Ошанина не отзывалась. Она не желала «растекаться мыслью по древу». Ее девиз: дело. Дело — это заговор, и только заговор. Ее аксиома: захват власти. Ее постулат: террор.

Лопатин знал, что Ошанина и дружит с Лавровым, и недолюбливает Петра Лавровича. Тот поверял ей будничные «тайны», советовался в будничных заботах. Человек непрактичный, он считал Ошанину очень практичной. Она принимала его доверие и давала ему советы. Но едва Лавров отрицал пользу террора, заговоров, как Ошанина рубила сплеча: «Книжный педант. Ужасная умственная робость. Прячется, как маленький, за спиной взрослых авторитетов; пусть, мол, и ошибаюсь, зато в какой компании!»

С Жоржем Плехановым она не дружила, да, кажется, и почти не терпела его. Но едва Жорж замолвил словечко за террор, к тому же и замолвил-то ради красноречия, Ошанина расцвела майской розой.

Плеханова Лопатин встретил в прошлом году здесь, на улице Флаттерс, у Ошаниной. Жорж оброс бородой, ходил в обтерханных, с бахромой брюках, в пиджаке, вытянутом на локтях, но и этот костюмишко носил он с каким-то легким европейским изяществом. Щеки у Жоржа были впалые, бледные, они зловеще рдели чахоточным румянцем. Смотрел Плеханов сурово, подчас жестко, а улыбался обаятельно, подкупающе.

Плеханов тогда ненадолго приехал в Париж из Швейцарии. Швейцарию он ругал: «Идиллия, леденец. Все там мелко: и души, и природа, все какое-то филистерское. Там и гроза по-настоящему не разбушует. Так, будто спичка чиркнет...»

Жорж искренне, бурно радовался лопатинскому побегу из вологодской ссылки, а Герман Александрович расхваливал плехановскую статью в «Отечественных записках». Плеханов смеялся: «Герман Александрович по обыкновению хватил через край!» Лукавил Жорж — польщен был и доволен.

Так вот, в прошлом году в «салоне мадам Ошаниной» речь, разумеется, зашла о терроре, о втором издании первого марта, о покушении на царя. Плеханов, давний и упорный противник «плаща и кинжала», вдруг как выстрелил: «Да что ж прикажете делать с этим толстолобым Митрофанушкой? Приходится трепанировать бомбой его неандертальский череп: может, тогда поймет политические требования современной России!» И Ошанина едва не расцеловала Жоржа.

Лопатин заговоры отвергал: «Преждевременные попытки меньшинства». Однако, не изменив своим убеждениям, он изменился сам: он терял терпение. И не это ль приняла Зина за утрату надежды на близость революции?

Он терял терпение. Однако полагал, что пойдет не в «заговор», а пойдет «от заговора». Странствующий рыцарь надеялся на странствующих рыцарей. Сознывая свою незаурядность, он не признавал своей исключительности.

Как и Тихомиров, Лопатин видел нравственный долг в том, чтобы вырвать остатки партии из тенет Судейкина и Дегаева. Поставить на ноги, вдохнуть новые силы. Долг был общий. Но оплачивать его каждый собирался по-разному, по-своему.

Тихомиров не юлил: в Россию не поедет, думал, да передумал, там ждет намыленная веревка, «во Франции и то не спишь спокойно»; дирижировать из эмигрантского безопасного далека не считает себя вправе; он, Тихомиров, литератор, перо его, как и прежде, принадлежит революции.

Можно было усомниться в личной храбрости Льва Александровича, и Герман Александрович усомнился. Нельзя было сомневаться в прямоте Тихомирова, и Лопатин не сомневался.

Лопатин тоже откровенно высказался: России нужны бойцы, и он поедет, испытывая потребность в практической деятельности. Хотя... хотя, сдастся, не долго ему «гулять на воле».

«Чисто дворянское чувство благородства, — не без восхищения подумал Тихомиров. И погасил свое восхищение: — Вкус к блестящему, преобладание фантазии. К тому же, верно, мучается тем, что за всю свою радикальную жизнь не участвовал в общем коллективном деле».

Между Парижем и Петербургом лежал Лондон: противоречия географической карте, это соответствовало географии души. К иному берегу Ла-Манша звали Лопатина старинные дружеские привязанности. Теперь, на этот вот раз, собираясь в Россию, он не надеялся, как бывало, на возвращение из России. Нет, он все еще верил в свою звезду. Но вдруг на какие-то мгновения чудилось, что звезда меркнет. За Ла-Маншем он не ждал утешений. Ни от Энгельса, ни от Тусси. Его покорила бы самая мысль об утешениях: «Мавр, — говаривал Энгельс, — мог приходить в ярость, но ныть — никогда!» Ныть? Никогда! Звезда сияет. Гони в три шеи мрак предчувствий. И однако... однако...

Все сладилось в Париже: явки, шифры, каналы переписки. Согласовано основное, определяющее. Предусмотрены

«мелочи», которые зачастую — уж он-то, Лопатин, знает — оказываются либо не мелочами, либо непредусмотренными. Настал срок, пора в дорогу: сперва в Лондон, потом — в Россию.

В срок Лопатин не уехал.

Он не мог уехать. Во все минувшие парижские дни Лопатин ждал, каждый день ждал, когда Тихомиров с Ошаниной, когда ж они вместе или порознь, хотя бы мимоходом, хотя бы намеком, коснутся дела, которое для него, Лопатина, много значило. Он не забыл тот ресторанный вечер с Дегаевым, когда едва не задохнулся от страшного, непостижимого: «Они знали, а ты не знал. Они скрыли, и ты ринулся очертя голову». Лопатин не желал, не в силах был уехать из Парижа, не получив объяснений...

Буи-буи — близнецы кухмистерских: суп как помои, мясо, отдающее кошатиной, вино как разведенная синька. И посетитель — как в питерской или московской кухмистерской: малявка чиновник, старикашка учитель, подбитый ветром провинциал.

Будничное утро дрогло в перемеси дождя и снега. Свет не горел, в пустом сумеречном кафе было неуютно. Лопатину показалось, что Тихомиров и Ошанина смущены. Он приписал это смущение их догадливости. И точно, они догадывались, для чего понадобились Герману Александровичу.

— «Якобы»? — несмело улыбнулся Тихомиров.

Лопатин не понял.

— Ну как же, — глаза Тихомирова двигались толчками. — Помнишь Успенского? Нет? Он писал, что парижанин кормится «якобы»: якобы бульоном, якобы жарким.

Ошанина рассмеялась.

— Я предпочитаю хлеб да картофель, — сказал Лопатин. — Тут уж без подделки, без «якобы».

Тихомиров кивнул.

— Я предпочитаю честный хлеб, — настойчиво продолжил Лопатин.

— Я тоже, — приняла вызов Ошанина.

— А ты? — Лопатин взглянул на Тихомирова.

— Разумеется.

Подали жиденький кофе, плетеную корзинку с ломтиками хлеба.

— Лучше всего честный хлеб в честной компании, — не сказал, а словно вслух подумал Лопатин.

Тихомиров возил по столу плетенку.

— Видишь ли, Герман... Ты, может быть, прав. По-своему прав. Но пойми же...

— Господа, обойдемся-ка без предисловий. — Ошанина строго смотрела на Лопатина. — Итак, Герману Александровичу угодно слушать про Дегаева?

Не в Петербурге, не с «Яблонским» был Лопатин. У него не было желания обличать, изобличать, прокурорствовать, как полагала Ошанина. Он хотел понять: почему прошлой осенью, снаряжая его в поход, скрыли роль этого мерзавца?

— Собственно, не о Дегаеве, мать игуменя.

— Ну конечно, конечно, — жестко усмехнулась Ошанина.

Лопатин не принимал послуха, высокомерие «игуменьи» не пришлось ему по вкусу, он нахмурился. Тихомиров накрыл руку Лопатина своей сухой, горячей ладошкой. И заговорил, будто продолжая начатое раньше, до нынешнего утра.

— Поделиться было не с кем; в Женеве никого, в Морнэ никого. Решительно не с кем... Его исповедь потрясла меня, ошеломила. По счастью, я сохранил бесстрашие. Дал ему вывариться в собственном соку. Он и выварился, открылся до конца. Советоваться, повторяю, не с кем, а решать, не мешкая. Что было делать? — Тихомиров убрал свою ладонь, опять поелозил хлебницей по столу. Спросил: — А ты? Что бы ты, Герман?

— Я?! — Лопатин дернул плечом. — Да я б его, сукиного сына, башкой в первую же пропасть!

Тихомиров как обрадовался.

— Представь: и я думал. И вот еще что: Дегаев, клянусь, подумал о том же. То есть чтобы меня... — Тихомиров быстрым жестом указал куда-то под стол. — Свидетелей нет, несчастный-де случай... Почему он не сделал — не знаю. Почему я... тоже не знаю. Впрочем... — Тихомиров не договорил, лишь слабо ухмыльнулся, будто признавая: «Где уж мне!» И продолжал: — Но тут еще вот что, Герман: Судейкин. Тот не по бумагам, не по спискам, тот на память многое и многих знал. Вот кого следовало устранить в первую очередь. Я предложил, Дегаев согласился. С радостью, так и уцепился, так и уцепился... Обещал немедленно прекратить выдачи. Но... И вот где собака зарыта — условие выставил: тайна полная, нерушимая, никто чтоб, ни единая душа. Иначе Судейкин учует, просочится, дойдет. Резон? Я и тогда, и сейчас согласен: резон. Ибо господин инспектор был травленный волк.

Повлажневшая ладонь Тихомирова опять накрыла руку Лопатина. Лопатин опустил глаза, ему хотелось отнять свою руку. Тихомиров вздохнул.

— Иного не было. Тайна требовалась, согласись со мною. — Он помолчал. — К тому же я пригрозил: ежели не сделает, не убьет Судейкина — всю мерзость опубликую, а тогда дни его сочтены. Ты, Герман, пойми, я знаю...

Бледный, весь во власти тяжких воспоминаний, Тихомиров перевел дыхание. Все, что он сказал, Лопатин понял. Понял и принял. Но это было не то, что хотелось знать.

— Не самолюбие, вы ж меня не впервые видите, — сказал он с несвойственной ему просительностью. — Нет, господа, тут не самолюбие. Я не понимаю, никак не возьму в толк. Скажите на милость...

— Пожалуйста, Герман Александрович, — отозвалась Ошанина. Лопатин не атаковал, не обвинял, и она подобрела. — Хорошо. Давайте поставим все точки и все запятые.

— Тогда скажите, Мария Николаевна, вы-то?

Она парировала стремительно:

— Да. Знала, Лев мне открыл. Ничего странного: я член Исполнительного комитета партии «Народная воля».

«Бог о двух головах, — подумал Лопатин. — Ты да Лев — вот тебе и комитет». Лопатин мысль свою не вымолвил, но глаза Ошаниной сверкнули.

— Именно так, — произнесла она тоном «игуменьи». — Вы никогда не состояли в организации, а мы воспитаны на заветах Александра Дмитриевича Михайлова.

Лопатина загоняли в угол. Верно, он не состоял в «Народной воле». Отмахивался: «Я слишком вольнолюбив, чтобы подчиняться даже Исполнительному комитету». Ошанина, будто не отпуская Лопатина, добавила значительно:

— Теперь другое дело.

«Формальности», — подумал Лопатин гневно. Он возмутился. Старый революционер, старше этого Тихомирова и этой Ошаниной. Ему поверяли и не такие тайны... Лопатин сам остановил себя: какие тайны? Ответил по совести: подобных дегаевской не было. Вслух же сказал:

— Однако Дегаев и меня вполне мог продать Судейкину.

— Он поклялся прекратить выдачи, — поспешно возразил Тихомиров.

— И ты в это верил?

Тихомиров смешался.

— Верил? — повторил Лопатин. И, звякая ложечкой о блюдец, такт отбивая: — Не верил!

— Нас связывало слово, — по-прежнему быстро и твердо парировала Ошанина.

— Данное негодяю? Честное слово, данное негодяю, когда речь шла...

Она властно остановила Лопатина.

— Не я ли удерживала вас от поспешной поездки? И не вы ли смеялись: «Ах, мать игуменья, в революции всегда опасно»?

Опять-таки верно. Она предупреждала: «Сейчас опасно», а он смеялся: «Всегда опасно». Так было. Но ведь это ж опять формалистика. Лопатину стало не по себе. Что бы он ни возразил, во всем сквозило бы оскорбленное «я». Лопатин молчал. Молчал, беспомощно негодую.

— Теперь, — заметил Тихомиров, — мы, заграничники, не считаем возможным публично объявить, что в России организацию возглавил агент полиции.

Тихомиров говорил о том, о чем уже говорилось на улице Флаттерс. Тихомиров повторялся, чтобы переменить разговор.

— Решат россияне, — кивнул Лопатин. Усмехнулся: — Стало быть, и я, как член Распорядительной комиссии. Сподобился наконец.

— Разумеется, — сухо ответила Ошанина, отвергая его усмешки.

«В сущности, эти двое, — грустно подумал Лопатин, — считают меня чем-то вроде авантюриста от революции. И Зина тоже».

Собираясь в буи-буи, Лопатин приготовил маленький «манифест»: если объяснение не удовлетворит, он, Лопатин, откажется иметь дело с «Народной волей»... Записка была в кармане, объяснение не удовлетворило Лопатина. Формалисты, узкие доктринеры, конспираторы ради конспирации. И так?.. Он достал листок, сложенный вчетверо.

— Что это? — обеспокоился Тихомиров, осторожным пальцем касаясь бумаги.

— Так, пустяки...

Лопатин изорвал бумагу. Изорвал медленно, тщательно, мелко.

Не поехать в Россию только из-за того, что «бог о двух головах» не доверил ему дегаевскую тайну? А там, в родных палестинах, у этих мальчиков, как у Блинова, свой Литейный мост...

Они вышли из буи-буи. Послышался рожок трамвая.

— Извините, господа, мне нынче в путь.

И, оставив Тихомирова с Ошаниной, Лопатин пошел к трамваю. Высокий, статный, покачивал плечами. Вдруг обернулся и без улыбки помахал рукой.

— Гордыня, — поджала губы Ошанина.

— Благородство, — вздохнул Тихомиров.

На душе у Тихомирова было скверно.

4

Кебмен катил на Ридженс-парк-род.

Лопатину нравился Лондон. Его размах, сдержанная мужественная сила, его упорная работа, даже однообразие нескончаемых улиц. Лондонская погодливость сродни петербургской? Ну уж нет! Петербург гнет спину и заставляет семенить; в Лондоне нахлобучь шляпу, дыши вольно...

Четырнадцать лет назад, в июльский день, двадцатипятилетним, только что ускользнув от «всевидающего глаза» и «всеслышащих ушей», он впервые попирал лондонские панели своими голенастыми ногами. И первые лондонские дни он провел со смуглым человеком, у которого тогда еще не совсем поседели смоляные усы, но грива и борода были уже снежными.

Лопатин цену себе знал и, как многие люди, знающие себе цену, чуждался знаменитостей. «Авторитет», «светило» — от этих слов у него ныли зубы. Музеи с гусиными перьями, чернильницами и сюртуками достославных особ наводили на него скуку. К тому ж, признаться, направляясь к Марксу (тогда, четырнадцать лет назад), Лопатин робел: «Не хватит сюжетов для разговора». Ему вообразилось, как наступит минута, когда мрут мухи или родятся околоточные надзиратели. «Ладно, — думал тогда Герман, — посмотрим. Примет черство — только меня и видели».

Теперь, четырнадцать лет спустя, Лопатин не мог восстановить в памяти ни как он попал в гостиную (кто его провел: «домоправительница» Ленхен, кто-либо из дочерей хозяина или сама госпожа Маркс?), ни первых фраз, которыми он обменялся с автором «Капитала». Но помнил то удовольствие, которое испытал, заметив, что Маркс не бог весть как силен во французском. Удовольствие было двойным: во-первых, Лопатин успевал понять собеседника, а во-вторых, великий человек оказывался не во всем «безупречным». Ободрившись, Лопатин пустился ораторствовать. Он кричал, словно очутился в компании глухих; жестикулировал, точно среди дикарей. И вдруг осекся: услышал сам себя. В гостиной, где собралась уже вся семья, раздался

хотот. Лопатин оторопел, махнул рукой и тоже расхохотался. Господи, как они смеялись! А потом, утихнув, переглянулись — возник молчаливый союз.

Простота великого человека умиляет тех, кто стоит перед ним на коленях. Сердечность великого человека удивляет рабские натуры: они путают величие с великолепием.

Лопатин не умилялся и не удивлялся. Он радовался. И Маркс тоже: в молодом русском обнаружился бойкий критический ум.

Споров избегают плохие учителя. Посредственности страшатся дискуссий. Сильные умы радуются критическим умам. Маркс радовался Лопатину. И еще нечто распознал Маркс в этом парне: стоический характер.

Лопатин в ссылке читал и Лассаля, и Маркса. Лассаль восхищал — блестящ и ловок, как фехтовальщик. Маркс не фехтовал, а сражался тяжелым мечом. Мысль о русском переводе «Капитала» являлась Лопатину все чаще. «Капитал» был огромен, но не огромностью пирамид, внушающих робкие думы о вечности. «Капитал» обдавал жаром, как плавильная печь, от него пахло индустрией. Начинать было страшновато. Перечитав еще и еще, Лопатин почти решил; в Лондоне, сблизившись с автором, решился.

Переводчик был придирой: Лопатин сперва брал под защиту каждого, кого сокрушал Маркс; Лопатин требовал дополнений и пояснений. Маркс не обижался. Зачем? Не бойся инакомыслящих; бойся немыслящих единомышленников.

Переводчик указал автору на ужасную сложность первой главы: циклопическое сооружение! Маркс возражал, потом сдался и переделал главу первую. А переводчик уже толково рассуждал о следующем томе «Капитала», и Марксу порою казалось, что этот мистер Герман подслушал его беседы с Энгельсом.

Старый камрад Маркса в то лето перебрался из Манчестера в Лондон, поселился поблизости от Мейтленд-парк-род, в десяти минутах ходьбы. Лето и осень выдались чудесными. (Наверное, так казалось Лопатину теперь, четырнадцать лет спустя.) Во всяком случае помнилось, что Гайд-парк, где он, русский эмигрант, выступал на рабочем митинге, Гайд-парк был в солнечных пятнах. Солнце плескало в коттедж. Госпожа Маркс внушала: «Никто вас не стесняет, вы можете бродяжничать целый день и возвращаться домой только ночевать. (Она не сказала: «Возвращаться к нам», сказала: «домой».) Вы должны знать, что за нашим столом вас всегда ждет лишний куверт». Лишний куверт — значит ты не лишний... Солнце было тогда и в

таверне «Джек Строу», где все они отдыхали и закусывали после долгих прогулок на Хэмстедских холмах.

Теперь не отправишься к веселым холмам, а пойдешь на лысоватый кладбищенский холм. Госпожа Женни Маркс скончалась, Мавр недолго прожил без нее, уснул в тот день, когда ты переходил русско-германскую границу (скрипела фура контрабандиста, синели мартовские лужи, дальняя кирка маячила, как фрегат). Да, вот так-то, пойдешь теперь, Герман Александрович, на хайгетский кладбищенский холм...

Кеб остановился на Ридженс-парк-род, 122. Кебмен получил деньги, покатил дальше. И в эту минуту Лопатин заметил на тротуаре невысокого человека, который тотчас как бы еще укоротился, ежась и пряча лицо в поднятый воротник макинтоша. Но Лопатин узнал его — узнал по этой вороватой верткости. «Ба!» — воскликнул Лопатин, сбивая на затылок шляпу. И Дегаев кинулся бежать. А Лопатин трижды сплюнул через левое плечо.

На Ридженс-парк-род жил Энгельс. Минувшей осенью, когда Лопатин покидал Англию, Энгельс захворал. Болел он тяжело и долго. Смерть Мавра наводила на мысль о собственной смерти. Ведь они были почти ровесниками. Смерть... На седьмом десятке призадуматься об этой карге. Гёте однажды заметил, что человек умирает, лишь согласившись умереть. Генерал не соглашался. На руках — богатейшее наследство, его надо пустить в оборот. Тусси и он — наследники рукописей Мавра. Мать-природа обязана даровать ему хотя бы несколько лет. И тогда он успел бы издать второй и третий тома «Капитала».

Наверное, олимпийцы смилоствивились. В январе Энгельс поднялся. Чертовская дряблость в мышцах. Он проводил два-три часа за рабочим столом. Два-три? А надо бы двадцать три.

Он как бы прислушивался к себе. Это было неприятно, смешно и неприятно, но с этим он не мог справиться. Подкрадывается время — начинаешь осторожничать. Отказываешься даже от пильзенского пива. Чудовищная несправедливость!..

Неутомимый пешеход, он теперь стесненно передвигался в четырех стенах. На лице Лопатина что-то дрогнуло. Отталкивая его жалостливость, Энгельс, иронизируя и сердясь, сказал по-русски:

— «Вздыхать и думать про себя: когда же черт возьмет тебя?..»

Лопатин улыбнулся:

— «Так думал молодой повеса...»

Энгельс, светлея, погрозил пальцем.

— Представьте, — сказал Лопатин, радуясь посветлевшим, заискрившимся глазам старого Фридриха, — представьте, минуту назад я встретил величайшего предателя всех времен.

— Не Фуше ли? — пошутил Энгельс. — Любопытно.

— Ах, мой Генерал, — в тон ему подхватил Лопатин, — вы, конечно, и не слышали про некоего отставного штабс-капитана. Разрешите устным рапортом?

— Валяйте, — усмехнулся Энгельс, усаживаясь в кресло и накрывая ноги пледом.

Лопатин рассказал о Дегаеве. Энгельс поморщился:

— В каком дерьме пришлось вам копать! — И продолжал, оглаживая колени: — С господином Судейкиным все ясно. Я прочитал об этом в газетах и намеревался поздравить Александра Толстого с веселеньким Рождеством. Полагаю, и с этим... А? Вот, вот, с этим Дегаевым тоже, пожалуй, ясно. Но тут другое... Партия! Как партия не распознала прохвоста дешевой сути?.. Совсем, кажется, недавно мы с Мавром следили за процессом по делу первого марта. Вот были парни! — Энгельс поднял кулак. — А женщины? Перовская, Гельфман! Никакой мелодрамы, никакой позы. Простые и героические натуры... — Он покачал головой, словно недоумевая. — И среди таких... Как было не разглядеть?

Лопатин заговорил о погромах, которые обескровили «Народную волю», о специфике конспирации, во тьме которой заводится нечисть, о неопытности молодых.

— Понимаю... Понимаю... — Энгельс ворошил бороду. — Однако как не вспомнить слова нашего друга... Я имею в виду «Восемнадцатое брюмера». Помните: «Нации, как и женщине...»?

Лопатин помнил сарказм Маркса: «Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над нею насилие». И Лопатин понял намек Энгельса: «Партии, как и женщине...»

— Не прощается, — вздохнул он. — А прохвосты у нас, признаться, какие-то особенные... Грешат в России подло, во грехах каются мерзко.

— Гм, «особенные», — пробурчал Энгельс, иронически поднимая брови. — Неверное, дорогой Лопатин, не так. И подлецы «ваши», и полиция «ваша»... Впрочем, здесь тавтология... Так вот, смею заверить, русские судейкины не выдумывают порох, они не оригинальны. Лет двадцать назад,

при Бонапарте, в Париже разразился судебный процесс. Не припоминаете ль «заговор четырех итальянцев»? Ну как же, покушение на священную особу и все такое прочее. Обнаружили и бомбы, и капсулы, и кинжалы — бр-р-р!!! Все четверо сознались, всех четверых осудили. И что ж? Империя падает, ил обнажается; среди прочих рептилий — она, госпожа тайная имперская полиция. Во всей прелестной нагоде! «Заговор четырех», как и многие иные, сварили... в полицейском котле. Глава «заговора», дирижер «покушения» — платный агент. Для отвода глаз побыл за решеткой. А потом, очень скоренько, спровадили его за океан. Он себе там и проживал, в Америке, а ему, представьте, ежегодная субсидия в тысячи франков... Вот так, дорогой мой. Об этом писали, официальная пресса писала. А вы — «особенные»... — Энгельс усмехнулся. — Да и зачем далеко ходить? Хлубека, полицейского инспектора, прихлопнули в Вене. Когда? А за день — слышите: за день! — до того, как у вас укокошили Судейкина. Бьюсь об заклад: и тут без дегаевых не обошлось. Как без них обойдешься? — Энгельс, усмехаясь, помолчал. — Или, извольте, еще вам аналог: германского императора якобы намеревались взорвать. Совсем недавно. Да-да, этого хрыча Вильгельма вкупе с княжеским охвостом. Акцию опять-таки благословила и оплатила полиция. Ни на пенс странного: покушение, пусть и неудачное, но покушение — крупный козырь в травле социалистов. — Он взглянул на Лопатина и развел руками: — А ваши-то если чем-либо и оригинальны, ваши, говорю, если чем и «особенные», так это, извините, размахом.

Лопатин невесело отозвался:

— Хоть в чем-нибудь, да нос Европе утрем.

Энгельс сделал быстрый жест.

— Стоп! Я, кажется, слышу что-то похожее на уныние? Э нет, тысячу раз нет! Только не это. Уныние, мой дорогой Лопатин, поскорее тащите в поп-хауз¹. И не выкупайте! Никогда не выкупайте, слышите?

Он поднялся, аккуратно и вместе как-то очень изящно уложил плед на спинку кресла, стал говорить, расхаживая по комнате, и его походка была теперь будто бы легче, жест свободнее. Он не помолодел, нет, а словно бы вернулся в ту свою старость, что была до болезни, — цветущей, свежей так и хотелось назвать эту старость.

Лопатин не столько слушал Энгельса (Генерал повторял прежние оптимистические прогнозы), сколько любовался

¹ Поп-хауз — ломбард (лондонское просторечие)

седым воителем. Но в то же время Лопатин слышал все до единого слова: Россия — это Франция минувшего столетия; Александр Третий прирожденный Людовик Шестнадцатый; кризис близится, обвал будет нарастать несколько лет. Чудесная ситуация!

Хорошо бы, продолжал Энгельс, хорошо бы вплотную заняться Россией, русским вопросом, как занимался покойный друг. У Мавра, в домашней библиотеке, одной русской статистики угадаете ли сколько? Два кубических метра! (Количества этих книг Энгельс не знал: под присмотром Тусси библиотеку упаковывали, на ящики считали.) Да, вплотную бы заняться русским вопросом. Но — возраст, черт бы его подрал. И чрезмерная загруженность...

Лопатин видел Россию вблизи, Энгельс — издалека. Лопатин не спорил. Он слушал, как егерь слушает охотничий рог. Судейкины, дегаевы, сумеречное буи-буи — экая мышья беготня. Лопатин подумал, как тогда, в дымной одуре бильярдной: «Глазомер! Глазомер нужен!» Ночь после битвы принадлежит не только мародерам.

— И не забывайте... — Энгельс обвел взглядом книжные полки. — Никто из нас этого не должен забывать: в России были и есть самоотверженные искания чистой теории. Я не только об активных революционерах. Возьмите-ка вашу историческую школу, вашу критическую литературу. Бесконечно выше немецкой и французской! Так или нет? А ведь это ж чего-нибудь да стоит?

— Один из героев «Бесов»... — Лопатин задумался. — Забыл, кто именно... Может, сам автор, сам Достоевский: «Этот вечный русский позыв иметь идею, вот что прекрасно». — И повторил, как прислушиваясь: — «Этот вечный русский позыв... вот что прекрасно».

Лопатин подумал еще и о том, что идею надо выстрадать. И не бессонницей, которую почему-то принято считать неизбежным условием напряженной умственной работы. Выстрадать в казематах, на эшафотах. Подумал молча: разговор о страдании толкает слушателя к состраданию. А Лопатин не принял бы сострадания даже от Энгельса. Нет, в особенности от Энгельса...

С Тусси он был откровеннее.

Тусси, дочь Маркса, недавно поселилась в получасе ходьбы от Энгельса. Старый дом на Мейтленд-парк-род умирал. Не потому, что увозили мебель, а потому, что увозили книги.

Маркс любил книги, но не был любителем книг. «Мои рабы», — говаривал он, и нож для разрезания бумаги

вспыхивал молнией, а карандаш для пометок не знал пощады, как скальпель. Все книжное собрание казалось беспорядочным, потому что содержалось в образцовом порядке: в том, какой требовался мастеру. Теперь библиотека покойного Маркса перебиралась к Энгельсу; книги Мавра пристраивались и обживались рядом с книгами Генерала. Но их исчезновение из старой обители — ящик за ящиком — печалило Элеонору.

Не первый день Тусси освобождала коттедж. Теперь увозили библиотеку. Стены странно и жалко обнажались. Этого Тусси не замечала при вывозе мебели. Но книги были главным в том прошлом, где она росла.

Тусси командовала упаковщиками и сама паковала, распоряжалась грузчиками, энергии у нее хватило бы на пятерых. И вдруг бессильно опускались руки.

Из старого коттеджа она уходила с трудом. В новое пристанище — две комнаты на Great Cotam Street — приходила легко. Как в гостиницу. Тусси подумывала о том, чтобы обосноваться где-нибудь близ Британского музея. Энгельса удастся навещать лишь по воскресеньям, у нее много забот, много дел, она часами в библиотеке Британского музея.

Девчонкой Тусси мечтала о кораблях. Бриги исчезли за горизонтом детства. Потом мечтала о сцене. В любительских спектаклях Тусси выступала охотно и часто. Знатоки находили у нее первоклассное дарование, равное, пожалуй, таланту знаменитой Эллен Терри... Корабли ушли, театр остался. Но Тусси появлялась не у рампы, а в зрительном зале: отец хотел видеть дочь не действующим лицом, а общественной деятельницей. Мавр исподволь отводил младшую дочку от гримерной. И от жениха тоже. От жениха, который уже писал ей: «Моя маленькая жenuшка...» Мавр, кажется, прочил Тусси за Лопатина. Ну что ж, Мавр понимал толк в людях... Девочкой она заполняла шуточную анкету, на вопрос: «Любимые имена» — перечислила: «Перси, Генри, Чарлз, Эдуард». Перси, достойный ее внимания, не попадался. Чарлза она назвала потому, что так на английский лад звучало имя отца. Лопатин был почти Генри. Увы, этот «Генри» влюбился в русскую, у них ребенок. Вот так-то. А Эдуардом звали ирландца Эвелинга... Когда-то (теперь уж чудится, давно) Тусси заглянула в школу для сирот. Молодой человек читал лекцию «Насекомые и цветы». Читал прекрасно! То был Эдуард Эвелинг... Увы, Эдуард юридически женат. От грязи бракоразводных процессов, как утверждает Энгельс, избавятся лишь при социализме.

Тусси была дома, она ждала Эвелинга.

По дороге к Тусси Лопатин увидел на витрине сдобу с изюмом. Тусси обожала эти булочки. Лопатин вспомнил про шампанское «Екатерина Вторая». Две женщины, совсем разные, совсем несхожие, — Зина и Элеонора. Они не соперничали в его душе. Тут крылось нечто другое, и это нечто не давалось в руки.

Когда-то Мавр и вправду подумывал об их союзе с Тусси. Тайная дипломатия не была Лопатину тайной, и он втихомолку, как молодой ветрогон, трунил над замыслом Мавра. Но юная Тусси и впрямь обворожила Лопатина. Ее живость, ее сердечность, ее голос, созданный, как думал не только Лопатин, для оперных арий и шекспировских ролей, ее самостоятельность и непосредственность. Она учила его английскому, он ее — русскому. И кажется, перестал трунить над Мавром.

А потом... Что ж потом, Герман Александрович? Он жалел об этом «потом». Теперь они с Тусси дружны. Дружны... Но он идет к ней и боится увидеть зеленое платье. Зеленый цвет — цвет Ирландии. Он ничего не имеет против славного ирландца Эвелинга. Ровным счетом ничего! Но лучше б на Тусси было другое платье... «А сдобу ты не купил. Глупо? Глупо».

Тусси была в темно-коричневом. Тусси поцеловала Лопатина в щеку. Лопатин чмокнул Туссин нос. То была давняя, королевская привилегия. Он, шутя, говорил Марксу: «У ваших дочерей, герр доктор, марксистские носы».

Отстранившись, держа ее вытянутые руки, Лопатин оглядел Тусси, резюмировал как медик:

— Худа, бледна... Вы мне не нравитесь, мисс Элеонора.

— Нет, — рассмеялась Тусси, — я вам нравлюсь, мистер Генри. — Смеясь, она закидывала голову, мгновенно и ярко хорошея.

— Разумеется. Как всегда, — галантно и весело ответил Лопатин, но от Тусси не укрылось, что голос его будто странно замедлился.

Она почувствовала неловкость и поспешно сказала:

— Вот мой бивак. Смотрите.

Лопатин, скиталец и непоседа, был равнодушен к тому, что называют обстановкой. Но здесь, в тесных стенах, оклеенных дешевенькими обоями, он узнал мебель из старого коттеджа на Мейтленд-парк-род.

Мебель хранит память о прежних хозяевах. Пережив своих владельцев, мебель будто дряхлеет, и вот эту память

и это дряхление почувствовал Лопатин. На него повеяло ушедшей жизнью. Как из приоткрывшейся двери. Не жизни великого человека, а человеческой жизни.

— Сядем и поговорим, Герман.

— Сядем и поговорим, Тусси.

Так, встречаясь, начинали они всегда.

О-о, Тусси по-прежнему полна замыслов. Литературная работа поглощает пропасть времени и сил, она ведет отдел международного пролетарского движения в журнале «То Day», корреспондирует в левые газеты, занята социалистической пропагандой в Ист-Энде, самом большом и самом бедном рабочем квартале мира...

«Сядем и поговорим, Герман». Но Лопатин уже дважды перехватил ее взгляд на каминные часы. «Сядем и поговорим, Тусси». Но она уже чувствовала, что он заметил ее нетерпение и беспокойство. Если бы он спросил, она бы не утаила. Даже о том, что летом собирается с Эдуардом в горы Девоншира. Но он не спрашивал.

— Тусси, — сказал он, — я скоро снимусь с якоря.

В ее глазах плеснул испуг.

— Когда?

Он ответил.

— Да? — молвила она тихо.

— Да, — кивнул Лопатин. — Надо разводить пары.

Она помолчала. Он был ей благодарен и за этот испуг, и за этот упавший голос, и за это молчание.

— Обещайте, — сказала Тусси, — обещайте в день отъезда быть здесь.

— Сядем и поговорим?

— Сядем и поговорим.

Лопатин откланялся. Лопатин ничего не имел против славного ирландца. Честное слово, равным счетом ничего, но видеть его рядом с Тусси не хотел.

Не в день отъезда, а накануне вечером Лопатин навестил Тусси. Оставил пальто в передней, со шляпой в руках прошел в комнату — накрыл каминные часы.

— Нет, — сказала Тусси, — не надо останавливать мгновение: оно не прекрасно.

— Это так, — сказал Лопатин. — Однако не вешать же наш марксистский нос, а?

— У меня очаровательный носик, — возразила Тусси, — и вы это прекрасно знаете, мистер Генри.

Было так грустно, что они много шутили. Тусси сказала, что уже к утру Лопатин будет «настоящим путешественником». Оказывается, по старинному английскому

обыкновенно «настоящим путешественником» считался тот, кто находился не менее чем в трех милях от своего жилья. И такому страннику даже в «сухой» воскресный день полагалась выпивка.

— Эге, Тусси, — улыбнулся Лопатин, — да ведь я ж всегда «настоящий путешественник». Извольте-ка, извольте!

— Припасено, сэр! Генерал находит, что у этого вина терпкий вкус, как у стихов Шамиссо.

Лопатин, смеясь, отвечал, что у него и без вина оскомина. И, помолчав, прибавил: «На душе». Они переглянулись. Оба чувствовали, что больше уж не до шуток. И Лопатин заговорил о том, о чем не говорил никому, даже Энгельсу.

— Нет, — говорил он, — свет еще не брезжит, ночь стоит долгая, путь очень далек. Путь так далек, что его, верно, не одолеть и «настоящим путешественникам».

Это не было унынием. Ни разочарованием, ни отчаянием. То была правда, и у Тусси зашло сердце. Лопатин натянуто усмехнулся: «Я, кажется, сочинил реквием...»

В передней, уже надев пальто, он обнял Тусси. Они расцеловались.

— Прощайте, — сказал Лопатин. — Теперь уж не до свидания, а прощайте.

Тусси вышла за ним на площадку.

Его шаги глохли в черноте лестничных маршей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

На Большой Садовой,¹¹⁴ старшим дворником служил Демидов Петр Степанович. Был уж он немолод, но телом крепок, умом сметлив, всегда трезв.

Как все дворники, Демидов присматривал за жильцами. Этого требовало начальство, полиция. И тайная политическая полиция тоже пользовалась донесениями дворников. При этом, однако, насмешливо величая их «подвальной аристократией».

Майор Скандраков не разделял иронии своих коллег. Напротив, такие, как Демидов, недавние, в сущности, крестьяне, сохраняли стальные черты простого русского человека. Они, полагал Александр Спиридонович, не отравлены фабричным дымом, не заражены цивилизацией. Стальные

черты простого русского человека, именно так-с, господа. Черты эти произрастали из терпения, как дуб из желудя.

Майору попался однажды стишок: что-то такое о том, что Россия начинается с терпения... И Скандракову, как многим причастным к государственному управлению, очень это нравилось

Следствие обошлось бы и без полковника Оноприенки, начальника Петербургского губернского жандармского управления, человека весьма неглупого; и без вкрадчивого и начитанного прокурора Котляревского; и без корректного немца ротмистра Лютова; и без ревностного, но мелочного подполковника Бека. Каждого заменил бы другой чиновник. А вот без «подвальной аристократии», без демидовых дело не двинулось бы с мертвой точки.

Ни прокурор, ни жандармские офицеры прямо, по штату не подчинялись майору Скандракову. Но в департаменте г-на фон Плеве был так называемый судебный отдел — для неусыпного наблюдения за производством дознаний о преступлениях политических. С недавнего времени отдел этот курировал чиновник по особым поручениям Скандраков.

Он умел ладить и умел прилаживаться. Даже нервный Оноприенко, чрезвычайно щекотливый в части субординации, не только не находил поводов для раздражения, но и с удивлением замечал, что симпатизирует «московскому выскочке».

Опытность и неторопливая рассудительность Скандракова признавались не подчиненными ему подчиненными. Они охотно советовались с майором. Майор на советы не скупился. Не тяготился он лишний раз заглянуть и в губернское жандармское управление. Бумаги, поступающие оттуда, Скандраков читал внимательно. Но это не заменяло личного присутствия на следствии.

Первый шаг, подсказанный самим фон Плеве, был правильным. Молодого человека «южного типа», арестованного на похоронах Судейкина, показали (выражаясь официально — предъявили) дворнику Демидову: ведь из дома номер № 4 на другой день после убийства инспектора исчезли двое жильцов, акушерка Голубева и некий Савицкий.

Окажись «южанин» этим самым Савицким — следствие потянуло бы первую ниточку. Но именно поэтому майор не верил в тождество арестованного с исчезнувшим Савицким. «Гениальные прозрения» не требовались. Требовались месяцы настойчивой деятельности. И майор Скандраков ничуть не удивлялся, когда дворник Демидов, основательно оглядев «южанина», отвечал, что «предъявленное лицо не име-

ло проживания в ихнем доме». И прибавил свое неизменное, протяжное: «Да-а-а».

Однако, подумав минуту, другую, третью, положительный дворник молвил своим крестьянским, заслуживающим доверия говорком:

— А к жильцу-то нашему, ваше высокородь, который, значит, в бегах, к жильцу, замечу, приходил. Да-а-а.

— Не ошибаетесь, Петр Степанович? — спросил Скандраков; он не употреблял всех этих снисходительных «братец» и «любезный».

Демидов опять подумал. Потом сказал:

— Побожился бы, да не буду: кровь носом пойдет. Да-а-а.

Свидетельство было важное. Настолько важное, что Александр Спиридонович весело взглянул на арестованного. Тот, однако, хранил подчеркнутую невозмутимость.

Скандраков не впервые присматривался к «южанину»: молодого человека часто привозили из Петропавловской крепости в жандармское управление. Майор находил, что арестованный слишком спокоен и слишком независим. Это «слишком» и настораживали Скандракова.

Майор отпустил дворника, спросил «южанина»:

— Дворник ошибается?

— Он может твердить свое до скончания века, но это ничего не доказывает.

— Пусть так, — согласился Скандраков. — Доказывать будет не дворник, а мы. Попробуем рассуждать. Дворнику кривить душой зачем? Незачем. А у вас к тому резоны есть.

— Какие еще, к черту? Это у вас, у вас есть. Схватили ни за что ни про что, а теперь и доказываете.

— Вы арестованы не мною. Оправдывать чужие ошибки не в моих правилах... Итак, во-первых, вид на жительство у вас подложный. Неоспоримо? Неоспоримо. Во-вторых, тот же документ дает и другое неоспоримое свидетельство: вы приехали в Петербург почти накануне известного вам преступления. Или же изволили проживать по другому виду. В-третьих, канцеляристом служили несколько недель, а где обретались прежде, говорить отказываетесь. Теперь вообразите себя на моем месте: как прикажете поступать?

— Во всяком случае не гноить в крепости! Я уж опрашивал, да вы отмолчались. Ну зачем бы я, ежели б что числилось, зачем бы я сунулся на похороны?

Арестованный, как и прежде, держался вызывающе, напористо, почти грубо. Александр Спиридонович и бровью не вел. Он был кроток.

Говорили, что по инструкции, составленной еще Бенкендорфом, жандармы обязаны уподобляться кротостью первым христианам. И блистать изысканной вежливостью. Таковыми и были жандармы прежнего типа. Скандраков знал их в ранней молодости. Он не подражал старикам — они продолжались в нем.

— Да, — спокойно и как бы с удовольствием признал Скандраков, — давеча я отмолчался. Мне не был ясен ваш мотив. Грубое удовольствие — труп врага хорошо пахнет — отвергал. Не вязалось с вашей интеллигентной внешностью. Я ошибался.

— Почему же «ошибался»?

— Мы поменялись ролями? — усмехнулся майор. — Вы спрашиваете, а я отвечаю? Ничего, ничего, отвечу. Вы все же доставили себе это сомнительное удовольствие. — Выпуклые бутылочные глаза Скандракова взирали на арестованного беззлобно, пожалуй, даже с некоторым сочувствием. — И на старуху бывает проруха, господин Росси.

Услышав свое подлинное имя, арестованный не переменял позы, и на смуглом лице его ничего не отобразилось.

— Вы, однако, молодцом, — сказал Скандраков без тени торжества. — Вы, господин Росси, достойны уважения, и я не стану играть с вами в прятки. Метода нехитрая: фотографические карточки рассылаются в охранные отделения и в губернские жандармские управления. Вы опознаны двумя управлениями: Киевским и Волынским. Позвольте доложить: в провинции относят вас, господин Росси, к «серьезным деятелям преступного сообщества». Продолжать?

«Южанин» насупил.

— Если вам удовольствие...

— Никакого! И не скрою почему: не моя заслуга — фотографический аппарат, курьерские поезда... Итак, продолжать? Или вы сами? А?

— Повременю.

— Отлично. Вы можете прибегнуть к следующему. Ваши товарищи зачастую прибегают к этому. Вы можете утверждать: я — не Росси, «все врут календари», врут и фотографические карточки. Да они и, правда, не всегда верны. Короче, у вас есть и такой путь: вы не Степан Росси, вам от роду не двадцать шесть, вы не католик, не итальянский подданный, не жили в Житомире, и так далее, и так далее. Путь проволочек, но... Прошу не перебивать, господин Росси, это нехорошо... Я хочу сказать, проволочек недолгих. А главное, чреватых болезненными переживаниями.

— Как? — ошетинился Росси. — Вы чем это мне грозите?

— Фу-у-у, — огорченно выдохнул Скандраков. — Бог с вами, о чем вы только подумали! Я же... — Он покачал головой, все еще не смирясь с обидой, нанесенной ему одними лишь подозрениями Росси. — Я имел в виду переживания почтенного владельца магазина золотых изделий и ювелирной мастерской. Его можно пригласить из Житомира. Он — уж он-то! — признает родного сына. Но каково ему будет свидеться с сыном в крепости? Я вот о чем думал, господин Росси.

Росси молчал. Скандраков подал ему бумагу.

— Прошу — расспросный лист. Вот чернила, перо. Здесь лишь то, что относится лично к вам.

На типографском бланке жирно означались все эти сакраментальные: «Привлекался ли ранее к дознанию, каким и чем они окончены», «Был ли за границей, где и когда именно».

Росси ненавидяще взглянул на майора. Майор подумал иронически: от ненависти до любви тоже один шаг.

— А потом, — посулил Скандраков, — потом дадим вам очную ставку с Голубевой и Савицким. — Улыбнулся. — Точнее, с теми, кто называл себя Голубевой и Савицким. С теми, кого вы навещали на Большой Садовой и которые исчезли вскоре после известного вам преступления.

Он вышел, твердо пристукивая коротенькими ножками. Арестант остался под присмотром жандармского унтера.

Не свидетельства волынцев или киевлян ошеломили Росси, а то прямодушие, с каким следователь двигал его, Степана Росси, пешкой какого-то неведомого шахматного поля. Это было унижительно, противно. Но самое-то главное было в том, что майор, оказывается, ввел в игру новые фигуры — «Голубеву» и «Савицкого».

Как многие одиночные заключенные, Росси исподволь проникался опасным (и часто неверным) сознанием все-силности сыска.

А майор именно этого и ждал.

2

Между тем майор отнюдь не был уверен в обещанной очной «ставочке», хотя она очень и очень была нужна.

Скандраков не допускал мысли, что Росси мог исполнить роль дегаевского подручного. Допущение требовало подтверждений. Не логических, а фактических. Подтвер-

дить мог бы адъютант покойного Судейкина, но Коко Судовский все еще висел между жизнью и смертью. Подтвердить могли бы «Голубева» и «Савицкий»... Они, очевидно, могли бы подтвердить, не сразу, не тотчас, но могли бы. Однако ни «Голубеву», ни «Савицкого» покамест не изловили. Последний вообще канул в воду и кругов не оставил. Первая хоть и оставила, но весьма расплывчатые.

Когда Голубева (или та, что называлась Голубевой) наняла квартиру, то отдала в полицейский участок вид на жительство — приписаться. Документом ей служило акушерское свидетельство от Харьковского земского родовспомогательного училища. Посему недавно в город Харьков полетела шифровка с формулой: отыскать — обыскать — арестовать.

Харьковские жандармы и отыскивали, и обыскивали восемнадцатилетнюю повивальную бабку Голубеву. А вот арестовать посовестились: в политическом смысле барышня была совершенно девственна; к тому же во весь прошедший год ни на день из города не отлучалась; это под присягой свидетельствовал доктор, ее начальник. И еще. «Подвальный аристократ», незаменимый дворник с обычной обстоятельностью заверял, что «ихняя жиличка» картавила, чего никак нельзя было утверждать про харьковскую Голубеву. Зачем было ее арестовывать?

Скандраков нашел, что в провинции рассудили здраво. Но сидел там генерал, именно поэтому Оноприенко настоятельно посоветовал его превосходительству исполнять-таки просьбы начальника жандармского управления с т о л и ч н о й губернии, хотя он и младше чином. Генерал, получив нагоняй, тотчас посадил барышню под замок.

Минули недели. Из Харькова — ни звука. Скандраков намекнул Оноприенке: не худо бы выпустить пташку. Полковник посомневался да и отдал телеграфом милостивое указание генералу.

Генерал ответил отказом. Оноприенко обиделся. Теперь уже не на харьковского генерала, а на петербургского майора. Очевидно, с невинной «пташкой» обстояло не совсем невинно. Дернуло Скандракова лезть со своим ходайством.

А выяснились в Харькове вот какие обстоятельства.

Голубева ненароком обмолвилась, что однажды получила на почте посылку: однокурсница попросила, Руня Кранцфельд. Кранцфельд? Раиса Кранцфельд? Да ведь она в алфавите неблагонадежных! Из дел преступных харьковских кружков жандармы дознались, что посылка

была с типографским шрифтом. Впрочем, акушерка Голубева про то не ведала; получила да и отдала сокурснице, вот и все.

Но суть-то заключалась в том, что дорожки Голубевой и Кранцфельд пересеклись. Можно было заключить, что «эта мерзавка» Кранцфельд обзавелась фальшивым документом на имя Голубевой, ибо подлинный документ акушерки Голубевой не имел ни единой петербургской пометки.

Под занавес генерал прислал раздражительному полковнику тетрадку Кранцфельд, завалывшуюся в акушерском училище. Из дома на Большой Садовой потребовали расчетную книжку бывшей жилички квартиры номер 114. Записи в книжке сравнили с тетрадкой: почерки совпали.

Потом артельными усилиями нескольких губернских управлений были добыты сведения о месте и дате рождения Кранцфельд, обнаружены брат ее Герц и даже тетя Сима, наконец, «по частным сведениям» открылось, что она вышла замуж. Однако где теперь «мерзавка», что поделывает — вот этого-то и не знали...

Обещанная Росси очная ставка откладывалась на срок, никем не определенный. А Росси, дожидаясь ее, изнывал в каземате.

Каземат душил, мучил сыростью и полутьмою, изводил тонким крысиным писком, бледным шевелением мокриц, загробным звоном курантов. Все нетерпеливее Росси желал очной ставки. Скорее бы! В чем бы ни изобличили товарищи, но самое главное и самое страшное спадает с плеч: подозрение в соучастии. А там... Там хоть рудники, лишь бы избавиться от одиночного заключения. Скорее бы очная ставка.

Однако в карете с задернутыми, несмотря на поздний, почти ночной час, репсовыми шторками Росси по ощущению пути и времени поездки догадался, что везут его не в департамент, не в жандармское управление, а в какое-то другое место. Не в дом ли предварительного заключения? Он знал, что условия там сноснее, нежели в Петропавловке, но не только не ободрился, а волновался все сильнее, как волнуется при подобных перемещениях арестант, утративший душевное равновесие.

Карета остановилась. Росси увидел какие-то деревянные низенькие строения. Не то казармы, не то скиты. Мелькнули какие-то люди в белом, они несли что-то тяжелое, простертое на носилках, на Росси пахнуло карболкой, йодоформом.

Росси провели в один из бараков, и он сразу же ощутил отрадную теплую сухость здешнего воздуха: всем телом, всей кожей, порами истосковался он по сухому воздуху. Арестант огляделся, неподалеку стояли кучкой жандармские офицеры, среди них и майор Скандраков.

Минуту спустя все эти господа удалились в соседнюю комнату. Росси, оставшись с безмолвными унтерами, напрыг слух. Ничего не было слышно. К запаху йодоформа и карболки теперь примешался запах казенного варева.

Из-за дверей с матовыми стеклами донесся голос:

— Давайте его сюда!

Росси провели в комнату. Едва перешагнув порог, он остановился пораженный.

— Ближе! — резко и раздраженно скомандовал кто-то. — Нечего пятиться!

Росси не понял, ему ли приказывают, он ли пятится, повиновался не окрику, а напряжению этих жутких зававших глаз, вперившихся в него из-под шапки бинтов.

Раненый был обложен подушками. Его чудовищную, круглую, как у водолаза, голову поддерживал Скандраков. И журчал, журчал: «Умоляю, спокойнее. Умоляю, Николай Дмитрич. Не волнуйтесь. Этот? А? Внимательнее, Николай Дмитрич. Этот?»

Судовский, племянник и помощник покойного Судейкина, молча, с пристальностью, ощутимой, как мускульное усилие, смотрел на смуглого, почему-то, как казалось Судовскому, все горбившегося, горбившегося человека.

У Росси нервно и сильно стучало в висках. Будто и не кровь стучала, но мысль о том, что если вот эта чудовищная, эта круглая голова, если она кивнет — конец, конец, конец... Если она кивнет, конец: все тотчас будет открыто, потому что нет сил дольше запираяться, потому что не может человек терпеть такую пытку. И если б Судовский признал в Росси убийцу, Росси, конечно, тут же, в этом вот помещении, в госпитале назвал бы имена, которые узнал на Забалканском от Дегаева, — имена подлинных убийц...

Но Судовский молчал. Было слышно его трудное, с клекотом дыхание. Глаза Судовского словно бы слабели, обессилевали, меркли.

Скандраков и полковник Оноприенко склонились над койкой. Потом полковник выпрямился, злобно крикнул:

— Уведите!

Унтеры схватили арестанта. Чуть не волоком волоча, пронеслись через длинный покой, втокнули в карету. Рос-

си чувствовал, что погиб: ему казалось, что Судовский опознал его.

Офицеры, собравшиеся в палате, очень жалели Коко: бедняга почти без памяти. Однако решили не откладывать «расспрос», крайне необходимый следствию. Нынче все-таки Судовскому полегчало. Нельзя тянуть: хирург Рождественских барачков Красного Креста не ручается за пациента. Еще бы! Двадцать шесть осколков костей, извлеченных из черепа, — это чего-нибудь да стоило.

Офицеры терпеливо ждали, пока сиделка кормила больного куриным бульоном (Судовскому готовили отдельно); потом Коко выпил столовую ложку кагора, полежал с закрытыми глазами, наконец, произнес внятно, но глаз не открыл:

— Пожалуйста, господа.

— Не считите нас бессердечными, Николай Дмитрич, — прожурчал Скандраков. — Мы понимаем, вам очень тяжело вспомнить, понимаем, но ведь что же делать-то, необходимо.

— Государю императору докладываем еженедельно, — просительно добавил полковник Оноприенко.

Судовский ответил:

— Сам служил, понимаю.

Около полуночи был готов протокол «расспроса».

«Квартиру, где был убит подполковник Судейкин и где я был сильно ранен, я до 16 декабря 1883 г. посещал неоднократно, бывая там как с подполковником Судейкиным, так и один, когда меня посылал Судейкин с каким-либо поручением к проживавшему на этой квартире Яблонскому.

Под фамилией Яблонского проживал в этой квартире отставной штабс-капитан Дегаев, которого я вполне признаю на предъявленной мне ныне его фотографической карточке.

16 декабря 1883 г. мы поехали к Дегаеву по его просьбе. Поехали, насколько помню, на извозчике, которого и отпустили у ворот на Гончарной улице. Войдя в квартиру номер 13, где проживал Дегаев, мы разделись в прихожей, подполковник Судейкин ушел с Дегаевым во внутренние комнаты, а я остался в гостиной или столовой и сел в кресло спиною к дверям, ведущим в коридор и кухню. Просидел я так, наверное, с четверть часа, как вдруг совершенно неожиданно для меня на меня напали...»

Скандраков не был в восторге ни от очной ставки Росси — Судовский, ни от показаний последнего. Если и не

совсем попусту мучали Коко «расспросом», то лишь в одном смысле: убедились в бессмыслице мучить беднягу другими очными ставками.

К тому ж Александр Спиридонович понимал, что на будущем судебном процессе адвокатура без труда заручится доводом, опровергающим показания несчастного Коко: медики засвидетельствуют его умственную неполноценность. И, говоря по совести, врачи не покривят совестью. Да и как признать нормальным пациента с такой черепной травмой? Возможно ль утверждать, что страдалец в здравом уме и ясной памяти, ежели бывший адъютант и племянник Георгия Порфирьевича беспрерывно лопочет про шкатулку с деньгами, о которую он, дескать, пребольно ударился затылком?..

Правда, процесс (если только удастся создать таковой), очевидно, будет вести военный суд. А господа гвардейские полковники не приемлют штафирок-защитников, да и вообще плюют на юридические тонкости. Но он, Александр Спиридонович, не гвардейский полковник и должен действовать безукоризненно.

Если бы даже Судовский опознал, например, Степана Росси, Скандраков бы этим не удовлетворился: один свидетель — не свидетель. И наоборот: неопознание Росси тоже еще ничего не означает. Как и то, что бедняга адъютант не опознал двух лиц, которые были предъявлены, так сказать, фотографически. Теперь оставалось ждать, когда доставят тех двух.

Ждать, впрочем, недолго: одного уже везли из Киева, другого — из Москвы.

Василий Конашевич был замешан в преступном ромненском кружке и хорошо известен как киевскому подполью, так и киевским филерам. Но Скандраков вытребовал Конашевича только потому, что Конашевич (по сведениям киевской агентуры) в середине декабря минувшего года выезжал в столицу.

Киевские жандармы не имели охоты расставаться с Конашевичем, ссылаясь на чрезвычайную важность «ромненского дела». Ох уж эти провинциалы, дальше своего носа не видят. Любопытно, сколько весит это воробьиное «ромненское дело» в сравнении с тем делом, которым неизменно интересуется Гатчина?.. Киевляне артачились, пока не цыкнул сам г-н Плеве. А уж как цыкнул Вячеслав Константинович, Конашевича в тот же день отправили в Санкт-Петербург. Трое жандармов литой малороссийской стати привезли его в крепость, и Василий Конашевич, того не ведая, очутился соседом Росси.

О, если б сей Конашевич оказался наконец «Савицким»! Кликнули дворника, Демидов аккуратно явился. Нет, он не признал в Конашевиче «своего жильца», не признал в нем «Савицкого». При виде закручинившегося начальства Петру Степанычу аж неловко сделалось. Да ведь куда ж от истины денешься, господа хорошие?

Но все же дворник несколько утешил и полковника Оноприенко, и майора Скандракова: Конашевич, видишь ты, был, как и Росси, частым гостем на Большой Садовой, 114. Подбиралась, кажется, недурная компания...

Конашевич, по мнению Александра Спиридоновича, смахивал на «бурсака», майор таких недолюбливал. Такие почти всегда были упрямыми, туго поддавались.

Слава Богу, народовольцем-то «бурсак» назвал себя, не обинуясь. Впрочем, чего уж было вилить при наличии киевских улик?! Ну а дальше, подтверждая наблюдательность Скандракова, дальше — ни шагу, ни тпру ни ну. Приезжал ли в Петербург? Да, приезжал. Однако не в декабре, а в октябре. Не тогда, значит, когда убили Судейкина. Большая Садовая, 114? Нет, никогда не бывал. Сергей Петрович Дегаев? Конечно, слышал. И даже видал. Где? Хм, на афишках видал, вот где.

Очной ставки с Росси учинять ему не стали. Немного покамест дожدهшься от «бурсака», а Росси, пожалуй, еще «не созрел».

— Ну что ж, хорошо, — задумчиво проговорил Скандраков. — Вы все отрицаете, это ваше право. Однако на вас падает подозрение в убийстве инспектора Судейкина, а потому, к сожалению, быть вам и впредь в Санкт-Петербургской крепости. Это наше право.

— Право? — мрачно закипел Конашевич. — Дикое бесправие. «По-до-зре-ни-е»... Ни в одной цивилизованной стране этого не позволили бы.

— Ошибаетесь. Но в принципе относительно цивилизации мнение ваше разделяю искренне: России до нее далековато. Да только, осмелюсь заметить, приблизимся мы к ней не усилиями так называемой «Народной воли».

Майор готов был «воспарить», но тут его пригласил выйти департаментский чиновник.

— Вот, пожалуйста, Александр Спиридонович, — заторопился коллежский секретарь. Он был новичок в департаменте, и ему не терпелось блеснуть исполнительностью. — Изволите ли видеть, Савицкий до Большой Садовой обитал в Климовом переулке. Это близ Лиговки, — любезно пояс-

нил он «московскому» майору. — А вид на жительство имел от рогачевской полиции.

— Это в Могилевской губернии, — не остался в долгу майор.

— В Могилевской... Я тотчас снесся с тамошним капитаном Захаровым...

— Он у меня начинал службу, — как бы мимоходом заметил майор.

— Да? — приятно улыбнулся коллежский секретарь. — Так вот, я предложил капитану поехать в уезд и...

Письмо могилевского жандарма секретарь держал в папочке, Скандракова подмывало прочесть быстренько, без задержки. Но молоденький чиновничек с таким удовольствием докладывал о своих разысканиях, что Александру Спиридоновичу было жаль его обрывать. «В конце концов, — снисходительно подумал Скандраков, — каждый из нас гордится исполнением своего долга».

— В селе Коротьки упомянутый капитан Захаров, — торопился коллежский секретарь, — обнаружил Михаила Адамовича Савицкого, двадцати двух лет, холостого, малограмотного, каковой заявил, что паспорт всегда при нем и никому он его не отдавал. Засим, опять-таки по моему указанию, капитан нашел еще одного Савицкого и тоже Михаила Адамовича. История повторилась. Правда, этот Савицкий сказал, что ему лет около тридцати, а точно... — чиновничек позволил себе ухмылочку, — а точно, господин майор, он не знает.

Скандраков тоже улыбнулся, но при этом с несколько нетерпеливым жестом. И чиновник, прижав к груди папочку, словно боясь расстаться со своим детищем, резюмировал то, что уже успел умозаключить его снисходительный начальник: «Савицкий» с Большой Садовой жил по фальшивому виду, а по фальшивому документу верный подданный не живет.

3

Петербургский коллежский секретарь, слюнявя палец, листал домовые книги. Могилевский капитан гнал тарантас по уездным шляхам. Каменец-подольские жандармы искали сына священника Стародворского. Московские филеры выследили, а московская полиция задержала некоего Пухальского. У него изъяли чертежи метательного снаряда, рецепт взрывчатого вещества вчетверо сильнее динамита.

Круг сужался воронкой в департаменте фон Плеве. И вот уж волна несла Скандракова. Майора ждала удача. Не только майора, но и полковника Оноприенко с его сослуживцами. И даже не удача, нет, не случай, а закономерное продолжение планомерных исследований.

Узел был разрублен преступниками на Гончарной, в квартире Дегаева-Яблонского. Но завязывался-то узел на Большой Садовой. Концы торчали оттуда, из дома номер 114.

Аресты шли своим чередом. Жандармские управления своим чередом управляли. Но стоило провинциалам разжиться преступником, отлучавшимся из губернии в конце минувшего года, как имярек немедленно требовали в Петербург.

Пухальского привезли курьерским. Арестованный был высокий, крепкий, молодой, глядел исподлобья, что-то в нем чуялось запорожское, сечевое. Но угадывалась и тяжелая нервная усталость. Будто бы он много и трудно скитался, не спал много ночей, будто точила его долгая нелегкая забота.

В принадлежности его к «Народной воле» не усомнился бы и младенец: чертежи метательного снаряда, рецепт сильнейшего взрывчатого вещества, листовки-извещения о казни Судейкина... Этого было достаточно для каторжного срока. Но этого не доставало для привлечения к делу об убийстве Судейкина.

Бывшего жильца старший дворник узнал с порога. Но сперва помолчал. Их высокоблагородие г-н майор щедро награждал незаменимого свидетеля. Так-то оно так, да верно песенка поется: «В Петербурге денег много, только даром не дают...» Заработай, потрудись. И Демидов сперва — молчок. Стоял во фрунт, руки по швам, смотрел на бывшего жильца. И мыслил: «А что сей секунд ворочается в душе господина Савицкого? Не иначе как ничего не ворочается — душа-то в пятках». Потом дворник подумал, что уже, пожалуй, заработал еще одну хрусткую бумажку, и, подумав так, молвил торжественно:

— Как есть они: господин Савицкий. Да-а...

Майор Скандраков быстро, пронзительно глянул на хмурого арестанта. Тот без аффектации, без бравады произнес:

— Савицким себя признаю.

Александр Спиридонович не удержался — засучил ножами, как копытцами. Вот он, обнаружился кончик! Скользкий, тонкий, волосом, но обнаружился! Черт возьми, Господи Боже ты наш! Разумеется, если Пухальский не

Пухальский, а Савицкий, то и Савицкий не Савицкий, а... Благословен изобретатель фотографии. Отзовется, непременно отзовется хоть одно из жандармских управлений. Отзовется!

А пока вот что яснее ясного: Савицкий жил в Климовом переулке, потом — на Большой Садовой; петербургская его жизнь точнехонько приходится на первую половину декабря, а исчез он из Петербурга вскоре (если не тотчас) после убийства Судейкина.

«Пухальского-Савицкого» отвезли в Петропавловскую крепость. Отныне он был соседом Росси, соседом Конашевича. А фотографические карточки в голубоватых конвертах отвезли в губернские города, во все концы империи.

Неделю спустя зычно откликнулся Каменец-Подольск: не Савицкий у вас, милостивые государи, нет, нет, нет — Николай Стародворский. И подробности — письмом:

«Определением Особого Совецания от 30 ноября 1882 года бывший воспитанник Каменец-Подольской гимназии, сын священника Николай Стародворский подчинен был негласному надзору полиции с водворением в Летичевском уезде Подольской губернии.»

Политическая неблагонадежность Стародворского, вызвавшая принять против него означенные меры, выразилась в сношениях его с лицами заведомо неблагонадежными в политическом отношении, в передаче одной из учениц местной гимназии воззвания, озаглавленного «Братья молодежь», и, наконец, в том, что высланный по распоряжению генерал-губернатора к отцу своему в Летичевский уезд, он возвратился в Каменец-Подольск с подложным документом.

Поселившись затем в г. Баре, Стародворский опять-таки вступил в близкие отношения с неблагонадежными лицами. Тогда же в Баре был арестован неизвестный, оказавшийся бежавшим из административной ссылки Никоном Волянским, который был отправлен к местному исправнику под конвоем двух полицейских стражников, но в пути был отбит от них упомянутым Стародворским и вместе с сим последним скрылся.

К сему можно присовокупить, что по отзывам учителей Каменец-Подольской гимназии Стародворский представляет собою личность загадочную и характер беспокойный».

У многих молодых судьба складывалась, как у этого Стародворского. Александр Спиридонович не раз задумывался над подобными биографиями. Задумывался тревожно,

печально. Вот и в случае Стародворского административная высылка не была разумной мерой. Очень это просто: с глаз долой, из сердца вон. Таков уездный шесток, губернская колокольня. К сожалению, в столицах то же самое... Ну хорошо, выслали. Теперь что же? Ссылный озлобился, зачерствел. Клянёт уже не уездного капитана и даже не генерал-губернатора — нет, бери выше: правительство. Потом уж и не правительство, не министров, эти, мол, приходят и уходят, но самый образ правления, принцип. И вот умножаются рекруты революции...

Что делать? Прежде Скандраков полагал: корень зла в личном составе корпуса жандармов и охранных отделений. Послать бы туда людей просвещенных, с педагогической складкой, с репутацией без пятнышка, не карьере преданных, а служению отечеству. Донкихотство свое Александр Спиридонович сознал довольно скоро. Где сыщешь на Руси легион ангелов? А сам по себе голубой мундир не окрашивает души в небесный цвет. «Надобно, — думал Александр Спиридонович, — не упразднить жандармские управления и охранные отделения. Народонаселение не снесет бремени свободы. Но законы о государственных преступлениях можно было бы смягчить. Как и насколько?» Здесь требовалась кропотливая, осторожная, на годы работа. Ему бы, Скандракову, и приняться, а он, изволите видеть, занят совсем-совсем иным...

Скандракову долго не доставало существенного икса. Икс, некий икс — и квартира в доме 114 обретет вид притона террористов. Вот если бы «поместить» туда и Дегаева. Однако тут-то ничего и не получалось.

Росси, Конашевич, Стародворский признали знакомство с Дегаевым. Не близкое, но признали. Смешно не признать этого знакомства. Загвоздка была в другом. Росси и Конашевич, отпираясь от квартиры «Голубевой» и «Савицкого», тем самым отпирались от того, что встречали там Дегаева. «Савицкий», то есть Стародворский, от своего жилья не отпирался, но напрямик заявил, что Дегаев у них не бывал.

Незаменимого дворника обо всем спрашивали, и ни разу никто не спросил про Дегаева. Ни Александр Спиридонович, ни полковник Оноприенко со своей свитой. Эта общая ошибка была естественной: афишки с шестикратным изображением отставного штабс-капитана, афишки, сулившие пять и десять тысяч, красовались повсеместно. Столь приметливый дядя, как Петр Степанович Демидов, ежели бы что да чего, давно бы сообщеньице сделал. А Демидов — ни гугу. Стало быть, не бывал Дегаев в доме на Большой Садовой.

Однако Дегаев бывал у «Голубевой» и «Савицкого». Бывал в начале декабря чуть не каждый день. Иной раз по четверти часа, иной раз по получасу, а случалось, и дольше. И старший дворник Демидов его видел. Но старший дворник Демидов и афишки видел.

Черт ведает, сколько бы крутилась карусель, когда б однажды майор не завел с дворником речь о Дегаеве. Александр Спиридонович заговорил ненароком, так как-то, ничего и не ожидая. А положительный, степенный Демидов вдруг полез глазами по стене, добрался до потолка и там, на потолке, взглядом замер. А майор умолк. Не потому, что заподозрил неладное, а потому, что машинально следил, как дворник будто мух считает.

Молчание майора сокрушило Демидова. Сердце у него ударилось об ребра, мысль пронизала, как молонья: ежели без меня дознались, вышел я утайщиком... И Петр Степанович Демидов бухнул осипшим голосом, что убивец, который, значит, Дегаев, хаживал к акушерочке и к ейному сожителю. Хаживал, провалиться ему, Демидову, на месте, пусть у него глаза лопнут.

— Да что же ты молчал? — загремел Скандраков, вскакивая с кресла. — Что же ты молчал, скотина? Ответь!

Демидов, повинно уронив голову, видел, как приплясывают востроносые штиблеты.

— Ну говори! Говори, как на духу, негодяй, — приказал майор, усаживаясь в кресло и доставая папиросы, которые курил лишь в крайности, при сильном волнении.

— Я, ваше высокоблагородье, — начал Демидов хрипато, — я, дурак, такую про себя экспедицию заимел, чтоб самолично накрыть. Втемяшилось: ах, думаю, может, заявится, а тут ему крышка — сгребу! И вот они, тыщито, вот! — Демидов и сейчас, хоть и винясь, хоть и жалостно, но и сейчас загорелся, вспомнив жажду свою, эти-то пять и десять тысяч вспомнив, даже ладонь вытянул, пальцами зашевелил.

Дворник что-то еще бубнил, все про деньги, мамоны проклятые, они кого хошь с пути собьют, и опять про афишку, про бо-ольшие тыщи, но Скандраков уже не слушал и не замечал Демидова.

Безмолвное ликование владело майором Александром Спиридоновичем. Икс нашелся! Картина цельная! Одно к одному, одно к одному. Дегаев — на Большой Садовой; Конашевич — на Большой Садовой; Стародворский и Росси — на Большой Садовой. Все стало по местам.

Да, но ведь убивали втроем: из револьвера «смит-вессон» и двумя ломами-пешнями. Втроем убивали. Дегаев и еще двое. Трое сидят в крепости. Кто-то из них лишний. Как в детской игре. Как в любовной игре. Кто же из них лишний?..

Росси?

Конашевич?

Стародворский?

Э-э, потом... Это уж потом... Главное достигнуто: картина высветлилась.

И майор Александр Спиридонович безмолвно ликовал. Про дворника он забыл. Тот пытался к дверям, бормоча: «Мамоны проклятые...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Жандарм как плыл. Поезд тянулся вдоль дебаркадера. Станция называлась Вержболово. Ничего не переменилось. Ни земля, ни деревья, ни небо, ни облака. Переменилось все. И земля, и деревья, и небо, и облака.

Почти привычен нелегальный переезд границы, но привычка ко встречам с Россией не возникла. Можно усмехнуться, увидев жандарма: «Дым отечества...» Не усмехнешься, увидев дымы над соломенными кровлями.

Щемящая сила «пограничных» минут. Нигде не ощутишь с таким безмолвным потрясением свою неотторжимость от России, как на ее рубежах.

Лопатин приехал в Россию.

Петербург — это уж другое, совсем другое. Опять Европа? О нет, застенки Европы, застенки на топях. Громады не спят, они караулят. Игла Адмиралтейства не светла, она близнец Петропавловской. Игла и шпиль грозят, как персты возмездия. Петербург — это будь что будет.

Лопатин приехал в Санкт-Петербург.

Шведский переулочек обрывался близ Екатерининского канала. В стылом камне, в ненастной воде таилось эхо бомбы, казнившей императора. В переулочке, в госпитале умер студент, истерзанный той же бомбой. Его тень с простертыми руками и вьющимся шарфом летела над Шведским переулочком.

Лопатин поселился в Шведском переулочке, в угловом доме.

Едва переведя дыхание, он отыскал Якубовича и Флерова. Первый вращался в университетских кругах, его знали многие радикальные студенты, знали литераторы, отмеченные печатью левизны; второй был связан с окраинами и заставами.

Порывистый Якубович, очень искренний, очень молодой и внешне, и душевно, был симпатичен Лопатину. Герман Александрович звал его не Петром и не Петром Филипповичем, а с легкой любовной иронией — Петручко.

Флеров, хмурый, замкнутый, скептический и грубоватый, не будил в Лопатине особой приязни, зато внушал безусловную надежность. «У этого, — уважительно думал Лопатин, — у этого, поди, нервы никогда не сдадут, любое напряжение выдержат».

Собрались они днем, на одной из тех невзрачных линий Васильевского острова, которые будто бы стерты непогодами, в квартире еще не известного Лопатину секретаря газеты «Новости». Самого Федора Грекова дома не было, потому можно было толковать без помехи.

Лопатина приняли едва ли не холодно. Он, однако, виду не подал, стал трунить над молодцами, склонными к «мерехлюндии» не по возрасту. Шутки остались без ответа. Лопатин вопросительно взглянул на Якубовича. Петручко, отводя глаза, пожал плечами. А Флеров нецеремонно отрезал, что меланхолия в данном случае явление не личное и не возрастное, но общественное, и что для нее есть веские причины.

Лопатин, поигрывая синим пенсне (круглые очки в золотой нитке получили отставку), опять посмотрел на Петручко, и Якубович стал говорить, волнуясь, потряхивая головою, оправляя небрежно и торопливо свои рассыпающиеся густые волосы:

— Понимаете, слух распространился. Быстро, мгновенно. Впечатление ужасное, давящее, кошмарное. И унижительное. Дегаев как умер, да мы-то остались. В грязи и мерзости, забрызганные кровью, облепленные изменой. Как можно смотреть в лицо тем, кто нам доверял, сочувствовал? Как можно смотреть друг на друга? Хорошо, Дегаева нет, но твердая гарантия нужна: не повторится! Вот что нам нужно: гарантия — не повторится, исключено. Я верю в людей, в честность революционеров, несмотря на то, что был Дегаев. Но, веря, я должен быть уверен. Когда солдат идет на смерть, он должен знать, что полковник его не предаст. Но как, как такое осуществить? При всем моем уважении к такому человеку, как Тихомиров... Честно ска-

жу: довольно, хватит. Что это за Исполнительный комитет? Мы его не знаем. Мы здесь, а комитет какой-то мираж. Почему комитет молчит, почему Тихомиров молчит? Нет, извольте-ка прямо и ясно... — Якубович перевел дыхание. — Во-первых. Итак, что сделало возможным появление и продолжительную зловредную деятельность такого человека? Во-вторых, как и когда произошло раскаяние Дегаева? В-третьих, почему заграничники решили дело келейно, не поставив в известность тех, кто действует здесь, в России? Вот, Герман Александрович, главное. Ни шагу дальше. Прежде надо очиститься! До конца, без малейшего умолчания. И даже... Я не побоюсь сказать вам, Герман Александрович, даже в таком случае, нам, молодым членам партии, уже будет не по пути со стариками.

Не в парижском кафе, не в буи-буи сидел Лопатин, он не спрашивал, а его спрашивали. С тем же правом, с каким он спрашивал Тихомирова и Ошанину. И Лопатин признавал законность всех этих «во-первых», «во-вторых», «в-третьих». Можно сказать: «Друзья, я сам находился в неведении». Тогда уж по крайней мере молодые не смешили бы его, Лопатина, с заграничниками. Но так заявлять было поздно. Ведь он сам, блюдя свой авторитет, свое самолюбие, он сам минувшей осенью намекал Якубовичу (и Росси он тоже намекал), что не позволит Дегаеву увильнуть от исполнения клятвенного обещания. Намекал! И весьма прозрачно. Куда ж теперь деваться? Некуда! Надо таить ложь. И платить за разбитые горшки. Не им, Лопатиным, разбитые, но платить.

Он ответил. Подавил внутреннее возмущение самим собой и ответил почти теми же словами, какими Тихомиров отвечал ему в парижском кафе. Он знал, что они могут ему возразить, потому что сам возразил Тихомирову и Ошаниной. И он не стал ждать, пока они вонзят в него эти возражения, он спросил, опираясь о стол руками, наклонясь вперед, блестя пенсне:

— Господа, прошу сказать: надо ли подтверждать официально, от имени партии, что во главе был мерзавец, прохвост, изверг, мелкая душонка... — Лопатин как насосом гнал клеймящее, уничижительное. — Негодяй, кровавый пшют, актеришка, ловкий хитрец, мелкий злодей... Надо ль объявить громко? Надо ль наш позор выволочить на площадь? Вот он, вопрос. Прошу высказаться. Или пождем, поразмыслим?

— Уж не полагает ли Герман Александрович, что мы, будучи в России, а не в Европах, об этом не задумались?

Флеров, большой, сутулый, носатый, сумрачно и пристально смотрел на Лопатина. Но Лопатин будто не расслышал его враждебного тона. Лопатин улыбнулся, радуясь, что успел перевести стрелку и пустить тяжелый поезд на другие рельсы.

— Я, господа, не сомневаюсь в ваших мыслительных способностях. Итак?

Якубович был в смятении. Лопатин опять подумал про Литейный мост, что каждому суждено, мучась, «одолевать Дегаева» и что, не «одолев Дегаева», жить можно, но в партии оставаться нельзя.

— Я много думал, — тихо, как у постели больного, сказал Якубович. — И не я один. Тут, Герман Александрович, две стороны. Одна нравственная. А другая... Другую я бы назвал практической, организационной. Вот первая-то, нравственная, моральная, она властно диктует: надо объявить! Надо открыто признать, что нами верховодил негодяй. Вот так, вот одна сторона. — Якубович помедлил. — А с другой, Герман Александрович, с другой... Страшно! Признаюсь: страшно. Очень страшно скандализировать революционное знамя. И скользишь тут, как по льду... Думаешь: но ведь его-то, негодяя, предателя, его-то уж нет, он уже безвреден, так зачем же? А? Зачем? Открытое признание деморализует многих. Особенно молодых. Не так ли?

— Несомненно, — заверил Лопатин. — И не только молодых.

— Вот, вот, — словно бы ободрился Якубович. — Может, и, правда, нет смысла? Ведь это ж гнойник напоказ, калечество напоказ. Я все думал, как бы этот слух придумать, о Дегаеве-то.

— А правда, которая как шило? — спросил Лопатин. — Вы только что обвиняли заграничников, теперь хотите быть, как они. Самим знать правду, а от других скрыть? — Он продолжал беспощадно: — Значит, две правды? Одна для себя, для тех, извините, кто в генералах, а другая для «них», для прочих?

— Избави Бог! — вспыхнул Якубович. — Вот уж чего я не хочу! Но... Но партия? Ведь это страшный удар, надо подумать о партии.

— Плоха та партия, которая окочурится при свете истины. Чего она, такая-то, стоит, дорогой мой Петручко?

— Чистым знаменем, Герман Александрович, завладел грязный знаменосец. Отсюда что же? Знамя запачкалось. Вы сами признали неизбежность деморализации. Так не лучше ль избрать путь медленного, частичного и постепен-

ного признания? А? Ведь тем временем мы накопим новый капитал. Вы меня понимаете? Ведь у нас в активе появятся новые деяния, чистые...

— Понимаю, дорогой Петруччо. Но терапия, извините, не для революционеров. Умолчание... Умолчание о дегаевской мерзости есть принятие ее на самих себя. — Он повернулся к Флерову. — А вы? Вы, надеюсь, за полную и решительную огласку? Не так ли?

— Я?! Вы меня спрашиваете?! — грозно и мрачно воскликнул Флеров. — Скрывать? Прикидываться, что ничего, дескать, такого не было? Да это... это... простите меня... это, знаете ли, непотребство. Не понимаю причитаний Петра: показывать гнойник, показывать мерзость. Не-е-ет уж, нет уж, бросьте! Молодые утратят веру? Очень может быть. И, как ни горько, мы этого заслужили. — Флеров побагровел. — Что делать? А? Что делать, спросите? Отвечу! Заслужить веру, вот что. Вот этими самыми своими руками заслужить... А скрывать... — Он презрительно скривился. — Да я бы, честью заверяю, я бы в таких господ первым бросил камень: мелкие душонки, крысы!

Наступило молчание.

— Не знаю... Право, не знаю, — прошептал Якубович. — Не солдат я, не боец, должно быть.

Флеров, остывая, буркнул:

— Ты, брат, полковой священник, вот кто. Тебе бы благословлять. Не обижайся, пожалуйста.

— Я не обижаюсь, — вздохнул Петруччо.

Лопатин потянулся за папиросницей. Эдакий кожаный короб косил он на ремне, через плечо — англичанин Фридрих Норрис. Лопатин пустил дым длинный, прямой, сказал, разглядывая сизое:

— Не люблю изречения, ими заменяют собственную мысль, как привычкой — счастье. Но это уж очень к месту: «Прикрывать злодейство — есть злодейство!»

Флеров хлопнул в ладоши:

— Bravo!

Якубович вскинул голову, его волосы опять рассыпались, он опять огладил их торопливым, небрежным жестом.

— Не согласен, но и не спорю. Но уж теперь позвольте, Герман Адександрович, вернуться к тому, с чего начал: практически, организационно...

— На круги своя? — усмехнулся Лопатин.

Усмешка была деланная. За кордоном он думал: приеду и вдохну жизнь в глиняные изваяния. Оказалось, что в

прометях никто не нуждался: глиняных изваяний не было. Они дышали. Храм не опустел. Но службу во храме не ждали служить по-прежнему.

Признать Дегаева мерзавцем значило сделать лишь один шаг. Пусть мучительный для каждого в отдельности и для всех вместе, но лишь один шаг. Шаг к обновлению, к новизне. О ней теперь размышляли и спорили Якубович, Флеров, все, кто называл себя молодыми народовольцами. С упором на первое — молодой.

Однако этот упор не означал отказа от коренных, желябовской поры убеждений «Народной воли». Коренное, краеугольное оставалось. Спасение мнилось молодым в ином расположении «приводных ремней и колес», в иной структуре партии. В такой, которая начисто отрицала бы возможности дегаевых.

Они думали, что успех старого Исполнительного комитета — комитета Михайлова, Желябова, Перовской — крылся в редкостном, прямо-таки счастливом сочетании выдающихся в нравственном отношении личностей. При таком сочетании дегаевы исключались. Дегаевы могли быть — и были — в зародыше, но дальше не развивались.

«Гарантия нужна!» — твердил Якубович. Гарантия от возникновения дегаевых, от того, чтобы дегаевы вырастали в лидеров. И мнилось спасение в ином расположении «приводных ремней и колес».

Лопатин понимал: Якубович и Флеров — не бунтующие одиночки, за ними — питерские, киевские, московские. И Лопатин с несвойственной ему терпеливостью слушал Якубовича, слушал Флерова.

Пусть будет так: революционные группы в провинциях и столицах самостоятельно решают революционные задачи; съезд представителей всех групп — вот власть верховная, диктующая основные направления; съезд назначает главу боевых дружин и называет тех, кто подлежит ликвидации этими боевыми дружинами; редакцию «Народной воли» избирает съезд. Исполнительный комитет? О, никаких звезд первой величины. Комитет — исполнитель воли съезда, распорядитель кредитов и «живой силы» в период между съездами. Келейное, тайное, с глазу на глаз, отвергается как инструмент дегаевых.

Молодым нельзя было отказать в логике. Но Лопатин видел, что это логика наэлектризованного состояния. И только. Молодые рвутся к власти? Ну что ж. Но молодые, обладая энергией, не обладают тем, что важнее всего: н о - в ы м с л о в о м. (За таковое не принимал Лопатин фле-

ровское: «Аграрный террор — в программу; фабричный террор — в программу». За версту шибает анархизмом! А мечта Якубовича о повторном «хождении в народ»? Тут было бы нечто, если было бы новое слово, а не прежняя прогорклая каша смутных заповедей.) Нет, думалось Лопатину, для нового слова еще не приспел на Руси срок. Увы, ждать он не может. И не станет. Он будет лить старое вино в старые мехи. И тут уж не маленький круг Петруччо. Нет, тут трагический огненный круг, в котором все они замкнуты.

Лопатин слушал Якубовича, слушал Флерова. О, молодые пойдут на раскол со стариками. Пойдут. И... и не дойдут до раскола. Ибо нет нового слова.

А тебе, Герман Лопатин, тебе предстоит то, что называют «организацией». То, что тебе не с руки, но ты будешь работать эту работу. Да, будешь. И в маете переговоров, уговоров будешь порой устало недоумевать: «В конце концов нужен авторитет или не нужен?» Как путы, как помехи, как барьеры ощутит Лопатин необходимость терпеливо объяснять и терпеливо разъяснять, когда время не ждет, когда время торопит. И про себя (стыдясь) затоскует о возможности повелевать — ради дела, ради дела! — повелевать, не объясняя и не разъясняя. Но как и для нового слова, так и для повелений без слов еще не приспел на Руси срок...

С Васильевского острова Лопатин возвращался впопыхах. Шел без оглядки. Не заботясь о филерах, уверенный, что мистер Норрис вне подозрений. Да так оно и было, кажется.

Он шел в этих невзрачных, каких-то вдовьих улицах, миновал длинный, уже не освещенный кадетский корпус, свернул на набережную Невы, к Дворцовому мосту.

Где-то там, за речной недвижимой ширью, каменно спали крепостные бастионы. Лопатин подумал о «гарибальдийце» Росси, о Конашевиче и Стародворском, которых не раз видел на Большой Садовой. Он подумал о них с сожалением, но без острой печали. Ему вспомнилось тихомировское признание: не хочу «влюбляться» в товарищей — каждый раз, когда теряешь, чувствуешь невозможность жить, так уж лучше не «влюбляться»... Лучше ли, хуже ли — это уж от тебя не зависит.

Об аресте Росси на похоронах Судейкина Лопатин знал еще до отъезда за границу. Нынче ему сказали о Конашевиче и Стародворском. И не только про них: все еще берут по старым дегаевским указкам. Многих взяли. Очень многих.

Было тихо, темно, беззвездно. Лопатин прислушался. Почему-то скользя в нем ожидание трамвайного рожка, хотя он сознавал, что в Питере нет трамваев.

Якубович общался с Дегаевым часто, тот не мог не указать на Петруччо. Нелегальных друзей Якубовича берут одного за другим. А Якубович — легальный. И его не берут... Лопатин думал о Якубовиче. Спокойно, непредвзято. Якубович был ему по душе. Но он шел и думал о том, что нелегальных друзей Петруччо берут, а легальный Петруччо на воле.

2

В немые ночи, когда ни ветра, ни звезд, когда город словно обложен ветошью, приходит Блинов. Коля Блинов приходит в такие ночи, как нынешняя.

«Садитесь», — говорит Якубович. Блинов улыбается, как слепец на перекрестке, напряженно и потерянно. И что-то произносит. Что же, что? Ах да, вот это: «Я не вправе задавать вопросов». Его голос тих, как и слепая улыбка, тих и невнятен. «Полно, какая китайщина, какие церемонии». Это не он, не Якубович, это Флеров. «Нет, нет, я все понимаю... Все понимаю», — продолжает Блинов, улыбаясь, как слепец, голосом тихим, невнятным.

Потом он просит свидания с Лопатиным, ему необходимо видеть Лопатина. А Якубович потирает кончиками пальцев виски. Да, вот так, сидя, потираешь ты виски. Тебе не в чем винить Колю Блинова, но его у же подозревают, а ты не вступаешься, не защищаешь, хотя веришь в него и веришь ему. Партионные интересы превыше всего, ты опасаясь ошибки. Хотя знаешь, что нет измены, а есть чудовищное стечение обстоятельств. Но ты молчишь, для тебя партионные интересы превыше личных, как будто бы не личности составляют партию, а что-то иное, отвлеченность некая.

«Где угодно, несколько минут, — повторяет Блинов. — Необходимо, поймите...» Нет, они с Флеровым не открывают, где Лопатин, они просят Блинова подождать. Всего лишь недельку-другую подождать. И Блинов уходит. Не оборачиваясь. И вдруг веет холодом, будто двери настезь.

Тогда Блинов ушел. Нынче он не уйдет. Куда ему идти? К перилам Литейного моста? Он не уйдет в такую ночь, когда ни ветра, ни звезд, когда город словно упакован в ветошь.

Память реставрирует то, что нужно, хотя не всегда нужно то, что она реставрирует. Якубовичу все чаще яв-

лялся Коля Блинов... «Твоих друзей, даже нелегальных, арестовывают, а ты, легальный, гуляешь на воле». Вслух это не произнесено. Но уже страшно уловить осуждающий шелест чьих-то губ. И уже затылком, едва удерживая ровность шага, ощущаешь чей-то настороженный взгляд. Вот она, судьба Коли Блинова.

Якубович легко делился с товарищем последним полтинником, а Блинова не оделил толикой душевного тепла. «Партионные интересы превыше всего»? Нет, Блинов оказался превыше всего. Самоубийство — слабость, капитуляция? Ах, как простенько! На таких «откровениях» почивают как на пуховиках. Дегаев всех забрызгал грязью. Блинов не стал отирать с себя эту грязь. «Я ни при чем, я обманут, как все...» Партия не была ему дивизией, войском, где подчиненный не в ответе за начальство. Блинов был слишком честен для того, чтобы остаться с опущенной головой. И Блинов бросился вниз головой.

Якубович не бросился. Говорил себе, что он действует. И верно, Якубович ездил в Киев, видел Мишу и Прасковью Шебалиных, тех, что раньше держали типографию у Кукушкиного моста. (Нет уже ни Миши, ни Прасковьи — тоже арестованы. А они-то, Якубович и Шебалин, полагали, что Судейкин унес в могилу дегаевские доносы.) В Киеве толковал Якубович с радикалами, был вхож в подполье. Потом — москвичи. Решено было рвать с заграничниками, поднимать незапятнанное знамя «Молодой партии»... Якубович действовал. Сколько было сил, столько и отдавал. Да много ль сил? Только Роза, его невеста, только Роза Франк знала, много ли сил.

Как и прежде, Якубович чуть не всякий день заглядывал на Пески к Розе. Он прозвал ее «Сорокой». Оказалось — и это подтвердил Стародворский, — Розу еще в гимназии так дразнили. «Веселая она, — говорил Стародворский, — скачет, как сорока...»

Якубович и себе придумал псевдоним — Роза жила на Песках, и Якубович пошучивал: «Мой псевдоним — Песковский». Она улыбалась: «Ты — мой храм на Песках». Иногда горевала: «У нас с тобою все на песке».

Роза, «Сорока» — худенькие руки, тяжелая коса. Он говорил Розе: «Понимаешь ли», как говорят лишь тому, кто, конечно, понимает, все понимает.

— Понимаешь ли, он даже не догадывается, как он прав: полковой священник... Ах, как это метко, Роза! Флеров прав: я не боец. По складу характера не боец. Флеров, Блинов был, Лопатин — воины. Я испытываю почтитель-

ный страх, преклоняюсь. А себя... себя, Розочка, презираю. Нет, ты уж не утешай, пожалуйста. Я не ломаюсь, я правду, тебе одной. Нет у меня способности всецело отдаться своим убеждениям. Ко мне обращаются, чего-то от меня ждут, я что-то советую, куда-то еду, ну и получается вроде бы революционное действие. А если в глубину, так ведь это же не я отдаю, а меня берут. Бросился в реку, но не плыву — отдаю течению. Это-то и есть неспособность всецело служить идеалам... Мне порой кажется, я поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь... Ты вообрази: огромная страшная гора, а под ногами, у самых ног — обрывы, пропасти. Люди срываются, исчезают навсегда, они кого-то любили, у них были домашние привязанности, какие-то мечты были, они срываются, гибнут, жертвуют личной жизнью. И вот я... Я тоже на такую гору взбираюсь. Я не раскаиваюсь, не сверну, нет. Винить некого. Разве что несчастное время, в которое мы живем. Но суть-то в том, Розочка, что вот я, Петр Якубович, иду, карабкаюсь, а все ж будто бы против своей воли. Нет, не боец, прав Флеров. Я бы... Вот я не могу, не смею сравниться с Тихомировым, гигант, не мне чета, но ведь могу же, смею сказать, как он: игнорируйте меня от всяких обязательств практики, служить буду, чем умею — пером... Что? Да-да, он так сказал, просил Лопатина объявить это нам, в России... Вот и я бы служил пером. Так нет же, как-то так оборачивается, что меня принимают за какую-то руководящую фигуру. Тут и мое несчастье, тут и вообще несчастье, что такому, как я, выпадает практика. Я не говорю, что теоретик, но словом, пером сделал бы больше, лучше... А теперь — Рубикон, мой Рубикон, понимаешь? Ты не волнуйся, Роза... Рубикон — мой, а раз мой, то я и должен с тобою решить.

Решить следовало поворотное и бесповоротное. Такое важное, что не касалось, а прямым ударом в Якубовича и Розу — с их прошлым, их будущим...

Поговаривали, что племянник Судейкина будто бы оправдился и занялся дешифровкой дядюшкиных записок. Слух был ложный. Департамент располагал тетрадами Дегаева, они в расшифровке не нуждались; а Судейкин не разводил канцелярщины, опирался на собственную память. Но слух будоражил подполье.

Грубо если, то слух этот был, пожалуй, на руку Якубовичу: он получал предлог для перехода в нелегалы. Он мог стать нелегальным, не опасаясь, что сам же первым сочтет свой переход как бы оправданием перед теми (покамест воображаемыми) людьми, которые подозревали (могли по-

дозреть) его в самом мерзком, в чем только можно заподозрить порядочного человека.

Однако нелегал ведь это... Якубович и Роза отчетливо представляли, что такое нелегал. Ни минуты твердой, зыбкость, как на кочках, забудь об уютках и буднях, о дорогих, подчас неуловимых мелочах, согревающих частную жизнь. Нелегал сжигает корабли. Он меняет походку. У него нет крыши. Мирные огни не ему светят. Он обложен со всех сторон, на любой тропе — засада иль волчья яма. И уж если ты не способен к практике подполья, какой из тебя нелегал... Все это отчетливо вообразилось Розе и Якубовичу.

— Розочка, пойми: только так я продержусь до осени. А ты летом в Каменец-Подольск... Только так я до осени... Пойми.

До осени! Почему все так, а не иначе? Нет, иначе быть не могло. Но почему ж до осени? А до осени лишь месяцы... И, проклиная осень, такую близкую уже осень, хотя на дворе еще весна, Роза мысленно смирялась с его уходом в нелегалы...

Проснулись они поздно, совершенно счастливыми, будто вчерашнего не было. Проснулись и глядели в окно. Ночью или на заре прихлынула весна. День встал большой, просторный, мокрый, блестящий. И Якубович не увидел, а почувствовал, как на глазах у Розы навернулись слезы.

К себе, на Спасскую, Якубович попал уже днем, в обед, нашел записку с приглашением в Публичную библиотеку. Якубович подосадовал: лучше бы скорее повидать Лопатина, сказать о решении, о своем окончательном решении. Но записка намекала на что-то чрезвычайное, безотлагательное, и Якубович отправился на Невский, в библиотеку.

Войдя в подъезд, Якубович уже испытывал то бодрое, приятное состояние, которое неизменно испытывал, навдываясь в библиотеку. Ощущение это как бы начиналось швейцаром. Старые библиотечные служители, как и университетские, отличались от прочих петербургских низших служащих особым умением держаться с завсегдатаями уважительно, но с оттенком некоторого сообщничества, таинственного братства.

Якубович не заглядывал ни в читальную залу, ни в «главную» курительную, рядом с залом. Он шел полутемными коридорами, по веревочным ковровым дорожкам, глушившим шаги, шел мимо высоких, до потолка, закрытых книжных шкафов и, как всегда, ощущал уже не только приятную бодрость, но и легкое сожаление об утраченном времени, которое, увы, не довелось отдать этим книгам.

Конспиративные randevу обычно устраивались в «малой» курительной; она звалась почему-то «турецкой». Единственное окно мутно глядело в дворовый закуток. Курительная всегда была сизой. В углу, на круглой тумбе пылился мраморный бюст какого-то цезаря.

«Малая» курительная представлялась любителям «запретных тем» известной гарантией секретности. Недавно Якубович встречался здесь с университетским коллегой, который заведовал подпольным паспортным бюро. Пока они о чем-то уславливались, в курительной вперемешку с табачным дымом клубился весьма предосудительный и громкий разговор по поводу щедринских «Отечественных записок».

Этот журнал был как отдушина в штольне, как просвет в подземелье. Он ничего не менял в подземелье. Косное оставалось косным, подлое — подлым, циничное — циничным. И все ж ежемесячное появление нумерованной книжки позволяло перевести дыхание, глотнуть свежий воздух. Судьба «Отечественных записок» как бы сливалась с судьбою читателя-гражданина.

Нынче Якубович пришел, когда ораторы уже разбрелись по кухмистерским Толмазова переулка или одалживались чайком в швейцарской, из «вокзального», богатырского самовара.

В курительной сидели хранитель паспортного бюро и молодой человек, Якубовичу неизвестный. «Паспортист» объяснил: «У него сутки, ссыльный из Дерпта». И, объяснив, исчез.

Незнакомец, изможденный, со строгим, почти аскетическим лицом, назвался Владимиром Переляевым. Имя ничего не сказало Якубовичу. Переляев это приметил и как будто этому обрадовался. (Он и вправду обрадовался: покойный Блинов сдержал слово — не открыл питерским своего давнего приятеля.)

В Дерпте у Переляева поныне хранилась типография. Готовая к работе, как к бою, она оставалась без работы, как в арсенале. Переляев не рисковал: в питерских и провинциальных провалах он угадывал некую закономерность. Между тем в Дерпте все никло, студенческое общество хирело, погрязая в «радостях низшего разбора». А к Переляеву, он чувствовал, близилась смерть: припадки падучей участились. Он не одолел страха смерти, но умереть «непроизводительно» казалось ему хуже смерти.

Убийство Судейкина, слух о разоблачении Дегаева, потом весть о «молодых» — все это толкнуло Переляева на поездку в Питер. Якубовича он отыскал потому, что Якубовичем восторгался Блинов.

Увидевшись с Якубовичем, Переляев, не теряя времени, взял быка за рога. «Бык» тотчас, без споров принял все условия, хотя они могли показаться очень и очень жесткими. Но Якубович принял бы и не такие. Лишь бы возродилась газета! Лишь бы напечатать десятый номер «Народной воли»! Два года, подумать только, два года как оборвалось издание... Правда, Якубович проектировал сборник. Материалы копились, но материального не доставало — ни станка, ни литер. А главное — заколдованность Петербурга: чуть что, и прахом... А тут, у этого сумрачного, изможденного ссыльного, у этого поднадзорного дерптского студента все, все готово! И городок в сторонке, и от столицы близехонько. Ликуй, лучшего не сыщешь, не придумаешь!

Якубович принял условия: никто, кроме двух-трех вернейших из верных, не должен знать, что в Дерпте типография; технику осуществляет он, Переляев; денежная и прочая помощь — за Питером; для связи командируется один человек, не больше; до напечатания номера — никаких разъездов «туда-сюда»... Господи, какие возражения? Якубович лишь спросил, можно ли доверить тайну одному из заграничников.

— Нет! — отрезал Переляев.

Якубович, помешкав, сказал, что этот заграничник уже не за границей.

— Извольте назвать.

Якубович, опять не без колебаний, ответил, что у них, «молодых», немало разногласий с приезжим.

— Так на кой дьявол он сдался?

Якубович, помолчав, объявил, что это...

— О-о-о, — уважительно протянул Переляев.

Они расстались, обменявшись паролями.

Снова длинные полутемные коридоры, высокие, до потолка, шкафы с книгами. Но уже нет сожаления об утраченном времени, уже бодрость, не библиотечкой навеянная. Снова вестибюль, гардеробная, швейцар, подающий пальто и шляпу. Но Якубович уже не замечает швейцара, не слышит, как тот журит: «А редко, сузаль, навещать стали, ре-е-едко».

И лишь на улице, среди прохожих, в громе конок, Якубович оторопел: не сболтнул ли на радостях лишнего, а? Конечно, Переляев — по хватке видать — парень старых конспиративных традиций. Но открывать лопатинский ларчик никто Якубовичу не поручал. Не открыл в свое время Блинову, а сейчас вот и открыл. А потому... Якубович сознавал почему!

Еще там, в курительной, он уже мысленно витал над Дерптом: вот оно, желанное! Пусть корректуры, пусть редактирование. Пусть! Зато перо, перо... Однако не только перо. Он уедет из Петербурга. Оборвет все нити, устранится от главного русла движения. Он изолируется в Дерпте. И тогда все убедятся в том, в чем ему, Якубовичу, так нужно всех убедить и в чем он не может, не унижаясь, убеждать. С пользой для партии он укроется в Дерпте, и тогда уж никто не посмеет даже подумать: «Нелегальных арестовывают, а ты, легальный, на воле».

Якубович наивно забывал «пустячное» обстоятельство: если уж тебя подозревают в самом ужасном, то никакое отсутствие не во благо. Забывая об этом, Якубович спешил к Лопатину. Лишь Герману Александровичу он выскажет все, как некогда хотел высказать Блинов.

Якубович долго искал Лопатина. День, недавно такой молодецкий, померк, угрюмо задущенный тучами. Зима в тот год выдалась неуступчивая. Сеялся снег.

Уже затемно Якубович перехватил Лопатина на углу Шведского переулка, знаком позвал за собою, Лопатин повиновался, а как вышли к каналу, дернул Якубовича за рукав:

— Что стряслось?

— Ничего, ничего, сейчас, — поспешно отвечал Якубович, увлекая Лопатина по набережной.

— А ежели ничего, так чего мерзнуть? Идемте ко мне чай пить.

Якубович запротестовал: Герман Александрович забывает конспирацию. Лопатин отмахнулся, не догадываясь, что его оппонент совсем недавно, в курительной, явил редкостную неконспиративность.

На другой стороне канала темнела каменная стена Михайловского сада. Черные деревья сплотились в общую глущую черноту. Снег повалил гуще, сухими хлопьями.

Якубович был возбужден. Якубович высказался стремительно. А Герман Александрович будто и не расслышал ни о «подозрениях на подозрения», ни о «непригодности к практическому», ни о «желании изолироваться», а расслышал только про дерптскую типографию.

— Гер-р-рой, удр-р-ружил, чер-р-рт, какая пр-р-роничательность! Сбер-р-рег! — рокотал Лопатин.

Это все адресовалось Переляеву.

— Стойте! — И Лопатин остановился. — Да знаете ли, кто он? Мне ж о нем Блинов... Клянусь, тот самый. Блинов, именно Блинов про дерптского приятеля говорил, хоть

и безымянно, но говорил. Тогда это было ему очень важно, Петр Филиппович.

Якубович при имени Блинова тотчас подумал, что сейчас похож на Блинова. Однако нет, не похож... Он-то вот уже и сказался Лопатину, а Блинову не дали. «И виною — я, я, я!» — горько простучало Якубовичу. Горько, но коротко: он съезжился, напрягся в ожидании ужасных обвинений — Лопатин не назвал его «Петруччо», а назвал Петром Филипповичем.

— Петр Филиппович, — говорил Лопатин, отпуская локоть Якубовича, — позвольте-ка без дипломатии. Дегаевским ядом мы, верно, все малость отравились. Так вот мне, грешным делом, мелькнуло эдакое. Но лишь мелькнуло, потому что вы и эдакое — абсолютно! Абсолютно несовместно.

Лопатин говорил то, что Якубович жаждал услышать. Но говорил, словно бы мешкая, словно бы запинаясь, и Якубович все еще был в напряжении.

— Не обижайтесь, — продолжал Лопатин, — выслушайте холодно. Ни на йоту не сомневаясь в Петре Филипповиче Якубовиче, я сомневаюсь... — Лопатин повел подбородком в сторону, туда, за Екатерининский канал, за дворцовый Михайловский сад. — Согласитесь, этот мерзавец непременно донес на вас, а «там», по известной методе, решили повременить, не трогать Петра Филипповича Якубовича. Якубович — человек заметный, публика тянется. Огонь горит ясный, ну и летят, слетаются. А ведь и сам по себе огонь, и те, кто на него слетаются, далековонько видны. Как полагаете? Ежели без эмоций, трезво?

Якубович растерялся. Потом криво усмехнулся:

— Выходит, я... Стало быть, по-вашему, я подсадная утка?

Лопатин развел руками.

— Ну-с, это... это несколько... Впрочем, чем грубее, тем точнее. А что подделаешь, Петруччо? — И словно затем, чтобы не длить его унижение, быстро сказал: — И потому-то ваша поездка в Дерпт оказалась бы полезной тройне: избавите некоторых товарищей от прицельных выстрелов нынешних судейкиных, это раз; со своего следа гончих собьете, два; и третье, самое главное — газета. Верно? Ведь верно ж, Петруччо?

— Да, пожалуй, — промямлил Якубович.

Он бы теперь, кажется, и подозрения на самое ужасное принял, лишь бы не быть «подсадной уткой». Желанное устранение от главного русла, желанная поездка в Дерпт, желанное служение пером — все захлестнуло чувством

унижения, обиды, чем-то неуловимо отвратительным. И даже, черт побери, нелепо-смешным: «подсадная утка...»

А Лопатин, снова взяв об руку Петруччо, уже рассуждал, что десятый номер «Народной воли» должен выйти в свет, должен свидетельствовать единство, что раскол с Исполнительным комитетом недопустим, что надо скорее кончать неразбериху, да и грянуть всей артелью.

Якубович слушал плохо.

3

Знака безопасности не было. Этого следовало ждать каждый день. И не столбенеть посреди Пушкинской.

Знака безопасности — штора на половину окна, зажженная лампа на подоконнике, чуть приоткрытая форточка — не было. Вновь обретая способность двигаться, Флеров несколько раз прошелся по Пушкинской, медлил напротив дома номер двадцать, пристально взглядывая на одно из окон в третьем этаже. Ни шторы, ни лампы. И форточка закрыта.

Флеров не знал, что в этот час в здании у Цепного моста чиновник департамента государственной полиции выводит красиво и четко: «Дело о Рабочей группе партии «Народная воля». Этого Флеров не знал. Зато он, закоперщик упомянутой группы, знал, что участие в ней предусмотрено статьей 250-й «Уложения о наказаниях»: годы и годы каторги.

Каторги Флеров не то чтобы не страшился, но принимал, как каждый русский принимает русскую поговорку о суме и тюрьме. И другие участники Рабочей группы тоже ее принимали, студенты да курсистки, собиравшиеся в квартире на Пушкинской.

Уже редчал прохожий, шум извозчиков возникал словно бы внезапно, из парадной проститутка сигналила папиросой, а Флеров все ходил, ходил, рискуя навлечь внимание дворников.

Флеров думал о тех, кого захватили и увезли либо на Шпалерную, в дом предварительного заключения, либо в штаб корпуса жандармов, либо в крепость, на Петербургскую сторону. Он думал о своих товарищах горестно, но вместе и с каким-то несправедным укором. Он почти злился на теперешних арестантов, словно те нарочно сделались арестантами.

Давно и упорно, как тяжесть, тянул Флеров в сторону «рабочего вопроса». Главным в революции считал он про-

летария, все хотел посвятить рабочим боевым дружинам, пропаганде на заводских окраинах. Он противился «центральному террору», метанию бомб в царя, великих князей или министров. (Правда, однажды они с Нилом Сизовым надумали прикончить графа Толстого и явились в министерство, но покушение на его сиятельство было делом исключительным.) Флеров иной террор признавал, понятный, как он полагал, народу: фабричный и аграрный — уничтожение зловредного «непосредственного» гнуса.

На Рабочую группу Флеров смотрел как на свое детище. Провал принял как крушение личное. Он слышал, что Желябов в роковые минуты утешался: «Ничего, люди найдутся». Знал, что освободительное движение неостановимо. Понимал, слышал, знал. Да только каждому своя доля, свой пай. Попробуй озирать «исторический процесс», когда бредешь разбитый, ко всему безучастный и тебе, право, все равно, где приклонить голову.

Голову он приклонил на Васильевском острове.

Несмотря на поздний час, Греков, ужасно длинный и тощий, сложился аршином над шаткой конторкой. По обыкновению секретарь редакции газеты «Новости» днем не управился и теперь, дома, сопя и хмыкая, расправлялся с гранками, яростно орудовал толстым цветным карандашом и внушительными, как у портных, ножницами. И, конечно, впуская приятеля, продекламировал эпиграмму, известную всем журналистам:

Здесь над статьями совершают
Вдвойне убийственный обряд:
Как православных, их крестят
И, как евреев, обрезают.

Но Флеров нецеремонно буркнул:

— До утра можно?

— Можно, бирюк.

Греков ничуть не удивился: Флеров в последнее время часто бывал не в духе. Греков принес чаю, итальянской колбасы, ситник. Флеров ни к чему не притронулся, растянулся на клеенчатом диване и угрюмо уставился в потолок.

Секретарь редакции опять зашуршал гранками и опять взялся за карандаш и ножницы, да только дело не спорилось. Уж очень не терпелось Грекову рассказать и про письмо из Парижа, и про весьма импозантного господина, которому он, Греков, вручил нынче письма, доставленные оказией.

Греков принадлежал к тем лицам, которых в полицейских сферах определяют «посредниками», а в нелегаль-

ных — «сочувствующими»; самого себя называл он «дуплом», «почтовым ящиком».

Редакция столичной либеральной газеты получала корреспонденцию «со всех концов света»; Грекову нетрудно было, помимо прямых обязанностей, исполнять еще и дополнительные. Без всякого, разумеется, вознаграждения. Вознаграждало сознание причастности к «революции».

Как ни подмывало журналиста кое-что выложить, он продолжал сопеть и хмыкать над гранками. Греков робел Флерова, хотя (или поэтому) держался запанибрата. Ладно, думал, подожду, когда отгадет.

Но вот Флеров медленно спустил ноги с дивана, нехотя потянулся за булкой и колбасой, медленно, как давясь, стал ужинать.

— Ну? — глухо позвал он. — Я уж вижу. Что у тебя?

Греков тотчас оседлал стул, свесил длинные руки через спинку. Ах, как у Хлестакова: «Суп прямо из Парижа», — Тихомиров благодарит за приглашение к сотрудничеству (конечно, под вымышленной фамилией). К сотрудничеству, как он пишет, с точки зрения публициста, ради хлеба насущного, для заработка.

— С деньгами у них не густо, — равнодушно отметил Флеров. — Да где же прокормить ораву дармоедов.

— Дармоедов?

— А кто ж они, эти эмигранты?

— Так уж все и дармоеды?

— Не все — многие. Да и вообще эмиграция трусость. А грянула бы революция, так они бы тут как тут: подавайте, господа, министерские кресла.

— По-твоему, лучше тонуть вместе с кораблем?

— Не лучше — честнее. Ну будет. Что еще?

— Прислал ключ для шифрования. Говорит, сам собирался в Россию, но послан другой.

— Ишь ты, «в поход собрался», — проворчал Флеров.

— Ты нынче на весь мир зол.

— На весь, — мрачно согласился Флеров. — Все?

— О не-е-ет, — прогянул Греков с видом хитреца, от которого ничего не укроется. — Скажи-ка, кого это «другого» послали?

— Тебе зачем?

— Не хочешь, не надо. Сам скажу.

Флеров перестал есть.

— Ну-ка, ну-ка?

— Да вот этого самого Алексея Константиновича.

-- Гм... Очень может быть.

— «Может быть?» Ха-ха... Он был у меня, в редакции. Весьма представительный господин. Так и веет силой, решительностью, умом. Взгляда достаточно, чтобы...

— Пошел строчить!

Греков улыбался.

— И звать его не Божьим человеком Алексеем, не Алексеем Константиновичем.

— Да-с? — насторожился Флеров.

— Арию помнишь? «Уж полночь близится...» — Греков перестал улыбаться. — Слушай, Флеров, я, право, не набиваюсь. Но если из худо заклеенного конверта выныривает листок и ты, подбирая его, ненароком читаешь: «Милый Герман», а потом приходит представительный господин, от которого веет решительностью, энергией, умом, приходит человек, о котором ты много слышал, имя которого гремит, и, оставшись с тобою наедине, получает корреспонденцию из Парижа, то...

— Довольно. — Флеров помолчал. — Прислали принять бразды.

— Разве Лопатин не достоин?

Флеров не отозвался. Он думал о Лопатине. Лопатин смеялся над фабричным и аграрным террором: «Анархизм, ерунда...» Флерову, того не сознавая, хотелось как-то сорвать свой гнев, стряхнуть свое поражение, провал, гибель своей группы.

— Анархизм?! Ерунда?! — произнес он громко и злобно. — Черт их всех раздери! — Он услышал свой громкий голос. Огляделся, будто недоумевая. И Грекову — как приказом: — Занавес с окна долой! Проспать боюсь.

Арест на Пушкинской звучал грозным предупреждением. А Флеров и прежде чуял слезку. Он перебрался в Лисий Нос. Там, в дачной, с осени заглохшей местности, гудели высокие тонкие сосны. В тусклых торосах залива, в дальних дымах Кронштадта тоже было что-то спокойное и долгое. Но почти каждый день Флеров наезжал в Питер.

Ночью у Грекова, наполняя пепельницу пеплом и окурками, Флеров думал о Москве, о московских народовольцах, о том, что в «сердце России» можно сколотить новую Рабочую группу, как в Дерпте взбудорить газету... Все жарче воодушевляясь Москвою, Флеров вспомнил и бывшего хозяина динамитной мастерской, вспомнил, что прежде, до Питера, Сизов слесарничал в Москве. Стало быть, там у Нила «корни», и это очень хорошо, потому что «корни», конечно, в толще мастеровщины...

Едва развиднелось, Флеров ушел.

Когда занимают зори, город на Неве чудится огромным без меры. Пустой, гигантский, свободный, он в этот час принадлежит самому себе. Зори высвечивают его холодную надменность. Потом, наполняясь людьми, движением и шумом, город утрачивает свое колдовство и свою цельность. Возникают: Санкт-Петербург, Петербург, Питер.

Санкт-Петербург это «береговой гранит» и античный торс, мраморные львы и державные крылья золоченых орлов... Петербург — это богемские стекла с резными и как бы ворсистыми литерами: «BANC», гулкая биржа, где даже в просторных писсуарах не умолкают торопливые маклеры, гуттаперчевая плавность экипажей, легкая танцующая походка афер... Питер — это кирпич как говядина, это железо высоких фабричных ворот, тепловатая вонь подвалов «Общества ночлежных домов», картузы мастеровых и голытьба в обувке из суконных покровок, подшитых кожей чайных цибиков.

Но сейчас, на заре, город еще пуст, гигантски свободен, един и надменно-холоден, и это приятно Флерову, который уже охвачен мыслями о московской Рабочей группе и которому надо перехватить хорошего малого Нила Сизова до того, как Сизов Нил отправится в завод.

Флеров шел на Выборгскую.

Нил, наверное, согласится уехать в Москву, там-то уж он не останется без дела. А не согласится, то хоть своих прежних товарищей назовет... После Выборгской — к Лопатину. Нельзя не объяснить с Германом Александровичем. Флеров не равнял Лопатина с эмигрантами. Ворчал, спорил, сердился на Лопатина, но с эмигрантами не равнял. Тихомиров, вишь, «собирался», а Герман Александрович собрался, рискует головой здесь, в России. К тому же Флеров знал, что Лопатин тоже намерен податься в Москву (и не только в Москву) для переговоров с местными народовольцами.

На Выборгскую Флеров поспел вовремя. Люди с несвежими, будто заносенными лицами еще только выходили из домов, нерадостно и мельком взглядывая на небо, уже опоганенное чадом промышленных механических заведений.

Накануне покушения на Судейкина динамитную мастерскую упразднили, и Сизов оказался как бы не у дел. Его, однако, просили побыть некоторое время в Питере, он поселился на Нижегородской, у вдовой лавочки.

Запросила она с пригожего постояльца дешево. И прибрала комнату с той заботливостью, которая предполагает

далеко идущие намерения. Перенесла из спальни витые венчальные свечи, сохранившиеся со свадьбы, прилепила их в красном углу, по обеим сторонам иконки в фольговой ризе. А у окна пристроила клетку с кенаром. Сказала: «Птица старинных напевов, из Калуги привезена, днем поет и ночью запоет, при огне если».

Хозяйка была уже на ногах, аккуратная, округлая, черноглазая, и Флеров, здороваясь, подумал, что Сизову, по-ди, тут не так уж и сиротливо. В прошлый раз Флеров вдовушку не видел и теперь представился родственником ее жильца: вот, мол, захотелось тоже в Питере понежиться, принадоела Луга. Лавочница, как бы с претензией к Флерову, ответила, что «жилец съехал».

— Съехал? Давно?

Она вздохнула.

— Вторую уж неделю.

— И чего это он? Ведь у вас вона как разлюбезно.

— Любой эдак скажет, А ему... — Она в сердцах кулаком об кулак стукнула. — Вы с его половиной-то в знакомстве?

— Да не, — сказал Флеров, — они как-то так округились, что я уж после да и то стороной узнал. А что такое?

— А вот что, вот что, — мстительно, будто Флеров виноват, заговорила лавочница. — Вдруг эт-та в один прекрасный день заявляется. «Где, — говорит, — мой?» А таких-то, как она... Тьфу! Ну ничего, поверите ли, ничего душистого. А он, дурак, рот до ушей, туда-сюда, не знает, куда и усадить: «Сашенька, Сашенька»...

Флеров, надеясь вызнать, где Сизов, изобразил сочувственное недоумение.

— М-да-а, действительна.

— Вот и «действительна», вот и «действительна». — Лавочница раскраснелась от обиды и досады.

— М-да-а, — повторил Флеров. — Глупый еще.

— Глупый? А книжками допоздна шорхать не глупый? — рассверкалась хозяйка.

— М-да-а, — согласился Флеров, — пустое это дело, одна порча... Ну и куда он со своей принцессой девался? Верно, и сами не знаете? Съехал, да и концы в воду. — Флеров неодобрительно, осуждающе плюнул.

— Может, и нехорошо... — законфузилась хозяйка, но, чувствуя расположение к Флерову и все еще не утихшую обиду на Сизова, махнула рукой — стала рассказывать.

Оказывается, она, горемычная, за полночь, босиком, чтобы ни скрипа, лепилась у дверей в жильцову комнату.

И до того слух свой натрудила, что едва понки (или как там это, что в ушах-то, внутри?) не лопнули. Надеюсь: сейчас законная взревнует своего, заварится ссора, а может, таска, да и глядишь — жилец опять одиноком. Эх, мать моя, мамочка, ничегошеньки не заварилось. Одно вышло хозяйке нерадостное: увезла законная своего муженька. В Москву увезла, разлучница, чтоб ей пусто было...

В этот день Флерову не пришлось уехать. Повидавшись с Лопатиным, он уже на вокзале, у кассы, а потом и на перроне обнаружил за собою плотную слежку. Хотел было сесть в поезд на ходу, но подумал, что телеграфом известят московских филеров. Уехать следовало «чистым». А для этого еще здесь, в Питере, «отцепить хвост»... Курьерский тронулся. Перрон стал пустеть. Убыль публики Флеров ощущал, как рыба убыль воды. И высокий рост свой ощущал как дурацкую помеху.

На Знаменской площади Флеров метнулся к лихачу, рывкнул: «Жарь!» Оглядку себе запретил, но слух напряг не меньше давешней лавочницы. А лихач раз на седока обернулся и еще раз, что-то, чер-рт, смекнул и уже осаживал рысака.

Приметившись, Флеров вылетел на панель, кого-то сшиб, упал, вскочил, не замечая боли, побежал. Крики и топот молотили его по спине. Он юркнул в подворотню. Проходной двор?

Двор был замкнутый, колодцем.

4

После Петербурга Сизов опять зажил в шестидесяти с лишним верстах от Москвы, у Сашенькиного родителя, путевого сторожа Смоленской железной дороги.

Дом дяди Федора казенный, назывался скромно сторожкой. Но добротности сруба, каменному фундаменту, оцинкованной кровле позавидовал бы и крепкий деревенский хозяин. Дрова и керосин тоже были от начальства, от правления железной дороги.

Скотины старик не держал: силенок не хватало, да и много ль одному надо. Довольствовался курами, уточками, огородом со знаменитым на всю Россию верейским луком и чесноком.

К приезду дочки и Нила отнесся дядя Федор и так и эдак. С одного конца — вроде бы нахлебники, а взять с другого — помощники. Втихомолку все это он взвесил, втихомолку и замкнул коротко: «Пушай живут».

Старика грыз ревматизм. Дядя Федор и летом обувал валяные сапоги, темно-рыжие от дегтя и ржавчины. Ходил он трудно, опираясь на палку. А тут еще и глаза слабеть стали, дядя Федор побаивался чего-нибудь недосмотреть.

Нил вызвался заменить тестя в многоверстном хождении по шпалам. Тот для виду покуражился и согласился. Дочку он любил, да как-то отвык, что ли, но уж коли взялась за хозяйство, то и тут, в этом деле, дядя Федор тоже не перечил.

Ему бы, пожалуй, в чем другом стоило перечить, упрекать молодых... Свадьбы вроде бы не играли, а ежели играли, отца родного не пригласили — это раз; теперь вопрос: зятек, видать, мастак, однако вот уже другой год шалопутничает, а в промежутках где обретается, не поймешь, это два; теперь еще вопрос: петушок курочку топчет, а нету об детях и разговору, это три. Чудно...

Но дядя Федор, не слыхавший, что такое деликатность, был деликатен и помалкивал. Чего ляды точить, коли Санька радешенька, юбкой так и мелькает, в сторожке звончее стало. «Пушай живут...»

Сизов аккуратно вершил обход дистанции — флажок в истертом кожаном фуляре заткнет за пояс, тяжелый мешок с инструментом взвалит на плечи. И пошел, пошел.

Хорошо шагать долго и мерно, хорошо отдыхать на скасте насыпи, покуривая и слушая чистый ропот придорожных, еще непыльных кустов. Ему нравился запах шпал, пригретых солнцем, этот деревенский смолистый запах, нравился и слабый запах, источавшийся рельсами, этот городской запах; перемесь запахов рождала новое ощущение, не деревенское и не городское, а свободное, независимое, отрадное. Поезда провожал он рассеянным улыбочивым взглядом, совсем не завидуя тем, кто спешил куда-то.

Недавнее прошлое — попытки покушений, динамитная мастерская, люди подполья — было как умчавшийся поезд. И вот еще что: раньше казалось, дня не прожить без чтения, как без воды. А теперь не трогал печатного, хоть и добыл в Москве переводной роман, о котором как-то говорил Флеров. Роман назывался «Через сто лет». Автор-американец рисовал социальное равенство, братскую общность. Через сто лет? Улита едет, когда-то будет.

Он не бранил ни сгнувшего Златопольского, ни питерских своих знакомцев, никого не бранил за то, что «попал в революцию». Но еще там, в Петербурге, когда все заглохло и все разбрелись куда-то, а он порожняком зимовал на Выборгской, — еще там Сизову приходило на ум, что люди

подполья действуют как-то вкривь да вкось. Мыслил он об этом ошупью. Но мыслил.

Он свою Саню еще больше полюбил за то, что она нагрязнула в Питер, вызволила его от выборгской лавочницы, калужского кенара, витых венчальных свечей. Ничего ему вроде бы и не хотелось. Лишь бы длилось теперешнее негромкое, устойчивое житье.

Когда Сизов воротился из Питера, мать ни словом его не попрекнула. Только охнула негромко, точно бы оступилась или ударилась. А он горько подумал, как сильно перед ней, одинокой, виноват.

Дома, в старом жилище, что-то переменялось. Все будто осталось на месте — и деревянная кровать, и образа, и отцов верстак с табуретом — все было на месте. Потом Нил понял: кожевненным товаром не пахнет, совсем не пахнет, вот что. Запах стародавнего ремесла исчез. И вдруг пронизало душу: мама скоро помрет. Ему сделалось страшно. Он стал уговаривать мать уехать с ним к холмам, реке, на покой и волю. «Что ты понимаешь, сынок? — с ласковым удивлением ответила мама. — Куда-а ж я отсюда?» И она широко повела рукой, будто по всей Тверской заставе, по всем Тверским-Ямским, по всему Ямскому полю. Широко повела рукой и улыбнулась. Не сыну, а чему-то большому, для нее значительному, навек важному.

В ее ласковом недоумении, широко и медленном движении рукой, в этом: «Куда-а ж я отсюда?» — уловил Сизов что-то и ему тоже дорогое, значительное, важное, без чего жизнь не в жизнь. Он внезапно затосковал, затревожился.

На вокзал Нил отправился неохотно. Дожидаясь можайского поезда, он не по-давешнему глядел на черные локомотивы, на путевых рабочих, чумазных и озабоченных, и туда, в сторону от главных гутей, где были сумрачные крыши и темно-красные торцовые стены депо и мастерских. И в душе Сизова тихо поднялось чувство одиночества, обездоленности, обида непонятно на кого и за что.

Подали состав. Сизов сел в душный вагон. Пахло всегдашним — мужицкими смазными сапогами, мешковиной. Сизов примостился у мутного окошка. Он опять увидел двоящиеся, троящиеся пути, водокачку, депо, мастерские. И снова одиночество, чувство обидного отщепенства... Поезд ушел, Москва откатилась, и постепенно, в загородных, дачных и сельских верстах, казалось бы, утихли и это: «Куда-а ж я отсюда?», и обидное ощущение обездоленности.

В сторожке, в сторонке продолжалось прежнее. Петух на зорях, домашняя Санькина возня, шарканье валенок

дяди Федора; дистанционный обход и папироска, выкуренная у плотных, уже припорошенных гарью кустов; потом, как стемнеет, широкая лежанка, теплый круглый Санькин бок. А за окошком, совсем рядом свистки и тени поездов.

Если что и переменялось, так это вот они, мимобегущие, торопкие, громкие поезда. В них чудилось теперь что-то иное, и Сизов уж не мог думать, как думал раньше, снисходительно, спокойно о машинах и людях, куда-то спешащих. Он будто растерялся, как теряешься, сойдя спросонок на пустынном полустанке. Все умчалось, а ты остался невзвесть зачем.

Это ощущение нет-нет да и сливалось с маминым ласковым недоумением. Почему сливалось — не поймешь, но уже не веяло отградным покоем, как веяло после возвращения из Питера.

Нил все чаще навещался в город, в Москву. Говорил Сане, что скучает по маменьке, как она там и что, и это было правдой. Однако не всей правдой. Но всю правду и сам Нил пока не умел ухватить. Сознавал лишь, как проникается жаждой перемены.

Тоскливость Нила не укрылась от жены. Сашенька обеспокоилась. Сизов ловил ее взгляды и смущался. Что он мог ей сказать? А Сашеньку вдруг стукнула запоздалая ревность. «Господи, да как же я, дуруха, раньше-то не смерекала?» И увидела питерское: птичка кенар, витые свечи, на постели три подушки. Питерская бабенка, эта... (Сашенька покраснела, произнеся мысленно грязное, бранное слово.) В догадку свою она не очень-то верила, не до конца, и не обозлилась на своего Нила, но словно бы поникла в каком-то трогательном унынии.

Нил не догадывался о Сашенькиной догадке, не совсем ошибочной, но женино уныние видел и не знал, как объяснить ей то, чего и себе объяснить не умел.

Время от времени отлучаясь в город, Сизов постепенно будто бы засветился, ободрился. Привез книжку на плохонькой бумаге, нечеткой печати, без картинок. Саня мельком увидела: «Манифест» — и подумала, что это, должно быть, то самое, что на коронации было. Но когда Сизов, усмехнувшись, сказал, что «Манифест» вовсе не царский, а против всех царей, к Сашеньке болью прихлынули опасения за Нила.

Опасения сменились страхом: Нил-то, оказывается, на Москве работу отыскал. С фальшивой бумагой работу отыскал? Не иначе — какой-то доброхот пособил. Вроде того

Савельича, через которого Нилушка едва не пропал в Санкт-Петербурге. Боже ж ты мой, неужели опять?..

Сизов терпеливо, как несмышленишу, толковал жене, что работа законная, что «всякие бомбы и прочие отставил, нету прока», что пойдет он в литографию, где книжки изготовляют, там в слесаре большая нужда, а десять рублей не валяются и вообще надоело ему в зятях жить.

Сизов не лгал. Он действительно сказал Родионову, что пойдет, с удовольствием пойдет в литографию, которая в Москве, в Криво-Троицком переулке. И действительно, эта литография изготавливала курсы лекций для студентов. И точно, работникам там платили десятку помесечно, да еще и на хозяйских харчах.

Сизов не лгал. Он только недоговаривал.

А с Родионовым у него получилось так.

Родионов полдня провел в Голицыне, в дачной местности, лет уж двенадцать как возникшей близ Вязем. В Голицыно съехались участники тайного Общества переводчиков и издателей, почти все студенты «сибирского землячества», уроженцы Сибири. Общество переводило, издавало и распространяло серьезную социалистическую литературу, сочинения Маркса и Энгельса. А в тот день, когда Сизов увидел Родионова, на голицынской даче читали полученную из-за границы программу плехановской группы «Освобождение труда». Дело было не только в идеях и целях горстки русских эмигрантов, учеников Маркса, а еще и в том, что «переводчики» словно бы аукались с единомышленниками, которые тоже ступили на новую дорогу, открывшуюся в стороне от узких, крутых и скользких троп террористов-народовольцев.

Родионов давно уж служил инженером. В сравнении с младшими товарищами он был бы богачом, если б не отдавал большую часть жалованья кассе тайного общества. Он был и старше, и солиднее, но тоже, как и молодые сибиряки-москвичи, испытывал нынче и восторг, и торжество.

Нил узнал Родионова сразу, с первого взгляда. Узнал, хотя не увидел долгих, до плеч, волос, а на плечах не увидел клетчатого студенческого пледа — господин был в костюме-тройке, в котелке, в летних перчатках, с тростью. Но как не узнать учителя? Учителя основ механики в образцовом ремесленном, куда сапожник Яков Илларионович определил сыновей. Как было не узнать Родионова, приохотившего братьев Сизовых к чтению? И всегдашнее его присловье помнилось: «Надо больше читать и больше думать».

Наверное, не одним Сизовым этак назидательно-дружески приговаривал Родионов, не им одним, потому что, когда Нил, улыбаясь, подсел к инженеру и вполголоса произнес: «Надо больше читать и больше думать», — Родионов ответил улыбкой, но было видно, что он не знает, кто ж такой сел рядом. А Нил добавил: «Теперь займитесь крестьянским вопросом, ибо это на Руси — вопрос вопросов».

«Сейчас, сейчас, — молвил Родионов, улыбаясь и медлительно оглаживая пегую бороду. — Позвольте-ка, позвольте-ка... Нет... — Он развел руками. — Вылетело, уж извините. — И вдруг воскликнул: — Э-э, стоп, стоп! Да ведь вас двое было? А? Двое братьев! Верно?»

Сизов назвал. Родионов, сдернув перчатку, пожал ему руку, повторяя: «Ну как же, как же...» Лицо его, полное, округлое, свежее той здоровой свежестью, какая бывает у людей совершенно непьющих и не отравленных никотином, лицо его выразило радость, удовлетворение и удовольствие, в которых, кажется, было даже немножко сентиментальности.

Они оба, Родионов и Нил, находились сейчас в состоянии той душевной общительности, когда сближаешься скорым шагом, нараспашку, в открытую.

Этой встречей, этой вагонной беседой завязался крепкий, надежный узелок. Сизов стал навещать к Родионову на Сретенку, и Нилу те свидания, домашние, за чаем, были не просто свиданиями с хорошим и умным человеком.

Нил скоро уразумел разность Родионова и революционеров, которых он, Сизов, знал раньше. Прежние (вот хоть Флеров), воспламеняя ненависть к гнету и неправде, давали веру. А Родионов хотел дать уверенность. Он прежде учил Нила точным законам механики, теперь — законам борьбы с гнетом и неправдой. И это было как раз то, в чем Сизов нуждался, чего он жаждал даже тогда, когда, казалось бы, ничего не желал и не жаждал, кроме тихого, неприметного житья.

У Родионова и получил Нил книгу, отпечатанную на дешевой бумаге, без картинок, — «Коммунистический манифест». А потом еще одну: «Социализм научный и утопический». Трудные книги, серьезные, без поддельной, раздражавшей Нила простоты. Нил от чтения уставал. Но в самой этой усталости было удовлетворение, как от настоящего дела.

Пожалуй, теперь Нил уж не сказал бы так, как сказал Лопатину в динамитной петербургской мастерской: революции, мол, не по книжным руководствам гремят, а когда у

народа терпение лопается. Правда, и сейчас Сизов не был тверд в том, что одними книжками обойдется, но уже убеждался, что без книжного знания (вот этого трудного и серьезного) тоже не обойдется: в любом деле наперед надо расчислить, что и как будешь делать.

И еще одно, очень ему, Сизову, лично нужное и важное открыл Родионов и эти книги: они решительно, без обиняков доказывали главенство в революции работников, пролетариев, его, сизовского, сословия, класса... Вот, вспомнил Сизов, вот вам и «не надо венка от мастеровых». Тогда, на похоронах Тургенева, говорили, что венок от мастеровых не нужен: навлечет на рабочих полицейские кары. Ото всех были венки, а от мастеровых не было. И сдается, не в опасениях была суть, а в том, что мастеровым не давали настоящего хода.

У Родионова на Сретенке услышал Сизов про литографию, где не только лекции литографировали. Родионов и предложил Сизову поступить слесарем в печатню. У самой, говорил, воды будешь. А у воды быть да не испить?..

Он уже и Сашеньку уломал, и сам мысленно переселился в Криво-Троицкий переулок, в заведение какого-то отставного канцеляриста, и уже видел себя в царстве книг. Вот-вот, думал, распахнется дверь настезь, и начнется не только ручная, мускульная работа, нет, но и постижение того серьезного, что дает уверенность, главное направление.

Наконец он собрался и поехал в Москву, чтобы Родионов отвел его к арендатору литографии. Как всякий мастеровой, знающий себе цену, Сизов, идучи наниматься, принарядился: надел крахмальную рубашку-«фантазию», пиджак с перламутровыми пуговицами, воскресный картуз с бархатным околышем и кожаной тульей.

Время до встречи с Родионовым еще оставалось, Сизов решил навестить мать. Он шел через площадь, когда, дребезжа и пристукивая, подкатила конка. С империаля, из вагона сходила публика. Сизов, чтоб не толкаться, помедлил, и тут он увидел Флерова.

Флерова в Питере Бог не выдал. Спасаясь от погони и очутившись, как в западне, во дворе-колодце, он пустился на такую крайность, хуже не выдумаешь: бухнулся в полойный ларь.

На его счастье, там недавно орудовали мусорщики: мальчуганы-заморыши, что спозаранку бродят по дворам с мешками и трехзубыми железными крючьями. Но и

после утренней чистки в ларе было премерзко, Флеров задыхался.

Сидя на корточках и чуть приподняв люк, он видел, как верткие личности борзо устремились в подъезды. Схоронись Флеров в более гигиенических условиях, он бы, конечно, подумал о шпиках, оставшихся у ворот. Но в помойном ларе было не до логики, и Флеров, выскочив пробкой, ринулся прочь со двора. Ему опять повезло: у ворот не караулили.

«Помоечный казус» не рассмешил Флерова.

Больше того, в нем возникла, как недомогание, боязнь таких унижительных нелепиц. Он уже давно решил в случае ареста покончить с собой пулей, а уезжая в Москву, припас еще и металлический цилиндрок с крупичами цианистого калия.

(Рассказывали, что Вера Николаевна Фигнер, когда ее схватили по указке Дегаева, тотчас приняла яд. Но тут, должно быть, одолел ее инстинкт самосохранения: она не оттолкнула рвотное, поданное врачом. И произнесла невразумительно, как в бреду: «Я не намеревалась отравиться, но, если бы отравилась, была бы рада...» Флеров надеялся, что не дрогнет: либо пуля, либо цианистый калий.)

В Москве публика ему понравилась. Однако и здесь, как и в Петербурге, всех поглощали споры и раздоры, вызванные дегаевщиной, позицией заграничников. Лопатина ждали со дня на день. И уже толковали об излишней горячности «Молодой партии», о необходимости единства в столь кризисный момент. Почва для сближения готовилась, ждали Лопатина, и Флерову нетрудно было предугадать, что Герман Александрович, обаятельный, энергичный, талантливый, добьется если и не полного слияния с Исполнительным комитетом, то, уж во всяком случае, дружественного соглашения.

Но Флерову не терпелось на «московском материале» создать то, что у него было в Петербурге: Рабочую группу. Он пользовался связями московских товарищей, заводил свои связи, среди прочих и с мастеровыми Смоленской железной дороги.

Сизова спрашивать опасался, зная, что Нил живет по фиктивному документу. Да, может, думал, вовсе и не в Москву подался Сизов. Мало ль на Руси «сена», где б «иголка» схоронилась?..

На Тверскую заставу, в трактир «Триумфальный» Флеров нынче привез запрещенные издания, в том числе и щедринские «Сказки».

Флеров заметил, как Сизов попятился и будто испуганно свернул к неосвященному Петербургскому шоссе. «Следят за парнем», — решил Флеров и тоже свернул к шоссе. Авовь увернутся они с Нилом от сыщиков, перемолвятся хоть словечком.

Нил шагал быстро. Все окрест было ему знакомо с мальчишества. Закоулки в жирных лопухах; пустырь, где битая посуда вдруг вспыхнет солнцем; узкие и длинные ямские дворы. И как пьяный, обняв фонарь, не то орет, не то рыдает: «Не уезжай ты, мой голубчик». И как артельщики матерно клянут «двугривенную ряду», поденный свой найм, плевые двадцать копеек.

Но сейчас, когда он чуть ли не убегал от Флерова, охваченный опасениями и досадой, сейчас Сизов не замечал ничего, а только думал, что ему ох как неохота встретиться и говорить с Флеровым.

Сизов пересек шоссе: на другой стороне, у конюшен было глуше, темнее. Флеров догнал Сизова.

— Здорово, Нил!

— Здравствуйте... — Сизов ответил с запинкой: в Питере они были на «ты».

— Ничего такого? — Флеров прищелкнул пальцами.

Сизов, вздрогнув, отрицательно мотнул головой. Спросил:

— А за вами?

— Чистый.

Правда, ему мгновенно подумалось, что он может и ошибаться, но он так обрадовался Нилу, что забыл об осторожности и тотчас стал расспрашивать Сизова про житье-бытье.

Сизов отвечал неопределенно, как бы с усилием. Перемену в Сизове Флеров почувствовал, истолковал по-своему.

Флеров был народолобцем: все для народа, все ради народа. Но, как многих людей этого нравственного калибра, Флерова точила какая-то виновность перед народом. Не за то, что делал для него и ради него, а за то, что, будучи интеллигентом, не был ровней ему. И в теперешней отчужденности, даже холодности Сизова он опять-таки обвинил себя и своих братий. Но уже не отвлеченно. «Профукали, — подумал он, — профукали капитал в дегаевском борделе».

Флерову не пришло в голову, что в этом сизовском локте, выставленном торчком, было что-то похожее на самосохранение. Нил не хотел прошлого, боялся, что Флеров воскресит прошлое. Не потому боялся, что в про-

шлом были динамит, бомбы, попытка покушения на министра (нет, это уж и впрямь прошлое, ибо прошло и не вернется к нему, Сизову), не этого он боялся, а боялся, как бы Флеров не воскресил в нем, сам того не ведая, клятвенный долг, не отданный за Митю-мученика, за покойного брата.

И боязнь эта усиливалась по мере того как они приближались к заставе, к площади, к трактиру «Триумфальный». Вот и дом рядом, дом, и двор, и первый каменный полэтажик. И Нил уже словно бы прислушивался к Митиному укORIZненному зову: «Хорошо тебе...» Прислушивался, ощущая давнее предвечерье, когда мела поземка, звонили у Пимена, а бутырская тюремная башня высилась грозной округлой тьмой.

Дверь длинно провизжала блоком, впуская Флерова и Нила в «Триумфальный», в трактир под красной вывеской — в таких за угощение брали дороже, чем в трактирах под вывеской черной. Они сели, подбежал половой. Флеров сделал заказ и продолжал говорить об устройстве Рабочей группы, о фабричном терроре, а Нил слушал вежливо, но без интереса, и это отсутствие интереса Флеров опять-таки истолковал по-своему, не зная и не предполагая ничего «родионовского», как не знал и о самом Родионове, и об Обществе переводчиков.

Опять и опять повизгивал дверной блок. Входил и выходил неприметный человечек. Поглядывал исподтишка на Флерова, поглядывал как бы мельком на Сизова.

Флеров говорил, что ждет знакомого парня. Парень работает в медницкой, в мастерских Смоленской дороги, верный и бойкий парень, сейчас явится.

И, верно, парень явился. «У, жив курилка», — так и просиял Сизов, узнавая Гришку-кавалера, который однажды надумал приволокнуться за Сашенькой... Ха-ха, вот он, Гришенька, старый приятель, добро пожаловать, друг милый. И тот тоже увидел, узнал Нила, присвистнул, гаркнул:

— Сизов! Живой!

К «Триумфальному» подкатили пролетки. У извозчиков были хмурые, недовольные лица: хуже нет как ездить с полицией — ни хрена не платят.

А в «Триумфальном» кто-то уже затыкнул: «Не уезжай ты, мой голубчик...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В минувшем учебном году профессор Карелин много хворал, а посему мало читал курс и совсем не навещал профессорский ресторан Кинча, что на Васильевском острове. А теперь вот отправился лечиться на воды, в Гапсалу, наперед убежденный в никчемности курортных ванн.

Карелин был старик крупного, но не громоздкого телосложения; лицо его было умной и тоже крупной красоты славянской лепки. Весь его облик не вязался с представлением о «книжном черве», противоречил казенности вицмундира.

Попутчиком Карелина оказался бывший студент. Профессор считал его даровитым филологом и не столько удивился, сколько огорчился, когда тот не остался при кафедре для научной деятельности.

Карелин помнил, как студента Якубовича сажали на гауптвахту и лишали стипендии за участие в гектографированном листке «Студенчество». Попадались профессору и стихи Якубовича в цензурованных журналах. Начальство усматривало в этих стихах «тенденцию», Карелин — пылкую подражательность... «Шаткая» репутация Якубовича не помешала нескольким профессорам, Карелину в их числе, рекомендовать Петра Филипповича для оставления в университете. Якубович отказался, и Карелин огорченно подумал: «Посредственности цепляются за кафедры, а таланты гибнут в омуте революции...»

Якубович ехал в Дерпт через Ревель. Избегая знакомых из «демократического круга», он потратился на билет в первом классе и очутился в одном купе с Всеволодом Евгеньевичем. Якубович смешался, но тотчас стал объяснять, что едет погостить у товарища в окрестностях Ревеля. Карелин понимающе усмехнулся.

Теперь было все хорошо, если не считать некоторого смущения Якубовича своим нарядом. Отправляясь в Дерпт, в эти «Ливонские Афины», Якубович надел коротенький пиджачок, яркий галстук, штилеты с длиннейшими, задранными кверху носами. В особенности досадовал он на этот дурацкий галстук, ибо привык к скромному, темному, повязанному большим, свободным узлом.

Беседуя с Всеволодом Евгеньевичем, Якубович, норовя прикрыть галстук, скрещивал на груди руки, как нагая купальщица, входящая в воду. Но скоро разговор принял

серьезное направление, и Якубович забыл про галстук и штиблеты.

Зимой, в домашнем плену Всеволод Евгеньевич пристально размышлял над проблемами, давно его занимавшими. Ему представлялось, что он овладел некоторыми определенными и твердыми выводами. Изложить их письменно Карелин еще не собирался. Однако высказаться ему хотелось. И высказаться именно противнику. А Якубович, несомненно, противник. Вот это-то и хорошо.

Собеседованиям, как и танцам, необходима «печка»; у интеллигентов она сложена из книг. Накануне отъезда Карелин прочитал трактат о Пугачеве. И теперь, приступая к баталии, заговорил о пугачевщине.

— Знаете ли, чем автор объясняет поражение? — сказал Карелин. — Отсутствием организаторских способностей у Пугачева.

— Это не так, — сказал Якубович. — Пугачев был истинным вождем.

— Я не о том хотел... Впрочем, хорошо. Вождем? Но что такое вождь, Петр... извините?

— Филиппович, — подсказал Якубович, испытывая то легкое раздражение, которое почему-то возникает, когда запамätывают или путают твое отчество.

— Петр Филиппович, что такое вождь? Субъект с сильной волей.

— Сильная воля плюс нравственность.

— А сильная воля ее, эту нравственность, вовсе не предполагает. Как, скажем, сила физическая. Да-с. Но мы отвлеклись. — Карелин улыбнулся. — Всегдашняя особенность наших русских диспутов. Так вот, автор ничтоже сумняшеся ссылается на отсутствие организаторских способностей. А суть-то в другом.

— В чем же?

— Организаторы бы нашлись, если б нашлось, что организовывать.

— То есть, Всеволод Евгеньевич? Разве не были созданы отряды, артиллерия? Разве не было успешных боев?

— Было. Все это было. Одного не было: ясной идеи. Ее место занимали злоба и месть. Попробуйте-ка организовывать злобу и месть! Я не виню мужиков восемнадцатого века. Как не виню и мужиков нашего времени. Тут не вина, а беда... Не было и нет ясной творческой мысли.

— А народный порыв к свободе? А народное желание устроить бытие на новых началах?

— Да полно, полно! Какие ж новые начала — кровь и насилие?! Я не панегирист Российского государства, но именно оно, государство, тогда, в минувшем столетии, спасло Россию от развала, хаоса, гибели.

— Я, кажется, понял вас, Всеволод Евгеньевич: революция — гибель России? Если да, то...

— Нуте-с, нуте-с! Не стесняйтесь, пожалуйста. Петроград? Консерватор? Крепостник? Плантатор? — Карелин рассмеялся. — Послушайте, Петр Филиппович, вы желаете перемен?

— Нынче, Всеволод Евгеньевич, перемен требуют все, кроме нескольких замшелых пней.

— Справедливо. Никто не желает, чтобы современные учреждения окаменели. А пни, как вы изволили выразиться, не в счет, хотя они обладают, к сожалению, весом и влиянием. Но тут вот что, Петр Филиппович. Есть люди, отождествляющие прогресс с революцией.

— Революции прищипывают прогресс.

— Революции, Петр Филиппович, вызывают такие реакции, которые, право, могут сокрушить даже сильный организм.

— Всеволод Евгеньевич! Скажите: вы против социализма?

— Но революция — это насилие, а насилие — это не социализм.

— Ага, вот так! Понятно: социализм, по-вашему, это не политические и экономические изменения, а новые нравственные отношения между людьми.

— Петр Филиппович, вы путаете очередность. Примат — в нравственном совершенстве. Понимаю колоссальность задачи. И лишь на путях медленной, глубокой реформации ее можно выполнить. Кто против этого, кто за социализм через гильотину, тот с головы до пят принадлежит старому миру. К миру насилия, и только. Террором распространять свободу?

— Но социальное просвещение в империи не распространилось: душат каждого, у кого руки не по швам.

— Вы судите, Петр Филиппович, как смертный, которому отпущено мало. У истории другая мера. Возьмите отрезок покрупнее, лет эдак в пятьдесят. И что же? Прогресс будет с плюсом.

— Это отвлеченности. Ваша надежда на постепенность, на убеждение тех, кто не хочет убеждаться, есть надежда кабинетная, теоретическая. Силлогизм хорош в ученом диспуте. На практике его попросту посылают к черту. Глупость не идет на сделки, логика ей столь же важна, как

опера крокодилу. Глупость можно только подавить, только раздавить.

— «Подавить», «раздавить» — и социализм? Поклонник ислама, например, мечом проложил себе путь. И что же? Воцарившись, мечом и правил. Ужель не понять простое: революция немыслима без диктатуры.

— Ошибаетесь, Всеволод Евгеньевич, сильно ошибаетесь! Если бы мы верили, что наша революция ради какого-нибудь Бонапарта, мы бы первые ее отвергли.

— Нисколько не сомневаюсь. Да вот на чем же она держится, ваша святая (я без иронии, без иронии) вера? Разве французы прошлого века молились о пришествии Бонапарта? Ей-богу, они не меньше вашего грезили о Свободе — Равенстве — Братстве.

— Правда, но тут вина теоретиков — они не предвидели возможности диктатуры. Мы же предвидим. Если хотите, мы теперь ее особенно предвидим, — сказал Якубович, подчеркивая голосом это «теперь»: он имел в виду дегаещину; но подумал, что Карелину, пожалуй, нет нужды выслушивать всю эту историю.

— Предвидите? Будь по-вашему. Но скажите-ка вот что, Петр Филиппович... — Он прищурился, словно в прищуре удерживал свою мысль. — Так. Скажите на милость: что бы вы испытали, увидев в своих рядах человека с военными способностями — Наполеона Буонапарте?

— Разумеется, мы не держали бы его в капралах, — быстро отвечал Якубович, хотя тотчас сообразил, что попадает в капкан.

Карелин насмешливо развел руками.

— Вот то-то и оно. Он бы... Нет, вы бы сами ему вручили свою армию: вали валом, брат Наполеон. А коли так, капут всем гарантиям.

— Вовсе не капут, Всеволод Евгеньевич, — сопротивлялся Якубович. — Почему же капут? Еще Михайлов... Вам имя знакомо?

— Поэт?

— Нет, сподвижник Желябова.

— Ну, ну, — неопределенно отозвался профессор. — И что же?

— Мне передавали... Я его не знал. Мне передавали, Михайлов говорил: рать борцов, выпестованная борьбой с деспотизмом, рать эта, победив, не даст возобладать личному честолюбию.

— Позвольте усомниться, сударь. Конечно, история никогда ничему никого не научила, но прислушиваться к ее

урокам нужно. Вы говорите, жертвы! Прошу извинить, но в вашем стремлении жертвовать собою я не вижу правды. И в вашем личном, и у ваших друзей.

— Как! Неужто искренние бойцы сотни раз не доказали...

— Доказали, дорогой мой, доказали альтруизм, выказали темперамент, явили горячее стремление принести пользу.

— Чего ж еще требовать, Всеволод Евгеньевич?

— Многого. И совсем иного. Если вы революционеры, то что бы я про вас ни думал, а я должен счесть вас общественными деятелями.

— И очень хорошо.

— Ну так вот. А коли вы общественные деятели, то и должны знать, что России не ваша смерть, а ваша жизнь нужна. И ей, России, в сущности, нет дела до вашей горячности, похожей на горячку. И вы бы должны пожертвовать ради России не вашей жизнью, а вашей нервозностью, вашим нетерпением. Я не за терпение ради терпения, я вашу нервозность считаю не только бесполезной, но вредной. Да-да, вредной!

— Стало быть, сложить руки и созерцать всероссийские подлости?!

— О, вот она, вот она — ваша горячность, ваше нетерпение. Учиться, сударь, учиться. Разумеется, террор, бомба, кровь при всем их ужасе, напряжении, эффекте кажутся все-таки легче, чем ученье. Вы понимаете, я не школярство имею в виду, а ученье, дающее познание хода общественного развития.

— Мы это пытаемся делать. У нас, правда, недостает времени.

— А потому и недостает, что торопитесь действовать. Вот вы, уверен, согласитесь со мною: Карл Маркс — один из самых уважаемых и проницательных ученых современности.

— Аксиома, — сказал Якубович.

— Хорошо. Но перечитайте хотя бы предисловие к «Капиталу». Ведь Маркс прямо говорит: развитие экономических формаций есть естественно-исторический процесс. Заметьте: ес-те-ствен-ный! И далее, если не изменяет память... За смысл ручаюсь: общество не твердый кристалл, оно развивается. И Маркса нисколько не пугают умножающиеся язвы современного общества. Его ошибка в том, что он берется за палку не с того конца: с экономического. А «проклятые вопросы» прежде должны разрешиться

здесь, — профессор постучал пальцем по лбу. — И вот здесь. — Он похлопал ладонью по груди.

— А знаете ли, Всеволод Евгеньевич, что гражданин Маркс много и очень-очень умно говорил о чисто политической борьбе?

— Возможно. Но и сильные умы от увлечений не застрахованы. Больше того, дорогой мой, сильные умы потому и сильные, что не костенеют. Почему знать, что думал бы доктор Маркс, поживи он еще годы и годы? Давно сказано: не надо думать, как Вольтер, когда Вольтер думал бы иначе. Да, наконец, еще вот что. В применении к России что вы называете политической борьбой? Не борьбу ли за конституцию?

— Несомненно. Первая и самая насущная задача России.

— Петр Филиппович! Ой ли? Впрочем, ежели под Россией понимать буржуа, кулака, всяческих кровопийц, то уж тогда — да. Конечно! Дайте им конституцию, и они примутся обирать народ по всей строгости закона... Пожалуй, совершеннейшая из сущих — английская. И что же? Машина! Перемалывает человек на два сорта: на одну сторону вымученных зверей, на другую — выхоленных.

— Это и впрямь страшновато, — сказал Якубович. — Но в России конституция дала бы широкую арену русской интеллигенции, которая...

— Которая, — живо перебил профессор, — разумеется, бескорыстная, святая, самоотверженная и прочая, и прочая. Вы почему-то полагаете, что несколько кандидатов, фельдшериц, десяток студентов или стриженных в скобку дам в вызывающих красных косоворотках, только они — интеллигенция.

— Цвет интеллигенции, господин профессор. Цвет и соль.

— Цвет — это еще не вкус, а щепоткой соли не засолишь целую бочку... Разве наши тайные и действительные тайные, превосходительства и господа железнодорожники, все эти «аблакаты», «анженеры», гласные земств — разве это не интеллигенция? Отдельные личности, Петр Филиппович, личности, которые меня возмущают и к которым я испытываю невольное уважение, они не в счет. Вся ж масса интеллигенции — ну как этого не замечать?! — изолгалась, проворовалась. Души лакейские, а инстинкты собачьи.

— Всеволод Евгеньевич, извините. но вы ломитесь в открытые ворота.

— А-а, вот оно что! Ну-с, так какого рожна? Что наро-ду даст конституция? Какая такая интеллигенция защи-

тит народ? Нет-с, мой милый! Сто раз повторю: не конституция,

— Я, кажется, догадываюсь, Всеволод Евгеньевич. Но прошу яснее представить форму. Политическую форму.

— Извольте. Общинное единогласие под эгидой самодержавной власти.

— Самодержавной? Я не ослышался?

— Нет-с! История диктует нам: самодержавная республика.

— То есть самодержавие демоса?

— Да нет же, Петр Филиппович. Монарх и народ. Без средостений. Наследственный монарх не нуждается в постоянных и кровавых доказательствах своей правомерности, законности, как нуждается любой диктатор-выскачка. И еще: наследственный монарх не нуждается в поддержке борющихся партий, групп, классов, неизбежной при всяком избрании... Это одно. Народ не нуждается в конституции, ибо она на пользу интеллигентному меньшинству. Народу необходимы автономные крестьянские общины, губернские союзы этих общин. И венец — всероссийский земский собор.

— Всеволод Евгеньевич, ей-богу, знакомые речи: славянофильские. Пора-де быть самими собою.

— Во-первых, дорогой мой, славянофилы не во всем не правы. Во-вторых, разве не верно то, что вы замышляете конституцию, при которой земледелец и городской работник не очутятся в положении европейских собратьев?

— Да, верно.

— Значит, вы измыслите нечто небывалое?

— Я уже имел случай заметить, Всеволод Евгеньевич, что в наших условиях...

— Отлично. Итак, передо мною готовенький славянофил?

— Почему?

— А потому, Петр Филиппович: мыслите — матушке России суждена особая участь, ежели ей суждена ваша особая магическая конституция. Но если серьезно, то выбор у России такой: либо революционные конвульсии ради конституции, либо мирный прогресс во имя социализма.

Якубович улыбался.

— «Самодержавная республика»... Забавно, Всеволод Евгеньевич. Прошу, не обижайтесь, но я, право, едва не расхохотался. И подумал: чем черт не шутит, и эдакое споровим. Ведь уже осуществили если не «самодержавную республику», то самодержавную анархию.

Карелин рассмеялся. Смеялся он открыто, молодо, залиvisto. Потом, помолчав, сказал сумрачно:

— И все же не рассчитывайте, что это надолго. Не рассчитывайте, что горстка удальцов навсегда полонила гатчинского пленника. Власть царская умиряла народы. Неужто не справится с горстью гимназистов?

Якубович вспыхнул.

— При всем моем уважении к вам, Всеволод Евгеньевич, не могу не защитить тех, кого вы язвите «гимназистами». Вы, очевидно, догадываетесь, что перед вами один из них?

— И посему откровенен.

— Позвольте уж и мне?

— Сделайте одолжение. Но поверьте: я не касался личностей.

— Я тоже не стану, Всеволод Евгеньевич. Так вот, «гимназисты» не изобрели революции, а избрали революцию. Они — сама неизбежность, и потому... — Якубович взволновался. — И потому-то они так страшны. Всем вам страшны. Несмотря на оттенки мнений и даже разногласия. И знаете ли, чем страшны? Тем, что в их глазах вы с ужасом видите отражение собственного старческого бессилия, собственного безобразия.

Карелин не раздражился, хранил спокойствие. Он вздохнул:

— Нетерпимость... Ваша нетерпимость ужаснее старинной, религиозной. И ваша победа — упаси от нее Бог! — вызовет неслыханные гонения инакомыслящих. — Профессор смотрел мимо Якубовича. И не Якубовичу сказал он со спокойствием уже не эллинским, но обреченным: — Того не ведают, что кровь зовет кровь, как бездна — бездну...

— Это все тот же страх.

— Да нет, — с усталой иронией отозвался Карелин. — Помните: «Что у тебя зло, то другому добро, тебе яд, а иному мед сладкий»?

Разговор иссяк. Оба стояли как перед глухой стеною.

На другой день, когда поезд подходил к Ревелю, Якубович смущенно просил Карелина нигде и никому не говорить об их встрече.

— Вот как? — сурово произнес Карелин. — Не забывайте, милостивый государь, я не из... — Он не договорил и внезапно улыбнулся своей прекрасной умной улыбкой. — Послушайте, я вам сейчас одну быль. Некий, по нынешним временам известный, преуспевающий издатель гулял как-то с покойным Федором Михайловичем. Издатель, не знаю уж, к слову, нет ли, возьми и спроси Достоевского: «А что,

Федор Михайлович, мы с вами, решительные противники террора, ан вдруг и узнали: во-он там, в том вот доме, в такой-то квартире снаряжают метательный снаряд — и что ж? Донесем? А? Донесем ли, Федор Михайлович?» «Нет, — ответил Достоевский, — не донесем».

Якубович радостно засмеялся. Но Карелин не смеялся.

— Вот сим вы и победиши, — сказал он вчерашним спокойным тоном.

Карелин видел, что Якубович его не понял. Однако объяснять ничего не стал. А Якубовичу было довольно одного: профессор Всеволод Евгеньевич Карелин ни звуком не обмолвится о встрече с ним, Якубовичем. С него этого было довольно.

2

Летом мелела речка Эмбах. Уездный городок тоже будто мелел: каникулы. Стихало даже герцогство Гамбринуса. Впрочем, как и всегда, в Bierhalle¹ вам подали бы любой сорт пива — и шрам, и бартельс, и муссо, и барш.

Воображение Якубовича питалось литературой: ему чудился старинный уголок на Рейне. Дух знаменитых питомцев здешней *Alma mater* витал над Дерптом: Пирогов и Бэр, Якоби и Ленц. В книжных лавках пахло гейдельбергскими и лейпцигскими изданиями. Листва заглядывала в окна. Якубович не удивился бы звукам клавесина или лютни.

Он жил близ Дерпта. У каменного крыльца росла жимолость. Утрами скрипел колодезный ворот. Якубович думал о Гёте, о юном Вертере. Вертер любил смотреть, как девушки идут к деревенскому колодцу. Некогда и царские дочери не гнушались ходить по воду... Здешняя патриархальность была светлее, уютнее новгородской или псковской. Она была как вечернее солнышко, когда прикроешь веки.

Переляев, осторожный и уклончивый, избегал частых свиданий. Иногда он встречался с Якубовичем в университетском парке, в пустынных аллеях, где тени и пятна как рваный невод. Иногда — в какой-нибудь кондитерской, где вкусно пахло марципанами, а мрамор столиков создавал иллюзию прохлады. Иногда съезжались на лодках в условленном укромном местечке. Над медленным Эмбахом вспухали медленные облака, изы струили длинные ветви.

Типограф приносил корректуры. После него исправлений почти не требовалось. Корректуры Переляев приносил,

¹ Пивная (нем.)

должно быть, из вежливости. А шифрованную почту, наверное, из нежелания возиться с дешифровкой. Якубович отдавал Переляеву письма, адресованные Лопатину.

Письма из Дерпта были «химированные». «Химировать» научил Якубовича не кто иной как Дегаев. Между строчками «лицевыми», то есть видимыми, чернильными, наносились невидимые, желтой солью. Видимый текст приходилось импровизировать. Сочинительство занимало Якубовича, он улыбался: «Опасные связи», эпистолярный жанр, Шодерло де Лакло.

В улыбке крылось серьезное: творческие порывы. Их высвободило освобождение от Петербурга. Якубович набросал одно стихотворение, другое, третье. Попадись они цензору, последовал бы приговор: «Тенденциозность!» Попадись они Карелину, профессору, последовало бы: «Пылко и подражательно».

Якубовича тянуло переводить Бодлера. Бодлера он делал по образу своему и подобию. Получался не Бодлер, а другое и худшее — Якубович.

Он писал письма в «центр». Переляев, скрывая, где помещается типография, не скрывал технических трудностей. Он дотошно соблюдал условия, выставленные в Петербурге, в курительной комнате Публичной библиотеки. И Якубович шифровал:

«Нужен петит для хроники и отчета, нужен запасной шрифт. Все усилия — на добычу клише. Лишь бы поспеть к сентябрю! Мы приступаем к тиснению страниц, о которых писал вам. Выходит нечто блестящее для первого раза. Конечно, лучше бы подождать вас, чтобы посоветоваться насчет кое-каких мелочей, но время не терпит».

Нетерпеливость Большого Времени не отнимала у Якубовича малого времени. Он предавался недосужим размышлениям.

«Молодая партия» хотела пропагандировать социализм. Прежде всего в рабочем сословии. Ради этого стоило приостановить политический террор, повторить поход «в народ». И не потому ли вострепнулись народнические элементы, дремавшие в обществе, не потому ли потянулись они к «Молодой партии»? Но выступать «новой силой» можно, лишь обладая «новым словом». А именно его, нового-то слова, и нет. Тогда что же? Тогда надо радоваться успехам апостольского служения Лопатина. Уже многие провинциальные группы возвращаются под сень старого знамени «Народной воли», поддерживая политический тер-

роризм и отвергая организационный разброд. Побеждал «центр», побеждал Лопатин. И Якубович шифровал:

«Признаюсь, я многое здесь передумал. Страсти были вызваны страшным нервным напряжением. Теперь, кажется, они смирятся, и умы проясняются. Я сделал много ошибок и проступков, которых теперь не повторил бы. Однако не каюсь, потому что каждый шаг был искренним. Но увлечение и страстность завели меня дальше, чем я пошел бы теперь. Оставшиеся расхождения, Г. А. не таковы, чтобы выносить их на площадь».

Лопатин откликнулся короткими бодрыми весточками.

А Каменец-Подольск молчал.

Роза уехала к родителям. Но доехала ли? Она участвовала во флеровской группе; почти всех арестовали на Пушкинской; Розу не взяли в Питере, но могли взять в дороге.

Якубович тревожился, тосковал, как никогда раньше. Наконец сверх почты решил прибегнуть к помощи телеграфной станции. Он хотел спросить совета у Переляева. Не затем, чтобы послушаться, и не затем, чтобы послушаться. Любопытствовал: что ж изречет суровый конспиратор при такой ситуации?

День свидания — очередного и делового — был нехорош. Ветренело, натягивало тяжелую влажность, дышалось нелегко. Университетский парк неровно раскачивался.

И Переляев тоже был нехорош. Он уже ощущал странный и жуткий озноб, уже видел эти зыбкие алые пятна — предвестники падучей. Переляев напряживал мышцы, иногда это помогало. На него, как и на Дерпт, надвигалось тяжелое, влажное.

Они сели на скамью. Переляев огляделся. Но то не было привычной, почти машинальной конспиративной оглядкой. Он будто старался запомнить (хотя много раз видел) и эту аллею, и деревья, и холм. Потом заговорил. Он всегда говорил отрывисто. И сейчас — с не обычной отрывистостью, словно торопясь обогнать что-то ужасное, неотвратимое.

Якубович, ничего не замечая, слушал и радовался: дело сделано; пора озаботиться транспортировкой; в Петербург можно везти листы еще сырыми; запасной шрифт получен, отличный шрифт, из типографии Академии наук... Высказав все это, отмахнувшись от поздравлений Якубовича, Переляев вдруг назвал своих помощников-студентов. Раньше таил, сейчас назвал фамилии, адреса. И пароль: «Карл-Фридрих Гаусс не дурак». И уж совсем неожиданно-негаданно-

но открыл: типография помещается у него на дому, Ботаническая, 30.

Внезапной перемене в «повадке волка-конспиратора» Якубович удивился. Лишь удивился, а не поразился. Главным ему были не адреса, не пароли, даже не то, что типография, оказывается, на дому у Переляева и что Переляев живет на Ботанической... Главным было совсем другое. И Якубович, мельком удивившись перемене «повадки», ликовал: десятый номер «Народной воли»! После долгой черной немоты. Свидетельство возрождения: мы живы, мы боремся. Залог: еще многое сбудется. Непременно! Вопреки департаментам, охранным отделениям и жандармским управлениям. Наперекор Гатчине, наперекор Зимнему. Во зло всем дворцам, к добру всех хижин.

Якубович ликовал. Забыта телеграфная станция. Забыто желание испытать диапазон чувств «волка-конспиратора». Забыто даже и то, что сам факт — типография цела, газета вышла, — сам факт решительно перечеркивает подозрения, которые могли падать на него, Петра Якубовича... Он ликовал.

Переляев поднялся, Якубович тоже. Обычно они уходили из парка разными аллеями, теперь шли рядом, об руку, и Якубович опять не заметил перемены в «повадке волка».

Вернулась мысль о Розе. Но уже не в сумраке тревоги, а пронизанная его ликованием. Ого, как запрыгает «Сорока»! То-то она запрыгает, эта лентяйка, которой перо, что кайло, которая нежится на солнцепеке или плавает в чудесной реке Смотрич. И Якубович заговорил с Переляевым о Розе. Интимно, дружески, братски поверял он свое, личное этому славному, милому, очаровательному Владимиру Переляеву.

Зыбкие алые пятна сливались в багровую завесу. Мускулы подергивались, глаза косили: симптомы *epilepsia major*, как определяют медики.

Но странно: Переляев Якубовича слушал и не только испытывал благодарность за доверенность братскую, интимную, а еще и пронзительно ощущал, как сам он любит маленькую, тихую, неприметную, белесую голубоглазую Юлию.

— Да, конечно, — тихо и хрипло сказал Переляев, — надо послать телеграмму.

Не совет, а эта тихая хриплость понудили Якубовича пристально и беспокойно взглянуть на Переляева. Тот улыбнулся ему ободряющей и вместе несчастной улыбкой.

- Что с вами? — вырвалось у Якубовича.
- Пройдет... У меня это случается.
- Что «случается»? — испугался Якубович.
- Прощайте.
- Прощайте, — безотчетно повторил Якубович.

Он глядел ему вслед. Якубовичу показалось, что Переляев поводит лопатками, плечами, что походка у него прыгающая. Не испуг, нет, ужас какой-то неизбежности, близости несчастья овладел Якубовичем. И все же он посмотрел на часы и заторопился: телеграфная станция вот-вот закроется.

Почтовый чиновник встретил его недовольным междометием. «Совсем коротенькая», — просительно сказал Якубович. И подал: «Нет ваших писем. Здоровы ли? Песковский». С минуту он сомневался: разгадает ли Роза Франк, абориген питерских Песков, этот псевдоним. Господи, как не разгадать? Она говорила: «Ты — мой храм на Песках». И она горевала: «Все-то у нас на песке»...

В улицах было глухо. Ударили часы городской ратуши. Глушь сомкнулась. Огней не было. Дверные колокольчики молчали, будто никто не приходил домой и не выходил из дому. Утих ветер. Осторожно шуршал дождик.

Возвращаясь к себе, Якубович думал о том, как Роза, «кудри наклона», будет каяться почтовым покаянием, а он ответит сердитым нагоняем, а она ответит, как Щедрин какому-то гневливому сановнику: «Угрозами не руководствуюсь...» И еще он думал, что во всякой погоде есть своя прелесть, и что Переляев вовсе не сухарь, и что они все, кто в революции, они, к сожалению, не успевают оделять друг друга простым теплом и участием.

А на Ботанической, в доме с окнами на красную кирпичную стену и черную монашескую ель, Юлия услышала хриплый страшный вскрик и бросилась к Переляеву. Он корчился в конвульсиях. Лицо его синело, зрачки расширились, в углах губ пенилось розовое. Юлия припала к Переляеву, гладила плечи его и голову. Еще минуточка, еще минуточка, и он утихнет, ее Вольдемар, ее любимый, ее «Вольдя», еще немного, совсем немного, и он утихнет, он будет очень слабенький, совсем как ребеночек, и у него будет ломить лобик и затылочек, но это ничего, это уж бывало, ничего, утихнет, пройдет.

И Переляев утих. Он был мертв. Он не вынес epilepsia major, большого судорожного припадка падучей.

Якубович был уже на загородной суглинистой дороге, крапленной, как оспинами, мелким дождиком. Неподалеку от старой часовни Якубович увидел прохожего. Высокий, он покачивал плечами, шел широко. Якубович узнал долгожданного «мистера Норриса».

По обыкновению пренебрегая «косной конспирацией», Лопатин шел, не оборачиваясь. Его кожаная коробка-папиросница висела через плечо на ремне, как кобура, в руке он нес портплед. Он был в широкополой шляпе. Весь он запоминался, задерживал внимание. Якубович весело подумал, что в этом есть хитрый расчет: сбить с панталыку филеров.

Они почти поравнялись, когда Лопатин обернулся.

— А-а, Петручко! Где это вас носит? Хорошенький тут монплеzirчик! Живете, как у Христа за пазухой...

Лопатин завернул в Дерпт на день, проездом во Псков. Черт возьми, где только не поспел он побывать. У него теперь не записная книжка, а чуть ли не адресный стол, чуть ли не справочник «Вся Россия»: явки, имена, кто может приютить, кто деньгами снабдить, у кого динамит добыть, у кого литературу спрятать. Десятки фамилий и десятки адресов. Пойди-ка упомни, да вот они, все тут. И другая книжечка в потертом черном картоне: приходы и расходы.

Лопатин приехал обсудить с Петручко доставку тиража, изготовленного Переляевым. С транспортировкой хлопотно. Вот, кажется, лучше Одиссея измыслил, как везти заграничные, тихомировские издания: на английском пароходе «Кельсо». Так на тебе — в рижской таможене каюк! Не иначе какой-нибудь гордый бритт прельстился полицейскими чаевыми. Да, с транспортировкой дьявольски тяжко.

Газета! Сейчас он и Петручко потолкуют, как ее, милую, везти: тиражик немалый — десять тысяч экземпляров. Но газета — половина дела. Она, конечно, «бомба». Однако есть и другие бомбы — луганские, увесистые, заводскими ребятами сработанные. И назначенные его сиятельству министру Толстому. А тут в унисон — московский выстрел. О, если б отплатить Муравьеву за казненных на Семеновском плацу! Двойной террористический акт. Да еще и газета! Вот она, жива «Народная воля» — карающий трибунал революции...

Лопатин пил чай, как кочевник. Усмехаясь, рассказывал о письмах Тихомирова. Вишь ты, какая беда — за границей объявился какой-то хлыщ, назвался делегатом питерских «молодых» и навешал на бедного Льва Александровича всех

собак. А Тихомиров, известно, человек впечатлительный, нервный, расстроился донельзя. Умоляет Лопатина еще и еще заверить «молодую фракцию»: он, Тихомиров, удручен напраслинами из-за дегаевской истории и не берет на себя никаких организаторских функций, ибо для ведения дела недостаточно чистой совести, надобна и чистая репутация.

— Он прав, — сказал Якубович.

— Разумеется, — согласился Лопатин. — А кто ж ему навязывает организаторство? Слезы лить легко: Россия, мол, оскудела материалом для широкой партии. Чепуха, батюшка, истинно говорю, чепуха. Ну да ладно, к зиме ближе махну в Париж, разберемся. У нас, Петруччо, осень на носу.

Его осенний проект был прост: в Петербурге, на Большой Морской, где обитает граф Дмитрий Андреевич, учредить тщательное наблюдение; там же, напротив графского дома, нанять полуподвал и устроить пивную; из пивной метальщики бросят бомбы в карету министра, а сами тотчас в пролетку — и рысью долой.

Петербургский вариант Лопатин не скрыл от Якубовича. Петруччо скоро вернется в Питер, довольно «чиститься» в Дерпте. Теперь уж Петруччо вполне нелегальный, а не «подсадная утка».

О московском покушении Герман Александрович умолчал. Не потому, что не доверял Якубовичу. Нет, в эту негромкую, неотчетливую ночь настигла Лопатина редкостная минута: он усомнился в своей проницательности.

Именно сейчас, когда московское покушение могло совершиться, его ознобило: корнет, хищно порхающие руки шулера...

3

Флерова и Сизова взяли у Тверской заставы, в трактире «Триумфальный». Сизов сшиб с ладони Флерова цианистый калий. Нарочито иль нет — ни тогда, ни после решить не мог, лишь помнил слепящий ужас при виде этих ядовитых крупиц.

Сизов, конечно, попался из-за Флерова. Но и он, Сизов, был вроде бы виноват перед Флеровым — не дал кончить самоубийством, обрек на бессрочную каторгу.

Прежде, до возвращения из Питера, Сизов принял бы арест как должное и жданное. Потом, существуя тихо, неприметно, в сторожке и сторонке, заласканный Сашенькой, он и вовсе не думал об аресте.

Встречей с Родионовым растворилась широкая дверь. Сизов увидел свет. На него пахнуло свежестью. Он готов был припасть к роднику. Но дверь захлопнулась с тупым тюремным стуком. Его нагло и грубо оттолкнули от живой воды. Его заграбастало то многоликое и вместе безликое, что для него, Сизова, соединялось в скрипуче-мертвенном звуке: «монархия».

Первые тюремные недели протекли в одиночестве. Одиночество не тяготило. Сизов бы ему даже радовался, если бы теперь был способен радоваться. Не тяготился бы он — в отличие от многих узников — и тюремной тишиной, если бы этот корпус Бутырок отличался тишиною. Тут держали, кажется, уголовных, на день не запирали, Сизов слышал их топот, взрывы хохота, ругань и возню.

Нил еще не видел ни следователя, ни прокурора. Забывчивость начальства не вызвала у Сизова (опять-таки в отличие от многих заключенных) никакого отзыва: ни проблесков надежд, ни отчаяния.

По прошествии нескольких месяцев в камере появился еще один арестант, которого, право, трудно было принять за арестанта: цветущий, плотный, осанистый господин лет тридцати, казался, выпрыгнул из коляски и на минуту, по какой-то странной прихоти, заглянул в Бутырскую тюрьму. Он был в летнем костюме: прилегающий в талии темно-синий пиджак, светлые клетчатые брюки. На голове у него сидела плоская соломенная шляпа-канотье. Обут он был в лакированные штиблеты, прикрытые суконным верхом на мелких пуговичках. Господин-арестант уперся в Сизова оценивающе, как ремонтер на коня. Определил:

— По-французски, конечно, ни бельмеса. — И небрежно представился: — Корнет Белино-Бржозовский. — Шмякнул на табуретку канотье и перчатки, спросил: — Чин? Звание?

Сизов, все еще удивленный, отвечал, что чином не жалован, а звания обыкновенного — мастеровой.

— Маленькая братия, — опять определил корнет.

Сизов не знал, разозлиться или рассмеяться. А господин Белино уже барабанил кулаком в дверь. Едва к «глазку» прильнул надзиратель, арестант гаркнул:

— Эй ты, монокль! Неси постель! И получше выбери! Живо!

Надзиратели «живо» учредили свежую постель.

— А теперь — марш! — приказал Белино, пощипывая ус. — И чтоб у дверей не торчали!

Не взглянув больше на Сизова и не сказав больше ни слова, их благородие легли на тюфяк, прикрылись, как от мух,

своим канотье и пустили во все носовые завертки. Храп был мерный, могучий, кавалерийский, точно на биваке.

Стояло позднее утро, а корнет спал, как за полночь. Корнет легко превращал день в ночь и наоборот. Он пользовался особой привилегией: под «честное слово» отлучался из Бутырок. Возвращался корнет — как и нынче — вполпьяна, издавая грешный запах увеселительного заведения, что на Грубной площади.

Бывший офицер императорской конницы не мыслил достойного существования без шампанского, девиц и лошадей. Первое, вторые и третьи требовали денег, денег, денег. И г-н Белино пламенел в карточных играх не всегда чистым пламенем, а в коммерческих сделках — всегда нечистым.

Увы, и на корнетов бывает проруха. Догадал-таки черт угодить «за засовы». А кто виноват? Разумеется, г-н Муравьев! Не кто иной, а прокурор московской судебной палаты возбудил уголовное преследование и наложил меру пресечения. Корнет Михаил Ефимович сильно гневался на прокурора Николая Валерьяновича. И однажды до того взъярился, что напрямик объявил соседу (не теперешнему, а прежнему, с которым сидел до Сизова), так и объявил: «Клянусь: либо я прокурора, либо он меня!!!»

Сосед скупно улыбнулся: «Какой же, собственно, методом вы изведете ненавистного вам служителя Фемиды?»

«Сдается, ненавистного и вам, социалистам», — сказал Белино.

«Да. Хотя и по совершенно разным причинам».

«В данном случае, — отмахнулся Белино, — это не имеет никакого значения. — И шепотом: — Бьюсь об заклад, мы это устроим по первому разряду. Руку, господин Флеров?»

Флеров не ответил. Альянс с какой-то продувной бестией? Чушь и дичь... Да и вообще все у него, Флерова, шло прахом. Даже отравиться не успел — Нил Сизов непрощено спас... Флеров мрачно молчал.

А корнет время от времени возобновлял разговор о мщении прокурору Муравьеву. Корнет располагал неким проектом. Связи с тюремной администрацией («Ха-ха, у молодца не без золотца») позволяли ему совершать длительные городские прогулки. А коли так, велик ли риск обзавестись... Корнет щелкал пальцами, как бы взводя курок... Нет, нет, нет, он, Белино-Бржозовский, отнюдь не намерен дырять медный прокурорский лоб. Он представляет это другому. Ежели б к барьеру — хоть сей секунд. Но покушение... Фи! Покушение претит офицерской

морали. А револьверчик — пожалуйста, благоволите получить.

Откровенность — даже циническая — подкупает, и Флеров стал прислушиваться к бывшему кавалеристу. Почему бы, думалось Флерову, почему бы, черт возьми, не «сделать игру», как выражается этот шулер-маклер, и не уйти из жизни, хлопнув дверью?

Флеров знал Муравьева, как знала вся Россия. В семьдесят первом году Муравьев отправил на виселицу Желябова и Перовскую, Кибальчича и Михайлова. Сатрап из сатрапов, гнусный из гнусных, одного поля ягода с Толстым и Плеве. Покончить с Муравьевым — возмездие за эшафот, за петлю, в которой хрипели лучшие из лучших.

Флеров готов был «взять на себя» Муравьева. Но без согласия товарищей не мог и не хотел шевельнуть даже пальцем, ибо и теперь, в тюрьме, индивидуальный террор не мог он и не хотел отождествлять с личным терроризмом. Флеров знал, что в Москве ждут Лопатина. Следовало связаться с Лопатиным.

Но прежде Флеров подверг корнета испытанию. Тот выдержал: как некогда петропавловский унтер, так и корнет исправно служил «почтовым голубем». Правда, московские товарищи качали головами: уж больно форсистый «голубок» — раскатывает на лихачах, randevу назначает в шикарных ресторанах. Корнет похохатывал: «Берите меня, какой есть».

А был он и впрямь очень т а к о й. У него, оказывается, водились драгоценные соучастники битв на зеленом сукне — жандармские офицеры. И Белино не скрыл от Флерова, что встречается с ними в часы своих восхитительных отлучек из бутырской юдоли слез.

Сообщение это оледенило бы Флерова, когда бы он не подумал, что чиновники тайной полиции и шулера-маклеры суть души родственные. К тому же из встреч с голубыми партнерами Белино извлекал практическую пользу не только для собственного кармана, но и для московских друзей Флерова.

Белино как-то прослышал о близком повальном обыске у студентов Петровской академии; Флеров своевременно предупредил товарищей. В другой раз корнет дознался об одном из провокаторов, который, по словам все тех же картежников, «вполне достоин ордена святого Владимира»; и Флеров снова предупредил москвичей.

Корнет был прелестен в своей откровенности. Ему, изволите ли видеть, надоела «голубиная гоньба». Пора бы,

видите ли, господам социалистам играть ва-банк. Почему? О дьявол, как не понять! Да ведь проклятуший Муравьев того и гляди упечет бедного корнета в ссылку, а то, оборони Бог, удерет штуку похлестче. И наконец — пардон, мосье Флерофф, — не так-то уж и глуп Белино-Бржозовский, чтобы долго, а наипаче безвозмездно таскать из огня каштаны.

Хорошо, сказал ему Флеров, допустим, Муравьев уйдет в небытие. Допустим. Что ж, в сущности, выгадает г-н Белино? После некоторых колебаний корнет объяснился: пусть только муравьевское кресло займет другой, а тут-то уж «аксельбанты» замолвят словечко за несчастного корнета.

Подлые расчеты, эгоистические, и только? Конечно. А каких еще ждать от червонных валетов, от эдаких аферистов? И Флеров попросил «вольных» представить Белино высокой и окончательной инстанции. Как решит «Грегуар», так тому и быть.

Местом свидания корнет избрал трактир «Ростов». «Ростов» был заповедным трактиром сыщиков. «Благонадежнее не сыщешь», — балагурил корнет. Московские подпольщики возражали, но человек по кличке «Грегуар» согласился.

Белино не имел решительно никакого понятия об Анри Грегуаре, деятеле французской революции. Русский же «Грегуар» показался ему большим барином. Не из тех мякonychих, что легко спускают тысячи, а из тех деловито-строго-быстрых, с которыми держи ухо востро.

Разговор у них произошел почти военный, как на рысях. Бывший кавалерист потирал руки: ну теперь-то дело двинется марш-марш. А «Грегуар» нашел, что корнет, хоть и запятнан нравственно, все же достаточно лих, чтобы с ним «иметь комиссию».

И дело двинулось.

Белино раздобыл одноствольный револьвер, заряженный крупными обрезами свинца — жеребьями. «Как на волка», — ухмыльнулся корнет. Принес он Флерову шарик с ядом, принес и записку.

«Известная вам гадина, — писал «Грегуар», — давно заслуживает казни. Правда, очередь была другой, тоже вам известной, но не упускать же случая. Согласно вашей просьбе посылается яд, хотя я всей душой протестую против вашего решения отравиться. Как ни тяжело мне это вам высказать, я должен сказать, что самоубийство не произведет такого впечатления, как эшафот. Самому же прекращать свою жизнь, по-моему, не следует. Друзей вы не выдадите, я вас знаю, а моло-

*дость и присутствие духа, несомненно, помогут пере-
нести одиночное заключение без психического рас-
стройства. Прощайте. Обнимаю вас крепко. Грегуар».*

Все, что писал Лопатин — в московском подполье «Грегуар», — было правильно. Но для Флерова слишком правильно. Лопатин, как вообразилось Флерову, чересчур легко сказал ему это «прощайте». Флеров не требовал хризантем, но он бы так не написал товарищу, идущему на самозаклание. Как написал бы он такому товарищу, Флеров не знал. Но, честное слово, не столь уж рассудочно.

И вот странность: получив лопатинское благословение, лопатинское «прости», Флеров не то чтобы утратил решимость, но словно бы огузал в неуверенности. На него наплывали разного рода неудачи и препятствия. Нереальные и оттого (по-тюремному) до жути реальные. И тогда он подумал о Сизове.

Флерову хорошо помнился Нил питерской поры. Не динамитная мастерская и не похороны Тургенева — тот день, когда они оба явились в министерство внутренних дел и требовали аудиенции у графа Толстого, чтобы из двух пистолетов, навскидку стреляя, свалить министра.

И хотя они не исполнили своего замысла, хотя их постигла неудача, Флерову теперь приходило на ум, что, будь Сизов без него, Флерова, Нил сделал бы дело. И еще: если б теперь, в Бутырской тюрьме, корнет Белино очутился соседом не ему, Флерову, а соседом Сизову, участь прокурора решилась бы непременно.

Господин отставной корнет чуть не приплясывал в нетерпении. Горячился: «Баста, ловите себе другого попугая! Или как там у вас...» — «Голубя, — сердито поправил Флеров. Помолчав, сказал: — Но меня ж не вызывают к прокурору».

«Эва! — не унимался Белино. — «Не вызывают!» Да вы сами, сами, сударь, проситесь: дескать, имею честь дать откровенные показания... Ну и все такое прочее. «Не вызывают!» Под лежачий камень...»

Корнет хандрил: после «Грегуара» уверовал в рысь, а на поверку-то все по-прежнему, черепашьим шагом... К тому же полоса тяжелого, как похмелье, безденежья не пускала г-на Белино к веселым девицам.

До позднего часа, много после поверки, когда даже запах неизбывных бутырских шей, кажется, затихает и когда уже Флеров будто б спал, отвернувшись, к стене, — до позднего часа корнет ходил по камере, то бормоча проклятия, то меланхолично высвистывая «Вечерний звон».

Однако тирания бессонницы на него не распространялась. Оборвав «звон», наводящий много дум, Михайла Ефимович улегся и заснул. Он спал бы, конечно, до завтрака, если б на рассвете его не растормошил Флеров.

Как многие военные, корнет считал побудку сущей напастью. Разодрав рот зевотой, он взглянул на Флерова с сонной свирепостью, но тотчас смекнул, что сосед намерен сказать что-то чрезвычайное. Пригожая нахальная физия корнета изменилась. Поначалу она отобразила недоумение, потом изумление, затем испуг: не спятил ли господин социалист?! А Флеров уже сунул корнету две записочки, свернутые тонким жгутиком. Одна адресовалась на волю, другая — какому-то бутырскому узнику, неизвестному Белино.

«Бог ты мой, — недоумевал Белино, ероша волосы, — да отчего это вам взбрестило?» У Флерова не было охоты толковать о предчувствиях, о воображаемых неудачах, он не ответил. «Э, — подумал бесшабашный корнет, — у нигилиста, видать, нервы размочалились, да ладно, лишь бы не отступился, а он, видать, не отступился, и черт с ним совсем».

— Ну, ну, сударь, — участливо сказал корнет, оправляя подушку и намереваясь соснуть еще часок-другой, — бросьте-ка вы. Ей-ей, ни дьявола не приключится.

Но, как ни странно, приключилось. Приключилось вопреки могущественной власти прокурора московской судебной палаты Николая Валерьяновича Муравьева. И вопреки шустрому действиям отставного корнета Михайлы Ефимовича Белино-Бржозовского.

В пятницу корнет — «под честное слово» — отправился в очередной «отпуск». За ломберным столом фортуна долго и широко улыбалась ему. Он выиграл столько, сколько может выиграть либо шулер, либо простофиля. В Бутырки корнет воротился, как на крыльях. И тотчас увял: в камере не было Флерова.

Дежурный офицер, получив от Белино очередную взятку, шепнул, что г-н Флеров отбыл-с в казенной карете на Николаевский вокзал, из чего заключить должно, что отбыл-с в город Санкт-Петербург.

Банк был сорван. Корнет остолбенел. Он терялся в догадках. Потом жандармы-приятели намекнули: очевидно, этот Флеров как-то причастен к делу Судейкина, а посему и затребован в департамент.

Черт бы подрал все эти департаменты! Хорошо еще, Флеров оставил записку для какого-то мастерового. Однако корнету никогда не приходилось иметь дело с черной костью. И кто поручится, что этот Сизов полезет в петлю

из-за покушения на Муравьева? Эти мастеровые умеют вскрамолить какую-то там забастовку, что-то вроде кабацкой драки. Но покушение, но террористический акт?! То ли дело господа интеллигенты: идеи, совесть, долг... Корнет был ужасно разбит и на прокурора Муравьева, и на все прочее начальство, «отпустившее» Флерова в Петербург.

Но уж коли совершилось то, что совершилось, приходилось распечатывать другую колоду.

И вот арестант, не похожий на арестанта, пахнувший грехом и шампанским, бросил свой шапокляк, свои серые летние перчатки на колченогий табурет в камере Нила Яковлева Сизова.

Под вечер без долгих слов он отдал Сизову записку Флерова. Сизов читал, а корнет не сводил с него настороженного, опасливого взора. Все определится тотчас, тревожно думал Белино, вглядываясь в изжелта-бледного мастерового.

Сизов напрягся: его толкали в пропасть. Он противился настояниям Флерова. Раньше, в Питере, Нил, не колеблясь, ходил на аудиенцию с министром Толстым. Но память хранила тот страх, который придушил Сизова на Чернышевой площади. Раньше Нилу порой слышался немой братнин укор. Теперь нет. Поручение Флерова?.. Да кто он такой, чтобы распоряжаться его, Нила Сизова, жизнью?

Белино почувствовал молчаливое, упрямое сопротивление Сизова.

— Его завтра повесят, — сказал Белино. Он произнес это искренне, в глазах стояли слезы.

— Врешь, — тихо и злобно ответил Сизов. — Врешь, ваше благородие.

Белино опешил.

— Как так вру?

— Да так вот и врешь, — с ненавистью сказал Сизов. — Все вы, сволочи, врите. — Он помолчал, словно борясь с собою. Потом спросил: — Повесят? Да ведь суд-то еще не было.

— Был! Уже был, — заторопился Белино. — Военный суд. Тут — раз, два, и готово. Был, честью заверяю! От защиты он отказался.

Среди прочих свойств корнетовой природы была способность к вдохновенной лжи. Он пустился во все тяжкие. Он говорил о нравственных муках Флерова, о том, что Флеров не убоился смерти, а страдал оттого, что не успел отомстить Муравьеву за гибель Желябова и других, что приговор он принял с поразительным спокойствием и, уходя в камеру смертников, сказал, что есть еще у него товарищ, который

сумеет совершить то, что ему не суждено было совершить, и что он, Флеров, завидует участи этого товарища.

Сизов смотрел в окно, на квадрат летнего неба, уже выцветшего, блеклого для тех, кто жил обыденной жизнью, и еще очень яркого для заключенных.

Свет медленно и властно проникал все его существо. Он слышал за спиною прерывистый, взволнованный голос, но мысли Сизова не задерживались, не останавливались на том, что он слышал. Казнь Флерова, завещание осужденного на смерть, прокурор Муравьев, эшафот Желябова и Перовской — все это как бы рассеивалось, истаивало где-то там, за окном, в этом дальнем небе.

Белино умолк. Сизов вздохнул. Но вздохнул вовсе не о том, о чем говорил корнет.

— Ну так как же? — с несвойственной ему робостью, даже унынием спросил Белино.

— А чего как же? — пожал плечами Сизов. — Да я этого Муравьева и в глаза не видел.

Белино прошелся по камере, потом молвил задумчиво: «Да-а, вот как оно получается...» И продолжал, будто и не к Сизову относясь, а так, в пространство:

— Мне что? Мне все этокое бред — свобода, равенство, братство. А социалисты на народ молятся, в ножки кланяются и голову на плаху. За землю и волю! Народная воля! Народ, воля, черт те что еще. А народ на этих самых мучеников — тьфу! И поделом, поделом: не лезь, не суйся, получил университетский значок — пользуйся, живи. Так нет же, подавай им всеобщее счастье, они, видишь ли, за народное счастье в рудник, в каземат, на виселицу. Ха-ха! Да кой ляд вот тебе-то, скажем, воля эта? Ну скажи на милость, какой тебе прок, коли ты как есть мастеровой, так мастеровым и будешь. Ну хорошо. Изобретут они тебе парламент, тебя, дурака, в какую-то там российскую палату общин посадят, и будешь ты разных ораторов слушать, они там без тебя все решат, а ты будто сам решишь... Э-э-э, чего и толковать! А, впрочем, нет, постой-ка! Может, и не так обернется. Может, еще и по-другому. Вот эти вот самые нигилисты, социалисты, революционисты, они, может, для вас воли добьются, так вы же их, голубчиков, потом и к ногтю. А? Ну а покамест вот такие, как этот Флеров, на эшафот лезут, а такие, как ты, ручкой им на прощанье — да в сторону, да в кусты. А? Верно говорю?

Сизов ответил долгим взглядом. Белино не разобрал, что в нем было — презрительная ли усмешка, недоброе равнодушие или еще что.

— Верно, — вдруг отрезал Сизов, не улыбаясь и не сердясь, — все верно говоришь, ваше благородие. Плевать нашему брату, пускай они, заступники-то наши, головушки свои в петлю суют. А мы подождем, мы в стороночке обождем, авось дождемся. Верно.

Сизов ответил нарочито грубо, бесстыдно. Осанистый господин претил Сизову. Претил холеными руками, светлыми клетчатыми брючками и даже тем, что, казалось бы, должно было понравиться Нилу, — нецеремонной повелительностью с надзирателями и сторожами.

Однако Сизов не усомнился ни в подлинности флеровской записки, ни в том, что участь самого Флерова решилась так страшно, ни в том, наконец, что Флеров «завещал» ему Муравьева. Никаких сомнений, никакого недоверия не было. Но холодная мрачная отрешенность, владевшая Сизовым с первого часа заключения, не только еще не успела смениться иным душевным состоянием, а как бы и не желала сменяться. Не потому ли, что между ним и Флеровым встал, как посредник, этот ферт в лакированных штиблетах?

Может, и так. Но еще и другое. Сизов ни о чем ином пока помышлять не мог, как только о свидании с Саней. Ему почему-то казалось, что лишь после свидания с нею в душе его что-то и как-то определится.

Сизов просил свидания. Сизову и не отказывали, и не разрешали. Потом вдруг предложили свидание с матерью. Он поймал в себе досаду и этой досадливости устыдился. Он предпочитал свидание с Саней не потому, что не хотел видеть мать, а повинувшись тому естественному и все-таки загадочному чувству, которое побеждает самую нежную сыновнюю привязанность и которое всегда печалит матерей. Нил ждал свидания с Сашей. Он и в мыслях не держал худого. Саня не могла перемениться: любит по-прежнему. И все же увидеть ее необходимо было Сизову именно для того, чтобы убедиться в отсутствии перемены.

Увидеть. Увидеть. Увидеть глаза, губы, улыбку. И голос услышать. Увидеть. Пусть не более получаса. Пусть при надзирателе. Пусть через две решетки. Пусть вокруг галдят, плачут, тянут руки десятки других женщин. Пусть! Только бы увидеть Саню, услышать Саню.

Желание было жгучее, навязчивое, от него некуда было деться. И Сизов признался в этом человеку, который претил ему одним своим видом. Признался и добавил, мотая головой: «Если откажут, я та-а-акое натворю — небу жарко!»

Белино понимающе поцыкал языком. Белино посулил пустить в ход свои добрые связи с тюремной администра-

цией. Успел он «пустить в ход» или не успел, а вышло так, что Сизову наотрез отказали. Отказал сам прокурор московской судебной палаты господин Муравьев.

Белино ожидал гневного умоисступления, бунта, голодовки, всего ожидал от Сизова, но только не того, что случилось: Сизов заплакал. Он плакал, не утыкаясь в подушку, не забиваясь в угол, не отворачиваясь. У него и слез-то, кажется, не было, плакал он как-то по-звериному. У него щелкали челюсти, ребра поднимались и рушились. Он не сел, не лег, не забегал по камере, не сжимал и не потрясал кулаками, а стоял посреди камеры и плакал так, как никто и никогда, наверное, еще не плакал.

А на другой день Николай Валерьянович Муравьев припожаловал в Бутырский тюремный замок. Сдается, не затем, чтобы объяснить с преступником Сизовым, а затем, чтобы проверить, в надлежащем ли порядке содержатся преступники.

И г-н Муравьев, и сопровождавшие его чины судебного ведомства, и тюремное начальство отлично сознавали пустейшую формальность подобных ревизий. Несмотря на это (или именно поэтому), Николай Валерьянович и его коллеги были весьма серьезны и даже строги, а тюремное начальство весьма озабочено и сдержанно, взволнованно.

В корпусе, где сидел Сизов, установилась необычная тишина: уголовных не выпускали в коридор. Перед обедом тишина нарушилась мерным звяканьем ключей, скрипом засовов: прокурор «посещал» камеры.

Звуки усиливались, шаги близились. Белино подкрутил усики, помешкал и вдруг поспешно сунул свой соломенный шапокляк под одеяло.

— Ну-с, мой мальчик, — произнес корнет с оттенком торжества, — вот сейчас ты его и увидишь.

Дверь отворилась. Мелькнуло и исчезло испуганное курносое лицо дежурного надзирателя, а на пороге, в дверях встал прокурор Муравьев — сухошавый, выбритый, розовеющий щеками, с какой-то затаенной рысьей гибкостью во всем теле.

Сизов смотрел ему в глаза. И в это мгновение Муравьев понял: ни один человек в мире не испытывал к нему, Муравьеву, такой раскаленной ненависти, как этот чернявый в блузе распояскою, как этот грубо-красивый малый с темными, яростными глазами.

Николаю Валерьяновичу на секунду представилось, как сама воплощенная ярость войдет в его кабинет. У Муравьева холодно заломило в коленях, и все, что он замыслил,

вдруг показалось ужасно опасным, рискованным, хотя он твердо знал, что ничего действительно опасного произойти не может.

Муравьев разжал губы и раздельно-отчетливо задал обыкновенный вопрос о жалобах и просьбах. Белино-Бржозовский выступил вперед и сказал, что у него-то претензий никаких, а вот его соседу почему-то отказали... Муравьев повелительным жестом остановил корнета, опять глянул на Сизова и все так же раздельно-отчетливо проговорил:

— Полагаю, вам нет нужды в адвокатах?

Прокурор явственно ощутил, как Сизов напрягся, точно готовый к прыжку, и у Николая Валерьяновича опять холодно заломило колени. Но Сизов только заложил руки за спину, резко и сильно сцепил их в замок, отчего плечи его развернулись еще шире, грудь сделалась выпуклее. Он круто, по-бычьи нагнул голову и трудно выговорил с той сиплостью, какая бывает при маниакальном возбуждении:

— Дерьмо, холуй, палач! Ну чего уставился? Будь ты проклят!

В коридоре возмущенно задвигались, загудели, кто-то там из-за дверей с почтительной настойчивостью потянул г-на Муравьева за локоток.

— Вот, господа, — фальшиво усмехнулся Муравьев, — благоволите взглянуть: хам *à la lettre*¹. Достойный братец своего братца.

Дверь захлопнулась.

Белино наскაკивал на Сизова, бессильно опустившегося на койку, тряс его, сыпал, сыпал:

— Ну и отхлестал! Молодец! Люблю! Так его, сукина сына. Молодец! По щекам, по щекам!

Сизов был безучастен. Он сидел на койке поникший, с опущенными плечами. «Брат своего брата...»

До вечера мысль его вращалась в круге, из которого он даже не пытался вырваться, и круг этот, томительно-однообразный, очерчивался воспоминаниями о погибшем здесь, в бутырских застенках, старшем брате; как они втроем — мама, Саня и он, Нил, брели темной Лесной улицей, мела поземка, печальный и будто далекий был звон у Пимена, и чудилось, что ничего уж нет на свете, кроме тьмы и метели.

После проверки и отбоя все это приостановилось. Не поблекло, не приглушилось, а внезапно исчезло: Сизов в минуту уснул — наглухо, непроницаемо, беззвучно.

¹ В прямом смысле слова (франц.)

Очнулся он так же внезапно, сразу ощутив, что бодрствует. Но то не было покойное и свежее бодрствование, а странно-тревожное, словно вот-вот, через один, другой толчок сердца непременно произойдет что-то страшное.

На дворе уже брезжило. Было тихо. Сизов не поднимал головы, не смотрел в окно, но знал почему-то, что утро зажигается просторное, чистое, пустое. Непременно должно было произойти что-то. Через один, два толчка сердца. Он ждал. И дождался: далеко, внизу, во дворах и закоулках Бутырской тюрьмы кто-то отчаянно крикнул.

Сизова ударило дрожью, крупной и быстрой, его оледенило потом, тоже крупным, но он не вскочил, не бросился к окну. Он лежал. Его трясло. В этом коротком и страшном вскрике, которого вовсе не было и который был для Сизова совершенно явственным, слышал он предсмертный вопль, сдвоенный, слитный вопль, предсмертный, последний, — Митин и Флерова.

Нил сознавал, что этого быть не может, что Митя в безвестной могиле-яме, а Флеров не закричит. Сознавал и все же слышал этот слитный, сдвоенный, короткий и отчаянный крик где-то там, далеко внизу, во дворах и закоулках тюрьмы. А потом в тюремный корпус вплыл будничного дня с его сменой надзирателей, пересчетом арестантов, вонью параш и запахом хлеба, стуком медных чайников и бульканьем крутого кипятка, голосами и шагами, прогулкой, щами.

Долгими неделями бутырская обыденщина не трогала, не задевала Сизова. Теперь он, напряженно сдвинув брови, вслушивался в нее, будто угадывая что-то и ничуть не сомневаясь, что день этот не уйдет, как отошли былые в мутном безразличии, в холодной, мрачной отрешенности. Белино-Бржозовский не приставал к Нилу, не рассказывал, не насвистывал. Корнет тоже сознавал необычность нынешнего дня, чувствовал, хотя и смутно, что Сизов нынче примет то, чего не принял, прочитав записку Флерова...

А еще двое суток спустя (после очередной городской прогулки Белино) Нила Яковлева Сизова впервые вызвали к прокурору Муравьеву.

Белино вдруг засуетился. Он бормотал что-то о мерзости жизни, что всякое, мол, бывает, что он, корнет, сделал то, чего не сделать не мог, а Сизова ему ужасно жаль, однако теперь уж ничего не воротить...

Нил не слышал корнета. Одно думал: от тряски дрожек по мостовой пистолет может выстрелить. Сизов не о телес-

ных страданиях думал, нет, об унижительной постыдности такого ранения — крупнокалиберный пистолет, начиненный рубленым свинцом, был упрятан там, куда совестились заглядывать хранители державной безопасности: промеж ног.

Не обыск и даже не роковая минута покушения на Муравьева ужасали Сизова, а пролетка, где ему придется «отсиживаться» на оружии со взведенным курком, который каждое мгновение может...

В длинной комнате с длинным столом, предназначенной для обысков, Сизов предстал не надзирателям и даже не дежурному тюремному офицеру, а почему-то жандармскому, хотя чины корпуса жандармов вовсе не обязаны были, «получая» арестантов, осматривать их.

Обыск был небрежным, Сизов такому удивился бы, когда б не занимавший все его мысли пистолет.

В пролетку сел он, как стеклянный. Вместе с офицером и унтером выехал на улицу и притаил дыхание. Он не замечал ни прохожих, ни домов, ни вывесок, ни очень большого неба, словом, ничего из того, что с такой жадностью ловит любой арестант.

Поездка «среди мира вольного» всегда коротка арестанту. Не наглядись, хоть и голова уже кругом, не надышись, хоть уже и хмельной от воздуха и ветра, от светлого света.

А Нилу поездка была нескончаемой. Он сидел прямой, как в кирасе, как в корсете, пружинил мускулами ног, унимая беспрестанные толчки. Лицо его было искажено. Он был противен самому себе.

Жандармский офицер что-то сказал. Нил не понял, не отозвался. Офицер о чем-то напомнил ему. Нил опять и не понял, и не переспросил, а только смутно уловил в голосе офицера знакомые нотки — веселые, нагловато-дружелюбные.

Но вот, миновав гулкий сумрак башенных ворот, площадь миновав, пролетка покатилась медленно, подчиняясь нешибкому движению других экипажей и колясок, которых было немало в этом внутреннем обширном дворе. Нил перевел дыхание и увидел здание с громадным куполом. Купол венчала корона. Шесть крупных грозных букв означались на короне. Шесть букв, похожих на орудия пыток или разновидности виселиц. Холодно, как сталь, голубея, они слагались в слово, беспощадное, как секира: «ЗАКОНЪ». То была бастилия юстиции — здание судебных установлений.

Однако ни самое здание, действительно величественное, ни серьезные, важные или озабоченные господа, мундирные

или партикулярные, ни эти апартаменты с тяжелыми дверями, лепными потолками и люстрами, с навощенным паркетом, ничто не занимало Сизова. У него болела поясница, дрожали мускулы ног. Он шел неловко, скованно, но теперь это уже не ужасало и не унижало его, теперь он опасался, как бы офицер или унтер не обратили внимания на странность его походки.

Сизов отчетливо сознавал близость минуты покушения, как сознавал, что ждет его после покушения, но и выстрел в Муравьева, и приготовления к казни, и видение эшафота — все это проносилось стороной тенью, и Сизову хотелось лишь поскорее выпростать пистолет, сунуть в карман, под широкую, распоясочной блузу.

— Осади, малый, — весело скомандовал жандармский офицер. — Достиг ты желанного берега.

Они были в приемной прокурора московской судебной палаты. Молоденький чиновничек, ни дать ни взять вербный херувимчик, взглянул на Сизова и опять зашелестел бумагами. Два курьера — почтенные, в медалях — прямо и важно сидели на амбирных стульях.

— Смотри мне, — все так же весело продолжал офицер, — смотри не хамай, как в камере. Не то я поговорю с тобой по-своему. Понял?

— Как не понять, ваше благородие, — отвечал Сизов, словно заражаясь офицерской веселой насмешливостью. — Мне бы вот только нужду справить.

Капитан рассмеялся.

— Знаю я, брат, твою нужду, не забыл. — Он опять рассмеялся. — А, впрочем, валяй: отсюда не удерешь. — Капитан достал портсигар: — Угощайся. В сортире покурить — одно удовольствие.

И тут-то Нил вспомнил, все вспомнил: погром заводской конторы, жандармский дивизион верхами и этот вот фартовый капитан, у которого он тогда тоже просил дозволения справить нужду.

Сизов взял папироску, улыбаясь и поводя плечами.

— Благодарствуйте, ваше благородие. Дай Бог здоровья. Редкий вы господин, право слово, редкий.

— Ладно. Будет лясы точить. Ступай.

Ватерклозет аптечно белел фаянсом. Посреди мраморного пола — для смеха, что ли? — изображен был черный навозный жук. Сизов ухмыльнулся и выпростал пистолет. И сразу почувствовал себя ладным, подвижным, до удивления беспечным. Он переложил пистолет в брючный карман и потряс, растопыривая, широкую свою блузу. Вроде бы все аккуратно получилось.

Нил не торопился. Он влѣсть подымил папирской. Докурил до горечи, до мундштука, еще пошевелил плечами, чтоб блуза сидела вольнее, и вышел из ватерклозета. Капитан и унтер (только сейчас Сизов заметил, какой здоровяк этот унтер) повели Нила в кабинет прокурора.

Нил шел свободно. «Целясь, смотри ему в глаза», Так Флеров писал. В записке. В той, что принес Белино-Бржозовский. Отставной корнет, их благородие, светлые клетчатые брючки.

Капитан отворил дверь в кабинет, пропустил вперед Сизова. Опершись об огромный письменный стол, Муравьев привстал с кресла. Глаза его показались Нилу белыми, как клозетный фаянс. И, глядя в эти глаза. Сизов скользнул ладонью в карман с пистолетом.

Ему дали выхватить револьвер. И тотчас унтер таранным ударом опрокинул Сизова навзничь. Выстрел грянул в потолок. Посыпалась штукатурка.

— Плохо стреляешь, малый, — рассмеялся жандармский капитан и легонько пнул Сизова сапогом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

На ущербе августа Зизи и дети отправились из калужского имения в Петербург, а Вячеслав Константинович пожелал обозреть подмосковную, недавно благоприобретенную.

В Москве была пересадка, выдалось несколько праздных часов, но г-н Плевѣ, не терпевший праздности, знал, куда себя деть. Он уже наперед все расчислил и теперь, в Москве, пригласил товарищески отобедать Муравьева Николая Валерьяновича.

Они были питомцами Московского университета, случилось им вместе служить, оба отдавали должное друг другу. В своем старшем собрате находил Николай Валерьянович ясный ум, бездну трудолюбия и недюжинный темперамент, хотя и скрытый внешней бесстрастностью. В свою очередь Вячеслав Константинович ценил выдающийся юридический дар Муравьева, его образцовые ораторские способности и говаривал, что завидует московским студентам, которым нынешний московский прокурор взялся читать курс уголовного судопроизводства.

Разумеется, оба замечали и «пятна на солнце». Г-н Плевѣ порицал некоторую беспорядочность в личной жизни г-на

Муравьева. А г-н Муравьев порицал несколько болезненное самолюбие г-на Плева, которое, очевидно, объяснялось, выражаясь по-старинному, худородностью нынешнего директора департамента.

Муравьев не ошибался. Худородность была Вячеславу Константиновичу вечной занозой, саднила ему сердце; в глубине души г-н Плева завидовал фамильной громкости Муравьевых; признаться, он даже немножко злорадствовал, когда Николаю Валерьяновичу после смерти бездетного дядушки не достался титул графа Амурского.

Все это, впрочем, не мешало обоим юристам поддерживать отношения добрые, насколько таковые вообще доступны людям, делающим карьеру на государственном поприще...

Москва еще не развеяла духоты и вони протекшего лета, и Муравьев с Плева расположились в загородном ресторане «Мавритания», под щедрой сенью Петровского парка.

Плева заказал суп тортю, соус бордлезо, филе из куропаток с трюфелями и саваран с фруктами. Заказав, намекаяще улыбнулся сотрапезнику:

— Отобедаем по-царски.

Муравьев неопределенно шевельнул бровью. Плева опять улыбнулся намекаяще:

— Буквально, Николай Валерьянович. В прямом смысле.

Откинувшись, пристраивая крахмальную салфетку, он рассказывал, как ему посчастливилось обедать в Арсенальном зале Гатчинского дворца: «Пять персон. Их величества, фрейлины Голенищевы-Кутузовы и ваш покорный слуга-с».

Бывший петербургский начальник Муравьева завел свою речь, конечно, не ради пустого бахвальства, а с умыслом. Но с каким, Муравьев решительно не догадывался. И ждал чего-то вроде подвоха. Это не было мнительностью. Муравьев в последнее время опасался неприятностей. Он опасался их с того самого дня, как Сизова «отобрали» для департамента полиции. Там Сизовым, как выяснил Николай Валерьянович, занялись майор Скандраков и прокурор Котляревский. Майора Николай Валерьянович не боялся, полагаясь на его профессиональную «скромность». Муравьев боялся Котляревского: «Враг, язва, субъект несноснейший!» К тому же Котляревский действительно пострадал от революционеров — глаза лишился. Ох, как одноглазый циклоп, должно быть, зол на него, Муравьева, который хотел задешево поднять свои акции.

В сущности, прямые служебные неприятности за эту историю с лжепокушением не грозили. Лишь бы она не дошла до

сведения царя. Тут приходилось считаться с особенностями августейшей натуры. Император, например, не желал читать писем, перлюстрированных в «черном кабинете». Отмахивался: «Мне этого не нужно». Признавая важность политического сыска, он, по слухам, брезговал провокацией. Человек примитивный в государственном смысле (хотя житейски сметливый) он чугунно-твердо верил, что правит по праву, а потому и не нуждается ни в чтении чужих писем, ни в услугах дегаевых. То есть они-то — и «черный кабинет», и агенты-провокаторы, — конечно, нужны, как нужны золотари, но порядочным людям все-таки надобно держаться подальше.

Вот эти-то черточки государевой натуры беспокоили Николая Валерьяновича. Когда Плевэ заговорил об Арсенальном зале, Муравьеву почему-то подумалось: уж не довели ли до сведения его величества недавнее происшествие в кабинете прокурора московской судебной палаты?..

Даже будучи в отпуске, свежая и молодея в деревенской аркадии, Вячеслав Константинович не порывал связи с департаментом. Глава тайной политической полиции ни на день не должен выпускать вожжи. Не потому, что лошади могут понести или шарахнуть (лошади достаточно послушны и выезжены), а потому, что неровен час на облучке может очутиться другой кучер.

Обо всем, что творилось в сумраке, сокрытом от непосвященных, г-на Плевэ письменно, через фельдъегерей-курьеров, регулярно и толково, то есть кратко, вразумительным «экстрактом», извещал неутомимый чиновник особых поручений майор Скандраков.

В общих чертах Вячеславу Константиновичу было уже известно и недавнее московское происшествие: при ревностном участии местных жандармов и уголовного, отставного корнета Белино-Бржозовского, талантливый Муравьев инсценировал покушение на самого себя... То, что покушался не революционист Флеров, а какой-то безвестный Сизов, было чистой случайностью. Просто Скандраков по неведению вытребовал Флерова в Петербург раньше срока — ради «полноты» дела о столичной Рабочей группе. Бутырки Муравьев посетил нарочито, не для прокурорской ревизии, а затем, чтобы распалить другого кандидата на лжепокушение, этого самого простофилю мастерового... Впрочем, частностями г-н Плевэ не тяготил свою память, и без того достаточно нагруженную. Нравственная сторона происшествия ничуть его не возмущала.

Другое, совсем другое извлекал Вячеслав Константинович из недавнего московского происшествия. Он имел свои

виды на Николая Валерьяновича. Даровитость московского прокурора, его фамильные и дворцовые связи сулили Муравьеву высокий полет. А г-н Плева взял за обыкновение крепить дружество с соколами еще до того, как те взвиваются орлами... Николай Валерьянович сейчас не совсем в своей тарелке. Стало быть, момент очень подходящий. Но пока...

Пока Вячеслав Константинович, как бы подготавливая Муравьева, повествовал об Арсенальном зале: «Обедали по-семейному... Их величества были чрезвычайно радушными... Государь изволил заметить: «Мы не знали всего о Судейкине...»

(Как в загородной царской резиденции, так я теперь, в загородном московском ресторане, имя покойного инспектора не было произнесено попросту.)

Вячеслав Константинович посетил Гатчину и удостоился приглашения к императорскому столу именно в те дни, когда «сферы» волновала статья «Таймс»: «Заговор на жизнь графа Толстого». Многие, увы, слишком многие поверили, что директор департамента тайной полиции приложил руку к этому чудовищному заговору на своего министра. Резче прочих высказался о Плеве всемогущий Победоносцев, обер-прокурор Синода: «Подлец!»

Редкостной удачей было то, что Вячеславу Константиновичу удалось почти тотчас проскочить в Гатчину. Ему повезло: граф Дмитрий Андреевич хворал, товарищ министра Оржевский отлучился в Шлиссельбург, поглощенный устройением новой тюрьмы, и в Гатчину с очередным докладом попал он, директор департамента. (Правду сказать, он тогда еще больше был не в своей тарелке, чем теперь Муравьев.)

Г-н Плева, достаточно изучив государя, избрал тактику прямотушия. «Таймс» цитирует нелестный отзыв Плева о дубовой реакционности старика графа? Весьма вероятно, что он, Плева, когда-нибудь в присутствии Судейкина неосторожно обмолвился о каких-либо текущих распоряжениях Дмитрия Андреевича. Однако ведь не секрет: почтенный граф, столь много потрудившийся на своем веку, дряхлеет час от часу. Увы, законы естества...

(Одряхление заслуженного министра не было новостью императору Александру. Передавали, что старик порою «спрыгивает с ума» и мнит себя... лошадию. Злые языки не скупались на выразительные подробности; их можно было выдумать, но их нельзя было забыть. Передавали, что граф однажды совсем «олошадился» и крикнул слуге: «Человек, порцию сена!» Увы, законы естества... Этот Плева отчасти прав.)

А «этот Плев» пошел дальше. Конечно, основываясь на лживой статейке «Таймс», можно сменить директора департамента полиции, хотя, видит Бог, у него, Плев, совесть чиста. Но, повинувшись высочайшей воле, он удалится. Однако его отставка несомненно произведет в глазах всей Европы невыгодное России впечатление. Дело совсем не в нем, не в тайном советнике фон Плев. Отставка лишь подтвердит правоту зловерного автора «Таймс». Отставка будет означать, что в недрах тайной полиции, хранящей царя и отечество, такое неблагополучие, что и вымолвить страшно.

«Этот Плев» опять-таки оказывался прав. Открыто признать такое неблагополучие не мог позволить себе даже тот, кто мог позволить себе все. Недалекий и небыстрый ум императора Александра уяснил намек директора департамента полиции. Ради собственного престижа следовало похерить разоблачения «Таймс».

Но все ж статья произвела на Александра известное впечатление. Плев нажимал на «досужие вымыслы», на «козни тихомировской шайки», на «пакости иуды Дегаева». Государь, соглашаясь, опасливо подумывал о честолюбцах типа покойного инспектора. Плев, по мнению Александра, тоже был чрезвычайно честолюбив. Покойному Судейкину напрасно не давали настоящего хода... И государь император, отпустив с миром директора департамента, нашел не только возможным, но и полезным назначить фон Плев еще и сенатором...

Сейчас, в ресторане, принимаясь за куропатку, Плев припоминал вслух лишь то, что хотел вспомнить для Муравьева. Нарочно пространно развивал замечание императора: «Мы не знали всего о Судейкине...» Муравьев уже сообразил, куда клонит Плев. Ведь Судейкин тоже замышлял покушение на самого себя, замышлял в карьерных целях, именно это-то и претит государю... Ах Боже ты мой, Боже ты мой... Но из спокойных, точных, будто отмеренных и взвешенных слов Вячеслава Константиновича Муравьев понял вдобавок еще и то, что роль его бывшего начальника по санкт-петербургской судебной палате чрезвычайно возросла и что самое лучшее немедленно дать понять г-ну Плев свою безусловную приверженность.

Прокурор сделал большее. Он не только заверил Вячеслава Константиновича в давней, неколебимой, искренней симпатии, но я предложил идею, осенившую его в ту минуту, когда Плев говорил, что статью в «Таймс», очевидно, инспирировал Тихомиров.

Идея была сомнительной с точки зрения юридической, зато соблазнительной с точки зрения практической. Однако Плевел осадил прожектера:

— А Гартман?

Муравьев как поперхнулся. Упоминание о Гартмане было неделикатным, но справедливым.

Гартман — народоволец, участник одного из покушений на Александра Второго — бежал во Францию. Муравьева снарядили в Париж: требовать его выдачи. Николай Валерьянович, блестяще изъяснявшийся по-французски, ревностно обивал пороги дипломатов и префекта. Однако вернулся не солоно хлебавши.

Упоминание о Гартмане было неделикатным. Муравьев, скрыв досаду, вдумчиво сказал:

— Времена меняются. Наши теперешние сношения с Французской республикой... — И он пустился в рассуждения, достойные Галейрана или Меттерниха.

Подали саваран с фруктами. Плевел, берясь за сладкое, сказал:

— Вы же знаете эту прекрасную даму — общественное мнение. Пресса, парламент... — Он вздохнул, не то жалея Францию, не то от сытости. — Да-с, мы бы разом отсекли чудовищную голову. По моим сведениям, этот человек все еще верховодит, нельзя ни за что ручаться, пока он в Париже. Правда, есть еще эмигрант Плеханов, но тот, слава Богу, не террорист. А Тихомиров... Эх, вашими бы устами, Николай Валерьянович, да мед пить. Однако сложно, трудно. Пожалуй, и вовсе неисполнимо.

Но хотя идея была отвергнута, Муравьев чувствовал, что высказался кстати, и посему счел удобным просить Вячеслава Константиновича умерить возможное злоречие одноглазого Котляревского и уж заодно как-нибудь отделаться от «этого дурачка Сизова».

Плевел благожелательно промолчал. «Вот что значит обстоятельства времени и места», — удовлетворенно подумал Муравьев. Почти удовлетворенно думал и Плевел: библейский Саул дал дочь Давиду: «Она будет ему сетью»; Котляревский, Сизов — какие пустяки! Вячеслав Константинович «отдаст» их Муравьеву, и они будут Муравьеву сетью. Соколов надо приваживать еще до того, как те взвиваются орлами.

В парке легко дышалось. Дворец освещало тихое солнце. Из-за деревьев доносилась полковая музыка. Музыка придавала шагам пружинность. Плевел и Муравьев ощущали радость бытия, какую ощущают после хорошего обеда с хорошим вином и хорошим, понятливым собеседником...

На другой день Плеве был в подмосковном имении.

Имение лежало неподалеку от станции Подсолнечное Николаевской железной дороги. В полутора верстах проселком грустило заброшенное водохранилище, которое уже называли Сенежским озером; там звучно всплескивали линии и шуки весом чуть ли не в дюжину фунтов.

Рыбалки не будили в душе Вячеслава Константиновича атавистические инстинкты. Да и охотиться он не любил. Плеве со времен своего невзрачного отрочества не любил больших бар. Втайне он даже мстительно радовался разорению старинных родов, хотя теоретически скорбел об упадке дворянства.

Вячеслав Константинович не проживался: ему нечего было проживать. Вячеслав Константинович наживался: ему было что наживать. Он клевал по зернышку, осмотрительно и методически. Его не интересовала пейзажная лирика; его интересовала прозаическая экономика.

Он не доверял, а проверял. В Петербурге, в домашнем своем кабинете директор политической полиции хранил большие гладкие разграфленные листы в крупную клетку: ведомости удоя коров, ведомости продажи картофеля, ведомости продажи зерна.

Хозяйство близ Подсолнечного Плеве купил, что называется, в ходу. Правда, лес рос не строевой, а дровяной. Но Москва пожирала пропасть дров, и лес тоже приносил доход. Окрестные луга покрывались обильным травостоем, пашни родили хорошо.

Усадьба была полной чашей. Барский дом на каменном фундаменте, намертво схваченном первоклассным португальским цементом. В доме тринадцать просторных, светлых комнат, людские и кухня, два отхожих места, одно господское, ватерклозет, другое для прислуги — люфтклозет. А в парке — флигель, цветники, пруды, ручей, перегороженный плотиной. Ну и, конечно, строения: конюшни выездных и рабочих лошадей, амбары и ледник, сараи и скотный двор. На скотном дворе сенатор озаботился устройством теплой избы для телят.

Вячеслав Константинович ревизовал тщательно. Он был доволен. При этом его вовсе не тянуло влезть в старосветский халат. Подлинная жизнь, несмотря на всяческие тревожения, кипела не среди полей, не под открытым небом, а в столичной густой атмосфере, среди фразной публики. Однако государственное поприще представлялось бы слишком неустойчивым, не будь подмосковных, калужских, костромских. Не латифундии, конечно, но все же крепкий

фундамент, схваченный портландским цементом. Домашняя независимость обеспечивает и некоторую служебную независимость.

Сладость этого тылового «обеспечения». Плеве особенно восчувствовал после статьи в «Таймс», осветившей не только замыслы Судейкина, но и его, Плеве, союз с покойным инспектором.

Еще в декабре, когда был убит Георгий Порфирьевич, а Дегаев сбежал, Плеве предвидел нелегкие испытания. Он сумел выйти из них сухим. Почти сухим. Нет, совершенно сухим.

Он не опустил головы даже перед графом Дмитрием Андреевичем. Старик и прежде был пуглив, «Таймс» Толстого ужаснула: правая рука министра направляла бомбу, назначенную министру! Его мутные, с желтизной глаза избегали Плеве: о-о-о, какие демоны бушуют в душе тайного советника! Толстому было страшно, хотя он поначалу и нападал. От нападения соскользнул к укорам, от укоров — к намекам на свою недалекую отставку по причине преклонных лет и слабости здоровья. Он задабривал, сулил министерское кресло.

Плеве, как и в Гатчине, не сделал faux pas¹. Не возражал, не уверял, а молча, холодно, непроницаемо выслушал обвинения и хныканье старого графа. Потом почти презрительно пожал плечами: «Ваше сиятельство, к сожалению, многое видит искаженно. Если угодно, я буду просить отставки». Геморроидальному сутяге некуда было деться, он протянул директору департамента свою дряблую руку с выхоленными, но грубыми ногтями.

Сохранив лицо, Плеве продолжал служить. Однажды и навсегда была заведена стальная пружина мерного подъема на вершины власти. Ни богатство, ни семья, которую он любил, не могли заменить эти горние вершины. Он не думал злодействовать, как не думал и творить добро. И сказал Господь: «Слова ничего не значат». Пусть словами «добро» и «зло» пробавляются попы и моралисты. Господь сказал: «Слова ничего не значат, я взираю на сердце человеческое». Ну что ж, пусть анатомы взирают на человеческое сердце. Власть — это и не добро, и не зло, и не сердце. Власть — это все в этом мире, где все ничто.

Г-н Плеве отнюдь не желал видеть страну нищей и темной. Он желал родине процветания и могущества. Процветания в теплых избах для телят. А могущества — воен-

¹ Ложный шаг (франц.).

ного. Лишь оно внушает уважение. Но свободы г-н Плеве отечеству не желал.

Зачем? Раб, нахлобучив фригийский колпак, остается в душе рабом. Что ужаснее, что нелепее разнузданного зверя? Вчерашний раб, правящий рабами, что может быть хуже для самих рабов? Кажется, еще в притчах Соломоновых сказано, что земля сотрясется от раба, сделавшегося царем.

Плеве никогда не сомневался в необходимости неослабного полицейского сыска. Нигилизм — это род казачества. Он возникает и исчезает, исчезает и возникает. А сыск и дознание должны действовать.

Пока они действовали изрядно. Во всяком случае, если верить письмам Скандракова. А верить им можно. Г-н Плеве не оплошал в своем выборе. Чиновник особых поручений не зачумился чиновничьей привычкой говорить начальству одно лишь приятное.

Можно и должно верить Скандракову. Дело движется к развязке. Но пока вожак в Париже, пока там, во Франции, этот человек, виновник статьи в «Таймс», до тех пор не уснешь спокойно.

За обедом в ресторане «Мавритания» Муравьев верно указал, где «болит». Тихомирова изъять необходимо. Чем скорее, тем лучше. И ничего иного, кроме способа, предложенного Николаем Валерьяновичем, г-ну Плеве пока не подворачивалось. Ироническое замечание о трудности иметь дело с республиканцами, намек на фиаско с Гартманом он сделал лишь затем, чтобы охладить Муравьева. Пусть не чувствует, что квит: дескать, вы мне притушите нежелательные разговорчики о провокации, о лжепокушении, а я вам, извольте-ка, идею-с. Нет, милостивый государь, считайте-ка себя должником. И неоплатным.

Вот только поэтому, обедая с Муравьевым, г-н Плеве и прикинулся: дипломатический, мол, проект изъятия вожака террористов труден, почти неисполним. Только поэтому. А, по правде, предложение московского прокурора сильно заинтриговало г-на Плеве. И, собираясь в Петербург, он уже размышлял, как нащупать почву через министерство иностранных дел.

Ясный выдался день, когда г-н Плеве велел заложить коляску. В прекрасном расположении духа уехал он на станцию Подсолнечное. Так уж хорошо ему было, так отраднo, что замечал он и огромное, кованой сини небо, и темноликие пашни в окладах из золота берез, и даже мужиков, сымавших перед барином шапки.

Летом Скандраков обычно гостил у брата, севастопольского интенданта. Перевод в Петербург, внимание государя к следствию об убийстве Судейкина, перерастание этого дела в другое, более крупное и совсем не частное, — все вместе оставило Александра Спиридоновича в городском плену.

Правда, в петровской столице не так благоухало, как в столице допетровской, и мухи вроде бы реже докучали, и дожди вроде бы чаще перепали, но все равно рыхлый, одышливый майор извелся от жары и пыли. Все бы из рук вон, когда бы не департаментские успехи, о которых майор исправно и правдиво извещал своего начальника.

Арест на Пушкинской позволил многое узнать от членов Рабочей группы, людей желторотых и необстрелянных. За «известным Флеровым» установили слежку, потеряли в Питере, нашли в Москве и, высветив тамошнее окружение, взяли в трактире у Тверской заставы.

В Рабочей группе подвизалась некая Франк. Ничего не стоило стреножить легальную жительницу Песков, слушательницу врачебных курсов. Ходатаем за девицу перед полковником Оноприенкой явился майор Скандраков. Майор просил воздержаться от меры пресечения: означенная Франк имеет честь быть невестой «известного Якубовича». Якубович пребывал в нетях. Но за его Розочкой наблюдали неусыпно.

Розочка была цветиком. Ягодкой оказался Греков. Тут веревочка вот каквилась: Якубович дал в Киеве своему приятелю Шебалину редакционный адрес «посредника» Грекова. Этот адресок выудили из бумаг арестованного Шебалина. И тотчас всю дальнейшую корреспонденцию на имя ничего не подозревавшего журналиста стали перлюстрировать, то есть просматривать и снимать копии в «черном кабинете», в той комнате за семью печатями, что во втором этаже санкт-петербургского почтамта.

Греков еще долго бы оставался на травке, если б не потекла к нему особенная почта из парижского источника, отправленная «Стариком». А «Стариком», по свидетельству заграничной агентуры, величали самого Тихомирова. В департаментской «Записке для памяти» говорилось, что «роль Тихомирова в партии и в настоящее время остается первенствующей». Судя по копиям, представленным «черным кабинетом», Тихомиров через Грекова обращался не к мелюзге, но к человеку крупному, хорошо и давно ему знакомому.

А в той же «Записке для памяти» Александр Спиридонович читал:

«Весною нынешнего года, ввиду расстройств партии, произведенного Дегаевым, Тихомиров думал лично прибыть в Россию, но впоследствии изменил намерение и по всей вероятности послал для переговоров и организации сообщничества Германа Лопатина».

Не Лопатину ли, думал Скандраков, и поступают через Грекова доверительные послания из Парижа? Если так, то здесь-то и начинало перерастать важное, но частное дело об убийстве Судейкина в нечто более значительное и совсем не частное.

Майор колебался: брать Грекова или не брать? Сам-то по себе журналист был весьма безобиден. Колебался майор не из-за Грекова. Очень соблазняло прихлопнуть Лопатина в момент, когда тот придет в редакцию за письмами. Но Лопатин не приходил. И майор склонялся к тому, что заграничная агентура ошиблась.

Загадку мог разрешить, пожалуй, лишь Греков. Майор сказал об этом Оноприенке. Полковник не замедлил распорядиться, а жандармы не замедлили нагрянуть на Васильевский остров.

Многих арестованных повидал на своем веку Александр Спиридонович. Но Греков удивил даже Скандракова. Удивил мгновенной и совершенной готовностью вывернуться наизнанку. Греков сидел на стуле, уронив, как ненужные, длинные руки, лицо его, и без того вытянутое, словно при рождении защемленное акушерскими щипцами, теперь вытянулось как в кривом зеркале. Ни майору, ни Котляревскому не пришлось пускать в ход ни один из своих многочисленных и разнообразных приемов «добывания истины».

— Роковая ошибка, господа, — уверял Греков.

Уверял не в том, что ошибочен арест, а в том, что ошибочно его пособничество преступному сообществу.

— А все из-за глупейшего знакомства с одним студентом. Он-то за границей, а я вот... Нет, какие там оправдания! Легкомыслие, бесхарактерность. Я этим, господа, с детства отличался. Матушку спросите. Она одна у меня. Вдовеет, на Петербургской живет, на Гатчинской. Легкомыслие, бесхарактерность: совестно было отказать в содействии. Заблуждение, господа, роковая ошибка...

Рассказал Греков, как он догадался, кто такой «милый Герман», и как Флеров не то чтобы подтвердил, но и не опроверг его догадку... Скандраков расстроился: черт подери, не следовало брать Грекова, а следовало караулить, когда Лопатин к нему явится.

«Да-с, Александр Спиридонович, поторопился ты, слезшил». (Промах свой он не скрыл от Плеве.) Обозлившись на себя, Скандраков еще пуще обозлился на Муравьева.

В самом деле, вот у кого была возможность овладеть опаснейшим преступником. Так нет, Муравьев согласился упустить Лапатина. Дал Лопатину свидеться с червонным валетом, этим уголовным Белино, а потом позволил мирно удалиться. Дурацкое «покушение» предпочел государственным интересам. Какое вопиющее отсутствие высших идей даже у высокого представителя власти!

Негодование майора душевно разделял Котляревский. Собственно, это он, недруг муравьевский, докопался до «собаки», зарытой в путаной истории фальшивого покушения. «Положим, — думал Скандраков, — Михаил Михайлович тоже, знаете ли, не радел о высших интересах, говорила в нем личная неприязнь. Однако негодует на Муравьева справедливо».

Майор и Котляревский серьезно вознамерились вывести московского цистерона на чистую воду. Но тут вернулся в Петербург директор департамента. Вячеслав Константинович имел конфиденциальные беседы с чиновником особых поручений Скандраковым и прокурором судебной палаты Котляревским. И обличители увяли.

Александр Спиридонович страдал. Он понял, что и г-н Плеве подчас не очень-то печется об интересах державных. В сущности, ничего поразительного: «Все мы люди, все мы человеки». Но Скандракову было больно освободиться от надежды на беспристрастие и нелицеприятность деятелей экстра-класса. Он внушал себе, что Вячеславу Константиновичу «виднее», что у директора какие-то соображения, ему, Скандракову, недоступные. То были гипнотические внушения, к которым в минуты трудных сомнений прибегают чиновники, искренне преданные своим обязанностям.

Если тут Скандраков успел, то в другом нет: он не прощал своей покорности чужой воле. Не прощал, но я не пытался противопоставить чужой воле, начальнической, свою убежденность. В этом-то и была его душевная неустойчивость.

Единственное, в чем сейчас Скандраков видел возможность сохранить собственную верность высшим интересам, было дело Сизова-младшего.

Александр Спиридонович, можно сказать, выцарапал Сизова из Бутырской тюрьмы. Муравьев противился. Майор пустился на заведомую ложь: дескать, Сизов участвовал в убийстве инспектора Судейкина. Такой ключ подходил ко

всем дверям. Муравьев капитулировал. Сизов «переселился» в Питер. В дом предварительного заключения.

Никакого «соучастия» Скандраков и не предполагал. За Сизова-младшего он принялся так же, как в свое время за Сизова-старшего. (При этом Скандраков, надо отдать должное, не помышлял о мести ближайшему родственнику того, кто нанес ему тяжкое ножевое ранение.)

Как и прежде, в свои московские годы, Александр Спиридонович интересовался «рабочим вопросом». Как и прежде, он усматривал в безотчетном отрицании этого «вопроса» глупость, чреватую чудовищными последствиями. Как и прежде, он удивлялся слепоте публицистов — левых ли, правых ли, — твердивших, что «наш безземельный класс», в сущности, те же мужики, а не пролетарии европейского пошиба.

Правда, Скандраков не размышлял на тему — быть или не быть в России капитализму, зато много размышлял на тему — быть или не быть в России городским, фабрично-заводским беспорядкам. Собственно, они уже были, и проблема (по Скандракову) заключалась не в огульном, безоглядном подавлении их, а в том, чтобы эти беспорядки ввести в русло порядка.

Александра Спиридоновича не покидали проекты устройства всяческих сообществ, ассоциаций, читален, гимнастических и музыкальных ферейнав.

Главное (по Скандракову) было не столько в том, чтобы постоянно наращивать наблюдение за мастеровым людом, и не в том, чтобы в промышленных заведениях постоянно и неусыпно торчали наблюдатели, унтеры жандармского корпуса. Главное (по Скандракову) заключалось в том, чтобы избавить рабочих от пагубного общения с «испорченными элементами интеллигентного класса», содействовать «нравственному развитию» рабочих во всяких ассоциациях, попечительских обществах, читальнях и ферейнах.

В Петербурге Александр Спиридонович, хотя и загруженный сверх меры, урывал время для знакомства с «рабочим вопросом» еще и по тем материалам, которые он обнаружил в департаменте полиции.

Майор и удивился и обрадовался, найдя эти материалы. Не мелочные, малокалиберные агентурные справки, сводки, доносы и рапорты, а весьма обстоятельные записки о рабочей политике различных западных правительств. Постановления об обеспечении, например, будущности саксонских рудокопов, или строительстве жилищ для рабочих Штутгарта, или, скажем, весьма интересные правила силезской фабричной полиции... Сверх того нашел Скандра-

ков и подборку вырезок из иностранных газет и журналов все по тому же вопросу.

Петербург укрепил Александра Спиридоновича в давно занимавших его мыслях о разрешении «рабочего вопроса». Но в Петербурге, из материалов департамента, Скандраков гораздо яснее, нежели в Москве, понял, какие опасности и какие трудности стояли уже и подстерегали еще на путях этого разрешения.

Тут была и возможность проникновения в общества, созданные силами порядка, сил беспорядка, то бишь все тех же социалистов, нигилистов, революционистов. Тут были и соображения о «печальной практике» подобных обществ на Западе. Тут была и угроза перерождения узаконенных правительством сообществ в незаконные, похожие на пресловутое Международное товарищество рабочих, это исчадие ада, этот кошмар Запада. И, наконец, самое основное, главное из главных: на кого опереться? Кто составит ядро? Вороны в павлиньих перьях не годились: их быстро распознают, они только погубят дело. Все те же участковые и все те же унтеры совсем уж не годились: на них попросту плюнут. Нужны были иные люди: рабочие, пользующиеся доверием рабочих

Высшие интересы государства, полагал Скандраков, настоятельно требуют отыскивать и пестовать таких людей — рабочих, пользующихся доверием рабочих. И Александр Спиридонович всеми силами души, всеми способами желал их отыскивать и пестовать.

Принимаясь за Сизова-младшего, Александр Спиридонович вовсе не намеревался обратить Нила в заурядного секретного сотрудника. Вот так же, в сущности, не хотел он и секретного (заурядного) сотрудничества и от Сизова-старшего.

Они были похожи, тот, неукротимый и мертвый, и этот, апатичный и как будто еще живой. Они были похожи внешне: черные с блеском волосы, сильная стать, легкий наклон головы. На этом сходство Дмитрия и Нила Сизовых кончалось. По крайней мере на взгляд Скандракова.

Александр Спиридонович никак не мог понять своего слушателя. Да полно, слушал ли Нил Сизов? Он не казался подавленным. Он казался безучастным. Его словно бы не было в прохладной и как бы прихмуренной комнате штаба корпуса жандармов. И наверное, не было его в этом Петербурге, притонувшем, как баржа, в осеннем ненастье.

С той минуты, как Сизова скрутили в кабинете Муравьева, с той самой минуты словно бы все остановилось. В

карцере Нил пережил странное озарение: необыкновенно ясно вообразилась ему вся жизнь. Не последовательно и не вперемешку, а вся разом, как в круге.

Такое случается иногда перед потерей сознания, за мгновение до полного притупления всех чувств. И Сизов их утратил. Он даже, кажется, перестал обонять и осязать. А затем, как очнувшись, вновь озирает свое прошлое. Однако уже не в общем круге, не в цельности накопленных ощущений и представлений, а движущимися видениями. Четкими и ясными, строго последовательными. Только не с детских картин, а в обратном порядке. И будто происходящими сейчас.

Напряжение это сменилось, как прежде, притуплением всех чувств. Но теперь оно было почти приятным. Как у того, кто, обессилив, задремывает в сугробе.

Самое непонятное было в том, что из его памяти исчезли мать и Саша, хотя поначалу он много и горестно о них думал. К Скандракову он не испытывал ни приязни, ни неприязни, а его речи не были Сизову ни интересными, ни неинтересными. Он остановился. Он не продолжался. Все для него кончилось, и он для всех кончился.

На прощание Скандраков сказал:

— Я не требую ответа, Нил Яковлевич. Я просто был бы рад, если бы навел вас на некоторые размышления.

Однако Александр Спиридонович не без раздражения сознавал, что вряд ли натолкнул «на некоторые размышления» Нила Яковлевича Сизова. И не потому, что Нил Яковлевич Сизов находился в состоянии, близком к прострации. Не этим объяснялось раздражение Скандракова. Он был недоволен собою. Ему чего-то недоставало. Но чего? Кажется, в его рассуждениях о социализме, о будущности общества, если утвердится социализм, недоставало убедительности, «мыслительного материала». Недостаточность была досадной. Что-то ускользало, не давалось Скандракову. Но Александр Спиридонович не сорвал своего раздражения на Сизове.

Скандраков, прощаясь, сказал:

— Таить нечего — впереди ссылка. Радость, конечно, невелика, однако все ж не каторга... И не то, чего вы, вероятно, ожидали. Наконец, прошу помнить: здесь, в Петербурге, среди тех, кто вам ненавистен, у вас есть друг. Прошу помнить и верить... Где б вы ни были, почта найдется.

И вправду, Александр Спиридонович был убежден, что Сизова, жертву муравьевской провокации, постигнет лишь административная ссылка. Кроме происшествия в Бутырской тюрьме и давнего, мальчишеского побега из заводско-

го сортира, за ним ничего не числилось. Скандраков был убежден: административная ссылка годика на три. Скандраков не знал о молчаливом обещании г-на Плева. О том обещании, которое г-н Плева беззвучно дал г-ну Муравьеву в «Мавритании», под сенью Петровского парка.

3

В ночных допросах была какая-то воровская наглость. Внезапно будили. Не вели — волокли. Встрепанного, мятого, жалкого. Туда, где ждал умытый, иронически-спокойный человек, сознающий свое право быть умытым, спокойным, ироническим.

Скандраков редко допрашивал ночами. Но Росси «дозрел». Что прикажете делать? Росси толкнули к Скандракову, и майор — тотчас:

— Поздравляю! Мы убедились: вы не были на Гончарной в день преступления. Слышите, господин Росси? Поздравляю!

Росси слышал. Не облегчение, не исчезновение кошмара, а как удар по лицу — не оскорбительный, но приводящий в чувство.

— Я знал, — слабо выдохнул Росси. — Слава Богу...

Майор потряс тетрадь. Обычной, с загнутыми углами, студенческой.

— Нашлась, Степан Антонович. Обнаружилась наконец-то в бумагах покойного инспектора. Тетрадь Дегаева! Вы понимаете, господин Росси? Нашлась, голубушка! Тут все! Вы не виновны!

Росси силился понять: какая тетрадь? какие имена? Не понимая и силясь понять, уже ощущал, как ощущают свет, радостный трепет. И уже струилась в душе благодарность за эту нечаянную радость.

— Да, да, да! — воодушевился Скандраков, улавливая это струение. — Ваши руки чисты от крови. Дегаев назвал убийц. Назвал, мерзавец, равно мерзкий и вам, и мне. Назвал, и вот вы спасены. Счастье, что тетрадь нашлась. Ведь если бы...

Скандраков говорил, не переводя дыхания. И где-то как-то, не заметив, сорвался, «пустил петуха», ошибся нотой. Росси растерянно молвил:

— Но... Он не мог их назвать. Не мог.

— Не мог? Почему не мог? Как не мог? — заторопился Скандраков, еще не смекнув, в чем и где сфальшивил.

Росси покачал головой, Скандраков жестко бросил:

— Я спрашиваю: почему не мог?

Росси смотрел покорно. Он будто искал объяснения, хотел его, но еще не нашел слов.

— А! — воскликнул Скандраков. — Вот оно что! Ну как же, как же... Да сообразите-ка вы, да возьмите-ка вы в расчет. — Он опять потряс пухлой тетрадкой. — Вот тут против двух фамилий выставлено: «Nota bene».

— Да? — Росси словно всплывал.

— Да! — Скандраков словно удерживал его на плаву.

Росси помолчал. Потом произнес тоном сожаления:

— Если по совести, господин майор, то исполнителей назначили незадолго. Совсем накануне, а это... — Он указал пальцем на дегаевскую тетрадь.

— А это, — живо блестя глазами, добавил Скандраков, — это наш милый Дегайчик пометил в среду. Понимаете: в среду! За два дня до преступления, совершенного его двумя помощниками.

— Двумя? — вырвалось у Росси.

Скандракову почудилось, что Росси рад этой точности, этой конкретности — «двумя». Но Росси уже спохватился:

— Почему двумя, господин майор?

Поздравляя Росси, Александр Спиридонович ставил силовок. Провоцировал, надеясь на чувство благодарности: ведь Росси, безошибочно полагал майор, окончательно «дозрел» в каземате.

Как и другие следователи, Скандраков предполагал двух (кроме бесспорного Дегаева) участников покушения: Росси и некто еще. И если «южанин» назовет товарища, то надо полагать, потом и товарищ не сочтет нужным выгораживать того, кто его предал.

Но теперь Скандраков знал, что Росси не виновен. Однако невиновность не означала, что Росси не знает дегаевских помощников. Оставалось «трясти дерево».

— Двое, — серьезно и доверительно кивнул Скандраков. — Дегаев стрелял, а те орудовали ломами-пешнями. — И Скандраков поднял два пальца, как рогатку: — Два лома.

«Дерево» сотрясилось. Но еще не роняло «плодов». Росси противился нестерпимому искушению назвать убийц. Пусть и позорно, но покончить с казематной пыткой. Он понимал, что его давняя, провинциальная крамола и незначительная деятельность в Петербурге грозят лишь несколькими годами тюрьмы. Не одиночной, не одиночной... Одиночества не мог он дольше выносить. Он боялся сойти с ума. Мысль о сумасшествии так жгла, так опаляла Росси, что он, быть может, уже не был нормален. И все ж Степан

Росси, изнемогая, противился искушению. Встрепанный, мятый, загнанный, несчастный, чему-то нелепо улыбаясь, он опять робко указал на дегаевскую тетрадь. И спросил тоном слабой надежды:

— Выходит, все известно, господин майор? Ведь известно ж, господин майор? Мне-то зачем называть, а? Выходит, мне-то незачем?

И этого наперед ждал Скандраков.

— Как не понять? — вздохнул он сокрушенно. — Честное слово, ваша молодая наивность... Право, как вы не понимаете? — Он снова вздохнул. — Да поймите же вы, голубиная душа, ведь мне, ведь всем нам уже известны имена. У же, — повторил Скандраков с нажимом. — Но если вы — понимаете, именно вы — назовете, выйдет возможность ходатайства об административном решении, даже до суда не доводя. Сознаете? Принимая во внимание чистосердечность, предварительное заключение, и так далее, и так далее. — И Скандраков выбросил вперед руку с раскрытой ладонью. — Ну так дайте ж мне эту возможность! Степан Антонович, я уж беседовал с вашими почтенными родителями... Дайте мне эту возможность!

Не реальность освобождения, не встреча с отцом и мамой, не ссылочное житье, не они вообразились Росси. Нет, не это, а вот так же, как тогда, в Рождественском госпитале, перед очной ставкой с Коко, всем существом ощутил он перемену воздуха, перемену запахов: сухой вольный воздух; и тишина, не тюремная, а живая тишина, где есть деревья и нет крыс...

И все ж он сделал последнюю попытку: едва слышно попросил у господина майора дегаевскую тетрадь — «позвольте своими глазами». И тогда Александр Спиридонович как придушил Росси словами мягкими, словами бархатными:

— Да ведь вы не знаете его почерка. А потом... Потом зачем вам убеждаться? Ну зачем испытывать судьбу?

Росси понял: Скандраков оставлял ему лазейку. Он, Росси, мог потом убеждать себя, что лишь подтвердил то, что было известно и без него, до него. Лишь подтвердил, а не выдал. Так зачем заглядывать в дегаевскую тетрадь, зачем лишать себя этой лазейки? Только так он мог, хотя б отчасти, спасти самого себя.

Скандраков приблизился к Росси. Тот сидел, опустив голову. Скандраков положил руки на плечи Росси. Была пауза. Минутная пауза. Без мыслей... Скандраков легонько, но властно потряс Росси за плечи. И Росси как уронил на пол два имени, две фамилии.

Скандраков отпрянул. Готово! Удача! Он торжествовал. Торжествуя, был милосерден: поспешно заверил Росси, что признание останется тайной... Александр Спиридонович не лгал. В подобных случаях деятели политической полиции необычайно щепетильны. И в посулах своих Скандраков не лгал: Плеве обещал административную ссылку, если Росси укажет убийц. А г-н Плеве тоже умел держать слово в подобных обстоятельствах.

Скандраков солгал в другом. Тетрадь Дегаева, которую, кстати, искать не пришлось, тетрадь эта содержала множество имен, но те, двое, в ней не значились. Солгал Александр Спиридонович опять-таки из милосердия. Пусть ложь помогла ему самому, но она помогла и Росси: облегчила акт предательства, оставила шанс для утешения совести.

Скандраков взял стул, сел рядом с арестантом, они стали беседовать, и Росси опять чувствовал признательность и благодарность, потому что он, ей-богу, не выдавал, а только поддакивал, только соглашался или только поправлял господина майора, воссоздававшего картину подготовки покушения. Т о л ь к о... А Скандраков опять торжествовал, но теперь уже по иному поводу: он получил награду, которую считал наивысшей для лица, производящего следствие: не избличал, а беседовал.

Но когда Скандраков, словно невзначай, будто вскользь, осведомился, было ли «какое-либо лицо контрольное над Дегаевым в момент подготовки к убийству Судейкина», Росси дрогнул и умолк.

Ему вспомнились дружеские рукопожатия, ласковая кличка «Гарибальдиец», вспомнился энергичный, веселый, обаятельный человек, известный всему подполью, и не только подполью, человек, судьба которого была связана с участью Лаврова и Чернышевского. И Росси умолк.

Скандраков сказал почти печально:

— Полагаю, было такое лицо.

Росси молчал. Александр Спиридонович осторожно, как больного, тронул его локоть.

— Не Лопатин ли? — Прибавил уважительно: — Крупная фигура.

Росси встрепенулся. С каким-то самозабвением, точно спасаясь и очищаясь, принялся восхвалять Германа Александровича. Восхвалять, и славить, и восхищаться, рассказывать о встрече на Большой Садовой...

Домой майор приехал слякотным утром. Ему хотелось думать о чем угодно, лишь бы не думать о минувшей ночи. Дело он провел блистательно. Право, можно было бы гор-

даться. Он не гордился. Он чувствовал усталость, не только физическую, но и душевную. Он подумал, что крест его тяжел, что заглядывать в пропасти человеческой природы могут лишь два сорта людей: либо совершенно преданные долгу, либо совершенно преданные карьере. Он из первых. А таким тяжел их крест.

Финляндец-слуга, привычный к ночным отлучкам прежнего своего хозяина, подполковника Георгия Порфирьевича, держал наготове и печь и самовар. Но Скандраков ни есть, ни пить не стал. Выполоскал пересохшее горло, по пояс растерся влажным полотенцем и лег на диван. «Да-да, — думал он, прикрывая глаза и почесывая подбородок о край пледа, — короткий роздых — и опять, опять».

«Опять» — это департамент с его казенными запахами, бряканьем шпор, с его фраками и мундирами, голосами и звонками, сапогами унтеров и медалями курьеров, стуком тюремных карет.

Он не хотел думать ни о департаменте, ни о допросах, ни об этих хмурых людях, которых нынче назвал Росси. Александру Спиридоновичу нужна была передышка, его мозг пылал, он это чувствовал.

А сна не было. И Скандраков думал о двух убийцах, собственно, не о них, а о том, как надо еще будет доказывать им, что они-то и есть убийцы Судейкина. Доказывать, даже если они и признают себя преступниками. Доказывать, а не навязывать, уличать, а не внушать, вколачивать, а не выколачивать.

Ничего не хотел Скандраков сейчас — ни сопоставлять, ни противопоставлять. Но пылающий усталый мозг сравнивал и stalkивал, искал и находил. Майор лежал с закрытыми глазами. Сна не было.

Александр Спиридонович кликнул финляндца, спросил вина. Выпил залпом, не смакуя. И опять лежал с закрытыми глазами. Сна не было. И дождь стучал не по-московски, не мирно и скромно, а властно и настойчиво.

Скандраков поднялся и, как был, полураздетый, в домашних мягких туфлях, записал весь давешний допрос. Впервые, кажется, подивился он немощи, бесцветности официального слога. Все будто исчезло. Были строки. И не длинно-округленные, как обычно, но сухие и ломкие, как хворост.

Исписанные листы Скандраков присыпал мелким, точно пудра, песочком. Дома он позволял себе этот маленький снобизм: не пользовался промокательной бумагой, а пользовался мелким красносельским песком, который давно вышел из моды.

Потом, несколько помедлив, Александр Спиридонович набросал записочку полковнику Оноприенке, начальнику жандармского управления: он, майор Скандраков, по причине нездоровья не сможет присутствовать на нынешних допросах; хотя и понимает всю их чрезвычайную важность: он, однако, покорнейше просит его высокоблагородие распорядиться о присылке на Гороховую копий с этих допросов.

Все вместе Александр Спиридонович запечатал и подумал, как думал не однажды, что пора бы уж обзавестись собственной печаткой, а не ляпать слепые сургучные бляхи...

День Скандраков провел дома. Облачившись в халат, слонялся из комнаты в комнату, без удовольствия пригубливая сухое эриванское.

Потом стал читать «Ниву». Журнал вывалился из рук. Почему-то подумалось о каких-то лазурных далях, о море, белых виллах. И красивой, скромной женщине. При мысли о женщине сделалось еще грустнее. Что-то очень необходимое разминулось с ним, обошло стороной.

Он двадцать с лишним лет отжил в канцеляриях и прокурорских камерах среди бесконечных входящих и исходящих, секретных и строго секретных, шифрованных и дешифрованных. Перед ним прошли десятки людей, разных и похожих, ушли навстречу своей судьбе, которой не позавидуешь, но которая все же судьба, а он рыхлел, седел и плешивел в канцеляриях, в прокурорских камерах, за пыльными зарешеченными окнами.

Человек не походный, Александр Спиридонович вдруг размышлял о далекой поездке, о каких-то чужих городах, о других совсем людях, которым невдомек очные ставки, секретные сотрудники, статские советники.

Он опять лег и незаметно уснул. Проснулся поздно, почти ночью. На столе желтел пакет. Но Скандракову нынче почему-то тяжело и неприятно было знакомиться с тем, с чем обычно знакомился он и охотно, и быстро, и памятно. Он, однако, принудил себя взять пакет.

Скандраков прочел:

«Я признаю себя виновным в убийстве подполковника Судейкина, бывшего 16 декабря 1883 года в квартире Сергея Дегаева, жившего под именем Яблонского на Гончарной улице. Я был одним из физических участников этого дела».

Второе показание почти не разнилось с первым. Оба — Конашевич и Стародворский — в один день, чуть не в одночасье признали все.

Александр Спиридонович был прав и в том, что вытребовал у киевских жандармов Конашевича, и в том, что у

московских вытребовал «Пухальского», сперва оказавшегося «Савицким», а потом Стародворским, и в том, что «дал созреть» Степану Росси, и в том, наконец, что упросил Плеве административно решить судьбу последнего. Во многом был прав Александр Спиридонович, хорошо потрудился. Он мог быть доволен, счастлив. Как следователь, разрешивший запутанное. Как офицер секретной полиции, исполнивший долг без сучка и задоринки.

Но, должно быть, такой уж выдался Скандракову день — не следовательский, не офицерский, не служебный. И сейчас, дома, в халате, не испытывал Александр Спиридонович ни удовольствия, ни счастья, а испытывал что-то похожее на угрюмую печаль. Опять в душе его протянуло, как боль, желание уехать куда-нибудь далеко, надолго уехать.

Однако мыслью своей он все ж был прикован к тому, о чем читал в бумагах, доставленных из жандармского управления, и он покорно толкал эту мысль, как каторжник тачку.

Конашевич и Стародворский, разобщенные казематными стенами, признали каждый не только свою мрачную роль, но и товарища. Конашевич, говоря о себе, говорил и о Стародворском. И наоборот. И все это без всякого предварительного соглашения. А ведь обоим нельзя было отказать в душевной стойкости. Недаром Александр Спиридонович с первого взгляда определил их «крепкими орешками». Оба отступали с боем, шаг за шагом.

Скандраков особенно оценил волевою мощью Стародворского. «Личность загадочная и характера беспокойного», — определяли гимназические учителя. Рыцарски освободил товарища, которого даже не знал как следует. В Москве был схвачен с бомбами и взрывчатым веществом. Последним покинул квартиру на Гончарной: один, кровью обрызганный, он еще проверил, не осталось ли после Дегаева каких-либо записей (и это его шаги, осторожные, крадущиеся шаги Стародворского, слышал дворник, вызванный горничной из соседней квартиры). Один все проделал, а после — какова натура! — ночь напролет печатал на Большой Садовой листовки-извещения о «казни обер-шпиона империи».

И вот он, день, вот он, час — день и час перелома, белого флага, поднятых рук; Стародворский, признаваясь в убийстве, признает соучастие Конашевича. И наоборот.

Обоим было сказано то же, что он, Скандраков, сказал Росси: есть документ, дегаевский документ. В жандармском управлении не мудрствовали лукаво. Скандраков солгал на словах, там — на бумаге: сунули якобы показания якобы арестованного Дегаева. И эти двое рухнули. Они всего жда-

ли от Дегаева. Они только не ждали его ареста. Откуда было им знать, что Дегаев исчез бесследно? Но они хотя бы должны были предполагать. Нет, рухнули. Расщепило, как ударом молнии. И они капитулировали. Даже не требуя очной ставки с Дегаевым. Вот он, день, после бесконечных дней и часов ожидания виселицы.

Скандраков отшвырнул бумаги. Оделся и вышел из дому. Так, без цели, в ночной дождь, в ропот Адмиралтейского сквера, в пустынную площадь, где вечно скачет грозный конь.

4

На листках отрывного календаря мистер Норрис набрасывал перечень предстоящих дел и встреч. Листки складывал стопочкой. В столе держал брошюру Энгельса о развитии социализма, биографию Кибальчича, «Письмо из Петропавловской крепости». И еще письма. Нынешнего года письма — на тонкой бумаге, с неизменным: «Милый Герман...» И шифрованные из Дерпта, и парижские — от Тихомирова и Лаврова. И еще разные заметки с бездной адресов и имен. И приходно-расходную книжечку. И уж совсем, сдается, ненужные счета гостиниц разных городов России.

Архив соседствовал с арсеналом: увесистые, плотно набитые динамитом жестянки, револьверы американского образца, запалы разрывных снарядов и сами эти метательные снаряды, меченные номером и надписью: «Исполнительный комитет «Народной воли»».

Короче, квартира Лопатина в Шведском переулке вовсе не походила на квартиру, снятую британкоподанным Норрисом, переводчиком, учителем иностранных языков и коммерсантом.

Летом он, как говорил Якубович, апостольствовал. Он вернул «Народной воле» многих заблудших «молодых». Лопатин этого возвращения ждал. И добился.

Возвращения он ждал, потому что «молодая партия», вооружившись негативно против заграничников, не вооружилась, в сущности, ничем позитивным. Она бродила вокруг да около. Пороха не выдумала. Плехановский голос, возвещавший новое слово, возвещавший марксизм, либо вовсе еще не доходил, либо почти не улавливался. А на одном отрицании, пусть и достойном внимания, с места не двинешься.

Герман Александрович объездил крупные города, побывал на бесчисленных конспиративных сходках. Наконец забежал в Дерпт, условился с Петруччо о транспортировке газеты.

Все было на мази. В Петербурге Лопатин взялся готовить второй — после газеты — манифест «Народной воли»: тот, который грянет динамитом.

Динамит предназначался все тому же министру — министру внутренних дел. Граф Дмитрий Андреевич Толстой не обуживал своих попечений: к делам внутренним причислял он и внутреннюю, духовную жизнь общества. Графу Толстому желательно было прекратить ее и запретить. От этих духовных процессов, ядовито констатировал граф, недалеко и до эксцессов.

«Милостью небес, — думал Лопатин, — Россия не сиротеет без людей типа графа Дмитрия Андреевича. Они не убивают трепещущую плоть — убивают трепещущую мысль. Способность мыслить кажется им дурной болезнью. Печатный станок обладает для них лишь одним достоинством — множить ложь. Хоть режь, хоть кол на голове теши, а никогда и ни за что не примут принцип, провозглашенный еще Спенсером: «Думай, что хочешь, говори, что думаешь». Для этих ветхозаветных сановников с мозгами иссохшими, как лежалый грецкий орех, нет ничего несноснее молодежи. Трижды убийцы, они трижды мещане. И, наоборот, трижды филистеры, они потому и трижды душистели.

Ладно, ваше сиятельство, придется «трепанировать бомбой». А потом ваш покорный слуга Герман Александрович Лопатин изволит отбыть в славный город Париж. Надо, понимаете ли, отчитаться перед начальством».

Однако не только и не столько это влекло Лопатина за границу. Два десятка писем, начинавшихся словами «милый Герман», были присланы Зиной.

После разрыва с Германом в душе Зины кипели смятение, чувство унижения и поправленной гордости, ревность, иногда исступленная злоба, ей самой постыдная... Потом, минуло время, исподволь, в какую-то неуследимую минуту повеяло печальным успокоением, печальной отрешенностью. Она еще не выбралась из темной топкой чашобы, но ей уже пробрезжило открытое пространство, какое-то грустное плоскогорье. Зина не искала там никого, кто мог бы заменить хоть как-то, хоть отчасти Германа; нет, не искала; отрада была уже в том, что на душе откипело тяжелое ртутное зелье. И вот открылось плоскогорье. Оттуда, оттуда ласково и властно веяло печальным покоем. Надо было идти. Она двинулась. Правда, тяжесть пережитого давила сердце, но Зина уже пошла, неся в себе эту тяжесть, которая, как она думала, не оставит ее до могилы.

Но вот уж чего ни на миг, ни в один из тех нескончаемых, жутких, точно бы слившихся дней и ночей, вот уж чего не было, так это позыва (свойственного многим, даже отнюдь не банальным женщинам) внушить сыну нехорошие мысли об отце. Не одно лишь умное материнство было причиною тому, но присущее Зине сознание того, что дозволено и что не дозволено.

В Париже в последнее свидание с Лопатиным Зина поняла то, о чем прежде только догадывалась. Однако тогда, прежде, не хотела, не могла принять нечто заложенное в натуре Германа. Все поняла, до конца поняла черным, тягостным парижским вечером. Поняла и — что важнее — приняла: он извечный русский скиталец, живет в нем упрянтанное глубоко-глубоко, неизбывное чувство своей погибельности. И отсюда забубенное, веселое, вьюжное отчаяние.

Все это прихлынуло к Зине как наитие. Мгновенно и уже навсегда прониклась она всепрощением, на какое способны лишь редкие женщины. А он, сдается, и не заметил ее горестного милосердия. Но это уже не имело для Зины никакой важности. И теперь, в письмах, посланных на голгофу, писала она искренне и просто: «Милый Герман...»

Он жадно ждал ее писем. Ждал с большим нетерпением, нежели тихомировских, полных вздыханий и жалоб, и даже больше лавровских. Он был ей безмерно благодарен за эти весточки.

Арест, провал, исчезновение пугали Лопатина лишь при мысли о Бруно. Тотчас возникали картины нищеты, бедствий, болезней. Он знал о процентах с Зининого капиталца, знал, что Зина приработает и медициной, и у издателя Павленкова. Но картины бед и напастей в случае его, Лопатина, ареста преследовали неотступно.

Лопатин не считал себя идеальным отцом, как считают обычно те, кто живет семейно, под одной крышей, — просто мальчуган словно всегда был с ним. Порою Бруно точно бы прятался за спиною или уходил в другую комнату, но никогда не пропадал надолго. Однако ощущение его присутствия не успокаивало Лопатина, но тревожило все сильнее, все явственнее.

В этот день, холодно распогодившийся, в этот день, когда Лопатин получил гонорар за дополнительный тираж переводной книги «Виньетки с натуры», он тоже думал о Бруно. Но думал весело, потому что нынче — вот только закусит где-нибудь — отправит деньги в Париж.

Лопатин шел по Невскому своей покачивающейся походкой, в коротком пальто, широкополой шляпе, в перчат-

ках, в пенсне — самоуверенный подданный самоуверенного королевства.

Увидев кухмистерскую, он почувствовал прилив того здорового голода, который радостно напоминает (если ты при звонкой монете), что на свете жить славно. Дешевые харчевни не годились импозантному иностранцу; об этом товарищи не раз напоминали Герману Александровичу; он острил: «Чем меньше конспирируешь, тем больше конспирация» — и столовался в заведениях низшего разбора.

Кухмистерская взяла у него меньше получаса. Он опять вышел в этот ведренный полдень, опять порадовался гононару и тому, что вот сейчас отправит деньги для Бруно, он уже сделал несколько шагов, как внезапно сзади одновременно и до хруста сжали ему кисти обеих рук и мгновенно вывернули руки за спину, а двое других филеров, гоже здоровенные, как из гвардии, швырнули его в пролетку.

Лопатин закричал. Он кричал и от испуга, и еще потому, что хотел вызвать замешательство, привлечь публику и в суматохе как-нибудь вывернуться. Лопатин так закричал, так забился, что публика действительно мигом кинулась к пролетке. Но филеры не потерялись. Они смяли, подмяли Лопатина. У него затрещала хребет и ребра, у него в глазах потемнело. Он даже не услышал команды: «Пошел! Давай!»

Свистнул кнут, пролетка взяла махом, прыгнули окна домов, наискось, как падая, мелькнула решетка моста. Пролетка поворотила, и тогда Лопатин чудовищным мгновенным рвущим жилы движением сбросил одного филера наземь, ринулся на другого. Однако опять был схвачен и почти задушен.

Пролетка летела рывками, кренилась, подскакивала. Недвижный в вихре, как глаз бури, Лопатин сызнава и быстро наливался силой отчаяния. Ничего не осталось в мире. Ничего, только они, эти проклятые тоненькие листочки с адресами, с фамилиями.

По булыжникам, по домам, по окнам и кровлям летела пролетка, и Петербург летел на пролетку домами, булыжником, крышами, прохожими. Огромное было все, и слитное, и дробное, холодом обдавало и обдавало жаром, беззвучное было и громовое.

Лопатин пошевелился, ощутил чугунные бока филеров. Он посмотрел на тех, что сидели напротив, тоже чугунные, напряженно-багровые. Он будто и не ловил момента. Момент будто поймал его. Резко, как навахи, Лопатин всадил локти в чугунность соседних филеров, наотмашь бросив руки, хрястнул кулаками в их морды и голову по-бычьему саданул тех, напряженно-багровых. Они кувыркнулись, за-

драв каблуки; Лопатин быстро пихнул в рот тонкие листки с записями... Но дылда слева тотчас и намертво заклепал его горло. Лопатин ухнул в оранжевое. Брызнув слюною и кровью, разжал челюсти...

Отверзлись кованые ворота. Сомкнулись плавно и плотно. Встали со всех сторон высокие слепые стены. Опрокинулась тишина. Все было кончено.

Но не мертвые стены, не внезапная колодезная тишина сокрушили Лопатина, а теплый и острый запах взмыленной лошади, тяжело поведившей боками.

Неподалеку от Шведского переулка были старые конюшни дворцового ведомства. И вот так же резко и влажно шибало иногда конским потом в узком и сумеречном Шведском переулке, где был угловой дом и квартира тридцать четыре.

5

Не только корректный ротмистр Лютов, обыскавший квартиру «британца», не только полковник Оноприенко, получивший от ротмистра тугие чемоданы с «вещественными доказательствами», не только прокурор Котляревский, перебиравший вместе с полковником и ротмистром «лопатинское наследство», но и майор Скандраков был поражен добычей, захваченной в Шведском переулке. Она оказалась такой обильной и весомой, что если бы Александр Спиридонович не видел ее и не осязал, то наверняка счел бы глупой жандармской фантазией.

Каждый исследователь обладает собственными навыками исследования. Коллеги припали к адресным материалам, дабы не замедлить акциями широкого масштаба, а Скандраков взял на себя, казалось бы, совсем уж третьестепенное и малосущественное: счета гостиниц, листки отрывного календаря, приходо-расходные записи.

Взял все это он как бы нехотя, от нечего делать, и тем обманул ревнивую подозрительность сослуживцев. Поступил так Александр Спиридонович не для того, чтобы после блеснуть и пройтись фертом, а потому что Лопатин казался ему фигурой экстраординарной, с которой будет интересно и нелегко тягаться. За ходом же следствия, повседневностью допросов решил он до времени наблюдать со стороны.

Уныние недолго владело майором Скандраковым. Правда, не было в нем прежнего вдохновения, однако работал он много, усидчиво в тех же самых канцеляриях, которые ему однажды опостытели.

Появление десятого номера газеты «Народная воля» сильно испортило настроение начальству. Но Александр Спиридонович полагал, что дело не стоит особенного беспокойства: последняя вспышка гаснущего костра.

Продолжая свои занятия, майор косвенным путем (как деликатно именовались агентурные источники) установил, что «известный Якубович» снова в Петербурге, что девица Франк вернулась из Каменец-Подольска, что Якубович после ареста Лопатина, «как в лихорадке», и занимает отныне центральное место в петербургском подполье.

И Плеве, и Скандраков были согласны с тем, что Якубовича, буде отыщется, не надо арестовывать, а надо ему дать «развернуть плечо», а потом уж разом накрыть всю шайку.

Полковник Оноприенко, напротив, считал арест необходимым: «известный Якубович» чрезвычайно подвижен, непоседлив, конспиративен. Вот уж чего никто не ожидал от поэта, кандидата и вообще книжника-идеалиста.

Между прочим, из писем «лопатинского наследства» можно было вывести гипотезу о летнем пребывании Якубовича, хотя письма из Дерпта подписывал какой-то «Александр Иванович»...

Лопатинское дело вел ротмистр Лютов. Скандраков ценил ротмистра: умен, хладнокровен, корректен с арестованными. Лютов в свою очередь отдавал должное майору. Он аккуратно снабжал Александра Спиридоновича нужной информацией, снабжал не только по службе, но и по дружбе.

Признаться, эта информация несколько разочаровала Скандракова: экстраординарная личность держалась на допросах весьма ordinarily. Лопатин попросту тянул время, отменяя все обвинения, как почти каждый арестант, пока его не согнут признания товарищей вкупе с нервным истощением, неизбежным в рavelине.

Поначалу Лопатин, как, скажем, тот же несчастный Росси, не внял истине, глаголющей устами старшего дворника Демидова: в середине декабря «этот Лопаткин» частенько хаживал в дом 114 по Большой Садовой. А «Лопаткин», глазом не моргнув: «Честь имею объявить, что, несмотря на утверждение дворника Демидова, никогда никакой акушерки Голубевой не знал, да и вообще в конце восьмьдесят третьего года в Петербурге не был, а проживал в Лондоне».

(Между тем майор Скандраков мог тут же опровергнуть Лопатина; однако не стал, дожидаясь урочного часа.)

Коль скоро одного дворника Лопатин забраковал, педантичный Лютов пустился за другим. Работать так работать. Как и Скандраков, ротмистр принадлежал к поклонникам

безупречной «полировки», чтоб любой будущий адвокат поскользнулся.

У Демидова был в минувшем декабре помощник. Потом уволился и уехал куда-то в деревню. Лютов стал искать его через губернских жандармов. Нашел в Ярославской губернии. Бывшему младшему дворнику показали фотографическую карточку Лопатина. Свидетель смотрел, смотрел да и сказал, что «таку личность опознать не может». Однако из показаний Росси было ясно и несомненно: Лопатин посещал Большую Садовую.

Помимо прочих грехов — в частности, самовольной отлучки из вологодской ссылки, — Лопатину поставили в строку разом три статьи «Уложения о наказаниях». Одна из них, 249-я, наверняка обещала виселицу: знал об умыслах и приготовлениях к убийству главного инспектора секретной полиции подполковника Судейкина Г. П.; имел возможность довести об этом подлежащим начальствам, но заведомо не исполнил: намеренно, в интересах революционного сообщничества, допустил совершиться упомянутому преступлению.

И опять Лопатин, скрестив руки на груди, с твердостью, достойной, по мнению ротмистра Лютова (и майора Скандракова тоже), лучшего применения, отперся: знать не знаю; о Дегаеве, разумеется, слышал, но не в Петербурге, а в Париже, уже после покушения.

Но вот от чего он совершенно не отказывался, так это от своего сочувствия и своего содействия «Народной воле». И Александр Спиридонович читал строчки, отчеркнутые синим карандашом ротмистра:

«С марта нынешнего года, вследствие сделанных мною в Париже знакомств, состоял в очень близких дружеских сношениях со многими выдающимися членами партии «Народная воля» и оказывал им всяческие услуги как личного, так и политического свойства.

Но от подробных объяснений моей деятельности в этом направлении отказываюсь, за исключением тех случаев, когда мои объяснения могут облегчить положение невинно страдающих лиц.

К организации партии не принадлежал и членом Исполнительного комитета не состоял. Относясь сочувственно ко многим пунктам программы и деятельности этой партии далеко не разделял безусловно всех ее взглядов.

Но так как я призван отвечать за свои поступки, то посему и не вдаюсь в подробное изложение пунктов несогласия моего с программой партии».

В отчеркнутых синим строках Скандраков красным отчеркнул упоминание о том, что Лопатин только с марта «сделал в Париже знакомства» и стал оказывать услуги видным деятелям партии.

(Александр Спиридонович и тут мог бы доказать, что не с марта, а раньше, но он опять ничего не стал доказывать, дожидаясь своего часа.)

Скандраков неизменно осведомлялся у Лютова, как действуют на Лопатина аресты, шквал которых вздыбили его записки с определением, кто есть кто. Ротмистр отвечал, что при каждом подобном известии Лопатин испытывает страшное горестное волнение и не только его не скрывает, но говорит, что предпочел бы десять раз умереть, чем быть невольной причиной стольких несчастий. Вот это-то и заставляло Александра Спиридоновича удовлетворенно кивать головой. Он ждал своего часа...

Петропавловскую крепость Лопатин видел изнутри восемнадцать и шестнадцать лет назад. Впервые недолго (по русской, конечно, мерке недолго — лишь два месяца): его отпустили, не нашлось «состава преступления». Вторично несколько дольше. И опять отпустили. Но уже в Ставрополь — «под надзор». Теперь Лопатина не посадили — погребли в Алексеевском рavelине.

За стеною плакал Бруно, Лопатин слышал, как мальчик плачет, зовет, а в каземат входили неслышные тени, обступали Лопатина, и он узнавал этих людей, людей из Москвы и Ростова, из Харькова и Риги, отовсюду, где он, Лопатин, пронесся как поветрие, пометив каждого губительным опознавательным знаком.

Лопатин дрожал. Горло сжималось, как тогда, в пролетке. «Поймите! Поймите!» Дел наваливалось пропасть, волей-неволей приходилось братья за карандаш. Недоставало времени шифровать. За справками обращались десятки раз на день. И ведь он же сделал все, что может сделать честный человек. А дома ночью всегда держал оружие: не отворил бы полиции дверь, пока не сжег бы бумаги. «Поверьте! Слышите? Они схватили среди бела дня, напали сзади, так прежде не арестовывали. Но все равно, все равно не смею взглянуть на вас. Виновен перед всеми. Сам погубил, что создал. Виновен!»

За стеной плакал Бруно. В каземате толпились тени. Лопатин ждал своего часа.

(Скандраков своего дождался раньше. Он дождался Якубовича. Это и была та капля, которая, по расчетам майора, окажется последней: она переполнит «лопатинскую чашу».)

Арест Германа Александровича смешал все карты Петруччо. Покончив с отправкой — вполне удавшейся — тиража «Народной воли» и не чувствуя себя больше «подсадной уткой», Якубович вернулся в Петербург. Он не намеревался окунуться в организационную повседневность. Газета возродилась, он продолжит ее выпуск, будет служить пером.

Но арест Лопатина вынес Якубовича на стрежень. Он оказался единственным «стариком» среди «молодых». Его искали, на него надеялись. «Смысл минуты такой, — не без горечи думал Якубович, — что хочешь не хочешь, а обязан выступить полномочным человеком».

Однако и «полномочному человеку» не дано обойтись без любимой. Они были разлучены все лето. Якубович увидел свою «Сороку», свою Розу. А с девицы Франк, слушательницы врачебных курсов и участницы ликвидированной Рабочей группы, давно уж не спускали глаз. Едва Якубович увидел свою Розу, как его тоже увидели.

Майор Скандраков пытался охладить полковника Оноприенко. Убеждал: пусть-де «известный Якубович» потрудится на благо революции: дольше потрудится больше рыбин заплывет в сети. Но полковник нервничал. Больно уж подвижен и притом осторожен этот «известный Якубович».

Минова Плеве, начальник губернских жандармов обратился к министру. Граф не возражал: лучше взять, чем ловить. И Якубовича взяли. Александр Спиридонович досадовал, хотя, кажется, мог бы утешаться совпадением своего мнения с мнением государя, который с всегдашним и твердым пренебрежением к пунктуации начертать соизволил: «Все-таки жаль, что пришлось арестовать его так рано».

Опытный Лопатин поразил Скандракова обилием вещественных доказательств, а неопытный Якубович полным отсутствием их. Обыск на квартире Якубовича, на Конногвардейской, 52, ничего не принес. Это не только поразило, но и обрадовало Александра Спиридоновича. Ничуть не кривя душою, он теперь нанесет Лопатину тяжкий удар: «И Петра Якубовича тоже погубили вы. Да-с!»

Одновременно с обыском на Конногвардейской учинили обыск и на Песках, у девицы Франк. Нашли интимные письма, самое разлюбезное жандармам чтиво. Просматривая подобные послания, Александр Спиридонович в отличие от коллег испытывал некоторую неловкость. Увы, лайковые перчатки не годились для дела, которому он служил.

Агентурные данные давно указывали на связь Якубовича с подпольной типографией, с изданием газеты, столь

досадившей и Плеве, и всему департаменту, ибо кто же не исповедует, что «в начале бе слово». Вот если бы точно установить, где летовал автор предосудительных стихов, тогда бы, смотришь, обозначилась и стежка к типографии.

Откровенности девицы Франк (день в день с женихом принял ее Трубецкой бастион Петропавловки) ждать, пожалуй, не приходилось. А письма Якубовича — и деловые, к Лопатину, и интимные, к Франк, — хоть и сохранились, да без конвертов, без почтовых штемпелей. Однако в одном, адресованном невесте, упоминалась какая-то телеграмма.

Провинциальные жандармы, пролистав летнюю документацию телеграфной станции «Каменец-Подольск», нашли, что на имя Розы Франк поступала телеграмма за номером 480 из Дерпта.

Из Дерпта! Ну вот и открывалась завеса. Еще неделя, и другие жандармы, дерптские, препроводили в департамент копию телеграммы номер 480: «Нет ваших писем. Здоровы ли? Песковский».

Почему Песковский? Разумеется, псевдоним. Но по чему именно «Песковский»? Впрочем, суть была в другом: летнее пребывание Якубовича — университетский городок. Там, стало быть, и типография. В этом была суть.

А потом? Потом Петербург. Тут уж многое определено и ясно. Да и сам арестованный Якубович говорил о себе подробно, но так, словно бы со стороны.

«Я не был бойцом, я не был воином по призванию. Взяв на себя эту роль, я только подражал одному из благороднейших героев Шпильгагена; я был жертвой, и один Бог да я знаем, чего мне стоила эта жертва. Я мог только готовить путь другим, более сильным. И если при этом мне удалось бросать хоть в одну голову искру света, я доволен, я исполнил долг свой».

Многое в Якубовиче трогало Скандракова: и душевная свежесть, и рукописные стихи, такие искренние, хотя, конечно, «с тенденцией», и показания, откровенные только по отношению к себе, и то, как Якубович, узнав о письмах, изъятых у Лопатина, сперва вспыхнул, назвал хранение тайной корреспонденции без нужды преступлением, но тотчас оправдал Лопатина: натура мощная, героическая, не приспособленная к муторным мелочам, из которых сплетается вседневная проза.

Скандраков симпатизировал Якубовичу. Что ж до отношений с Лопатиным, то Александр Спиридонович считал необходимым сделать их очными и отправился в следственную камеру.

По обыкновению обменявшись легким полупоклоном с арестованным, Скандраков спросил у ротмистра разрешения присутствовать, хотя мог бы и не спрашивать. Лопатин насторожился, стараясь угадать, для чего вкатился этот незнакомый брюхастенький русский господинчик.

Господинчик, заглянув в бумаги, разложенные на канцелярском, в чернильных пятнах столе, понял, что Лопатин, как и раньше, отрицает свое присутствие в Петербурге в роковые Судейкину декабрьские дни.

Как раз отсель Скандраков и проектировал начать приступ. Он опять вежливо отнесся к ротмистру, справляясь, можно ли ему вставить словечко, и, получив столь же корректное, парламентское согласие, стал говорить тем своим ровным, спокойным голосом, который многим казался «русым».

Говорил Скандраков безо всякого актерства, просто, но не запросто, безо всяких лукаво-иронических ужимок, суживания глаз, междометий или доверительных жестов.

Именно потому, что господинчик говорил так, а не иначе, Лопатин почувствовал и его холодную, расчетливую враждебность, и его основательность, и его серьезность, достойные напряженного внимания.

— Господин Лопатин, — говорил Скандраков, — я далек от дипломатии и каверз. Вы не новичок, знаете, что напрасные обвинения нынче редкость. Во-первых, потому что сама жизнь, к сожалению, не устает рожать контруправительственные действия. Нам нет нужды измысливать. Во-вторых, судебное ведомство, к нашему общему счастью, неукоснительно осуществляет свои функции, удерживая силы розыска в строгих и точных рамках законности, которые подчас, не скрою, кажутся нам, чиновникам секретной полиции, тягостными. Итак, обвиняя вас в участии в известном вам покушении, департамент отнюдь не стремится смягчить ваши преступления. Или — что еще хуже — взвалить на вас напраслину. Но следует признать, что мы до сих пор располагали лишь свидетельскими показаниями. До сих пор, подчеркиваю. Отныне мы располагаем показаниями самого Германа Александровича Лопатина. Вы, сударь, проживали в столице, когда предательский удар сразил инспектора Судейкина. В столице, в Петербурге, а не в Париже или в Лондоне, как уверяете давно и упорно.

Скандраков смотрел то на Лопатина, то на ротмистра Лютова. Но его взгляд, как бы минуя обоих слушателей, уходил в какие-то выси.

Замечание о «своеручных показаниях» вызвало у Германа Александровича усмешку. Он решил, что речь идет о

письмах к Лаврову в Париж, отправленных из петербургской гостиницы после убийства Судейкина. Однако Лопатин, будучи в Париже, удостоверился, что Лаврову эти письма доставили. Стало быть, речистый господинчик мог заполучить перлюстрации, копии или выдержки из тех писем. А перлюстрации, составленные «черным кабинетом», вовсе не доказательство для судебных инстанций, о коих русский господинчик столь лестного мнения. И Лопатин усмехнулся.

— Так вот, — продолжал Скандраков, — ваши собственные подтверждения отличаются завидной точностью. — Он сделал паузу. Потом отчеканил: — До копейки. До пфеннига. До су. — Майор опять сделал паузу и теперь уже с внезапной зоркостью глянул на Лопатина.

Тот сдернул пенсне и зажмурился, словно при световой вспышке. Он догадался! Этот проклятый иезуит сейчас сунет приходо-расходную книжечку. И еще знал Лопатин, что дальнейшее заперительство не только бесполезно, но и смешно, нелепо, пошло, постыдно.

Скандраков вынул из кармана и положил на ладонь маленькую книжечку в потрепанном переплете.

Ежедневно, скрупулезно, бухгалтерски помечал в ней Лопатин свои редкие доходы и свои частые расходы. Помечал даты и географические пункты. И в этой книжечке весь октябрь и весь роковой Судейкину декабрь под словом «Петербург» отрастал, как сосулька, столбик рублей и копеек. Итог был подбит в январе. В купе поезда, уносившего Лопатина за границу. В купе, на станции Вержболово. А потом — иное: марки и пфенниги, франки и су, фунты и шиллинги. И опять в марте, с пограничной станции Вержболово, карабкались, теснились российские целковые и медяки.

Майор закрывал и раскрывал ладонь с черной потрепанной книжечкой. Ротмистр Лютов смотрел на Александра Спиридоновича с немым восхищением.

— А это, — буднично продолжал Скандраков, — это, очевидно, господин Лопатин, теперь и вовсе лишнее. Не думаю, что вам доставит удовольствие, если вас станут предъявлять для опознания доброму десятку содержателей гостиниц. — Он потряс пачкой квитанций из разных городов империи. И пожал плечами: — Для чего было беречь их?

Не книжечка, обнаружившая все его маршруты и все его передвижения, не она, а вот эти дурацкие счета подавили Лопатина. Между тем майор продолжал спокойно, не торжествуя, без аффектации и жестов.

— Теперь, когда с этим покончено, я вынужден перейти к тому, что не имеет особого значения для хода следственного процесса. — Скандраков задумчиво покачал головой. — Не смею читать нотаций. Однако не могу не выразить нашего общего недоумения. — Он посмотрел на ротмистра, приглашая Лютова разделить его мысль. — Видите ли, господин Лопатин, непосредственные убийцы, исполнители, так сказать, уже установлены, уже признались. Это, как известно вам, очень молодые люди: Конашевич и Стародворский. По точному смыслу закона, хотя я и не хочу предрекать судебное следствие, но по смыслу закона их ожидает эшафот. Вы же, по неопровержимым сведениям, явились в Петербург контрольным лицом. Вы явились дирижером. И вот что нас поражает: как деятель такого калибра, с таким весом и именем позволяет юным солистам нести все бремя ответственности, а сам...

— Будет! — загремел Лопатин, вскакивая со стула и сжимая кулаки. — Довольно! Вы провоцируете, господин... Не знаю, как там вас, чер-рт...

— Александр Спиридонович, — сухо отрекомендовался Скандраков.

— Спир-ридонович, — гневно, с ненавистью произнес Лопатин. — Провоцируете, мефистофель от каталажки! Но я вашей идиотской провокации не поддаюсь и не дам формальных показаний...

Он задохнулся. Он был недвижим. Скандраков, заложив руки, повернулся и отошел к окну, будто оставляя Лопатина с самим собою. Лопатин не стихал — обретал то последнее отрешенное спокойствие, которое страшнее любого взрыва.

Потом стал рассказывать. Конечно, только о себе. Даже не упоминая ни разу Конашевича и Стародворского, хотя тех уже установили и те уже все признали.

6

Настольная лампа придает камерность, домашнюю интимность. И тогда рискуешь вызвать короткость в отношениях с подчиненными. Кабинет его превосходительства фон Плеве освещали люстра и бра; настольная лампа лишь дополняла их.

Полный света, в четырех, как от дыма, тенях бра, кабинет с блестящим паркетом вечерами еще больше, чем днем, напоминал нагую беспощадность операционной.

Склонившись над столом и потирая затылки, Вячеслав Константинович читал:

«При допросе Германа Лопатина был, между прочим, затронут вопрос об убийстве подполковника Судейкина. Отказавшийся от формального показания по этому поводу, Лопатин в частной беседе рассказал следующее.

Лопатин признал свое деятельное участие в совещании, на котором обсуждался план убийства подполковника Судейкина. Лопатин признал, что он сам разъяснял лицам, взявшимся убить Судейкина, в каком именно месте квартиры они должны прятаться, как произвести нападение и как покончить с Судейкиным.

На вопрос ротмистра Лютова, как члены партии не бо- ялись вторичной измены Дегаева в случае его ареста после убийства Судейкина, Лопатин отвечал, что он, Лопатин, это предусмотрел, вследствие чего лицу, которое должно было сопровождать Дегаева при его бегстве после убийства Судейкина, было поручено в случае ареста Дегаева застрелить его, и было даже указано, что самое верное — выстрелить ему прямо в ухо.

По сведениям, полученным заграничной агентурой, лицом, сопровождавшим Дегаева, был, несомненно, Станислав Куницкий, 23 лет, католик, бывший студент С.-Петербургского института путей сообщения, содержащийся ныне в X павильоне Варшавской цитадели как привлеченный в качестве обвиняемого по делу тайного революционного сообщества «Пролетариат».

Согласно протоколу № 103, присланному из г. Варшавы, означенный Куницкий на соответствующие вопросы отвечал нижеследующее: «Относительно обстоятельств, при которых совершено убийство подполковника Судейкина, и о лицах, принимавших в нем участие, я никаких показаний давать не желаю».

Все было отлично. Правда, не обошлось без досадливых морщинок, обозначившихся в углах стальных губ г-на Плева. Лопатин, видите ли, думал Вячеслав Константинович, отказался от формальных показаний. Государственный преступник, понимаете ли, может себе позволить роскошь частной беседы, а следствие не может воспользоваться ею и обязано изыскивать доводы, приемлемые судом... Один роскошествует в частных беседах, другой, извольте знать, никаких показаний давать не желает. Не желает! Volens-polens вздохнешь: законность нас губит. Потомки скажут: «Печальной памяти восьмидесятые годы». И не ошибутся.

А в общем-то, все отлично. Не за горами время, когда департамент и губернское жандармское управление свезут тяжелый вз к Поцелуеву мосту, на Мойку, в канцелярию

военно-окружного суда. Бессчетные протоколы, постановления, справки, заключения, реестры сдадут они лысенькому титулярному советнику Вейгельту. А там уж привалит заботушки и Маслову, лощеному юристу в полковничьих погонах, и председателю генералу Цемирову, отъявленному грубияну, и всем их присным, чернильными усилиями коих возникнут пухлые тома судопроизводства о двадцати одном преступнике.

Вячеслав Константинович все это очень хорошо знал. Впрочем, теперь уж г-на Плеве занимало другое. Это «другое» занимало его с августовского дня, овейанного изысканными ароматами ресторана «Мавритания».

Тогдашнюю просьбу московского прокурора Вячеслав Константинович исполнил: Котляревский, личный враг Муравьева, послушался директора департамента и не стал распространяться о лжепокушении. А этого простофилю Сизова вскоре отправят туда, куда Макар телят не гонял и вряд ли будет гонять. Таким вот образом Вячеслав Константинович получил несомненное, как он думал, право на плагиат: он мог воспользоваться «дипломатическим проектом», умолчав о его авторе, Муравьеве.

Однако не все обстояло благополучно, несмотря на полное понимание и горячее сочувствие русского министерства иностранных дел к русскому министерству внутренних дел. Понимания и сочувствия следовало ожидать. В настоящем полицейском государстве все ведомства полицейские, невзирая на то, носят ли чиновники голубой мундир или черный фрак. Очень можно впрячь в одну телегу коня и трепетную лань: было б кому запрягать. Опять-таки и это Вячеслав Константинович хорошо знал и отчетливо представлял. И все же дипломатические усилия изъять вожака террористов Льва Тихомирова терпели крах.

Поначалу еще надежда теплилась. Русский посол барон Моренгейм завязал в Париже негромкие доверительные переговоры. Две недели спустя барона убедили, что высылка из Парижа не однозначна с высылкой из Петербурга: не избежать скандала, обусловленного такими пренеприятными институтами, как пресса и гласность. И потом — это уж на русский-то слух звучало совсем нестерпимо — выслаемый сам выбирает пограничный пункт для выезда из пределов республики. А ежели затрудняется выбором, его любезно препровождают на бельгийский рубеж, ближайший к Парижу.

Разумеется, вожак террористов ни за какие пряники не сунется на границу с Германией. Ведь и младенцу ясно, что

полиция германская в крепкой стачке с полицией русской. Своей волей Тихомиров не сунется. Это уж как пить дать, тут и думать нечего. А думать надобно о том, чтобы с у н у т ь Тихомирова на франко-германскую границу.

На столе у Вячеслава Константиновича лежала депеша из Берлина. Депеша русского дипломата:

На доверительное письмо № 638 имею честь уведомить ваше превосходительство, что желание министерства внутренних дел будет исполнено совершенно нелегальным образом.

Президент полиции обращается лишь с двумя просьбами:

а) прислать фотографическую карточку эмигранта Льва Тихомирова;
б) своевременно известить, в какой именно пограничный пункт и когда будет доставлен эмигрант Лев Тихомиров.

Легко ль сказать, в какой и когда?! «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...» Впрочем, изобретательная голова у вас, Вячеслав Константинович. Что и говорить, Бог не обидел...

Ознакомившись с лопатинскими «частными» признаниями, удостоверясь, что сей цикл департаментской деятельности завершен, фон Плеве послал дежурного чиновника за майором Скандраковым.

Отныне майор был свободен. Отныне майор уже не майор, а подполковник. И поэтому сейчас можно пригласить Александра Спиридоновича для разговора чрезвычайной важности.

Плеве поднялся, похрустел суставами, принялся расхаживать по огромному голому, без пылинки кабинету. Бледный сухопарый, с поджатыми губами, он расхаживал мерно. Его штиблеты тонко поскрипывали.

Он погасил люстру, погасил бра. Остался круг от настольной лампы. Находясь в этом круге, рискуешь вызвать короткость в отношениях с подчиненными. Нынче Вячеслав Константинович рисковал сознательно.

Пришел Скандраков. Чиновник особых поручений. Совершенно особых.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Едва проснувшись, не размыкая век, слушал Тихомиров благовестный колокол.

Церковь стояла рядом, в двухстах шагах от дома. В светлом полнозвучии глаголил старинный колокол. Тихомиров, не размыкая век, уплывал в родное, заветное, от-

чес. Не забытое, нет, таившееся в плоти и вдруг разбуженное благовестным колоколом.

Но вот отзвучит и умолкнет, отгудит медью и серебром последний гул, и все исчезнет, стертое будничным рокотом Парижа.

Тихомиров нашаривал очки, совал ноги в домашние туфли и поднимался с постели — щуплый, взъерошенный человек с беспокойными, словно что-то ищущими глазами.

Из окна Тихомиров видел колокольню, видел каменные, источенные временем, безобразные чудища. «Адские силы, бегущие от Божьего храма?»

Лев Александрович заглянул однажды в эту церковь. Пусть, думал, католическая, но ведь прав и Филарет Черниговский: перегородки исповедален вряд ли доходят до небес... Тихомиров только однажды заглянул в этот католический храм. Все было ему чуждо: выхолненный священник со своей латынью, публика, которая приходила и уходила, как в лавке. Служба напоминала театр, пьесу с религиозным сюжетом. Хорошо инсценированную пьесу. Настолько хорошо, что от нее веяло холодной пустотой. Ничего похожего на православную службу. Нет, тебя не унесет здесь широкий, вольный поток праздничного ирмоса. Не услышишь тут торжественный догматик, не прольешь сладких слез от канонов Пасхи.

Когда он шел мимо этой церкви, каменные химеры беззвучно хохотали в его сутулую спину. Адские силы гнались за щуплым, взъерошенным, бедно одетым эмигрантом.

Гибель Лопатина, гибель «молодых» он принял как знамение времени: все кончено, исчерпано, революционная Россия не существует. Смертные приговоры Герману и Якубовичу, Конашевичу и Стародворскому и еще нескольким, вовсе Тихомирову не известным, вызвали в нем ужас и еще что-то такое, в чем ему не хотелось признаваться себе. Тут крылась и печаль, однако лишь печаль, а не отчаяние, тут крылось и избавление от «проклятой политики», о котором мечталось еще в Швейцарии, в Морнэ, и которое не приходило.

Но видение помоста, на который должен взойти Лопатин, стояло перед Тихомировым. И видение камеры в Петропавловской, где Герман ждет эшафота, тоже. Тихомиров кистил Германа «оболтусом», «фатальным человеком», еще всяко, однако давнишнее сознание нравственного превосходства «оболтуса» перед ним, Тихомировым, гнездилось в душе постоянно, и этого он тоже не прощал Лопатину, хотя

искренне, не одним умом, но и телесно ужасался предстоящей казни.

Ушли все, ушло все. А он — «на берег выброшен грозою...» И что же? «Я гимны прежние пою»? Петь их — удел Ошаниной. Тихомиров все реже навещал улицу Флаттерс...

Прежние гимны поет и Лавров. Участь Германа прибавила морщин на высоком челе Петра Лавровича, но гимны прежние: книжные, вперемешку, пыльные, цитованные, непрожеванные; и вечные проекты, замыслы, переписка... Тихомиров все реже навещал старую, типично парижскую, в грохоте тележных колес, с бесконечными бакалейными и мясными лавками улицу Сен-Жак...

И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Без ризы не выходят на амвон. Но сушить ли ее, если не можешь служить службу? С ним уж случилось нечто подобное. Не в Швейцарии, не в Морнэ, а раньше, еще в Петербурге, еще в разгар надежд и кипения, когда еще пылали Михайлов и Желябов.

Где, у кого собрался в тот день Исполнительный комитет «Народной воли», Тихомиров не помнил. Помнился только невысокий посудный шкапик, как сидел, опершись о верхний край его, и еще помнилась тягучая вялость тела и мыслей и то, что голоса и лица хорошо знакомых, близких людей казались неприятными, изменившимися. В тот день (или вечер?) он не солгал ни единым словом. Он признался в мучительных сомнениях: его ценят в партии, но ценят чрезмерно высоко; он не даст того, чего от него ждут. И прибавил безотчетно: «И вообще... Вообще, господа, вы считаете меня лучшим, чем я есть». А потом он просил снять с него все обязанности и отпустить на все четыре стороны. Он не солгал ни единым словом. И ему нелегко было выговорить то, что он выговорил слабым, задыхающимся голосом, не шевелясь, не убрав локтя с верхнего края посудного шкапика. Он не ждал утешений или похвалы. Но, дождавшись, испытал тайную радость. Его уж тогда звали «Старик».

«Старик, — возразил ему Михайлов, — прости, Старик, но ты городишь чушь. Роль у тебя выдающаяся, а перо твое, как динамитный снаряд. Ты сам, случилось, пришпоривал усталых. И, наконец, я хочу тебе напомнить, Старик: не ты ли участвовал в выработке нашего устава? Устав запрещает выход из комитета. Не так ли?...» А после Ми-

хайлова — Желябов: «Я тоже против, не согласен. Но я думаю, причина желания нашего Старика — расстроенное здоровье. Причина серьезная. Предлагаю отпуск. Пусть Старик основательно полечится». И ему дали отпуск.

Теперь, годы спустя, он хотел не отпуска, но отставки. Полной. Без пенсии и мундира. Ушли все, и ушло все.

И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Не здешнему солнцу высушить ризу. Галльское солнце светит толпе, где затесался Лев Александрович с сыном своим Сашенькой, веселой, гогочущей толпе, сгрудившейся у каруселей. Парижанин обожает толпу и обожает карусели. Теперь деревянных лошадок все чаще заменяют деревянными хрюшками. И парижанин гогочет, глядя на вихрь рыл, юбок, шляпок, лент, галстуков, дамских шнурованных башмачков. Восторг! Сашенька смеется, умный мальчик Сашенька Тихомиров.

Галльское солнце светит извозчикам в жилетках с желтыми полосами; собакам, которых здесь прогуливают без намордников; светит в бокалы с жиденьким абсентом или в кружки с плохоньким пивом, которые часами цедит парижанин; светит и тем, кто отправляется за город, но не в поисках одиночества, а с неистребимой привычкой к скопищам.

И на Елисейских полях светит галльское солнце, там Сашенька протягивает сантимы за детским лакомством, похожим на русские леденцовые петушки. И на площадь Св. Магдалины, пестреющей цветами, пахнущей знаменитым фонтенблоским виноградом, зелеными грецкими орехами. И на бульвар Сен-Мишель, куда Тихомиров захаживает нечасто и непременно с женою. На бульваре есть ресторанчик, кормят там сносно, не отравой, как в кухмистерских, по-здешнему буи-буи, а порции — не столичные, не воробьиные, нет, внушительные, как в провинции.

Однажды — солнце садилось, было тепло и негромко — Тихомиров забрел на окраину, натолкнулся на толпу рабочих. Угрюмо слушали они уличного певца. Певец был молод, бледен, длинноволос. Под гитару он пел о тех, кого корабль «Фонтенуа» увозил в каторгу, про тех, кого сразили пули версальцев.

Оскорбляйте нас, пока мы ваши пленники,
Оскорбляйте нас, пока мы побежденные,
Но грянет час, и вы сами окажетесь,
Да, да, это таи, в положении затравленных...

Мотив был протяжный, печальный, но в словах роко-тал жажда мщения. И эта жажда угрюмо отображалась на лицах слушателей. Больше десяти лет минуло после Коммуны. Семьдесят два дня — минута. Минута господства санкюлотов. И она осталась священной, осталась святыней.

(У Тихомирова случился как-то разговор с Кропоткиным. Они знали друг друга давно, еще в России, в Петербурге. А разговор этот случился недавно, за границей. «Допустим, произойдет социальная революция. Что дальше?» — «Дальше? — воскликнул Петр Алексеевич, чуть ли не сшибая широкополую шляпу и открывая уже плешивый лоб. — А дальше мы употребим все силы, чтобы народ брал все. Как можно больше, все, что хочет! И главное — не позволил бы возникнуть никакому правительству!» «Стало быть, грабеж?» — сказал Тихомиров. «Нет! — пылко и насмешливо возразил Кропоткин. — Веками награбленное — законному владельцу, труженику». — «Но Коммуна-то, Петр Алексеевич, как раз и не разрешила грабежа!» — «Вот тут-то, — заключил Кропоткин, — и была коренная ошибка. Однако, черт возьми, в следующий раз она не повторится!» И нахлобучил свою черную широкополую шляпу.)

Медленно удаляясь от уличной рабочей толпы, Тихомиров усмехнулся: «Такие шляпы носят в Питере факельщики на похоронах». Странная штука, размышлял Лев Александрович, безначалие, полная свобода личности, самодетельность народа — азы анархизма. Жесточайшая дисциплина, поглощение личности коллективом — азы социальной демократии. А из опыта французской революции: неизбежность гибели. Не страшно погибнуть за идеалы. Страшно погибнуть от своих идеалов.

Тихомиров подходил к дому. Из-под крыши церкви скалились химеры. Общество, думал Тихомиров, стараясь не глядеть на чудищ, общество, утратившее Христа, есть бунт и хаос.

Химеры вперились в Тихомирова.

А дома были Катя с Сашенькой. Единственное, что у него оставалось в мире. И еще — нужда, долги, изнурительное ожидание мизерного гонорара. Заказы из России — все реже. Французские и английские издания — кормушка целой оравы. Ах, если б не семья! Катю преследует мысль о возвращении. Возвращение невозможно. Катя понимает, она все понимает. Но бредит возвращением.

Случались часы, когда Тихомиров с болезненным и сладостным ощущением думал о смерти. Легким манове-

нием пальца нажимаешь курок... И вдруг — как порыв ветра — неборимое желание жить. За каким-то неведомым, неожиданным поворотом откроется удивительное. Самым удивительным (он это чувствовал) будет то, что не будет ничего удивительного, а будет простое и непреложное. Лишь позабытое. Даже не позабытое, а как бы покинутое в какое-то неуследимое время. Покинутое, а потом занесенное илом, песком, грязью. Да-да, следует выждать. Не того, что явится извне. Извне приходят лишь новые и новейшие, на поверку бесплодные, как смоковницы, доктрины. Нет, не извне, а прорастет в капище сердца, и тогда предстанет Истина — избавительница от тоски, едкой, как царская водка. Но страшно это ожидание... Героизм в победе над страхом смерти? Пустое! Героизм в победе над страхом жизни. Есть предел — начинается всплытие. Он знал, что оно начинается, когда слышал утренний колокол.

2

Никто из департаментских, никто и никогда не оставался так долго в кабинете г-на Плеве, как Александр Спиридонович Скандраков в тот памятный вечер.

Скандракова ошеломило поручение г-на Плеве. И не только Плеве, но и Гатчины. Деятельность Скандракова обретала ракурс необычайный. И совершенно менялось место действия.

Двойная цель, указанная подполковнику с высоты престола, требовала величайшей изворотливости. Не столько полицейской, сколько дипломатической. Или, лучше бы сказать, психологической.

Разумеется, доверие польстило Скандракову. Однако наедине с собою подполковник ощущал уколы и укоры того чувства, которым он в себе дорожил и которое про себя именовал «государственно-юридической чистоплотностью». А вот именно этой-то чистоплотности в обоих поручениях не усматривалось.

Если в одном из них еще можно было видеть что-то необходимое и полезное для державных, общерусских интересов, как искренне понимал их Скандраков, то другое... Гм! Он, по совести, не мог разделить беспокойства государя императора по поводу такого, извините, пустяка, как эта светлейшая княгиня.

Вячеслав Константинович хотя и не торопил подполковника отъездом, однако настоятельно советовал не мешкать

в Петербурге. Скандраков, верный своей методе — поспешать неторопливо, — просил позволения изучить, так сказать, предысторию вопроса.

Он погрузился в дела дипломатического ведомства. Не столь давние, еще не жухлые и мышами не тронутые, но щекотливые, потому что все они теснейше сплелись с полицейской спецификой, о которой Александр Спиридонович, сидючи в Москве, и не догадывался. Ведь проблемой терпеливо, осторожно занимались «сферы». При участии самого Отто Эдуарда Леопольда князя Бисмарка. О таком-то, сидючи в Москве, как догадаться?

Разбирая депеши, отношения, конфиденциальные письма, полученные в свое время из министерства иностранных дел в департаменте полиции, Александр Спиридонович не обнаружил ни строки касательно светлейшей княгини Юрьевской. И нисколько не огорчился. Юрьевская в его планах на будущее занимала второстепенное место.

Тут подполковник, может быть, вступал в тайное противоречие с самим государем императором. Не без внутреннего смущения, но и не без горделивого сознания собственной верности высшим идеям монархизма, Скандраков решительно отдавал предпочтение революционеру Тихомирову перед морганатической супругой убитого революционерами Александра Второго.

Заграничная жизнь княгини Екатерины Михайловны, то, что сын ее, Георгий, именует себя членом императорского дома, раздражало, беспокоило, злило Александра Третьего. Чувства эти были фамильные, семейные, хотя и казались Гатчине более нежели семейными.

А подполковнику Скандракову заграничный центр русской крамолы был серьезнее и важнее гатчинских беспокойств. И если б об этом проведал Александр Александрович Романов, то Александр Спиридонович Скандраков наверняка был бы избавлен от особых поручений. Ведь зачастую живые воплощения какой-либо идеи не слишком-то жалуют чересчур истовых служителей той же идеи...

Последние петербургские недели были отданы Скандраковым архивной документации. Александр Спиридонович, что называется, входил в курс, узнавая то, чего знать в свое время никак не мог.

Оказывается, в начале правления Александра Третьего тогдашний министр внутренних дел граф Лорис-Меликов представил императору секретный доклад. Основная мысль автора была следующая: царубийство первого марта 1881 года, несомненно, усилит эмиграцию революционеров; за

границей возникнет центр руководства новыми эксцессами. И как вывод: настоятельная необходимость международного соглашения о выдаче политических преступников.

Александр Третий не любил Лориса, уже подумывал об отставке «фокусника» и либерала. Но тут согласился. И приказал Лорису действовать совместно с министерством иностранных дел.

Дипломатия — давно сказано — есть применение ума и такта к ведению официальных сношений между правительствами суверенных стран. Русская дипломатия выказала и ум и такт. С Румынией, Австрией и Германией были заключены конвенции.

«Железный канцлер» этим не ограничился. Бисмарк преподавал царю несколько практических советов. Теперь к этим наставлениям приник крайне заинтересованный подполковник Скандраков.

I. Прежде всего народы, как отдельные лица, должны сохранять свою голову. Священная особа главы государства должна быть поставлена абсолютно вне каких-либо посягательств. Я предложил бы такую меру: Москва как официальная столица до тех пор, пока Петербург не будет очищен, и Царское Село или другая императорская резиденция для постоянного пребывания там императора, пока не восстановится нормальное положение.

II. Что касается университетов и учебных заведений, то следует усвоить суровый режим по отношению к ним. Именно там вербуются молодые безумцы в том возрасте, когда ум кипит больше всего. Когда образовательное учреждение становится очагом политического фанатизма, то следовало бы закрыть его как можно скорее. В этом отношении русское правительство обладает могущественным орудием: абсолютной властью.

III. Следовало бы с такой же суровостью относиться к женщинам-нигилисткам. Их можно хватать дюжинами, заключать в монастыри и обучать полезным ремеслам. Нет сомнения, женщина является одним из существующих элементов нигилизма. Она передает человеку в двадцать лет свой нездоровый энтузиазм и свои извращенные понятия о жертвенном героизме.

IV. Чтобы судить о нигилизме, нужно также считаться с натурой русского человека, с избытком его национального самолюбия. Для него слово не возможно не существует.

Действуя в хорошем направлении, эта черта производит чудеса. Русские солдаты сражаются лучше, чем все солдаты в мире.

Действуя в другом направлении, эта черта производит чудовищности, превосходящие все, что только видано у других наций.

Русский нигилист, несомненно, говорит самому себе: «Французские коммунары, немецкие социалисты, ирландские фении — лишь пигмеи по сравнению со мною».

Поэтому русский народ имеет дело с людьми тем более отчаянными, что они выходят из его собственных недр».

Первые три пункта удивили Александра Спиридоновича отсутствием чего-либо оригинального. Русский царь поступил разумно и не перенес официальную столицу. Гатчину он столь же разумно предпочел всем иным резиденциям.

Гатчинский дворец, как все павловские постройки, возведен по фортификационным канонам гениального инженера маршала Франции Себастиана Вобана: рвы и сторожевые башни, потайные ходы и потайные лестницы... Казарменная, батальонная дисциплина в учебных заведениях? Граф Дмитрий Андреевич ратовал о том же задолго до мудрых речений Бисмарка... Пострижение в монахи стриженных нигилисток? Скандраков усмехнулся: Бисмарк задубелый женоненавистник.

Но пункт четвертый был достоин размышлений: психологические особенности русского бунтаря, русского нигилиста, участника так называемого освободительного движения. «Национальное самолюбие»? Не то, господин канцлер, отнюдь. Самолюбия достаточно у любой нации. И ничего презрительного, высокомерного русский преступник не испытывает к своим братьям по духу, европейским мятежникам. Напротив, он испытывает к ним чувство товарищеское, уважительное, коллегиальное. А вот это, вот это: «Для него слово не в о з м о ж н о не существует». Это верно. Ах, как верно. Ибо здесь нечто религиозное. Не фанатизм, не извращенная жажда страдания ради страдания, как думают многие, а подвижничество. «Слыши небо и внуши земле! Вы будете свидетелями нашей крови изливающейся...» Вот сердцевина. И она в недрах народа. Эти «недра» нуждались в преобразованиях. Александр Второй их начал. Однако «недра» исторгли убийц Освободителя. Но гибель Александра Второго не означала, как полагал Скандраков, необходимости возвращения вспять.

Далее в документах жужжали рассуждения и предположения: о санитарном кордоне вокруг Швейцарии, этом улье русской эмиграции; об Англии, каковую следует склонить хотя бы лишь к информационному содействию о намерениях русских изгнанников; об учреждении Интернационального полицейского бюро; о международном принципиальном решении, что убийств политических не существует, что всякое убийство есть деяние уголовное.

Скандракову все это было внове и все любопытно. Правда, лишь академически. Подлинный его интерес концентрировался на Франции: как тогда, несколько лет назад, обстояло дело со специфическим тайным розыскным взаимодействием?

Н-да, Париж осторожничал. Парламентская оппозиция, общественное мнение беспокоили главу французского государства. От конференций, от соглашений он увильнул. Однако пилюлю позолотил: пусть русские делегируют

чиновника для занятий в секретных архивах французской полиции. В Париж полетел тогдашний вице-директор департамента Жуков.

Из груды выписок Александр Спиридонович справедливо заключил, что вице-директор звезд с неба не хватал и семи пядей во лбу не насчитывал: Жуков просто-напросто скопировал характеристики субъектов, и без того хорошо известных, — Ткачева, Лаврова, Плеханова... Да-с, ему, Скандракову, придется начинать на пустом месте.

Скандраков сознавал сложность возложенных поручений. И не очень верил в исполнение первого из них: «тихомировского вопроса».

Собираясь в столицу Франции, подполковник, радуясь самой по себе поездке, был озабочен, даже озадачен, Фон Плеве, напротив, глядел оптимистом. «Полноте, — утешительно говорил Вячеслав Константинович, — главное не скучиться: золотой молоток и железные двери отворяет».

3

В Credit Mobilier, солидный парижский банк, на имя Александра Спиридоновича положили увесистый «золотой молоток».

Располагая деньгами почти безотчетно, Скандраков, однако, не прельстился Итальянским бульваром и Отелем-де-Бад. Там по обыкновению роскошествовали русские визитеры, но Александр Спиридонович не имел охоты лобызаться с соотечественниками. Он избрал гостиницу средней руки близ площади Св. Магдалины.

В гостинице и подстерегли его первые парижские впечатления. В этой обители нашел он бьющее в нос сходство с расейским заведением подобного рода. Те же темные коридоры и те же неметенные лестницы, те же пыльные мебели и то же грубое постельное белье, к тому ж еще волглое и с такой тощей подушкой, что на ней не выспался бы и бродяга. Правда, прислуга блюла трезвость. Но, как и расейскую, дозваться ее было почти невозможно.

Прогуливаясь по городу, Скандраков постоянно и мимовольно сравнивал свое, привычное, со здешним, заграничным.

Париж не оправдал радостных предвкушений Александра Спиридоновича. В людях замечал он копеечную скандраковость. Скандраков видел, как почтенные буржуа с жадным и жалким восторгом выигрывали на какой-нибудь лотерее грошовый сервизик. Что-то жвачное примечал под-

полковник в тех парижанах, что тупо сживали в маленьких кафе. Смазливая девица, с которой он иногда спал, не дарила его «восторгами сладострастья», хотя он, шурясь, любовался ее кошачьей грацией, а панталончики на ней были просто прелесть. Что ж до вин, то, право, ни одно из здешних не могло сравниться с сухим эриванским трехлетней выдержки.

Наверное, Скандракову скоро наскучил бы серо-лиловый город, огни его и толпы, омнибусы, запряженные крупными конягами, вся эта поддельная и неподдельная роскошь, если бы не особые, совершенно особые поручения.

На улице Гренель Александр Спиридонович не показывался. В русском посольстве вечно толклась публика с острым нюхом, тонким слухом и длинным языком. А Скандракова отнюдь не прельщала любая, пусть на семь восьмых завиральный, слухок о таинственном приезде из Санкт-Петербурга.

Агентов русской заграничной службы принимал он в гостинице, не давая им сталкиваться друг с другом, как венеролог своим пациентам. Регулярно среди прочих навещался к Скандракову и молодой господин из тех, что до старости сохраняют свежий румянец и полированные ногти. В здешней эмигрантской колонии звали его Ландезеном. Он считался удачником: сумел убраться из отечества в канун разгрома дерптской типографии. Рассказывая про Дерпт, он с удовольствием подчеркивал конспиративную изощренность своих товарищей, выпустивших десятый номер «Народной воли».

Ландезен и вправду жил в Дерпте. Он слыл там жуи-ром, сорил деньгами (папенька аккуратно присылал), сорил так щедро, что даже бурши из немцев прощали ему резкий еврейский акцент. К тому же он водил дружбу с поднадзорными и безропотно давал свой адрес для нелегальной переписки.

При первой встрече с Александром Спиридоновичем он попытался выставить себя не столько агентом, но как бы «сочувствующим».

— Что там ни толкуй, сударь, — кокетничал Ландезен, — а Перелева-то я не выдал.

— Почему? — Скандраков отлично знал почему.

— Видите ли, mon cher...

Скандраков сдвинул брови.

— «Мон шер»? Мы не столь коротки. Благоволите продолжать. Итак, почему?

Ландезен внешне не смутился. Но Скандраков уже указал малому его место. Тот заговорил с осторожной полуулыбкой:

— Видите ли... Переляев... В Переляеве было что-то такое светлое. Я никогда без нравственного содрогания не умел вообразить его в каземате. Особенно по прочтении страшного послания «От мертвых к живым».

— Ваша чувствительность делала бы вам честь, если бы... — Скандраков строго усмехнулся. — Если бы вы наверняка знали, где Переляев держит типографию.

— А я... Я знал...

— Послушайте, Геккельман-Гартинг-Ландезен, — уже совершенно начальнически начал Скандраков, испытывая брезгливое раздражение, — давайте-ка с самого начала без флирта. Ваша «нравственная дрожь», ваша «чувствительность» пусть остаются при вас. Мне нужна правда, голая правда. Романы я читаю перед сном. — Он помолчал. — В Дерпте при покойном и незабвенном Георгии Порфирьевиче служили вы, сударь, из рук вон. А Переляеву следует воздать должное: он действовал прекрасно. Даже Якубович и то долго не имел представления, где находится типография. Даже Якубович, — повторил Скандраков, уничтожая Ландезена.

Ландезен рассматривал свои полированные ногти. Пухленький приезжий оказался не так уж глуп и не такая уж рохля, как почему-то наперед предполагал Ландезен. Открытие было не из приятных. Ландезен почувствовал свою прямую и неукоснительную зависимость от департамента, с которым до сих пор был связан лишь почтовой корреспонденцией.

— Ну-с, — произнес Скандраков, несколько смягчась, — роль и значение Тихомирова мне не секрет. Но я не склонен причислять его к главным деятелям злодеяния первого марта. Ваше мнение?

— Понимаю, — ободрился Ландезен. — Лев Александрович отнюдь не практик терроризма. В Петербург... Вы слышали о таком писателе — Жозеф Рони? Рони-старший?

Скандраков неопределенно пожал плечами.

— Надобно сказать, — продолжал Ландезен, стараясь блеснуть осведомленностью, — мосье Рони занят изображением парижских социалистов. На этой почве... Ну, очевидно, для каких-то там психологических изысков он свел дружбу с Тихомировым. При мне Лев Александрович рассказывал ему, что приехал в Петербург в самый день покушения, а взрыв услышал дома, на Гороховой.

— Стало быть, я не ошибаюсь?

— Да, вы правы, сударь. Его роль иная.

— Его роль известна. Но я просил бы вас осветить нынешнее положение дел. — Александр Спиридонович в упор посмотрел на Ландезена. — И, пожалуйста, без фантазий. И вот еще что: постарайтесь не упускать подробностей.

Ландезен вчера еще думал, что стоит ему только пожелать, и он прекратит «оказывать услуги» департаменту. Не в России, не в Дерпте думалось так, а вне России, в безопасном далеке. Но сейчас, сидя в неопрятной гостинице, сидя с господином, который отнюдь не был ни «кувшинным рылом», ни фрачной пустельгой, ни дюжинным офицериком голубого воинства, — сейчас Ландезен с почти телесной ответственностью ощутил свою неотторжимость от того, что деликатно именовалось «оказанием услуг известного свойства». И ведь вот что странно: Александр Спиридонович ничем не угрожал Ландезену, но словно подчинял, всего без остатка подчинял своей спокойной, уверенной власти.

Привкус страха, как привкус металла, ощутил Ландезен. Он пустился докладывать о Тихомирове, остерегаясь, однако, фразистости, и ловил в себе удовлетворение, когда Скандраков отвечал вдумчиво-легкими кивками.

— Расспросов не любит. Не в том смысле, как все нелегальные, не в этом. Лев Александрович, он... У него манера такая — сократическая: выставляя вопросы, понудить тебя размышлять вслух.

— Это подчас затруднительно?

Скандраков сидел, сложа руки на округлом животике, ногу закинув на ногу. Его глаза, выпуклые, в какие-то мгновения будто отсутствующие (именно в те, когда он, если так выразиться, наиболее присутствовал), не отпускали Ландезена.

— Да, пожалуй, затруднительно, — согласился Ландезен. — Умен чрезвычайно... Так вот. Жил он... У него жена, сын. Есть, слышал, и дочки, но где-то на юге России, у стариков... Жил с хлеба на воду, скудно, долгами замучен, у одного займет, другому отдаст, и опять, и опять. Потом, насколько знаю, оправился: Жиро, здешний издатель, выдал в свет его брошюру, распродажа пошла ходко и...

— Вы имеете в виду книжку о России в смысле политическом и социальном?

— Вы читали?

— Да. А вы?

— Конечно. Как иначе?

— И что же?

Удивление Ландезена росло. Жандарм вызывает на диспут? Дискутировать Ландезен не хотел, он мыслил смутно. И потому ответил уклончиво:

— Кравчинский, думаю, задал тон. Знаете, конечно, Степняком подписывается. Он и задал тон. Расценил тихомирское сочинение: оригинально, превосходно, ново...

Скандраков, напротив, не находил особенной свежести в брошюре, действительно еще в Петербурге просмотренной им. Он, пожалуй, поспорил бы с Кравчинским; спорить с Ландезеном охоты не было.

— Да, — сказал Скандраков, — тогда-то его денежные обстоятельства поправились. Но ведь уже много воды утекло. Вам случалось ссужать его деньгами?

— Случалось.

— Рекомендую и впредь. Можете рассчитывать на мои средства.

— Я достаточно получаю из России.

Ландезен наконец-то нащупал пунктик независимости от департамента.

— А ваш батюшка одобрил бы такую трату его денег?

— Это уж, извините, моя забота. Отец присылает мне, как здешнему студенту. А вот отчего вы, именно вы находите нужным поддерживать, хотя бы денежно, такого революционера?

— Ради вас. Кредит, говорят, портит отношения. Но в настоящем случае, надеюсь, крепит. Ну-с, хорошо... Теперь вот что: о Дегаеве что-нибудь слышно?

Ландезена словно подменили. Он замахал руками, как торговка, которую объегорили.

— Ай, насолил! Это ж только подумать! Если б вы знали!

Скандраков не знал. Ландезен продолжил — громко, возмущенно, жестикулируя, с усиливающимся, как всегда в минуты волнения, предательским, самому ему ненавистным, местечковым акцентом.

Оказывается, Дегаев, будучи в Париже «подсудимым», определенно указал на Ландезена как шпиона Судейкина.

— Вы же понимаете, каково мне пришлось? Ай, как пришлось! Боже мой! Я клялся, божился, уверял и опять клялся. Ай, боже ж мой! Просто кошмар...

— И оправдались?

— А я и не очень оправдывался. Как-то... Ну просто как-то само собою улеглось. Оставили в покое. Хотя нет, не само собою. У меня тут товарищ, он у них в доверии,

деятельный. Все зовут его Алексеем. Алексей Бах. — Ландезен вдруг подмигнул Скандракову и хихикнул: — А он Абрам...

Скандраков поморщился. Его удивляла шкодливая черточка некоторых евреев, особенно из выкрестов: «изобличать» иудейство соплеменников.

— Да ведь и вы не «Аркадий».

Ландезен был тезкой Баха. Брезгливость Скандракова смутила Ландезена. Он почувствовал свою подловатость. Но хуже всего смутило другое: не угодил. Очутился в незавидном положении еврея — рассказчика еврейских анекдотов и обманулся в слушателе: тот не осклабился.

— Ну, Абрам ли, Алексей ли, — с некоторым усилием продолжал Ландезен, — а Бах меня выручил. И я, право, душевно ему признателен. — Скандраков усмехнулся. — Нет, честное слово, признателен, — с жаром повторил Ландезен. — Бах уверен, что я чист, и других в том уверил. Говорил, что Дегаев напутал, а может, и сам Судейкин... Словом, выручил. И утихло. Пронесло.

Скандраков опустил глаза. «Утихло... Пронесло...» Осторожного, недоверчивого Тихомирова удовлетворило ручательство молодого Баха? Пусть деятельного, но все же новичка в революции. Гм! Возможно ль? А что, если сей Ландезен, субъект с физиономией бульварного гуляки, «двоится»?

— Улеглось, — сказал Александр Спиридонович, будто и не Ландезену, а себе. — Улеглось, пронесло?

— Улеглось, — кивнул Ландезен.

В его голосе было столько удивления, что всякий бы на месте Скандракова оставил свои сомнения. Но подполковник не оставил. Машинально снова осведомился о Дегаеве.

— Нет, я правду говорю: ни слуху ни духу. Вот только разве мадам Дегаева мимоездом мелькнула.

— А, — небрежно, как на пустое место, махнул Александр Спиридонович. — Ее под залог выпустили, она и сбежала. Не велика потеря.

— Квашня, дуреха, — поддакнул Ландезен. — И потом... Давно, правда: его младший брат какое-то дурацкое письмо Льву Александровичу присылал. Лев Александрович не ответил. Глупый, говорит, мальчишка, братца своего в гении рядит, глупый и несчастный.

— Еще что?

— А больше ничего... Мерзавец, чтоб ему...

Ландезен опять загорячился при мысли о Дегаеве, но Скандраков жестом остановил Ландезена и велел перечис-

лить близких друзей Тихомирова. Ландезен перечислил. Имена были те же, что поступали в Петербург от других агентов.

— А Лорис-Меликова не встречали? — быстро спросил Скандраков.

— Кого? — всполохнулся Ландезен. — Графа Лорис-Меликова? — Он махнул рукой. — Будет вам шутить!

— Я не шучу, — строго ответил подполковник.

Ландезен был сбит с толку, губы у него сложились трубочкой. Недоумевая, он мямлил «да-да» в ответ на условия следующей встречи — здесь же, через неделю, в предобеденный час.

4

Тихомиров часто маялся бессонницей. А если спал, то душно, нехорошо, ему снились сны. По соннику он не гадал, но, случалось — с кем не случается, — мысленно вопрошал: что сей сон значит?

Однажды приснился старичок, мертвенький, во гробе. Тихомиров стоял у гроба и смотрел на старичка, близко, кровно знакомого. И вдруг осознал, что это ведь сын его Сашенька. Тихомиров застонал и заплакал, вместе с тем отчетливо, как при бодрствовании, понимая, что в глубокую свою старость Сашенька погрузится много-много годов спустя, где-нибудь там, за перевалом грядущего двадцатого века, а тогда уж от него, Тихомирова, и останков не останется.

Проснулся он позже обычного, позже благовеста, с той угнетенностью, которая утрами свойственна неврастеникам. Однако в нынешней его угнетенности не было привычной смутной тревоги, а была неотвязность ночного кошмара.

Сто раз Тихомиров слышал, что первый шаг младенца есть и первый шаг к смерти. Слышал и забывал, как забываешь тьмы привычных истин. Рождается существо, существо существует, перестает существовать. Ничего алогичного. И о Сашуркиной смерти мысль ему тоже приходила в голову — сыночек был хилый, слабенький, часто хворал. И тут тоже ничего странного не было — обычные родительские страхи.

Свою смерть Тихомиров оплакал давно, мальчиком. Как многим, и ему в детстве случалось, проснувшись среди ночи, горько и недоуменно думать о том, что живет он, чтобы потом умереть, и ему было ужасно жаль самого себя. С возрастом, тоже как и многие, он не то чтобы примирился с неизбежным, а просто не думал о неизбежном.

Но сон давешней ночи больно поразил Тихомирова. Мысль о том, что и его Сашенька родился и живет для того, чтобы когда-нибудь умереть, показалась Льву Александровичу чудовищной, противоестественной. Поражало и мучило именно то, что как раз и не должно было поражать и мучить. Он взывал к здравому смыслу, ночное видение не сгнуло, стояло перед глазами.

А малыш по обыкновению тихо возился с игрушками. Играл он то рядом с отцом, то за стеною, рядом с матерью. Играл, возился с солдатиками и лошадкой, а Тихомирову не давалось длинное письмо с очередной просьбой о какой-нибудь работенке в английской периодике.

Тихомиров поглядывал на Сашеньку, словно хотел подглядеть что-то... Сморщенный старичок, положенный в гроб, какие-то люди несут гроб, опускают в могилу... Лишь позже, уже в сумерках, мучительная нелепость выболела и утихла. И тогда рухнула настоящая беда.

У Сашеньки резко подскочила температура. Его уложили, укутали. Катя, склонясь над ним, спросила, как всегда спрашивала:

— Тошнит, миленький?

— Нет, — прошептал он, закрывая глаза, — нисколечко...

Тут его начало рвать. Без позывов, без тошноты — обильная бурная рвота. Едва кончилось, мальчик закричал: «Тя-я-я-янет! Затылок! О-о-о-о!» Голова продавала подушку. Упиралась, как в каменную плиту. Мальчик кричал и двигал руками не беспокойно, не мятущимися, а одинаковыми, повторяющимися движениями.

Тихомиров бросился за доктором. Доктор жил рядом и всегда лечил Сашеньку. Немолодой, с лицом сердитым, в сюртуке, обсыпанном табаком и перхотью, доктор тешил маленького пациента мелодичным звоном часов брегет. Обращаться к нему Тихомиров конфузился, потому что платил неаккуратно, и, потупившись, выслушивал замечания об известном русском мотовстве и неумении жить по карману. Но сейчас Лев Александрович, забыв шляпу, бежал за доктором, не думая ни о гонораре, ни о ворчливо-философических назиданиях.

Осмотрев Сашу, доктор, упорно избегая вопрошающего взгляда Тихомирова и его жены, достал массивный золотой брегет. На мелодичный перезвон часов Саша отозвался мучительной гримаской: «Не надо... Не надо...» Доктор поднялся. Наихудшие подозрения подтвердились, он больше не сомневался. Приказал: «Мушки, компрессы, лед. Никакого шума. Завесьте окна».

— Что с ним? — умоляюще спросила Катя.

— Особый вид простуды, опасный вид, надо полагать, — отвечал доктор, будто сердясь на эту женщину и осторожно оправляя Сашино одеяльце.

Тихомиров пошел за ним в прихожую. Подал пальто. Доктор медлил. Оглянувшись на комнаты, понизив голос, сурово произнес:

— Менингит. Из десятирех умирают восемь.

Тихомиров, словно не расслышав диагноза, нашаривал в кармане деньги. Доктор сделал гневный жест.

— Вы понимаете? Из десятирех — восемь!

Тихомиров понял и, поняв, переспросил, будто и не понял:

— Как это: из десятирех — восемь?

— Ну семь, может быть, семь, — сердито повторил доктор. Надев пальто, он положил руку на плечо Тихомирова. — Будьте готовы ко всему. — Помолчав, прибавил: — Даже если он выздоровеет — последствия обычно тяжелейшие: водянка, глухота, слепота... — Он вздохнул. — Мужайтесь, мосье. Я приду утром.

Теперь их было четверо в этой плохонькой квартирке под самой крышей. Трое, связанные судьбой, кровью. И та, четвертая, востролицая, незримая, неслышная, шаставшая сквозь двери и стены. Ее присутствие ощущалось кожей как прикосновение. И ее дыхание тоже ощущалось, смрадное и вместе легкое.

Саша умирал. Исчезали дни, ночи, благовестный колокол, апрель. Прежде привычный, почти неразличимый рокот города отдавался в ушах больного вулканическим грохотом, взрывами, пальбой, обвалом. Тихомиров с Катей едва удерживались, чтобы не ринуться вниз по крутой лестнице, не закричать на всю улицу, на весь Париж: «Тише! Ради всего святого тише!»

Надо было менять эти проклятые мушки. Катя, заткнув уши, рыдала. Тихомиров то стискивал зубы, то у постели топал ногами: «Надо! Терпи! Надо!»

Потом микстуры. Катя выглядывала из-за дверей. Он бросал на жену ненавидящий взгляд: «Почему я один? Почему все я да я?!» И, склонясь над Сашенькой, то ласково уговаривал принять лекарство, то злобно, кляня себя извергом, шипел: «Глотай! Глотай, тебе говорят! Ну же!»

Противоречивые желания владели им: «Биться! До конца, до последней возможности отстаивать Сашуру»; «Зачем я его мучу? Зачем эта попытка? К чему? Он обречен, а я его мучу?!»

Но вот будто отпускало. Саша дышал ровнее, не стонал, пытался приподнять голову, открывал глаза. Тихомиров счастливо переглядывался с Катей. И вдруг, как бы стыдясь, оба ощущали необычайную, прежде не испытанную любовь не только к их дорогому Шуру, но и друг к другу.

Однако даже в такие короткие минуты Тихомиров не думал о выздоровлении. «Умрет. Непременно умрет». Правда, в тишине, при Сашином молчании, мысль эта уже не была пыточной и сменялась желанием хоть немножко, хоть чуточку, хоть самую малость скрасить последние Сашенькины денечки.

Тихомиров ходил по лавкам, выбирал игрушки. И нелепым, оскорбительным, но по-новому странно приманчивым казался ему летний Париж: цветы, шум, беспечность, экипажи, еще непривычные велосипеды «Кенгуру» с бегучей цепной передачей.

Тихомиров опять ловил в себе противоречивое, несовместимое: поскорее вернуться к Сашеньке, подольше не возвращаться к Сашеньке; узнать, не начался ли очередной приступ, и ничего не знать, а ходить и ходить среди цветов, шума, пыли, беспечности, экипажей, велосипедов...

Консьержка отдавала жильцу почту. Еще на лестнице Тихомиров нетерпеливо перебирал конверты. Русские пихал в карман. В английские или местные заглядывал жадно: не литературный ли заказ?

Но теперь, в эти страшные недели, когда они с Катей сходили с ума, тянули из последних сил, на последнем дыхании, — именно теперь участилась корреспонденция особенного свойства.

Глянцевитые, изящные, пачечкой, типографские визитные карточки: «*Léon Tigritch de Prohvestoff*» «Лев Тигрыч Прохвостов». Тигрыч была его давняя, русская подпольная кличка... Загадочная листовка из Цюриха с каким-то нелепым воззванием, будто бы написанным Тихомировым... Сообщение неизвестного «доброжелателя»: ваш друг такой-то состоит платным агентом русской полиции...

Но пуще всего боялся Тихомиров повесток: «Вы приглашаетесь явиться лично в бюро, 68, Avenue d'Orleans, в 9 ч. утра по делу, Вас касающемуся». Пуще всего он боялся этих повесток от полицейского комиссара.

Навсегда, как тавро, оттиснулось в памяти дегаевское доверительное сообщение: Судейкин замышляет выманить из Франции; выманить на германскую территорию, а там уж немцы пособят русским. Теперь Судейкина не было. Но департамент у Цепного моста был.

Тихомиров знал: здесь, в Париже, за ним следят неотступно. У здешних филеров такая же повадка, как у своих, отечественных: наглость вперемежку с вороватой трусостью. И консьержка шпионит, как шпионили питерские и московские дворники. Консьержка на содержании у русской агентуры. Не желая терять почти дармовые франки, она даже поручилась перед домовладельцем за жильцов-неплательщиков: бедняги, дескать, в таком отчаянном положении. Шпионы везде, вокруг, повсюду, в каждой щелке, за каждой дверью, за каждым углом.

«Вы приглашаетесь явиться лично...» Тихомиров плелся в бюро. Комиссар угощал сигарой. Комиссар говорил о высоком уважении к людям интеллигентных занятий. Его черные на пробор волосы блестели, прекрасные зубы сверкали, эспаньолка клеилась волосок к волоску. Прижимая ладонь к трехцветному, как флаг республики, форменному шарфу, он внушал: ах, как было бы хорошо, если б мосье согласился покинуть пределы Франции.

— Клянусь небом, мосье, я озабочен вашей участью. Поверьте, лично мне вы не доставляете никаких огорчений. Но я, комиссар Анри Равошоль, всего лишь комиссар Анри Равошоль...

За подмогой, защитой, выручкой Тихомиров бросался к французским друзьям, к знакомым и полужнакомым. К писателю Рони-старшему. Писатель поднимал негодующий шум в прессе. К Жоржу Клемансо, достаточно уже известному в «кругах», вожаку радикалов и редактору радикальной газеты. Тот метал молнии в царскую тайную дипломатию, гремел о престиже Франции, о праве политического убежища.

Где-то в кабинетах, недостижимых для Тихомирова, пожимая плечами, находили нецелесообразным по такому поводу дразнить оппозицию. Конечно, сближение с Россией, но все же, господа, но все же... «Пусть каждый занимается своим делом. А коровы будут под хорошим присмотром».

И наконец, после всяческих проволочек, дорого обходившихся и самому Тихомирову и Катерине Тихомировой, снисходило по инстанциям: законы республики нерушимы, политического эмигранта нельзя выдать, но было бы крайне удобно для обеих сторон, если бы г-н эмигрант обосновался где-нибудь в провинции. В тишине. Неприметно. С глаз долой. А впоследствии, минет время (какое???) — милости просим опять в Париж.

Тихомиров, того не желая, затесался в большую игру. Франция льнула к России. Самодержец Александр готов

был выслушать «Марсельезу». Раньше ли, позже Тихомировым пожертвовали бы как пешкой. Уже поговаривали, что Зимний дворец предложил Елисейскому дворцу арестовать поголовно россиян-эмигрантов. Еще говорили, что эмигрантов ждет во чужом пиру похмелье: лазутчики Бисмарка заварят в Париже фальшивый нигилистский заговор против царя — немцам выгодно столкнуть лбами восточную империю с западной республикой. И царь — можно в этом ручаться — поверит: Александра не уставали убеждать, что планы покушений на его августейшую особу всегда вынашиваются за границей, в «тихомировском вертепе», а в России, мол, лишь доморощенные исполнители.

Тихомиров терял голову. Но к нему тянулись, к нему приходили. Одни уезжали в Россию, другие приезжали из России, третьи собирались в Швейцарию. Люди говорили, волновались, доказывали: организация, централизация, децентрализация... Он слушал, прислушиваясь к той комнате, где умирал Сашура. Он отвечал, отвечая самому себе: революционные силы иссякли, культурная работа — вот что нужно; условия изменились, бывшие герои — в былом, все выродилось, измельчало, бури нет, есть рябь и пена... От Тихомирова уходили пораженными, уязвленными, обиженными. Потом прощали: умирает ребенок.

Саша слабел день ото дня. Глаза косили. Игрушки не занимали его. Когда боль стихала, он смотрел перед собою. В этом неподвижном взгляде было не детское и не взрослое, а было ясновиденье: он чувственно распознавал смерть.

А луна ее призывала, потому что из какого окна ни погляди, какой она она ни будь — полной или ясной, круторогой или в пятнах, — всегда слева. Под окнами ночами выл пес. Приблудный, ничейный, выводил переливчато и с перепадами, не срываясь на звонкое, сипло выл, не жалуясь и не оплакивая, нет, угрожающе, мстительно, подло торжествуя.

Неверный свет луны сливался с песьим воем. Тихомиров подумал: «Пусть придет скорее. Надо отворить ей двери. Довольно, пусть уносит. Приди, милосердная».

Мысль эта ужаснула его. Ведь думал он не о Сашином избавлении. Он думал о том, что сказал доктор; если и выживет — слепота, тупоумие... И, подумав: «Приди, милосердная», — взывал о милосердии к себе, к самому себе, к избавлению от калеки сына.

Он ужаснулся. Однако поначалу тому, что Катя, уже уснувшая, очнется вдруг и уловит, поймает сейчасную его мысль. И, лишь ужаснувшись этой Катиной догадке, Тихомиров ужаснулся самому себе. Как он, нежный отец, мог

т а к подумать? Он съежился, словно над люком, в который не дозволено и опасно заглядывать. Что значат океанские пучины в сравнении с безднами души? Все путалось, перемежалось, чадило, зыбко плавилось.

Тогда он взмолился. Не к Богу обращался Тихомиров, безбожник с гимназической скамьи. Он не упал на колени. Не достал заветный образок Св. Митрофания, мамин подарок. И не раскрыл маленькое Евангелие, сестрин подарок, который был тут же, среди его книг.

Но все ж он молил о пощаде. Не было произнесено затверженных в детстве молитвословий. Но он молил, взывая о пощаде. Кого? Нечто. Кого-то. И обещал что-то исполнить, не сознавая, что именно, но хорошее, доброе и для него, Тихомирова, очень трудное.

5

— А вы бы напомнили комиссару Равошолу: ведь недавно наш государь пожаловал Анну прокурору. И правительство республики позволило прокурору носить монархический орден!

— Вы о деле князя Кропоткина?

— Да.

Рачковский улыбнулся.

— Ах, Александр Спиридоныч, Александр Спиридоныч... Так-то оно так, да только сотня парламентариев потребовала немедленной амнистии.

— Которая, однако, не выгорела.

— Оттого, что преступление Кропоткина было совершено здесь, на территории Франции, и судил его суд французский. А у нас с вами-то никаких юридических обоснований нет-с. И быть не может-с... — Рачковский опять иронически улыбнулся. — Орден святыя Анны... Лента через левое плечо... А мосье Равошоль, бьюсь об заклад, придерживается пословицы: из орденской ленты шубы не сошьешь. Ему шуба нужна, вот что, Александр Спиридоныч. Шу-ба-с!

— И во сколько она нам влетит?

— Одному комиссару или вообще? — Рачковский широко повел рукою.

— Вообще.

Рачковский помолчал. Он уже знал прижимистость подполковника Скандракова. Радетель казенного добра, черт его задери. Не из своего кошелька, а жметя, как барышник.

— Уж я прикидывал, — сказал Рачковский, — и так прикидывал, и эдак...

— И что же?

— В итоге, Александр Спиридоныч, никак не меньше пятнадцати.

— Пятнадцати тысяч?

Рачковский вздохнул.

— Именно-с. Меньшим не обернуться. — Он оживился. — Да вы, прошу вас, вникните. Вот взять Дегаева. Безвредный, никому уж не нужный. А за него, извольте-ка, за него — десять. За одно лишь указание, где он. А тут... — Рачковский руки воздел. — Тут тяжкий преступник, главарь, вся надежда революции!

— Десять тысяч объявлено отнюдь не за «указание», — сухо поправил Скандраков. — За по-им-ку. А за указание — вполовину меньше.

— Ну хорошо, хорошо, пусть так, ошибся. Однако как не признать — Тихомиров-то не чета Дегаеву! Как не признать?

Скандраков насупился. Его коротенькие ножки, суча и припрыгивая, то высывались, то вновь прятались под креслом. Эва заломил, брюзгливо думал Скандраков. Правда, в банке — «золотой молоток». И прямехонько на сей параграф расходов. Но Александр Спиридонович всегда жалел казенные деньги. Искренне жалел. А Рачковский и в ус не дует. Привык, видать, жуировать. Ишь нафранчен-то. А в отчетах, которые шлет департаменту, привирает. Как пить дать привирает. А вот пойдика обревиизуй такого. Нагородит с три короба, а не ухватишь. Однако должное следует отдать — ловок, деятелен, неглуп, далеко не глуп.

Петр Иванович Рачковский числился в посольском штате. Де факто — «состоял при министерстве внутренних дел». Он давно убрался из России. Пришлось-таки покинуть дорогое отечество: Петеньку Рачковского еще студентом изобличили в провокаторстве, он опасался мести бывших коллег, москвичей революционного толка. А в Париже выказал недюжинные способности. С самим префектом завел связи! Префект здесь — важная птица, веса значительного. Префект Парижа, назначенный лично президентом, подчинен лишь министру внутренних дел. И весь политический сыск в столице тоже у префекта: первое бюро в его канцелярии, в его управлении префектурой.

Чрезвычайные полномочия подполковника Скандракова, личная инструкция г-на Плеве, доставленная дипломатической почтой, произвели на Рачковского известное

впечатление. Но в трепет не повергли. Он не лебезил, не заискивал перед посланцем Санкт-Петербурга. В Париже Рачковский плавал акулой. Все умел сообразить, завязать и развязать. Скандраков же здесь, в Париже, казался Рачковскому провинциалом. Однако именно «провинциал» располагал текущим счетом в банке, а к банковским счетам Петр Иванович всегда испытывал почтение.

Практический план «принудительного доставления тяжкого государственного преступника дворянина Льва Александровича Тихомирова» уже вызрел в сообразительном, гибком и хитром уме Петра Ивановича.

Никакой Ландезен, никто из тех, кто терся рядом с Тихомировым по указке Рачковского, не сумел бы уломать Тихомирова хоть на неделю посетить Россию. Высылка из Парижа в провинцию, обещанная и префектом, и комиссаром, вопроса не решала. Оставалось одно: насилие, похищение.

И сразу же топорщились всяческие «но». Тихомиров ныне редко отлучался из дому; а если и отлучался, то к двум-трем лицам. Его внезапное исчезновение, несомненно, всполошит русскую эмигрантскую шатию, друзей-французов. Полиции придется принимать меры, и, конечно, ни сам префект, ни комиссар Равошоль не посмеют пресечь розыски. Наконец, на франко-германском кордоне могут возникнуть черт знает какие затруднения: республиканская пограничная стража, весьма снисходительная на рубежах Швейцарии, весьма бдительна — по въевшейся неприязни к немцам — на рубежах Германии.

Скандраков не спорил. Но волков бояться — в лес не ходить. А идти надо было, ничего не попишешь. И Петр Иванович развивал «методу умыкания».

— Тут раньше всего, что нужно? — вопрошал он, азартно раздувая хрящеватые ноздри, в то время как руки его машинально холили одна другую. — Тут раньше всего отменная карета. Ковер-самолет! И я уж приглядел — чудо. Лошади чтоб первейших статей, королевские. Эдаких в Париже раздобыть невелик труд. Найдем. Кучером — непременно француз. И непременно агент. Равошоль обещал верного малого. Разумеется, и этот заломит втридорога. — Рачковский хохотнул. — Знаю, Александр Спиридоныч, нож вам острый, но уж чего тут... — Скандраков не улыбнулся, Рачковский продолжал: — Доктор нужен, не обойтись никак: шприг, морфий... Ну да-да, это уж как он-то, Тихомиров, в карете... Схватить надо где-нибудь в малолюдстве. А ежели в провинцию его выпрут — и того луч-

ше! Уехать-то он уедет, да недалеко. Голову даю наотрез, где-нибудь близ Парижа окопается. А для нас это... — Рачковский пальцы горстью к губам поднес и причмокнул. — Деревенское уединение, лесочек, проселочек, ан мы тут как тут. Приедем, подстережем на прогулке, окликнем: «Извините, сударь, куда ведет эта дорога?» И вот она — минута; рывком в карету, а в горло — кляп, а доктор — ц-ц-ц-ц... — Рачковский изобразил звуком и жестом что-то похожее на инъекцию. — Морфий — штука верная: уснет. Тишина, глубокий сон, а карета — пошел, пошел...

Скандраков покачал головой.

— Доктор... Где же такого охотника наймешь?

Рачковский сцепил руки замком, потряс ими.

— Вот тут, признаюсь, незадача. Сперва-то я одного заприметил. Эх, думаю, лучшего не придумаешь.

— Кого?

Рачковский объяснил: того самого, что лечит тихомировского отпрыска.

— Представляете, Александр Спиридоныч? Каков эффект: Тихомиров, увидев его в карете, онемел бы. Это уж точно: так бы и онемел. А медик бы — ц-ц-ц-ц... — Рачковский повторил жест и звук, означающий инъекцию.

— Да, пожалуй, такой бы пассаж, — согласился Скандраков.

— Однако... — Рачковский вздохнул. — Я справки навел: негод, каналья. Никуда не годится. Этот самый медик коммунарам сочувствовал, раненых выхаживал. Нет, кашу не сварить.

— А если с полицейским врачом? — предложил Скандраков. — У них при комиссариатах состоят? — И, не дождавшись ответа: — А может, вы сами? А? Сами вы бы и того-с...

Рачковского, как ужалило.

— Я! Избави Бог, Александр Спиридоныч! Я эти шприцы, эти инструменты... Я видеть их не могу, не то чтобы тронуть. Увольте, увольте!.. Полицейского врача?.. Что ж, пощупать можно. Однако опять, опять благородный металл.

Скандраков задумался. Не о расходах, об ином: уж больно «метода умыкания» смахивала на сцену из Дюма-отца... Юридические неудобства, смущавшие Александра Спиридоновича в Петербурге, теперь «силою вещей» отодвинулись, хотя в глубине души он не переставал ощущать во всем этом предприятии что-то, скажем, не совсем приличное. Но как ни крути, а по смыслу службы и присяги он должен исполнить особые поручения, и он их исполнит.

Не однажды и подолгу обсуживали и пересуживали они с Рачковским «изъятие» важнейшего преступника. Александр Спиридонович высказал, между прочим, мысль, которая понравилась Петру Ивановичу: исподволь, не теряя времени, распустить слух о секретных замыслах Тихомирова навестись в Россию и тем самым заранее упредить суматоху, неизбежную при его исчезновении. А уж потом, после, когда похищенный окажется в Германии, объявить в петербургских газетах: давно, мол, разыскиваемый Тихомиров задержан в Вержболове. А пока... А пока Рачковскому приискивать доктора, усилить слежку за Тихомировым, не оставлять его пугающей, загадочной почтой.

Регулярные свидания с Ландезеном подполковник не открывал Рачковскому. Поступал так не из склонности к таинственности: информацию Рачковского поверял информацией Ландезена. И наоборот. Агентурные сведения субъективны. Сопоставление — мать истины. К этому способу Скандраков прибегал издавна.

С некоторых пор Александр Спиридонович чуял расхождение в тональности суждений о Тихомирове. Рачковский находил Тихомирова прежним — непримиримый враг, лишь несколько убавивший свою энергию из-за тяжкого недуга сына. Ландезен непосредственно общался с Тихомировым, и Ландезен нет-нет и поговаривал, пользуясь музыкальным термином, о внезапных модуляциях. Скандраков чутко прислушивался к сообщениям Ландезена. Но при этом он все же не забывал своего первого впечатления, скорее смутного предположения: уж не «двоится» ли этот фат с физиономией бульварного гуляки, не играет ли на обе стороны?

Правда, еще вчера фат прискакал, как сорока, но весть на хвосте принес отнюдь не сорочью. На серьезные размышления навела она Александра Спиридоновича.

Ландезен был настроен смешливо, полагал рассмешить и Скандракова. Ах, каков курбетец, весело думал Ландезен, спеша в открытом фэтоне-виктории к площади Св. Магдалины.

При первом свидании его высокоблагородие здорово-таки огорошил: «Постарайтесь установить, водит ли Тихомиров знакомство с Лорис-Меликовым». Ну и ну! С таким же успехом можно было бы предположить дружбу Льва Александровича с принцем Уэльским. Ха-ха-ха! С Лорис-Меликовым, графом и генерал-адъютантом, бывшим (при покойном Александре Втором) диктатором всея Руси! Нынешний государь давно уволил диктатора в отставку, Лорис на покое где-то в Европе, не у дел и, может быть, фрондирует. Но дру-

жить или хотя бы водить знакомство с Тихомировым? Было чему изумиться. И Ландезен тогда при первом свидании с Александром Спиридоновичем, изумился. Ну-с, а нынче... Ах, если его высокоблагородие не лишен юмора, быть потехе.

Едва раскланявшись, Ландезен, не удерживая каскада улыбок и улыбочек, ударился живописать «комический курбетец».

— Извольте ли видеть, вхожу к Тихомировым и в передней — нос к носу с молодым человеком. Этаким приятный кавказец. Одет прилично, но скромно, книги под мышкой. Лев Александрович представляет: «Вот прошу, господин Лорис-Меликов»... — Ландезен сделал паузу.

— То есть как... «молодой человек»? — растерялся Скандраков.

— А так-с! — возликовал Ландезен. — Студент! Совсем молодой! А Лев Александрович конфузился... Он всегда в подобных обстоятельствах... «Вот, — говорит, — пришлось и у него тоже перехватить сто франков. Совсем нужда заела». А я смотрю...

Скандраков замахал руками.

— Погодите! Какие, к черту, франки! Вы мне толком, толком!

— Ох ты господи, — расплылся Ландезен. — Да это племянник. Понимаете — племянник!

— Чей племянник? Какой племянник? — вознегодовал Скандраков. — Перестаньте дурака валять! Что еще за племянник?

— Не я валяю, — расхохотался Ландезен. — Не я, а там, — он ткнул пальцем в потолок, — у вас, в департаменте.

Скандраков грохнул креслом, лицо его побурело. Он так глянул на Ландезена, что тот перестал смеяться. Ничего не поделаешь, господин из департамента лишен чувства юмора.

— Племянник графа Лорис-Меликова, — словно извиняясь, пояснил Ландезен. — Племянник его сиятельства, студент. Вхож к Тихомирову, вхож к Лаврову. Всерьез его, кажется, не принимают. Так, молодой армянин с нигилистским душком.

Ландезен притих. Потешничать не довелось. Скандраков, заложив руки за спину, рассказывал по номеру, крепко пристукивая каблуками. Он был мрачен, он злился.

Эка, однако, департамент плюхнулся в лужу! Какой-то болван телеграфировал о появлении в тихомировском окружении Лорис-Меликова, департаментские приняли сопляка за графа Михаила Тариеловича. И вывели гипотезу: существует-де альянс экс-диктатора, экс-министра с парижским

центром заговорщиков. Очень похоже, очень достоверно получалось: граф слыл конституционалистом, предлагал покойному государю нечто вроде Земского собора, а новый государь, третий Александр, дал ему пинок под зад.

В Гатчине гипотеза обратилась в гиперболу: Лорис с Юрьевской в давнем приятельстве; обиженные, злобствующие, опальные, они, пожалуй, решатся и на сговор с революционерами ради дворцового переворота. Тогда уж быть Лорису при Юрьевской правой рукой, а Юрьевской при сыне своем — от морганатического брака с Александром Вторым — регентшей. Так мерещилось гатчинскому семейству.

Оттуда, из этой точки и проклюнулся росток сверхсекретной миссии подполковника Скандракова. Нынешняя «эврика» Ландезена прибила его, как град. Резанула, раздосадовала дурацкая ситуация. С другой стороны, он мог бы и злорадствовать: еще в Петербурге Александр Спиридонович сомневался в серьезности гатчинских беспокойств. И оказался прав. Ее светлость княгиня Юрьевская, как и его сиятельство граф Лорис-Меликов, мирно жительствоуют в Ницце.

Скандраков, выпроводив Ландезена, решил прогуляться. Близился праздник, годовщина взятия Бастилии, город охорашивался гирляндами, флагами, готовился к фейерверкам.

Скандраков рассеянно поглядывал по сторонам, его трость то плавно взлетала, то, скользя в ладони, опускалась. Шел он без цели, куда ноги несли, не думая ни о Тихомирове, ни о хлопотах Рачковского, ни о Ландезене, а думая о том прелестном местечке, где мирно жительствоуют экс-диктатор и вдова императора.

Скандраков никогда не бывал у теплого моря. Да где он, собственно, бывал? Киев, Москва, Петербург. И вот — Париж. Не густо. Пролетят года — аминь... Он размечтался. Ему рисовались пальмы, желтые и оранжевые сады, снежные виллы Ниццы и прелестные, как жемчужины, дамы, огни карнавалов, золотой вихрь казино.

Его повлекло в лазурь, в очаровательную беспечность, ему захотелось кейфа, неги, ничегонеделанья. А чем он хуже других? Почему он должен бессменно стоять на часах? Отчего бы ему не совершить небольшой вояж де плезир? Ах, черт побери! И если уж на то пошло... Если уж на то пошло, ему необходима Ницца! Да-да, необходима: присмотреться к образу жизни Екатерины Михайловны Юрьевской, рожденной княжны Долгорукой, угрожавшей царствующему дому... В спальном вагоне он умчит к Средиземному, к горизонтам, парусам, плеску прибоя...

Увлечшись, мечтая, Александр Спиридонович все ж испытывал некоторую неловкость: если он поедет, то, признаться, ради собственного удовольствия. Конечно, он заслужил отдохновение. Однако не худо бы отыскать маломальский служебный оттенок для вояжа де плезир.

Оправдание не отыскивалось. А Ницца соблазняла. В парижском солнце уже чудилась южная ласка. В походе Александра Спиридоновича появилось что-то томное. Подполковник Отдельного корпуса жандармов, чиновник особых поручений департамента полиции Александр Спиридонович Скандраков поддавался искушению.

Александр Спиридонович присел на скамью. Ветерок гонял пыль и сор бульвара. Желание Ниццы не унималось. Он чувствовал, что не устоит. Вот только бы что-то придумать. Ну хоть бы самую малость. Нет, все равно не устоять. В нем очнулось давнее, кадетское удалство. Он снял цилиндр, вытер платком лоб, проплешину. Его улыбка была бездумной, он разгуливал по Ницце, среди дам, прекрасных, как жемчужины, видел опаловый отсвет моря... Чернявый спокойный юноша прошел мимо, размахивая книгой... Скандраков посмотрел ему вслед. И вдруг — как озарение, как наитие: «Молодой армянин... Молодой армянин...» Одним промельком этот чернявый с книгой сомкнул в уме Скандракова какую-то цепочку. И озарило: «Молодой армянин — посредник! Несомненно, посредник. Они — Юрьевская и Лорис — связаны с нигилистами через племянника. Так! Так! Только так! Посредник!»

Скандраков не заметил, как очутился в гостинице. Все стало по местам. Четко, стройно, определенно. И эта четкость, стройность, определенность, обычно не внушавшие Скандракову доверия, теперь были для него непреложными: легко соглашаешься с тем, что согласно твоим желаниям.

В Ниццу немедленно! Он устроит слезку за княгиней и графом. Рачковский будет телеграфировать ему о каждом посещении парижской почты «молодым армянином», а он, Скандраков, подкупит в Ницце почтмейстера...

Проклятье, прислуги никогда не дозовешься. Пусть гарсон летит на вокзал: билет, билет! Скандраков не снимал пальца с кнопки электрического звонка. Прислуга по обыкновению не появлялась. Нажимая кнопку, Скандраков машинально скользнул взглядом по газете.

— Ах! — вырвалось у Александра Спиридоновича.

Он больше не звонил. Он перечитывал строчки светской хроники.

Одновременно больной Саша, измученные родители увидели свет: катакомбы, полные криков и мук, кончились. У доктора, обсыпанного табаком и перхотью, повлажнили глаза. Он сказал Тихомирову:

— Я старый, замшелый атеист, но вот — чудо! Слышите, сударь: чу-до!

Тихомиров, не удерживая счастливых слез, сбивчиво благодарил. Катя, всхлипывая, привстав на цыпочки, обняла доктора, целуя трижды, по-русски, истово его впалые морщинистые щеки, сухой тонкий рот. Доктор бормотал: «Мадам... Мадам...»

Вечером Тихомиров купил «корреспонденцию» — омнибусный билетик в оба конца — и покатил далеко, на улицу Дарю. Сладостное напряжение ощущал Тихомиров. И вместе страх, робость, радостное удивление. Он сознавал: теперь можно.

За годы эмиграции Тихомиров ни разу не переступил порога православной церкви. Католические он посещал. Разных стилей, знаменитые и незнаменитые, красивые и уродливые. Посещал, как иностранец посещает музеи. Но порога православной церкви не переступал: стыдился. Не веруя в Бога, он не богохульствовал. В этом крылось подспудное сознание греховности, не обычной, как у всех, нет, особой, определившейся всей прошедшей жизнью.

В лунные ночи, при песьем хриплом вое, он часто молил о пощаде. Нечто. Кого-то. Молил исцелить погибающего мальчика. Но не молился. А потом... Потом уже не смел сказать: «Не верую в тебя, ибо нет тебя». Но еще не смел и сказать: «Верую. Верую истинно».

Омнибус остановился на углу улиц дю Фобур и Дарю. Пройдя немного, Тихомиров увидел церковь: маленькая, славная, с золотыми маковками, вся как на ладони перенесенная из российского уезда. И странно: церковка не враждовала со своим тесным и сумрачным парижским окружением, а мирно приглашала принять ее такой, какая она есть, ничего не требующей.

В церкви было пусто. Служитель стелил ковровую дорожку. Тихомиров по-французски спросил, будет ли служба. Причетник выпрямился, взглянул на Тихомирова, ласковым баском ответил по-русски:

— Да уж идет служба. В нижней церкви. — И приветливо кивнул: — Пожалуйста, я через алтарь проведу.

Нижнюю церковь несильно, но ровно озаряли свечи. Дьякон читал ектенью. Прихожане, мужчины и женщины, дождавшись паузы, выдыхали напевно: «Господи помилуй...» Тихомиров не различал ни лиц, ни огней, ни образов. Голова у него закружилась. Он прислонился к стене. Дьякон читал, хор вторил: «Господи помилуй...»

Потом, когда отошла вечерня, возвращаясь домой, Тихомиров понял: еще немного, и у него бы разорвалось сердце. Но там, в церкви, его опять спас Саша. «Если я умру, — мелькнуло в голове, — что будет с мальчиком?» И тотчас, будто нечаянно, смущенно и робко подтянул: «Помилу-у-уй...» Ему стало тепло, так и разлилась теплота, он различил людей, свечи, образа, услышал голос дьякона.

Сашина болезнь была наказанием; Сашино выздоровление — не медицинским феноменом, а милостью. Милостью, но еще не отпущением грехов... Маленький Сашура... Блаженный Августин увидел на берегу потока ребенка; малыш вычерпывал ложкой поток. «Это невозможно», — улыбнулся Августин; ребенок ответил: «Так же, как постичь сущность Святой Троицы...» «Веровать надо, а не мудрствовать. Меня спас Саша...»

Доктор советовал Тихомировым покинуть Париж. Полицейский комиссар «советовал» убраться в провинцию. Ла-Рэнси? Час езды от Парижа — и уже деревня. Час от Парижа — и уже провинция, департамент Сены и Уазы.

Ла-Рэнси обладало еще одним — бесспорным для Тихомирова — достоинством. Поезда ходили туда с Восточного вокзала, далекого от Латинского квартала, гнездовья русских эмигрантов.

Тихомиров еще не порвал с ними, как некогда, в юности, порвал с верой; Тихомиров отдалялся от них, как теперь, в зрелости, на четвертом десятке, обретал веру. Они еще нуждались в нем, он уже не нуждался в них. Он искал тишины, они — суеты. Он жаждал покоя, они — бури...

Когда-то Ла-Рэнси принадлежало Луи Филиппу. Луи Бонапарт, сделавшись Наполеоном Третьим, велел распродать Рэнси по частям. Бывшим королевским имением владели теперь буржуа и зажиточные крестьяне. Еще широко шумели королевские заповедные леса, но олени перевелись. Еще не обвалился королевский охотничий домик, но в нем уж не пахло ни кожей, ни псиной, ни порохом.

Деревья, травы, цветы, овощи — все здесь было до краев налитое, телестое. Не дева Флора, изваянная Фальконе,

а Флора дебелия, много рожавшая, широкая в бедрах, с большой упругой грудью.

Старенький флигелек был полон скрипов и шорохов. Рядом высились вязы. Говорили, что вязам не меньше тысячи лет. Они стояли, как Гаргантюа и Пантагрюэль. В их изобильной листве застряли бы пушечные ядра. Под сенью таких вязов мог бы расположиться цыганский табор, драгунский отряд или молчаливый отшельник. Тысячелетние вязы и старенький флигелек укрыли Тихомирова.

Человек остался со своим «я». Не так, как в тюремной камере, откуда он рвется душой и плотью. И не так, как в скиту, куда он рвется душой, уходя плоти. Остался, чтобы познать свое «я»: подобно астроному — в телескоп; подобно натуралисту — в микроскоп. Познать далекое прошлое. Познать недавнее, изжитое в эмигрантских годах.

Еще колеблясь, еще скользяще, но уже являлись эти мысли-догадки, эти догадки-мысли: о стенающей русской душе, которой суждены вечные поиски и вечные заблуждения, горечь и пессимизм, а может, и новые надежды. Те новые надежды, которые потребуют отречения и покаяния.

Мышлением о мышлении услаждался Аристотель. Тихомирову трудны и грустны были размышления о путях собственного мышления. (Или того, что он, как многие, принимал за собственное.) Лукавый бродил среди тех, кто звал себя землевольцами, народовольцами, нигилистами, анархистами, социалистами. Лукавый заманивал в пустыню. В пустыне возникают миражи. Самые зыбкие из них — социальные... А реальность — вот она, возьми и взгляни: вязы, ближняя каштановая роща, сельские дороги среди полей, цветы. Есть гул шмелей, повседневная смена простых забот, купанье детей, разносчики съестного с большими плетеными корзинами, мирная беседа огородников, опершихся на лопаты.

Саша поправился, но, и прежде слабенький, не был вполне здоров. Тучи рассеялись, это так, но небо еще не блистало. Доктор (вечное ему спасибо, низкий-низкий поклон) предупреждал: возможны осложнения; беды, как и ведьмы, любят водить хороводы. У мальчугана случались боли в затылке. На него туманом находили видения. Иногда он пугался паука, бабочки, сучка, гусеницы. Однако — Божья милость! — глухота, слепота обошли, не тронули Сашуру.

Утром Тихомиров работал: журнальные заказы привалили почти одновременно с выздоровлением сына. Потом

гулял с Шурой. Они пересекали шоссе и выбирались на поляну.

Поляну окружали каштаны, можжевельник. На волглых низинках круглились мягкие хвощи. И вот еще что хорошо: не росли на этой поляне противные купавки, ничего желтого. Тихомиров не терпел желтых цветов — такая же дурная примета, как и луна слева.

Другим излюбленным местом был пруд, большой и глубокий, в плотных тенях гигантских тополей. Клевом пруд не баловал. Зато чаровал лебединой стаей. Мальчик замирал. И отец тоже.

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать.
Пройдет ли обморок духовный?

Поэт тревожился, сомневался. Тихомиров тревожился, но уже не сомневался. Почти не сомневался. Особенно в те минуты, когда видел плавный лебединый ход, когда его рука согревала и нежила ладошку сына, а ухо ловило ропот тополей, плеск воды.

Благодать прикасалась к нему и светом вечерней лампы, и когда, отведя глаза от Евангелия, он смотрел в темный сад, слушал, как натекает ночь: звяканье засова, чьи-то шаги за оградой, вдруг зашумевшие и вдруг умолкшие вязы, сверчок и какая-то птица.

Он почти не сомневался, что уже скоро, совсем скоро минет «духовный обморок». Минет. Если... Если он, Тихомиров, признает, что пребывал омертвелым именно в ту, сравнительно недавнюю пору жизни, исполненную, как ему представлялось, чистых идеалов и высоких целей.

А Катина душа воскресла. Он это видел, чувствовал, знал. Для них супружество не было мукой, но в их супружестве было много муки. Безденежье, неприкаянность. Ожидание несчастий, утраты друзей, Тоска по дочкам: девочки жили в Новороссийске, с дедушкой и бабушкой. Сашин менингит. В страшные Шурины недели и месяцы за гранью надежд им случалось ненавидеть друг друга.

Теперь, в богоданном Ла-Рэнси, Катя расторопно домилась. Она завела знакомства на рынке и в лавке, необходимые каждой хозяйке. Подружилась с соседками-буржуазками, ходила к ним в гости. Она стала улыбочивой, приветливой, часто смеялась. Никто бы не признал в Екатерине Сергеевой-Тихомировой бывшего члена Исполнительного комитета «Народной воли», якобинки столь же непреклон-

ной, как и ее землячка, уроженка Орловской губернии, «мать игуменя» Ошанина. Никто бы не признал. А Катя, лихом не помяная прошлое, вовсе не поминала это прошлое.

В интимных отношениях слевой явилась зрелая, спокойная нежность. Такая же округлая и налитая, как все окрест. Иногда всей плотью, сладостно, но тоже спокойно возникало в ней желание беременности. И гасло, не оставляя ни горечи, ни сожалений.

Ее парижские мечты о России, где она приняла бы под крыло девочек, как-то утихли. Струилась, правда, греза о том, что Лев наконец утвердится, заработок его станет пусть небольшим, но постоянным, а тогда уж она выпишет своих дочурок и будет совсем счастлива.

Зарботок и впрямь обещал не иссякнуть. Еще в Париже Лев Александрович свел знакомство с Павловским. Тот представлял во Франции петербургскую газету «Новое время». Когда-то Павловский числился «красным», судился, отбывал северную ссылку, бежал. «Краснота» его поблекла, а после и совсем слиняла. Суворин, издатель «Нового времени» (от одного его имени негодуяюще сверкали глаза и Лаврова, и Ошаниной, а раньше и Тихомирова), Суворин, сам литератор, знал толк в журналистике и дорожил Павловским.

Несмотря на попреки и укоры эмигрантов, Тихомиров сблизился с Павловским. Лев Александрович обнаружил в «гончей из своры Суворина» гибкий, наблюдательный ум, способность искренне наслаждаться искусством и умение устраивать собственную независимость, не теряя при том, как думалось Тихомирову, личного достоинства.

Вот этот самый Павловский наведывался в Ла-Рэнси. Тихомировы его привечали: он приезжал с приятными новостями. Переговоры Павловского с издателем о сотрудничестве Тихомирова (разумеется, под псевдонимом) велись успешно: социологические этюды из жизни Франции, библиографические обзоры, рецензии и т. п. А в последний раз Павловский показал Льву Александровичу телеграмму издателя: «Готов использовать талант, откуда бы он ни был». И в поощрение таланту — их поощрять надо! — авансом несколько сот рублей.

Кроме Павловского, как и надеялся Тихомиров, в Ла-Рэнси почти никто не заглядывал, если не считать Ландезена. Ландезен был Льву Александровичу и не в тягость, и не в особое удовольствие. Молодой человек не томил ни вечным эмигрантским нытьем о российском безвременье, ни рассуждениями о судьбах русской интеллигенции, ни

известиями о наступлении Плеханова и К° на заговорщиков-террористов.

Тихомиров благоволил к Ландезену. Малый из тех, что водятся в космополитической среде Латинского квартала. Склонен пофрантить, приволокнуться за дамочками? Не велик грех. А закатится в Ла-Рэнси — милости просим к нашему шалашу. Лишь бы ненадолго.

Ландезен восхищался местностью. Его восторги тешили Тихомирова. Он чувствовал себя первооткрывателем райского уголка и охотно показывал Ландезену поляну, окруженную каштанами, лебединый пруд, лесную дорогу, как на пейзажах Курбе, все свои прогулочные маршруты.

Однажды у поляны, на шоссе на дороге застучал экипаж. Карета ехала медленно, шторы на окнах были задернуты. Но Тихомирову почудилось, что из-за края шторы кто-то его разглядывает.

— Ах, как хорошо, как хорошо, — вздохнул Ландезен, косясь на экипаж.

7

Заметка светской хроники, поразившая подполковника Скандракова, ничего сенсационного не содержала; сообщалось, что княгиня Юрьевская отбыла из Ниццы в Швейцарию. Вот и вся новость. Неприятно ж было Скандракову оттого, что его личный вояж де плезир сорвался.

И все-таки Александр Спиридонович мечтал о белых виллах и опаловом море. Полноте, утешался Скандраков, светлейшая, глядишь, заскучает в этом Люцерне.

А променять Ниццу на Швейцарию сам Александр Спиридонович решительно не желал. Его не прельщали ни купальни Люцернского озера, ни «Умиравший лев», высеченный из отвесной скалы знаменитым Торвальдсеном, ни курзал с опереткой и оркестром, ни бархатный климат, полезный «ослабленным нервным больным»... Черт понес туда Юрьевскую! Но ей там прискучит, прискучит в Люцерне, и она полетит, моя ласточка, в Ниццу.

Впервые в жизни Скандраков понял, что такое неотвязность желаний. Он бунтовал. Тянуть ляжку, и только?! Дознания, арестования, перлюстрации, препровождения, отношения, входящие-исходящие, наградные к Рождеству и Пасхе — и в этом вся жизнь?!

Богатым бездельникам он не завидовал. Но подышать воздухом беспечности, подышать полной грудью... Да ведь если смотреть пристально, вояж совместился бы с поруче-

ниями, касающимися «известной особы», как в письмах конспирирует г-н Плевел.

Прежде Скандраков был равнодушен к судьбе княжны Долгорукой, к судьбе светлейшей княгини Юрьевской. Но теперь со злорадным, ему несвойственным удовольствием он мысленно воссоздавал феерию: «Похождения авантюристки, примерявшей царскую порфиру».

Скандраков, пожалуй, хватал лишку, называя княгиню авантюристкой. Но то, что она, фигурально выражаясь, «примеряла порфиру», готовясь стать императрицей, было чистой правдой.

Несколько лет назад, еще в Москве, Скандраков краем уха слышал, что какой-то сановник прибыл из Петербурга и роется в архивах Петровских времен: ищет документы о коронации Екатерины Первой.

Разыскания диктовались не тишайшим интересом к древностям российским. Нет, нужен был прецедент. Едва дождавшись смерти давно постылой и давно заброшенной «законной», Александр Второй, как некогда Петр Великий, сочетался морганатическим браком, браком с женщиной не царских или королевских кровей. И так же, как Петр Великий, Александр Второй надумал короновать любимую.

Архивные документы нашлись. Сановный «историк» курьерской скоростью помчался в невскую столицу. Но тут-то из-за кулис и шмыгнула на сцену мадам Случайность.

Ого, какие прескверные штуки выкидывает иногда эта бедовая дама! Дважды посмеялась она над Долгорукими. И оба раза над Екатеринами. Петр Второй хотел короновать Екатерину Долгорукую (та была старше четырнадцатилетнего мальчика на три года), титуловал ее государыней-невестой и... И вот незадача, кончился в самый день свадьбы. Александр Второй хотел короновать другую Екатерину Долгорукую (эта была младше шестидесятитрехлетнего сладострастника на двадцать девять лет) и... И был сражен бомбой народовольцев.

Государыня-невеста каких только страстей не натерпелась: в Березовском остроге черные дни влачила, монастырской колодницей едала черствый хлебушек. А ее тезка, рожденная век спустя, отправилась не на Восток, а на Запад.

Говорят: не в деньгах счастье. Забывают прибавить: когда деньги есть. У Юрьевской были. Надеясь на «своего Сашу», княгиня и сама не плошала. Многие важные назначения осуществлялись по ее велению, многие выгодные подряды — по ее хотению. Она мирволила тем, кто отвечал ей, как отвечал один министр королеве Марии-Антуанетте:

«Сударыня, если это возможно, то уже сделано; если это невозможно, то будет сделано».

И все-таки не в деньгах счастье (когда они есть), а в полновесности власти. Смерть «ее Саши» изгнала Юрьевскую из Зимнего; там, еще совсем юной, она укрывалась со своим миропомазанным любовником в бывших интимных апартаментах Николая Первого. Царское Село, где они тайно венчались, где Юрьевская услышала небесную музыку: «Обручается раб Божий, благоверный государь император Александр Николаевич с рабой Божией Екатериной», — Царское было потеряно. В Ливадию, где она жила, путь закрылся. Вчерашние лизоблюды отвернулись. Остался лишь граф Лорис-Меликов, бывший глава верховной распорядительной комиссии, бывший министр внутренних дел. Покинув Россию, Михаил Тариелович и Екатерина Михайловна дружески встречались и в Ницце, и в Люцерне, и в прочих заграничных аркадиях.

Последовал ли граф Лорис за княгиней Юрьевской в Швейцарию? Скандраков этого не знал и узнавать не тщился. Скандракову казалось, что Юрьевская непременно вернется в Ниццу, а тогда уж он своего не упустит — махнет к Средиземному.

Время шло. Юрьевская обреталась у Люцернского озера. Из Петербурга, от Плеве поступали запросы: началось ли исполнение «некоторых известных поручений касательно известной особы»?

Еще помешкав и еще, Скандраков скрепя сердце позвал наконец Петра Ивановича Рачковского. Позвал не ради очередного доклада о Тихомирове. В том, что он, Скандраков, избежит поездки в Швейцарию, подполковник усматривал некое мщение за несостоявшийся вояж де плезир, хотя и сознавал, что мстить, собственно, некому.

Рачковский с видимым удовольствием согласился на не-дальнее и нетрудное путешествие. Удовольствие было не столько в самой отлучке из летнего надоевшего Парижа, сколько в сопричастности к высоким тайнам, и эта сопричастность польстила Рачковскому.

Инструкцию Скандракова выслушивал Рачковский внимательно, делая мысленные заметы, подчас иронического свойства. Главное, оказывается, не дать ни Юрьевской, ни Лорису — буде и граф в Люцерне — почуять наблюдение. («Это всегда главное», — подумалось Рачковскому.) Постараться заглянуть в секретные бумаги княгини. («Она их возит с собою? Держи карман шире!») Ни в коем разе не использовать личный состав русской агентуры, а залучить

кого-либо из домашнего окружения Юрьевской. («Для чего потребны деньги и деньги. Раскошеливайся, Александр Спиридоныч!»)

Но иронические, невысказанные заметы быстро ступались: тут, брат, не высокие, нет, взвейся-ка — высочайшие сферы! И уже инструкция горячила честолюбие. Последнее в душе Рачковского никогда не дремало. Душа же Рачковского удивительно крепко держалась в его сухощавом теле.

Рачковский тотчас отступился от Тихомирова, хотя еще третьего дня ездил, как на рекогносцировку, в Ла-Рэнси и видел, приподняв шторку в окне экипажа, Леона Тигрыча Прохвостова... Не уйдет мосье Тихомиров. И полицейский комиссар никуда не денется. Не Равошоль, а тот, другой, вокзальный комиссар: Петр Иванович и этому, вокзальному, как и Равошолю, ручку посеребрил, сунул барашка в бумажке.

Иной проект «изъятия» Тихомирова состряпал Рачковский. В экипаже до германской границы скакать? Далеко, хлопотно. На дворе век железный, локомотивы трубят. В экипаже доставить Леона Тигрыча лишь до вокзала. А там на носилочках-портшезе, под одеяльцем, эдак заботливо укутанным — пожалуйста в вагончик. Вокзальный комиссар (с посеребренной ручкой) тут как тут: «Прошу, господа, не мешать! В сторонку прошу, в сторонку. Тяжелобольного везут, буйно помешанного...» Экспресс ту-ту, и поехали: Париж — Берлин. Вот так-с!

Однако новую вариацию Рачковский не открыл Скандракову. Зачем? И Тихомиров, и комиссар, и Скандраков — все они подождут, пока он, Петр Иванович Рачковский, будет в Люцерне. А ежели две та-а-ких горы своротить, тогда уж... У Рачковского чуть дух не пресекался: ну и ну, какова перспективочка, а?!

Подполковник закружлялся:

— Связь княгини и графа с революционистами требует серьезного подтверждения. Вы понимаете, что...

Рачковский вдумчиво кивал. Именно-с серьезного, именно-с фактического, именно-с подтверждения.

Стали прощаться. Скандраков сказал, чтобы с отъездом Петра Ивановича всю почту, поступающую на улицу Гренель, 79, почту, адресованную мосье Леонарду, доставляли сюда, в гостиницу.

— Не замедлю распорядиться, — отвечал мосье Леонард, он же Петр Иванович Рачковский.

— И в особенности эту, — произнес Скандраков значительным тоном.

— Разумеется. Позвольте пожелать...

Рачковский откланялся.

(Он, бедняга, и не подозревал, как и его письма достанутся Скандракову. Не в Россию адресованные, а в Лондон, на Вгоок Street. Ничего подобного Петр Иванович не подозревал. И хорошо, и слава Богу, иначе не поехал бы он в Швейцарию в столь радужном настроении.)

Рачковский унес и чек на две тысячи франков, и проект «изъятия». Однако он сильно ошибался, полагая, что подполковник открыл ему все «дело Юрьевской». Если Рачковский кое-что утаил от Скандракова, то и последний кое-что утаил от первого. Утаил давешний доклад Ландезена.

Конечно, Ландезен ни в малейшей степени не был осведомлен о «деле Юрьевской». Но теперь, после его доклада, Александр Спиридонович самолично закрывал это «дело». Игра не стоила свеч. А Рачковского он спустил с цепи так, для отписки в Санкт-Петербург.

Аккурат в тот день, когда Рачковский обозревал прелестное Ла-Рэнси, молодой и прыткий Ландезен, повинувшись Скандракову, осторожненько намекнул Тихомирову: вот, мол, я, Лев Александрович, слышал как-то разговоры про Юрьевскую, про Лориса... И поспешно добавил: «Если, конечно, не секрет».

— Секрет, — засмеялся Тихомиров. — Было и такое. Отличное подтверждение восточной поговорки: утопающий и за змею хватается. Мы как изволили рассуждать? Средства у нее огромные. Материальные, конечно. В духовных не сомневались: вздорная бабенка. А материальные — ууу! И сын. Запомню, как звать... Как бишь... — Тихомиров махнул рукой. — Но сын мог бы занять определенное место в освободительном движении: претендент на престол. С натяжкой, но претендент. И сама светлейшая, и граф Лорис, и сынок, они — по причинам понятным — не испытывают горячей любви к нынешнему императору. Стало быть, через молодого армянина, графского племянника... Я вас, кажется, знакомил? — Ландезен кивнул. — Ну вот мы и...

Тихомиров словно споткнулся на этом «мы»; лицо его стало пасмурным; Ландезен, горя нетерпением, не решался, однако, поторопить Льва Александровича.

— Мы и прикидывали, — продолжил Тихомиров прежним ироническим тоном, — как бы это сделать ставку на «темную лошадку». К тому же сам Энгельс где-то кому-то

подал мысль: русское общество и в дворцовом перевороте может видеть выход из тупика. Гм! Выход! Но тогда, мой милый, мы... то есть я, лично я, разделял и такое. А вот книжник Лавров, что там про него ни говори, Лавров рассудил вернее всех нас. Разумеется, супротив самого Энгельса он ни-ни, однако ж заявил: Юрьевская и Лорис никогда с революцией не свяжутся. Они, сказал Петр Лаврович, никогда не простят нам первого марта... — Тихомиров снова как бы ушел от Ландезена, лицо у Тихомирова снова было пасмурным, но Ландезен уже не горел нетерпением слушать дальше. Лишь из приличия кашлянул. Тихомиров словно бы возвратился и закончил саркастически: — Ну-с, покрутилась наша братия, покрутилась, да и бросила «темную лошадку». Вот вам и секрет.

Все это Ландезен не только почти слово в слово передал Скандракову, но и передал тихомировские интонации. Скандраков сразу, без колебаний, без сомнений, поверил в то, что Тихомиров говорил правду. В особенности убедило Александра Спиридоновича замечание Лаврова: «Они никогда не простят нам первого марта...» Социалист Лавров под этим «они» разумел Юрьевскую и Лориса. Для Александра Спиридоновича Скандракова в этом «они» были не только Юрьевская и Лорис. Какое там!

О н и — благомыслящая Россия — вот кто не простит безумцам первоапрельской катастрофы. Ведь еще бы немного — как часто грезилось Скандракову — и занялась бы конституционная эра, время иных зодиаков. Увы, все та же мадам Случайность выкинула первого марта подлейшую штуку...

Отъезд Рачковского означал — прости-прощай, опаловое море, белые виллы Ниццы. А Париж, как ни странно, Париж, вождеденная мечта многих русских, уже томил Скандракова. Было бы натяжкой толковать о тоске по родине. И не то чтобы Александр Спиридонович изнывал без привычного, жандармско-департаментского. И не потому, что он отказывал себе в удовольствиях определенного свойства, в тех «клубничных» удовольствиях, которые среди сослуживцев Скандракова считались главной достопримечательностью парижской жизни. Уж если говорить о «настоящем человеке на настоящем месте», то таким человеком был не граф Дмитрий Андреевич и даже не тайный советник фон Плеве, а Скандраков, всего лишь штаб-офицер и чиновник хоть и особых, но все же лишь поручений.

Здесь, в Париже, свободный от петербургской повседневности, от канцелярий, входящих-исходящих, от всего,

что кружилось и кружило, здесь, вдали от России, ему пристальнее думалось о России. И о том, что судьба ее — грозное указание миру, как не следует устраивать государственное бытие. И о том, что все-таки существует сокровенная мощь русского народа. А главное, он опять и опять, но с еще большей проникающей силой ощущал, как ползет, надвигается что-то ужасное и сокрушительное, что-то такое, чего он, Скандраков, не умел четко определить. И потому Александр Спиридонович так ждал, так ждал этих писем в Лондон, на Brook Street...

В республиканской Франции посольство Российской империи пользовалось секретной привилегией: французская политическая полиция задерживала (о, совсем ненадолго) переписку подозрительных россиян-эмигрантов. И мосье Леонард исполнял сверх прочего обязанности перлюстратора. С отъездом Леонарда, то есть Рачковского, в Швейцарию всю подобную корреспонденцию посольский курьер доставлял брюхастенькому постояльцу незавидной гостиницы близ площади Св. Магдалины.

Из этих писем Скандраков тотчас выхватывал тихомировские, адресованные г-же Новиковой.

Ольга Алексеевна постоянно жила в Англии. Она сотрудничала в русской периодике желтого цвета. Она была дамой влиятельной и в Лондоне, и в Санкт-Петербурге. Ей отдавали визиты генералы, дипломаты, министерские чины первых рангов. Однако подполковника корпуса жандармов не занимала публицистика г-жи Новиковой. Александр Спиридонович жадно припадал к письмам Тихомирова.

Бытовое, домашнее, личное текло водою, не удерживая внимания Скандракова: как Тихомировы перебрались зимовать в Париж, как нашли «прехорошенькую квартиру» в чистеньком квартале, как суворинский журналист Павловский («Вечная ему благодарность за знакомство с Вами, Ольга Алексеевна») помогает добывать журнальные заказы, а значит, и существовать на Божьем свете... Нет, все бытовое, домашнее, личное, будничное текло мимо, не удерживая внимания Скандракова.

Ему нужны, ему подавай мысли и мысли. А Тихомиров, обращаясь к дорогой Ольге Алексеевне, адресуясь в Лондон, на Brook Street, «подавал» мысли и мысли. Скандраков делал выписки из тихомировских корреспонденций. Перлюстрация? Полноте! Общение душ. Скандраков делал выписки, комментировал их, перечитывал.

У него копилась пачечка листков. Нет, не перлюстрация. Выписки ничего не значили с точки зрения практических

нужд полицейского, жандармского розыска. Они очень много значили для Александра Спиридоновича Скандракова.

О конечно, усмехнулся Скандраков, бывшие соумышленники заклеят Тихомирова предателем, ренегатом, отступником, изменником. Гм, ну что ж, по-своему они будут правы. Но какое это имеет значение для него, Скандракова, для департамента полиции, для борьбы с крамолой? А никакое, ровным счетом никакое! Тут не дегаевские сведения. Нет, брат, бери выше! Тут мы, департаментские, новое оружие получаем. Да-да, вот именно-с, совсем новое. Бывшие соумышленники скажут: «Вот он, яд, тонкий, всепроникающий». «Целебное средство», — скажет он, подполковник жандармской службы. Да и те из его коллег, кто поумнее.

8

«...Вы спрашиваете о минувшем. Оно занимало меня в Ла-Рэнси. За исключением Смутного времени, не было испытания более тяжкого. Это не было монгольское иго, вражеское нашествие, бедствие внешнего происхождения, но явление внутреннего, собственного нашего разложения. Вихрь закрутился со всею силою и в немного лет описал полный логический круг; концы соединились с началами.

Этого ли хотела и хочет Россия? Нация, желающая существовать, обязана иметь некоторое количество здравого смысла. Правду, сколь она ни печальна, выгодно знать и ясно себе представлять.

Позвольте немного о себе. Мое детство не предсказывало никакой «эволюции в революцию». У нас в семье верили в Бога по-настоящему, православному. Для нас существовали и церковь, и таинства. До сих пор помню то чувство, с которым я молился во время Херувимской. Я очень любил Россию. За что? Я гордился ее громадой, считал первой в свете. Смутно, но тепло ощущал я идеал всемогущего царя¹. Таким меня сдавали детские годы на руки общественным влияниям. Нужно ли говорить, как быстро все это рухнуло?

Я начал читать Писарева. С его наставлений дело пошло на всех парах. Вытравление понятий о вечных целях

¹ Здесь и далее даны курсивом пометки на полях, сделанные подполковником Отдельного корпуса жандармов А. С. Скандраковым. Первая из них гласит: *Все мы из одного пучка, из одного корня. В детские годы у меня были те же чувства. Но одни их сохраняют, другие — теряют.*

жизни, об эпизодичности собственно земной жизни нашей оставляло в душе огромную пустоту, повелительно требовавшую наполнения. Поскольку я, можно сказать «мы», включая сверстников, были русскими, мы, как это свойственно русским, испытывали потребность в сознании своей связи с вечной жизнью, с каким-то бессмертным идеалом правды¹. И вот является вера в социальные формы, в прогресс, в будущий земной рай.

В сущности, это тоже религия, но перенесенная в область социальную. А коли так, мы должны отнестись отрицательно ко всему условному, то есть ко всему историческому, национальному, ко всему, что и составляет действительный социальный мир. И этот действительный мир осуждался нами на гибель. Осуждался в тот самый момент, когда мы сами еще не понимали последствий этой потери.

Наш «передовой», образованный человек способен любить только «Россию будущего». Особенно часто у него враждебное чувство к Великороссии. Это естественно: только гением Великороссии создана Россия. Не будь ее, особенно Москвы, мы бы и теперь представляли картину обезличенной раздробленности, как весь остальной славянский мир.

К тому времени, когда мое поколение выходило «на сцену», у нас уже создалась система взглядов по преимуществу антирусских. Молодой блестящий подполковник генерального штаба (ныне эмигрант, пропойца) публично, перед судом объявляет себя «нигилистом и отщепенцем»²; военная молодежь идет в польские банды, точно выбирая девизом: «Где бунт — там и отечество!»

Никогда молодой человек не проживет без идеала, одной «карьерой». Он сам ошибается, когда щеголяет скептицизмом, сухостью. У него это напускное, он этим забавляется. Но потом нравственная потребность заговорит тем сильнее, чем дольше оставалась без удовлетворения. Она дойдет до страсти, и тогда — берегись.

Нравственное содержание жизни дает только деятельное осуществление идеала. А молодой человек находит в своей душе лишь идеал отрицательный, то есть отрицания всего окружающего. Отсюда поиски путей осуществления отрицательного идеала, то есть разрушения.

Самый легкий путь есть и самый нелепый. Он ведь не в том, чтобы самому отыскать что-нибудь: тут требуется боль-

¹ Человек редкой проницательности! Тонко схвачено!

² Не Соколов ли, автор гадкой книжки «Отщепенцы»?

шая умственная работа, — а в том, чтобы открыть душу какому-нибудь веянию, течению. Он делается рабом их, пойдет куда угодно, как гипнотизированный... Нужно особенное счастье, исключительное положение, чтобы не подпасть под влияние сил, со всех сторон гонящих в революцию»¹.

«В моем понимании освободительное движение суть возмущение против жизни во имя абсолютного идеала. Это алканье ненасытимое, алканье потерявших Бога. Потерявшие Бога — бесноватые. Успокоиться им нельзя. Они скорее истребят все «зло», то есть весь свет, чем уступят.

Наши либералы никак не хотят понять ужас положения, когда слово «террор» произносится с легкостью необыкновенной. Они не понимают, что смерть в конце концов не страшна, когда ложишься костями за свой идеал. Но погибнуть от своего же идеала (вспомните французскую революцию) — это действительно страшно»².

«Да, согласен: революционное движение в упадке. Однако не обольщайтесь, оно воскреснет. Не уповайте на затишье — оно обманчиво — революционное движение только ошеломлено³. Надолго ли? Не знаю. Два, три, может, пять лет у нас для работы обновления, для создания более здоровой атмосферы. А если не воспользуемся передышкой, революционное движение воскреснет.

Легко себя утешать, что революционеры — отщепенцы. Отщепенцы-то они отщепенцы, только от подлинной России, а не от интеллигенции. Обновление интеллигенции или вечные катастрофы — такова дилемма. Людям устройства, людям русским следовало бы сплачиваться, как сплачиваются люди расстройств. Говорю о сплочении, конечно, нравственном⁴.

Суть, по-моему, не в уничтожении оппозиционных элементов, а в усилении с в о и х элементов, элементов созна-

¹ Я об этом всегда думаю, когда юнцов наказывают административной ссылкой или тюремным заключением. Тем самым не наказывают, а закаляют в противоположительственном направлении.

² Вот мысли, достойные всяческой поддержки. Их следовало бы развивать и повторять в подцензурной печати, проповедовать с университетских кафедр.

³ Относительно «ошеломленности» совершенно справедливое замечание.

⁴ Г.м! Как сплотиться, коль все вразброд?

тельно-национальных. Но как это достигается, где рамки дела, дела без фантазий, это, конечно, очень темно для меня и, может быть, не для меня одного¹.

Говоря о воскрешении революционного движения, хуже того, что было, я имею в виду деятельность социальной демократии, которая неизбежна в России, привыкшей жить чужим умом.

Неофитом этого учения явился у нас Георгий Плеханов, русский по имени и рождению, но не по сущности, не по духу; в последнем он такой же «европеец», как большинство нашей интеллигентной толпы. Вы, очевидно, уже слышаны о нем, но он достоин того, чтобы несколько слов сказал вам человек, давно и близко знающий Плеханова.

Сухой, самолюбивый, задорный, мстительный, чуждый великодушия — вот его характер. Он умен и способен, свои знания, надо признать, весьма солидные, приобрел самоучкой, чтением. В своих послылках, в общем мирозерцании своем он банален. У него натура адвоката: замечательное искусство в построении силлогизмов, в диалектике. Но самое основание, дело, которое требуется защитить и которое он защищает, не его — оно ему дано, как дается дело адвокату.

В эпоху наших самых дружеских отношений, в Женеве, я как-то сказал ему: «Логика у тебя превосходная, но ты не имеешь той же силы в установке посылок». Плеханов ответил: «Да что же тут устанавливать? Ведь это же точный, научный факт!»

Он имел в виду ф а к т ы, установленные Марксом. Плеханов принял его учение как откровение. Своим логическим аппаратом он определил, что в теории Маркса материалистические идеи получили последнее слово. И он стал чистым марксистом, которых у нас, русских, пока единицы.

И вот что любопытно. Этот отличный работник, превосходный и неутомимый спорщик-диалектик, пользующийся превосходно своими знаниями, этот ученик Маркса носит в крови неистребимый русский патриотизм. (Может быть, как его учитель — немецкий.) Ничего оригинального, своеобразного он в России не признает, но видит в ней великую социалистическую страну будущего.

¹ Уничтожение само по себе прискорбно. В идеале: предотвращение возникновения подобных элементов. Я думаю, Бисмарк все же не прав, говоря, что нигилистов порождают недра русского народа.

Однако главное в том, что он уже взялся за ожесточенную пропаганду учения, в котором беда и ужас той самой России, о которой Георгий Плеханов вспоминает и говорит с нежностью».

«Нет, нет. Вы очень и очень заблуждаетесь относительно социальной демократии. Ее успехи в Германии, говорите Вы, ничего не сулят России? В том-то и корень, что сулят¹.

В конце минувшего века, вот уж столетие близко, передровые, так сказать, мыслители сознавали канун «новой эры». Горделивая радость наполняла тогда людей. Вспомните Демулена, Кондорсе и т. п. Они были уверены: «Все говорит нам, что мы вступаем в эпоху одной из величайших революций рода человеческого».

Но вот политическая и социальная жизнь народов переделана. Однако тяжким было бы пробуждение пророков XVIII века, развитие жизни идет в противоречии с теми мечтами, которые казались реальнейшими. «Новый» строй держится не на предвиденных основах, а вопреки им...²

Теперь все более резко выступает идея социалистическая. Плеханов вслед за своими учителями утверждает, что социализм идеал реальный, ибо диктуется реальными условиями производства.

Допустим, классового государства не будет. Но государство как организованная власть над личностями останется. Социальная демократия много говорит о рабочих. Рабочие мне самые близкие из всех слоев; я крестьян мало знаю и не сумел бы с ними сойтись, а рабочие мне свои люди, конечно, они могут меня и повесить, но это уж другой разговор: вешают не одних чужих, а и своих. Так вот, рабочие могут ждать от социальной демократии чего угодно, только не признания прав личности...»³

¹ Социально-демократическое шевеление наблюдается в России. Но Тихомирову невдомек, как и прочим у нас, что в этом случае нельзя валить валом по-прежнему, так как социальная демократия отрицает террор, что само по себе важно и полезно.

² Далее рассуждение об иллюзорности западного парламента как воплощения так наз. народной воли. Ту же мысль высказывал в своих талантливых статьях генерал Р. А. Фадеев. Но у нас, в России, наличие сведущих людей земли при государе — мера весьма желательная

³ Но рабочим, и с этим надобно считаться, есть чем увлечься в социальной демократии, есть чего от нее ждать.

«То, о чем Вы пишете, составляет предмет моих тревог. Конечно, нет ничего постыдного в сознании своей ошибки, в постепенном или даже внезапном переходе от одного образа мыслей к другому. Критерий ясный: цель такого перехода должна быть совершенно чуждой личному расчету. Есть много политических деятелей и писателей, которые сожгли то, чему поклонялись, и поклонились тому, что сжигали.

Но Вы спрашиваете меня о нынешнем отношении к прежним товарищам, и я останавливаюсь в смущении. Вы, конечно, поймете, что чем тяжелее внутренняя борьба, предшествующая разрыву с прошлым, отречению от него, тем больше огня, страсти вкладывается в защиту нового. А такая защита неизбежно принимается публикой за самооправдание, и публика тут не совсем не права. Однако, как я понимаю, для каждого перешедшего слева направо или справа налево неперенная обязанность — терпимость к прежним единомышленникам, вера в их добросовестность, в их честность. И я не хочу отказывать в этих качествах людям типа Желябова, Михайлова, Перовской, Лопатина, хотя они наверняка отказали бы мне теперь и в честности, и в добросовестности. Больше того, после появления брошюры, над которой работаю (я уж и название держу в голове, что-нибудь негромкое, что-нибудь вроде: «Почему я перестал быть революционером»)¹, после такой книги меня, несомненно, предадут анафеме, обзовут изменником, ренегатом, проделают много пошлого, банального, чего не делают, например, с Достоевским, громадная гениальность которого затыкает рты.

А ведь мне были даны мучительные, тягчайшие «высшие курсы» воспитания. Я послужу моим прежним товарищам как бы некоторым оправданием... Господи, какие прекрасные жизни могли быть прожиты, если бы не проклятое «миросозерцание». Но кто знает, может быть, исторически и это было нужно?

Не знаю, выйдет ли из моей книги польза в смысле возвращения на родину, о чем мечтаю давно вместе с женою, которая всегда была больше мать и жена, чем революционерка. Как бы там ни было, но я, когда придется, буду говорить только о себе, бумаги мои, могущие хоть на волос полицейски кому-либо повредить, такие бумаги я уничтожу, сожгу.

¹ Прекрасное дело задумано! Дай Бог осуществить. Такую бы книгу следовало печатать. Она будет ушатом холодной воды на пылающие головы незрелых юнцов.

Самое ужасное, что меня может ожидать, так это не проклятия бывших единомышленников, а недоверие высшей власти. Здесь меня утешает то, что я ведь не лезу в охрану государя, я буду под надзором, я милости попрошу и покаюсь и все унижение возьму на себя¹. Но, повторяю, не дам никаких фактических материалов из нынешнего состояния так называемого революционного дела.

Я отказываюсь от революции вовсе не по обстоятельствам личной психологии, а потому, что понял ее нелепость с точки зрения русской национальной психологии. Я уверен, что впоследствии, когда наступит момент полной исторической оценки, а он наступит раньше или позже, я буду назван необходимым дополнением всего процесса».

«Вы правы, Вы тысячу раз правы! Личность никогда не сможет удовлетвориться лишь материальным устройством общежития. Ей необходимо духовное во всей глубине и красоте.

Русские революционеры всегда признавали необходимость этического учения, без которого не будет и нового общества. Вообще мыслящая молодежь моего времени мучилась вопросами морали. Да и ныне, насколько могу судить, существует сознание, что одна наука, одна политика не способны дать духовного совершенства.

Мы мечтали о катехизисе революционной этики. Нам был нужен свой, революционный митрополит Филарет. Известный Лавров не однажды пытался дать прямые ответы на «проклятые вопросы». Сравнительно недавно он опять опубликовал пространную статью в женеvском «Вестнике Народной Воли».

Принимаясь за письмо к Вам, я перечел это сочинение. И, признаюсь, на меня будто глянули химеры из-под застрех католического храма. Не стану трудить подробным разбором. Однако извольте взглянуть на некоторые пассы почтенного автора.

Восхваляя борьбу со старым миром, Лавров признает во многих врагах «возможных братьев», жизнью которых должно дорожить пуще собственной. Ну что ж, кажется, отлично! Но не тут-то было. Оказывается, что в борьбе со

¹ Тихомирова, конечно, не следует мерить дегаевским аршином. А недоверие все же неизбежно: столько лет в революции! Жаль, ежели намерение вернуться встретит препоны. Рассуждая трезво: глупо и невыгодно. В этом смысле — представить В. К. Плева.

старым миром приходится по необходимости действовать иногда «гадкими» способами. И далее: но об этих печальных средствах «мы говорить не станем». Да отчего ж, милостивый государь? Почему ж не станем? А потому, отвечает, что «гадкие» способы борьбы «в н е всякой нравственности». Каково?

Лавров убеждает революционеров не рисковать «без крайней надобности» чистотою знамени. Без крайней надобности... Но кто, но как определит, наступила иль нет сия зыбкая, гуттаперчевая «крайняя надобность»? Ответа нет.

Впрочем, унтер-офицерская вдова сама себя сечет: не следует-де опасаться любых средств на пути к царству справедливости. Слышите: любых! И спешит успокоить читателя: «достаточно прольется неизбежной крови», но цельто нравственная, и она должна быть достигнута. И потому надо примириться с кровопролитием, как примираются с жестокой, но необходимой операцией. Подобные построения возможны единственно оттого, что кабинетный затворник храбро отвергает безусловность добра и зла.

Не могу, Ольга Алексеевна, не привести Вам слова из ужасного письма-стона; письмо это, нелегально добытое из Петропавловской крепости, ходит по России в списках.

Для них, погибающих, вопросы морали мучительнее и сложнее, нежели для эмигранта с улицы Сен-Жак. И в этой мольбе из темниц слышится мне некий залог работы морального обновления, о котором я, помнится, имел случай писать Вам. А работа эта состоит не в поисках новой этики, а в возвращении к этике христианской с ее великими истинами, с ее простым и непреложным пониманием дозволенного и преступного.

Отказавшись от религиозной идеи, люди утратили понимание своего места в природе, своей свободы и несвободы. Невозможность насытить душу деятельностью материального мира есть порок сердца современного человечества. Между прочим, не кажется ли Вам, что жажда социального переворота — следствие все той же тоски обездоленной души обмануться чем-то нематериальным, вышшим и общим?

Столетиями доказывалась роль знания, столетиями ниспровергалась роль веры. Необходимо слияние обоих элементов. Без возвещенного и завещанного в Нагорной проповеди, как бы лукаво ни мудрствовали, нельзя ждать ничего в мире нравственном, кроме разнузданности и хаоса.

Дело не в непротивлении злу. Дело в противлении злу. Но злу не внешнему, а внутреннему, гнездящемуся в твоём

«я». И только на этом пути, очень тернистом, по-настоящему трудном, может выработаться личность, обладающая не просто умом, но умом совестливым».

Скандраков был вознагражден: письма на Brook Street уяснили ему многое. Он почувствовал себя вооруженным. Теперь у него не было той недостачи в арсенале средств, которыегодились не для тайного розыска, а для будущих собеседований с государственными преступниками.

К Тихомирову Александр Спиридонович испытывал благодарность, признательность, уважительность. Такой ум и такое сердце, думал подполковник Отдельного корпуса жандармов, сослужат России службу бесценную.

И чиновник особых поручений сел за обстоятельный доклад директору полиции. Если б не субординация, он обратился бы со своим докладом прямо в Гатчину на высочайшее имя.

9

— Мила оч-чень, н-да-с, — повторил Рачковский.

Его тон был неприятен Скандракову. Рачковский сам был нынче неприятен Скандракову: посвежевший, тронутый загаром, а востренькие глаза, когда говорит о светлейшей, неприлично маслятятся.

— Полная, но в меру, и в цвету, хотя уж за сорок. Представляю, какова была... — Рачковский мечтательно покачал головой и томно поднял руку со сложенными щепотью пальцами.

Скандраков недовольно пошевелился в кресле.

— Да что уж там, Александр Спиридонович, — оправдательно вздохнул Рачковский, — все мы люди, все человеки.

Скандраков поджал губы, и Рачковский заговорил сухо, быстро, словно торопясь отделаться.

Юрьевская, говорил он, живет широко, задает балы; окружена темными личностями; те имеют отношение не к революционной эмиграции, а к биржевым махинациям; в Люцерне удалось найти лиц, знающих интимности княгини; отныне установлено внутреннее наблюдение, не безвозмездное, конечно; Юрьевская считает себя «гонимой страдальцей», горит желанием общественной роли, но, надо полагать, даже на знакомство с нигилистами не отважится; графа Лорис-Меликова в Люцерне нет, это не означает, что он плох с Юрьевской; встречаются часто, останавливаясь в

одних и тех же отелях, причем граф — инкогнито; свое прошлое Лорис ценит буквально как деятельность «вице-императора»; сын Юрьевской очень неглуп, хотя и ленив, мечтает о кавалергардском мундире и всерьез полагает, что он — член царской фамилии; к бумагам Юрьевской, увы, доступа нет, она давно приняла свои меры...

— Ну-с, что ж еще? — Рачковский на минуту призадумался. — Что ж еще... Есть кое-какие подробности, но вы до них не охотник.

— Альковные? — спросил Скандраков.

— Да.

— Не охотник. Но мы не за рюмкой коньяка.

— Извольте, — быстро и сухо продолжал Рачковский. Он закинул ногу на ногу, брюки натянулись, означилась остренькая небольшая коленка, тоже, как и весь облик Рачковского, неприятная Скандракову. — Извольте, Александр Спиридонович. Юрьевская состоит в связи с домашним своим доктором; любовники столь неосмотрительны, что дочь светлейшей застигла парочку на месте преступления и закатила истерику; говорят, медик может запереть княжну в желтый дом...

Скандраков слушал с вежливым безразличием. Ведь он еще до командирования Рачковского в Люцерн утвердился на мысли, что хлопоты вокруг Юрьевской недостойны серьезных усилий. Гатчину, конечно, должно коробить поведение хоть и морганатической, но все же супруги покойного императора. Да оно и впрямь заслуживает порицания. Но и Юрьевская со своим любовником, и ворчливая фронда графа Лориса — что они значат в сравнении с тихомировскими капитальными идеями? Какая-то стареющая, оплывающая жирком Юрьевская, какой-то клистирный фаворит, какой-то выпавший из тележки сановник... Мошкара мельтешит, толчет воду в ступе. Мошкара вьется и в департаменте, и в жандармских управлениях. Где ей видеть то, что видит Александр Спиридонович Скандраков?

По чести сказать, Рачковский тоже теперь уж не придавал серьезного значения «делу Юрьевской». Но Рачковский вовсе не желал, чтобы так же думало начальство. Тусклое невнимание подполковника раздражало и удивляло Рачковского.

Когда Скандраков вскользь предложил ему рапортом доложить господину Плеве о Люцерне и всем прочем, Петр Иванович учуял неладное. Он мог побиться об заклад: ни один чиновник, присланный Санкт-Петербургом, никогда не упустил бы случая отличиться в «деле Юрьевской». И

если этот брюхастенький упускает, стало быть, дело дало сильные трещины, а то, может, и вовсе пошло прахом. Рачковский огорчился, однако не выдал себя, только переспросил, будто ослушался:

— Мне докладывать господину Плеве?

— Вам, да-да, вам. А изъятием Тихомирова прошу повременить. Наблюдения, пожалуйста, не снимайте. А изъятием повременить.

Терпеть дальше Рачковский не мог. Он взволновался, обиделся, загорячился.

— Как так? Что такое, Александр Спиридонович? Ей-ей, голова кругом... А? Что происходит? Нич-чего не пойму.

— Много воды утекло, мосье Леонард, — с шутливой назидательностью сказал Скандраков. — Камень крошится, гранит и тот плавится.

Его риторика бесила Рачковского, хрящеватый нос трепетал, желваки бегали.

— Да объяснитесь, ради Бога. Я, кажется, не заслуживаю, чтобы со мною...

— О конечно, — улыбался Скандраков. — Я сейчас, прошу прощения, сейчас, одну минуточку Он рылся в портфеле, медлил, играл в кошки-мышки. Рачковский бесился. — Ах, вот она, вот, извольте. — Скандраков торжественно, весело протянул Рачковскому исписанный лист:

«Милостивый государь Вячеслав Константинович! Получение письма от меня, быть может, удивит вас, Вы не ощутите, быть может, достаточных побуждений, чтобы уделить мне несколько минут внимания, если не благосклонного, то беспристрастного. Я позволю себе...»

У Рачковского упало сердце, глаза побежали незряче, пока не уперлись в строку: «...я, Тихомиров Лев, имя...» И Рачковский потерялся, как теряется человек, которого нагло и дочиста ограбили. Но Петр Иванович вспомнил о Скандракове и, насупившись, грызя ноготь, читал дальше.

«Если вы, милостивый государь, захотите перелистать мою брошюру «Почему я перестал быть революционером», посылаемую при сем на имя ваше, вы увидите без дальнейших объяснений, какой огромный переворот произошел в моих взглядах. Переворот этот назревал в течение многих лет...»

Скандраков прохаживался по номеру, твердо постукивая каблуками, словно нажимая на запятые и точки в тихомировской челобитной. Рачковский слышал победительный стук каблуков и читал все скорее, пропуская сперва строки, а потом уж и целые абзацы.

«Я взглянул, таким образом, на общественную жизнь собственными глазами, и она мне явилась в совершенно ином освещении. Я был бы, однако, более счастлив, если бы не узнавал истины, а продолжал оставаться в былом революционном охмелении. Это не потому, что истина была тягостна сама по себе. Напротив, она одна открывает гармонию истории. Беда лишь в том, что моя собственная жизнь, мое прошлое и будущее являются при этом каким-то безобразным кошмаром... Это положение составляет, быть может, справедливое возмездие за страшные ошибки прошлого, но оно от этого не становится менее невыносимым. В его безысходном мраке у меня остается лишь один луч света — надежда, что, быть может, я могу получить амнистию. В этих видах я обращаюсь к вашему посредничеству с просьбой указать мне путь, по которому я, если это возможно, мог бы возвратить себе родину и права русского подданного. Я надеюсь, что вы не оскорбите меня предположениями, будто бы я хочу что-нибудь покупать у своего правительства или продавать ему... Мое прошлое налагает на меня некоторую нравственную обязанность приложить свои силы к укреплению того, что я долго расшатывал своею публицистической деятельностью... Однако я стремлюсь не только успокоить свою совесть этой честной искупительной работой... Революционное настроение умов, характеризующее нашу эпоху, излечивается не декламациями, хотя бы и самыми горячими, а освежающим влиянием точного наблюдения, изучения, анализа... Чтобы поставить свою публицистику на серьезную ногу, должно быть в той стране, для которой работаешь... Это — единственное оружие, которому я доверяю... Я ищу иметь его в своих руках... Я позволил себе опубликовать переданный мне рассказ о вашем будто бы разговоре с Судейкиным о покушении террористов на жизнь гр. Толстого. Тогда я верил этому рассказу, впоследствии понял, что он — тенденциозная ложь, которые тысячами сочиняются о всех высокопоставленных лицах. Но, во всяком случае, опубликование этого рассказа составляло несомненный литературный донос на вас. Никаких оправданий для себя не имею... Представляю вам, милостивый государь, выражение моего полного почтения, имею честь...»

Рачковский был бледен, его острые глаза мрачно горели. Скандраков понимал: еще бы! Разом биты две крупные карьерные ставки — и Юрьевская, и Тихомиров. И все же подполковник не ожидал столь бурной реакции.

Рачковского взорвало не только то, что «Леон Тигрыч Прохвостов» перечеркнул взлелеянный план изъятия, похищения. О-о нет, не только! Этот «Прохвостов» пытается сухоньким, благородненьким выскочить из воды. Ишь, подлец, завернул: п р о д а в а т ь не намерен!.. Значит, другие, иные пусть продают, а он, умница-разумница, займется публицистикой?

Рачковский был оскорблен, уязвлен. Ведь и Рачковский Петенька, тогда еще студент, мог бы открыто перейти из одного стана в другой. Мог бы, а не сумел. Не сумел и не посмел! Поначалу нанялся агентом-provokatorом, потом, когда прижали в подполье, удрал за границу. Никогда прежде Рачковский на жизнь свою не сетовал, не сожалел о том, что произошло. А теперь, прочитав тонкое и ловкое прошение Тихомирова, взбесился, не отдавая отчета, на кого бесится: на одного ли «Прохвостова», на себя ли, на «Прохвостова» и на себя вместе.

Не-ет, батенька, погоди-ка! Мы тебя ущучим, сорвем тогу, выйдешь голеньким. И Рачковский, негодуя, бесясь, уже не выбирал выражений, не дипломатничал.

— И вы поверили?! — воскликнул он. — Поверили бумажке? Э-э нет, позвольте уж мне! Вы что же, постигаете логику таковых прыжков? А? Постигаете? В здравом уме — черное за белое? — Рачковский ненатурально рассмеялся, саркастически повторил давешнее распоряжение Скандракова: — «Изъятием повремените»... Мошенник, сукин сын, унюхал опасность — и на колени. А вы принимаете дерьмо за чистое золото? Да? Вчитайтесь, вчитайтесь... — Он потряс бумагой, держа ее гадливо, двумя пальцами. — Подзаборная шлюха спасает шкуру. Шкура дорога, собачья шкура, вот что! И виляет хвостом. Виляет, сукин сын! Задабривает его превосходительство Вячеслава Константиновича. А как же иначе? Как же иначе? Для чего ж он, по-вашему, эту историйку-то вытащил? Для чего «Таймс» вспомнил? Задабривает, сволочь! Нипочем бы не помянул статейку. А тут, нате-ка, склонил выю: «литературный донос»! Знает кошка, чье мясо съела. Не-ет, Александр Спиридонович, я вам глаза-то открою, я этого Прохвостова не один год наблюдаю.

Рачковский перевел дыхание и взглянул на Скандракова. Тот уже не прохаживался — сидел на диванчике, взирал эдак лукаво-сострадательно. И Рачковского снова понесло.

— Вы вникните, вникните! Ведь это ж интриган! Матерый интриган. Привык быть вождем, своего всегда добивался. И не мытьем, нет, не личным примером и даже не

красноречием, а катаньем. Не мытьем, так катаньем, а своего всегда добивался. Главных-то повыбило, а он уцелел. Уцелел, подлец! Ну и на свободе — раззудись, плечо: вождь и учитель. И все тишком, тишком. А сам трус, первейший трус. Он ведь в России штаны марал при одной мысли об аресте. С ним, бывало, кому из друзей встретиться — целая комиссия! Чуть засквозило — сейчас это рожки в раковинку, нету меня, нету-с. Ему других на смерть отправить... Вот хоть Лопатина возьмите. Что ни говори — человек, фигура, личность! А эта тля отправляет такого... Ему раз плюнуть. Хорошо, пусть, ладно. Но поймите, Александр Спиридонович, мечтам-то о его диктаторстве — крышка! Что-с? Не мечтал? Клянусь, мечтал! И еще выше берите: в директории себя видел! А теперь понял: все пылью, все дымом. Значит, что же? Значит, подыхай в парижках. Я знаю, оч-чень хорошо знаю...

Скандраков дождался, пока Рачковский затихнет. Помедлил и уязвил:

— Недурно разбираетесь в психологии. В психологии тех, кто, так сказать, меняет ориентацию. Но Тихомиров попал в цель.

— Уже? — сорвалось у Рачковского.

Скандраков поднялся с дивана. Покачиваясь на носках, прищурился.

— Уже! Вячеслав Константинович докладывал государю. Его величество изволил заметить, что отталкивать такого просителя не следует, а следует истребовать формального ходатайства о помиловании. Как видите... — Скандраков широко развел руками, не то сожалея о Рачковском, не то дивясь прозорливости самодержца.

У Рачковского достало сил снести удар. Но, Боже мой, как он ненавидел чиновника особых поручений! Подполковничек умолчал о высочайшем повелении, умолчал, брюхастенький, и наслаждался его унижением. Самоунижением! И тотчас пронеслась у Рачковского мысль об убийстве. Нет, нет, не теперь, теперь поздно, а вот прежде-то нетрудно было «изъять», «устранить» Тихомирова. Физически устранить!

(Потом, уже дома, успокоившись, Петр Иванович не раз возвращался к этой мысли. Ему казалось странным, что она не пришла на ум ни графу Толстому, ни сенатору и тайному советнику фон Плеве, ни подполковнику Скандракову, ни ему самому. Вот поди ж ты, думалось Рачковскому, хлопотали, хлопотали, а того, чтобы поступить с Тихомировым, как Тихомиров поступил с Судейкиным, — нет, и тенью не мелькнуло.)

Но все это бродило в душе Рачковского много позже. А сейчас, в номере гостиницы, поник Петр Иванович, сраженный окончанием большой игры... Он только и спросил, долго ли еще Александр Спиридонович намерен быть в Париже.

— Уеду, — бодро объявил Скандраков. — Вот выйдет ему прощение, и уеду. Чего мне тут ветриться?

Уехал он не скоро.

В министерстве внутренних дел скоро вершат дела арестные да хватко в «исполнение приводят», а коснись «смягчений участи», не говоря уж о полном прощении, начинается вялая спотыкливость, то и се, пятое-десятое. Не торопятся. Известно: поспешишь — людей насмешишь. Оно, конечно, сам государь указал. Так-то оно так. А почему б не явить сугубую осторожность? За нее голову не снимут. Разве что пожурят.

Петербургская валкость не пришлась по вкусу Скандракову. Уже и Лавров, живущий в Париже, и Плеханов, обосновавшийся в Швейцарии, открыли артиллерийский огонь по автору брошюры «Почему я перестал быть революционером». Уже эмиграция (исключая, понятно, Ландезена и журналиста Павловского) предала автора анафеме. Сострадав Тихомирову, подполковник опасался за его жизнь. Террористы не пощадят, рука не дрогнет — из-за угла пырнут или пристрелят. Им ведь не в диковину разделяться с политическими недругами. «Все дозволено!» — это не книжный Раскольников, а реальный разбойник Нечаев провозгласил.

Тревожась за Тихомирова и не слишком полагаясь на охранительный надзор Рачковского, подполковник велел верному Ландезену не спускать глаз с Льва Александровича.

С каким-то новым, личным чувством, с сердечной участливостью Скандраков заглядывал в письма своего единомышленника и в некотором роде наставника. В письма, адресованные в Лондон, г-же Новиковой. Скандраков досадливо кричал, морщился и вздыхал, читая, как трудно приходится Тихомирову, как его травят нигилисты-социалисты, в какой он печали и грусти и как ему несносен Париж.

Одно из таких писем, короткое и нервное, больно резануло Скандракова. И в очередном докладе фон Плеве он процитировал «крик тихомировской души», его вопиющий глас: «Неужели люди русского царя не могут поверить, что дело русского царя может кого-либо искренне привлекать?! Заметьте, если бы я просился в шпионы, меня бы сейчас же пустили. Переход в шпионы понимается, а честное убеждение в нелепости революционных идей — нет. Меня это сокрушает».

Вгорячах Скандраков не уяснил до дна мысль Тихомирова. Но под утро, всплывая из сна, ворочаясь на дрянной постели с дурацким валиком вместо подушки, под утро Скандракова будто толкнуло, он очнулся и сразу же вспомнил и это недоуменное горестное «неужели», и это гневное «если бы я просился в шпионы...»

«Господи, — охнул Скандраков, — какая ужасная правда! Ужасная, горькая, сшибающая с ног! Тихомиров, должно быть, и не подозревает, какая роковая и опасная правда им высказана».

Блуждая взглядом по смутно белеющему потолку, по стене с уже блекнувшим овальным отсветом уличного фонаря, Скандраков перебирал известных ему деятелей политического сыска, юстиции, чиновников разных ведомств, которых он знал, и знал хорошо, основательно. Он выстроил их, он устроил им ревизию. И оторопел: Господи Иисусе, никто, ни один, если как на духу, ни один не верит в дело, которому служит. Машина запущена, в ходу, но в ходу по инерции. Нет веры и нет пафоса, нет идеи, смешанной с кровью, а есть кулебяка и экипаж, казенная квартира и жалованье. Служат за страх. Иногда принимают страх за совесть, а служат-то за страх потерять то, что имеют... «Меня это сокрушает», — подумалось Скандракову словами Тихомирова. Александру Спиридоновичу было нехорошо, неприятно и безотчетно обидно, как бывает, когда не поймешь, тебя ли обманули или ты сам обманулся. Ему стало тесно, душно в номере, захотелось вскочить и уйти в еще сумеречный Париж, где шипела и хлюпала перемесь дождя и снега, уйти на край города, найти Тихомирова и у Тихомирова найти защиту, что-то твердое, незыблемое.

Никуда он не пошел. Рассеянно слушал, как просыпается отель. Рассеянно смотрел на фаянсовый умывальник, похожий в сумраке на толстяка коротышку. Исчез блик от фонаря, наступило смурое утро...

Недели две спустя подполковник уезжал из Парижа. От проводов Скандраков отделался: сказал Рачковскому, что поезд ранний, в семь часов. Рачковский не настаивал. Простились они холодно.

Тем же поездом в Петербург уезжал Тихомиров.

Именем государя императора ему было объявлено «полное прощение с отдачей под надзор полиции на пять лет». Полное прощение и... надзор полиции? Очевидно, даже в покаях Гатчины витало сомнение в том, что дело русского царя может кого-либо искренне привлечь. Однако как бы ни было, а Тихомиров Лев вновь обрел русское подданство.

Накануне отъезда Тихомиров жег бумаги: ни словечка, ни строки, которые могут повредить бывшим товарищам, тем, кто, заблуждаясь, одержимый бесом, остается в освободительном движении. В огонь! Пусть огонь пожрет все, что бережно подобрали бы плюшкины тайного розыска. В огонь! Война идее — это да. Гибель приверженцев этой идеи, человеческая, личная гибель — нет и нет. Противоречие? Разумеется, противоречие, алогичность, если отсчитывать от той точки, которая есть у обоих противников. А у него иная точка. И, сжигая бумаги, он утверждает в огне одну из первоначальных этических истин.

Быть может, однако, он страшится тех же «длинных ножей», что и Сергей Дегаев? Страшится мщения бывших единомышленников? Пусть кто-нибудь вот так именно объяснит, думал Тихомиров, но это не имеет решительно никакого значения. В огонь, в огонь... Нет, ты не просился в шпионы. Тебе не доверяют, отдают под надзор? Что ж, будь безропотен, как Иов многострадальный. И ликуй: «Государь тебя простил!»

Но сейчас, на грязном, липком перроне, когда оставались минуты (их гулко, с присвистом выдыхал локомотив), сейчас Тихомиров растерянно улыбался жене и сыну, кивал и отвечал им, не сознавая, что они говорят. Он озирался, точно искал кого-то, точно потерял что-то.

Он не ликовал. И не потому лишь, что Катя с Сашурой временно оставались в Париже. Все в нем смешалось, подернулось знобющей мглюю.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

— Было время, господа судьи, и зал суда был на Руси единственным местом, где раздавалось громкое и свободное слово. Где люди, отправляясь на смерть, высказывали свои думы, стремления, надежды. Где они излагали критику существующего порядка. Но, господа судьи, это время миновало. Правдивые, горячие речи говорить здесь не для чего... В застенках нас морят, в застенках и «выслушивают» наше последнее слово. Ни одно сердце (и мы это знаем) не забудется в ответ, самый отзвук бесследно замрет в этом зале...

В зале было душно. Солнечный столб, полный пыли, падал косо. Два генерала и гвардейские штаб-офицеры — члены военного суда — слушали Лопатина. «Последнее слово»

определено законом. Приговор еще не решен, а уже предрешен. Но «последнее слово» приходится выслушивать. И два генерала, гвардейские штаб-офицеры слушают Лопатина.

— И все же я выскажусь. Вас я не могу признать законными судьями. Вы представляете заинтересованную сторону. И не вам судить трезво, без пристрастия. Но я верю... Это моя единственная вера. И она утешает... Я верю в высший суд Истории. Он надо всеми нами и над вами тоже, господа. Вот ввиду этого я не буду защищаться.

Два генерала и гвардейские штаб-офицеры слушали «последнее слово». Оно предусмотрено законом, и посему пусть говорит этот Лопатин. Приговор еще не решен, приговор уже предрешен. Пусть говорит, как говорили и другие подсудимые. Это их право. Военный суд слушает «последнее слово».

— Я не стану не только защищаться, но даже объяснять вам истинный смысл того, что я сделал. Объясню только, почему во все время предварительного дознания, во время судебного следствия я не признавался... Не признавал себя членом партии «Народная воля», официальным агентом Исполнительного комитета. Теперь скажу откровенно: да, я был таким агентом. Совершенная правда, что я говорил прежде: моей натуре претило налагать на себя оковы какой бы то ни было обязательности. Ограничиться рамками определенной программы... Но мне, человеку не бесславного прошлого, сделали уступки... Итак, почему же я упорно не признавал себя членом партии перед лицом врага? Не хотел связывать свою волю. Многое мне нельзя... Многое я не имел бы права высказать из того, что высказал как частное лицо. Затем... Ну что ж, пусть вот так. Затем вы еще должны помнить, господа судьи, что я, до того времени гордый безупречным прошлым, потерпел такое ужасное, такое позорное поражение. Я имею в виду эти несчастные адреса. Эти несчастные бумаги и записную книжку. Ведь я... Ведь я собственной рукой погубил, что создал другой рукой. Да, это было... Это было ужасное поражение. Искупить его мне удалось только отчасти... Впрочем, искупить мне... Ну хорошо, оставляю. И вот после ужасного, позорного, повторяю, поражения я не мог, не имел духа открыть... Открыто признать себя членом Исполнительного комитета. Теперь, когда, быть может, уже недолго биться моему сердцу, я даю такое признание... Тут все время о Судейкине... Мне совершенно безразлично в данную минуту, признаете ли вы меня участником убийства Судейкина. Может, я им был, может, я им не был. Во всяком случае, вы немного возьмете на свою совесть, если признаете, что я участвовал в этом убийстве.

Нравственным соучастником был. Но что бы я ни сделал, жалею только об одном... Я жалею, что сделал мало. Пощады я просить не желаю. Уверен, что сумею умереть мужественно.

Приговор был предрешен. И решен. Генерал-майор читал по бумаге. Впрочем, то звучал не приговор. Военные объявляют р е з о л ю ц и и. Resoluto означает: смело, решительно. Генерал-майор читал твердо, решительно, смело.

Потом Лопатин расслышал тупое шелканье портсигаров: усталые генералы и полковники угощались папиросами. Они очень устали, господа военные судьи: было далеко за полночь.

Двадцать одну душу получил военный окружной суд от департамента полиции и губернского жандармского управления. Десятерых суд отдал на заклятие.

Издравле на заклятие отдавали первенцев. Богов было много, боги жаждали крови. Потом отдавали преступников. Но Бог уж был един. И он не жаждал крови. «Милости хочу, а не жертвы».

Генералы и полковники не хотели жертв. И не хотели милости. Они просто вынесли резолюцию. И удалились — к женам и детям, в полки Измайловский, Преображенский, Новочеркасский, к своим повседневным обязанностям, к своим огорчениям и радостям, наградным и аттестациям, насморкам и колитам.

У жандармского ротмистра был чистый взор. Он не хотел жертв. Ротмистр скомандовал: «Са-абли вон! Ша-агом арш!» Он конвоировал. И стражники не хотели жертв. Они берегли осужденных, дабы «не учинили себе какого дурна». Берегли от незаконного самоубийства ради законного убийства.

Впрочем, слово «убийство» не произносилось. Ни вслух, ни мысленно. Произносилось: «Повесить». Будто речь шла о ватерпуфе, пальто, плаще. Никто не говорил и не думал: вот такой-то человек, называющийся палачом, в присутствии таких-то людей, называющихся прокурором, врачом, офицером, удавит такого-то человека, называющегося преступником. Не убить, не удавить — повесить. Но в тайном стремлении вытравить страшную обыденность слова изъяснялись: «Подвергнуть смертной казни через повешение».

Куранты Петропавловской крепости вызванивали над императорскими гробницами. Гробницы были немые, прах не подвластен времени. Куранты отзванивали заключенным в рavelинах и куртинах. Звон был вещим: он предрекал смерть Лопатину и Якубовичу, Стародворскому, Конашевичу, их товарищам.

Разжигая костер, инквизиторы стригли и брили еретиков, давали чистое исподнее, кормили хорошим завтраком и позволяли промочить горло стаканчиком доброго винца.

Лопатина ждали цирюльник, свежее белье, сладкий чай с белой теплой булкой.

Еретиков сажали на осла спиною вперед. Перовскую везли на позорной колымаге спиною вперед. В связанные руки еретиков втыкали зеленую свечу.

В России вязали руки, но обходились без свечей.

У высоких костров исповедник обещал еретiku незримую корону мученика. Православный поп, поднимаясь на высокий эшафот, ничего не обещал осужденному.

Куранты мерно вещали: вот идут за тобою, Герман Лопатин. Но самое время, как Лопатину казалось, не утекало. На пороге казни он проникся иным ощущением Времени. Оно не исчезало, а как бы надвигалось, подступало все ближе, все ближе, как вода, уровень нарастал, как в шлюзе, но не поднимал вместе с собою Лопатина.

Душа его цепенела. То не было предсмертным ужасом, когда ломит под ногтями и ноют корни волос. Душа Лопатина принимала это оцепенение, как принимала близость смерти. Смерти он ждал и желал как искупления. За все — за свою размашистость, за свою браваду, за свою веру в «звезду» — за все воздаст он собственной смертью. Он прошел по России как поветрие, повсюду навлекая гибель, везде оставляя роковую метку. Скольких обрек он кандалам, бубновому тузу? Скольких осиротил и обездолил? Он не судьбу свою проклинал, а себя. Он хотел умереть, должен был умереть.

2

Окунаясь в туман, пароход «Кострома», зафрахтованный для перевозки арестантов, приближался к Камню Опасности.

В трюме было тихо, как всегда бывало после чая и перед молитвой на сон грядущий. Сизов лежал на нарах. Завтра, да-да, уже завтра, думал он, прогремит напоследок якорная цепь, а на суше ты сам загремишь цепью, как дворовый пес.

Володимир, Володимир молодой,
Через каторгу на каторгу домой

Кукиш тебе — домой. Но ежели вникнуть, то вроде как домой. Не может душа без того, чтобы в чем-нибудь не

отыскать былинку радости. И ловишь в себе вроде бы и радость: на каторгу как домой. Горы там, на этом острове, горы, земля, лес, травы.

Высоко, на подволоке грохнул люк — отомкнули. И опять грохнул — замкнули. Но Сизов головы не поднял, не глядел, как судовой поп, шелестя рясой, спускался по узенькому, почти отвесному трапу.

Каторжане зашевелились, потягиваясь и прокашливаясь, гася сигарки. Нил Сизов с места не двинулся, лежал на жестких своих нарах.

Молодой поп стал творить молитву на сон грядущий:

— Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь. Господе Иисусе Христе, сыне Божий, молит ради пречистых твоих матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе...

Арестанты принялись выдыхать: «Отче наш, иже еси на небеси...» Низкое железное помещение, мерно содрогаясь от ударов машины и винта, помещение с бимсами-балками, тесовыми в два яруса нарами и гальюнами, наполнилось бормотанием двухсот с лишним людей.

«Отче наш» не успели прочесть: пароход затрясся, рванулся, опять что-то совсем рядом заскрежетало и отозвалось длинным громким стоном. Арестанты, завопив, повалились в кучу. Погас свет. Умолкли, канув в океан, мерные удары винта. И тотчас с грозной обнаженностью приблизился накат волн.

Каторжане не заметили, как священник, подхватив ряссу, юркнул за решетку, как, избегая по трапу, пересчитал лбом железные ступени. Люк отворился, блеснул — очень ярко — отсвет фонаря, люк захлопнулся. И этот яркий отблеск, этот веский стук крышки, окованной медью, взорвал каторжан:

— Дно прошибло!

— Тонем!

— То-о-о-онем...

Сизов давно вскочил на ноги. Он чувствовал такое же бессилие, как и его сотоварищи, он тоже что-то отчаянно и дико орал... Крик и сумятица сменились немотою. Все прислушивались, подаваясь друг к другу, на шаривая руку, локоть, плечо соседа.

Наверху топали матросы. Резко, отрывисто свистал боцман. Сизов узнал голос своего врага, старшего офицера. Что он там командует, падло?

Топот нарастал, шла какая-то возня. А в трюме вдруг засипело, забулькало. И опять взвыли каторжане:

- Отвори-и-и-ите...
- Люки отвори-и-те...
- То-о-о-онем...
- Вода-а-а-а...

Кто-то бросился к решетке. За ним — еще и еще. И вот уж десятки яростных рук трясли железные прутья. Люди, давя друг друга, ничего уж не соображая, матерясь, кляли начальство, судьбу, все на свете.

«Ну, конец», — подумал Сизов, и ему нестерпимо стало жаль себя. Он съежился на нарах и жалел себя, однако не всю жизнь свою, не вообще свою жизнь, а себя жалел — за то, что довелось вытерпеть в этой плавучей тюрьме.

«Зачем? Заче-е-ем? — длинно и смутно, как вытянутые ветром хвостатые тучи, пронеслось в голове Нила. — К чему-у-у?» Он ждал, нет, он требовал ответа. Все теперь для него сошлось, связалось именно в этом ответе, который Сизов требовал невесту от кого и для чего.

Без малого год назад, вскоре после «покушения» на прокурора московской судебной палаты Муравьева, участь Нила Сизова была решена. Г-н Плеве порадел Муравьеву: с Сизовым покончили в «административном порядке», без суда, на котором могла бы всплыть темная шулерская провокация.

Г-н Плеве не грешил противу своей компетенции: «административным порядком» ведала политическая полиция. Спровадив «дурака мастерового» в распоряжение главного тюремного управления, Вячеслав Константинович оговорил, что Сизова, человека неинтеллигентного, надобно уберечь от тлетворного воздействия государственных преступников и, стало быть, содержать в уголовной каторге.

Таким вот образом осмотрительный г-н Плеве порадел и Муравьеву, и Сизову. Первому ради будущих служебно-карьерных ситуаций; второму — ради государственного интереса, диктующего разобшение заблудших овец и матерых козлиц.

Правда, вышла формальная заминка. Главное тюремное управление попросило его превосходительство распорядиться, чтобы в документах на Сизова, в так называемом статейном списке, не указывалось, за какое именно преступление он наказуется. Просьба объяснялась тем, что закон все же разграничивал политических и уголовных.

Формальную заминку Плеве одолел с той легкостью, с какой одолевают подобные пустяки руководители русской

полиции. Не указывать род преступления? Экие крючкотворы, хе-хе. Ну что же, извольте, сделайте одолжение. И Нил Сизов оказался ровней уголовным.

Ведомственное соглашение осталось неведомо Сизову. Оно и к лучшему. Велика ли радость знать, кто вершит твою судьбу, если вершит ее некто, не ты? Сизов только удивился, что его не потащили к судьям. В заочных, административных решениях можно, ничуть их не оправдывая, отыскать малость положительного: заключенный, измученный тюрьмою, дознанием и ожиданием, избавляется от муки судебного разбирательства, от той правды и той милости, которым велено царить в судах. И Нил Сизов не огорчился, что его не потащили к судьям. Больше того, он вроде бы испытал удовольствие: все, мол, определилось и закончилось. И это чувство слилось с напряженным, но уже не изматывающим ожиданием — ожиданием перемен, хотя бы пространственных.

Из Питера отвезли Сизова в родимую Москву. Он вновь очутился в Бутырках. Теперь уже не в следственной камере, а в одном из тех помещений нижнего этажа, где накапливалось этапное поголовье.

Наравне с прочими получил Сизов арестантский «полняк» — ношенный-переношенный нагольный полушубочек, две пары котов да пару нательного белья, онучи холщовые и онучи шерстяные, рукавицы, мешок, шапку. И опять, как после «административного решения», Сизов не обреченность чувствовал, а что-то близкое к удовлетворению, словно путник, снарядившийся в дорогу. Черт возьми, какая она там ни будь, что там ни случись, а все ж дорога.

Странно, быть может, но Сизову не терпелось оставить город, где родился и вырос, где жила мать, рядом жила, от Бутырок рукой подать. Свидания ни с матерью, ни с Саней он не добивался. И не потому, что был уверен в отказе. Нет, ему действительно не хотелось того, о чем он так жадно и неотступно мечтал совсем еще недавно.

Нил уже не принадлежал минувшему. Минувшее не умерло для него, он сам для него умер. Так он думал, так чувствовал. То ли заразившись общей забубенной веселостью уголовного этапа, то ли утвердившись в положении «отрезанного ломтя», Сизов желал и ждал скорейшего расставания с Москвою. Со всем, что Москва для него значила.

Но вот ворота нараспашку, и арестантская партия — колонной, шестеро в ряд, об руку, горбачи с мешками, — партия зашмякала по весенней грязи, и мальчишки, то навпередки, то приотставая, побежали рядом с конвойными.

Свежо и мягко повеяло талым уличным снегом, кругло и желто пахнуло конским навозом, треща крыльями, снялись с колокольни голуби, показались вольные люди, прокатила конка... У Сизова ослабели ноги. Он озирался с отчаянным недоумением. Только сейчас, вот теперь, в колонне, шмякающей по весенней грязи, Нил сознал, навсвязь прочувствовал, что она для него значила, Москва...

Потом, на вокзале (вернее, в стороне от вокзала, на запасных путях), Нил старался все высмотреть, за всем доглядеть, все упомнить. Он словно бы никогда не видел ни закопченной мрачности депо, ни винной красноты водокачки, ни кирпичных, в пятнах пакгаузов, ни маслящихся стрелок.

Сизов не замечал, как арестанты, бранясь и пихаясь, лезут в вагоны, хотя лез вместе с ними, не слышал понуканий и окриков конвойных, которые, как всегда при посадке иль высадке этапной партии, ничемно и злобно сутились.

Сизов озирался, оглядывался до последнего мгновения. И последнее, что заметил, последнее, что запечатлелось в памяти, — взгляд мастерового. Человек этот был немолод, морщинист, в картузе блином, с ящиком, где инструмент, в руках. Он смотрел на арестантов, смотрел с угрюмым, почти мученическим состраданием.

И уже поезд пошел, как локтем отодвигая Москву, уже поезд шел в забелевшем, раздавшемся в стороны дне, и уже Нил уместился в тесноте, в табачном дыму, а его все еще провожал, прощаясь с ним, мастеровой, угрюмо страдающий дядька...

Приехали к Черному морю. Одесса казалась яркой, хоть жмурься. Арестантов пригнали в карантин, пропахший карболкой. Собралась комиссия: лекари в военных сюртуках, члены городской думы. Солдатский конвой сменился матросским.

Голые арестанты, прикрыв срам бурями мужицкими руками, тянулись, как рекруты, к длинному столу. Медики повторяли: «Годен... Годен... Годен...» Члены комиссии помечали что-то в статейных списках.

Во всей процедуре Сизов ощутил унижительное, рабовладельческое, но не взволновался и не озлился. Он решил подчиняться «положенному». То не были покорность, смирение, то было сметливое благоразумие. Он берег себя, свои душевные и физические силы.

В его нарочитой, заданной самому себе «бережливости» таилось желание уцелеть, сохраниться, не иссякнуть. Зачем? Ведь все потеряно и все кончено. Для чего? Ведь

впереди десятилетняя каторга, и ты не знаешь, выживешь ли в цепях, выживешь ли на далеком гиблом острове... Но в душе Сизова, как у всякого арестанта, даже бессрочного, уже работала скрытая пружина надежды. Она начинает действовать исподволь, будто бы мимовольно, едва тюремный арестант обращается в этапного арестанта.

Будущее словно бы и не занимало Сизова. Но он уже, хоть и мельком, хоть и неприспально, хоть и с долей насмешки над собою, нет-нет да и думал о будущем. Каторга не была будущим. Мысль переносилась через каторгу, перепрыгивала каторгу. Будущее было потом, после нее, за каким-то мрачным и смутным горизонтом. И там, в этом потом, за этим горизонтом уже находилось место для Сашеньки. (Верность ее была Сизову чем-то безоговорочным, несомненным.) И даже находилось место «родионовскому»; оно вспоминалось не книжностью, не слышанным изустно; да и вообще-то, кажется, и не вспоминалось, а словно бы поселилось в самом существе Сизова, потому что впервые после «родионовского» все его существо прониклось не верой, а уверенностью, не частностями, не горячностью, а именно уверенностью в его, Сизова Нила, причастности к чему-то огромному и неодолимому...

Ощупывают, как на невольничьем рынке? Пусть их делают свое дело. Обыскивают? Не привыкать. Поворачивайся, двигайся механически. Главное, не растратиться в «положенном».

После обыска арестантов отправили в порт. В порту Сизов осмотрелся. Однако не так, как в Москве. От всего московского, родного уже отделяли версты, и Нил без горечи, без отчаянного недоумения, а с любопытством, с интересом озирает рейд, пароходы и барки, работу на пристанях, своей особенной живостью и бойкостью не похожую ни на какую иную.

Арестанты сгрудились у трапа «Костромы». Показались, сверкая новеньким лаком, дрожки градоначальника. Кучер осадил, седок, сухощавый господин военной выправки, поднялся в рост и громко, отрывисто напутствовал каторжан:

— Правительство посылает вас на исправление. В пути при малейшемслушании пеняйте на себя: ошпарят паром, как тараканов. — И, оглядев серых людей, энергически махнул перчаткой: — С Богом!

Дрожки исчезли. Этапные зашевелились, ворча и стаскивая с плеч мешки. Кто-то начал: «Прощай, Одесса, славный карантин...» — и умолк. Гуськом, медлительно и опасно каторжане полезли вверх по трапу.

В Черном море ничего черного, худого не приключилось. Харч был — грех хаять. «Экий, братцы, борщец наваристый! — хвалили заключенные. — И хлебушко не чета бутырскому!» Но бывалые, из тех, что уж пожили там, где «кругом вода, а посреди беда», бурчали: «Погодь ахать, дураки! И тюремную баланду добром вспомянешь». Однако мысли о страшном «т а м» гнали усердно. Э-э, кой ляд наперед печаловаться? Дал Господь день, дал и пишу... К тому же вскоре расковали кандалных. Сделалось вольготнее.

В Красном море ничего красного, хорошего не было: словно в духовку сунули. Зной полыхал, трюм раскалился, как жаровня. Задыхаясь, каторжане по-рыбьи разевали рты. Одни до пояса оголились, другие портки и кальсоны долой, рубахами перепоясали чресла, как дикари.

Случалось, выводили их группами на палубу и окачивали забортной водою. После душа мучились еще пуще: кожа покрывалась липкой испариной, розовой мокнущей сыпью.

Рацион переменялся. Забудь свежий хлебушек. Кроши, подлец, черные сухари, а они такие, что и молодому волку клыки обломают. Не душистым борщом стали кормить — вонючей похлебкой.

В Индийском океане шибко качало. Морская болезнь доконала изможденных узников. Вентиляция в трюмах онемела. Мясо было с душком, а сухари взялись плесенью.

Пасха застала «Кострому» на Цейлоне, в Коломбо. Поп отслужил торжественный молебен. А ему бы впору было читать отходную полузадохшейся пастве. Но светлый праздник и, главное, стоянка в порту, где, конечно, есть свежая провизия, придали надежду каторжанам. Какие они ни какие, а все ж с крестом. И начальство у них тоже не басурманское, а православное. И должно быть, скажет арестантам, как Иисус ученикам: «Радуйтесь!..»

Но в воскресенье, не обычное, а пасхальное, не ангел сошел с небес и отвалил камень от гроба, а вахтенные спустились в трюм и приотворили железные решетчатые двери — нате, мол, получайте. Мясо было гнилое. Арестанты зашумели. Часовой кликнул боцмана. Боцман — ражий, толстомордый — скатился в трюм.

— Чего надо?

— Вот, ваша милость, извольте глянуть! Рази так можно?

— Можна! — как в бочку гукнул боцман. — Собакам и жратва собачья!

Ему попробовали возразить. Боцман выматерился и ушел. Трюм забурился. Тут впервые во весь рейс каторжане

подступили к Сизову. Нил-мастеровой хоть и ровней им был, да они-то знали, что он «политик». А коли «политик», значит, башка у него, а не брюква.

— Слышь, Сизов? Ты вот у нас молчун, а беда-то у нас общая. Всем тебя, парень, миром просим. Встань, постой за всех.

Давнишнее, занесенное временем, шевельнулось в Сизове. После уж он понял, что шевельнулось: московское, заводское, как он с покойным братом Митей ходокотом отправился в контору Смоленских мастерских и говорил там с инженером Орестом Павловичем... Но это он потом понял и вспомнил, а сейчас, в первую минуту, хотелось ему отстраниться: плетью обуха не перешибешь. Он потупился, чтоб не видеть эти лица с острыми скулами, сухими губами, морщинистые лица людей без возраста.

— Слышь, Сизов, — позвал его просительный голос. — Сдохнем мы тут, как пить дать сдохнем. А язык у нас будто подрезанный, лыка не вяжет. Ты бы уж, брат, сказал чего следоват. А? Всем, видишь, обчеством к тебе...

Коротко вздохнув, Нил пошел к решетке, к часовому.

— Господин часовой, — негромко и сипло выговорил Сизов. — Пригласите к нам старшего офицера.

Часовой качнул головою, ответил, как посоветовал:

— Эх, малый, не при на рожон. Хуже будет.

— Не будет, — сказал Нил.

— Ладно. Мне что ж... — Часовой-матрос переступил с ноги на ногу. — А зря, малый, ей-богу, зря.

Явился старший офицер «Костромь», лейтенант — белый китель и белая фуражка, — брезгливо повел носом, заложил два пальца за борт кителя.

— Ну-с? Чего изволите?

Сизов не ждал ни вежливости, ни даже снисходительности. Но он не был готов к столь откровенному брезгливому презрению. Этот снежный, без единого пятнышка китель, эти небрежные два пальца, этот надлом брови... Лейтенант не походил на привычных Сизову жандармских ротмистров, любезных или крикливых, сумрачных или равнодушных. Те были врагами, мучителями, сволочью, но с теми он как бы сжился: он и они были как бы из одного тюремного мира. А этот серафим с блескучими орлеными пуговицами, этот каютный чистоплюй с кортиком, этот картинный морской фат показался Сизову во сто крат ненавистнее. И что еще хуже, больнее, унизительнее: при виде серафима, снизошедшего в тюремный смрад, Сизов ощутил собственную телесную грязь, свою липкую кожу, свою противную сыпь, весь отвратный и жалкий свой облик

в парах вонючей атмосферы. Ощущение было настолько явственным, что Сизов оробел, смешался и одновременно со все нарастающей, слепящей силой чувствовал ненависть не только к старшему офицеру, но и к самому себе.

— У меня дело не личное, — начал Сизов, выговаривая слова с усилием и оттого чересчур отчетливо. — Я за всех, по общей просьбе... Я понимаю, в море кормить трудно. Но здесь, в порту? Вы должны знать: могут выйти волнения. Ни вам, ни нам...

— «Волнения»? — лейтенант вскинул подбородок, брякнул кортиком о решетку. — Ты эт-то о ка-а-аких «волнениях»?! Ты эт-то что себе позволяешь мерзавец?!

«Тыканье» было не только обычным, оно вменялось в обязанность при обращении с каторжанами. Политических «ты» оскорбляло, выводило из себя, к вящему удовольствию «тыкающих». А Сизову, напротив, казалось, что «вы» всегда сулит неприятную неожиданность. Солдатское или унтерское «ты» и вовсе не трогало Нила. В конце концов были они с ним одной кости, разве что в разных шкурах.

Но сейчас этот белоснежный гоголь «тыкал» нарочито, подчеркнуто, брезгливо, издевательски, и Сизов, уставив потемневшие глаза на лейтенанта, на его твердый роток, на губу его со светлой щеточкой усов, Сизов стал не отвечать, а будто наотмашь хлестать лейтенанта, не давая опомниться ни ему, ни себе.

— Ты меня не прерывай, ты выслушай, тебе говорят, а ты слушай, падалью кормишь, а как выслушать, так у тебя уши вянут, ты меня не пугай, я тебя...

Лейтенант натянулся струной. Он стал тоньше. Он был ошеломлен. Гнев застрял в его горле. Потом, издав яростный клекот, поворотился и был таков.

Сизов дрожал, судорожно сжимая и разжимая кулаки. В висках у него стучало. Предательская вялость текла по мышцам. И так же вяло подумалось: «Никчемная работенка...»

Он не понимал, не знал, что делать. И каторжане тоже. Смущенные, озадаченные, испуганные, они разбрелись в свои углы, на свои нары, по своим закуткам, словно бы стараясь упрятаться от всех и от самих себя тоже. Никто не подошел к Сизову, не ободрил, не сказал ни слова.

Нил еще не унял дрожь, еще не успокоился, когда по трапу загрохотали сапоги и приклады. Толсторожий боцман, зажав в кулаке дудку, размахивал цепочкой.

— Живо... твою мать! Шевелись: линьки скупают!

Конвойные тесно и крепко взяли Сизова. Каторжане оставались, где были, но какое-то движение ощутилось в

трюме, и Сизов уловил это дружественное, безмолвное движение, а потом услышал: «Наградные получишь — стерпи за общество...»

«Получить наградные» означало получить розги. Но толсторожий сулил какие-то «линьки». Сизов не знал этого орудия судовых истязаний; ему вообразились не треххвостные плети, а — по созвучью — линейки. «Линейками лупить будут, как в школе», — подумал Сизов.

На палубе Нил зажмурился, грудь его до боли расперло воздухом. Он потянул носом. Пахло, как в колониальной лавке на Тверской, куда посылала мать за чаем, а в канун больших праздников — за изюмом... Он перестал жмуриться, увидел ясное струение над ясной волною, над зеленым берегом. В этой ясности, поразив Сизова четкостью, были корабли, длинный мол, высокий маяк, набережная, сады, дома. Нил улыбнулся: ради такой минуты стоило «получить наградные».

Много ль увидел Сизов, привставая на цыпочках, он не определил: толчок в загорбок, пинок в зад тьма крошечная. Одиночка? Карцер? Ну, где наша не пропадала, не привыкать стать... И, как всякий бывалый арестант, Сизов принялся шарить вокруг: куда угораздило и как тут примоститься.

Темница была узенькая, неправильной формы, наверное, втиснутая промеж каких-нибудь судовых надстроек, затылок потолка касался, на полу не вытянешься. Ошариваясь с тем интересом, какой возникает у заключенного даже в карцерах, Сизов не тотчас почувствовал чудовищную температуру своей «кельи». А было тут жарче, чем в сушильных камерах фабрики Гюбнера, где когда-то он задышался, беспаспортный и бездомный слесарь-москвич.

Из сушилок-то еще можно было скакнуть к кадушке с ледяной звонкой водою. А карцер задраили наглухо. И вскоре уж Нил погрузился в булькающее, кипящее как масло забытье.

Ни тогда, в карцере, ни потом, в трюме, Сизов не помнил, как матросы раз в сутки давали ему кружку воды и сухарь. Не помнил, пил ли, ел ли... Не помнил, как фельдшер испугался: «Что, худо?..» И как белоснежный пенитель морей выставил свой диагноз: «Они, стервы, двухжилые...» Ничего Сизов не помнил, не сознавал, а будто все время плавал в огромном чану с кипящим, булькающим рыжим, огненным маслом.

Когда Сизова снесли в трюм, боцман сказал, чтоб все слышали: «Мотрите, он того-о...» — и покрутил корявым

пальцем около виска. Это ему, боцману, так господин старший офицер приказали: сумасшедших ведь чураются, как заразных.

Каторжные, однако, бережно уложили Сизова на верхних нарах, ближе к вентилятору. В Яванском море вентилятор ожил: сипел влажным, рыхлым воздухом.

Между тем в трюме действительно был сумасшедший. Он зарезал близнецов, малолетних своих сыновей, косарем порубил на куски, упаковал в корзинку и отнес на почту. Врачи-эксперты не поместили несчастного в лечебницу, а судьи осудили его на двадцать лет... Незлобивый, тщедушный, он чуть не целыми днями просиживал в гальюне. Оттуда, из отхожего места, исступленно возносил молитвы всевышнему. Ночами принимался за свое, но уже не в гальюне, а в трюме. Возвышал голос все громче, молился на крик, разражался рыданиями. Каторжане вскакивали: «Уймись, холер-ра!» — и дубасили беднягу, куда ни попадя.

Оклемавшись после карцера, Сизов подумал, что ни разу во весь долгий рейс «Костромы» не вступался за помещанного. Ему стали непереносимы ночные избиения, он не мог видеть безумца, иссохшего, как былинка. Нил, впрочем, понимал, что на призыв к милосердию он вряд ли дождется отзыва сотоварищей. Оставалось снова обратиться к старшему офицеру. К тому, кого Сизов недодрожащей рукою зарезал бы или выбросил за борт. Просить эту гниду?

Поразмыслив, Сизов решил ходатайствовать перед судовым доктором. Раздобыл у каторжных клочок бумаги, огрызок карандаша. Написал записку. В записке старательно вывел «милостивый государь», «покорнейше просим» и т. д. Даже ввернул нечто о человеколюбии... Слово припомнилось из книжки, которая называлась «Через сто лет» и которую он лениво полистал в сторожке дяди Федора.

Записку Нил отдал матросу-часовому. Тому самому, что уговаривал «не лезть на рожон». Часовой сперва отнекивался, потом согласился: «Доктор у нас на посуде добёр».

И точно, на другой день сумасшедшего увели из трюма в лазарет. Однако ходатайство не прошло Сизову даром. Старшего офицера разъярило нарушение порядка: все сношения каторжных с судовым персоналом были в компетенции лейтенанта. А нарушителем-то оказался мерзавец, посмевавший «тыкать» ему, старшему офицеру «Костромы».

Сизов опять очутился в карцере. Вторичного «поджаривания» он, наверное, не вынес бы, если бы теперь кормушку не оставили отворенной. Команда, прослышав о норовистом каторжном, страждущем не за себя, тайком

потчевала Нила то лимонадом, то бананами, то гуляшом с макаронами.

Вернули Сизова в трюм уже близ Сахалина. «Кострома», умерив ход, двигалась в проливе Лаперуза. Нил, несмотря на трюмную вонь и духоту, с наслаждением вытянулся на нарах, потому что в карцере корчился в три погибели...

В тот же вечер, туманный и мгlistый, «Кострома» налетела на Камень Опасности. Вода, урча и прихлупывая, начала поступать в трюмы. Каторжные, обезумев, заматались в темноте.

— То-о-нем!

— Пустите на палубу-у-у!

— То-о-нем!

На минуту приоткрылся люк. Старший офицер заорал срывающимся голосом:

— Молчать! Паром ошпарю!

И люк захлопнулся.

Вода уже не урчала, не хлупала — шумела ровно, сильно.

3

В тысячах миль от Камня Опасности, на другом камне, посреди иных, несоленых, вод возлежала тюремная крепость.

Белые ночи призрачны. И потому, наверное, белыми ночами не видать призраков. Ни заколотого шпагами царевича Иоанна, ни еретика Круглого, истлевшего в замурованном склепе, ни польского патриота Лукасинского, угасавшего в одиночке тридцать семь лет.

Белой ночью часовых не пугали и призраки последних, недавних жертв Шлиссельбурга. В мертвой земле лежали мертвые. Халат с бубновым тузом был им саваном. Мертвые не слышали кладбищенской тишины. В кладбищенской тишине — птичий посвист, молитва листвы. А Шлиссельбург был нем. И мертвые не шептались: «Fuimus... Мы были...»

«Мы были...» — принадлежало не уже мертвым, а еще немертвым. Прежде одевал их камень Петропавловки, теперь — Шлиссельбурга. Прежде они изнывали на острове, что в устье Невы, теперь на острове, что в истоках Невы. Раньше они слышали сборные куранты. Теперь не слышали ни звука. «Fuimus... Мы были...»

Самодержавство третьего Александра началось стуком топоров: сколотили эшафот Желябову и Перовской, Кибальчичу и Михайлову... Потом на Красной площади пели «Славься, славься»... Коронация, возвращение из Москвы в Петербург сошли благополучно, но в столице Александр узнал о некоторых беспорядках. Правда, быстро потушенных. Запершись в Гатчине, император предался мрачным мыслям о супостатах-крамольниках.

Смерть на виселице, как ему говорили, не была мучительной. Быстрота перехода в небытие таких извергов, как те, что пролили кровь родителя и могли пролить его кровь, быстрота эта смущала Александра. Надо было измыслить что-то... что-то более неприятное. (Государь именно так подумал: «Неприятное».) И вместе милосердное. Неприятное и милосердное. Не инквизитор, он думал как инквизитор: в пожизненном заключении — высшая степень милосердия.

Александровский равелин — «Секретный дом» Петропавловки — обветшал. Нечаев, злодей из злодеев, совратил караул, едва не вырвался из «Секретного дома». Время и Нечаев подписали равелину отставку. Император Александр Третий вспомнил остров. Тот, что на краю Ладоги, тот, что у истока Невы.

Император посетил Шлиссельбург семейно. С государыней и братом генерал-адмиралом, с наследником цесаревичем Никой и маленьким великим князем Жоржем.

В часовне они приложились к иконе Божьей Матери. Потом осматривали стены, башни, дворы, строения. Семейное дело обсуживалось фамильно. Перед отбытием император обнял плечи наследника. Помолчав, они улыбнулись друг другу.

Последствия августейшей прогулки не замедлили: директору департамента полиции Плеве, командиру корпуса жандармов Оржевскому высочайше повелено было привести в порядок и обновить государеву тюрьму Шлиссельбург.

Люди серьезные, мундирные, воспитанные на христианских заветах, принялись за устройство новой тюрьмы. Такой, которая отвечала бы последним достижениям мирового тюремоведения. Такой, которая была бы лучше всех иных, существующих в свете.

Они спорили, размышляли, выставляли одни соображения и отвергали другие. Они сравнивали образцы английские и американские, французские и немецкие. То было старательное, вдумчивое изучение западных образцов, наиболе приемлемых для России.

Решающее слово оставалось за Гатчиной. До Гатчины все решал г-н Плева. Юрист, законник, он изучил материалы европейских тюремных конгрессов. Конгрессы — веле-ние времени — ратовали за наказание, сопряженное с исправлением. Исправление не входило в расчеты ни Гатчины, ни Плева. Наказание по меркам Европы предусматривало сохранение личного достоинства наказуемого: личное достоинство и империя были несовместимы. Чужие образцы годились лишь технически.

Генерал Оржевский взялся за инструкцию: для будущих заключенных Шлиссельбурга, для будущей стражи Шлиссельбурга. Тайный советник Плева — за отбор кандидатов в узники Шлиссельбурга.

У апостола сказано: «Помните об узниках, будто и вы были с ними в узах». Плева помнил лица, характеры, состав преступления. У него сложилось свое отношение к каждому: любопытство, раздражение, изредка невольная уважительность, иногда, вспышками, ненависть. Но, обрекая любого шлиссельбургской пытке, Плева действовал холодно, служебно.

Единственным исключением была «ужасная женщина», как выразился некогда государь. Плева не забыл и не простил: «Боже, какое ничтожество!» Этот ее взгляд, ухмыльнувшись, поняли министр граф Толстой, паркетный шаркун генерал Оржевский.

Фигнер приговорили к повешению. Виселицу заменили вечной каторгой; мгновенную смерть — медленной. И все же Вячеслав Константинович предпочел бы увидеть Фигнер на эшафоте, как Перовскую и Желябова, хотя к Перовской и Желябову он не питал столь затаенной, личной, неизгладимой ненависти.

Фигнер он первую предназначил Шлиссельбургу. Еще только воздвигали н о в у ю тюрьму, а он уже определил туда «ужасную женщину». Однако пока мысленно. Когда н о в у ю тюрьму закончили постройкой и директор департамента своею рукой писал перечень узников, он не назвал Фигнер. Вячеслав Константинович не хотел дать повод Оржевскому злословить в гостиных о его, Плева, мстительности. Лишь выждав несколько месяцев, он обрек Шлиссельбургу и Веру Фигнер — среди прочих проданных Дегаевым.

Тем временем генерал Оржевский комплектовал штат «чинов управления Шлиссельбургской тюрьмы». Требовались не просто безупречные служаки. Требовались подвижники, столпники. Эдакие мундирные Никиты Переяславские и Саввы Вишерские. Ведь их ожидали почти

безысходные годы на том же острове, в той же крепости, что и других подвижников, других столпников — от революции.

Генерал разослал шифрованные депеши во все губернские жандармские управления. Он объявил нечто вроде конкурсных испытаний. Но главного, наибольшего генерал определил без промедления, без колебания — Соколова Матвея Ефимовича.

Святой Федор Тирон покровительствовал полицейским и стражникам; Матвей Ефимович Соколов годился в покровители самому Федору Тирону. Цербер стерег царство мертвых, Соколов стерег Алексеевский рavelин. Цербера усыпил Орфей; Соколова не усыпила бы и дюжина Орфеев. Цербера связал Геракл; Соколов бы и на Геракла надел смирительную рубаху. Цербера можно было соблазнить медовой коврижкой, Соколова — ничем и никогда.

Правду сказать, Оржевский внутренне ежился при виде этой рослой, но столь широкой в груди и плечах особи, что она казалась почти квадратной. Страшили в Соколове не мясистая, бурая, губастая, бородатая физиономия, не тяжелые короткопалые руки, находившиеся в непрерывном движении, будто отыскивая, что бы это такое смять, сжать, раздавить, раздавить, и даже не общее выражение тупой, механической, нерассуждающей исполнительности, а глаза. Глаза у него были темно-серые, словно насухо вытертые, редко и внезапно мигающие, ничего не отражающие и не выражающие, но одновременно зоркие, цепкие, как бы всасывающие все, на что уставлялись.

И генерал-лейтенант Оржевский, и другой генерал, комендант Петропавловки, и тайный советник Плеве, и жандармские полковники — все, кто знал и видел Соколова, знали и видели, что ему нет решительно никакого дела до чинов, званий, привилегий любого из них, а есть только исполнение обязанностей, и что, ежели прикажут, он с невозмутимой неукоснительностью любого закует в кандалы.

А заключенные Алексеевского рavelина, заключенные Петропавловки, изъеденные цингою, харкающие кровью, сжигаемые чахоткой, — заключенные знали, что Соколов (Ирод, как прозвал его Лопатин) тотчас, ежели прикажут, станет отпаивать их кипяченым молоком, кормить рябчиками и звать «ваше превосходительство».

Соколов отведаль николаевскую солдатчину, был нижним чином карабинерного полка, выбился в унтеры, выбился в прапорщики. Он не праздновал труса ни в подавлении польских повстанцев, ни в ночном бою, когда жандармы

штурмовали подпольную типографию народовольцев в Саперном переулке.

Супружество, отцовство настораживали Оржевского при выборе чинов шлиссельбургской команды; супружество и отцовство предполагали какие-то сторонние привязанности и заботы. Однако у Ирода, по мнению генерала, ничего такого быть не могло. Генерал ошибался. Соколов питал нежность к своей женушке, полногрудой тишайшей мешаночке, к своим голубяткам, паре мальчиков и паре девочек. И все же генерал не ошибался: лучшего зрителя нельзя было сыскать от края до края империи.

Наконец все изготвилось. Двухэтажная длинная кирпичная тюрьма красовалась неподалеку от старой, обомшелой, в трещинах, заведенной еще при Екатерине.

Накануне «заселения» Шлиссельбург посетил Оржевский. Он остался доволен, с улыбкой сообщил друзьям: «Оттуда не выйдут, оттуда вынесут». Что же до екатеринского гноища, то в нем устроили карцеры. И генерал Оржевский шепнул друзьям: «Туда не войдут, туда вынесут».

Плеве в Шлиссельбург не ездил. Будучи прокурором, он наведывался в «места заключения» и никогда не терял внутреннего равновесия. Но Шлиссельбург, которого он воочию не видел, смыкался в душе Вячеслава Константиновича с эшафотом на Семеновском плацу.

Плеве был на плацу в день казни убийц императора Александра Второго. Плеве стоял на помосте для должностных лиц, рядом с эшафотом. Он дал знак приступить к исполнению приговора... Впоследствии видения пятерых быстро, странно и страшно вытянувшихся тел, медленно очертивших в воздухе полукружье, не преследовало его, не снилось ему. И все же навсегда, казалось бы в самих порах, осталось у Вячеслава Константиновича ощущение собственной причастности к умерщвлению пятерых — физической, телесной причастности.

Он был искренне согласен с необходимостью этой казни. Он искренне негодовал на философа Соловьева и писателя Толстого, посмевших оспаривать необходимость ее. Но ощущение, оставшееся в нем, было неприятное, постыдное, и Плеве не хотел, боялся усилить это ощущение поездкой в Шлиссельбург.

Вячеслав Константинович любил кабинетные занятия, письменные принадлежности, фиолетовые чернила, ясный почерк. Бумаги, бумаги... Списки направляемых в Шлиссельбург. Списки первой очереди. Списки второй очереди.

И несколько копий, сверенных и заверенных. Прочее не касалось г-на Плева.

И пошли они в муку вечную...

Инструкции во всех камерах: малейшее ослушание — розги и карцер; «оскорбление действием» тюремных чинов — военный суд и петля. Во всех камерах смутный холод иконок: «Не введи нас во искушение».

Дух Божий не носился над Шлиссельбургом: ни земли, ни тьмы, ни воды — Молчание. Шлиссельбург упразднил время, пространство, движение. Не упразднил только смерть. Она тоже была Молчанием.

Молча вешались на кушаке от халата. Молча выхаркивали чахоточную кровь. Молча смотрели на дула ружей, залп расстрела поглощало Молчание. Молча, без стука собрали эшафот молодым, почти юношам — Шевыреву и Ульянову, Осипанову, Андреюшкину, Генералову.

Шлиссельбург упразднил пространство.

В Петропавловской крепости Лопатин и его товарищи, осужденные последним политическим процессом, чувствовали близость большого города, его плоские пространства.

Шлиссельбург упразднил движение.

В Петропавловке Лопатин и его товарищи ощущали, как ворочается и сопит огромный город.

Шлиссельбург упразднил время.

Вещие куранты крепости отбивали последние часы Лопатина, Якубовича, Конашевича, Стародворского...

Срок истек: приговор «вошел в законную силу», оставалось ждать удушения. Публичного, на каком-нибудь плацу. Или тишком, где-то в самой Петропавловке.

Звон курантов переменился: они возвещали не часы, а погребение. Лопатин заставил себя не слушать куранты. Если бы он хотел, то мог бы гордиться собою: нерушимая, прямая, неколебимая готовность вошла в него, утвердилась в нем. Он не то чтобы знал и не то чтобы верил, что сумеет умереть достойно, — он уже словно бы перенес и вынес удушение. Он пересек поток, который манил плыть дальше. Он уже был на другом берегу, пустынном, ровном, и светлом, и очень-очень далеко от всего, чем дорожат живые, от всего, что греет живых.

Лопатин обрел одиночество. Не одиночество в одиночке, а совсем иное, особое. Оно принесло ему сознание достоинства, высокого и чистого, прежде неведомого. Умолкли зо-

вы внешнего мира. Умолкло прошедшее: годы скитаний и ошибок, находок и открытий, влюбленностей и охлаждений. Теперь ему показалась бы чудовищной, нелепой, оскорбительной одна мысль о возвращении на тот, уже оставленный берег.

Но вне бастионов Петропавловки не забывали о высшем милосердии. Ради него царь с семейством посетил запустелый Шлиссельбург. Ради него потрудились Плеве, Оржевский, чины инженерного ведомства. И ради него железный Соколов переселился на остров, порубежный Ладого и Неве.

Высшее милосердие желал явить государь. Особенно после того, как тихо, без шума и беспокойства повесили молодых безумцев — Шевырева, Ульянова, других... Тех, кто пролил кровь отца его первого марта восемьдесят первого года, он миловать не мог и не смел: отомстил, как сын мстит за отца. Тех, Шевырева, Ульянова, других, кто замыслил пролить кровь его первого марта восемьдесят седьмого года, он миловать не мог и не смел: есть святыне обязанности, есть наследник, есть империя.

Однако смертная казнь награждает казненных терновым венцом. Мученичество распятых влечет к распятию других, одержимых магической, ему, императору, непонятной силой убеждения, силой идеи. Довольно. Осужденным на смерть «лопатинцам» он не даст тернового венца. Он их одарит высшим милосердием Шлиссельбурга.

И осужденным объявили: его императорскому величеству благоугодно... Ликуйте! И вознесите молитвословие «о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем императоре Александре Александровиче всея России, о державе, победе, пребывании, мире, здравии, спасении его, и Господу Богу нашему наипаче поспешити и пособити ему во всех и покорити под нозе его всякого врага и супостата».

Давно уж одеревеневший генерал, комендант Петропавловки, растрогался. Объявил Лопатину замену смерти жизнью, ждал бурного ликования. Потока счастливых слез... Генерал отпрянул: отчаяние исказило помилованного. Испуганный, недоумевающий, бормоча: «Сумасшедший... Безумец...», — генерал почти выбежал из камеры, увлекая за собою свиту.

Он торопился к другим помилованным — к Стародворскому и Конашевичу, назначенным, как и Лопатин, навечно в Шлиссельбург. Торопился к Якубовичу, получившему только восемнадцать лет забайкальской каторги.

А Лопатин падал в мутную, метельную пропасть. Ему даровали жизнь — внезапным ударом вышибли все, к чему он уже был готов и чего он уже не ждал, а уже перенес и вынес. Он падал, убыстрялось падение, свистал ветер.

Мелкая, частая, морозная дрожь. Во всем теле, всего тела. А потом дрожь стала крупнеть, Лопатина шатало, покачивало, хотя он приник лицом, головою к стене каземата... И сквозь эти накаты дрожи, сквозь все его отчаяние Лопатин вроде бы расслышал откуда-то издали, будто из-за холмов или гор, тонкий серебряный звон, но, может, то было ощущение, а не тонкий серебряный звук, ощущение утреннего луча, скользнувшего в темноту сквозь щелистую ставню.

Этот звон или этот свет крались все ближе, обнимая, одевая Лопатина, не спрашиваясь Лопатина, нежно, властно, матерински, светло, мягко проникая в Лопатина, смешиваясь с кровью его. И он уступал нежному, мягкому насилию, покорялся светлой власти. И вот уже сызнова дрожью, но теперь не морозной, а горячей, пробежало, трепеща и пульсируя, во всей его плоти, во всем существе: «Жив... Буду жить... Жив, жив, жив...» Он, ужасаясь, попытался встряхнуться, отделаться, сбросить, он подумал: «Какая постыдная мерзость» — но было поздно, в крови уже гудело, уже вихрилось: «Жив... Буду жить... Жив, жив, жив...»

В те июньские сутки, когда на Дальнем Востоке, в трюме невольничьего парохода металась, обезумев, каторжане, в те же сутки другая плавучая тюрьма двигалась вверх по Неве.

Кандальным «вечникам», запертым порознь в глухих отсеках, предстоял путь неизмеримо меньший, чем тот, что проделали каторжане «Костромы»: всего-навсего несколько десятков верст.

Но дело было не в верстах, не в милях. Уголовные всегда знали, куда их везут, что их ждет. Государственные, политические преступники ничего не знали.

Когда Лопатина, едва не оторвав от земли, подхватили под руки и быстро, как по воздуху, перенесли из рavelина на пароход, он все ж поспел спросить, куда везут. Офицер, тот самый, с чистым взором, что выводил его из зала суда, улыбнулся любезно, но ответил загадочно: «Будет видно». Потом, часа через два, заглянув к Лопатину, он столь же

любезно предложил ему чаю. Лопатин спросил: «Куда меня везут?» Офицер солгал: «Не знаю».

Неведение должно угнетать. И действительно гнетет. Но Лопатин все еще находился в состоянии воскресения и потому не рассердился на офицера, а лишь, как в отместку, отказался от чая.

Несколько часов спустя «вечников» (опять же порознь, опять поспешно, под руки) вывели на пристань. Лопатин увидел розовеющую водную ширь, светло-желтые стены и башни. Издалека, как шепот, донесся запах елок и осин.

Впереди были ворота с темным пятном царского орла. Во главе дюжины жандармов крепко и плотно стоял широкий, почти квадратный Соколов, бывший смотритель Алексеевского рavelина.

— Бонжур, — кивнул Лопатин.

И закусил губу. Не потому, что Соколов злобно прозвенел связкой ключей, а потому, что в голосе своем Лопатин не услышал насмешки.

Розовеющая водная ширь все больше сужалась, будто ветер теснил ее и сжимал, а влажный заречный запах гас, сменяясь запахом мертвого острова — железа, старого щебня, дресвы. И что-то тяжелое, грубое, загребушее уже тискало Лопатина, наваливалось на него.

Шлиссельбург принял Лопатина.

«Fuius... Мы были...»

4

Если ясным вечером приближаешься к Александровску, видишь сахалинские горы не грозными, а ласково размытыми закатным солнцем. Уединенный маяк — символ отшельничества — манит в живую тишину. Невдалеке от причала замечаешь Трех Братьев, три скалы, и та, что ближе к острову, напоминает не то папскую тиару, не то капюшон монаха-капуцина. Ясным вечером море лежит зеленоватое. Мелея, обретает пепельный оттенок. А береговая кромка оторочена бурым валом водорослей.

Александровск (по-военному: Александровский пост), этот бревенчатый, мышиною серости поселок, имеет в такие ясные вечера вид безгрешный и мирный. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал он морями. И увидел Бог, что это хорошо». Хорошо? Но тогда почему люди, те, которые «по образу и подобию», отчего эти люди с мешками и обритой головою не рады, не улыбкивы?

Эх, послали меня, добра молодца,
Проведать каторги, распроклятой долюшки.
На чужой на той стороншке
Больно тяжко ведь жить. .

От причала к Александровску ведет сперва ровная дорога. По сторонам пустоши, кустарничек, болотца — глядеть неохота. И смотришь на взгорки, на Александровск. Под шатким мостиком седеет слабенькая в голышах и валежинах речонка. А уж за речкой дорога тянется изволоком, и городишко как бы сползает тебе навстречу.

Каторжные шли в каторгу, не оглядываясь на открытый рейд с вяло и грязно дымившим пароходом. То было другое судно, а не плавучая тюрьма «Кострома».

(«Кострому», вернее команду и заключенных, спас Камень Опасности. Проскочи они с ходу чуть дальше, тотчас же пошли бы на дно Лаперузова пролива. Камень Опасности держал «Кострому» до тех пор, пока все не убрались на мыс Крильон, южную оконечность Сахалина.

В часы, когда грузились на шлюпки, каторжные, еще не опомнившиеся от пережитого в трюме, работали наравне с матросами, проворно перетаскивая судовое имущество и послушно исполняя приказание капитана.

Сизов тоже работал, что было мочи, но при этом у него мелькала мысль, что в наступившей темноте, в этой горячке и сутолоке очень способно расквитаться со старшим офицером... Выдалась минута, очутились они один на один. Однако скотина лейтенант был так решительно-спокоен и так озабочен спасением людей, что Нил замешкался, отступил от своего намерения. Офицер как ни в чем не бывало подозвал Сизова, и они оба ухватились за тали, пособляя матросам вывалить и спустить на воду шлюпку. Шлюпку спустили, лейтенант жестом указал Нилу: лезь! Сам он остался, покинул корабль последним, вместе с командиром...)

Этапная партия волочилась, как после болезни. Открылись зеленеющие хребты. Они красиво обнимали городок с двухскатными земляными крышами.

Тюрьма была деревянной, как многие тюрьмы лесистой России. Казарма, отведенная новеньким, тоже была новенькая, устланная по полу свежей хвоей.

Надзиратели в потертых мундирах, с увесистыми кобурами на поясах велели «новеньким» расположиться в две шеренги, в затылок. Пришел смотритель, нестрашный, сутуленький, испитой полицейский офицер. Тихим, домашним голосом он рассказал, как следует вести себя в каторге, чтобы избежать экзекуции, что завтра всех «раскоманди-

руют», определяют на работы, и чтобы они, новенькие, сторонились «старокаторжных», закоснелых в пороках.

Едва смотритель и надзиратели удалились, как в барак, гомоня, ворвались «закоснелые»... Сизов уж, кажется, нагледелся на уголовную братию — и давно, у Красных ворот, в подвальном «гранд-отеле», и в Бутырках, и в поезде Москва—Одесса, и за долгий рейс на «Костроме». Но здесь, в Александровске, содержались такие, для которых, по мнению главного тюремного управления, и сибирские остроги не были серьезным, внушительным наказанием.

Впрочем, то, что законники именовали «преступлением», да и сами преступления, совершенные его теперешними сотоварищами, были совершенно неинтересны Нилу Сизову. Нелегальщина, читанная на воле, объяснила ему, что все это (как юридические нормы, так и преступления) возникло из источника, отравленного злом и неправдою. Существующее государство всегда рисовалось Нилу механическим, скрипучим, бездушным устройством. Предназначалось оно для калечества. А кого и за что, политического или уголовного — не имело для Сизова определяющего значения.

К теперешним своим сотоварищам он не питал жалостливого чувства. Они не были для него «несчастливыми». Ни в том сентиментальном и социальном смысле, какой вкладывали интеллигентные люди; ни в том, какой вкладывали люди простые: обездоленные, лишенные счастья. Убийцы и насильники, грабители, воры, бродяги, не сливаясь в целно-серое, были разными людьми, с которыми ему предстояло жить десятков лет на Сахалине.

Однако одну, очень важную истину Сизов еще не открыл. Он уяснит ее хоть и скоро, но не сразу, не в первые дни и даже не в первые недели.

Поначалу Сизов вообразил, что каторга уже самим отторжением от «общества» не только не похожа на «общество вольных подданных», но и противостоит ему во всем.

В самом деле, как могла каторга, созданная для изверженных отбросов нормального (или того, что звалось нормальным) общежития, как она могла не противостоять последнему в любом проявлении, каждым помыслом, всяким поступком?

Каторга должна была, предполагал Нил, создать собственные правила, нормы, законы, даже и отдаленно несхожие с теми, что существовали «среди мира вольного».

И точно, такие были. Сизов усмотрел в них немало привлекательного. Ему пришлось по душе и прочное укры-

вательство в чем-либо провинившегося от начальства; и скорая расправа с ябедою; и презрение к заискиванию перед зрителем или надзирателями; и отвращение к скопидомству, пусть мизерному, какое, впрочем, только и могло быть в условиях скудного арестантского быта.

Но главное, коренное, капитальное, к великому огорчению и удивлению Нила, состояло не в этих правилах и обычаях. Как ни странно, ни мерзко показалось Сизову, но каторга была в общих чертах сколком «мира вольного».

И тут, и там властвовала кучка спевшихся негодяев. И тут, и там все отворяла и все позволяла взятка. И тут, и там водились подстрекатели, «отважные» крикуны до первой тени первой опасности, от которой они же первыми и увертывались в сторонку. И тут, и там хотели и умели объегорить. И тут, и там шипела национальная рознь: какой-нибудь сифилитик-насильник помыкал иностранцем только потому, что сам был великороссом, а не татарин, чеченцем, нехристом, «бабаем». И тут, и там сложились иерархия, сословия. Низшее — замордованное, безответное, заплеванное звалось «шпанкой».

Равенство и братство, прежде рисовавшиеся Сизову, не существовали. Все трудились и получали «пайку», все жили в казарме и надевали «полняк». Все были равней, но равенства не было. Все были братьями по несчастью, но братства не было.

Это тождество общества «вольного» с «обществом» невольников поселило в душе Сизова гнетущее, тоскливое ощущение замкнутого круга. Но Сизов Нил, каторжный, лишенный всех прав, находился в этом круге, и он должен был как-то определиться. Вожди каторги, величавшиеся «Иванами», скорые на кровавую расправу, не гнушавшиеся отнять у «шпанки» последнюю краюху, эти «Иваны» претили Сизову. Немыслимо ему было сделаться и «поддувайлой» — прислужником «Иванов», подчас весьма щедрых покровителей. Однако и слиться со «шпанкой» он отнюдь не желал.

Слух о его храбрости на «Костроме» быстро обошел казармы. «Иваны» присматривались к новичку. Новичок к ним не лип, а «Иваны» не липли к новичку, это уж было ниже их достоинства. Обе стороны словно бы выжидали.

Сизов поклялся, что при малейшем посягательстве пустит в ход топор. Поверяя решимость свою, Нил представил мысленно, как такое может приключиться: замах и удар, кровь, брызги, крик. Он зябко поежился, повел лопатками.

А между тем среди прочих рассказов он уже слышал, как «Иваны» недавно расправились с каторжанином, бывшим офицером. Человек боевой, обстрелянный, он чем-то не поступился и крупно повздорил с одним из «Иванов» по кличке Перейди Свет, матерым, не терпевшим прекословия, потому как он, мол, «за всех каторжных плетей вынес — не счесть». Офицеру отомстили страшно: втихомолку, тут же, в казарме, под полом выкопали яму, ночью схапали спящего да и зарыли живьем. Утром начальство всполошилось — исчез арестант. Искали, не нашли, объявили в нетях. А тюрьма — ни звука: пикни, и конец, поминай как звали.

«Да-а, уж тут, если коснется, — думал Нил, — валяй махом». И утвердился на том, коли уж случай выйдет. Но только... Только не приведи Господь, чтобы вышел.

При «раскомандировке» отрядили Нила окорять бревна. Работа была нетрудная. У многих дело спорилось, кора лентой струилась, а Нил, слесарь, короткие отески отсекал да по своим бродням тюкал.

Где бы Сизов ни получал урок, все это звалось об-щ и м и работами. Необщие, или, по-каторжански, вакансии, очень ценились: писарская в тюремной канцелярии, дневальство в бараках, приборка караульных помещений, свой шесток при кухне и на кухне... Необщие работы давали арестанту призрачную самостоятельность, мало-мальское высвобождение из упряжки. И хотя тех, кто не был «на общих», презирали, но втайне, однако, завидовали.

Общие подневольные работы... Одна лямка, один хомут... Их тягу чувствуют — кто смутно, кто отчетливо — и те, что живут вне острогов. Но в остроге, в каторге с удесятеренной радостью ощущают пусть недолгий, пусть иллюзорный — отход своего «я» от этого подъяремного «мы»...

Здесьнее начальство в сравнении с московским и петербургским было мелкой и тоже в своем роде подневольной сошкой, но оттого не переставало быть сволочью.

Тихий испитой смотритель не только щедро оделял плетью, но и непременно любовался лихостью местных палачей. Склоняясь над жертвой, кротко приговаривал: «В другой раз не балуй, милоч... Не балуй, Богом заклинаю...»

Надзиратели (солдаты, выслужившие срок) искренне полагали, что без выволочки «никак нельзя». Над ними, бывшими солдатами, прежде куражились унтеры и фельдфебели, теперь они, надзиратели, куражились над безответной «шпанкой».

Во всем этом, как и в тождестве общества «вольных» с «обществом» невольников, явственно проступал замкнутый

круг, с той только разницей, что никто, пожалуй, из него и не помышлял выбиться.

Ручной мускульный труд был Сизову привычен. И работа ему сперва досталась не тяжкая: не рудничная близ Александровска и не таежная рубка леса. Но тюрьма, московская и петербургская, но долгий трюмный этап, «сушка» в корабельном карцере измотали Сизова. Окоряя бревна, он выдыхался, слабел, топор чуть удерживал, от чистого воздуха ему едва не делалось дурно.

Однако арестант на то и арестант, чтобы, как говорят острожники, в т я н у т ь с я. И Сизов помаленьку притерпелся. А зимою, когда вдарили морозы под тридцать, когда забурунили бураны, каторжной сахалинской зимою пришла к Сизову настоящая каторга — общие работы.

Поднимали затемно. На дворе жгла железная стужа. Арестанты шеренгами стояли у барачков. Старший надзиратель и писарь — с фонарями, ежась, торопливой побегой — «разбивали» каторжных на десятки и дюжины.

Арестанты переминались, толкались плечами, боками. Над шеренгой валил пар... Окаянная жисть. Что в ней есть, проклятой? Да ничего, одни окаянные общие работы. И они ждали этих общих работ со злобным нетерпением. Топоры — за кушаками. У некоторых еще и котелок: в тайге сладят костер, вскипятят талый снег — полощи мерзлое брюхо.

Сколько уж минуло «разбивок»? Но всякий раз в этой ледяной полутьме, под этими волчьими звездами Сизова прокаляло сознанием своего рабства и рабства тех, кто был с ним рядом.

К топору зовете Русь?

Вот она — с топорами.

5

Шлиссельбург был нем. Беззвучно, как в песочных часах, истекло время. Различался лишь шорох. Шорох войлока по шероховатому камню, по шершавому железу.

Ветер натягивал бухлые тучи. Тучи роняли короткий, скошенный дождь. Лопатин не видел туч: слепы двойные матовые стекла. И не слышал дождя: непроницаемы стены. Но Лопатин ощущал и тучи, как они наваливаются или рдеют, и дождь, как он удлиняется или усиливается, ощущал тем загадочным чувством, которое ведомо лишь замурованным.

Койку днем откидывали к стене и замыкали. Ходи. Сиди на деревянной скамье. Лопатин ходил, сидел. Нынче возникало, лепилось в строку: «Да будет проклят день...»

Милый Петруччо, вот кто был поэтом. А ты никогда ничего не творил. А теперь вот и ты слагаешь строфы.

Да будет проклят день, когда
На пытку мать меня родила
И в глупой нежности тогда
Меня тотчас же не убила..

Милый Петруччо, поэт, ушел в сибирскую каторгу. И это к лучшему, Петруччо. Ты бы не вынес этих сводов, этих черных дверей и слепых, как небытие, матовых стекол.

Да будет проклят день, когда
Впервой узрел я эти своды
И распрощался навсегда
С последним проблеском свободы...

Сосед стучал, приглашая к беседе. Лопатин не отзывался. Нынче нет желания тупо выстукивать буквы, пользуясь стародавней тюремной азбукой. Нет, Лопатин не хочет, не желает отвлечься медленной беседой. Он снова и снова казнится невольной своей виною, сгубившей многих. Виною, так и не искупленной смертью на эшафоте.

Да будет проклят день, когда
В терзаниях сердечной муки
Под гнетом горя и стыда
Бессильно опустил я руки...

Стародворский стучал, приглашая к беседе. И внезапно умолк.

Послышалось глухое рычание:

— Я те покажу стучать! Я те покажу... В карцер хочешь?!

И смотритель Соколов-Ирод грохнул форточкой в камере Стародворского. Лопатин замер. Он боялся того, что сейчас должно было произойти, не могло не произойти.

Безмолвие Шлиссельбурга плющило душу. Казалось бы, каждый сторонний звук должен был нести облегчение. Но безмолвие Шлиссельбурга обладало таинственным свойством — сторонний, нестрашный звук (брякнет ли в коридоре печная заслонка, обронит ли жандарм полено) тотчас беспощадно и нестерпимо сотрясал узников. Их лица подергивались, они метались, как от боли, они выходили из себя, впадая в бешенство.

И Соколов-Ирод знал об этом. Он любил, подкравшись, внезапно грохнуть дверной форточкой-кормушкой

или задеть о дверь тяжелым ключом. Притом Соколов всегда безошибочно угадывал, кто из его подопечных сегодня особенно в «нервях».

То, чего боялся Лопатин, случилось. Стародворский бешено забарабанил в дверь кулаками и ногами: «Перестань! Перестань!» А форточка-кормушка грохала еще и еще. Ирод шипел: «Ты раздражаешься, ну и я раздражаюсь... Ты раздражаешься, ну и я раздражаюсь...»

И вот уж гремела вся тюрьма. Лопатина тоже подхватило вихрем. Он тоже кричал и колошматил железную гребовую черную несокрушимую дверь.

Утихло внезапно, как и началось. Немота Шлиссельбурга словно бы уплотнилась. Время текло беззвучно, как в песочных часах. Но сами часы-склянки оставались незримиыми. И времени не было. Был шорох войлока по шероховатому камню. «И гад морских подводный ход».

Приказали:

— Двадцать седьмой, выходи!

Шлиссельбург населяли не люди-узники. В Шлиссельбурге содержались номера. Лопатин, двадцать седьмой, шагнул в коридор с чередой черных дверей, шагнул в сумрак, где означалась сетка, натянутая между этажами.

Двадцать седьмой увидел жандармов. Увидел Ирода: неизменная шинель с капюшоном, неизменная связка ключей. Связка ключей — эмблема власти, реальность власти, символ и оружие владыки Шлиссельбурга.

Двадцать седьмой шаркал котами. Жандармы шуршали войлочными калошами, надетыми поверх сапог. Но ни войлок, ни коты, ни дыхание и сопение людей, идущих по коридору, а потом по лестнице, ничто не заглушало разнозвучный говор связки ключей.

Ирод играл ключами, шевелил, подбрасывал на ладони. Ключи отзывались по-разному, серией тембров, и двадцать седьмой знал, что эта серия тембров передает, как кодом, повеления Ирода жандармам.

Двадцать седьмой медленнее зашаркал у каземата, где метался номер тридцатый. Может, нынче тридцатому легче? Может, хоть ненадолго успокоился? Не мечется, не воеет надрывно... И услышал надрывное, воющее: «Краса-а-а-авица, доверься мне-е-е-е...» Двадцать седьмой сжал зубы: «С Конашевичем кончено». А ключи Ирода звякнули: «Прибавить рыси!» — и стражники подтолкнули двадцать седьмого. Опять звякнули ключи: «Будет! Хорошо!»

Ирод жил при тюрьме, но жил тюрьмою. Он исполнял обязанности не по обязанности. Суровая неукоснительность

Ирода тяжело и мерно простиралась как на узников, так и на стражников. Не зная снисхождения к себе, он не знал снисхождения ни к кому. В отношениях с номерами у Ирода не возникало никаких сложностей. Все твердо, как на тверди, покоилось на несложностях: «Не твоё дело»; «Не смей просить за других»; «Сиди смиренно, никто тебе слова не скажет». Тут было начало, тут был и конец. Тут была определенность, замкнутая, как загоны-клетки, куда сейчас, за полдень, выводили еще немертвых мертвецов Шлиссельбурга.

Крепостной двор был яростен. Он дарил блаженство странствования. Но лишь в первый миг. Глаз опять, как в каземате, упирался в камень, железо, засовы, в тупое, недвижимое. Зато живой гул волны — в тюрьме он сливался с безмолвием, был частью безмолвия, — гул ладожских и невских волн приближался, терял слитность, лаская слух узников.

На вышке-каланче дежурили трое. В шесть глаз следили, как церемониально выводят на прогулку номер за номером. Впереди и позади жандармы, посередине — номер. И замыкающим — смотритель Соколов Матвей Ефимович.

Знакомый ему шеф жандармов говорил: «Я никогда и никому не доверял. И никогда не имел случая в том раскаяться». Смотритель Соколов Матвей Ефимович так не говорил, он так поступал. Никогда и никому. И этим, троем на вышке, тоже.

Широко расставив ноги, стоял он на каланче. Насупленный, зоркий, почти не мигающий. В ненастье и ведро, под дождем или снегом, в холод и жар смотритель смотрел за номерами и за теми, кто смотрел за номерами.

Номер одиннадцатый — хрупкая, в монашеском платке. Какая легкая поступь. Какая она... Какая она... Соколов-Ирод не знал, какая она, Вера Николаевна Фигнер. И все же лишь перед нею, перед Фигнер, ощущал Ирод какое-то непонятное, тревожное смущение... А рядом, за высоким забором, был девятый. Ирод помнил, как девятого, Поливанова, привезли из Саратова в Алексеевский рavelин... Справа — тридцать первый. За что и почему втиснули Караулова в склеп Шлиссельбурга? Ирод того не ведал и ведать не желал. Для тридцать первого держи наготове не только смиренную рубаху, но и сыромятные ремни: разбухнет богатырь, наломает дров... Соседом тридцать первому — восемнадцатый: Шебалин, бывший хозяин подпольной типографии, Михаил Шебалин, которого так любил навещать Сергей Петрович Дегаев... Все номера на виду у Ирода. Впрочем, нет, нынче не

всех вывел он в прогулочные загоны. Стародворский учинил буйство? Получай согласно инструкции карцер. Конашевич, как с ума сошедший, лишается согласно инструкции свежего воздуха. А у других — цинга, а у других — чахотка...

Тень вышки-каланчи, тень шинели с капюшоном пересекала загон-клетку. Лопатин остановился. И внезапно сознал громадное. Не так, как прежде, во множестве черт и множестве признаков, подчас отвлеченных. Нет, не так. А разом и с грубой беспощадностью, хотя рядом с ним лежала всего лишь тень.

Аспидная тень — каланча, шинель, капюшон — тянулась далеко, через всю Россию. Не Соколов торчал на каланче, но Ирод, попирающий родину. Широко, прочно, столбами расставив ноги. Сейчас он молчал. Но и в молчании хрипел: «Не твое дело!», «Сиди смирно!», «Не смей думать, не смей говорить!» У Ирода Инструкция. У Инструкции — Ирод. У Ирода, у Инструкции — Россия...

Все это мгновенно, громадно и ощутимо представилось Лопатину. Аспидная тень — вышка, шинель, капюшон — уже не была тенью. Но прислушайся... Ты слышишь, как гудят и плещут Ладога с Невой? Слушай! Услышишь такое, чего не дано подслушать иродам. И такое, перед чем не властны инструкции.

*Москва — Ленинград — Сахалин
1966 — 1969*

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая

3

Книга вторая

237

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДАВЫДОВ
ГЛУХАЯ ПОРА ЛИСТОПАДА

Редактор И. Шурыгина

Художественный редактор И. Сайко

Технический редактор Г. Шитоева

Корректор В. Антонова

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 24.07.96.

Уч.-изд. л. 29,95. Цена 21 000 р.

Издательский центр «ТЕРРА».

113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ТОО «Макет».

141700, Московская обл., г. Долгопрудный,

ул. Первомайская, 21.

ТАЙНЫ

Юрий Владимирович Давыдов — мастер современной исторической прозы. Его документально точные, искренние и увлекательные произведения пользуются заслуженным успехом у российского читателя.

Исторический роман Ю. Давыдова посвящен 80-м годам XIX века в России. О последних днях «Народной воли» рассказывает писатель, о попытке возродить организацию и о провале этой попытки — трагическом, но исторически неизбежном. Роман основан на подлинных фактах и документах, но вместе с тем это увлекательное повествование, которое с неослабевающим интересом читается до самой последней страницы.

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах